



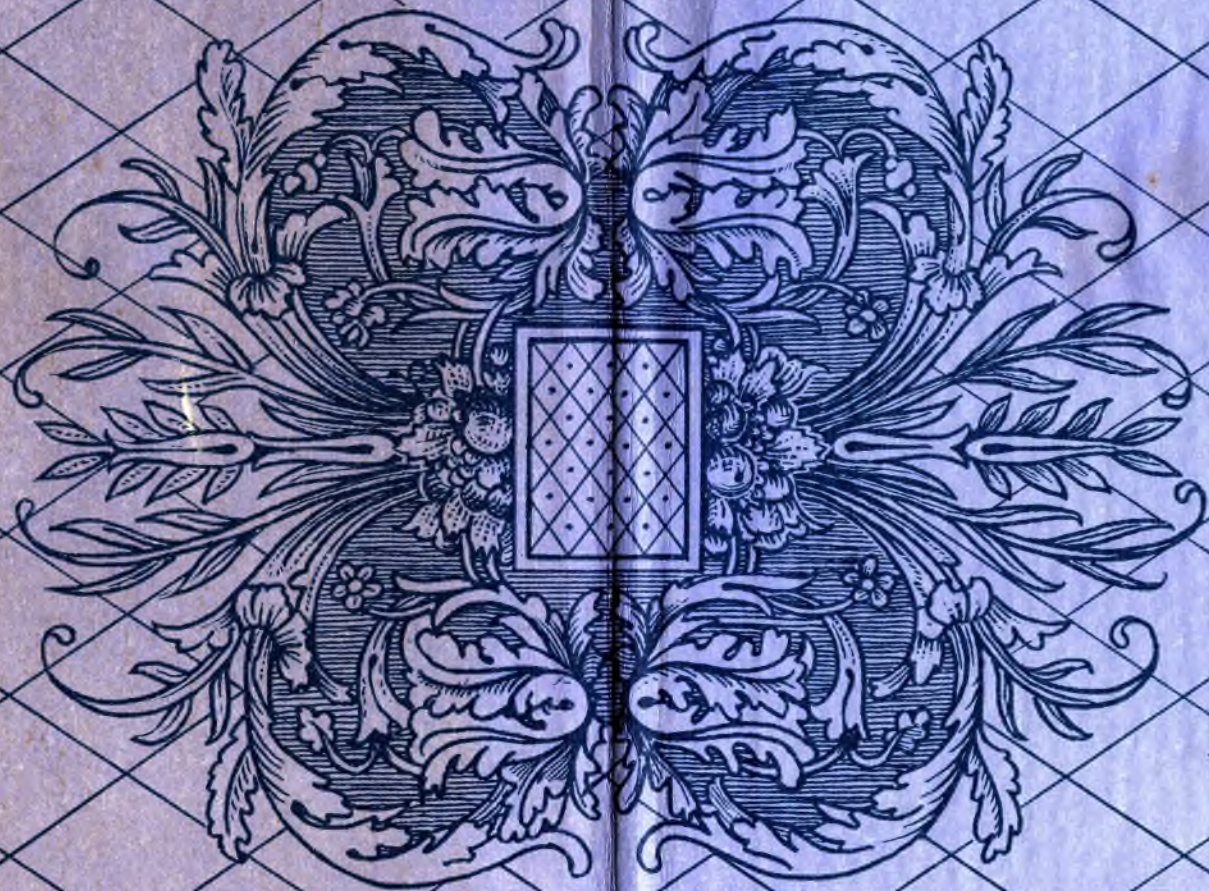
ФАДДЕЙ
БУЛГАРИН



ФАДДЕЙ
БУЛГАРИН



СОЧИНЕНИЯ



ФАДДЕЙ
БУЛГАРИН



СОЧИНЕНИЯ



Вадимъ Бутрапузъ



ФАДДЕЙ БУЛГАРИН



СОЧИНЕНИЯ

МОСКВА
«СОВРЕМЕННОК»
1990

ББК 84Р1
Б90

Составитель, автор вступительной статьи
и примечаний
Н. Н. Львова

Булгарин Ф. В.

Б90 **Сочинения/Авт. вступ. ст. и примеч. Н. Н. Львова.—**
М.: Современник, 1990.— 704 с., портр.
ISBN 5-270-01136-0

Известный русский писатель и журналист Фаддей Булгарин (1789—1859) — фигура сложная и неоднозначно оцененная в отечественном литературоведении. Ф. Булгарин пользовался большой популярностью в России первой половины XIX века; он был интересным, загадочным человеком.

В настоящую книгу вошли авантурный нравственно-сатирический роман «Иван Иванович Выжигин», роман «Мазепа», в котором историческое лицо — гетман Украины парисован сильной личностью, ставшей рабой собственного честолюбия. В сборник включены также ныне забытые воспоминания о Грибоедове и фантастика Булгарина.

Б 4702010101-129 — 33-91
М106(03)-90

ББК 84Р1

© Составление, вступительная статья,
примечания Львова Н. Н.,
оформление А. Ф. Сергеева, 1990

ISBN 5-270-01136-0

КАПРИЗ МНЕМОЗИНЫ

На склоне лет, растеряв почти всех своих друзей и единомышленников, бранимый многими, но читаемый всеми, Фаддей Венедиктович Булгарин не без гордости писал в своих воспоминаниях: «Могу сказать в глаза зависти и литературной вражде, что все грамотные люди в России знают о моем существовании! Много сказано, но это сущая правда!» Хорошо знакомый с декабристами — братьями Бестужевыми, Александром и Николаем, с Г. С. Батеньковым, Николаем и Александром Тургеневым, П. А. Мухановым, В. К. Кюхельбекером, Булгарин встречался и переписывался со многими выдающимися людьми своей эпохи — А. С. Пушкиным, который печатался в булгаринских изданиях, А. С. Грибоедовым, запрещенную рукописную комедию которого «Горе от ума» Ф. В. Булгарин почти целиком перепечатал в своем альманахе «Русская Талия», великим баснописцем И. А. Крыловым, знаменитым историографом Н. М. Карамзиным, салон которого молодой литератор посещал с 1819 года, К. Ф. Рылеевым, который посвятил ему своего «Мстислава Удалого», опубликованного в «Полярной звезде»; сотрудничал с известным журналистом и писателем Н. А. Полевым, издателем, писателем, ориенталистом О. И. Сенковским, а также с М. П. Погодиным, А. Ф. Воейковым, В. А. Ушаковым, А. В. Никитенко, Н. В. Кукольников, археографом К. Ф. Калайдовичем, лингвистом и фольклористом В. И. Далем, Бестужевым-Марлинским, автором первых русских литературных обзоров, предшествующих обзорам В. Г. Белинского и написавшим первую русскую грамматику Н. И. Гречем. Булгаринские мемуары, ныне забытые, до сих пор сохраняют значение первоисточника. «...Почтенные мои читатели, верьте мне, что все сказанное в моих *Воспоминаниях* сущая истина,— писал он.— Никто еще не уличил меня во лжи, и я ненавижу ложь, как чуму, а лжецов избегаю, как зачумленных. Всему, о чем я говорю в *Воспоминаниях*, *есть живые свидетели*, мои современники (...) или есть документы (...) В том, близок ли я был к некоторым знаменитостям, представляю *письменные доказательства*, или сошлюсь на *живых свидетелей*»¹.

Булгарин обладал независимым, вспыльчивым и упрямым нравом. «Гор-

¹ Воспоминания Фаддея Булгарина. Спб., 1846. Ч. I. С. VIII—IX, XII.

дец», — отзывался о нем Рылеев¹. Обидчивость и задиристость Булгарина была хорошо известна его современникам — он ничего не прощал ни выходящим, ни малозаметным лицам и всегда старался отомстить при случае, мог затеять скандал или драку. Ксенофонт Полевой писал, что Булгарин был «умным, иногда смешным, капризным, но любезным человеком»². Говоря о дружбе Булгарина с Грибоедовым, Греч подчеркивал душевный такт Булгарина, который «почитал и уважал добрые стороны в людях, даже те, которых сам не имел. Таким образом постиг он всю благодать, все величие души Грибоедова, подружился с ним, был ему искренне верен до конца жизни...». Белинский заметил, что характер Булгарина «весьма интересен и стоил бы, если не целой повести, то подробного физиологического очерка...»³. Неуравновешенный характер Булгарина вредил ему в журналистской и издательской деятельности. В конце концов он рассорился даже со своим задушевым другом Гречем, а дружбу с Рылеевым он восстановил лишь накануне трагических событий 14 декабря 1825 года. Рылеевское письмо, в котором он говорил, что «никогда не переставал и верно никогда не перестанет любить Булгарина» как-то удручающе трогательно. Ответ же Булгарина изобличает в нем глубокого психолога, знатока человеческих страстей. Возвращая самолюбивому Рылееву его письмо, которое, по его предположению, написано под наплывом прежних дружеских чувств, но вскоре вызовет сожаление, Булгарин приписал: «...Дабы подлый мир не мог перетолковать». Рылеев понял это и ответил: «Я никогда не раскаиваюсь в чувствах, а мнением подлого мира всегда пренебрегаю». Размолвка друзей произошла из-за конкурента Булгарина на издательском поприще А. Ф. Воейкова — «Ваньки-Каина литературы». По делу декабристов Булгарин был арестован по его доносу. Личное и общественное часто вступало в противоречие в ту эпоху. Кюхельбекер, например, ожесточенно полемизировавший в «Мнемозине» с «Литературными листками» и «Сыном Отечества» Булгарина и Греча, вскоре становится сотрудником этих изданий. Но богиня памяти, пред которой благоговел лицейский друг Пушкина, слишком по-женски обошлась с Булгариным, словно мстя ему: произведения Булгарина были прочно забыты.

Деловые качества Булгарина привлекали к нему многих литераторов. «Сказано и сделано у него одно и то же», — считал Греч. Он называл Булгарина «малым умным, любезным, веселым, гостеприимным, способным к дружбе и искавшим дружбы людей порядочных»⁴. А. А. Бестужев-Марлинский стал специально учиться польскому языку, чтобы вместе с Булгариным читать варшавские журналы. В 1822—1829 годах Булгарин издавал журнал «Северный архив» и в качестве приложения к нему «Литератур-

¹ Сочинения и переписка Кондратия Федоровича Рылеева. Спб., 1872. С. 246.

² А. С. Грибоедов в воспоминаниях современников. М., 1929. С. 228.

³ Белинский В. Г. Полн. собр. соч.: В 13 т. М., 1955. Т. 9. С. 653.

⁴ Греч Н. И. Записки о моей жизни. М.; Л., 1930. С. 687.

ные листки» (1823—1825), издал первый отечественный театральный альманах «Русская Галлея». В 1825 — 1839 годах Булгарин — соиздатель и редактор Греча по журналу «Сын Отечества», объединенного в 1829 году с журналом «Северный архив»; в 1841—1853-м он редактирует журнал «Эконом» и на протяжении почти всей своей литературной деятельности газету «Северная пчела» (1825—1859).

Многожанровость творчества Булгарина поистине удивительна. Создателем первого русского романа назвал Булгарина Белинский¹. «Отцом русского романа» считал Булгарина Греч. Автор «Димитрия Самозванца» и «Мазепы», стоящий вместе с М. Н. Загоскиным, И. И. Лажечниковым и Н. А. Полевым у истоков рождения русского исторического романа, создатель многочисленных очерков нравов, обширной мемуаристики, путешествий, политической публицистики, один из основоположников русской фантастики и фельетонистики — Булгарин выступает первооткрывателем почти во всех жанрах. Без упоминания имени Булгарина не может обойтись ни одно исследование по истории литературы 20-х, 30-х, 40-х и 50-х годов. Целое сорокалетие в жизни русской журналистики, с 1819 по 1859 год, тесно связано с этой выдающейся личностью.

В России 30-х годов XIX века не было читающего человека, который не знал бы об «Иване Выжигине». Любовь, похищения, измены, загадочные незнакомцы, низвергнутый на дно общества аристократ, возмездие, раскаяние, торжество добродетели — все сюжетные изгибы «Выжигина» дышат первозданной чистотой романного жанра. Здесь разворачивается пестрая картина похождения главного героя, который предстает в начале своей жизни в качестве обиженного судьбой безымянного «сиротки», брошенного в доме пана Гологордовского, а впоследствии оказывается наследником миллионного состояния, незаконным сыном князя Милославского.

Живой интерес к обыкновенной человеческой личности привлек внимание многочисленных читателей и вызвал необъятную массу подражаний. Роман весьма остроумен, отличается искусно выполненными бытовыми сценами, добродушным юмором. «В плане автора было, как нам кажется, не интриговать читателей романтическими мистификациями. Он хотел представить толпу характеров, нравов, обычаев русских», — писал «Московский телеграф»². Литературные требования 20-х годов XIX века в отношении к прозаическим жанрам шли в направлении пристойных «нравоучений», с одной стороны, и «нравоописаний» — с другой. Определение романа как жанра морализующего отразилось в ответе «Сына Отечества» на вопрос: «Что такое роман?»: «Роман есть теория жизни человеческой». «Нужда в народных

¹ Белинский В. Г. Полн. собр. соч.: В 9 т. Т. 4. С. 76.

² Московский телеграф. 1829. Ч. 26.

романах у нас весьма ощутительна», — писали «Отечественные записки»¹. «Иван Иванович Выжигин» и явился таким классическим русским романом. В предисловии к первому его изданию (1828) писатель говорил, что его герой заблуждающийся, подверженный ошибкам и падениям, но добродетельный от природы человек. Запутанная интрига романа оттеняет подчеркнутую обыкновенность героя, типичность которого делает его своеобразным предтечей «натуральной школы». «Происшествия его жизни такого рода, что могли бы случиться со всяким без прибавлений вымысла». — так отзывался Булгарин о своем милом, симпатичном, но небезгрешном герое. «Мой Выжигин есть существо доброе от природы, но слабое в минуты заблуждения, подвластное обстоятельствам — одним словом: человек, каких мы видим в *сете* много и часто. Таким я хотел изобразить его»². Писатель стремился доказать, что все дурное происходит от недостатков нравственного воспитания и что всем хорошим люди обязаны «великодушным намерениям» царя, «вере и просвещению»³.

Таким образом классический русский авантюрный роман в соответствии с отечественным духом одновременно явился и романом нравственно-сатирическим, успешно сочетающим занимательность фабулы с элементами морального назидания и благонамеренной сатиры. «В моем «Иване Выжигине», выставляя пороки и злоупотребления, я помещал их всегда рядом с добродетелью и честностью. Вы встречаете хорошего помещика рядом с дурным, честного чиновника как противоположность злоупотреблению, благородного судью возле взяточника»⁴, — писал Булгарин много лет спустя после выхода романа. Писатель пытался разрешить проблему наиболее полного охвата текущей действительности, стоявшую перед русским романом, не только в смысле панорамности, — хотя и здесь «Выжигин» включает в себя пространство от киргизских степей до Константинополя и Венеции, от Петербурга до «русской Польши», — но и в плане идеологических ориентиров, включающих вопрос о положительном герое. А эта проблема позднее мучила и Гоголя, утверждавшего, что в первом томе «Мертвых душ» Русь представлена отрицательно: «с одного боку»; но есть и другая сторона, положительная, которую непременно нужно показать для полноты нравственной картины, что предполагалось сделать во втором томе. Задуманный Гоголем как симпатичный авантюрист Павел (сын Ивана) Чичиков в дальнейшем должен был преобразиться в положительного (а может быть, и идеального?) героя не только как прежний гонитель христиан Савл, ставший апостолом Павлом, но отчасти как заблуждающийся, но обретший в конце концов истину и вкушивший радость «единичного добра» Иван Выжигин. Булгарин разрешает проблему в русле параллельных сю-

¹ Отсч. зап. 1829. Т. 38.

² Иван Иванович Выжигин. Спб., 1828. 1-е изд. Предисловие.

³ Булгарин Ф. Иван Выжигин. Ч. 1. 3-е изд. Спб., 1830. С. VIII, XIV.

⁴ Сев. пчела. 1845. № 261.

жетов, пожалуй, несколько публицистично, но актуальность постановки проблемы не вызывает сомнения.

Традиция плутовского романа, в которую естественно вписывается «Иван Выжигин», восходит не столько к Лесажу, сколько к отечественному роману В. Т. Нарезного «Российский Жильблаз, или Похождения князя Гаврилы Симоновича Чистякова». Булгаринский роман и носил первоначально подзаголовок «Российский Жильблаз». В эту жанровую традицию входят и «Мертвые души» Гоголя, сюжет которых придуман Пушкиным, а отчасти и «Герой нашего времени» Лермонтова — в плане пародийного оттачивания от «Выжигина». Правда, никакой общественно-литературной свирепости по отношению к Булгарину названные литераторы не испытывали, даже полемизируя с ним. К слову сказать, в «Выбранных местах из переписки с друзьями» Гоголя, также отразивших поиск положительного идеала русской жизни, явственно прозвучали нравоучительные булгаринские нотки, так удивившие современников, почти совсем уверенных Белинским в сугубо отрицательной сущности социально «бичующей» сатиры Гоголя.

Лермонтовский Грушницкий своей неистребимой тягой к романтическим эффектам, жизненной позой и бытовой манерой поведения ориентирован на героя булгаринского романа. Станционный смотритель как устоявшийся социальный тип со священным правилом давать лошадей проезжающим либо за небольшую мзду, либо под влиянием угрозы отразился и в «Станционном смотрителе» Пушкина. Даже классическое сравнение Москвы и Петербурга, в разных аспектах разработанное у Пушкина, Гоголя, Достоевского, Белинского, Герцена, явилось впервые в романе «Иван Выжигин».

Роман Булгарина был переведен на французский, итальянский, немецкий, английский, литовский и польский языки в 1829—1832 годах. Тираж книги разошелся стремительно, потребовались переиздания, которые и появились в 1829 (2-е) и 1830 (3-е) годах.

«Заслуга «Ивана Выжигина» г. Булгарина несомненна,— писал Белинский,— и нам тем приятнее признать ее публично и печатно, что почтенный сей сочинитель не раз обвинял наш журнал в зависти к его таланту. Достоинство произведения Булгарина доказывается еще и его необыкновенным успехом... Кому бы ни нравился тогда роман Булгарина, но он приучал к грамоте и возбуждал охоту к чтению в такой части общества, которая без него еще, может быть, долго бы пробавлялась «Милордом Англинским», «Похождениями Совестдрала Большого Носа», «Гуаком, или Непокколебимою верностию» и тому подобными произведениями фризовой фантазии»¹. Белинский, правда, иронизировал по поводу морализаторства Булгарина, подтрунивал над манерой «забавлять, поучая» и «осмеивать пороки, наставляя», которая представлялась критику наивной и соответствующей

¹ Белинский В. Г. Полн. собр. соч.: В 9 т. Т. 4. С. 80.

вкусам «Апраксина двора»¹. Греч, однако, еще в 1814 году, размышляя о значении романов в «Обзрении русской литературы», писал, что «начинающий чтением романов, доходит потом до стихотворений, до истории, до философии»². С. Т. Аксаков, как будто несколько удивленный шумным и повсеместным успехом «Выжигина», считал, что настоящее место романа Булгарина «в передней», надеясь уязвить, вероятно, таким признанием не только самого романиста, но и восхищенную публику, заподозрив ее в лакейских вкусах. Мысль о том, что «Выжигин» адресован непросвещенной аудитории, разделял и Иван Киреевский, а отчасти и «первейший друг» Грибоедов, сообщавший автору о том, что часто застаёт слугу своего Александра за чтением «Выжигина». Говорили, будто бы и император Николай I называл Булгарина «королем Гостиного двора». К чести Булгарина служит, однако, то обстоятельство, что он никогда не стыдился своих читателей, гостинодворцев ли, чиновников ли, купцов, мещан, дворян, офицеров. Всякая читающая публика была для него дорога и мила. По собственному признанию, он состоял «оруженосцем и конюшенным» этой «дамы»³. Справедливости ради следует, однако, сказать, что статистический анализ различных социальных групп читателей показал: главной категорией явилось все-таки «благородное» сословие — дворяне-помещики и дворяне-чиновники⁴. Существенным дополнением ко всевозможным толкам является и мнение самого романиста: «...весьма замечательно, что все журналы, сколько их ни было ...начинали свое поприще, продолжали и кончали его — жестокою бранью против моих литературных произведений. Все мои сочинения и издания были всегда разруганы, и ни одно из них до сих пор не разобрано критически, по правилам науки. Нигде еще не представлено доказательств, почему такое-то из моих сочинений дурно, чего я должен избегать и остерегаться. О хорошей стороне — ни поминал.. Вы думаете, что я гневался... Уверю честию — нет! Если б они были посмышленнее, то действовали бы иначе. Думая унижить меня, они возвысили — и сочинения мои, благодаря Бога, разошлись по России в числе многих тысяч экземпляров, многие из них переведены на языки: французский, английский, немецкий, шведский, итальянский, польский и богемский — и *Северная Пчела* благоденствует!»⁵

Конечно, Булгарин преувеличил отрицательное отношение журналов к его литературным трудам, но, видимо, ему хотелось спокойного и серьезного отношения к своей работе.

В булгаринском романе в непринужденной форме поднимались и серьезные вопросы. Одним из таких был вопрос о просвещении в связи с лич-

¹ Белинский В. Г. Полн. собр. соч.: В 9. Т. 4. С. 77.

² Греч Н. И. Соч. СПб., 1838. Ч. 5. С. 166.

³ Сев. пчела. 1851. 14 апр.

⁴ Покровский В. А. Возникновение русского нравственно-сатирического романа. М.; Л., 1933. С. 6.

⁵ Воспоминания Фаддея Булгарина. Ч. 1. С. XII—XIII. (Выделено в тексте.)

ной свободой и свободой народа. Сама эта мысль любопытна совпадением с позицией Пушкина преддекабристской и последекабристской поры, — Пушкина, которому Булгарин традиционно, но необоснованно противопоставляется. На вершине своего «волномыслия» в 1822 году Пушкин утверждал, что гражданская свобода является «неминуемым следствием просвещения». А в 1826 году убеждал царя в необходимости распространять и поощрять просвещение как единственное надежное средство предотвращения революционных взрывов: «...одно просвещение в состоянии удержать новые безумства, новые общественные бедствия». «Поверять юношей на руки иностранцам есть величайшая глупость наша», — писал Булгарин в «Выжигине». Из-за этого дворянство сделалось «чужеземною колониею» в России, не зная ни языка отечественного, ни истории русской, ни обычаев, ни нравов. Каста, презирающая все русское, может со временем заразить своим презрением русский народ, лишить его самоуважения, замутив народные истоки, подрывив корни, и обресть его тем самым на самоистязание, самоистребление. Булгарин воевал с «нечестивым либерализмом», министерским деспотизмом, «сатрапством» бюрократов, от чего «волосы становятся дыбом, когда вспомнишь, что после себя оставляешь шестерых малолетних детей, против которых вострят, на твоих глазах, топоры» (записка «Несколько правд, предлагаемых на благорассуждение»).

Арестованному декабристу Корнилову, который сам являлся автором исторических исследований и повестей из эпохи Петра Великого, советовали почитать «Выжигина» в качестве противодействия «антинациональным» идеям. Тревога за русскую молодежь отразилась и в записке Пушкина «О воспитании», поданной царю. Высказать свои мнения по поводу просвещения молодежи венценосный идеолог попросил и Булгарина. В записке «Нечто о Царскосельском лицее и о духе оного» Булгарин настаивал на необходимости, как бы мы сейчас сказали, «патриотического воспитания», образования молодых людей, дабы «искоренить вольнодумство, увлекшее на край пропасти» блестящую русскую молодежь — декабристов.

Записки Булгарина, по воспоминаниям А. В. Никитенко, не давали покоя министрам графу Уварову и князю Голицыну, а также председателю цензурного комитета князю Волконскому. Уваров после очередной записки Булгарина был так взволнован, что сказал Волконскому о том, что хочет, «чтобы наконец русская литература прекратилась»: «Тогда я... я буду спать спокойно»¹.

Огромной популярностью пользовалась булгаринская газета «Северная пчела», в которой печатались А. С. Пушкин, И. А. Крылов, К. Ф. Рылеев, Ф. Н. Глинка, Н. М. Языков. Этой частной газете разрешено было печатать правительственные известия и тем самым авторитетно формировать обще-

¹ Никитенко А. Дневник // Рус. старина. 1889. XII. С. 756—758.

ственное мнение. В России не было газеты, по значению и популярности соизмеримой с «Северной пчелой». Задумав издавать газету «Дневник» и обдумывая ее план, Пушкин писал: «Я хотел бы быть издателем газеты, во всем сходной с «Северной пчелой». Рубрика «Фельетон» впервые появилась в «Северной пчеле», а с возникновением этой рубрики вместо тяжеловесной публицистики возник легкий разговор с читателем о текущих событиях и насущных проблемах. Особенным успехом пользовался многолетний цикл Булгарина «Журнальная всякая всячина». Чиновничий мир поприщинных и хлестаковых совершенно немислим без «Северной пчелы», и эту характерную черту отметил Гоголь в «Записках сумасшедшего» и в «Ревизоре». «Читал «Пчелку», — сообщает Поприщин о своих обычных занятиях и косвенно характеризует почерпнутую информацию: — Эка глупый народ французы! Ну, чего хотят они? Взял бы, ей-богу, их всех, да и перепорол розгами! Там же читал очень приятное изображение бала, описанное курским помещиком»¹. В рассуждении помешавшегося Поприщина Гоголь преобразовал многочисленные политические обзоры «Северной пчелы» 1833 года в связи с борьбой за испанскую корону, оттенив эти обзоры колоритом булгаринских «Воспоминаний об Испании» 1823 года, подчеркнув тем самым, что чиновники как в политических мнениях, так и в эстетических суждениях руководствовались позицией Булгарина. Тип офицеров, которые «любят потолковать о литературе; любят Булгарина, Пушкина и Греча и говорят с презрением и остроумными колкостями об А. А. Орлове», Гоголь изобразил в образе поручика Пирогова, одержимого страстью «ко всему изящному». Мелкие чиновники, Девушкин и Голядкин, у Достоевского не только почитатели исторических романов Булгарина, спародированных в характеристике вымышленного романа «Ермак и Зюлейка», но как и гоголевские чиновники — усердные читатели «Северной пчелы». Никитенко, ревизовавший в 1833 году Петербургский учебный округ, отметил в своем дневнике, что чиновники ничего не читают, кроме «Северной пчелы», в которую веруют, как в священное писание. Когда ее цитируют, «должно умолкнуть всякое противоречие». В 1859-м журнал «Современник», почтив память Булгарина в год его смерти, отметив значительные заслуги знаменитого романиста и журналиста перед русской литературой и публицистикой, писал, что Булгарин «давал умственную пищу своим многочисленным читателям» «и по крайней мере десять тысяч человек приохотил к русскому чтению»².

Ошеломляющий успех принес Булгарину исторический роман «Димитрий Самозванец». Ссылаясь на сочинение митрополита Платона «Краткая церковная история» (1823), романист утверждал, что Самозванец был сыном не бедного галицкого дворянина и не беглым монахом, как писал Н. М. Карамзин, но «некто подставной», специально подобранный и воспитанный иезуитами для водворения смуты в России, — стране, традиционно и небез-

¹ Гоголь Н. В. Полн. собр. соч.: В 6 т. Т. 3. С. 156.

² Современник. 1859. № 1. С. 293, 304.

успешно сопротивлявшейся влиянию католицизма. Кроме присущего ему природного ума, Самозванец был человеком весьма ученым, прекрасно знавшим польский и латинский языки, обладавший превосходными и обширными познаниями и во многих других науках. Он искусно управлял конем, великолепно владел оружием. Все эти факты представлялись писателю несоместимыми с воспитанием русского монаха или сына мелкопоместного дворянина. Булгарин ссылался и на мнения других современных ему писателей, считавших, что появление Самозванца было следствием заговора — «великого замысла» — Иезуитского ордена, действовавшего в то время весьма успешно во всей Европе «к распространению Римско-католической веры». «Сии-то мнения насчет рождения Самозванца, его воспитания и средств, употребленных им к овладению русским престолом, послужили основою моего романа,— заключал писателю.— Записка его — История. Все современные гласные происшествия изображены мною верно, и я позволял себе вводить вымыслы там только, где История молчит или представляет одни сомнения. Но и в этом случае я руководствовался преданиями и разными повествованиями о сей необыкновенной эпохе». Пушкин, доверившись слухам, будто бы Булгарин благодаря III Отделению ознакомился с полным текстом его трагедии «Борис Годунов», которая появилась в печати лишь в отрывках, подумал, что Булгарин способен на плагиат. Но никакого совпадения между текстами «Самозванца» и «Бориса» не было, а интерпретация центральных героев и даже сама историческая концепция, положенная в основу обоих произведений, была противоположной, что было отмечено и современной Булгарину критикой. В «Русском архиве» позднее было напечатано письмо Булгарина к Пушкину по этому поводу. Письмо это никогда не включалось в переписку поэта, а между тем оно предотвратило намечавшееся выступление Пушкина в печати, которое могло бы повредить репутации поэта, даже сделать его смешным.

18 февраля 1830 года Булгарин писал Пушкину: «С величайшим удивлением услышал я (...), будто вы говорите, что я ограбил вашу трагедию «Борис Годунов», переложил *ваши стихи* в прозу и взял из *вашей трагедии* сцены для *моего романа*! Александр Сергеевич! Поберегите свою славу! Можно ли возводить на меня такие небывлицы? Я не читал *вашей трагедии*, кроме отрывков печатных (...). В главном, в характере и в действии (...) у нас совершенная *противоположность*. Говорят, что вы хотите напечатать в «Литературной газете», что я *обокрал вашу трагедию*! Что скажет публика? Вы должны будете доказывать (...). Прочтите сперва роман, а после скажите! Он вам послан другим путем. Для меня непостижимо, чтоб в литературе можно было дойти до такой степени! Неужели, обрабатывая один (т. е. по именам только) предмет, надобно непременно *красть* у другого? У кого я что выкрал? Как я мог красть понаслышке?»¹

Когда «Самозванец» увидел свет, Пушкин адресовал Булгарину фелье-

¹ Рус. архив. 1880. Кн. 3. С. 462.

тоны Феофилакта Косичкина «Торжество дружбы, или Оправданный Александр Анфимович Орлов» и «Несколько слов о мизинце г. Булгарина и о прочем», в которых полемически сопоставил произведения Булгарина и творения лубочного романиста Орлова как родственные литературные факты и высмеял, в частности, «говорящие» фамилии героев «Выжигина», чем очень обидел потрясенного романиста, ответившего ему предрезкой статьей «Анекдот» (Северная пчела. 1830. 11 марта), а затем отрицательной рецензией на VII главу «Онегина»: «Ни одной мысли, ни одного чувствования, ни одной картины, достойной воззрения. Совершенное падение, chute complète! (...) Итак, надежды наши исчезли» (Северная пчела. 1830. 22 марта, 1 апреля). Булгарин упрекал Пушкина в «литературном аристократизме», в намерении «писать для немногих», вывел Пушкина под видом стихотворца, «бросающегося рифмами во все священное», «чванящегося перед чернью своим вольнодумством» и пр., а в доказательство отсутствия у поэта подлинного благородства вывел его в фельетоне под именем «поэта-мулата», возмнившего, что один из его предков был негрятинский принц, тогда как «дознано», что этот «принц» куплен был пьяным шкипером в одном из портов за бутылку рома. За такое «дознание» Пушкин обозвал Булгарина сыщиком Видоком и отвечал ему «Моей родословной». Однако император Николай I запретил Булгарину критиковать Пушкина. «В сегодняшнем номере «Пчелы»,— обратился император к А. Х. Бенкендорфу,— находится опять несправедливейшая и пошлейшая статья, направленная против Пушкина; ... предлагаю Вам призвать Булгарина и запретить ему отныне печатать какие бы то ни было критики на его литературные произведения; и если возможно, запретите его журнал». «Приказания Вашего величества исполнены: Булгарин не будет продолжать свою критику на Онегина,— ответил Бенкендорф и пояснил:— Я прочел ее, государь (...), ничего личного против Пушкина не нашел; кроме того, (...), эти два автора в хороших отношениях между собой»¹.

И действительно, взаимное уважение Пушкина и Булгарина вплоть до этого случая не оставляло сомнений. Так, Пушкин просил Булгарина напечатать в его издании «Литературные листки» свои две «песни», сетуя на редакторскую небрежность «Полярной звезды», где эти «песни» были напечатаны с ошибками, «отчего в них нет никакого смысла». «Элегия» («Простишь ли мне ревнивые мечты...») и «Нереида» появились в «Литературных листках»², причем в письме из Одессы от 1 февраля 1824 года (которое также не включено в переписку поэта) Пушкин счел своим долгом подчеркнуть, что Булгарин принадлежит к «малому числу тех литераторов, коих порицания или похвалы могут и должны быть уважаемы». В «Литературных листках» Булгарина был помещен также и «Бахчисарайский фон-

¹ Лемке Мих. Очерки русской цензуры и журналистики XIX века. Спб., 1904. С. 395.

² Эти «песни» Булгарин опубликовал в «Литературных листках» (1824. № 4. С. 134).

тан» Пушкина вместе с критическим отзывом Булгарина на эту поэму: «Мы... давным-давно не читали ничего превосходнейшего. Гений Пушкина обещает много для России; мы бы желали, чтобы он своими гармоническими стихами прославил какой-нибудь отечественный подвиг»¹.

Успех второго исторического романа Булгарина — «Мазепа» — был также велик. Писатель полагал своей задачей раскрытие сложного внутреннего мира гетмана Украины, Ивана Степановича Мазепы, в решающий исторический момент, когда отделение «Украины» и «Малороссии» от русских единоверцев из боязни уничтожения политической самостоятельности, а отсюда неизбежное союзничество со шведским королем Карлом XII, противником Петра I, и польским королем Станиславом Лещинским представлялись гетману залогом благоденствия страны. Личное самовозвышение в результате политических перипетий играло не последнюю роль в планах Мазепы. Пушкин и Байрон, по словам Булгарина, воспользовались лучшими эпизодами из жизни Мазепы, но его исторический и человеческий характер оставался загадочным. Мастер политической интриги, обладающий острым и пронзительным умом, дипломатическим талантом, знанием людей, даже благородством, но в сочетании с чудовищно изощренным коварством, философски обоснованной лживостью, Мазепа боится русского царя Петра, но в то же время уверен в конечном успехе своих интриг, полагаясь на собственный ум, такт, связи и государственную «звезду». Мазепа — стойкий боец: ничто в политике не может его обескуражить, и лишь роковое стечение личных обстоятельств (совершенно в духе приключенческого романа) лишает его внутренней опоры, приводит к позднему раскаянию и гибели.

Нужно отметить, что сетования Булгарина на то, что лучшие эпизоды из жизни Мазепы уже использованы Пушкиным и Байроном, — это своеобразная литературная поза — поза горделивой скромности. Исторический сюжет романа преобразен такими «авантюрными» мотивами, приключенческими поворотами, что подчас не уступает лучшим страницам А. Дюма. Смерть старого Мазепы от руки неузнанного незаконнорожденного сына в «Тарасе Бульбе» Гоголя преобразуется в сознательное сыноубийство за веру и отечество, а неустрашимый полковник Палей, гроза ляхов, как и Тарас, — ближайший идейный прототип героя гоголевской исторической повести: в образе булгаринского Огневика наблюдаются черты гоголевского Андрия. Дочь Мазепы Наталия, чуждая отцовского честолюбия, и искусная интриганка княгиня Дульская, напоминающая Марину Мнишек, — две противоположности женской судьбы в романе; трагична и судьба дочери лембергского банкира. Марии в это грозное историческое время. Блестящие батальные сцены романа, живые описания быта и нравов давно прошедшей эпохи органично вписаны в повествовательную ткань романа. Писатель обращается к

¹ Литературные листки. 1824. № 1. С. 25.

обширной историографии на разных языках. Прекрасно зная польский, французский и латинский языки, Булгарин пользовался переводами лишь шведских хроник. Документализм он считал важной частью и неперменным условием исторического романа. В «Мазепе» отразилась историческая концепция декабристов, сурово критиковавших взгляды Карамзина на роль сильной личности в истории¹. Это размежевание с русским историком родилось у Булгарина еще в 20-е годы, когда он заказал, сам перевел с польского и опубликовал в десяти номерах «Северного архива» рецензию Иоахима Лелевеля, направленную против «Истории государства Российского» Карамзина. Вместе с тем неприятие концепции Карамзина не носило характера открытой борьбы с ним в художественной форме. Напротив, писатель относился к знаменитому историку с неизменным почтением, что отразилось также и в его воспоминаниях о Карамзине, первая встреча с которым состоялась в 1819 году, вскоре после возвращения в Петербург. Публикация критики Лелевеля на Карамзина положила начало длительной журнальной полемике, и уже в 1846 году Булгарин с некоторым удивлением отмечал, что сам русский историограф благосклонно принял замечания и внес ссылки на «Северный архив» Булгарина в примечания своей «Истории государства Российского».

Булгарин оставил воспоминания о Сперанском, Скобелеве, Грече и многих других выдающихся деятелях эпохи, написал даже несколько слов о своей эпизодической встрече с Наполеоном Бонапартом. Булгаринские воспоминания о Грибоедове, ныне забытые, не включенные даже в издание «Грибоедов в воспоминаниях современников», имеют очень важное значение не только для представления о личности Грибоедова, но и о личности вдумчивого мемуариста. Дружба Булгарина с Грибоедовым смущала очень многих, предвзято относившихся к литературной фигуре Булгарина. В романе Ю. Тынянова «Смерть Вазир-Мухтара», претендующем на научность и на создание новой концепции личности Грибоедова, супруга Булгарина, Елена Ивановна, изображена любовницей Грибоедова. Ну, а как иначе объяснить дружбу «великого» Грибоедова и «ничтожного» Булгарина, как не такими вот простыми и естественными причинами!² Но этот явный анахронизм обличает вкусы «фельдфебельской аристократии» и совсем не позорит женщину, ибо слово человека о мире есть слово его о самом себе.

Когда в 1826 году арестованный по делу декабристов Грибоедов был привезен в Петербург и посажен на гауптвахту Главного штаба, то не кто иной, как Булгарин первым проведal заключенного и хлопотал о его освобождении. В надежде на протекцию Я. И. Ростовцева, Булгарин написал ему, что Грибоедов, в бытность свою в Петербурге, «избегал знакомства с Рылеевым», «ненавидел Якубовича и стрелялся с ним». Не будем забывать, что

¹ См.: Лит. наследство. Т. 59. Кн. 1. М., 1954. С. 595.

² Попытка восстановить честь жены Булгарина предпринята В. П. Мещеряковым в его кн.: А. С. Грибоедов и его литературное окружение. Л., 1983. С. 168—172.

именно Булгарин напечатал в альманахе «Русская Талия» почти всю комедию «Горе от ума» в отрывках, когда она была запрещена, сделав ее тем самым живым фактом русской литературы. Кстати, фамилия главного героя — Чацкий — фамилия польская и, видимо, услышана Грибоедовым от Булгарина. В письме к И. Лелевелю от 12 февраля 1829 года Булгарин упоминает известного исследователя польской истории и древностей Луку Голембиовского, который работал в канцелярии Костюшки, затем сражался под Шекочиными, а после усмирения польского восстания занимался приведением в порядок библиотеки Чацкого¹. Тридцать лет, то есть на протяжении почти всей своей литературной деятельности, Булгарин не забывал о Грибоедове. Задиристо отвечал он «Санкт-петербургским ведомостям», назвавшим Грибоедова покойником: «Грибоедов бессмертен и заслужил другой эпитет, а не покойника...»² Булгарин не только первый опубликовал уникальные по своей ценности воспоминания о Грибоедове, но и запечатлел дорогой для него образ в художественной форме, выведя драматурга под именем Световидова в романе «Памятные записки титулярного советника Чухина, или Простая история обыкновенной жизни» (1835).

Значительное место в творчестве Булгарина занимают нравоописания, впервые введенные им в отечественную литературу нового времени по типу западных «физиологий» и впоследствии разработанные как жанр литературными так называемой «натуральной школы», которой Булгарин придумал название³, так понравившееся им. «Комары. Всякая всячина. Рой первый» (Спб., 1842); «Петербургские нетайны (Небывальщина, вроде правды, из записок петербургского старожилы)», напечатанные в «Северной пчеле» в 1843 году, «Очерки русских нравов, или Лицевая сторона и изнанка рода человеческого» (Спб., 1843) — все эти произведения пользовались большим успехом у читателей. Литераторы «натуральной школы» иногда подражали Булгарину, но чаще полемизировали с ним. Но — сходные явления часто ощущают себя явлениями противоположными⁴. Булгаринские нравоописательные очерки «беспристрастно», «дагерротипно», «без увлечения и сатиры», «документально» описывали текущую русскую жизнь, поселяя уверенность в легкой исправимости отрицательных ее сторон. Оптимизм Булгарина, объявившего, что цель его «физиологических очерков» петербургского быта — избоб-

¹ Письма Ф. Булгарина к Иоахиму Лелевелю. Спб., 1877. С. 19.

² Сев. пчела. 1849. № 3.

³ Термин «натуральная школа» был впервые употреблен Булгариным в «Северной пчеле» 26 янв. 1846 г., критиковавшим самоцельный натурализм в описаниях ряда литераторов.

⁴ Литераторы «натуральной школы» использовали сходную с булгаринскими нравоописаниями поэтику, но стремились к социальному обличительству, критицизму, что было неприемлемо для Булгарина как «подрыwanie основ».

ражение того, «как можно помочь бедному человеку, защитить безвинного и открыть зло», пришлось по душе читателям. «В каждом звании честный человек может быть счастливым», — утверждал Булгарин. Так, «Рассказ нищего» призван научить легкомысленных купеческих сынков уважать свою профессию, родную среду и ее обычаи, беречь «честь смолоду». Впрочем, не только нравоучения содержатся в очерках Булгарина. Они весьма разнообразны по тематике, примером чему может служить «Метемпсихоза, или Душепревращение» — рассказ о вере индейцев в переселение душ. Но странный каприз памяти вычеркнул Булгарина из числа создателей «натуральной школы» как литературного явления.

И до сих пор имя Булгарина произносится пренебрежительно. Но что мы знаем о нем, кроме хрестоматийного: «агент III Отделения», «бывший капитан наполеоновской армии»? Какие произведения его читали? Ведь они не переиздавались свыше столетия.

Фаддей Венедиктович Булгарин никогда не был агентом III Отделения¹. Когда родилась эта сплетня и как она укоренилась, уже никто не помнит. И объясняя ее, приходится прибегать к домыслам вроде того, что, мол, его «записки» «могли играть» (?) роль «доносов», которыми пользовались А. Х. Бенкендорф и Л. В. Дубельт, но это лишь одно из мнений, которое по сути своей является экстраполяцией массового ощущения эпохи политического сыска, а вовсе не научным доказательством. Пытаясь обнаружить негативные стороны в личности Булгарина, говорят, например, что он «предал декабриста» А. О. Корниловича, рассказав о его тайных связях с австрийским двором; но, может быть, Булгарин стремился помешать в чем-то австрийской разведке и действовал как патриот, во благо России? Все зависит от точки зрения.

Булгарин действительно одно время был капитаном наполеоновской армии. Есть мнение, что Булгарин воевал в корпусе наполеоновского маршала Удино, действовавшего в Белоруссии против русского военачальника графа Витгенштейна. Получается, что русские офицеры, в большинстве своем будущие декабристы, стали близкими друзьями человека, проливавшего русскую кровь? А ведь законы чести, понятия о благородстве и предательстве были тогда весьма строги и определены: размыывание границ добра и зла произошло позднее. И вот этот, с позволения сказать, вражеский офицер преспокойно издает «Полярную звезду» с Бестужевым и Рылеевым, принят в гостиную Карамзина, здоровается за руку с Пушкиным, декабриста П. А. Муханова называет в письмах «Милым Петрухой», на дружеской ноге с популярным тогда Гречем, связан узами нежнейшей дружбы с Грибоевым — не странно ли? А что, если Булгарин в войне 1812 года против России действительно не участвовал, как сообщал он в письме генералу Главного штаба А. Н. Потапову, будучи арестованным по делу декабристов? Что, если он воевал как наполеоновский офицер только в Испании? Что слухи,

¹ Словарь русских писателей. М., 1989. Т. 1. С. 348.

«которыми наполнены Литва и Польша», в самом деле «ложны» и Булгарин «всегда сохранял братскую любовь к России»? Но служба во французской армии очень тяготила Булгарина, тем более что раньше он служил в русской армии, откуда его уволили за едкую эпиграмму, написанную то ли на великого князя Константина, то ли на командира полка. «Звание благонамеренного русского писателя и смиренного верноподданного столь несовместно с несчастным моим званием французского офицера, что это мучает меня и терзает,— писал Булгарин Потапову, прося перевести его в соответствующий статский чин «для определения к гражданским делам»¹. В извинение этой роковой ошибки Булгарин не мог ничего представить, кроме «польского происхождения» и «неопытности». В наполеоновских войнах Польша, переставшая существовать политически на карте Европы в результате трех разделов ее территории между Австрией, Пруссией и Россией, воевала на стороне Наполеона, надеясь обрести прежнюю независимость. Наполеон действительно образовал независимое герцогство Варшавское, и множество поляков влилось во французскую армию.

Вопрос об участии Булгарина в войне против России требует серьезного исследования и должен быть обоснован более тщательно. Ведь царское правительство досконально проверило факты, изложенные в булгаринском письме к Потапову, на основании документов из Франции и Польши: это был период борьбы с государственными «изменниками», пятерых из которых бестрепетно повесили, не разрешив даже поставить кресты на их могилах, ныне затерянных. Не исключено, что правительство нашло неопровержимые аргументы в пользу Булгарина, иначе как объяснить ту огромную роль, которую разрешили играть ему в русской литературной жизни, в периодической печати, в идеологии, наконец, если он прежде убивал русских. Это было не в духе эпохи. Может быть, Булгарин и слегка наивничал, утверждая, что главной причиной его вступления в ряды французских войск было юношеское увлечение «блеском славы Наполеона», могущественным воздействием его личности, и на самом деле ему грезилась независимость «ойчизны», Польши, и ее грядущее процветание в обновленном Наполеоном католическом мире. Но трезвый политический ум Булгарина, исторические уроки, которые он наблюдал, превратили его в искреннего приверженца России, глядящего на взаимоотношения России и Польши как на «старый спор славян между собою»².

Составив реляцию о восстании, Булгарин намеревался выехать в Варшаву для «усмирения умов» вместо графа Гауке. Он был уверен, что «много сделал бы добра», предотвратив жестокое кровопролитие.

¹ Лемке М. И. Очерки истории русской цензуры... С. 374—376.

² В письме к И. Лелевелю от 4 января 1823 года Булгарин писал, что любит Польшу как «предмет метафизический, который существует только в истории»: «...потому и пала Польша, что чувство зависти и неприязни вечно управляли делами работников на одном поприще». — Письма Ф. Булгарина к Иоахиму Лелевелю. Спб., 1877. С. 11.

Трудно усмотреть что-либо «доносительское» в записке «О цензуре в России и о книгопечатании вообще», некоторые мысли которой до сих пор актуальны для отечественной прессы: «Нашу публику можно совершенно покорить, увлечь, привязать... одною только тенью свободы в мнениях насчет некоторых мер правительства»; «не надобно больших усилий, чтобы быть не только любимым ею, но даже обожаемым. К этому два средства: справедливость и некоторая гласность». А в записке к Дубельту «Несколько правд, предлагаемых на благорассуждение» Булгарин предрекал волну европейских революций 1848 года, обнаруживая незаурядную политическую прозорливость.

С иронией и не без яда говорят обычно о том, что «в суждениях Булгарина 1824—1825 годов отразились взгляды и мнения декабристов», с которыми Булгарин расстался очень быстро и безболезненно¹. По-видимому, так оно и было. Однако нужно учесть, что становление личности Булгарина шло диаметрально противоположным путем, нежели воспитание будущих декабристов, детей «вольнодумцев» века Екатерины, взращенных в иезуитских пансионах². Булгарин, видимо, никогда не мог до конца понять, почему русская дворянская фронда действует против самой себя, «хотя по положению в свете сей класс людей долженствовал бы быть привязан к настоящему образу правления». Он думал, что «преждевременное честолюбие, оскорбленное самолюбие, неуместная самонадеянность заставляют их часто проповедовать правила, вредные для них самих и для правительства». К обретению отечества Булгарин и декабристы шли совершенно разными путями. Булгарин, родившись поляком без Польши, загубленной, как он считал, полуреспубликанским институтом польского сейма, выбирающего короля, обрел отечество в монархической России, в результате многочисленных и сложных перипетий своей жизни, похожей на авантурный роман. «...Единственная, радикальная причина упадка Польши была власть Иезуитов, истребивших истинное просвещение и укоренивших в умах нетерпимость (*intolérance*). Вторая причина, следствие первой, было слабое правление избирательных Королей»³. В биографии Булгарина отразился внутренний нравственный раскол Польши и внешнеполитический раздел ее территории.

Отец Булгарина, республиканец и товарищ знаменитого Костюшки, был арестован в 1796 году по подозрению в принадлежности к польскому националистическому движению, но вскоре освобожден при содействии графа Ферзена, командующего русскими войсками в Польше. Но незаконный захват родового имения Булгариных паном Дашкевичем оставил семью без средств.

¹ Мордовченко Н. М. Русская критика первой четверти XIX века. М.; Л., 1959. С. 249 и сл.

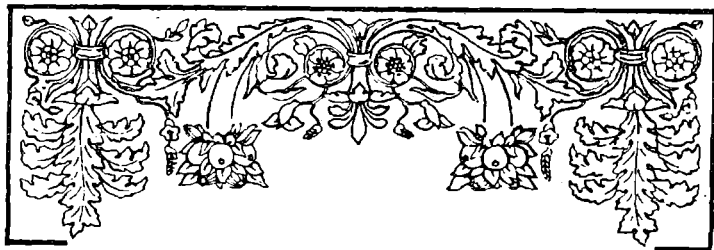
² Ключевский В. О. Воспитание декабристов // Ключевский В. О. Полн. собр. соч. М., 1958. Т. 5. С. 242—244.

³ Воспоминания Фаддея Булгарина. С. 73.

Мать отвезла малолетнего сына в Петербург и не без хлопот поместила его в Сухопутный шляхетский корпус. Здесь Булгарин пристрастился к чтению, впервые стал писать басни и сатиры. После успешного окончания корпуса он принимал участие в военных действиях против французов в 1806—1807 годах, был ранен, за бой под Фридландом награжден орденом святой Анны 3-й степени. Под русскими знаменами он воевал и в Шведскую кампанию. Но вскоре фортуна изменила ему. В 1809 году за сатиру, написанную на начальство, его арестовали, перевели в Кронштадт, в 1810 году — в Ямбургский драгунский полк и в 1811-м в чине подпоручика уволили из армии. В Ревеле Булгарин страшно бедствовал, затем перебрался в Варшаву, переехал в Париж, где вступил в ряды французской армии и в том же 1811 году в составе польского легиона французских войск воевал в Испании. Позднее «Воспоминания об Испании», вышедшие отдельным изданием в Санкт-Петербурге в 1823 году, пользовались широкой известностью. В 1814 году во Франции Булгарин был взят в плен, отправлен в Пруссию, откуда после размена пленных вернулся в Варшаву в 1816 году, недолго был в Петербурге, затем переехал в Вильно, где публиковался в вилениских периодических изданиях, а в 1819 году окончательно поселился в Петербурге. Участие в вилениских периодических изданиях, а также общение с либеральными польскими литераторами, входившими в «общество шубравцев», отразилось на литературных взглядах и вкусах Булгарина. Газета шубравцев «Уличные известия», построенная по образцу «Спектатора» Аддисона, продолжала традиции английской школы сатириков — Свифта, Стерна, отчасти Гольдсмита. Значительную часть газеты заполняли утопии, повлиявшие на фантастику Булгарина («Правдоподобные небылицы, или Странствия по свету в ХХІХ веке», «Похождения Митрофанушки в Луне», «Путешествие к антиподам на Целебный остров» и т. д.). «Товарищество шубравцев», почетным членом которого он стал в январе 1819 года, было крупным литературно-общественным явлением Польши 20-х годов и привлекало к себе настойчивое внимание попечителя вилениского учебного округа Н. Н. Новосильцева, считавшего его «весьма вредным», о чем он сообщил графу Аракчееву, приложив список лиц подозрительных, «коих шубравцы называли Рустиканами». Это были Булгарин, Сенковский, Греч. Слухи дошли и до Николая I. В апреле 1828 года, уже при существовании III Отделения (участие в котором так настойчиво приписывалось Фаддею Венедиктовичу), начальник Главного штаба граф Дибич писал Новосильцеву, что «государь император» интересуется подробностями по поводу Булгарина и Греча. В мае 1828 года Новосильцев сообщал, что Булгарин «продолжает настраивать поляков против россиян», в результате чего дело было передано генерал-адъютанту графу Чернышеву для окончательного решения. Но выяснилось, что еще в 1824 году граф Аракчеев произвел очень подробное следствие по делу Булгарина и Греча, которое обнаружило полную несостоятельность всех обвинений и подозрений на их счет...

В 1989 году исполнилось 200 лет со дня рождения русского писателя, журналиста, издателя Фаддея Венедиктовича Булгарина. Полная история русской литературы невозможна без его имени и трудов. И теперь, когда страсти улеглись, наша нравственная и историческая память возвращает нам его творчество, забытое в бурных идеологических схватках, гневно, но необоснованно заклеенное.

НАТАЛИЯ ЛЬВОВА



ИВАН ИВАНОВИЧ
ВЫЖИГИН

Роман



ПРЕДИСЛОВИЕ

ПИСЬМО К ЕГО СИЯТЕЛЬНОСТИ АРСЕНИЮ АНДРЕЕВИЧУ ЗАКРЕВСКОМУ

Прошло двадцать его лет с тех пор (писано в 1829 году), как я первый раз Вас увидел на поле сражения, в Финляндии, когда незабвенный граф Николай Михайлович Каменский вел нас к победам и вместе с нами преодолевал труды неимоверные, противопоставляемые климатом, местоположением и храбрым неприятелем. Двадцать лет — много времени: пятая часть целого столетия! С тех пор многое переменялось в свете. Смотра философским оком на мир, я утешаюсь в моем ничтожестве тем только, что, при переворотах счастья, некоторые достойные люди, которых знал я прежде, достигли высоких степеней заслугами и постоянным стремлением к общему благу. Радость моя — бескорыстная. Я ничего не ищу, ничего не желаю, кроме уважения почтенных людей и благосклонности публики, которые стараюсь снискать моими трудами и тихою моею жизнью. Избрав Ваше Сиятельство из числа особ, коим посвящено сие сочинение, для объяснения пред ними намерений моих при издании его в свет, я пишу не к Министру, которого уважаю, но к человеку, которого люблю душевно. Вы не переменялись сердцем в течение двадцати лет и в Министерском Кабинете Вы так же добродушны с людьми, ищущими правды, каковы были на поле брани с военными товарищами. Надеюсь, что Вы благосклонно примете сие письмо старого солдата, который променял саблю на перо, чтоб подвизаться за правду — по крайнему своему разумению!

Любить отечество, значит — желать ему блага. Желать блага есть то же, что желать искоренения злоупотреблений, предрассудков и дурных обычаев и водворения добрых нравов и просвещения. Бывает много случаев, где законы не

могут иметь влияния на нравы. Благонамеренная сатира способствует усовершенствованию нравственности, представляя пороки и странности в их настоящем виде и указывая в своем волшебном зеркале, чего должно избегать и чему следовать. Вот с какою целью сочинен роман: *Иван Выжигин*. В нем читатели увидят, что все дурное происходит от недостатков нравственного воспитания и что всем хорошим люди обязаны Вере и просвещению.

Цель благонамеренной сатиры понимали все великие Законодатели России и часто сами прибегали к ее помощи для истребления пороков и предрассудков. Великий Петр повелел переводить с иностранных языков на русский многие полезные книги. Переводчик П у ф ф е н д о р ф о в ы х с о ч и н е н и й выпустил все колкое на счет тогдашних нравов и обычаев Русского народа и заменил сии места ласкательствами. Мудрый преобразователь России прогневался за это искажение подлинника, велел перевести книгу в настоящем смысле и посвятить Своему имени. «Не в поношение русским приказал Я напечатать сатиру на наши нравы,— сказал Государь,— но к исправлению. Пусть знают, чем мы были, чем мы теперь и чем быть должны. Если все, что в книге написано, неправда, то ложь нас не обесславит; а если сочинитель говорит правду, постараемся сделаться такими, чтоб слова его показались ложью». (См. Штелина, Голикова: Деяния Петра Великого, часть IV, и рукописные анекдоты о Петре Великом, Нартова.)

Петр Великий, при неусыпном попечении о гражданском благоустройстве России и о защите ее от завистливых соседей, не мог водворить литературы, которая требует для созрания много времени, и бросил только первые семена. Они принесли питательные плоды не прежде царствования императрицы Е к а т е р и н ы Великой. В промежутки между сими двумя славными царствованиями начала расцветать Русская Словесность, и первым ее цветом были: *Сатиры Князя Кантемира*, которого по справедливости должно почитать первым из светских Российских писателей.

Великая Е к а т е р и н а дала жизнь и опору возрождавшейся Словесности и употребляла ее на очищение нравов. Рука, начертавшая Наказ и упрочившая благоденствие России мудрыми законами и великими политическими планами, в то же время умела владеть орудием благонамеренной сатиры. По повелению и под особым покровительством мудрой монархини издавался, в 1783 году, журнал, под заглавием: *Собеседник любителей Российского Слова*, в котором поме-

щаемы были весьма резкия статьи о нравах. В этом журнале беспощадно разили пороки, предрассудки и причуды того времени, особенно между знатными. Императрица Сама благоволила помещать статьи Своего сочинения в этом издании, и как по малой начитанности в тогдашнее время и по незнанию литературных приличий многие из русских читателей не понимали истинной цели сих сатирических статей, то мудрая монархиня повелела напечатать в журнале объяснение, которое я привожу, как любопытный памятник образа мыслей Е к а т е р и н ы Великой; насчет сатирических сочинений вообще, а также в улик тем, которые и поныне не понимают, какая может быть польза от сатиры нравственной.

«Когда я писал, я ни о ком не думал. Если не писать о слабостях, человеку сродных, то других и описывать нечего. Когда слабости и пороки не будут порицаемы, тогда и добродетель похвалена быть не может: чрез познание первых, последняя познается. Если же кто себя в книжке моей узнает в порочном или непохвальном изображении, он сам подвергнул себя или подобрел под оное, и здравый рассудок повелевает ему исправиться, а не сердиться. Требуется ли от кого, чтобы в украшенных убранством комнатах зеркала были разбиты для того, чтоб дурные лицом себя в них не узрели? Не сердись, но исправься, читатель; тогда, будучи в мире со мною, я тебя забавлять стану, а ты исправлением своих слабостей заслужишь общее с моим почтение»¹.

Вот что я буду отвечать тем, которые захотят перетолковать цель моего романа!

Знаю, что искренность моего В ы ж и г и н а не понравится людям, которые всякую правду, громко сказанную, почитают своевољством, всякое обличение злоупотребления приписывают дурному намерению; которые просвещение, единственное средство к благоденствию народов, почитают злом, и, подобно татям, желают водворения общего мрака, усыпления умов, глубокого молчания, чтоб поступки их были сокрыты. Им-то можно приписать то, что сказал бессмертный творец комедии *Горе от ума*:

«...Уж коли зло пресечь,
Забрать все книги бы — да сжечь!»

Но, нет! Наше мудрое Правительство печется о просвещении, о водворении нравственности, и, вопреки толкам

¹ См. часть 1, с. 9. Выписка сия напечатана курсивом и в подлиннике. (Здесь и далее, кроме особо оговоренных случаев, примечания Ф. В. Булгарина.).

закоренелых староверов, поборников невежества, дает уму простор. Благонамеренные люди всех сословий чувствуют в полной мере великодушные намерения мудрых наших государей и готовы всеми силами споспешествовать общему благу. Цензурный Устав, высочайше конфирмованный Апреля 22-го 1828 года, есть самый прочный памятник любви к просвещению и к истине обожаемого нами, правосудного монарха, — памятник, достойный нашего века и могущественной России! Нам остается только молить Всевышнего, чтоб исполнители великодушных намерений нашего государя постигали Его великие предначертания: тогда счастье наше будет совершенным, и для словесности российской вновь наступит золотое время Державиных, Фонвизиных...

Наша знать не читает по-русски, чужда русской словесности; наши дамы даже редко говорят отечественным языком, и многие думают, что это важная преграда к возвышению словесности. Нет, это не преграда, но препятствие, которое, однако ж, не в состоянии удержать ее стремления. *Недоросль* и *Бригадир* Фонвизина, *Ябеда* Капниста, *Рекрутский набор*, *Неслыханное диво* представлены были на театре, по воле мудрых венценосцев России. *Вельможа* Державина напечатан с соизволения *Екатерины* Великой. Итак, могут ли быть преграды там, где самодержцы действуют в духе своего времени, ко благу, то есть к просвещению своих подданных? Благодаря Бога, у нас есть еще истинные русские вельможи, заслугами приобретшие право приближаться к священным ступеням трона: они очистят туда же путь истине. Такие мысли утешают сердце и окрыляют ум.

Долгом поставляю сказать несколько слов о моем романе, в отношении литературном. Школяры и педанты, желая непременно держать умы в тисках вымышленных ими правил для каждого рода словесности, сколотили особые тесные рамочки и требуют, чтоб каждый писатель писал по их мерке. Отступить от этих правил почитается литературною ересью. Но откуда родились эти правила? Они составлены из сочинений авторов, которые писали, не зная других правил, кроме законов вкуса своего времени и своего народа, не зная других образцов, кроме природы. Другие времена, другие нравы: Но школяры, скованные в уме своем цепью предрассудков, непременно требуют, чтоб во все времена, у всех народов поэмы писаны были как во времена Гомера и *Виргилия*, оды по правилам *Пиндара* и *Горация*, трагедии по-расиновски, комедии *мольеровским* покроем, нравствен-

ные романы в виде задач. По правилам надобно: чтоб герой романа действовал как Баярд, говорил сентенциями, как оратор, и представлял собою образец человеческого совершенства — и скуки. Когда сочинение мое было почти готово, я получил книжку прекрасного французского журнала, *Revue Britannique* (№ 29, 1887) и, к удовольствию моему, нашел статью, под заглавием: «*От чего герои романов так приторны?*». В ответ на этот вопрос автор говорит: «От совершенства, в котором их представляют. Это ангелы, а не люди». Далее говорит автор: «Нам представляют героев романа какими-то театральными божествами, и от того они также холодны. Многие думают, что представить их слабыми, нерешительными, подвластными обстоятельствам значит унижить их. Но мы люди, мы имеем слабости, и потому самые недостатки человечества занимают и трогают нас более». Таков был и есть мой образ мыслей на счет героев романа. Мой Выжигин есть существо доброе от природы, но слабое в минуты заблуждения, подвластное обстоятельствам — одним словом: человек, каких мы видим в свете много и часто. Таким хотел я изобразить его. Происшествия его жизни такого рода, что могли бы случиться со всяким, без прибавлений вымысла. Понравится ли читателям моим эта простота в происшествиях и рассказе — не знаю. Пусть простят недостатки ради благой цели и потому, что это первый оригинальный русский роман в этом роде. Смело утверждаю, что я никому не подражал, ни с кого не списывал, а писал то, что рождалось в собственной моей голове. Пусть литературные мои противники бранят *Выжигина*: они будут иметь сугубое удовольствие — бранить и не получать ответа.

Я даже не касался нашей словесности орудием моей сатиры, потому что она требует еще помощи, а не сопротивления; она еще не состарилась и не обременена болезнями, вредными нравственности. Литераторов же у нас так не много, что они в обществе не составляют особого сословия, как в других странах. Вредного у нас не пишут, а кривые толки о словесности и оскорбление достойных писателей не имеют никакого весу в публике и служат только к стыду самих пристрастных и незрелых критиков. Я оставил их в покое: лежачего не бьют!

Что же касается до нравственных портретов в моем романе, то их можно было бы умножить и представить многие вещи гораздо сильнее. Но я почел за благо следовать правилу нашего неподражаемого баснописца И. А. Крылова:

*Баснь эту можно бы и боле пояснить:
Да чтоб гусей не раздражить.*

Вот побуждения и правила, которыми я руководствовался при сочинении *В ы ж и г и н а*. Одобрение вашего сиятельства будет мне ручательством в добром мнении людей благонамеренных и самым сладостным утешением в кривом толке других.

ФАДДЕЙ БУЛГАРИН

*С.-Петербург
Февраля 6 дня, 1829 года*

ОГЛАВЛЕНИЕ¹

Глава I. Сиротка, или Картина человечества, во вкусе Фламандской школы	32
Глава II. Г. Гологордовский и его семейство	38
Глава III. Любовь	44
Глава IV. Сватовство	48
Глава V. Бал и похищение	52
Глава VI. Брак, разлука с новобрачными	58
Глава VII. Богатый жид. Источники его богатства	62
Глава VIII. Встреча чиновника, возвращающегося с места, с чиновником, едущим на место. Я оставляю жида	71
Глава IX. Нечаянная встреча. Превращение. Тетушка. Мое воспитание	79
Глава X. Экзамен в пансионе. Искуситель. Новый приятель тетушкин. Что-то похожее на первую любовь. Отъезд из Москвы	89
Глава XI. Я узнаю короче Вороватина. Подслушанный разговор. Предчувствия. Капитан-исправник	101
Глава XII. Вольноотпущенный. Лунатик. Обманутая любовь . .	114
Глава XIII. Плен у киргизцев. Киргизский философ Арсалан-султан. Я сделался наездником	121
Глава XIV. Рассказ Арсалан-султана о пребывании его в России	129
Глава XV. Следствия жестокой зимы в степи. Набег. Радостная встреча с первым моим благодетелем	139
Глава XVI. Рассказ Миловидина. Нравственный автомат и его домоправительница. Семья старой девы. Панорама московского общества. Дружеский кадриль. Русская чужеземка. Общество на теплых водах. Взгляд на Венецию	147
Глава XVII. Решение старейшин киргизских относительно моего вознаграждения. Продолжение рассказа Миловидина. Дуэль. Бегство. Жид-ренегат. Прибытие в Константинополь. Что такое Пера? Измена. Рабство. Освобождение	157
Глава XVIII. Выезд из степи. Опять капитан-исправник! Мытари. Пир приказных	170
Глава XIX. Деловая беседа у русского купца. Беспокойный человек. Кончина злодея	185
Глава XX. Помещик, каких дай Бог более на Руси. Каков поп, таков и приход	195
Глава XXI. Удалой помещик Сила Минич Глаздурин	207

¹ Оглавление составлено было Ф. В. Булгариным. (Прим. ред.)

Глава XXII. Рассказ отставного солдата. Прибытие в Москву. История тетушки. Я нахожу свою мать. Обольститель. Убийцы	216
Глава XXIII. Окончание истории Аделаиды Петровны. За- мужство. Перевоспитание. Вольная жизнь. Пагубные следствия легкомыслия. Я вступаю в свет. Визиты . . .	226
Глава XXIV. Картина большого света. Встреча с милым вра- гом. О, слабость человеческая!	240
Глава XXV. История Груни. Дружба с умною актрисой, или Самый легкий, самый верный и самый приятный спо- соб к разорению	250
Глава XXVI. Избави нас от лукавого! Урок дневного разбоя. Советы отставного солдата. Я опять с деньгами . . .	260
Глава XXVII. Ложные игроки. Письмо от Миловидина. Он нашел жену свою. Раскайные Петронеллы. Эксдивизия в польских губерниях, или Шах и мат займодавцам. Кончина г-на Гологордовского. Г. Почтивский, другой зять его	271
Глава XXVIII. Молодой барич Глупашкин. Любитель драма- тического искусства. Расстройство в разбойничьем вер- тепе. Беда. Бегство Груни. Честность в волчьей шку- ре, или Не должно встречать по платью. Эгоист . . .	281
Глава XXIX. Намерение жениться. Подъяческая арифметика. Знакомство с богатым откупщиком. Пирушка в доме купца Мошнина. Его семейство. Домашний театр	293
Глава XXX. Неудача в сватовстве. Письма из киргизской степи и из Парижа. Отъезд в армию. Война. Отличие. Возвращение в Москву	304
Глава XXXI. Отставка. Отъезд в Петербург. Разница меж- ду петербургским и московским обществом. Злодейский умысел. Несчастливая Оленька. Я заключен в тюрьму. Можно быть счастливым и в бедствии	319
Глава XXXII. Избавитель. Не место, а преступление бесче- стит человека. Праведное наказание злодея. Тайна открывается. Духовное завещание. Любовь и дружба. Процесс. Ходатаи. Секретари. Посещение судей. Везде есть добрые люди	334
Глава XXXIII. Ростовщики. Окончание тяжбы. Дополнение к рассказу Петра Петровича. Участь литераторов. Беда от ханжей. Выслужники. Брак. Милость вельможи. Ход дела. Набег родственников. Отставка. Хороший конец всему делу венец. Заключение	350



ГЛАВА I

СИРОТКА, ИЛИ КАРТИНА ЧЕЛОВЕЧЕСТВА, ВО ВКУСЕ ФЛАМАНДСКОЙ ШКОЛЫ

До десятилетнего возраста я рос в доме белорусского помещика Гологордовского, подобно доморощенному волчонку, и был известен под именем *сиротки*. Никто не заботился обо мне, а я еще менее заботился о других. Никто не приласкал меня из всех живших в доме, кроме старой, заслуженной собаки, которая, подобно мне, оставлена была на собственное пропитание.

Для меня не было назначено угла в доме для жительства, не отпускалось ни пищи, ни одежды и не было определено никакого постоянного занятия. Летом я проводил дни под открытым небом и спал под навесом хлебного анбара или на скотном дворе. Зимой я жил в огромной кухне, которая служила местом собрания всей многолюдной дворне, и спал на большом очаге, в теплой золе. Летом я ходил в одной длинной рубахе, подпоясавшись веревкою; зимою прикрывал наготу свою чем попало: старою женскою кофтой или полуразрушившимся армяком; этим убранством снабжали меня сострадательные люди, не зная, куда девать старые тряпки. Я вовсе не носил обуви и так закалил мои ноги, что ни мягкая трава, ни грязь, ни лед не производили в них никакого ощущения. Головы я также никогда не прикрывал: дождь смывал с нее пыль, снег очищал золу. Питался я остатками от трапезы дворовых людей, в разных отделениях дома, и лакомился яйцами, которые подбирал в окрестностях курятника и под хлебным анбаром; остатками в молочных горшках, которые я вылизывал с необыкновенным искусством, и овощами, краденными по ночам в огороде. У меня не было никакого непосредственного начальника, а всякий помыкал мною по произволу. Летом меня заставляли пасти гусей на выгоне или

на берегу пруда стережь утят и цыплят от собак и коршунов. Зимой меня употребляли вместо машины для оборачивания вертела на кухне, и это было для меня самое приятное занятие. Всякий раз, что повар или поваренки отворачивались от очага, я проворно дотрогивался ладонью до сочного жареного и под рукавом сосал жирную руку, как медведь лапу; иногда я очень искусно обрывал куски ветчины из шпигованья и похищал котлеты из кастрюль. Главная моя обязанность состояла в том, чтоб быть на посылках у всех лакеев, служанок и даже мальчиков. Меня посылали в корчму за водкою, ставили на часы в разных местах, неизвестно для какой причины приказывая свистеть или бить в ладоши при появлении господина, приказчика, а иногда даже других лакеев и служанок. По первому слову: «Сиротка! сбегай туда-то; кликни того-то», — я пускался из всех ног и исполнял приказания со всею точностью, потому что малейшее упущение влекло за собою неминуемые побои. Когда меня ставили на часы и не велели оглядываться (что особенно случалось в саду) я стоял как вкопанный в землю, не смел даже шевелить глазами и тогда только двигался, когда меня сталкивали с места. Иногда, хотя очень редко, меня награждали за мою усердную службу куском черного хлеба, старой ветчины или сыру; и я, как ни бывал голоден, всегда, однако ж, делился этим с моею любимую собакой, *кудлашкою*.

Видя, как других детей ласкают и целуют, я горько плакал, не знаю, по какому-то чувству зависти и досады; ласки и лизанье *кудлашки* облегчали грусть мою и делали сноснее мое одиночество. Смотри, как другие дети ласкаются к своим матерям и нянькам, я ласкался к моей *кудлашке* и называл ее маменькою и нянюшкою, обнимал ее, целовал, прижимал к груди и валялся с нею на песке. Мне хотелось любить людей, особенно женщин; но я не мог питать к ним другого чувства, кроме боязни. Меня все били и толкали: с досады, для забавы и от скуки. Когда я попадался навстречу лакею или служанке, получившим гонку или побои от господ, они вымещали на мне свою досаду, сгоняя с дороги пощечиною или щелчком, с приговоркою: «Пошел прочь, *сиротка!*» Если я из любопытства хотел иногда посмотреть, как запрягают цугом лошадей, — кучера, чтобы возбудить смех в других зрителях, хлопали бичом над моею головою или стегали по ногам и заставляли меня с воплем прыгать под ударами. К псарям я не смел приближаться на расстояние длины аrapника. Даже пастухи издевались надо мною: они, для шутки, вгоняли меня плетью в стадо и утешались, смотря, как я в

страхе увертывался между коровами и овцами. Два господские сынка забавлялись, стреляя в меня из лука и травя маленькими комнатными собачками, от которых, однако ж, защищала меня всегда моя *кудлашка*.

Самого барина я редко видал: встретив меня однажды на дворе, он запретил мне приближаться даже к окнам господского дома, и так страшно стукнул ногою, примолвив: «Прочь, зверенок!», что я не смел более показываться ему на глаза и прятался в собачью конурку, лишь только, бывало, завижу его издали. Барыню и двух барышень я видал не иначе как чрез забор в саду или в коляске и знал их только по нарядам. Приказчика и его жены я боялся, как смерти, потому что они несколько раз секли меня, в пример милому их сынку, который не хотел учиться азбуке, но любил разорять птичьи гнезда и швырять камнями в господских утят и цыплят: истребление домашних птиц этим негодяем приписывалось коршунам и моему несмотрению. В наказание за проказы этого шалуна, его заставляли смотреть, как меня секут, и слушать нравоучение, которое заключалось в сих словах: «Смотри, Игнашка, если ты будешь долее шалить и не станешь учиться, то и тебя будут так же больно сечь, как этого *сиротку*. Слышишь ли, как он визжит? Вот и ты запоешь этим же голосом!» В награждение за драматическое представление этого опыта нравоучения, жена приказчика давала мне кусок хлеба с сыром или крынку молока, которое я глотал пополам со слезами, не постигая ни причины наказания, ни милости.

Вот все, что я помню из первого моего детства, которое врезалось в моей памяти одними горестями и страданиями. Наконец судьбе угодно было облегчить тяжкую мою долю и, по крайней мере, включить меня в число словесных тварей. Эта перемена случилась со мною таким образом:

Одна из служанок, Маша, веселая и миловидная девушка, которая ставила меня на часы в саду чаще, нежели другие горничные, однажды встретив меня на дворе в сумерки, в осеннюю пору, подозвала к себе, погладила по головке и сказала:

— Возьми эту бумажку, *сиротка*; сожми крепко в руке и ступай в деревню. Там, в доме старосты, спроси, где живет офицер, отдай ему бумажку и воротись назад. Только никому не говори, что ты послан от меня, и если б кто хотел у тебя отнять бумажку, съешь ее, а не отдавай. Понял ли ты, *сиротка*?

— Понял.

— Ну, перескажи ж мне все, что я тебе сказала.

Я пересказал ей слово в слово, и она так была довольна этим, что чуть меня не поцеловала, и удержалась потому только, что я был слишком замаран.

— А знаешь ли ты дом старосты?

— Как не знать: третий от корчмы.

— Хорошо. А знаешь ли, что такое офицер?

— Ну, тот барин, что красные заплаты на кафтане, что ездит верхом и что ходит вечером...

— Довольно; вижу, что ты умен и расторопен; когда хорошо справишься, получишь много хлеба, мяса и всего: слышишь ли?

— Слышу,— отвечал я. С сим словом свистнул я на кудлашку и побежал в голоп за ворота.

По большой дороге до деревни было три версты, а по известному одному мне пути, через плетни и огороды, не было и половины этого. Прибежав в дом старосты, я встретил в сенях офицера, которого знал в лицо, поклонился ему и отдал записку. Он осмотрел меня с головы до ног, улыбнулся и велел следовать за собою в избу. Там, посмотрев на бумажку, он казался очень довольным ею и в награждение за добрую, по-видимому, весть дал мне кусок сладкого пирога. Это было в первый раз в жизни, что я отведал этой лакомой пищи; я не мог удержать моего восторга, почувствовав во рту неизвестное мне дотоле, приятное ощущение; в глазах офицера начал я пожирать пирог, изъявляя мою радость громким смехом и прыжками. В это время вошел другой офицер, и они оба весьма забавлялись дикою моею простотой, при отведывании сахара, вина и разных сластей.

— Кто ты таков?— спросил меня тот офицер, к которому я был послан.

— *Сиротка*,— отвечал я.

— Кто твои родители?

— Не знаю.

— Как тебя зовут?

— *Сиротка*.

— Бедное твореньице! — сказал добрый офицер, погладив меня по лицу.— Я позабочусь о тебе. Не правда ли, что этот мальчик красавец? — примолвил офицер, обращаясь к своему товарищу.

— Правда,— отвечал другой.— Жаль только, что его держат как поросенка.

Ласки этих добрых офицеров до такой степени растрогали меня, что я, вспомнив о других детях, которых в моих

глазах ежедневно ласкали отцы и матери, принялся горько плакать и бросился обнимать ноги людей, которые, в первый раз в жизни моей, обошлись со мною по-человечески. До сих пор рука человека поднималась на меня не иначе, как для побоев и толчков, и потому я живо ощущал ласки, которым сперва завидовал издали, никогда не испытывав их на себе. Мои слезы и благодарность произвели, как теперь постигаю, сильное впечатление в офицерах. Они удвоили свое нежное обхождение со мною и дали разных сластей на дорогу.

— Теперь ступай домой, *сиротка*, — сказал мне офицер, — и скажи тому, кто послал тебя: *хорошо*; но только так, чтоб тебя другие не слышали. Понимаешь ли?

— Понимаю: я дерну Машу за полу, отзову ее на сторону и скажу, что добрый барин сказал: *хорошо*!

— Прекрасно, бесподобно! Этот мальчик расторопен не по летам, — сказал офицер, — я из него сделаю человека. Прощай, *сиротка*!

Вообще все секретные поручения, близкие к сердцу поручающих, бывают источником счастья исполнителей, когда исполняются расторопно. То же случилось и со мною. Пришедши в господский двор, я тихонько пробрался в кухню и, заметив, что Маша с беспокойством на меня поглядывала и озиравлась на все стороны, я не подал вида, что хочу говорить с нею, и вышел из кухни. Маша последовала за мною, и, когда я отдал ей отчет в моем посольстве, она тоже погладила меня, похвалила за расторопность, велела никому не рассказывать о происшедшем и обещалась на другой день наградить меня. Я провел приятнейшую ночь в жизни, под навесом, на соломе, с моею *кудлашкою*, которая согревала меня своею теплотою; мне всю ночь снились офицеры, с их пирогами и сахаром!

Утром, бродя, по обыкновению, возле кухни, чтоб пожить чем-нибудь, я увидел Машу, которая подозвала меня к себе и велела за собою следовать к приказчику. Думая, что меня снова станут сечь розгами, для примера негодному его сынку, я горько заплакал и собирался бежать в деревню к офицерам. Но Маша уверила меня, что со мною не сделают ничего дурного, и я последовал за нею, дрожа, однако ж, от страха. Меня умыли, причесали, или, лучше сказать, *выскребли*, надели чистое белье, прикрыли каким-то кафтанишком и повели в господские комнаты. Я был в таком точно положении, как овца в руках у пастуха, которая трепещет от боязни, не зная, стричь ли ее станут или резать. Меня по-

ставили в сенях и велели дожидаться. Я крайне удивлялся, что лакеи и мальчики, проходя через сени, не били меня и не насмехались надо мною, по обыкновению. Это придало мне смелости; но когда дверь из комнаты вдруг открылась, и я увидел господина, госпожу, барышень и господских сыновей, которые все шли прямо ко мне, бодрость меня оставила, и воспоминание о запрещении господина приближаться к окнам дома отозвалось в моей памяти. Мороз пробежал по всем моим жилам; я затрепетал, вскрикнул от ужаса и хотел было опрометью бежать из сеней; но меня остановили. По счастью, я заметил в числе зрителей офицера; бросился ему в ноги, охватил их ручонками и жалостно возопил:

— Не давай меня сечь, добрый барин; я, право, ничем не виноват!

— Бедный сиротка! — сказал офицер. — Как он загнан и напуган! Встань, дружок, — примолвил он. — Тебя не станут сечь, а будут кормить пирогами.

Слово «пироги» произвело во мне магическое действие. Я встал, обтер рукавом слезы и, осмотревшись кругом, заметил, что барин морщился и поглаживал усы, барышни держали платки возле глаз, барыня отворотилась от меня, а господские сынки из-за маменьки высовывали мне языки и делали гримасы.

— Господин *Канчуковский*! — сказал барин, обратившись к приказчику. — Этого мальчика я беру в комнаты и определяю, по просьбе старшей моей дочери, в *английские жокеи*, на ее половину. Пошлите за жидом, портным, в местечко, и велите его одеть по рисунку, который вам сообщит моя дочь.

— Слушаю-с, — сказал приказчик с низким поклоном.

— Мальчик мне нравится, — продолжал важно господин *Гологордовский*. — Удивительно, что я прежде не заметил его в доме.

Женщины начали меня ласкать и гладить.

— Как его зовут? — спросил барин у приказчика; но он, подобно мне, не мог отвечать на этот вопрос. Послали спрашивать у целой дворни, и по справкам оказалось, что меня доставили во двор под именем Ивана. С этих пор меня перестали называть *сироткою*, и я сделался известен в доме под именем *Ваньки Англичанина*, от одежды жокея. Не я первый, не я последний в свете заимствовал название и достоинство от платья!

ГЛАВА II

Г. ГОЛОГОРДОВСКИЙ И ЕГО СЕМЕЙСТВО

Когда Белоруссия принадлежала Польше, г. Гологордовский изъяснял большую привязанность к России и даже доказывал, что он происходит от древней русской фамилии, поселившейся в сем краю во время Мстислава Удалого. По присоединении сей страны к России, г. Гологордовский вдруг сделался приверженцем древнего польского правления и начал выводить род свой от камергера польского короля Попеля, съеденного мышами на озере Гопле, разумеется, по писаниям. Г. Гологордовский весьма сожалел о тех блаженных временах, когда сильный барин мог безнаказанно угнетать бедных шляхтичей и, называя их братьями своими, равными, бить батогами на подостланном ковре, в знак отличия от мужиков; сажать их в домашнюю тюрьму и отнимать имение по выдуманным притязаниям. Он особенно жалел о перемене обычаев на сеймиках, то есть на выборах дворянских. В старину богатый помещик привозил с собою, на нескольких телегах, бедных, но буйных и вооруженных шляхтичей, заставлял их выбирать себя и своих приятелей в разные звания, бить и рубить своих противников. Это называлось *золотою вольностью*.

Потеряв столь важные преимущества извне, г. Гологордовский ограничился внутренним управлением своего имения, на старый лад. Кроме многолюдной дворни из крепостных его людей у него находилось в услужении множество шляхтичей, которые думали облагородить свое низкое звание слуг почетными титулами. Двор г. Гологордовского составлен был точно так, как некогда у древних феодальных баронов и у старинных польских панов. Главные служители двора были: поверенный, или пленипотент по тяжёбным делам, которых по разным судам всегда было налицо две или три дюжины; комиссар, или главноуправляющий над всем имением; эконо́м, или приказчик; маршалек, заведывавший столом и комнатными служителями; конюший, управлявший конюхами и конюшнею; кухмистер, разумеется, начальствовавший над кастрюлями, поварами и поваренками; охмистрыня, ключница или кастелянша, управлявшая служанками, бельем и кладовою, которая в польских домах называется *аптечкою* и вмещает в себе все сладкое: варенье, конфеты, сахар, кофе и многочисленный разряд водок и наливов. Кроме этих почетных служителей в доме жил, на всем готовом, капель-

мейстер, обучавший барышень и молодых господ музыке, и заведывавший оркестром, состоявшим из двенадцати человек, которые зимою исправляли лакейскую должность, а летом гребли сено и работали в саду. Капеллян, или домашний священник, монах Иезуитского ордена, имел у себя в ведении трех учителей и надзирал над воспитанием детей г-на Гологордовского; сверх того, при них были француз, гувернер, и мадам, француженка, при барышнях. Садовник, немец, в то же время был советником по части земледелия. При самом барине был вольный камердинер, шляхтич, любимец и поверенный его в тайных делах, а при госпоже, для такого же употребления, находилась служанка, также из шляхетского рода, которая хотя исправляла всю службу горничной девушки, но по своему происхождению и заслугам пользовалась уважением в доме и называлась *панною*, то есть мамзелью. Барышни имели также по одной такой *панне*, из шляхтянок, которые заведывали их гардеробом и крепостными служанками, из коих одна при каждой даме носила звание *гардеробной*. Псовая охота составляла особое отделение и отчасти состояла в ведении конюшего, а отчасти и самого барина, большого охотника. В числе охотников также было несколько шляхтичей, называвшихся почетным именем *стрельцов*, то есть егерей. Главные из этих почетных служителей, как-то: поверенный, или пленипотент, комиссар, маршалец, конюший, эконо, капельмейстер и гувернер, жили в доме со своими женами и детьми; сверх жалованья получали они на стол съестные припасы, или ординарию, имели господскую услугу и держали своих собственных лошадей на господском корме. Все прочие вольные служители получали также ординарию, а крепостные люди отчасти живились с господского стола и, кроме того, имели свой особенный общий стол. Но как вольные слуги пропивали часть своей ординарии, а крепостные никогда не наедались досыта, то всякий рвал и крал, что мог и где случалось.

Сверх всей этой феодальной прислуги в доме жило, для компании и забав хозяев, несколько дворян и дворянок, забавников, приятелей, дальних родственников и родственниц, которые назывались резидентами и резидентками, — звание, соответствующее нашим компаньонам, компаньонкам и поживальницам. Они не получали жалованья, но пользовались столом, кормили своих собственных слуг, а некоторые из них имели право держать и лошадей. В числе этих резидентов и резиденток было несколько холостых кредиторов г-на Гологордовского, несколько вдов старых служителей, которым он

лет за двадцать службы не заплатил жалованья, и несколько сирот с капиталами, находившимися в распоряжении хозяина. Одним словом, в доме г-на Гологордовского было почти столько же ртов и желудков, сколько в целом имении рабочих рук; а от того рабочие руки весьма были истощены и весьма слабо двигались для наполнения желудков множества празднующих. Правда, что сам г. Гологордовский, его семейство и званые гости ели и пили хорошо, но за его огромным столом был так называемый *серый конец*, куда никогда не доходили лакомые блюда и вкусные вина и где в полной мере чувствовали неудобство от несоразмерности расходов с приходами.

Г. Гологордовский, в знак польского своего происхождения, носил длинные усы, которые он часто поглаживал, особенно когда разговаривал о важных предметах, то есть о дворянских выборах, процессах и ссорах со своими соседями. Всех их он почитал гораздо ниже себя, невзирая на то что многие из них были богаче его и полезнее для отечества своими заслугами и поступками. Гордость свою г. Гологордовский основывал на древности своего рода, которую он доказывал не историческими доводами о знаменитых подвигах, но судебными протоколами, в которых записаны были, в течение четырехсот лет, жалобы на разбой его предков и решения, осуждающие их на виселицу. Двухсотлетние и столетние фамилии он называл *новичками* и не признавал достойными родниться с ним и обходиться на дружеской ноге. Особенное презрение и ненависть оказывал он к тем, которые сами составили себе имя честным образом, а не получили от предков. Он принимал у себя в доме всех без разбора, но угощал торжественно только *нужных* ему людей, чиновников, капиталистов и заимодавцев, а был благосклонен особенно к тем дворянам, которые, имея в нем *нужду*, соглашались оказывать ему явное предпочтение, слушать без возражения его рассказы и брань против его врагов. Утро, когда нельзя было охотиться, г. Гологордовский проводил за процессными бумагами: их составлял поверенный, а он только, для забавы, прибавлял в бумагах ябеднические крючки, личности и выдуманные притязания. После того он обходил весь двор, чтобы насладиться поклонами многочисленных своих слуг. По-забавившись, за обедом, различными (не весьма тонкими) шутками насчет собеседников и собеседниц, он ложился спать, чтобы дать испариться винным парам, сгустившимся в голове от завтрака и обеда. Время до вечера посвящено было различным забавам, изобретаемым дамами; в этих уве-

селениях г. Гологордовский участвовал только как зритель. Вечером являлся Иосель, жид, арендатор мельниц и корчем во всем имении. Этот Иосель был всеобщим стряпчим целого дома, тайным поверенным господ и слуг, олицетворенною газетою или источником всех политических сношений, соблазнительных анекдотов, в окружности двадцати миль, и пересказчиком всего доброго и худого. Жид имел два могущественные талисмана для заведывания сердцами: деньги и водку. Он был нужен всем, начиная от господина до последнего пастуха в деревне; все были ему должны, и все имели более охоты занимать, нежели платить. С этим жидом г. Гологордовский проводил большую часть вечеров за чашкою пуншу, почерпая от жида различные известия о столице и о губернском городе, где он имел своих корреспондентов. Он вместе с жидом составлял проекты на продажу хлеба, вина, леса, на занятие денег, на неуплату старых долгов. С жидом он совещался о начатии новых процессов, о продолжении уже начатых и о бесконечном течении давно продолжающихся. Жид предлагал различные меры к умножению доходов, без всяких предварительных издержек; например, он подряжался перевозить тяжести на крестьянских лошадях, копать каналы в чужом имении, рубить леса, жечь угля поселянами г-на Гологордовского и т. п. Одним словом, жид-арендатор почитался после господина первым лицом в имении и для самого г-на Гологордовского был необходимее, чем голова на плечах, если б только рот можно было переместить на другую часть тела. Невзирая на такую тесную связь, жид, зная характер г-на Гологордовского, изгибался перед ним, льстил его гордости, присягою утверждая, что он одного только г-на Гологордовского почитает истинным барином и вельможею в губернии. Таким образом, пользуясь его доверенностью, жид, как истинный вампир, сосал кровь усыпленного челоучества в имении Гологордовского, богател и, подобно болоту, принимая в себя всю живительную влагу, иссушал окружные источники богатства и порождал повсюду нищету и бесплодие.

Госпожа Гологордовская почитала себя гораздо выше своего мужа по происхождению. Говорила, что она никогда бы не вышла за него замуж, если б не была принуждена к тому каким-то особенным обстоятельством, в котором русский гусарский полковник играл важную роль. Впрочем, она жила со своим мужем весьма миролюбно, и он старался во всем угождать ей. Она сама избирала свое общество, вымышляла забавы и увеселения, и муж только из чести был пригла-

шаем разделять их со своим семейством. Г-жа Гологордовская никогда ни о чем не просила своего мужа: она забирала в лавках все, что ей было надобно или что нравилось, хотя вовсе не было надобно, и отсылала купцов к мужу, который должен был платить долги женины, несмотря на то что весьма неохотно уплачивать свои собственные. Впрочем, г-жа Гологордовская была очень добрая барыня, хотя и вовсе не занималась хозяйством; с слугами и служанками она обходилась вежливо, не заботясь, впрочем, об их нуждах и не выслушивая никогда до конца их справедливых требований. Она верила, от всего сердца, что ее ласковое слово и улыбка дороже всякому, нежели хорошая пища, одежда и жалованье. Она очень любила читать нежные романы, еще более любила рассуждать с мужчинами о любви, а всего более любила наряжаться. Несколько крепостных швей, обученных в Варшаве и в Петербурге, беспрестанно занимались шитьем и выкройками; почти всякую неделю приходили ящики и пакеты из Петербурга с чепчиками, шляпками, косынками, выкройками и разными тряпками. Всякий день она разряжена была куколкою, хотя бы вовсе не было гостей; а г. Гологордовский, который, при всей своей феодальной гордости, ходил дома в засаленном капоте, полупольского покроя, казался при жене своей первым из покорнейших слуг.

Дочери гг. Гологордовских, Петронелла и Цецилия, были прекрасны собою, ловки в обращении с мужчинами, смелы как драгуны, резвы и веселы. Они были отличные танцовщицы и музыкантши. Говорили очень хорошо по-французски, пели прелестно, одевались с большим вкусом и изысканностью, по примеру матери, и вместе с нею читали нежные романы. Обе они имели очень доброе сердце и даже не любили на прогулках проезжать через деревню, чтобы не видеть нищеты. Старшей, Петронелле, было 18, а младшей, Цецилии, 16 лет от роду.

Два сына, один по 12-му, другой по 14-му году, были настоящие обезьяны по хитростям, уловкам, злости, обжорству и скрытности. Они беспрестанно делали проказы то своим учителям, то сестрам, то слугам. Величайшие шалости приписываемы были родителями отличным способностям и изобретательному уму их деток, на которых они полагали всю надежду своей фамилии и обходились с ними как с наследниками Монгольской империи. Имя *инфанта*, данное старшему сыну, в шутку, одним проезжим офицером, осталось при нем навсегда. Слути, не понимая настоящего значения сего титула, иначе не называли маленького сумасброда,

и это чрезвычайно утешало родителей, которые предвещали своим сыновьям генеральские чины, миллионы и невест-принцесс именно за те качества, с которыми в свете все теряют и ничего не приобретают.

Что же касается до прочих жителей дома, то их было так много, что я теперь не могу даже всех вспомнить, а когда я был впоследствии в доме г-на Гологордовского, многих уже там не застал. Отец иезуит, как иезуит, был загадкою для всех исключая барыни, при которой он исправлял звание духовника. Приказчик был олицетворенная плоть или машина для понуждения: все перед ним трепетало, исключая жида и любимых собак барина, до которых он не смел прикасаться. Маршалек и конюший бессловесные твари, род кастрюль для варения съестных припасов. Вся их должность состояла в том, чтобы смотреть, выпуча глаза, на толпу суетящихся слуг, изгибаться перед господами, всегда говорить *да*, есть за четверых и упиваться каждый вечер варенухою. Поверенный принадлежал к числу тех людей, которых можно, без зазрения совести, сперва повесить, а после судить, зная наверное, что, разобрав каждую неделю их жизни, найдешь двадцать к тому причин. Душа его, так сказать, сотворена была из одних крючков и петелек, чтобы цепляться за все, на что ни взглянут его ястребиные глаза. У него не было ни правого, ни виновного, ни белого, ни черного. Законы он почитал словами, которых сила зависит от истолкования их в левую или в правую сторону. Одним словом, этот поверенный был профессор ябеды и после жида — первый советник г-на Гологордовского. Комиссар... бедный комиссар! Его должность состояла в смотре за порядком по всему имению, в проверке счетов и собирании доходов; но как порядку не бывало, а доходы выбирались прежде времени и когда только было возможно, без всякого предвидения, то он с горя пил одиннадцать месяцев в году, а в двенадцатый месяц составлял отчет наобум, или, лучше сказать, делал смету доходов, переписывал набело и представлял господину вместе с обзорением того, что было предпринято (хотя и не исполнено) в течение года; это весьма радовало г-на Гологордовского, который полагал, что он в самом деле имеет столько доходов, сколько показано в *итоге*. Самая важная особа в доме была *охмистрыня*, или ключница, не потому, что она знала все секреты барыни и пользовалась неограниченною ее доверенностью, но потому, что в ее власти находились все крепительные соки, то есть ром, коньяк, горькие и сладкие водочки. Весь дом ласкался к ней, не исключая даже и барышень,

которые от нее получали варенья и конфеты. Почтенная ключница громогласно объявляла ненависть свою к крепким напиткам, и хотя она всякий вечер, не дождавшись ужина, ложилась в постель с багровым лицом и носом, пламенеющим как зажженный огарок, но это происходило от того, что она страдала зубною болью и принуждена была часто брать спирту на зуб. Так, по крайней мере, она сама говорила. Нет сомнения, что г. Гологордовский очень верил этому лекарству: он весьма часто хватался за щеку и так часто посещал кладовую или аптечку, что протоптал к дверям неизгладимый след на полу кутыми своими каблуками.

Вот люди, между которыми я был последний, по назначению судьбы! Во время моего детства все они казались мне необыкновенными, высшими существами, солнцами! Впоследствии я узнал настоящую их цену и для того упомянул о них в этом месте, чтобы читатель не удивлялся, почему меня держали в доме, как дикого зверя. Впрочем, мы будем иметь случай встречаться впоследствии с некоторыми из упомянутых здесь лиц, и потому преждевременное знакомство с ними не будет излишним.

ГЛАВА III

ЛЮБОВЬ

Все военные любят стоять на квартирах в Польше, невзирая на бедность крестьян, на неопрятство жидов, на различие в языке и вероисповедании с дворянами. Надобно сказать правду, поляки хлебосольны, любят и рады случаю пожить весело, а польки милы до крайности и привязаны вообще к чужеземцам более, нежели бы хотели того их мужья и братья. Военный постой, особенно артиллерии и кавалерии, весьма приятен помещикам, жидам и женщинам. Первые выгодно сбывают с рук произведения земли, вторые — свои товары, а женщины всегда находят обожателей, а часто и мужей, невзирая на духовные увещания католических ксендзов, национальные диссертации помещиков и беспокойства военной жизни. Каждая долгая стоянка полка в каком-нибудь уезде кончится обыкновенно парюю свадеб и парюю дюжен анекдотов, рассеваемых устарелыми красавицами на счет молодых женщин. От этих анекдотов скромные люди сперва приходят в ужас, потом не верят им, а наконец предаются забвению, до нового случая. Вообще польские женщины

любезны, умеют нравиться и любить нежно, со всеми утонченностями романтической страсти, и хотя постоянно не составляет главной черты их характера, но в любви до того ли, чтобы думать о таких отвлеченностях? К тому же нет правила без исключения: возможно ли не любить полек единственно из опасения непостоянства? Польки чувствуют в полной мере, что женщины созданы для любви, и они всю молодость свою проводят в приятных мечтах. На польском языке даже существует особенный глагол, вымышленный для изображения самых милых, впрочем, самых пустых занятий в жизни: *романсовать* (*romansować*). Это действие означает нежную, почтительную любовь, взаимные угождения, основанные на нравственности и благопристойности: оно нигде не может существовать, кроме Польши, где свободное обращение обоих полов не только позволительно, но даже почитается необходимостью. Одна только Италия превосходит Польшу свободой женщин. В Польше никому не покажется странным или неприличным, если замужняя женщина или девица говорит наедине с мужчиною, прогуливается с ним, рука об руку в отдалении от других, принимает от него небольшие подарки, угощения, не будучи за него помолвленной, просватанною или его родственницею. Нежные взгляды, сладкие речи, вздохи, посвящаемые стихи, музыка и даже письма не обращают на себя никакого внимания родителей или посторонних. Там явно говорят, что такой-то влюблен в такую-то; что он волочится за нею (*umizga sie*); что такая-то влюблена в такого-то, и все это не лишает доброй славы. Нежные любовники дают друг другу взаимные клятвы и обещания, строят воздушные замки будущего благополучия и после того расходятся хладнокровно, без всякого соблазна. Вот здесь кстати вспомнить пословицу: что город — то норы, что деревня — то обычай. Между тем я честию могу уверить моих читателей, что, несмотря на самое свободное обращение, нигде, может быть, нет столько добродетельных девиц, как в Польше: вольно верить, вольно не верить... О замужних женщинах я не упоминаю здесь вовсе, потому... потому, что это не идет теперь к делу.

В деревне г-на Гологордовского стоял на квартирах поручик Миловидин со взводом гусарского полка. Он имел все хорошие и дурные качества молодого кавалериста: был храбр, честен, знал службу, но часто бывал в ней неисправен от ветрености и от излишней страсти к забавам. Не будучи вовсе корыстолюбивым, он пускался в большую игру и часто проигрывался в карты до последней копейки, единственно от

скуки или от нечего делать; с природною склонностью к воздержности, из одного молодечества пил венгерское вино, как воду, а шампанское, как квас. Главным его занятием было волокитство. Прекрасный собою, ловкий, остроумный, выросший в кругу лучшего московского общества, отличный танцор, музыкант, живописец, начитанный произведениями французской словесности и одаренный необыкновенною памятью, Миловидин, избалованное дитя счастья, был предметом любви всех женщин, в окружности двадцати пяти миль. Для него давали праздники, его везде хотели иметь в гостях, и, что всего удивительнее, мужчины, то есть помещики, не только не сердились на него за явное предпочтение, оказываемое ему женщинами, но даже любили его. Миловидин был, в полном смысле, *добрый малый*: откровенен и, со всем своим остроумием, простодушен. Он не спорил с поляками о политике, пил с ними за здоровье прежних патриотов и бранил от чистого сердца чиновников: за это пользовался доверенностью старых и дружбою молодых помещиков, которые непременно хотели производить род Миловидина из Польши или, по крайней мере, из Лифляндии. Важная почеть, которой немногие дослуживаются в Польше!.. Сердце у него было такое просторное, что он мог любить пятьдесят женщин в одно время, не изнывая от любви и не утомляя себя вздохами и страданиями. В это время он отдавал преимущество, пред всеми женщинами и девицами, Петронелле Гологордовской, которая, просто сказать, была влюблена в него без памяти. Теперь не нужно тебе догадываться, любезный читатель, от кого и к кому я был послан с письмом в деревню! Теперь ты понимаешь, почему меня прямо произвели в *английские жокеи* и определили для особенных поручений к старшей дочери г-на Гологордовского. Без сомнения, ты, любезный читатель, уже догадался, что я занял звание *любовного почтальона*. Так точно: вся моя должность состояла в том, чтобы во время стола стоять с тарелкою за стулом моей барышни и переносить письма из господского двора в квартиру поручика, что я исполнял с особенною осмотрительностью, точностью и скоростью; за это я был любим моею барышнею, а вследствие этого и целым семейством г-на Гологордовского. Прозвание *сиротки* уже не было для меня знаком унижения; напротив того, выражало нежность и сострадание и произносимо было с участием и особенным умилением. Дворян, следующая всегда примеру господ, ласкалась ко мне столько же, сколько прежде меня презирала. Перемена в судьбе моей произвела быструю перемену и в мо-

ем рассудке, который от природы был хорошо устроен. Я в полгода понял все, что прежде казалось мне загадкой, превзошел в расторопности всех дворовых мальчиков, воспитанных в господских комнатах, и сделался, как говорится, *плутишкой*, или *вострым мальчиком*. Всею этою счастливою переменою я обязан любви!

После приятных дней любви и наслаждения наступила гроза. Полк получил повеление выступить в другую губернию, и это нечаянное происшествие повергло в отчаяние все женское народонаселение целого уезда. Доктора переезжали из одного дома в другой; аптекарская лаборатория пришла в движение; посланцы скакали во всю прыть по всем дорогам, то в город с рецептами, то с письмами. Казалось, будто чума или какая заразительная болезнь свирепствовала в окрестностях. И в самом деле, спазмы, мигрени, *ванеры*, нервные припадки, *вертижи* одолели прекрасный пол. Особенно моя барышня, Петронелла Гологордовская, пришла в совершенное изнеможение. Она слегла в постель, поклялась умереть от любви и отказывалась принимать лекарство, прописанное доктором от простудной лихорадки. В самом деле, положение ее было опасное. Беспрестанные слезы и рыдания, бессоница и внутреннее волнение могли дать дурное направление небольшой простуде, полученной в саду, во время поздней беседы с милым другом. Она не хотела принимать никаких советов и утешений от родителей, сестры и подруг и тогда только успокоилась несколько, когда Миловидин дал ей честное слово возвратиться как можно скорее и браком увенчать нежную любовь. Самолюбие Миловидина было тронуто таким сильным изъявлением страсти прелестной Петронеллы; он от роду не видал, как хворают и умирают от любви, и, будучи свидетелем и предметом сцены, достойной украсить самый нежный роман рыцарских времен, Миловидин разнежился и решился наградить прелестную страдальницу своею рукою. Но это обещание дано было втайне, без ведома родителей. Они положили переписываться между собою посредством жида-арендатора, которому Миловидин грозил отрубить нос и уши в случае измены, а между тем, во время своего отсутствия, он поручил тетке Петронеллы, со стороны матери, устроить сватовство. Любовники предвидели трудности в получении согласия отца Петронеллы, который питал себя надеждою, что какой-нибудь путешествующий принц, хотя бы азиатский, или по крайней мере вельможа пожелает облагородить поколение свое союзом с фамилиею Гологордовских. Но как из всех глупостей человечества лю-

бовь есть самая сильная, то и наши любовники надеялись превозмочь высокомерие и упрямство г-на Гологордовского или переступить через них насильно.

ГЛАВА IV

СВАТОВСТВО

Зима прошла скучно. Г. Гологордовский должен был выезжать несколько раз в губернский город для своих тяжб, кончившихся не весьма благополучно. Тяжебные расходы принудили его к некоторой бережливости в доме и заставили семейство г-на Гологордовского остаться в деревне во время дворянских выборов, куда на несколько недель стекло все дворянство. Это обстоятельство повергло в меланхолию г-жу Гологордовскую и младшую дочь; старшая и без того уже страдала сердечным недугом. Тщетно отец иезуит проповедовал о суете мира сего: его слушали со вздохами и перерывали, чтобы начинать разговор о балах и нарядах. Г-жа Гологордовская сожалела только о том, что ее отсутствие во время выборов подаст посетителям из других губерний и военным людям весьма дурное понятие о вкусе женского пола, в отношении к нарядам, и что без ее дочерей нельзя будет танцевать мазурок и французских кадрилей. После этого предисловия начинался критический разбор всех женщин целой губернии, от тридцатипятилетних до шестнадцатилетних, а в заключение оказывалось, что одна только г-жа Гологордовская и ее дочери не имели никаких нравственных и физических недостатков, а все прочие женщины крайне обижены были природою. Поживальницы, или резидентки, доверенные мамзели — компаньонки, жены поверенного и комиссара и даже отец иезуит подтверждали своим согласием мнение г-жи Гологордовской, и это служило ей некоторым утешением в горе. Если б десятая часть мнений г-жи Гологордовской насчет женщин была справедлива, то мужчинам надлежало бы искать жен не только в другой губернии или в другом царстве, но и на другой планете. По счастью, все матушки точно так же думали о себе и о своих дочерях, как г-жа Гологордовская, и потому всем недостаткам женщин надлежало верить, принимая их только в сложном числе.

Миловидин остался постоянен. Он на всякие десять писем Петронеллы отвечал одним, весьма нежным и притом забавным, писанным на бумаге розового, зеленого или голубого

цвета: тогда была еще такая мода в провинциях. Хотя я не мог читать этих писем, но заключал о их содержании по расположению духа моей барышни, которая, перечитывая их сто раз, всегда начинала слезами, а оканчивала смехом. Миловидин описывал ей новые свои знакомства, различные приключения, характеры и анекдоты, которые утешали мою барышню в разлуке и веселили обеих сестер. Жид верно исполнял порученную ему должность: он получал с почты и пересылал письма с величайшею точностью. Невзирая на то что я теперь был бесполезен моей барышне, она продолжала любить и ласкать меня: со мною соединены были сладостные воспоминания, и, кроме того, Миловидин особенно рекомендовал меня ее покровительству.

Наступила весна: вся природа ожила, но розы не расцвели на щеках прекрасной Петронеллы. Она день ото дня становилась печальнее и не могла без слез смотреть на птичек, сидевших парами на ветках. Все знали причину ее горести; но, исключая сестры, верной Маши и жида, никто не напоминал ей о милом и не утешал ее надеждами.

Однажды, в приятный весенний день, на закате солнца, все семейство г-на Гологордовского полдничаало в саду. Жареные цыплята с салатом, приправленным сметаной, и бутылка Венгерского, подаренная, как редкость, жидом-арендатором, привели г-на Гологордовского в такое веселое расположение духа, что тетюшка вознамерилась воспользоваться этим случаем к исполнению своего поручения. Она дала знак барышням, чтоб они удалились, и завела речь, сперва издали, о счастье супружества по взаимному выбору сердец, коснулась жалкого состояния Петронеллы, изнывающей от любви, а наконец напрямки объявила, что она уполномочена от Миловидина и своей племянницы просить согласия родителей на брак, и вынула из-за пазухи письмо. Г-жа Гологордовская молчала во время рассказов своей двоюродной сестры, вздыхала, посматривала на небо и покачивала головою. Напротив того, г. Гологордовский при первых словах тетки начал оказывать нетерпение и досаду. Сперва он удвоил глотки вина, потом покраснел, а наконец, когда осушил бутылку, пришел в бешенство, сильно ударил кулаком по столу, так, что вся посуда запрыгала, и грозно воскликнул:

— Довольно!

Тетюшка не испугалась, однако ж, этой бури, и спокойно сказала:

— Я не вижу, что бы могло препятствовать этому браку.

— Многое, очень многое, сударыня, — отвечал г. Гологор-

довский.— И вы не видите этого потому, что никогда не заглядывали в мой домашний архив и, вероятно, не примечали фамильных портретов в столовой зале.

— Но разве Миловидин не дворянин? — примолвила тетушка.— Его отец и дед были в генеральских чинах.

Г. Гологордовский горько улыбнулся.

— Сударыня,— сказал он,— прежде вас я расспрашивал Миловидина об его роде и от него самого узнал, что его дворянство начинается только от прадеда.

— Неужели этого мало? — спросила тетушка.

— Так мало, что меньше быть нельзя для вступления в союз с фамилиею, которая считает свое дворянство от пятидесяти поколений. Итак видите, сударыня, что мое дворянство относится к дворянству г-на Миловидина, как пятьдесят к трем, следовательно, между нами есть *маленькая* разница.— При этом он лукаво улыбнулся.

— Но в наше время старые и новые дворяне имеют одно право на почести, и одна только заслуга, или по крайней мере служба, доводит людей до высоких званий,— сказала тетка.

— Это не наше дело, сударыня,— отвечал г. Гологордовский.— Вы знаете старую нашу пословицу: шляхтич на одном огороде равен воеводе.

— Следовательно, Миловидин равен вам,— примолвила тетка.

— Нимало,— возразил г. Гологордовский.— Это значит, что только дворяне, равные родом, равны между собою, невзирая на различие в чинах. Притом же одной древности происхождения недостаточно, чтоб быть моим зятем: надобно богатство — и огромное богатство, для поддержания блеска соединенных фамилий, а Миловидин гол как сокол.

— Правда, что отец Миловидина прожил все свое состояние на службе,— сказала тетка,— но у него есть богатый и бездетный дядя, который не намерен никогда жениться. Он очень любит своего племянника, содержит его в службе и намерен сделать его своим наследником.

— Откуда эти вести? — спросил г. Гологордовский.

— У меня есть собственноручные письма дяди к Миловидину,— отвечала тетка.

— Все это воздушные замки: стыдитесь, сударыня, унижать род свой до такой степени, чтоб осмелиться предлагать мне союз с человеком без имени и без состояния,— сказал г. Гологордовский важно и встал с своего места.— Прошу вас не говорить мне впредь об этом, если хотите сохранить мою дружбу.

— Очень хорошо,— возразила тетка, покраснев с досады,— но позвольте мне сделать одно замечание: неужели вы захотите уморить дочь свою от любви и выдать ее замуж противу склонности сердца?

— Не заботьтесь об этом, сударыня,— сказал г. Гологордовский.— Девицы от любви не умирают и даже бывают очень счастливы в супружестве противовольном. Доказательством этому служит ваша двоюродная сестра, а моя любезная жена, которая также была влюблена в офицера перед свадьбою, и три раза падала в обморок прежде произнесения рокового *да*, перед брачным алтарем. Все перемоглось наконец, и я надеюсь, что г-жа Гологордовская не жалуется на несчастную свою участь, хотя муж ее не носит шпор и мундира. Не правда ли, душа моя? — примолвил г. Гологордовский, поцеловав нежно жену свою, в первый раз с тех пор, как я находился в комнатах.

— Да... правда...— отвечала жена с глубоким вздохом.

— Велите заложить линейку и оседлать мне верховую лошадь! — сказал г. Гологордовский.— Милостивые государины! не угодно ли вам прогуляться со мною, версты за три? Я вам покажу нечто новое: корчму, которую строю теперь на самой границе моей и под боком соседа моего Процессовича. Корчму эту я назвал *Рожон*: это будет настоящий рожон в глаза моему любезному соседу. Не правда ли, г. маршале?

— Сушая правда,— отвечал маршале с низким поклоном.

— Я велю в этой корчме продавать водку гораздо дешевле, нежели она продается в корчме Процессовича, и таким образом переманю к себе всех его мужиков. Не правда ли, г. комиссар?

— Точно так,— отвечал комиссар.— Если он вздумает выгонять своих мужиков из моей корчмы, то я позову его в суд, на расправу, за насилие. Не правда ли, г. пленипотент?

— Точно так, сушая правда,— отвечал поверенный.— Мы позовем его в суд уголовный, *pro expulsiōne et violentia*.

Пока г. Гологордовский продолжал разговаривать таким образом со своими служителями, которые во время сватовства стояли в некотором отдалении, г-жа Гологордовская пошла в комнаты одеваться, а тетка соединилась с барышнями и, отведя их в темную аллею, пересказала, по-видимому, о следствии своих переговоров. Не знаю, что происходило между ними, но я, к крайнему моему удивлению, не заметил слез в глазах барышни, когда она вышла на крыльцо, чтобы са-

диться в линейку. Напротив того, мне показалось, что она была веселее обыкновенного.

ГЛАВА V

БАЛ И ПОХИЩЕНИЕ

Г. Гологордовский хотел праздновать рождение своей жены и вместе с тем выигрыш тяжбы о десяти десятинах земли. Тяжба эта продолжалась тридцать лет и каждой стороне стоила в шестьдесят раз более, нежели предмет спора. Но как главное дело состояло в том, чтобы поставить на своем, то публичное изъявление радости служило как бы вознаграждением за все оскорбления и издержки, понесенные во время тяжбы, и вместе уничтожением противника. За неделю вперед разосланы были приглашения к родным, соседям и даже далеким знакомым в губернии. Жид-арендатор приставил двух других жидов, подрядчиков, для доставления вин и пряных кореньев к столу. Эти мнимые подрядчики, как я после подслушал у приказчика Канчуковского, продавали товары, принадлежавшие нашему арендатору, который не хотел ставить припасы от своего имени, оттого что опасался уплаты обязательством или векселем, в чем не смел отказать г-ну Гологордовскому. Но как наличных денег в доме не было, а хлеб еще не поспел, то посев пшеницы и ржи был продан десятинами в поле, или, как говорится, *на корню*. Наш арендатор взял доверенность от мнимых поставщиков для получения хлеба после снятия его и умолота и трех дюжин телят, после рождения, с условием кормить в продолжение восьми месяцев. Таким образом г. Гологордовский, продав хлеб в недрах земли и скот прежде рождения на свет, получил огромный запас вина и столовых припасов, которые должны были исчезнуть в одни сутки. Все охотники из деревень разосланы были в леса для припасения дичи: им роздано было по фунту пороху и по три фунта дробы, с условием доставить непременно по шестьдесят штук дичины. На два фунта пороху полагалось три законные промаха, а за остальные надлежало вносить в господскую казну по гривне серебром. Жид-арендатор представил г-ну Гологордовскому список всех крестьян, у которых были куры, цыплята, яйца и масло. К этим хозяевам отряжены были дворовые люди для взятия всего этого доброю волею или насильно. Тем, которые отдадут по доброй воле, обещано было вознагражде-

ние уступкою, по цене нескольких дней барщины; противящимся велено было напомнить о существовании г-на Канчуковского и погрозить экзекуцией. Экзекуцию в польских губерниях называется откомандировка к мужику несколько дворовых людей, обыкновенно буянов, которые до тех пор бьют, едят и пьют в доме, пока крестьянин не заплатит должных податей или каких-нибудь господских повинностей. Иногда эти экзекуции посылаются в наказание за неисправность в работе, за грубость противу жида и за другие разные причины. Приготовления к балу, в продолжение семи дней, произвели в господском доме необыкновенную суету и кутерму. По деревням был совершенный разбой, неприятельское нашествие! Голодная дворня действовала, как настоящие мародеры. Они искали кур в сундуках, масла в белье и яиц за пазухой, похищали что могли и где могли и всеми возможными средствами обижали бедных поселян и баб. Беда, сущая беда, когда людям низкого звания, без воспитания и нравственности, достанется власть! Они стараются на других вымещать все свое унижение и думают, что возбуждают к себе уважение, когда заставляют других трепетать перед собою. На господский двор беспрестанно прибегали мужики и бабы с жалобами, что от них требуют невозможного; клялись, что жид показал на них ложно; что они не имеют того, что с них взыскивают. Тщетные жалобы! Г. Гологордовский верил жиду более, нежели жене и детям; он отсылал жалующихся к г-ну Канчуковскому, который одним своим видом сгонял их со двора. На кухне производилась работа день и ночь, а чтобы предупредить воровство, к дверям кухни приставлены были, из конюхов, часовые, которые сами крали куски мяса, кур и яйца и ночью относили в корчму. Все служители заняты были чисткою и уборкою комнат. В первый раз, в течение года, потревожены были пауки и согнаны с фамильных портретов. Дубовые и ольховые кресла обтянуты новою холстиной. Мебели красного дерева, украшавшие две комнаты в целом доме, вместо лаку, смазаны были деревянным маслом. Полы выскоблили наново, потому что вымыть их было невозможно. Все зеркала из флигелей, принадлежавшие почетным слугам, резидентам и поживальницам, внесены были в господские комнаты, которые, сверх всех перемен и обновок, убраны были, накануне праздника, фестонами из еловых и сосновых ветвей. Домашние музыканты повторяли и учились беспрестанно на гумне, где отец иезуит, большой химик, по мнению целой губернии, приготовлял фейерверк для сюрприза г-же Гологордовской; два охотника работа-

ли под его ведением. Для гостиных лошадей отведена была особенная конюшня и приготовлен запас *гостиного сена*, то есть десятка два возов осоки и болотной травы, которой невозможно было истереть жерновом, а не только конскими зубами; *гостинный* овес перемешан был пополам с резаной соломой, или сечкою, и с мякиною. Законы гостеприимства повелевают, чтоб гости, слуги их и лошади были сыты; но как хозяин должен заботиться об угощении и уподчивании господ, то если слуги и лошади голодны, вся вина сваливается, обыкновенно, на управителя, в таком случае, когда какой-нибудь гость вздумает о своих лошадях и служителях. Впрочем, с *нужными людьми*, то есть с губернскими и уездными чиновниками, поступают иначе и поручают их слуг и лошадей особенному надзору маршалка и конюшего.

Наконец наступил день торжества. Множество гостей съехалось к обедне. Кареты, коляски, брички и каламажки (род тележек) заняли все пространство между конюшнями и скотным двором. Почти каждое семейство имело с собою по двенадцати лошадей: шестерку в своем экипаже, четверку в бричке, в которой ехали слуги и служанки, с сундуками и картонами, и пару в каламажке, с чемаданами, постелями и кастрюлями, для приготовления обеда в дороге. Холостые приезжали шестериком, а весьма редкие четвериком. Некоторые семейства приехали еще с большим числом лошадей, потому что число лошадей означает важность господ, и я, право, не почитаю дурным, что г. Гологордовский вздумал кормить эти табуны мякиною и болотною травой. Это обыкновение, приезжать в гости с целою своею конюшнею на чужой корм, есть то же самое для хозяина, что набег татарской орды, и если б помещики для этого не выдумали *гостиного фуража*, который есть не что иное, как декорация настоящего, то два бала в деревне лишили бы помещика годового запаса овса и сена. Но как никакое собрание не может обойтись без скотов, то главное дело в том, чтоб уметь сбывать их с рук, благоразумно.

После обедни наступил завтрак, или, лучше сказать, *водкопой*, потому что дамы очень мало ели, а мужчины более пили. Разноцветные и разновкусные водки беспрестанно переходили, для пробы, из рук в руки, пока графины не опустели. Тогда гости пошли в сад, к дамам. Между тем в комнатах начали накрывать обеденный стол, а как гости беспрестанно съезжались, то четыре лакея продолжали разносить в саду водки и закуски.

В два часа пополудни, когда кушанье поставлено было

на стол, музыканты, под предводительством капельмейстера, построились на крыльце, ведущем в сад, и заиграли Польский. Это было сигналом к обеду, и все гости собрались в большой аллее. Г. Гологордовский предложил руку почетнейшей гостье, жене губернского маршала; маршал повел г-жу Гологордовскую, и таким образом в две пары рядом пошли в столовую залу. Прочие гости также попарно следовали за хозяевами, и все поместились за столом, как шли, то есть женщины рядом с мужчинами. Правда, что г. Гологордовский почетнейших гостей умел посадить выше, невзирая на то что они позже пришли в залу. Прежде, нежели уселись, он вызывал их по чинам из толпы и просил занять место поближе к хозяйке, приправляя эти вызовы разными шутками и прибаутками. Обед был великолепный, и хотя за столом сидело более ста человек собеседников, кушанья было довольно. В рассуждении вина соблюдаем был следующий порядок. Обыкновенное столовое вино, францвейн, поставлено было в графинах перед гостями; лучшие вина различных доброт разносимы и разливаемы были лакеями, под начальством маршала и конюшего. Первый, с тремя лакеями, был на правой стороне стола, а другой, с таким же числом лакеев, на левой. На каждой стороне первый лакей заведовал бутылками с самым лучшим вином, второй с посредственным, а третий с самым обыкновенным, принадлежавшим к разряду лучших вин по одному только названию. Маршалек и конюший, по предварительному условию, понимали из слов г-на Гологордовского, какому гостю надлежало наливать какого вина, из трех сортов; например, когда г. Гологордовский говорил гостю:

— Прошу вас откушать, милостивый государь, сделайте честь моему вину; уверяю, что оно того стоит,— тогда наливали вино первого разбора.

— Откушайте винца, оно, право, не дурно,— означало второй разбор.

— Вы ничего не пьете; гей, наливайте вина господину! — означало третий разбор.

Кажется, г. Гологордовский совершенно знал вкус своих гостей, потому что все они пили вино добрым порядком и даже предупреждали желания и понуждения хозяина. Впрочем, я почитаю поведение г-на Гологордовского весьма благоразумным: зачем потчивать гостя тем, чего он не понимает и когда он столь же доволен названием, как и добротой вина? Одни пьют шампанское и венгерское оттого, что находят в них приятный вкус; а другие для того только, чтобы

сказать: мы пили шампанское и венгерское! Кто не знает правила: «Не мечите бисеру, да не попрут его ногами». В конце обеда принесли огромный бокал с вензелями и надписями. Г. Гологордовский налил в него вина, провозгласил здоровье своей супруги и, при громогласных восклицаниях: виват! при грое музыки и литавров, выпил до дна, поклонившись прежде своему соседу и примолвив: «В ваши руки». Точно таким порядком круговая чаша пошла из рук в руки. Наконец, когда все собеседники отказались пить под важным предлогом, *что еще день не кончился*, хозяин встал, все гости за ним, и каждый, взяв под руку одну или двух дам, пошел, покачиваясь, в сад, где в беседке ожидали их кофе и закуски. Лишь только господа оставили столовую залу, лакеи, свои и приезжие, музыканты и даже служанки, бросились, как ястребы, на остатки пиршества и, не слушая грозного голоса маршала и конюшего, растаскали все по кускам и выпили все початые бутылки. В кухне происходил еще больший беспорядок, при раздаче кушанья слугам. Приезжие, без дальних формальностей, распорядились сами, овладели кастрюлями и удовлетворили дорожному своему аппетиту. Припоминая теперь все обстоятельства этого пиршества, я уверен, что половиною всех издержанных припасов можно было бы вполне удовлетворить и господ и слуг; но для этого надобен порядок, а он был в разладе с домом г-на Гологордовского.

После обеда некоторые старики пошли отдыхать; большая часть гостей обсела и обступила игорные столики, где некоторые записные промышленники, или, просто, охотники, метали банк и штос. Все эти господа, которые за столом громко жаловались на дурные времена, на упадок торговли хлебом, на безденежье, сыпали на карты золото, серебро и пучки ассигнаций. Некоторые из них, проигравшись до копейки, тут же, сгоряча, продавали своих лошадей, экипажи, скот домашний и медную посуду из своих винокуренных заводов и, в надежде отыграться, еще более проигрывали. Молодые люди и старые волокиты беседовали с дамами и, разогретые вином, объяснялись в любви или занимали женщин своим балагурством и веселыми рассказами. Наконец, когда на дворе сделалось сыровато, дамы пошли в комнаты переодеваться и приготовляться к танцам. В восемь часов осветили комнаты, музыка заиграла, и г. Гологордовский открыл бал полонезом со своею женою. Танцы продолжались до 12 часов; в эту пору все гости пошли к ужину.

Ужин был столь же изобилен и роскошен, как и обед, только попойка приняла другой оборот. Почти все гости

перепились до последней степени. Музыкантов прогнали в другую комнату, и начались объяснения в дружбе между мужчинами, обниманья, целованья и обещания забыть все ссоры и взаимные неудовольствия. Дамы призываемы были в свидетельницы этих примирений и должныствовали ручаться в исполнении обещаний двух сторон. При знаменитом тосте: возлюбим друг друга (*Kochaamy sie*) — гости пили полную чашу, стоя один перед другим на коленях или обнявшись. Наконец обратились к дамам и начали пить за здоровье каждой из них, из их собственных башмаков. Мужчина, став на колени перед дамою, снимал башмак с ее ноги, после того целовал почтительно ее в ногу и в руки, ставил рюмку в башмак, а иногда и наливал в него вина, выпивал и передавал другому. Вдруг залп из двадцати четырех ружей и из нескольких фалконетов потревожил веселящихся гостей. Все бросились к окнам и увидели среди двора горящий вензель виновницы празднества. Радостное *виват* снова раздалось в зале; заиграли *туш*, и огромный бокал снова явился на сцену. Несколько десятков ракет и бураков взлетели на воздух, к удовольствию зрителей. Но от неумения ли или от оплошности, несколько ракет лопнуло в соломенной крыше гумна, и как ветер был довольно сильный, то в несколько минут кровля вспыхнула и все хозяйственное строение загорелось. Трудно вообразить себе смятение, возбужденное этим нечаянным случаем. Пьяные господа суетились; слуги не знали, что делать. Все приказывали; никто не хотел исполнять. Пожарных труб вовсе даже и не знали, и потому каждый бежал на пожар с ведром, с топором, с рогатиною, и никто не смел приступить к пламени. Ударили в набат, послали за людьми в деревню; но они, как казалось, не очень охотно поспешали на помощь своему господину. Гости приказывали наскоро запрягать своих лошадей и укладывать вещи. Домашние слуги заботились о сохранении серебра и столового белья от расхищения. Суматоха, беспорядок, крик, шум, беготня свели бы с ума самых хладнокровных людей: все перевернулось вверх дном в доме.

Я в испуге не знал, что делать; стоял на крыльце, смотрел на огонь и собирался плакать. Вдруг явилась Маша:

— Ванька! Я тебя ищу, ступай за мною.

Мы побежали опрометью через все комнаты в спальню моей барышни. Маша надела мне на голову мой картуз с галуном, который хранился в гардеробе барышни, дала мне узелок и коробочку, накинута на себя капот и велела мне за собою следовать. Мы пробежали чрез сад, перелезли чрез разобранный забор и очутились в поле, возле рощи. Там

стояла коляска, запряженная четверкою лошадей. В темноте я не мог распознать, кто сидел в коляске. Маша села наперед; большой усатый лакей посадил меня на чемодан сзади коляски, а сам сел на козлы, рядом с кучером. Поворотили лошадей, шагом доехали до большой дороги, лежавшей от этого места в полуверсте, и помчались во всю прыть. Как ни был я измучен суетою и беготнею того дня, но не мог сомкнуть глаз. Пожар беспрестанно представлялся моему воображению, и я трепетал о судьбе моей барышни, полагая, по тогдашнему моему суждению, что, вероятно, все должно сгореть в доме, и что потому именно Маша спасается бегством вместе со мною. Я думал, что этот экипаж принадлежит кому-нибудь из гостей. В коляске я слышал шепот, но не мог различить слов и узнать говорящих по голосу. Наконец с утреннею зарей мы приехали на первую почтовую станцию.

ГЛАВА VI

БРАК, РАЗЛУКА С НОВОБРАЧНЫМИ

Когда я слез с чемодана и подошел к коляске, то чуть не вскрикнул от удивления, увидев Миловидина и барышню мою, Петронеллу Гологордовскую, которая, завернувшись в салоп, прильнула головою к плечу своего милого друга.

— Узнал ли ты меня, Ванька! — сказал Миловидин, улыбаясь.

— Как не узнать доброго барина!

Между тем Кузьма, усатый лакей, отправившийся на почтовый двор с подорожною, возвратился и объявил ответ станционного смотрителя, что нет лошадей. С этим словом Миловидин выскочил из коляски и побежал опрোметью в избу, а я за ним. Смотритель сидел в халате за столом и перевертывал книгу, где записываются подорожные.

— Лошадей! — закричал грозно Миловидин.

— Нет лошадей, все в разгоне, — отвечал смотритель хладнокровно.

— Если ты мне не дашь сию минуту лошадей, — сказал Миловидин, — то я запрягу тебя самого в коляску, с твоими чадами и домочадцами: слышишь ли?

— Шутить изволите,— возразил с прежним хладнокровием смотритель.— Не угодно ли отдохнуть немного и откушать моего кофе, а между тем лошади придут до-мой.

— Черт тебя побери с твоим кофе! Мне надобно лошадей! — воскликнул с гневом Миловидин.

— Нет лошадей! — отвечал снова смотритель.

— Ты лжешь, по этой дороге никто не ездит, и я никого не встретил,— сказал Миловидин.

— Извольте проверить почтовую книгу.

— Я не хочу напрасно терять времени, и, вместо того чтобы считать страницы, пересчитаю твои ребра,— сказал Миловидин и приступил на шаг ближе к смотрителю.

— Вы напрасно изволите горячиться,— возразил последний,— извольте прочесть на стене почтовые постановления: вы увидите, что за оскорбление почтового смотрителя, пользующегося чином 14-го класса, положен денежный штраф до ста рублей.

— А, если тебе штрафу хочется,— сказал Миловидин,— то я заплачу втрое и так тебя употчую, что ты в другой раз, верно, не получишь штрафного вознаграждения, в этой жизни. Но, послушай, прежде я хочу поговорить с тобою порядком. Сколько надобно заплатить указных прогонов до первой станции?

— Шестнадцать рублей,— отвечал смотритель.

— Итак, я заплачу тебе вдвое, то есть тридцать два рубля, сверх того дам три рубля тебе, на кофе или на табак: вот тебе тридцать пять рублей; давай лошадей, или, ей-Богу, бить стану!

— Вижу, что с вами делать нечего,— сказал смотритель,— придется дать вам своих собственных лошадей.— Смотритель после этого высунул голову в форточку и закричал ямщикам: — Гей, ребята! запрягайте сивых, да поскорее, по-курьерски.

— Ты ужасный плут! — примолвил Миловидин, получая сдачу.

— Как же быть, ваше благородие,— отвечал смотритель.— Ведь жить надобно как-нибудь.

— Вот в том-то и вся беда, что у нас почти все делается как-нибудь,— сказал Миловидин, выходя из избы. Между тем запрягли лошадей — и мы помчались.

Трое суток мы скакали по большой дороге, без всякого особенного приключения. На всякой станции делали нам некоторые затруднения, потому что в подорожной не было

прописано: *по казенной надобности*. Но Миловидин угрозами, бранью, криком и деньгами побеждал закоснелое упорство станционных смотрителей, которые, по большей части, исполнение своей должности поставляют в том, чтобы скорее отправлять курьеров и задерживать едущих по своей надобности. На четвертые сутки, на самом рассвете, в виду города, мы своротили с большой дороги и, проехав лесом верст пять, остановились в деревне, перед крестьянской избой. Здесь стоял на квартире приятель Миловидина, поручик Хватомский. Он выбежал из избы, помог Петронелле выйти из коляски и ввел ее под руку в свою квартиру. Тотчас послали за священниками, русским и католическим, которые здесь нарочно дожидались приезда Миловидина. Он показал им позволение вступить в законный брак и согласие католического епископа, или *индульт*, с так называемым *окошком*, то есть пробелом для вписания имен; чрез два часа оба обряда кончились: по-русски обвенчались в церкви, а по-католически — в доме священника. Отдохнув и пообедав у Хватомского, новобрачные в сумерки отправились в город, где находилась квартира Миловидина. Для уничтожения различных толков, он не хотел иначе явиться в эскадрон, как с законною женой; эта предусмотрительность, без сомнения, делает честь его характеру.

Миловидин, прежде нежели отправился за своею невестою, убрал по возможности свою квартиру, для принятия жены. Он занимал две комнаты в доме богатого жида. Но как чистота не составляет принадлежности богатства между жидками, то Миловидин отделал квартиру на свой счет. Стены обклеил цветною бумагой, полы обили клеенкою; в задней комнате сделали из досок альков для спальни и эту перегородку завесили коврами. Окна украсили занавесами розового цвета. Миловидин у одной своей приятельницы, помещицы, жившей по определению консистории в разлуке с мужем, взял на поддержание фортепиано, дюжину стульев, пару ломберных столиков и зеркало. Несколько пар пистолетов, турецких сабель и кинжалов, персидский прибор на лошадь и два ружья висели в гостиной вместо картин. Пирамида из чубуков с огромными янтарями и золотошвейными колпаками служила также к украшению комнаты. Словом, смотря по месту и обстоятельствам, комнаты Миловидина убраны были превосходно, и едва ли не с большим блеском и опрятностью, как у самого г-на Гологордовского. Сверх того, на фортепиано лежала большая кipa нот, выписанных нарочно из Петербурга, а в спальне, на полке, уставлено было несколько

дюжин новых французских романов, с картинками. Миловидин не забыл ничего, чтобы сделать приятным свое жилище.

Петронелла ахнула от удивления, вошедши первый раз в квартиру. Осмотревшись, она бросилась на шею своему мужу и заплакала от радости и благодарности за такое внимание. На другой день Миловидин с женою своею посетил полковника, казначея, квартирмейстера и еще пару женатых офицеров, чтоб завести знакомство с их женами. В продолжение целой недели он беспрестанно разъезжал со своею женою по окрестностям с визитами и везде получал поздравления насчет красоты и любезности прелестной Петронеллы. Вскоре начали съезжаться к нему гости, со всех сторон. Миловидин любил жить весело: пошли обеды, вечеринки, ужины, которые обыкновенно кончались попойкою и картами. Время летело, а с ним и деньги. Сперва закупали вино и припасы на наличные деньги, после того брали в долг, а наконец, когда жиды увидели, что долгов не платят, перестали верить; надлежало отдавать в заклад вещи. Родители Петронеллы не хотели даже принимать от нее писем и отсылали их обратно нераспечатанными. Дядя Миловидина также рассердился на него за то, что он обманул его, сказав, что женится на богатой невесте, и за то, что женился без позволения родителей; он отказался помогать ему деньгами. Миловидин пустился в игру по расчету: он связался с игроками, которые обманули его, продали и выманили последние деньги. Обстоятельства были критические. В шесть месяцев после свадьбы все, что можно было продать, было продано; заложить уж было нечего, играть не на что, занять не у кого. Миловидин решился на последнее средство: ехать с женою своею к дяде, в надежде, что она своими прелестями смягчит упрямого старика. Получив отпуск, он продал последнюю свою верховую лошадь; на эти деньги выкупил из заклада свою коляску и, собрав свое последнее имущество, белье, седла и оружие, заложил все жиду-хозяину, чтобы достать деньги на дорогу. Г-жа Миловидина не хотела ни за что расстаться со своими нарядами и Машею. Надлежало ей повиноваться; итак, обвязав коляску картонами, взяв с собою Машу, лакея и повара, господа мои отправились в Москву. Меня оставили на квартире при вещах, находившихся в закладе, и жиду приказано было кормить меня, на счет господ.

ГЛАВА VII

БОГАТЫЙ ЖИД. ИСТОЧНИКИ ЕГО БОГАТСТВА

Через месяц после отъезда Миловидиных полк выступил на другие квартиры, а я остался у жида, при вещах, потому что никто из офицеров не хотел или не мог выкупить их и взять с собою запечатанных сундуков. Оставшись один, без всякого надзора и покровительства, я, по естественному порядку вещей, сделался слугою того, кто кормил меня, то есть жида Мовши, хозяина дома. Мовша почитался одним из богатейших жителей города. Жена его, Рифка, толстая женщина, низкого роста, вся осыпанная жемчугом и коростою, торговала в лавке шелковыми тканями, сахаром, кофе и сухими плодами, или *бакалиями*. Мовша производил торг в доме виноградными винами, портером и вообще всеми столовыми припасами, пряными кореньями, голландскими сельдями, сырами и всеми принадлежностями гастрономии. Но как жид не может жить без того, чтоб не шинковать водкою, то, сверх всего этого торга, в его доме был шинок, для мужиков и людей простого звания. Мелочная продажа водки есть первая необходимость жида в польских провинциях. Этим средством он достает, за десятую часть настоящей цены, все съестные припасы и отапливает дом почти даром. Кроме того, он посредством водки выведывает у крестьян и служителей все тайны, все нужды, все связи и отношения их господ, что делает жидов настоящими владельцами помещиков и подчиняет жидовскому влиянию все дела и все обстоятельства, в которых являются на сцену металл и ассигнации. В самом деле, помещики наслаждаются одним только звуком металлов и видом ассигнаций, а в существе своем они принадлежат жидам. В письменном столике Мовши находились три огромные долговые книги, или регистра. В первую вносились долги прекрасного пола, по части Рифкиной торговли; во вторую записываемы были долги помещиков или вообще мужчин, так называемых панов, за напитки и съестные припасы; третья книга вмещала в себе долги несчастных поселян, которые, приезжая в город продавать произведения земли, по нужде оставляли у себя деньги только на уплату господских повинностей, а остальное пропивали и, сверх того, входили в долги. Чтобы дать читателю понятие, каким образом жида обходятся с поселянами, я расскажу о расчете Мовши с одним богатым крестьянином, чему я был очевидным свидетелем.

Этот крестьянин приехал в город накануне торгового дня, с двумя возами, нагруженными рожью и пшеницею, и привел с собою, на продажу, двух коров. Он остановился ночевать у Мовши. Хитрый жид, видя, что поселянин собирается ужинать с тремя своими товарищами натрезво, попотчевал его самую лучшею и самую крепкою водкой. Крестьянину чрезвычайно понравился этот напиток, и жид в другой раз попотчевал его даром. Когда в голове крестьянина зашумело, он велел подать себе кварту¹ этой водки за деньги. Жид только и ждал этого: он знал нрав своего гостя и его тороватость, а потому, лишь только крестьянин запил, он послал уведомить об этом других его товарищей и пригласил несколько записных городских пьяниц, которые умеют особенным образом вкрадываться в доверенность приезжих. По мере затмения рассудка своих гостей жид прибавлял воды в водку, и хотя собеседники это чувствовали и изъявляли свое неудовольствие грубою бранью, жид терпеливо сносил грубости и продолжал свою операцию до тех пор, пока большая часть из посетителей уснула на месте, а другие кое-как выползли на улицу. На другой день, когда крестьянин, мучимый головною болью, возвращался в комнату из-под навеса, где стояли его лошади и коровы, жид потребовал его к расчету за долги, накопившиеся в продолжение нескольких месяцев. Крестьянин усиленно просил отложить расчет до другого времени; но жид, как искусный психолог, зная правило: *in cogroge sano mens sana*, не соглашался на отсрочку и хотел воспользоваться затмением рассудка своего должника от винных паров, после вчерашней неводержности, и его дурным расположением духа. Жид вынес свою долговую книгу, писанную по-еврейски, взял кусок мелу, посадил мужика за стол противу себя и, перевертывая листы в книге, начал расчет:

— Помнишь ли,— сказал жид,— как ты жил здесь трое суток с подводами, перед летним Николой?

— Как не помнить! — отвечал мужик.

— В первый день ты взял поутру полкварты водки: не правда ли?

— Правда.

— Ну, вот я запишу,— промолвил жид и провел на столе черточку мелом.— После, когда пришел твой зять, с Никитой, ты взял еще кварту,— и с сим словом жид провел две черточки.— В обед ты опять взял две кватерки,— жид опять провел две черточки, невзирая на разность меры.— После

¹ Польская мера. Гарнец имеет четыре кварталы; кварта — две полукварты или четыре кватерки, то есть осьмушки.

обеда...— но крестьянин, который беспрестанно почесывал голову и потирал лоб, прервал слова жид:

— *Пане арендарю* (так литовские мужики величают жидов),— мне, право, не в силу: вели дать водки, голова болит смертельно!

Жиду этого-то и надобно было:

— Гей, Сорка, Рифка! — воскликнул еврей.— Попотчуйте водкою *господаря* (так жида взаимно величают крестьян, когда хотят их обмануть).

Крестьянин выпил огромный стакан, морщась и содрогаясь, и дело пошло другим порядком.

— После обеда,— продолжал жид,— ты взял полкварты.

— Взял.

Жид провел черточку:

— А когда вошел Иван, ты опять взял полкварты.

— Нет, не брал, а взял Иван,— отвечал мужик.

— Хорошо, ты не брал,— промолвил жид, а между тем провел снова черточку.— Вечером ты брал полкварты?

— Брал.

Жид провел черточку:

— А поутру брал?

— Нет, не брал, а взял Иван,— отвечал мужик.

— Не брал? — сказал жид и провел опять черту.— В обед, на другой день, ты брал полкварты.

— Нет, только кватерку,— отвечал мужик.

— Хорошо, пусть будет кватерка,— возразил жид и провел черточку, означающую меру полукварты, которая содержит в себе четыре кватерки. Таким образом продолжался расчет, во время которого дочери Мовши, Рифка и Сорка, беспрестанно потчевали мужика водкою, а жид ставил черты, когда крестьянин сознавался, что он брал в долг водку, и когда говорил, что не брал, не различая меры, когда она была меньше полукварты, и прибавляя черточки, когда мера была более. Наконец, когда у крестьянина закружилось в голове и в глазах потемнело, жид вынул из-за пазухи кусок мелу, с вырезкою, наподобие двух ножек, и этим двойным инструментом принялся ставить, вместо одной, по две черты одним разом. Когда стол был весь исписан, жид призвал в свидетели расчета нескольких соседей крестьянина и они, сосчитав черточки, превратили их в деньги: несчастный должен был отдать жиду лучшую свою корову и всю свою пшеницу, хотя в самом деле он едва был должен десятую часть того, что заплатил.

Почти таким же образом обходился Мовша и с помещи-

ками, только искуснее и несколько понежнее. Однако ж двойной мелок, примесь в винах и начеты были так же употребляемы при расчетах с дворянами, как и с крестьянами. Жид, зная, что польские паны и русские офицеры не любят заводить счетных книг и чрезвычайно скучают продолжительными расчетами, выбирал благоприятное время для своих видов и тогда именно приступал к должникам со своими долговыми книгами, когда они находились в весьма веселом или в слишком печальном расположении духа. Жена Мовши, Рифка, которая также отпускала в долг товары и, вместо процентов, получала от помещиц, в подарок, целые кади с маслом и целые стаи домашних птиц, выбирала время для расчета с должниками своими, когда они имели крайнюю необходимость в кредит, а именно перед балами, дворянскими выборами и свадьбами. В торговле этого рода нельзя было обманывать теми же средствами, как при продаже вин и водок; но хитрая Рифка, пользуясь нуждою и тщеславием своих покупателей, обмеривала их, обвешивала, брала за все двойную цену и, сверх того, выманивала подарки, под предлогом, что она сама берет товары в долг и обязана платить проценты. Кроме того, торговля ее приносила и ту пользу, что, посредством жен, Мовша имел влияние на мужчин, то есть на денежные спекуляции помещиков. Они даже были рады, что за шелковые ткани и кружева, за вино, ром, портер, сахар и кофе могли платить волами, пшеницею, льном, пенькою и другими сельскими произведениями, потому что жид при этом случае закупал остальной их запас на наличные деньги, по цене, жидами же установленной, и обыкновенно в половину противу цен, объявляемых на биржах и в портах. Помещики в тех странах вообще не имеют никакого понятия о торговых делах и получают коммерческие известия только чрез жидов. В целой губернии едва несколько человек выпиывают газеты и то единственно для тяжёбных объявлений и для запаса к нелепым толкам о политике.

Вся эта жидовская торговля, основанная на обмане, называлась *позволенною*, а потому жида занимались ею явно, приобретая между тем гораздо большие выгоды скрытым образом — средствами, запрещаемыми законами и совестью. Мовша полюбил меня за мою скромность и услужливость; он почитал меня своим собственным слугою, потому что Милонидин, взяв отставку и поселившись в Москве, отрекся от вещей своих и от меня, не имея чем выкупить залога. Мовша употреблял меня для самых секретных поручений и сулил мне золотые горы, если я решусь сделаться жидом. Хотя

я не имел никакого понятия о вере, будучи вскормлен, как зверенок, но одно название жидо ужасало меня, и я, не отказываясь вовсе, откладывал обрезание под различными предложениями, а между тем намеревался бежать от этой беды. Однажды в доме Мовши остановились два поверенные богатых господ, возвращавшиеся из Риги, с деньгами, полученными за проданный ими хлеб и пеньку. Эти гг. поверенные, как видно, были в тесной связи с Мовшею: они отдали ему все господское золото, которое Мовша обещал возвратить на другой день, счетом, и даже одному из них, человеку неопытному в этих делах, дал в залог серебряную монету, на ту же самую сумму. На ночь Мовша заперся наверху, в своей каморке, призвал туда меня и сына своего, Юделя, и объявил, что мы должны целую ночь работать. Он высыпал из мешков, на стол, большую грудку червонцев, заставил Юделя выбирать из кучи полновесные и большие, для меня разостлал на полу сукно, посыпал его каким-то черным порошком и велел мне перетирать на сукне отобранные червонцы, прижимая их крепко к сукну. Сам Мовша сел за стол, на котором стояли две восковые свечи и увеличительное стекло на ножках. Юдель подавал ему червонцы, а он, смотря на них через стекло, обрезывал их кривыми, тонкими ножницами. Не знаю, сколько было червонцев в наших руках, но к рассвету я переменял три куса сукна, а Мовша собрал целую чайную чашку золотых обрезков. Поверенные получили обратно счетом свои червонцы, не заботясь о весе; а в вознаграждение их снисходительности дано им по несколько червонцев, и, сверх того, жид не взял с них ничего за корм лошадей, за пищу и вино и дал им несколько бутылок вина на дорогу. Вечером Мовша выжег сукно и перетопил обрезки в печи, нарочно устроенной для того в его каморке. Наша ночная работа доставила ему кусок золота величиною в кулак. Мы занимались этим высасыванием золота из червонцев всегда, когда только останавливались в доме знакомые поверенные и комиссионеры богатых панов или когда купцы или господа поверяли Мовше золото для каких-нибудь оборотов.

Однажды вечером Мовша велел мне собираться в дорогу, к другому утру. Рифка уложила в небольшой сундук пару нового Мовшина платья: черный полупелюшковый зипун, застегивающийся от воротника до пояса крючками, черную шелковую мантию, с большими кистями наперед, пару серых чулок, новые башмаки и круглую, с большими полями, шляпу; белья она положила столько штук, сколько недель предполагалось быть в отсутствии, именно же две штуки. Съест-

ными припасами наполнила особую коробку: они состояли из одной бутылки водки *шабашовки*, так называемой по ее доброте и по тому, что ее пьют только в шабаш, когда воспевают веселый *маиофис*¹; из двух кошерных сыров, домашней работы, двух больших редек, двадцати четырех луковиц, двенадцати селедок, двух булок, одной вязки жидовских кренделей или баранок и небольшого куска жареной козлятины. Этот запас определен был для пяти человек на две недели. С Мовшєю ехали: жид Фурман, зять его Иосель, племянник Хацкель и я, несчастный. Сундук и коробка отданы были мне на руки, и когда я заметил Рифке, что этого запаса будет мало, она рассердилась и крикнула на меня:

— Молчи, гой²! Вы все только и думаете, чтоб есть и пить, а не думаете, что каждая кроха стоит денег: надобно деньги берец, теперь худья времена!

— Да у вас денег и без того довольно! — сказал я сквозь зубы, нагнувшись к коробке. Вдруг она взбесилась.

— Как ты смеешь говорить, что у нас денег много? Герш-ту³! Разве ты видал и считал наши деньги? Герш-ту! Ах ты хомут! Ах ты дуга⁴! Как ты смеешь говорить, что у нас есть деньги! — жидовка тряслась от злости, грозила мне кулаками и, вероятно, ударила бы, если б я не приосанился и не вскрикнул в свою очередь:

— За что ты рассердилась, пани арендарша! Если ты меня тронешь, то я все брошу и уйду!

На крик наш прибежал Мовша и, узнав о причине брани, прикрикнул на жену и вывел ее в другую комнату, где, покричав вместе, они успокоились, а Рифка, возвратившись, погладила меня по голове и дала большой крендель, примолвив:

— Не сердись, Ванька! я для тебя полозу в коробку кусок копченого гуся, а если наши зиды захотят лакомиться, пускай покупают на свои деньги.

У нас остановился в квартире один из соседних помещиков. Вечером, накануне отъезда Мовши, помещик приказал подать пуншу для себя и для хозяина, велел ему сесть и

¹ Польские жидаы не имеют слов для песен. Они напевают только мелодию, и то — подгулявши в шабаш. Веселый напев называется *маиофис*.

² Так жидаы называют христиан; это синоним турецкого слова *гяур*, и значит: неверный.

³ Это, исковерканная в смысле и в произношении, немецкая фраза: *hörst du?* слышишь ли ты? Жидаы, особенно жидовки, в Польше употребляют это *герш-ту* в каждом случае, когда сердиты или недовольны: оно отвечает русскому: вот те на, или: видишь ли, каков!

⁴ Так жидаы бранят слуг и мужиков.

начал с ним беседовать. Вообще большая часть мелких помещиков почитают жидов сведущими во всех делах, даже в политике, и, вместо того чтобы подписываться на газеты, деньги, которые надлежало бы заплатить за них, они употребляют на пунш и вино, а время, которое должно было бы терять на чтение, проводят в разговорах с жидами о всемирных происшествиях. Из комнаты помещика дверь была отворена в конуру, где, при свете ночника, я должен был щипать перья для жидовских перин, потому только, чтоб не оставаться ни на минуту в бездействии и, по жидовской системе, не есть даром хлеба. Каждое слово было слышно; пока говорили о торговле, хозяйстве, войне и о губернаторе, я не обращал внимания на разговор; но когда коснулись до путешествия Мовши, я стал прислушиваться, любопытствуя знать, куда и зачем мы поедем.

— Странно, ребе¹ Мовша,— сказал помещик,— что ты, производя такую обширную торговлю, вздумал взять в арендное содержание корчмы, в именье, отстоящем на 20 миль от твоего местопребывания. Я знаю, что ты, сверх того, гонишь там деготь и выделяешь поташ: но все это мог бы ты иметь, так сказать, под боком. Я, и каждый помещик, охотно вступил бы с тобою в дела.

— Особенные обстоятельства, ясневельможный пане,— отвечал Мовша,— заставляют меня содержать аренду так далеко от дому. В той стороне живет вся родня моей зены, и я, из *благотворительности*, разместил по корчмам бедную родню. Потас и деготь там удобнее сбывать с рук, потому что это именье лезит на самой границе. От всего этого я не получаю никакой прибыли и езду туда два раза в год затем только, чтобы наблюдать за порядком, делать расцеты и вырывать свои собственные деньги, на уплату аренды: прибыль получают родственники моей зены, которым я *благодетельствую*.

— Похвально, весьма похвально, ребе Мовша,— сказал помещик.— Этот пример достоин подражания, и между нами, и по справедливости сказать, на жидов слишком много клепят напраслины, тогда, как один этот пример *бескорыстной любви к родне* должен расположить в их пользу.

Меня позвали к ужину, и я не слышал продолжения разговора. Читатель вскоре увидит, что значит жидовская *бескорыстная любовь к родственникам и благотворительность, без прибыли!*

На другой день в длинную бричку, покрытую парусиною,

¹ Ребе значит то же, что господин, monsieur.

запачканную дегтем и грязью, запрягли трех тощих лошадей в сбрую из лык, веревок и отрывков старых барских шор, навалили в бричку перин и подушек, поставили сундуки и ящики и отправились в путь. Мовша, Иосель и Хацкель, в засаленных халатах, в колпаках, уселись в перинах, в тесной куче, почти один на другом, а я поместился в ногах, на сундуке с платьем. Как пора была осенняя, то мне дали какую-то старую фризую шинель, купленную на рынке, и шапку, забытую в шинке одним хмельным лакеем; эта шапка чрезвычайно меня беспокоила, насовываясь на глаза, при каждом потрясении брички.

Не стану описывать нашего путешествия, которое было вовсе незанимательно и продолжалось два дня с половиною. На третий день мы своротили с большой дороги и к полудню приехали в малую корчму, находящуюся в некотором отдалении от бедной деревушки, состоящей из десяти хижин. Хозяин корчмы обрадовался, как казалось, нашему приезду и тотчас выслал трех мужиков с письмами неизвестно куда. К ночи начали съезжаться жида: одни верхом без седла, другие в тележках, и пока жидовка стряпала ужин, их набралось около двадцати человек. По обыкновению, к вечеру собрались в корчму и мужики, курить табак, пить водку на кредит, лакомиться сушеною рыбой, таранью, и беседовать, при свете лучины, о своем господине и приказчике. Жиды не обращали внимания на крестьян, заперлись в другой комнате и с шумом разговаривали долго между собою, говоря, по большей части, все вдруг. Наконец, когда бурное совещание кончилось, арендатор выгнал, без околичностей, мужиков из корчмы, говоря, что для его гостей надобно стлать постели. Неугомонным мужикам, которые не хотели оставить корчмы, он дал водки и табаку надом, и они с песнями пустились в селение. Около полуночи приехал верхом какой-то господин; он оставался с полчаса наедине с Мовшею, и я слышал у дверей, как они торговались; наконец ударили по рукам, и Мовша отсчитал господину несколько десятков рублевиков и червонцев. Господин, выпив рюмку водки за здоровье *честной* компании, закурил трубку, сел на коня и поскакал к лесу. Жиды поужинали и тоже разъехались. Мовша и его спутники легли, не раздеваясь, отдохнуть на перинах, а я прилег на соломе. За несколько времени до рассвета арендатор разбудил нас, и мы на двух тележках, в одну лошадь, поехали также в лес, по малой дорожке. Я правил тележкой, в которой сидели Мовша и Иосель, а хозяин корчмы с Хацкелем пустились вперед в другой телеге. Мы долго

ехали лесом, пока начало светать, а наконец услышали скрип колес и понудительные клики извозчиков. Мовша обрадовался и велел мне погонять. Вскоре мы встретили обоз, состоявший из пятидесяти телег, нагруженных бочками с дегтем и поташем. При обозе находился один только жид; извозчики были мужики. Поговорив с этим жидом, Мовша велел мне повернуть лошадь и следовать за обозом. Проехав обратным путем около двух верст, мы на повороте встретили отряд пограничных казаков, с которыми был тот самый господин, которого я видел в корчме: он был не военный и одет весьма просто. Завидев нас, он оставил команду и с казачьим офицером прискакал к обозу.

— Что везете? — спросил офицер.

— Потас и деготь, — отвечал жид, бывший при обозе.

— Ты хозяин, что ли? — сказал казачий офицер.

— Нет-с; вот он, ясневельможный, васе-высокородие! — отвечал жид, указывая на Мовшу, который в это время слез с тележки и, стоя без шапки, низко кланялся.

— Вы, бездельники, верно, везете контрабанду! — закричал господин в штатском платье.

— Как можно, сударь, цто бы цестные люди торговали контрабандою? — сказал Мовша, изгибаясь. — Избави нас Бог от этого! Мы, бедные зидки, промысляем дегтем и потасом. Извольте освидетельствовать.

Господин слез с лошади, отвязал железный прут от седла, вынул молоток из кожаного мешка и начал стучать в бочки, прислушиваться к звуку ударов, пробовать прутом внутри бочек, наконец перешарил мужиков, телеги и как бы в досаде воскликнул:

— Нечего делать! правы — поезжайте, к черту! — Во время обыска казачий офицер оставался на лошади и прилежно наблюдал за действиями господина в штатском платье; но видя, что все исправно, он оставил нас в покое и продолжал путь со своею командой.

Мовша не мог удержать своей радости, и, когда казаки скрылись из виду, он защелкал пальцами и запел веселую ноту, приговаривая часто: «Атрапирт, атрапирт!»¹

Прибыв благополучно в корчму, бочки свалили в сарае, а мужиков отпустили, заплатив им отчасти деньгами, но более водкою, табаком и сельдями. Пообедав и выспавшись, Мовша заперся в сарае с Иоселем, Хацкелем и со мною. Я весьма удивился, когда он начал работать возле бочек. В

¹ То есть уловили, увернулись.

середине был деготь или поташ, а с краев оба дна отвинчивались, и там находились разные драгоценные товары, шелковые материи, полотна, батисты, кружева, галантерейные вещи и т. п. Принесли жаровню, штемпели, черную и красную краски; растопили олово, и, пока я раздувал уголья, Мовша с товарищами начал клеймить и пломбировать товары, точно так как я впоследствии видал в таможенных. Ночью пришло несколько больших жидовских фур, на которые нагрузили товары, уложив в кипы и ящики, и отправили домой с Иоселем и Хацкелем; я с Мовшею поехали обратно в той же самой бричке, в которой мы прибыли в корчму. Мовша, как выше упомянуто, предполагал быть в отсутствии две недели и пробыл только одну, потому что товары его прибыли из-за границы прежде срока. В доме были радость и веселье, и Рифка, к другому дню, который был шабаш, испекла пирогов с медом и маком и кугель¹, изжарила гуся, сварила локшину² и цимес³ и даже попотчевала меня кошерным виноградным вином.

Мовша объявил своим факторам и верникам, что он одно радостное происшествие, случившееся в делах его, хочет ознаменовать *добрым* делом. Давая деньги под заклад, он брал обыкновенно по две копейки с рубля в неделю; теперь, в продолжение целого месяца, он вознамерился брать *по три денешки* с бедных и нуждающихся. Факторы объявили об этом *благодетелю* Мовши всем игрокам, мотам и пьяницам, а Мовша должен был вытерпеть упреки жены и даже брань ее за эту излишнюю *доброту сердца*, которая, по мнению Рифки, могла привести их в разорение.

ГЛАВА VIII

ВСТРЕЧА ЧИНОВНИКА, ВОЗВРАЩАЮЩЕГОСЯ С МЕСТА, С ЧИНОВНИКОМ, ЕДУЩИМ НА МЕСТО. Я ОСТАВЛЯЮ ЖИДА

Настала зима, и в доме Мовши прибавилось деятельности, а мне работы. Обозы и проезжие часто останавливались у Мовши, и я приставлен был к гостинным комнатам, к тем самым, которые занимал прежде Миловидин. Кроме того, что мне надлежало топить печи, носить воду и выметать комнаты,

¹ Жареное тесто в гусином жире.

² Лапша.

³ Морковь с медом, жиром и пряными кореньями.

жид велел мне подслушивать у дверей, что говорят между собою приезжие господа, особенно чиновники. Мне поручено было подслушивать, не ищут ли кого, не ловят ли чего, и обращать внимание, не будут ли произнесены слова: *фальшивая монета* и *контрабанда*. Хотя я не понимал настоящего значения сих слов, но, чувствуя, что тут кроется какое-нибудь жидовское плутовство, не имел охоты верно служить жидам, если бы иногда не соблазняла меня приманка награды и голод не принуждал быть орудием жидовской политики. Но жизнь эта мне до того наскучила, что я решился бежать при первом случае, куда глаза глядят. Одно только меня удерживало: недостаток зимней одежды.

Однажды, когда начинало смеркаться, несколько экипажей остановилось на рынке, противу дома Мовши. Он тотчас выбежал на улицу и, подошед к четвероместной карете, на полозьях, с низким поклоном предложил сидящим в карете господам квартиру, выхваляя все удобства своего дома, дешёвую фуражку и всех припасов, рекомендуя притом себя, как человека известного своею честностью и услужливостью. Красивая наружность дома Мовшина, в сравнении с другими, кажется, была убедительнее слов хозяина, и экипажи, к большой радости целого жидовского семейства, подъехали к крыльцу.

Рифка выбежала с дочерьми встречать господ, а меня с служанкою вытолкали в гостинные комнаты стереть пыль, вымести наскоро полы и очистить со стола следы угощения, которое давал Мовша магистратским чиновникам того же утра, имея какое-то дело о *подмене заложенных вещей*. Едва мы успели управиться, как путешественники вошли в комнату. Я остановился у дверей, чтоб посмотреть на них. Сперва вошел небольшой, сухощавый, бледный мужчина, закутанный в шубу. Глаза его сверкали, как у лисицы; он одним взглядом осмотрелся кругом и, перешед в другую комнату, тотчас начал раздеваться. За ним следовали два мальчика и две девочки, от 10 до 14 лет, окутанные и обвязанные как улитки. Сама госпожа, также худощавая, с злобными взглядами, медленно двигалась, как жаба. За нею шел причёт служанок, нянюшек и лакеев, с узелками и коробочками. Первым приветствием, которое госпожа сделала мне и служанке дома, были слова: «Пошли вон отсюда, твари!» Мы, отвесив по поклону за эту вежливость, вышли и, за дверьми, оплатили ей тою же монетой.

В общей избе узнал я, что путешественники ехали на наемных лошадях, в Москву, из губернии, где этот господин,

по фамилии Скотинко, был прокурором. Подали свечи, наставили самовар, и повар г-на Скотинки начал варить ужин, а сам господин потребовал к себе Мовшу, для разговоров и расспросов о новостях.

Часа через два, когда уже было темно, подъехала к нашему крыльцу кибитка, обтянутая рогожею и запряженная парой лошадей. Хозяева не беспокоились встречать гостя. Вошел господин, высокого роста, толстый и румяный, и, узнав, что лучшие комнаты уже заняты, поместился в небольшой каморке, где жил Юдель, сын хозяина. Весь багаж этого господина состоял из небольшого кожаного чемодана и кожаной подушки, которые внес под мышкою лакей его, одетый в нагольный тулуп. Изношенная шуба самого господина обнаруживала тайну кожаного чемодана. Рифка попотчевала водкою лакея и узнала, что господин его называется Плутягович и едет из Петербурга занять место прокурора, именно в том городе, откуда выехал г. Скотинко. Магистратский писец, который в это время стоял возле буфета и попивал сладкую водку, лукаво улыбнулся и сказал: «Вот встреча коршунов!»

Г. Плутягович, узнав, что в доме находится его предместник, тотчас пошел к нему познакомиться. Они, видно, пришли по нраву один другому, потому что Скотинко пригласил Плутяговича к ужину, и они целый вечер провели в разговорах.

Между тем лакей Плутяговича, поужинав куском черствого хлеба и квасом, закурил трубку и поместился возле очага, при котором слуги г-на Скотинки очищали из кастрюль остатки вкусного барского ужина, шутили между собою и гордо поглядывали на лакея Плутяговича. Когда же они узнали, что Плутягович едет занять место их господина, то смягчились и попотчевали бедняка водкою.

— Как тебя зовут, земляк?— спросил у него камердинер Скотинки.

— Фарафонтом,— отвечал слуга Плутяговича.

— Смотри же, Фарафонт,— примолвил камердинер,— держи ухо востро, а тебе будет вечная масленица. Не якшайся с просителями и не впускай никого даром в двери, а побирай за вход к барину, как за вход в собачью комедию. Чего их жалеть!

— Я рад бы брать, да станут ли давать?— возразил Фарафонт.

— Дадут, как прижмешь,— отвечал камердинер.— Научись твердо отвечать: дома нет, занят, нездоров, не при-

нимает, изволит почивать! А когда спросят, когда можно прийти, нельзя ли подождать, нельзя ли доложить — скажи: все на свете можно, только осторожно.

Тут все служители Скотинки громко захохотали. Фарафонт сказал:

— Ну, а как станут приходить господа, которых барин велит пускать к себе, без доклада? Уж с них-то взятки гладки.

— Пустое, — отвечал камердинер, — с них взятки сладки. Кланяйся, отпирай двери, провожай со свечой и поздравляй с праздником. Ох, брат Фарафонт, привольное житье у барина прокурора, а у губернатора — рай, всего через край! Поплакали мы, выезжая из города. Неведомо, что будет, а было хорошо. А у вас, в Петербурге, каково-то житье лакеям чиновников?

— Каково место, брат, — отвечал Фарафонт. — Есть наша братья, что щеголяют; есть, что кулаком слезы утирают. Мой барин был только столоначальником — неважная спица в колеснице. Он и сам рад был сорвать копейку с правого и с виноватого, да не всегда удавалось. Только, бывало, и получаешь на водку, как барин пошлет с копией к просителю или если есть какое дело на дому, в работе, и проситель завернет к нам потолковать. Да все это пустяки: ведь от старших остаются малые крохи.

— Ну вот теперь твой барин будет сам большой, — примолвил камердинер.

— Ох, Фарафонтушка, Фарафонтушка, дорого бы я дал, чтоб поменяться местом с тобою!.. Но вот барин кличет, прощай.

Я во все это время грелся у огня и, слушая эти разговоры, завидовал участи других слуг. Рассудив, что жид не имеет надо мною никакого права, я решился просить одного из проживающих господ взять меня с собою.

Плутягович, возвратясь в свою каморку, потребовал к себе Мовшу, который, узнав, что он занимает важное место в губернии, уже переменял с ним обхождение, беспрестанно кланялся и извинялся перед новым прокурором, что у него нет лучшей для него комнаты, и предлагал ему безденежно все, что угодно и что есть в доме. Плутягович сел на свою постель, закурил большую деревянную трубку и начал расспрашивать жида. Я был за перегородкою и, смотря в щель, слушал весь их разговор.

— Послушай, Мовша, говори со мною откровенно; а я, может быть, пригожусь тебе.

Жид снял ермолку и поклонился. Плутягович продолжал:

— Вот я еду занять место г<осподи>на Скотинки, который, как он говорит, отставлен за напраслину, по интригам злонамеренных людей, за неумытное, строгое исполнение своей должности.

Жид лукаво улыбнулся и кивнул головою. Плутягович продолжал:

— Г<осподин> Скотинко настрашал меня, что место плохое, что нет никаких доходов, кроме жалованья...

Тут жид прервал речь г-на Плутяговича и громко воскликнул:

— Герш-ту! залованья! О, вей мир!

Плутягович продолжал:

— Г<осподин> Скотинко говорит, что он прожился на своем месте, истратил все, что имел отцовского и жениного, и с остатками расстроенного состояния бежит, унося с собою одно уважение честных людей и спокойствие совести.

При сих словах жид громко захохотал и так долго смеялся, взявшись за бока, что Плутягович должен был унять его.

— Герш-ту!—сказал жид.—Г<осподин> Скотинко говорит о совести! А где он с нею встретился: не на дороге ли? После этого надобно озидать, что волки станут стерец овец, зидки пойдут спасаться в монастырь, а помесчики запретят музикам напиваться водкою. Я вам скажу, сударь, васе благородие, что я знал еще г-ну Скотинку, когда отец его был козевником, сыромятником, а он — писарискою, бегал босиком по улицам и крал у зидков баранки и крендели. Он из месцан того города, где я родился. Теперь г<осподин> Скотинко богат, как сам цорт. У него есть и движимое и недвижимое имение, и золото и серебро, а денег такая куца, что он, верно, их и сосчитать не умеет. Он и в цинах и в орденах! О вей, о вей! Г<осподин> Скотинко так насосался на своем месте, что ни одна еще приказная пиявица не была так зирна! — Тут жид опомнился, что говорит с кандидатом в пиявицы, и примолвил: — Извините, сударь, васе высокоблагородие, но такого мастера, как Скотинко, не бывало у нас, и его совесть как невод: цистая водица проходит црез него, а рыбки вязнут. Место его — рудник с готовыми цервонцами. Не верьте ему ни слова: г<осподин> Скотинко и тогда лзет, когда говорит правду, то есть он и правду говорит для обмана. Еще раз скажу вам: Скотинко был гол, как сокол, и по разным губерниям насоветничал и папрокурорил

себе такое богатство, что хотя похоз с виду на сушеную ящерницу, но пушист, как сибирский зверь.

— Зачем же он так скрывается передо мною? — спросил Плутягович.

— Он хочет теперь слыть цестным, по обычаю всех назившихся взятоцников... извините... господ... — отвечал жид.

— Жаль, — сказал Плутягович, — мне бы хотелось поучиться кое-чему, то есть службе — понимаешь?

— Как не понимать, — возразил Мовша. — Но для этого не надобно учителей. Как приедете в город, возьмите к себе в факторы зидка нашего, Ицку, который был в этой же должности у г(осподи)на Скотинки: он вам во всем помозет, станет отыскивать просителей, уговариваться с уездными циновниками и брать для вас деньги взаймы. Разумеется, без векселя и росписки. Я вам дам письма к моим родственникам и к Ицке: полозитесь во всем на них, они не изменят вам, — только помогайте в наших зидовских делишках.

— Изволь, — сказал Плутягович, — я буду ваш; приготовь все к завтраму, а пока — прощай.

Мовша вышел, а за ним и я вылез из-за перегородки.

На другой день г. Плутягович выехал весьма рано, а Скотинко остался, по причине нездоровья. Один торопился, чтоб не потерять ни одного дня для наживы; другому уже не к чему было поспешать: он достиг своей цели.

Дети г-на Скотинки, мальчики, стали играть под навесом, и как я привык к забавам господских детей в доме Гологордовского, то на досуге вмешался в их игру, помог им запрячь в салазки козла, устроил качели из вожжей и весело переносил толчки и неприятность игры в снежки, в которой я один служил целью. Рифка отозвала меня от забавы к работе, но сыновья г-на Скотинки упросили отца, чтоб он велел мне играть с ними, и жидовка должна была на это согласиться. Хотя я был моложе детей Скотинки, но гораздо их умнее и потому тотчас воспользовался их склонностью ко мне и легко убедил их упросить родителей своих взять меня с собою. После обеда г. Скотинко позвал меня к себе.

— По какому случаю находишься ты в службе у жида? — спросил у меня г. Скотинко. Я рассказал ему историю женитьбы Миловидина и отъезд его в Москву и, упав к ногам его, просил избавить меня от жидов, обещая служить ему верно всю жизнь. Г. Скотинко посмотрел на жену свою,

и она произнесла приговор в мою пользу. Скотинко тотчас позвал Мовшу.

— По какому праву держишь ты этого мальчика? — сказал он грозно. Мовша три раза заикнулся, прежде нежели вымолвил первое слово своего ответа.

— Барин его, г. Миловидин, должен мне деньги и оставил в залог вещи с этим мальчиком.

— Да разве ты смеешь принимать в залог христианских подданных? — возразил Скотинко. — Знаешь ли указ, по коему запрещено евреям иметь в услужении христиан; знаешь ли ты указ противу ростовщиков? Покажи мне тотчас сделку, по которой ты держишь этого мальчика? Где его паспорт?

Жид испугался:

— Герш-ту! — сказал он тихо. Потом, поклонившись в пояс, примолвил: — У меня нет никаких бумаг: я делал сделку на слово.

— И так ты держишь у себя беспаспортных людей, — сказал г. Скотинко. — Гей! бумаги и чернил; мы тотчас с тобою переведаемся. Я подам здесь объявление, а в столице не умедлю подать просьбу. Между тем мальчика я беру с собою, под мою расписку.

— Васе высокоблагородие, — сказал жид, — стоит ли нам ссориться из пустяков. Вам хочется взять мальчика: извольте брать. Я спорить не стану, только дайте мне расписку, чтоб я мог отвечать Миловидину, когда он спросит. А чтобы вы не изволили гневаться, я за целый день постоя и за все, что вы набрали в доме, не возьму ни копейки, да кроме того полозу в карету полдюзины такого венгерского винца, какого нет на сто миль кругом. Довольны ли вы?

— Хорошо, — сказал Скотинко, — но есть ли у этого мальчика теплая одежда?

— Нет, но я тотчас все исправлю, и к завтрашнему дню все будет готово.

Г. Скотинко выслал нас из комнаты и велел мне приготовляться в дорогу.

— Проклятый разбойник! — воскликнул Мовша, встретив Рифку. — Этот *хапун* берет нашего Ваньку. — Рифка сильно рассердилась, но Мовша сказал ей что-то по-еврейски, и она успокоилась и даже погладила меня. Мовша повел меня наверх в свою комнату, сел в кресла и сказал: — Ванька! ты малый добрый, и верно, будешь помнить добро, которое мы тебе делали?

— Какое добро? — спросил я.

— Как, разве мы не поили, не кормили, не одевали тебя?

— А разве я не работал с утра до ночи?

— Герш-ту! ведь всякому надобно работать. Но скажи, неужели тебе было худо у нас?

— Не очень хорошо, — отвечал я попросту. — Много дела и мало хлеба.

— Не греси, Ванька! тебе могло быть хуже у другого. Тебя, по крайней мере, не били, а у других господ и работать заставляют, и не кормят, и бьют, и плакать не велат.

— Нечего говорить — битья не было, — сказал я.

— И так ты должен быть нам благодарен: вот тебе *целая* полтина за службу: и если б тебя кто стал спрашивать об нас, говори, что ты ничего дурного не видал и не слышал в доме и что мы люди бедные, всегда нуждаемся в деньгах.

— А червонцы-то.

— Какие червонцы? Ты с ума сошел, ты никогда не видал у нас червонцев.

— Пусть так! — возразил я, чтоб только отделаться от жид.

— Ты сам видал, как мы любим христиан и помогаем им: даем в долг водку и хлеб музыкам и подаем милостыню нисцим.

— Сухой хлеб, который бросают на корм скотине, если не явится нищий, при людях.

— Ванька, Ванька, не греси! Вот тебе другая *целая* полтина. Не правда ли, что мы хорошие люди, милосердые и небогатые? — Я молчал. Мовша положил мне деньги в руку и, поцеловав, примолвил: — Не правда ли, что ты будешь нас хвалить?

— Буду, буду! — сказал я, побежав вниз к новым моим господам. Жид купил мне поношенный тулуп, шапку и кеньги; Рифка дала на дорогу целую связку баранок, которые отчасти съели, а отчасти роздали собакам сынки г-на Скотинки, по праву своей власти надо мною. Я провел ночь в сладостных мечтаниях о моем странствии. Надежда встретить доброго моего Миловидина радовала меня: я ничего более не желал в жизни. На другой день утром все было готово к отъезду; мне велено поместиться сзади кареты, вместе с камердинером, и мы отправились в путь.

ГЛАВА IX

НЕЧАЯННАЯ ВСТРЕЧА. ПРЕВРАЩЕНИЕ. ТЕТУШКА. МОЕ ВОСПИТАНИЕ

Без всяких приключений прибыли мы в Москву. Квартира была уже нанята и меблирована дворецким г-на Скотинки, посланным несколькими месяцами вперед. У г-на Скотинки было в Москве много знакомых между чиновниками, которые собирались у него с своими женами, раз в неделю, обедать, и два раза на вечер играть в карты. Г. Скотинко, вскоре после своего приезда, принял француза в гувернеры к своим сыновьям и француженку к дочерям. Кроме того, ежедневно ходили в дом учителя, для преподавания им уроков. Я представлен был в услужение к сыновьям, должен был содержать в чистоте учебную комнату и находиться при уроках, для исполнения разных приказаний учителей и молодых господ. Кроме того, я служил при столе во время обеда и исполнял поручения самой г-жи Скотинко по разным магазинам; также разносил по городу ее записки к приятельницам, ходил за лекарством в аптеку и, кроме того, кормил птиц и собак, до которых барыня была охотница. Я был, как говорится, комнатным мальчиком. Меня одевали по-казацки и называли *казачком*. Одаренный от природы счастливою памятью и переимчивостью, я в несколько месяцев научился у нашего повара русской грамоте и первым четырем правилам арифметики, а присутствуя при уроках господских сыновей, я в полгода затвердил наизусть множество французских и немецких слов и несколько ознакомился с географическими и историческими именами. Учителя, приметив мою понятливость и любопытство, спрашивали меня иногда, для своей забавы, о том, что я запомнил из слышанных уроков, и объясняли мне, чего я не понимал. Таким образом я сделался *ученым* — между лакеями. Я был доволен моим состоянием, сравнивая его с моим положением у жида, и хотя людей, вообще, в доме г-на Скотинки содержали и кормили весьма дурно, более от небрежения, нежели от скупости; но я имел свои преимущества, вознаграждавшие меня за другие недостатки. Я пользовался остатками завтраков и ужинов детских; мне дарили деньги на пряники в модных магазинах, в аптеке и в других местах, куда я ходил за делами барыни; сверх того, я завел игру в орлянку с соседними мальчиками и фореяторами и, отчасти счастием, отчасти искусством, всегда почти выигрывал. Я даже успел составить

себе небольшой капитал, которого мне было достаточно на лакомство и на утоление голода, в случае нужды. Таким образом я прожил в доме г-на Скотинки, в Москве, полтора года, не заботясь о будущем и не предусматривая никакого улучшения своей участи. Самые лестные мои надежды состояли в том, чтобы со временем занять, при одном из господских сыновей, место камердинера или возвратиться к прежнему моему господину, Миловидину, которого ласковость и добродушие навсегда напечатлелись в моем сердце и памяти. Судьба устроила иначе.

Однажды я дожидался в модном магазине окончания какой-то работы для моей барыни. Вдруг вошла в магазин госпожа, одетая великолепно, и начала перебирать разные вещи. Взглянув нечаянно на меня, она остановилась и смотрела пристально, с каким-то особенным участием. Она хотела приняться снова за рассматривание товаров, но, как бы по невольному влечению, взоры ее беспрестанно устремлялись на меня. Наконец она не могла победить своего внутреннего чувства и подошла ко мне.

— Чей ты мальчик, душенька? — сказала барыня ласково, погладив меня по щеке.

— Я и сам не знаю, — отвечал я. — Теперь служу у г(осподи)на Скотинки.

— Кто этот г(осподи)н Скотинко?

— Богатый барин; он приехал в Москву на жительство, года полтора тому назад, и я пристал к нему на службу, в дороге.

— Итак, ты вольный, а не крепостной?

— Я, право, не знаю, чей я; я вырос в Белоруссии, в доме г(осподи)на Гологордовского...

При сих словах барыня прервала мой рассказ, поспешно вышла из магазина и велела мне за собою следовать. Она отослала к карете своего лакея, дожидавшегося на лестнице, и продолжала со мною разговор.

— Как тебя зовут?

— Иваном.

— А сколько тебе лет?

— Не знаю.

— Ты говоришь, что вырос в доме г(осподи)на Гологордовского, — сказала барыня. — Кто ж твои родители?

— Не знаю, я сирота. — Во все это время я смотрел в лицо барыне и приметил, что она покраснела и глаза ее наполнились слезами.

— Иваном, — сказала она тихим голосом. Потом, помол-

чав, примолвила: — Ванюша! нет ли у тебя какого знака на левом плече?

— А почему вы знаете, барыня, что у меня большой рубец на плече?

При сих словах госпожа закрыла платком глаза и несколько времени молчала. Наконец она поцеловала меня в лицо, спросила о месте жительства г(осподи)на Скотинки, дала мне рубль серебром и, не велев никому сказывать о нашей встрече и об ее расспросах, пошла к своей карете, сказав, что мы скоро увидимся.

Я проводил добрую госпожу глазами до кареты и возвратился в магазин. Как я был пригож лицом в детстве, то меня часто ласкали незнакомые люди, особенно женщины, даже останавливая на улицах; но ни одно подобное приключение не производило во мне такого сильного впечатления как эта встреча. Сердце мое сильно билось: прекрасное лицо госпожи и ее черные глаза беспрестанно представлялись моему воображению; ее нежный голос раздавался в ушах моих. Я печально возвратился домой. Всю ночь мне снилась добрая госпожа; я несколько раз просыпался и принимался плакать с горя и досады, что не попал к таким ласковым господам. Мне хотелось служить у этой доброй, ласковой госпожи! О других чувствах я не имел понятия.

На другой день, в 12 часов утра, подъехала к нашим воротам карета, в шесть лошадей, цугом, с тремя ливрейными лакеями. Один из лакеев вошел в переднюю и просил доложить г-ну Скотинке, что князь Чванов желает говорить с ним по весьма важному делу. Г. Скотинко, сидевший в халате, тотчас надел фрак, велел просить князя и ожидал его в передней. Князь имел от роду лет семьдесят; лицо его украшено было морщинами и красными пятнами; лысая голова была покрыта тестом из пудры с помадою; остатки седых волос сбиты были в пучки и связаны в косу. Он едва передвигал ноги, и лакеи вели его под руки с такою осторожностью, как будто он был стеклянный и мог разбиться в куски от малейшего прикосновения. Г. Скотинко принял князя с низкими поклонами и проводил в гостиную; но князь желал переговорить с ним наедине, и они перешли в кабинет, где оставались около часа. Наконец г. Скотинко выглянул из кабинета и кликнул меня. Я думал, что мне велят подать что-нибудь, но как я удивился, когда г. Скотинко, указав на меня, сказал:

— Вот он,— а князь стал гладить меня по голове и

трепать по щекам, приговаривая что-то на иностранном языке.

— Ванька,— сказал мне г. Скотинко,— поезжай сейчас с его сиятельством. Я более не имею над тобою права: вот твой благодетель.

Я так был изумлен сими словами, что ничего не отвечал и стоял неподвижно. Князь встал, пожал руку г-ну Скотинке и потащился к дверям, опираясь на мое плечо. В передней г. Скотинко сказал мне:

— Ну, прощай, Ваня; ты уже больше не мой слуга: ступай за его сиятельством.

Камердинер подал мне шапку, и я вышел за князем на улицу. Я почти испугался, когда князь велел мне сесть в карету рядом с собою. Я был в таком замешательстве, что не смел поднять глаза и перевести дыхания. По счастью, князь молчал во всю дорогу и дремал. Сердце мое сильно забилося, когда мы остановились возле великолепного дома. Неизвестность участи иногда хуже верного несчастья.

Лишь только мы вошли в комнаты, блестящие золотом, бронзою, фарфором, испещренные коврами и картинами, князь сел на софу и велел позвать к себе дворецкого. Я между тем стоял у дверей и смотрел на все с любопытством. Вошел дворецкий.

— Возьми этого мальчика,— сказал князь,— поезжай с ним по всем портным и швеям, купи для него лучшего белья, модное платье по его летам, одень, как куколку, как княжеского сынка, вели порядочно остричь, вымой его, вычисти и, нарядив как можно лучше, отведи к Аделаиде Петровне. Слышишь ли?

— Слушаю, ваше сиятельство.

— Чтоб все было готово к шести часам: я сам буду на вечер к ней.

Дворецкий мигнул мне, и я вышел за ним.

Дворецкий, без дальних расспросов, посадил меня с собою на извозчицьи дрожки и привез к портному. Здесь он меня оставил, приказав портному исправить немедленно поручение князя и сказав, что он заедет за мною чрез несколько часов. Жена портного побежала со двора купить для меня белья. Портной сыскал прекрасное готовое платье, курточку и шаровары из казимира, фиолетового цвета, с блестящими пуговицами. Башмачник принес башмаки. Волосы мои острижены были в кружок, по-русски. Парикмахер приладил их и завил в кудри. Хозяйка вскоре возвратилась с бельем и с вышитою манишкой: она сама вымыла меня, одела и не

могла удержаться, чтоб не поцеловать меня в румяные щеки. Я почти не узнал себя, когда взглянул в зеркало и с гордостью удостоверился, что я красивее детей г-на Гологордовского, Скотинки и всех мальчиков, мною виденных в домах этих господ. Вскоре возвратился дворецкий и также изумился моему превращению. Мы опять сели на извозничьи дрожки и поехали по назначению князя. Я ни о чем не спрашивал, а только любовался своим платьем.

Приехав к одному небольшому, чистенькому, деревянному домику, мы остановились, и дворецкий повел меня за руку в комнаты. Лакей отворил двери в залу, и я чуть не упал в обморок от радости, когда увидел ту самую госпожу, которая расспрашивала меня вчера, в магазине. Госпожа тоже вскрикнула от радости, бросилась обнимать и целовать меня и повела в другую комнату, отпустив дворецкого. Когда мы остались одни, госпожа села на софе, посадила меня возле себя, велела снять курточку, осмотрела знак на левом плече и принялась плакать. Я также плакал, думая, что доброй госпоже приключилось какое-нибудь горе.

— Ваня,— сказала мне она.— Ты теперь не будешь более слугою. Ты мой родной племянник, сын сестры моей. Ты должен называть меня тетушкой и никому не говорить, чем ты был прежде. Теперь ты будешь баричем, точно таким же, как дети Гологордовского и Скотинки.

— О! нет, тетушка! — сказал я.— Я хочу быть гораздо лучше их. Они обходятся дурно с бедными мальчиками и слугами, шалят, обманывают родителей и не учатся.

Вместо ответа тетушка поцеловала меня.

— Не хочешь ли ты чего-нибудь, Ваня?— спросила она.

— Я голоден, тетушка.

Она позвонила: явилась служанка, и тетушка велела накормить меня, сказав, кто я таков, и приказала отвезти мне особую комнату и устроить все для моего помещения.

Тетушка моя, Аделаида Петровна, была женщина лет тридцати, но по лицу казалась гораздо моложе. Она была красива, в полном значении этого слова. Черные ее волосы, нежные, как пух, придавали белому лицу особый оттенок; свежий румянец украшал ее щеки. Черты лица были правильные и одушевлялись сладостною улыбкой и выражением сердечной доброты. Черные глаза, осененные длинными ресницами и нежными бровями, привлекали к себе взоры, как магнит железо. Розовые, полные уста и белые зубы манили поцелуй на прелестный ротик. Она была высокого роста и прекрасной осанки. Одним словом, наружность тетушки была привлека-

тельная, а ласковое и приятное ее обхождение увеличивало ее красоту. Тетушка говорила по-французски и по-итальянски, играла отлично хорошо на фортепиано и пела, как соловей. Она жила очень хорошо. Квартира ее была довольно обширна и прекрасно меблирована. В услужении у нее были: два лакея, две служанки, повар, кучер и дворник для черной работы. На конюшне была пара красивых лошадей. В доме ни в чем не было недостатка. К ней ездило много гостей, но весьма мало женщин, и то несколько актрис и иностранок. Всякую неделю был у тетушки музыкальный вечер, на который собирались разные виртуозы и знатные господа, по большей части люди пожилые. Люди средних лет и юноши приезжали только со своими родственниками, и то весьма редко. Кроме того, тетушка принимала ежедневно гостей к чаю, а некоторых к обеду и к ужину. Князь Чванов приезжал ежедневно и был в доме вроде папеньки. Люди повиновались ему, как своему господину, а тетушка слушалась во всем, хотя иногда и неохотно, как я примечал это. Иногда князь наедине спорил с тетушкой, которая всегда плакала при таком случае, а иногда даже падала в обморок. Тогда князь целовал у ней руки, просил прощения, и дружба снова восстанавливалась на прежнем основании. Только я видел ясно и понимал, что посещения князя не нравились тетушке; она всегда морщилась, когда его карета подъезжала к крыльцу, и всегда приятно улыбалась, когда она отъезжала вместе с князем.

Тетушка моя была одна из тех женщин, которые почитают красоту первым достоинством, наряд первую потребностью жизни, а первым наслаждением — удивление мужчин и зависть женщин. Она употребляла большую часть времени на то, чтобы наряжаться и показываться в публике во всем блеске красоты и богатства. Даже любимое ее занятие, музыка, служило ей только предлогом к привлечению в дом свой людей хорошего общества, которые для того именно принимали на себя название *любителей* сего искусства. Она была вдова одного итальянца, по имени Баритона, который некогда занимался преподаванием уроков музыки и пения. Я ничего не знал о происхождении моей тетушки, и она никогда ни с кем не говорила ни о своих родственниках, ни о месте своего рождения. Она называла себя русской и ездила иногда в русскую церковь к обедне и к вечерне, но только в большие праздники. В то время, когда я вошел к ней в дом, она была особенно дружна с одним молодым, небогатым дворянином, служившим в Москве, Семеном Се-

меновичем Плезириным. Он исполнял все поручения тетушки, сопровождал ее в театр, в концерты и на прогулках и несколько раз в сутки забегал в дом, но всегда в такое время, когда не было старого князя Чванова. Плезирии только на музыкальных вечерах являлся иногда к тетушке в присутствии князя и тогда обходился с ней с холодною вежливостью, как будто между ними не было тесного знакомства, а только музыкальная связь. Другим поверенным тетушки был французский аббат Претату, человек лет сорока пяти, приятной наружности и весьма веселого нрава. Он был домашним другом князя Чванова, жил у него в доме, на всем готовом; получал жалованье, или, лучше сказать, пенсию за воспитание сына (который уже находился в службе, в Петербурге); управлял его библиотекою, заведовал картинами и был поверенным во всех тайных делах. Аббат Претату также бывал почти всякий день у тетушки, но никогда не встречался с Плезириным. Тетушка во всем соблюдала большой порядок и всякому делу, всякому посещению назначено было свое время. В доме ее было четыре входа, каждый из особой комнаты и с особой стороны: один с улицы, другой из-под ворот, третий со сквонного двора, четвертый из сада. Гости входили и выходили, не встречаясь друг с другом, если этого желала тетушка. Все, посещавшие тетушку, оказывали ей самую нежную дружбу, и я весьма удивлялся, что те самые господа, которые в доме у нее были столь обходительны, даже не кланялись ей на улицах и в театре, когда были с другими женщинами, но отворачивались всегда, как будто не замечая тетушки. Женщины же поглядывали на нее с улыбкою или исподлобья и, глядя не на нее, всегда почти перешептывались между собою. Но тетушка моя была так добра, что ни на что не гневалась. С служителями своими она обходилась весьма ласково и только иногда сердилась на свою горничную, когда она, помогая ей наряжаться, делала что-нибудь неловко, неохотно или медленно. Но маленькую свою вспыльчивость она всегда вознаграждала ласковым словом и подарками, и потому горничная ее служанка была к ней привязана, даже более других слуг. Одним словом, тетушка была любима всеми, кто только знал ее; а я, хотя после всех узнал ее, любил более всех, и сам был первым предметом ее нежности и попечений.

У меня была своя комната, с чистою постелью и комодом, наполненным платьем и бельем. Тетушка и служанка кормили и приглаивали меня с утра до вечера. Всякий день тетушка возила меня с собою прогуливаться и утешалась

громкими похвалами моей приятной наружности. Все ее знакомые и приятели ласкали меня и дарили конфетками и игрушками. Прошло три месяца от перемены моей участи, и я не мог еще опомниться. Иногда во сне представлялось мне прежнее мое положение: тогда я пробуждался с воплем и начинал горько плакать, опасаясь возвращения жесткой существенности. Я всегда рассказывал ужасные мои сны тетушке, которая утешала меня уверениями, что мои несчастья никогда более не возобновятся. Наконец, мало-помалу, я начал забывать о прежнем моем состоянии. Это даже простиительно в детских летах. Сколько взрослых людей забывают в счастье, чем были прежде, и, что еще хуже, избегают людей, которые вывели их из беды! По крайней мере, я не похож был на них в этом: я обожал мою тетушку.

Однажды Плезириин пришел весьма рано, не в обыкновенное свое время. Подали кофе, и тетушка призвала меня в свою комнату.

— Ваня, надобно учиться,— сказала она.— По моему расчету, тебе должно быть от роду, по крайней мере, двенадцать лет. Семен Семенович приискал для тебя учителей. Ты станешь учиться по-французски, по-немецки, играть на фортепиано и танцевать. Хочешь ли ты?

— Как не хотеть, если это вам угодно, тетушка,— отвечал я.

— Помни, что если ты станешь хорошо учиться, то будешь всегда так же хорошо одет, как теперь, и будешь всегда иметь хорошее кушанье; а если не будешь ничего знать, то можешь быть опять несчастлив.— Дрожь проняла меня от сих слов, и я трепещущим голосом сказал:

— Я стану прилежно учиться, тетушка!

— Хорошо, Ваничка,— возразила она и, оборотясь к Плезирину, примолвила: — Я вам уже сказала, что он должен иметь фамилию: этот день должен все решить,— придумайте.

Плезириин задумался, прошел несколько раз по комнате и сказал:

— Вы мне говорили, Аделаида Петровна, что узнали своего племянника по удивительному его сходству с покойным отцом, а удостоверились в подлинности своих догадок по рубцу, оставшемуся на его плече от выжженного в его младенчестве нароста.

— Точно так,— отвечала тетушка.

— Итак, ваш племянник должен называться *Выжигиным*: это характеристическое прозвание будет припоминать ему

счастливую перемену в его жизни от этой приметы — и...

Тетушка не дала ему кончить:

— Прекрасно, прекрасно! — воскликнула она. — Отныне Ваня будет называться Иваном Ивановичем Выжигиным. Слышишь ли, Ваня?

— Слышу.

— Ну, как тебя зовут?

— Иван Иванович Выжигин.

— Очень хорошо, — сказала тетушка. — А кто ты таков?

— Племянник Аделаиды Петровны Баритано.

— Нельзя лучше, — сказала тетушка. — Теперь помни, что твой отец был чиновник из дворян и назывался Иванов; он даже составил себе порядочное имение, но, по несчастью, разорился и умер, во время твоего детства; а мать твою, мою сестру, также дворянку, вышедшую по любви замуж, умерла на другой день после твоего рождения на свет. Как у отца твоего не осталось родственников, то тебе все равно как называться. Ивановым или Выжигиным.

Я молчал и слушал.

— Теперь, Ваня, ступай в свою комнату, — сказала тетушка, — завтра начнутся твои уроки.

Плезирин, который любил подшучивать, сделал мне поклон, примолвив:

— До свиданья, Иван Иванович Выжигин: прошу любить и жаловать своего крестного папеньку.

Тетушка засмеялась и сказала:

— Позволяю любить, но запрещаю походить на него, чтоб не заслужить названия — *mauvais subject* (негодяя).

Это французское выражение я знал давно, потому что учителя называли таким образом, за глаза, детей г. Гологордовского и Скотинки, и потому я за долг почел отвечать:

— Не бойтесь, тетушка, я постараюсь быть не похожим на Семена Семеновича.

На другой день явился учителя. Засыпанный табаком немец, г. Бирзауфер, старик, с багровым лицом, на котором цвели лавры Бахусовы. Г. Феликс, молодой француз, работник с помадной фабрики, который, обучая грамоте начинающих, сам учился ремеслу учителя и гувернера. Г. Шмирнотен, также немец, учитель музыки и пения, хотя знал очень хорошо теорию музыки, но играл на фортепиано так дурно и ревел так громко и нескладно, что все в доме затыкали себе уши, когда ему приходила охота петь или играть после урока. Танцевать я обучался в танцклассе, у одного хромого театрального танцора, сломавшего себе ногу

в роли какого-то чудовища, при представлении волшебного балета. Мои учителя языков следовали противоположным методам. Когда я научился читать, немец стал мне вбивать в голову грамматические правила, а француз, мало заботясь о грамматике, заставлял меня выучивать наизусть как можно более слов и речений. Как у нас в доме беспрестанно болтали по-французски и все почти гости, наперерыв друг перед другом, экзаменовали меня в моих успехах во французском языке, то я весьма скоро сам стал болтать и совершенно понимать все разговоры, к большой радости тетушки. Когда я уже понимал, что читаю, г. Феликс стал учить меня грамматике, то есть: растолковал, что значит роды, имена существительное и прилагательное; научил употреблять члены (*les articles*) и спрягать глаголы вспомогательные. Чрез год я уже говорил по-французски почти так же хорошо и, по крайней мере, так же смело, как другие наши знакомые; а в немецком языке едва дошел только до склонений. На фортепиано я играл гораздо лучше моего учителя и пел так приятно, что даже на наших музыкальных вечерах певал соло. Танцы были для меня наслаждением: в течение года я выучил не только вальс и кадрили, но и менуэт, аллеманд, матрадур, тампет и все тогдашние модные прыжки. На четырнадцатом году от роду и в один год воспитания я был, по словам тетушки: *un jenne homme accompli* (совершенный юноша): болтун, ловок, смел и даже дерзок: все эти качества назывались признаками гения. В совете друзей тетушкиных положено было отдать меня в лучший пансион, чтоб сделать из меня *ученого*. Князь Чванов взял на себя платить за мое воспитание. Но как тетушка ни под каким видом не хотела расстаться со мною, то в день моих именин, когда, по расчету тетушки, мне исполнилось четырнадцать лет, меня записали полупансионером в учебное заведение г. Лебриллиана, где обучались дети лучших русских фамилий. Мне купили разных книг, подарили богатый портфель, и я начал прилежно посещать классы, примечая, что мои успехи в науках доставляют тетушке радость, а мне подарки.

Я обещал тетушке быть лучше детей Гологордовского и Скотинки, но как одни причины производят одни последствия, то я от баловства приобрел те же пороки. Меня все хвалили и ласкали в глаза: я сделался горд и возмечтал, что я лучше всех. Мне ни в чем не отказывали и тем самым возбуждали более желаний, потому что прихоти рождаются по мере возможности удовлетворять их. В пансионе взрослые мальчики (насмотревшись дома на занятия

родителей) играли между собою в карты, угощали друг друга завтраками, и тот из нас, кто мог издерживать более, пользовался уважением своих товарищей. Когда у меня недоставало денег на мои забавы, я выдумывал необходимые надобности и, не смея открываться тетушке в том, что мы делали украдкой, просил денег на книги, краски, циркули, бумагу и таким образом научился лгать и обманывать. Тетушка и знатные господа, ее приятели, исполняли мои желания и не противоречили мне, и так я почитал непростительным проступком в слуге, если он медлил исполнять мои приказания, а от этого сделался груб в обращении с слугами, взыскателен и капризен. С бедными товарищами моими я обходился дерзко, с богатыми — надменно, почитая себя богаче первых и лучше других. Учителей и гувернеров я не боялся и не уважал оттого, что содержатель пансиона, опасаясь лишиться покровительства князя Чванова и подарков тетушкиных, льстил мне, смотрел сквозь пальцы на мои шалости и не удовлетворял жалобам учителей. Итак, я невольно сделался во всем похожим на тех детей, которые прежде казались мне столь несносными. Я даже потерял охоту учиться, потому что голова моя всегда занята была чем-нибудь другим. Но, по счастью, необыкновенная моя память и врожденная понятливость заменяли прилежание: слушая уроки мимоходом и никогда не уча наизусть, я знал лучше других все, что преподавали у нас в пансионе, кроме, однако ж, математики. Изучение ее требует непременно постоянного занятия, повторений и выписок, и как это было не по моему вкусу, то я решительно объявил тетушке, что не имею никакой склонности и способности к математике. Она, посоветовавшись с г. Плезириным и аббатом Претату, уволила меня от математических лекций, и все мои познания в сей науке ограничились арифметикой.

ГЛАВА X

ЭКЗАМЕН В ПАНСИОНЕ. ИСКУСИТЕЛЬ. НОВЫЙ ПРИЯТЕЛЬ ТЕТУШКИН. ЧТО-ТО ПОХОЖЕЕ НА ПЕРВУЮ ЛЮБОВЬ. ОТЪЕЗД ИЗ МОСКВЫ

Быстро летит время детства. Я рос, роскошествовал в доме тетушки, учился, шалил в пансионе и не имел времени замечать, что происходило в нашем доме, а потому и умалчиваю об этом. Наступило время торжественного испытания в пансионе и выпуска из верхнего класса, в котором я

был один из лучших учеников. Старшему из нас было не более семнадцати лет от роду, но все мы почитали себя достойными занять первые должности в государстве и сожалели о потерянном времени не для ученья, а для выслуги офицерского чина. С нетерпением ожидали мы экзамена, о котором посланы были повестки к родителям за две недели вперед. Начались приготовления. Каждому ученику даны были прежде вопросы и ответы для выучения наизусть, и учителя ежедневно делали репетиции, обучая нас по разным условным знакам, что должно отвечать, если кто-либо из посторонних спросит о том, что не было означено в прежних вопросах. Например, все пуговицы на фраке и на жилете у учителей языков означали части речи и все грамматические правила. Все их движения имели особенные значения. Нос у профессора фортификации значил бастион, рот крепостной ров, зубы палисады, подбородок гласис, глаза флеша, затылок тетдепон и т. п. Голова учителя географии представляла Вселенную. Маковка на голове его означала зенит, а подбородок надир; щеки поворотные круги, нос эклиптику, коса первый меридиан, рот океан, глаза неподвижные звезды и т. д. Кроме учителей ученики также научились помогать своим товарищам посредством знаков. Г. Лебрильян изготовил аттестаты каждому ученику для представления родителям, родственникам и опекунам. Хорошая или дурная аттестация в науках и поведении зависела не от успехов и нравственности учеников, но от знатности, богатства, щедрости и степени привязанности родителей и родственников к детям. От кого г. Лебрильян надеялся получить более выгод, тот получал лучший аттестат, а как нельзя было предполагать, чтоб в пансионе не было шалунов и ленивцев, то дурные аттестаты определены были детям отсутствующих родителей, сиротам, о которых опекуны, по обыкновению, мало заботились, и двум бедным пансионерам, которых г. Лебрильян воспитывал даром, для того чтобы прославиться добродушием и щедростью. Всем ученикам, которые должны были получить награды, разумеется купленные на их же деньги, и хорошие аттестаты, сказано было об этом прежде, под секретом и поручено пригласить на экзамен как можно более родственников и знакомых. Наконец, после успешных приготовлений, наступило торжество.

Зала была наполнена посетителями, чиновниками, дамами и учеными, которые были в дружеских связях с г-м Лебрильяном. Торжество открыто было речью на французском языке, которую произнес я с величайшею смелостью. Речь

сочинил аббат Претату, а поправляли все учителя, включая в то число и учителя чистописания. За предпочтение, которого я удостоился, тетушка подарила жене г-на Лебриллиана кусок шелковой материи и несколько аршин кружев, полученных ею в подарок от князя Чванова. Испытание взрослых учеников шло довольно успешно благодаря условленным знакам. Многие из посетителей, друзья наших учителей, делали нам трудные вопросы, о которых мы знали прежде, — и неопытные родители удивлялись нашим познаниям. Но между нами было несколько тупоумных, которые никак не могли вытвердить наизусть ни заданных вопросов, ни условных знаков, и от этого произошло несколько весьма странных недомолвок и перемолвок. Например, у сына обер-секретаря спросили: «Какого рода занятием или промышленностью приобретается более наличных денег в государстве?» Тщетно учитель статистики запускнул руку в боковой карман, что, по условию, означало *торговлю*, — юноша, наслушавшись от родителей суждений по сему же предмету и думая, что даст надлежащий ответ, сказал: «тяжбами!» Все засмеялись, и отец юноши закрыл лицо платком, как будто утирая пот. У другого ученика, сына богатого и надменного стряпчего, спросили: «Какие *вспомогательные глаголы* в русском языке?» Он молчал. Отец его, недовольный этим, с досадою сказал:

— Ваня, разве ты забыл здесь то, чему научился еще дома?

Кто-то шепнул Ване на ухо, и он отвечал:

— У нас *вспомогательные глаголы: лгать и брать*.

Хохот снова поднялся во всех концах залы, и гордый стряпчий побагровел от злости. Г. Лебриллиан, для избежания соблазна, стал сам спрашивать учеников. Он экзаменовал так искусно, что все отвечали удачно, к величайшему удовольствию матушек и тетушек. Вот несколько примеров педагогики г. Лебриллиана.

— Как называется главный город в Испании? — спросил Г. Лебриллиан. — Не Мадрид ли?

— Мадрид, — отвечал ученик.

— Прекрасно. А при какой реке он лежит? Не при Мансенаресе ли?

— Мадрид лежит при реке Мансенаресе, — отвечал ученик проворно и громко.

— Очень хорошо, очень хорошо; садитесь. Теперь скажите мне, вы, г. NN, справедливо ли называют Волгу самую большую рекою в Европейской России?

— Самая большая река в Европейской России есть Волга, — отвечал ученик скороговоркою.

— Очень хорошо, прекрасно. Скажите мне, г. NN, кто был первым римским императором, когда Август принял первый императорское достоинство?

— Август,— отвечал ученик.

— Очень хорошо,— сказал г. Лебриллиан.

Таким-то образом все ученики отвечали удовлетворительно на вопросы г-на Лебриллиана, и нежные родители согласились единодушно, что в пансионе обучают прекрасно и если дети иногда отвечают невпопад, то это от того только, что их не умеют спрашивать так умно, как ученый г. Лебриллиан.

Экзамен продолжался два часа; после того нам роздали награды и аттестаты, при звуке труб и литавров, и отпустили с родителями. Мужчины, то есть приятели содержателя пансиона и учителей, помогавшие им испытывать нас, по условным знакам, и домашние друзья богатых родителей остались обедать у г-на Лебриллиана, к которому для этого еще накануне принесены были корзины с вином из разных домов. Три дня сряду не было ученья в пансионе оттого, что гг. учителя отдыхали после пирушки.

Я хотя уже кончил курс наук, преподаваемых в пансионе, но, по совету аббата Претату, должен был продолжать слушание лекций в пансионе, пока будет придумано, что со мною должно делать. Я из другой комнаты слышал, как аббат давал тетушке наставления по сему предмету.

— Пускай Ваня ходит в пансион,— сказал аббат.— Вам это ничего не стоит, ибо платит за него князь. Это нужно не для наук, но для того, чтоб он не научился дома тому, чего ему знать не следует. Юность любопытна и сметлива, а наш Ваня всегда был умен и догадлив не по летам. Вы понимаете меня? Мы скоро его пристроим.

— Пусть будет по-вашему,— отвечала добрая моя тетушка.— Из любви к нему я готова на все.

Как скоро классные мои товарищи оставили пансион, я почитал себя выше всех и вовсе перестал учиться. В классах я читал книги, которыми наделял нас общий пансионный знакомец, Лука Иванович Ворватин. Он не был знаком с моею тетушкой, и меня ввели к нему мои товарищи. Лука Иванович жил напротив нашего пансиона и был в приятни не только с г-м Лебриллианом, но со всеми учителями и гувернерами, а потому, в свободное от ученья время, позволяли пансионерам ходить к нему и оставаться иногда до полуночи. Лука Иванович обучал нас играть во все карточные игры, и даже в банк и в штос, позволял нам курить трубки, потчевал вином, пуншем и водкою и забавлял рас-

сказами о любовных своих похождениях. У него была небольшая библиотека заповедных книг и — все соблазнительное, что только ходило по рукам, в стихах и прозе, находилось в его небольшом собрании рукописей. Несколько портфелей наполнены были гравированными и рисованными картинками, которых он, верно, не смел никому показывать, как только нам, неопытным, и столь же развратным, как и он, приятелям. В беседах своих с нами он беспрестанно насмехался над всеми духовными и гражданскими обязанностями человека, над тяжестью родственных связей и сыновней подчиненности, словом: над всем, что добрые люди почитают священным. Лука Иванович тщательно наблюдал наши склонности, постепенно развивал в нас страсти, возбуждал желания и беспрестанно твердил, что цель жизни есть наслаждение и что при стремлении к какой бы то ни было цели самые скорые и верные средства суть всегда самые лучшие. По правилам г-на Вороватина, для детей была одна только обязанность в жизни, в отношении к родителям, а именно представляться такими, какими они желали видеть своих детей. Откровенность с родителями и со всеми старшими он почитал пороком и глупостью. Адские свои правила г. Вороватин прикрывал названием *новой философии* и под именем *прав природы* и *прав человека* посеивал в неопытных сердцах безверие и понятия о скотском равенстве. Идеи его нам чрезвычайно нравились, потому что в них находили мы все, что могло льстить нашему самолюбию, и все, чем можно было доказать наше мнимое право на независимость. Мы почитали себя философами XVIII века и всех, кто думал не так, как мы и как г. Вороватин, называли варварами и невеждами. Вороватин знал все соблазнительные анекдоты о лучших фамилиях и, рассказывая о слабостях родителей, искоренял в сердцах детей семена приверженности и уважения к старшим. Он жил игрою и всякого рода оборотами: давал деньги взаймы богатым наследникам, обыгрывал их, торговал векселями и вещами, которые он брал в долг в магазинах, и служил любовным агентом и орудием во всех интригах старым и молодым, мужчинам и женщинам. Вороватина знал целый город, и хотя он не показывался в порядочных семействах в приемные дни, но был весьма часто призываем для совета и помощи к богатым и знатым. Лука Иванович имел около сорока лет от роду, был малого роста и сухощавого сложения. Волосы имел рыжеватые, лицо бледное, покрытое морщинами. преждевременными следами разврата. Он всегда смотрел, при-

щуря глаза, и мрачный взгляд его возбуждал какое-то неприятное впечатление. Вороватин хвалился, что он уже успел воспитать целое поколение по правилам новой философии, и, в самом деле, величайшие негодяи и развратники в столице были с молодых лет его приятелями. Ни один из них не избежал бесплатно его наставлений: он помогал им мотать и первый пользовался расстройством их дел. Набожные люди называли Вороватина *демоном*, молодые *весельчаком*, а неопытные юноши, как я уже сказал, — *философом*. В летописях полиции он был известен под именами *фальшивого игрока и аферщика*.

Лука Иванович особенно привязался ко мне, предсказывая, что я буду великим философом и достигну до высокой степени богатства и знатности. Он при мне никогда не говорил дурно о тетушке моей, зная мою к ней приверженность, однако ж запретил мне рассказывать ей о нашем знакомстве, говоря, что он личный враг князя Чванова и Плезирина, которые могут оклеветать его пред тетушкою, и она, по женскому легковерию, разорвет нашу дружбу. Вороватин давал мне даже деньги на игру и на другие мои надобности и не называл меня иначе, как меньшим своим братом. Я был у него в квартире вроде второго хозяина; приходил, когда мне было угодно, делал, что хотел, и, хотя бы его не было дома, приказывал его слугам, потчевал моих товарищей на его счет и распоряжался его имуществом, как своим. Мудрено ли, что такое обхождение Вороватина заставляло меня верить, что он любит меня за одни личные мои достоинства? И это самое привязывало меня к нему. Я даже гордился этим предпочтением. Между нами не было тайн, и я, по желанию его, рассказал ему мои похождения, бедствия моего детства, встречу с тетушкою и наконец показал ему счастливую примету, по которой она удостоверилась, что я племянник ее. Казалось, что со времени моей откровенности Вороватин еще нежнее любил меня. Он был первый, которому я открылся.

Между тем в дом тетушки стал ездить весьма часто один вельможа, который занимал важное место в Петербурге и, получив отставку, переселился на житье в Москву, чтоб наслаждаться свободно приобретенным (не знаю, благо или неблаго) богатством в течение долговременной своей службы. Г. Грабилин имел от роду лет за пятьдесят, но был бодр и силен не по летам. Он был горд, дерзок в речах и поступках, капризен и своим обхождением часто застав-

лял плакать тетушку. Он был полным хозяином в доме, приставил своих слуг и запретил тетушке принимать гостей без его позволения, кроме нескольких пожилых музыкантов. Грабилин не откликался, не поворачивался и не отвечал, если его не величали превосходительством. Семен Семенович и аббат Претату не смели показываться в нашем доме, и только князь Чванов ездил по-прежнему. Тетушка называла его своим крестным папенькой и благодетелем, и Грабилин не смел противиться князю, а напротив того, воспользовался этим случаем, чтоб свести с ним тесную дружбу. Два старика проводили иногда время, толкуя о политике; а тетушка между тем выходила к соседке, своей приятельнице, поселившейся в другой половине дома, где всегда находила Семена Семеновича или кого другого из прежних своих знакомых. Государственные дела, в которых старики более не участвовали, до такой степени занимали их, что они, в жару своих споров и пересудов, не заботились даже об отсутствии тетушки. Однако ж со времени появления Грабилина все переменялось в доме тетушкином; даже музыкальные вечера расстроились, и вообще какое-то уныние заступило место прежней веселости. Особенно мне было скучно. Грабилин обходился со мною весьма надменно, едва удостоивал взглядом, журил за каждое нескромное слово, за каждое свободное движение и не любил, чтобы я, по моей привычке, вмешивался в разговоры. Я избегал его присутствия и, под предлогом занятий в пансионе, почти жил у Вороватина.

Вороватин познакомил меня в нескольких домах, куда, без дальних связей, меня приглашали обедать, ужинать и танцевать. Чаще других посещал я одну короткую приятельницу Вороватина, у которой была прекрасная дочь. Матрена Ивановна Штосина, вдовушка лет тридцати пяти, веселая и ветреная, любила светские удовольствия, рассеяние и карточную игру. Она имела довольно обширный круг знакомства в сословии подъячих из разного рода приезжих дворян из губерний. Муж ее был каким-то чиновником на прибыльном месте и оставил ей, после своей смерти, дом и порядочное состояние. У нее почти каждый вечер собиралось множество гостей, мужчин и женщин, играть в карты и говорить о делах. Начинали коммерческими играми, а кончали всегда банком, штосом и квинтичем. Груня, ее дочь, на пятнадцатом году слыла красавицей. Она была задумчивого нрава, проводила большую часть времени одна, в своей комнате, в чтении чувствительных романов и знала наизусть «Страсти

молодого Вертера» и «Новую Элоизу». Я имел случай разговаривать с нею весьма часто, в то время когда ее матушка понтировала или забавлялась квинтичем. Мы весьма скоро подружились с Грунею и, после нескольких споров о морали и философии, согласились завести между собою переписку о разных философских предметах, для усовершенствования себя во французском языке и в мудрости. Но мудрость не любит вмешиваться в дела юношей с молодыми девицами. Вскоре философические наши письма приняли тон писем нежного Сент-Пре и мягкосердной Юлии, и мы, не зная, как и зачем, открывались в любви друг другу и мечтали о будущем нашем блаженстве. Разумеется, что Вороватин был моим поверенным в любви. Он ободрял меня, воспаляя неопытное мое сердце надеждами и описаниями счастья влюбленных, и советовал, как вести себя с Грунею.

В бедствиях дитя скоро созревает, а муж стареет. Только в довольстве и в баловстве юный ум ослабевает и оставливается на посредственности. Но дитя, оставленное самому себе, или погибает или развертывает все нравственные силы с необыкновенною быстротой. Я уже сказал, что меня с самого детства почитали умным не по летам. Физическое мое сложение также развернулось чрезвычайно скоро, при всех удобствах жизни, и я в семнадцать лет казался двадцатилетним юношею. Страсти сильно кипели в душе моей, тысячи желаний обуревали мои мысли, но ни одна страсть не владела мною исключительно. Иногда, смотря на чиновного человека в звездах и лентах или на генерала в блестящем мундире, я мучился несколько дней честолюбием и делал планы, как достигнуть почестей. В другой раз, блестящий экипаж, богатое платье, великолепный дом заглушали в сердце моем голос честолюбия и порождали желание богатства: я томился над придумыванием средств к составлению, в скорейшем времени, огромного состояния. Иногда желание славы волновало мою душу — и я изобретал проекты, как заставить говорить и писать обо мне в целом мире. Наконец, вид прелестной женщины, прохаживающейся под руку с мужчиною, посеивал в сердце моем желание обладать подобным сокровищем — и я думал о любви и о женитьбе. Страсти мои сменялись вместе с получаемыми мною впечатлениями, не оставляя в сердце никаких следов. Но наконец дружба моя с Грунею, ежедневная переписка с нею и частые свидания открыли мне новое поприще и поглотили все прочие зародыши страстей. Я старался уверить себя, что я влюблен, что я должен быть влюблен, что не могу быть невлюбленным.

Груня была прекрасна, умна или, по крайней мере, занимательна для меня своею беседой, в которой всплывала наверх начитанность французских романов. Она любила меня, и я, в моем воображении, прибавлял к ее истинным, добрым качествам все возможные совершенства и составил идеал, который мне угодно было назвать Грунею. Принуждая себя думать о моей любви, я беспрестанно мечтал о Груне и во всех случаях искал применения к моей страсти. Если, во время моих прогулок, я слышал, что какой-нибудь ямщик или сиделец запоет песню: *«Очи, мои очи, вы ясные очи!»* — я тотчас приводил себе на память темно-голубые глазки моей Груни. Если я слышал, что кто-нибудь скажет о женщине: *«Ах, как она мила!»* — я говорил про себя: а моя Груня гораздо милее! Говорили ли о ком, что он счастлив с своею женой, — я думал: а я буду гораздо счастливее с моею милою Груней. Одним словом, Груня была у меня беспрестанно на сердце и на уме и я старался, чтоб она была также перед моими глазами и на языке: для этого, если я не мог быть с нею, то бывал всегда с Вороватыным, с которым мог смело говорить о моей любви.

На пятнадцатом году городские девицы уже не дети: Груня любила меня более сердцем, нежели воображением. Ум ее трудился только в приискании для меня имен романических героев и выражений нежности. Сердце ее было занято мною вполне. Она проводила ночь без сна и в слезах, если не видела меня целый день. Когда я не мог быть у нее, то должен был, по крайней мере, пройти мимо ее окон и подать условный знак рукою, что я доволен ею и получил ее письмо. Когда мы бывали наедине, величайшее наше наслаждение состояло в том, чтоб смотреть друг другу в глаза, держась за руки, и повторять тысячу раз сказанные нежности, которые казались нам, а по крайней мере ей, новостями. Груня любила гладить своею ручкою мои полные, румяные щеки, а я играл ее мягкими локонами. Разумеется само собою, что я тысячу раз клялся ей ни на ком не жениться, кроме ее; а она клялась не выходить замуж ни за кого, кроме меня. Но когда и как — об этом мы вовсе не думали. Нам казалось самым обыкновенным делом обвенчаться и зажить припеваючи. Я с нетерпением ожидал позволения оставить посещения пансиона и сбросить с себя звание ученика. Об этом я решился просить тетушку.

Однажды, после обеда, когда тетушка казалась веселее обыкновенного, я приступил к исполнению моего намерения.

— Любезная тетушка! — сказал я. — Вы напрасно платите

за меня в пансион. Я знаю наизусть все, что там преподают, и только напрасно теряю время, слушая давно мне известное. По-французски я говорю как француз, по-немецки весьма изрядно, танцую ловко, в истории, географии и других науках знаю столько, сколько сами учителя, а кроме того, по милости вашей, хороший музыкант. Чего мне более надобно? Учителем я не могу и не хочу быть, а для светского человека я даже слишком учен. Вы знаете столько знатных господ, столько важных лиц: переберите всех их беспристрастно и скажите, кто из них знает более меня? Не лучше ли будет, когда я стану дома заниматься образованием своего ума чтением, а вместе с тем искать какого-нибудь счастья службою или чем вам угодно? Подумайте, тетушка и, пожалуйста, не слушайтесь этого медведя, Грабилина, который для того только советует вам посылать меня в пансион, чтоб избавляться от моего присутствия.— Я приметил, что тетушка покраснела от сих последних слов.

— Делай как хочешь, Ваничка,— сказала она.— Я не хочу принуждать тебя. Я сама вижу, что ты умнее всех, кого только я знаю.

— Итак, с завтрашнего дня конец моему походу в пансион,— сказал я.

— Конец,—повторила тетушка,—только не надобно говорить об этом Грабилину. Ты сиди в своей комнате, когда он бывает у меня, или выходи со двора.

— Прекрасно! — Я бросился целовать тетушку и в тот же день объявил г-ну Лебриллиану, что я уже не стану посещать его пансиона. Как за меня было заплачено за полгода вперед и мы не требовали возврата денег, то он был доволен и дал мне такой великолепный аттестат, на огромном пергаментном листе, что если б верить половине того, что там было написано, то меня бы смело можно было причислить к семи мудрецам Греции. Тетушка и я верили чистосердечно всему написанному в аттестате: она — оттого, что любила меня до безумия, а я — потому, что не встречал до тех пор человека, который бы заслужил мое уважение своими познаниями и умом.

Читатели, вероятно, уже заметили, что до сих пор не было упомянуто о том, чтоб кто-нибудь занимался преподаванием мне правил веры, нравственности и образованием моего сердца. Я сперва был в самом низком сословии людей, а после того разом шагнул на такую степень, которую занимают в свете только дети, рожденные от знатных и богатых родителей. В первом сословии вовсе не занимаются

образованием нравственной природы человека, довольствуясь механическим изучением всех телодвижений, нужных для прислуги, точно так, как обучают пуделей носить поноску; в другом звании пекутся единственно о том, чтобы сделать из мальчика человека, во всем похожего на тех людей, которые, по рождению или по богатству, имеют право жить в так называемом большом свете. А как в блистательных обществах не разговаривают ни о религии, ни о философии и как там вовсе не занимаются ни учеными людьми, ни науками, ни поведением своих знакомых, то французский язык, танцевание и знание светских приличий составляют всю светскую премудрость. За это только платят деньги французским наставникам, и они делают только то, чего от них требуют. Я торжественно признаю г-на Лебриллиана нисколько невинным в том, что я, кончив воспитание в его пансионе, не имел никакого понятия о должностях человека и гражданина. Об этом никто не просил его, а благовоспитанный человек не должен навязываться с услугами, о которых его не просят. Исполнять свой долг по совести есть обыкновенное среднего сословия, которое в большом свете называют *дурным обществом*, *la mauvaise compagnie*!

Едва успел я насладиться моею свободою около месяца, как грусть омрачила мое сладкое бездействие. Однажды вечером, когда г-жа Штосина играла в карты, я, по обыкновению, искал случая поговорить наедине с Грунею; служанка, проходя мимо меня, шепнула мне, чтоб я прошел прямо в спальню к барышне. Я застал Груню в слезах. Она сказала мне, что матушка ее едет вместе с нею в Оренбург, для получения наследства после двоюродного брата своего мужа. Сей почтенный братец был сперва секретарем по соляной части, а после того приставом при меновом торге с киргизцами. Он слыл всю жизнь весьма бедным человеком и даже получал несколько раз денежные пособия от правительства, по недостаточному состоянию; но после смерти его, когда стали опечатывать его имущество, нашли ломбардных билетов и векселей более нежели на полмиллиона рублей. При жизни его не слышно было вовсе об его родне, и даже г. Штосин отрекался от него всякий раз, когда надобно было помочь ему; но лишь только открылось наследство, то появилось несколько дюжин родственников, которые, в память покойного, завели между собою тяжбу. Отъезд г-жи Штосиной назначен был чрез неделю, а возвращение — на неопределенное время. Поплакав вместе, мы повторили наши клятвы в вечной любви и верности и согласились всякую почту писать

друг к другу, пока я не найду случая отправиться в Оренбург. Я обещал это Груне, не думая, каким образом могу исполнить. На другой день я рассказал обо всем другу моему, Вороватину, который тотчас обещал во всем помочь мне и даже отвезть в Оренбург, где, по его совету, мне надлежало похитить Груню, жениться на ней и, в качестве наследника богатого киргизского пристава, требовать своей части судебным порядком, если б г-жа Штосина не хотела отдать нам наследства по доброй воле: Груня, по отцу своему, была настоящею наследницей.

Между тем Грабилин известился стороною, что я уже кончил мое учение в пансионе; и как он прежде выгонял меня из дому в классы, так теперь стал гнать в службу. Я вознамерился употребить отвращение его ко мне в пользу свою.

Напрасно было бы описывать слезы, рыдания, обмороки при разлуке моей с Грунею. Это вещи скучные и всем известные. Лишь только она уехала в Оренбург, я стал искать средства поспешить за нею. Вороватин, сжалясь над моею грустью, вознамерился немедленно проводить меня к моей возлюбленной и даже советовал мне отправиться без позволения тетушки. Но я не соглашался на это и, чрез месяц после отъезда Груни, выманил согласие тетушки следующим образом.

— Тетушка! — сказал я. — Мне обещают хорошее место при Монетном дворе, в Москве. Но как для этого надобно несколько опытности, то один из моих знакомых, служащий по Горному правлению, хочет взять меня с собою в Оренбург. Он пробудет там не более четырех месяцев, для ревизии дел, и я буду при нем в звании письмоводителя. Возвратясь в Москву, я буду иметь право требовать штатного места, и мой покровитель ручается, что я тотчас буду принят в службу по его предстательству и за мои предварительные труды. Согласитесь, тетушка! Не лучше ли, чтоб я обязан был счастьем самому себе и своим трудам, нежели вашим приятелям, которые, кажется, не очень меня любят? Вы знаете, что без офицерского чина мне нельзя показаться в люди.

Тетушка долго не соглашалась расстаться со мною, но когда я рассказал г-ну Грабилину эту сказку, вымышленную Вороватиным, то он принудил тетушку отпустить меня. Один из приятелей Вороватина взялся сыграть перед тетушкою роль чиновника Горного правления и убедил ее поверить меня его попечению, обещая все возможные выгоды по службе. Тетушка снарядила меня в дорогу и порядочно наполнила

мой бумажник. Даже Грабилин подарил мне пятьдесят рублей серебром. Добрый старичишка, князь Чванов, который из привычки, сделавшейся неисцелимою, ездил почти ежедневно к тетушке, также дал мне денег и рекомендательное письмо к губернатору. Простившись с тетушкою, я сел в коляску с приятелем Вороватина, а он сам ожидал нас за заставою. Я был точно как в горячке от борения противоположных чувствований, любви к тетушке, сожаления и грусти, что оставляю ее, и радостной надежды на свидание с Грунею, на женитьбу, приобретение богатства и независимости. Рассеянность дороги несколько успокоила меня; но я невольно всегда думал более о тетушке, нежели о Груне.

ГЛАВА XI

Я УЗНАЮ КОРОЧЕ ВОРОВАТИНА. ПОДСЛУШАННЫЙ РАЗГОВОР. ПРЕДЧУВСТВИЯ. КАПИТАН-ИСПРАВНИК

— Сколько у тебя денег? — спросил меня Вороватин на первой станции.

— Сто пятьдесят рублей серебром.

— Прекрасный капиталец! — воскликнул Вороватин. — В твои лета немногие имеют столько денег в руках. Ты богаче меня, Ваня. Справедливость требует, чтобы ты платил за половину путевых издержек.

— Я иначе и не думал, — отвечал я, — и хотел рассчитаться с вами по приезде на место.

— Это все равно, — сказал Вороватин, — но как ты еще не привык обращаться с деньгами, то отдай их мне, на сохранение.

— Они, кажется, лежат безопасно в моем чемодане.

— Они лучше будут лежать в моем сундуке, под замком, — возразил Вороватин.

— Как вам угодно! — сказал я и тотчас отдал ему мои деньги, оставив себе несколько серебряных рублей, на мелкие издержки. Несколько станций Вороватин был молчалив и задумчив; наконец он завел разговор самым важным и холодным тоном.

— Неужели тетушка не говорила тебе никогда о твоём отце? — спросил Вороватин, устремив на меня проницательный взгляд.

— Ничего, кроме того, что я вам сказал.

— Странно, очень странно! — проворчал Вороватин.

— Я не вижу ни малейшей странности, — сказал я. — Если б в жизни моего покойного отца было что-нибудь любопытное, то тетушка, верно, рассказала бы мне. Не знаете ли вы чего-нибудь? — примолвил я, смотря также в глаза Вороватину. — Вы очень обяжете меня, если скажете что-нибудь на этот счет.

— А мне почему знать! — отвечал сухо Вороватин.

— Если это так мало вас беспокоит, то зачем же эта недоверчивость?

— Ты еще не знаешь женских уловок и хитростей, — сказал Вороватин. — Когда потерпишь от них, тогда будешь к ним недоверчив.

— Я не имею ни малейшей причины не доверять моей тетушке, которая любит меня как родного сына, сделала для меня все, что только была в состоянии сделать, и готова всем для меня жертвовать.

— Вот в том-то и сила, — возразил Вороватин. — И трудно верить, чтоб тетушка твоя, любя тебя, никогда не говорила тебе о состоянии твоего отца, о будущих надеждах и разных приключениях.

— Хотя вы и давали мне советы, чтоб я не был никогда искренен, но я еще не научился следовать в точности вашим наставлениям, — сказал я с некоторою досадой. — Повторяю: о состоянии моего покойного отца, об его происхождении тетушка сказала мне все, что почла нужным, а приключения его, видно, незанимательны, когда она об них умолчала. Впрочем, я, возвратясь в Москву, расспрошу ее подробнее об этом предмете, который до сих пор почитал маловажным.

— Теперь поздно, — сказал Вороватин, с притворною улыбкой.

— Почему же поздно? — спросил я.

Вороватин вдруг засмеялся каким-то ужасным смехом и сказал:

— Поживем — увидим! — Он обратил разговор на другие предметы и старался меня рассеять; но у меня налегла грусть на сердце: я был печален и молчалив. С этих пор доверенность моя к Вороватину исчезла и я стал опасаться, чтоб он не повредил мне у Груни, рассказав, чем я был прежде. Он, однако ж, стал по-прежнему ко мне ласкаться и обольщать надеждами насчет женитьбы и приобретения богатства.

Мы остановились ночевать на почтовом дворе, в одном небольшом городке. К вечеру приехал на перекладных какой-то человек средних лет и остановился также на ночлег.

Я заметил из окна, что Вороватин фамильярно поздоровался с новоприезжим, который, однако ж, наблюдал подчиненность в обращении с ним и не прежде надел картуз, как Вороватин велел ему накрыться. Они отошли за угол дома, к стене, где не было окон, и стали между собою разговаривать; но как ветер был с той стороны, то я, перешед в угольную комнату, слышал часть их разговора.

— Ты слишком поторопился, Пафнutyич,— сказал Вороватин.— Надобно было бы подождать, пока я обживусь на месте и обдумаю способы. Ведь нельзя ж камень на шею да в воду.

— Уж это не мое дело, как сбыть его с рук,— отвечал новоприезжий,— но графиня не давала мне покою и насильно выгнала в дорогу. Говорят, что граф возвращается в Москву...

Тут ветер прихлопнул ворота, и я от скрипа и стука не слышал конца речи.

— Виноват ли я,— сказал Вороватин,— что графиня не хочет спроводить его с этого света? Уж где только совесть замешается в дела...

Извозчик, бывший на дворе, кликнул громко своего товарища, и я снова не дослышал конца речи Вороватина. После того незнакомец сказал:

— Мне велено остаться при вас до конца дела, помогать вам во всем и после немедленно возвратиться к графине, в подмосковную...

При сих словах Вороватин и незнакомец вышли за ворота, а я остался у окна в недоумении и беспокойстве насчет слышанного. Нельзя было сомневаться, что Вороватин замышляет какое-то злодейство, и я, зная образ его мыслей, был уверен, что ни страх Божий, ни совесть не удержат его от преступления. Но кто эта несчастная жертва, на погибель которой составлен заговор? Какая это графиня, которая с нетерпением ожидает известия о несчастье ближнего? Кто этот граф? Кто таков новоприезжий? Эта тайна, в которой я предусматривал чью-то погибель, терзала меня. Я чувствовал, что напрасно было бы спрашивать Вороватина и сказать ему, что я подслушал часть разговора его с незнакомцем. Я даже опасался, чтоб открытием его замыслов не навлечь на себя его гнева и даже мщенья; итак, я решил молчать, наблюдать и, если будет возможность, воспрепятствовать исполнению злого намерения. Мучимый сими мыслями, я прохаживался по комнате в сильном душевном волнении. Сердце мое сильно билось, голова казалась тяжелою, во рту

было сухо. Я пошел в комнату станционного смотрителя, чтоб напиться воды, и случайно увидел подорожную новоприезжего. Из нее узнал я, что сообщник Воробятина коломенский мещанин, Прохор Ножов, и что он едет из Москвы в Оренбург.

Для рассеянья пошел я прогуляться по городу. Но в наших заштатных городах мало развлечения для путешественника. Вот что видел я, бродя из конца в конец, по мосткам: оборванные мальчишки, голодные собаки, рогатый скот и домашние птицы дружно топтали грязь на середине улицы. Старухи, поджав руки, стояли у ворот бревенчатых домов и оговаривали соседок или перебранивались между собою. Взрослые мужчины толпились перед питейным домом, где заседали старики, а юноши с балалайками и варганами расхаживали перед окнами, из которых выглядывали иногда миленькие женские личики. В нескольких местах слышны были звуки заунывных песен, и, для оживления картины, в двух местах смиренные граждане тягались за волосы, в кругу добрых соседей и приятелей, а нескольких почтенных и чадолюбивых отцов семейства, упитанных благословенными дарами откупщиков, вели под руки дюжие парни, распевая плясовые песни. Это был праздничный вечер.

Город был не что иное, как обширное четвероугольное пространство, обнесенное полуразрушившимся плетнем; три четверти огороженной земли заняты были выгоном. В середине всего объема лежала широкая улица, или, лучше сказать, почтовая дорога: по обеим сторонам ее, за рвами, выстроены были небольшие деревянные домики и лачуги. Вправо и влево было несколько улиц со вросшими в землю избушками и большими пустыми промежутками, с развалинами плетней и заборов. В середине находилась площадь, на которой возвышалась каменная церковь и полуразрушенное кирпичное здание, где некогда предполагалось было поместить судебные места. На бумаге этот город занимал весьма много места, и все улицы, означенные в натуре взрытою землею и следом бывших рвов, представляли на плане прекрасную перспективу. Жаль только, что кучи навоза и разбросанные в беспорядке гряды заменяли место большей части домов, прекрасно нарисованных губернским архитектором. Читатели мои, конечно, видали много таких городов. Но как имена их существуют на ландкартах и на планах, хранящихся в межевых конторах, и как места для строения домов означены, и даже фасады придуманы: то кажется, что половина дела уже сделана. Впрочем, никто не виноват: человек предполагает, Бог располагает (*l'homme propose Dieu dispose*)!

Города так же невозможно сделать многолюдным, без особенных местных выгод, как произвольно установить вексельный курс.

Возвращаясь на почтовый двор, я застал Вороватина в весьма веселом расположении духа. Он дожидался меня к ужину и между тем, потчевая водкою смотрителя, расспрашивал его про житье-бытье каждого из окрестных помещиков, об уездных чиновниках и обо всех провинциальных новостях. Это делал Вороватин на каждой станции и, поверяя слова смотрителей с рассказами ямщиков и содержателей питейных и постоялых дворов на большой дороге, составлял из этого свои замечания и записывал в свою памятную книжку. Когда я однажды спросил его о причине сего любопытства, Вороватин отвечал хладнокровно:

— Почему знать, с кем придется иметь дело в жизни! Но когда знаешь образ мыслей и поступки многих людей, то при случае можно употребить это в свою пользу. Я почитаю людей аптекарскими материалами, которых свойства надобно знать, чтоб пользоваться ими. В светском быту, так как в экономии природы, ничто не пропадает, если умный человек знает, как употребить различные качества и страсти людей. Яд в руках мудрого служит к исцелению недуга, и величайший плут или глупец также может быть иногда полезен умному в его делах.— Вороватин, сказав мне это, кончил, по своему обыкновению, смехом, примолвив:— Запиши, Ваня, это нравоучение в своем календаре. Это одно из важных правил моей философской школы.— Я тогда принял это за шутку, но после подслушанного мною разговора расспросы Вороватина производили во мне неприятные впечатления; ибо я знал, что они могут клониться к какой-нибудь вредной цели.

Есть люди, которые думают, что грусть можно утопить в вине. Я не испытал этого на себе в течение жизни. В первый раз я хотел противу воли есть и пить, но вино казалось мне желчью, а пища безвкусною и тяжелою как камень. Проницательный Вороватин заметил, что я не в своем духе, но не отгадал причины.

— Мне кажется, что ты гневаешься на меня, Выжигин? — сказал он.

Я молчал.

— Неужели вопрос мой о твоём отце мог опечалить тебя до такой степени? — примолвил он.

— Не вопрос, но недоверчивость ваша мне весьма неприятна,— отвечал я.

— Итак, извини, любезнейший! — воскликнул Вороватин,

обнимая меня.— Верь, что я расспрашивал тебя единственно из любви к тебе. Мне сказали в Москве, будто после отца твоего осталось именье, будто тетушка присвоила его себе и Бог весть что, и я хотел только выведать, знаешь ли ты об этом.

— В таком случае надлежало бы сообщить мне ваши сомнения, без обиняков. Раздумав хорошенько, я сам чувствую, что в моей краткой жизни весьма много непонятного. Может ли быть что страннее, например, как то, что дворянский сын был брошен, как котенок, на произвол судьбы, в имении Гологордовского и что никто не отыскивал его и не заботился об нем, до случайной встречи с тетушкой? Но чтоб это сделано было для лишения меня богатства, этому я не могу верить, получив столько доказательств любви тетушки. Она готова отдать за меня жизнь свою, не только все, что имеет, и если б выгода ее состояла в том, чтоб я не знал моих родственников, то она никогда бы не призналась ко мне.

— Ты рассуждаешь, как книга,— отвечал Вороватин,— но я столько испытал в жизни, что привык ничему не верить, кроме дурного.

— Сожалею об вас,— сказал я,— и желал бы отдалить от себя эпоху этой горькой опытности.

— Согласись, однако ж,— примолвил Вороватин,— что весьма удивительно или, лучше сказать, непостижимо, что тетушка узнала тебя в магазине, не выдав от пеленок!

— Не спору, что это должно казаться вам удивительным, но оттого только, что я не объяснил вам всех обстоятельств. У тетушки моей есть два весьма схожие портрета моего отца: один, писанный в его детстве, именно в том возрасте, в котором она встретила меня в магазине; другой, на 25-м году от рождения, в год его женитьбы на моей покойной матушке. Я видел эти портреты и признаюсь, что такого сходства, как между мною и отцом моим, трудно найти в целом мире. Здесь даже две капли воды недостаточны для сравнения. Тетушка говорит, что, кроме того, голос мой, походка, улыбка и даже все ухватки день ото дня становятся более и более сходными с отцовскими и что кто раз в жизни видел моего отца в молодости или на портрете, тот с первого взгляда узнает во мне его сына. Итак, видите, что нимало не удивительно, когда тетушка, имея всегда на туалете эти два портрета и рассматривая их ежедневно, поражена была сходством моим с отцом при первой встрече и что, зная мою примету, удостоверилась, что я точно ее племянник. Надобно более удивляться моей ветрености и безза-

ботности, что мне никогда не пришло в голову расспрашивать тетюшку о моих родителях.

Вороватин слушал меня внимательно, пристально смотрел мне в глаза и погрузился в размышление. Наконец он встал из-за стола и сказал:

— Полно говорить об этом. Дело кончено; теперь пора спать.

Долго я не мог сомкнуть глаз. Я в первый раз стал раскаиваться в том, что обманул тетюшку, что легкомысленно вздумал влюбиться в Груню, что пустился в отдаленный город искать любовных приключений и связался с безнравственным человеком. Рассудок можно уподобить солнцу, а страсти пожару. Человек, находясь в доме, объятom пламенем и наполненном дымом, не видит солнца. Но когда пожар утихнет, тогда благодетельное сияние дневного светила приятнее и ощутительнее. Рассудок заговорил во мне, и я почувствовал, что поступки мои должны вовлечь меня в неприятные обстоятельства, особенно в обществе Вороватина. Я решил возвратиться в Москву при первом случае, определиться на службу, быть осторожнее в выборе знакомств и никогда более не влюбляться, а главное — отвязаться навсегда от Вороватина. Так обыкновенно мы в дурных обстоятельствах составляем мудрые проекты, которые забываются, когда беда или опасность проходит.

Я не суеверен, но некоторые предрассудки (если их можно назвать предрассудками) сильно укоренились во мне, и ни лета, ни опытность, ни рассудок не могут истребить их. Главные из них: вера в предчувствия и в физиономические приметы. Этот день был первым в жизни моей, с которого я начал верить в эти, так называемые, предрассудки. Вот в каком состоянии бывал я всегда, когда какое-нибудь несчастье мне угрожало. Сердце мое билось сильнее обыкновенного, ныло, как будто бы на нем была рана; кровь неправильно переливалась в жилах и, доходя до сердца, производила ощущение неприятное. Все, что только я видел и испытывал горького в жизни, представлялось тогда моему воображению, и в смешении образовало какую-то мрачную картину в будущем. В этой картине я всегда представлял самое несчастное лицо. Сон мой был беспокойный, тревожимый самыми ужасными сновидениями. Какая-то слабость тела сопровождала этот недуг душевный, и каждый пронизательный взгляд на меня, каждый вопрос возбуждали во мне подозрение; каждый стук или даже громкое восклицание, каждое появление нового, неожиданного лица порождали мгновенный страх. Лю-

ди, самые близкие ко мне, в любви и дружбе коих я никогда не сомневался, были мне тогда несносными. С каждым мгновением я ожидал удара судьбы, как осужденный преступник казни, и, признаюсь, редко случалось, чтобы после такого состояния души моей я не впадал в какое-либо несчастье или, по крайней мере, не подвергался неприятности. Что же касается до физиономий, то я первый урок почерпнул в чертах Вороватина, которого стал наблюдать с этого дня с величайшим вниманием, взвешивать все его слова и поступки и всматриваться в черты его лица. С тех пор я не мог преодолеть себя во всю мою жизнь, чтобы не судить о людях по впечатлению, произведенному во мне при первой встрече. Впоследствии я читал сочинения Лафатера и Делапорта о физиономиях, но всегда держусь своей собственной системы и сужу не по чертам лица, но, так сказать, по игре физиономии и по приемам. Если человек смотрит на меня исподлобья или вовсе не смотрит в глаза, когда говорит, если он процеживает слова сквозь зубы и обдуманно сочиняет речения во время разговора; если он разговаривает со мною вопросами и, всегда требуя моего мнения, безмолвно соглашается со мною или для того только противоречит, чтобы заставить меня полнее изъясниться,— признаюсь, я не верю этому человеку. Принужденная улыбка и ложный смех служат для меня указателями неискренности. Grimасы, делаемые невольно ртом, беспрестанное движение губ и закусывание их для меня дурная примета. Неровная походка, в которой видны какие-то лисьи увертки, сжатие всего тела к одному центру или сгорбление, наподобие кота перед мясом; вытянутая вперед голова, как у змеи, которая хочет броситься на добычу,— для меня отвратительны и обнаруживают дурного человека. Громкое изъяснение радости и лобзанье каждого знакомого при встрече мне кажутся весьма подозрительными. Кончу мое небольшое отступление сознанием, что я иногда ошибался в предчувствиях, но никогда не ошибался в физиономиях. Многих физиономических примет моих я теперь не описываю: читатели увидят их впоследствии из портретов многих лиц, с которыми я встречался в жизни. Что же касается до предчувствий, то я должен сказать, что они всегда случались со мною после какого-нибудь проступка или неосторожности, когда я мог ожидать заслуженной или незаслуженной неприятности от моих врагов. Это было не причиною, но следствием; не предостерегательным гением, наподобие Сократова, но гением известительным. Впрочем, кто имеет дело

с самолюбием и страстями людскими, тот весьма часто должен ожидать беды, хотя бы ничего дурного не сделал, а иногда за то именно, чем заслуживаешь похвалу и награду. На свете так водится: кто сам не делает зла, тот должен подвергаться испытанию и терпеть зло от других. Разница доброго человека со злым в этом случае та, что добрый в величайшем несчастье находит утешение в своей совести и в мнении честных людей, а для злого нет ни отрады, ни надежды на тот мир, где сильные не могут давить слабых. Но обратимся к повествованию.

Не умея хорошо притворяться, я не мог принять на себя веселого вида, а чтобы отвратить всякое подозрение, сказал Воробятину, что чувствую себя нездоровым. Не знаю, поверил ли он мне, но он удвоил свои ласки и внимание ко мне и ухаживал за мною с нежностью отца, что несколько примирило меня с ним. Чтоб дать мне отдохнуть, он остановился на несколько дней в одном уездном городке, лежащем в прекрасном месте, на берегу Волги. Воробятин имел здесь старого приятеля, капитан-исправника, с которым он обходился весьма откровенно. В их беседе я услышал такие вещи, о каких прежде не имел никакого понятия. Как они, в свое время, произвели во мне сильное впечатление, то я сообщу некоторые подробности моим читателям.

Савва Саввич почитался одним из расторопнейших капитан-исправников в целой губернии. Он был исполинского роста и, служив некогда в полицейских драгунах, сохранил военную вытяжку и приемы, держался всегда прямо как палка и поворачивался быстро всем телом. Лета и винные пары до такой степени ослабили корни его волос, что они все почти вылезли, исключая нескольких клочков на висках и на затылке. Длинный нос его и оконечности тощего лица покрыты были багровым лаком; из-под густых поседелых бровей сверкали небольшие серо-кошачьи глаза. Он ходил всегда в губернском мундирном сертуке и опоясан был поверху казачьей портупеей. Саблю прицеплял он тогда только, когда отправлялся куда-нибудь по должности, а всегдашнее оружие его составляла казачья нагайка со свинцовою пулей, вплетенною в кончик. Голову покрывал он обыкновенно кожаным картузом с стоячею гривкою, что придавало ему воинственный вид. Голос его похож был на рев медведя. Бумажные дела его исправлял старый писец, который три четверти жизни проводил привязанный к столу за ногу. Кроме того, Савва Саввич приказывал снимать с него сапоги, чтоб воспрепятствовать частым отлучкам в питейный дом. Но лов-

кий писец находил средство напиваться, не вставая со стула. Услужливые присяжные приносили ему вино в аптечных стеклянках, по несколько раз в час, с тех пор как Савва Саввич стал искать бутылок и штофов в печи, в трубе и даже за обоями. В праздники позволялось писцу упиваться, и тогда обыкновенно его приносили одеревенелого на ночлег в арестантскую и отливали водою. В разъездах по уезду Фомиш (так назывался писец) имел также полное право пить мертвую чашу несколько дней сряду, но только по окончании дела, ибо похмелье его сопровождалось трясением руки, что делало его неспособным к работе. Савва Саввич называл Фомишу *золотым человеком* и склонность его к пьянству приписывал необыкновенным дарованиям, которые, по мнению старинных людей, не могли процветать, не быв оропляемы водкою, а поэтому надлежало заключать, что и Савва Саввич был гений. Однако ж Савва Саввич был сам большой знаток в делах, особенно в допросах, следствиях и повальных обысках, но только он не умел изливать на бумагу своих мыслей так легко, как лил в горло крепкие напитки; не мог приискать в обеих столицах таких очков, посредством которых можно было бы читать скорописные бумаги, хоть по складам, так как печатное, и, по множеству дел, не помнил чисел указов. В этом заменял его Фомиш. Жители уезда, за исправность Саввы Саввича, прозвали его *серым волком*, а верный его сотрудник, Фомиш, прозван был *западней*.

Капитан-исправник пришел к нам на вечер, и когда подали самовар, то он, смочив горло пуншем с кизлярскою водкой, почувствовал охоту к откровенным разговорам. Он начал, по обыкновению, любимым своим восклицанием:

— Худые времена, худые времена: просвещение, юстиция; а денег нет как нет!

— Полно жаловаться на судьбу, Савва Саввич, — возразил Воробьев. — Ведь я знаю, что исправничьи места дорого ценятся; черт бы велел тебе сидеть здесь, когда бы не было поживы.

— Да, куда же прикажешь деваться? — сказал с досадою капитан-исправник. — Ведь только и живешь что старым запасом, а нынешними сборами и прорехи в кармане не заплатаешь. Подумай, что мы должны кормить губернские места, как детки старого батюшку. Что проку, что у меня по счету 9218 душ, когда эти души в тощем теле!

— Как! — воскликнул я. — У вас 9218 душ, и вы жалуетесь на судьбу!

Капитан-исправник улыбнулся и отвечал:

— Эти души, братец, не мои, изволишь видеть, а казенные, состоящие в моем ведомстве; но кто доит коров, тот может пить и молоко, и нельзя ж требовать, чтоб от казенных сборов не оставалось нам поскребушек, так называемых акциденциями. Но ныне худыя времена, худыя времена! — примолвил он снова. — Просвещение, юстиция; а денег нет как нет! Корчемство выводится, беглецов и бродяг заходит в наш уезд, по несчастию, мало, а потому не к кому привязываться. Уж видно, быть скоро преставлению света! Даже воровство становится редким, а об убийствах почти не слышно. Для нашей братьи, дельцов, так эти новые порядки — моровая язва! Нет дел, нет и поживы. А между тем из губернских мест пописывают к нам да пописывают: соловьев-де баснями не кормят, поклонами шубы не подшить и тому подобное. Беда, сущая беда! Со всех концов подует к нам каким-то просвещением, и даже подьячие носят нынче с книгами да подшучивают друг над другом, а в столицах, говорят, даже осмеивают исправных людей не только в театре, но даже в газетах, из того только, что мы хотим есть хлеб насущный за наши труды. Даже и помещики ныне умудрились: не то чтоб по-книжному, но все хотят быть дельцами, и чуть привалит беда, так прямо летят в губернские места или даже в Питер. Лучше накормить волка, говорят они, нежели волченок. Уж правду сказать, за это и я им надоедаю порядочно и держу их в ежовых рукавицах. Чуть проявился один беглый в уезде, я заставляю его в показании обговаривать в пристанодержательстве всех богатых помещиков и даже крестьян, за вины их господ, и тотчас весь уезд перевертываю вверх дном. Если удастся найти мертвое тельце, то я перетаскиваю его в тридцать разных мест, чтоб после того производить везде следствия. Украденная лошадь ночует у меня, на бумаге, в одну ночь в двадцати конюшнях. Но все это горький хлеб, трудовая копейка! Разъезжай, бегай, пиши, допрашивай, беися как рыба об лед, из сотенки в одном месте, из полсотенки в другом, из десятка в третьем. Худыя времена, братец! Просвещение, юстиция! — Савва Саввич запил горе и, стукнув стаканом по столу, погрузился в думу. Вороватин потешался искренностью своего приятеля и снова заставил его говорить.

— А ярмарки, Савва Саввич, а паспорта, а взыскания казенных недоимок и частных долгов, а описи имения, а дворянские опеки, а очереди для починки дорог, а подводы и проч(ее) и проч(ее)?

— Все черт перевернул и перепутал, — отвечал с гневом Сав-

ва Саввиц.— Игроков мало приезжает на ярмарки, а те, которые приезжают, сами бедны как церковные крысы и не в состоянии хорошо платить за позволение обыгрывать намерную помещиков, которые ныне для моды разоряются в столицах. С паспортов немного доходу: работ в столицах мало; торговля идет плохо, и крестьян немного выходит из уезда в извозы и в работники. Правда, что за потворство при взысканиях казенных недоимок и частных долгов хорошо оплачивают; да ныне предписания строгие, а губернаторы и прокуроры жмут нашу братью, если мы упускаем из виду казенные интересы. О частных делах ни слова. По мне, хоть будь в долгу как в шелку, лишь сиди смирно да оплачивайся нам исправно. Ни долгу, ни за бумагу и переписку ввек не взыщем. Губернские места и земские суды переписываются между собою по-приятельски, а заимодавец почитывай, если угодно, предписания о взыскании да веселись четким почерком писцов. Этот предмет, благодаря Бога, еще не тронут с места, не ниспровергнут. Доро́ги, братец, и подводы — пустое! Ведь мы чиним только одни почтовые дороги, и то тогда только, когда проезжает какая важная особа, а на прочих дорогах хоть сам черт шею ломит,— не наше дело! Полки ныне стоят по границам, так и подводы редки. Что же касается до дворянских опеки, то ты ошибаешься, друг, приписывая нам поживу. Конечно, с сиротского добра каждому перепадет копейка, но ныне сами дворяне мастера обдирать, как липочку, своих питомцев. Если же кого отдадут под надзор за дурное управление, то в этом имении, уж верно, и крысы околевают с голоду и пожива плохая у дурного правителя. Нет, братец, худыя времена, худыя времена! Просвещение, юстиция; а денег нет как нет!

— Нет, Савва Саввич,— сказаал Вороватин.— Ты теперь сделался скрытным: было время, когда ты хвастал добычей, как искусный стрелок застреленною дичью, а ныне...

— А ныне,— сказал капитан-исправник,— надобно быть осторожным; велит быть честным,— примолвил он и снова повторил любимую свою пословицу:— Худыя времена, худыя времена! Просвещение, юстиция, а денег нет как нет! — Вороватин вышел из комнаты, и капитан-исправник обратился ко мне с речью:

— Вы, как я слышал, родственник г-на Вороватина?

— Да-с.

— Еще нигде не служите?

— Нет.

— Пора, сударь, пора; особенно если хотите идти по

статской службе. Ведь приказная грамота, батюшка, море! Всего не выпьешь, а нахлебаться надобно спозаранку. По правде сказать, только те и дельцы, что начали службу с канцелярских слугителей. Советую вам не терять времени...

В это время Вороватин возвратился в комнату, и словоохотный капитан-исправник, примечая, что приятель его сделался молчалив и задумчив, начал, в свою очередь, мучить его расспросами. Я пропустил без внимания толки их о разных общих знакомых, но одно обстоятельство сильно меня поразило.

— Послушай-ка, приятель,— сказал капитан-исправник Вороватину,— ведь ты у меня еще в долгу.

— За что? — спросил Вороватин.

— Как! разве ты забыл, что я по твоему письму позволил бежать из тюрьмы мещанину Ножову, на которого донесли, что он ушел из Сибири, куда был послан на поселение? Ты прислал только триста рублей и обещал еще столько же: между тем Ножов гуляет по белу свету, а я денег твоих не видал, как своих ушей. Эдак, братец, не делают *честные* люди.

— Эх, любезный Савва Саввич,— сказал Вороватин, обнимая приятеля,— нам ли считаться безделушками? Ты сделал *доброе* дело. Ножова несправедливо оклеветали, и я, из одного человеколюбия, пожертвовал своими собственными деньгами за его спасение. Я думал, что он, возвратясь в Москву, заплатит мне и даст еще более для тебя; но он заболел и чрез месяц умер, с отчаянья, жертвою людской злобы.

— Тут что-то не так,— сказал хладнокровно капитан-исправник.— Ножов давно известен полиции, по разным приказам; слух об нем не переводится, и я недавно узнал, что наши купцы видели его в Москве еще прошлую зимой. Нет, как хочешь, а долг за тобой! Ведь я сам насилу отделался по этому проклятому случаю: скупал два выговора, три замечания, да сверх всех расходов заплатил штраф. Еще слава Богу, что прокурорше понравились мои московские сани, а не то быть бы большой беде.

— Хорошо, хорошо, мы с тобой рассчитаемся,— сказал Вороватин.— А теперь ступай-ка спать; у меня разболелась голова.— Савва Саввич поморщился, но в утешение осушил остатки в бутылке и отправился домой. Мы тотчас легли спать. Я всю ночь не мог уснуть, помышляя о связи Вороватина с явным злодеем Ножовым и о подслушанном

мною разговоре. На рассвете, когда я уснул, страшное сновидение представило мне Ножова, стремящегося раздробить мне топором голову. Я вскрикнул, вскочил с кровати как испуганный и разбудил Вороватина. Он испугался и заключил по моему беспокойному сну, что я точно болен горячкою. Вороватин взялся лечить меня и принуждал пить какую-то настойку на водке. Я не послушался его, и тем кончилось его попечение о моем здоровье. Вороватин, чтоб избавиться от исправника, который припомнил ему о долге, решил тотчас выехать из этого города. Узнав, что Савва Саввич отлучился на несколько часов за город, Вороватин послал за лошадьми, и перед полуднем мы поскакали в Оренбург.

ГЛАВА XII

ВОЛЬНООТПУЩЕННЫЙ. ЛУНАТИК. ОБМАНУТАЯ ЛЮБОВЬ

Мы прибыли в Оренбург около 10 часов утра и остановились на форштате, у мещанина Ивана Карпова, который держал род постоянного двора для знакомых и рекомендованных ему людей. Нам отвели две чистые комнаты, обитые цветной бумагой, а слуга Вороватина, род автомата или машины для снятия сапогов и чистки платья, поместился напротив, в хозяйской половине. Вороватин, переодевшись, тотчас пошел в город, сказав, что он возвратится поздно к вечеру, и советовал мне отобедать дома и отдохнуть после дороги. Оставшись один, я пошел к хозяину, чтоб в разговорах узнать что-нибудь о Матрене Ивановне Штосиной и ее дочери, моей милой Груне, для которой я решил предпринять это путешествие. Хозяин наш, человек лет пятидесяти, прекрасной наружности, роста высокого, широкоплечий, румяный, мог бы служить образцом для изваяния Геркулеса. Он был нрава веселого и словоохотен, как вообще все полнокровные и весельчаки. По первому моему вопросу, здешний ли он уроженец или переселенец, он в кратких словах рассказал мне свою историю.

— Я, сударь, родился под Москвою и был крепостным человеком генеральши Волокитиной, богатой вдовы, вотчинницы многих поместьев. Говорят, что я был недурен собой смолodu, и оттого произошли все мои беды, которые кончились счастьем, по милости Господней. Генеральша, приехав на лето в нашу деревню, увидела меня на работе и тотчас взяла

во двор. Мне было тогда лет шестнадцать от роду, и я был один сын у матери. Отца моего уже не было на свете. Меня остригли по-немецки, нарядили в кафтан с галунами и отдали на руки старому лакею и ключнице, учиться службе. Со слезами променял я свой армяк на шитую ливрею. Дворовые люди всегда казались мне собаками на привязи, и я никогда не завидовал их житью. Впрочем, мне хорошо было в господском доме. Барыня ласкала меня, трепала по щеке, гладила по голове и посылала мне со стола подачки. Служанки посматривали на меня лукаво, а лакеи и даже сам дворецкий обходились со мною, как с боярским сыном. Я не понимал причины всех этих милостей и отличия, пока старая ключница, моя наставница, не объяснила мне, что я вскоре должен буду занять при барыне должность, которая была мне не по сердцу. Эта должность обязывала меня находиться беспрестанно при барыне, и это казалось мне страшнее смерти. Мороз пробежал у меня по жилам при сем известии. Один взгляд на барыню заставлял меня всегда трепетать всем телом! Вообразите себе небольшую, толстую бабу, лет пятидесяти, расписанную белилами и румянами, как вяземская ковыряжка, с косыми глазами и рыжими волосами с проседью, у которой, вместо зубов, торчало несколько клыковатых желтых костей. Голос ее похож был на скрип немазаной телеги; она беспрестанно кричала или бранила слуг или ласкала и скликала своих собачек. Слышав сказку о Яге-бабе, мне казалось, что она не могла быть ни хуже, ни лучше, как моя генеральша. Ключница объявила мне, что прежний камердинер, Филька, завтра отправится в Москву, жить по паспорту, а я в тот же день должен буду занять его место. Этот Филька был молодой человек, лет двадцати двух. Он провел шесть лет в своей должности (ибо барыня брала к себе камердинеров с шестнадцатилетнего возраста), и хотя был недурен лицом, но до того исчах, вероятно с горя и со скуки, что похож был на мертвеца. Он чрезвычайно обрадовался своей отпуской и не мог дожидаться другого дня, чтобы отправиться в путь. Но я предупредил его. Лишь только смерклось, я вывел потихоньку из конюшни лошадь, вскочил на нее без седла и пустился по большой дороге во всю конскую прыть, не зная сам куда и зачем. Всякий раз, что вспоминал о красоте моей барыни, я сильнее гнал лошадь, как будто она гналась за мною. Ни один человек не бежал так сильно от побоев, как я от милостей. Наконец, к рассвету, я прискакал в уездный город и тотчас побежал к исправ-

нику, которого я знал в лицо, потому что он часто приезжал в наше село собирать деньги, не знаю, для себя или для казны. Я чистосердечно рассказал исправнику все, что мне говорила ключница, объявив решительно, что хочу быть солдатом, но не возвращусь в дом к госпоже. Исправник и жена его смеялись до слез при моем рассказе, но пособить мне было невозможно, потому что я жаловался словесно, без всяких доказательств. Лошадь мою взяли на конюшню, а меня посадили в арестантскую и послали барыне известие обо всем случившемся. После узнал я, что барыня дорого заплатила исправнику за то, чтоб он не разглашал моего показания; меня же, за побег и покражу лошади, высекли в суде и отослали по пересылке на господский винный завод, в Саратовскую губернию, с приказанием держать как можно строже и наказывать как можно чаще. По счастью, барыня не знала, что управитель завода, также крепостной ее человек, был мой двоюродный дядя. Он сжалился над моею участью, велел своему писарю обучать меня грамоте и счетам и после того стал употреблять в письменных делах. На заводе никто, кроме дяди, не знал о моем приключении, и как дядя мой содержал людей строго, то меня уважали как его помощника. Прошло десять лет, барыня отправилась на тот свет, а с нею кончились и мои несчастья. Имение досталось ее сыну, которого она не пускала к себе на глаза при жизни своей за то, что он, приехав из полка в отпуск, вздумал приволокнуться за одной из ее воспитанниц, или, лучше сказать, служанок, набранных из сирот разного звания. Молодой барин знал причину моей ссылки и, приехав на завод, призвал к себе, обласкал и, по предстательству моего дяди, сделал управителем завода, поручив дяде управление целою вотчиной и отпустив его на волю. Зная дело и руководствуясь страхом Божиим, я снискал милость барина. Наконец, по прошествии двенадцати лет, добрый наш барин скончался бездетным и в духовном завещании дал мне вольность, вместе с другими заслуженными дворовыми людьми. Бережливостию, оборотами и щедростью доброго барина я собрал небольшой капиталец и вознамерился поселиться в Оренбурге, где прежде бывал по делам господским, высмотрел себе невесту. Вот уже около пятнадцати лет, как я живу здесь, женился, построил этот домик и, с помощью Божией, веду небольшой торг с киргизцами. Бог благословил меня добрыми детками: старшей моей дочери уже 14 лет, средней 12, а младшему сыну десятый год. Вот, сударь, каким образом я попал сюда! Неизвестно, что кому на роду

написано, и один Господь знает, где кому придется положить кости. Но не угодно ли покушать? Сегодня день праздничный, и мы вас попотчуем пирогом с кашею и с уральской рыбой.— Мне не хотелось расстаться с моим добрым хозяином, и я просил его позволить мне пообедать вместе с его семейством, на что он согласился, примолвив: — Если не поспесивитесь, то ваша воля.

По счастью, фортуна и природа наделяют людей дарами своими, не справляясь с их породой и притязаниями. Сколько богачей почли бы себя счастливыми, если б вместо желтолицых или бледных детей имели таких здоровых и румяных, как дети моего хозяина! Жена его, женщина лет тридцати пяти, свежая, проворная, услужливая, была такого же веселого нрава, как и муж ее. Добрые хозяева полюбили меня с первой встречи и обходились как с старым знакомцем, а старшая дочь поглядывала на меня украдкой, краснела и потупляла свои большие черные глаза, когда они встречались с моими. Эта девушка казалась мне гораздо лучше Груни, но как я приехал для ней именно, то и решился наконец спросить у хозяина об ее матери.

— Г<оспо>жа Штосина живет в нашем городе,— отвечал хозяин,— и живет весело. У нее есть дочка, молодая и вертлявая, которая притягивает к себе господ офицеров, как мед приманивает мух. У меня, месяца два тому, жил молодой офицер, который хотел было жениться на этой барышне, но, проиграв деньги, одумался, догадался, что этот дом есть только западня, где грабят людей дневным разбоем, а дочка г<оспо>жи Штосиной приманка для простачков. Этот офицер рассказал мне много кое-чего об матери и дочери, но я не люблю пересказывать дурного, да и вам, сударь, лучше этого не знать.

Обед кончился, и я не смел более расспрашивать хозяина. С стесненным сердцем пошел я в мою комнату и лег на постелю. Долго я не мог уснуть, размышляя о горькой моей участи и неудаче в первой дружбе и в первой любви. Я утешал себя, что, может быть, рассказы офицера хозяину неверны и внушены были досадою от проигрыша, и решился удостовериться во всем собственными глазами.

Вороватин возвратился ранее, нежели я предполагал. Он был угрюм и задумчив. После легкого ужина он лег в постелю, сказав, что чувствует себя нездоровым. От скуки я последовал его примеру, хотя не чувствовал позыва ко сну.

Около полуночи, когда я начал уже дремать, внезапный шум в другой комнате меня встревожил. Встаю с постели,

подхожу на цыпочках к дверям, растворяю вполтину и вижу... Вороватина, сидящего на окне, в одной рубахе, с открытою грудью. Лицо его покрыто было смертною бледностью; красные его пятна блистали каким-то фиолетовым цветом; глаза были открыты и, казалось, с жадностью ловили лунные лучи; волосы были всклочены и стояли дыбом; он шевелил губами, как будто силился что-то говорить, и вдруг — с яростью стал царапать себе грудь и рвать волосы, скрежеща зубами. Я оцепенел от ужаса, не смел произнести ни одного слова, не мог двинуться с места. Вороватин завопил каким-то ужасным, подземным голосом и вдруг начал говорить громко, но весьма скоро и невнятно. Наконец он успокоился и стал говорить протяжно и внятно:

— Какое право имеешь ты упрекать меня, страшать, советовать? Ты священник — Бог с тобою! Советуй тому, кто у тебя просит наставлений. Я прибегал к тебе во время болезни, и ты, зная некоторые тайны души моей, вздумал при первой встрече усовещевать меня. Нет, отец Петр, нет, ты напрасно напал на меня с твоим красноречием. Я здоров, здоров и могу еще прожить двадцать, тридцать лет. — Помолчав немного, Вороватин продолжал: — В самом деле, пора опомниться. Сколько легковых юношей ввергнуто мною в пропасть разврата! Я, как падший ангел, учу бессмысленных безбожню, а сам страшусь мести правосудного Бога! Неужели, увеличивая число погибших, я спасу себя от гибели? Нет. Надобно одуматься. Разоряя неопытных фальшивою игрой, предавая их в руки ростовщиков, поселяя в развращенных мною сердцах ненависть ко всем естественным и законным обязанностям человека, чтоб исторгать деньги, я до сих пор не приобрел богатства, за которым гоняюсь целый век. У меня едва пятьдесят тысяч рублей наличными деньгами. Это не много, очень не много. Послушай, отец Петр! Как скоро я соберу сто тысяч, даю тебе клятву, что тогда сделаюсь честным человеком, поселюсь в отдаленном краю, где меня не знают, и буду жить тихо, никого не стану обманывать или разорять. Стану поститься, ходить в церковь, молиться и по смерти отдам мои деньги на монастыри. У меня теперь на руках три дела, лишь только их кончу, то до сотни тысяч будет очень близко. Скорее бы только сбыть с рук этого проклятого Выжигина. Но это дело не мое: я умываю руки. Пусть Ножов управляетсЯ с ним, как ему угодно. Это его дело. Я исполнил свое поручение: затащил его на край России. Отец Петр! что ты смотришь на меня так страшно? Перестань говорить мне об аде, о Страшном

суде, о вечном пламени! Страшно, очень страшно! Я учу других не верить в это, а сам не могу слышать без трепета. Прочь отсюда, удались, отец Петр! Ужасно, ужасно! вот огонь, вот кровь, кровь! — При сих словах Вороватин затрепетал всем телом и повалился с окна на пол, застонал пронзительно, как будто душа его разлучалась с телом. Вдруг он закричал и закрыл глаза. Я сам чуть не лишился чувств и дрожал как осиновый лист. Не смея тревожить Вороватина и боясь разбудить его, я, собрав последние силы, добрался до моей постели и бросился на нее в расслаблении, как будто после лихорадочного припадка.

Теперь я удостоверился, что против меня составлен какой-то умысел и что подслушанный мною разговор между Ножовым и Вороватыным относился ко мне. Но кто этот Ножов? Что я ему сделал? Что я сделал Вороватину? Какая графиня желает моей гибели? Я не прогневил ни одной женщины в жизни. Не козни ли это Грабилина? Из всех посетителей тетюшкина дома один Граблин не любит меня. Но графиня!.. Непостижимо!

Размышляя таким образом, я уснул уже на рассвете, выбившись из сил. Думая, что Вороватин в горячке, я вознамерился употребить время его болезни к моему избавлению и скрыться от него и от его приятеля, Ножова, который также, верно, был в это время в Оренбурге.

К удивлению моему, Вороватин на другой день встал с постели совершенно здоров и весел: я, напротив того, чувствовал тяжесть во всех членах и какое-то общее нерасположение. За чаем Вороватин предложил мне отправиться на другой день на охоту, в чем я отказал ему, опасаясь какого-нибудь злого умысла. Он сказал мне, что г-жи Штосиной нет в городе, что она возвратится чрез несколько дней, а между тем советовал мне сидеть дома, примолвив, что по моему лицу видно, что я нездоров. Я обещал ему не выходить, но лишь только он ушел со двора, я тотчас оделся и решился сам осведомиться о г-же Штосиной, не веря ни в чем более Вороватину. Мне хотелось, по крайней мере, проститься с Груней и после того искать средств отправиться обратно в Москву. Я надеялся на помощь доброго моего хозяина.

В десять часов утра я был уже возле дома, занимаемого г-жою Штосиной, и узнал от соседей, что она вовсе не отлучалась из города. С улицы была калитка в сад, и я вошел туда, чтоб собраться с духом и приготовиться к свиданию с Грунею, о которой я был так дурно предвеледом-

лен. Проходя тихими шагами по темной аллее, я увидел в конце беседку. Сквозь ветви деревьев и решетчатые стены беседки я приметил что-то белое. Пробравшись кустарниками ближе к беседке, я услышал голос Груни, разговаривающей с каким-то мужчиной.

— Поздравляю, Груня! — сказал мужчина. — К тебе приехал обожатель из Москвы, и обожатель счастливый, как говорит Вороватин; этот юноша, в надежде на твою любовь и на твою руку, бежал от родных, для любовного свидания, за несколько тысяч верст. Это не шутка, милая Груня, и он верно имеет сильные причины надеяться на твою взаимность.

— Перестань дурачиться, *mon cher* Александр, — отвечала Груня. — Вороватин нарочно возбуждает твою ревность пустыми рассказами. Правда, что я знала этого Выжигина в Москве и, приметив его глупую любовь ко мне, забавлялась от скуки на его счет. Но это распутный мальчишка, который на семнадцатом году от роду, еще не кончив ученья, уже принялся за карты и за волокитство: одним словом, достойный воспитанник знаменитого плута Вороватина; так можешь ли ты думать, чтоб я его любила? Матушка велела мне быть с ним вежливой, потому что он всегда проигрывал за ее карточным столиком — и вот вся наша связь. Мне досадно, когда ты даже в шутках ревнуешь к этому школьнику.

— Но говорят, — возразил мужчина, — что этот Выжигин очень хорош лицом, смышлен не по летам, отменно ловок, прекрасно поет и играет на фортепиано и на гитаре, одним словом: что в состоянии вскружить голову...

— Какой-нибудь деревенской дурочке, — отвечала Груня. — Как можно променять его смазливую, полуженскую рожицу на это мужественное лицо, на эти милые усики, на эти Марсовы глаза... — Мужчина не дал Груне кончить, и я услышал чокание поцелуев.

Оскорбленное самолюбие, гнев, досада овладели мною. Я выбежал как бешеный из кустов и предстал изумленным любовникам.

Груня ахнула и закрыла руками лицо. Гусарский офицер вскочил с своего места, стукнул саблею об пол и грозно воскликнул:

— Кто вы и как осмелились войти без спроса?

Я ни слова не отвечал офицеру, но, обращаясь к Груне, сказал:

— Изменница, обманщица! ты называешь меня школьником, развратным; говоришь, что никогда не любила меня, что

забавлялась над моею искренностью. Но у меня в руках доказательства, если не любви твоей, то твоей лживости, твоего кокетства. Вот, видишь ли твои волосы, твои письма, в которых ты уверяла меня в вечной, беспредельной привязанности; клялась быть моею навеки. Я обнаружу твой ничтожный характер: стану кричать повсюду и читать твои письма на всех перекрестках. Не угодно ли, г(осподин) офицер, полюбопытствовать?..

Груня залилась слезами и, бросаясь на шею офицеру, воскликнула:

— Защити меня от этого нахала, или я умру от отчаянья! Это бессмысленный лжец... Если ты любишь меня, защити меня!

Кажется, что офицер не слишком беспокоился о нежности чувств Груни и что, пользуясь настоящим, он не помышлял ни о прошедшем, ни о будущем. Он бросился на меня как бешеный, вырвал из рук моих письма и волосы Груни и, схватив за грудь, потащил из беседки. Соппротивление мое навлекло мне только лишние удары: сильный офицер вытолкнул меня из калитки и, ударив ногою, запер дверь на замок. Я был в иступлении: стыд, отчаяние расстроили меня совершенно. Я пустился бежать домой, хотел застрелить офицера, Груню. Тысячи ужасных мыслей сменялись одна другою. Но, пришед на квартиру, я почувствовал внезапно слабость во всем теле. Казалось, что мозг мой прижигают раскаленным железом и что вся кровь моя превратилась в пламя. Вскоре я потерял чувства, и, кроме ужасного жара в голове и жажды, ничто не припоминало мне, что я живу на свете.

ГЛАВА XIII

ПЛЕН У КИРГИЗЦЕВ. КИРГИЗСКИЙ ФИЛОСОФ АРСАЛАН-СУЛТАН. Я СДЕЛАЛСЯ НАЕЗДНИКОМ

Не помню, сколько времени я был в бесчувственном состоянии, но я пришел в себя во сне. Мне снилось, что я упал в воду и лежу на дне глубокой реки. Холод заставил меня проснуться. Открываю глаза, хочу пошевелиться, но чувствую, что я укутан во что-то мокрое и связан. Звук, похожий на игру на гудке, поражает слух мой. С

величайшим трудом я поворотил голову от стены к свету, и все, что представилось глазам моим, приводило меня в удивление. Я лежал в палатке, на куче войлоков, и, весь нагой, завернут был в сырую баранью шкуру, шерстью вверх. Возле моей постели сидел человек в пестром халате, в высокой, черной бараньей шапке; он играл на гудке, напевал унылым голосом, качал в такт головою и делал страшные гримасы. По сплюсненным глазам этого человека, по смуглому цвету лица, выдавшимся скулам и редким волосам на усах и бороде я узнал киргизца. Он чрезвычайно обрадовался, приметив, что я открыл глаза и делаю усилия, чтоб выпутаться из моих пелен; вскочил с своего места, повернулся несколько раз на каблуках и стал кричать изо всей силы, ударяя в бубны, которые висели у него на кушаке. На крик его вбежало несколько киргизцев и с ними три женщины. Один киргизец, высокого роста, в шелковом халате и в маленькой скуфье, вышитой золотом, приблизился к моей постели и сказал мне ласково и довольно чисто по-русски:

— Чего ты хочешь? Лучше ли тебе?

— Мне холодно, — отвечал я, — и хочется поесть или испить чего-нибудь горячего. Велите развязать меня и одеть чем-нибудь теплым.

— Ну, теперь ты будешь здоров, когда захотел есть, — сказал высокий киргизец. Он выслал женщин и велел двум киргизцам снять с меня баранью шкуру, вымыть, натереть какою-то крепкою мазью, похожею на желчь, и накрыть халатами, что и было тотчас исполнено. Я хотел подняться на ноги, но от слабости снова упал на постелю. Между тем молодая женщина принесла мне в чаше похлебки из сарачинского пшена, и я, выпив этой крепительной пищи, почувствовал, что кровь моя приняла правильный оборот и что силы мои восстанавливаются. Сон стал томить меня после удовлетворения голода, и высокий киргизец, приметив это, велел всем удалиться из палатки, сказав:

— Не тужи, выздоравливай. Велик Бог на небеси, а в степи — не без добрых людей!

Я заснул с захождением солнца и проснулся с его восхождением; приподнял сперва голову, потом привстал и крайне обрадовался, что могу держаться на ногах. С трудом вышел я из юрты. Увидев солнце и безоблачное небо, я бросился на колена и со слезами благодарил Бога за избавление меня от тяжелой болезни и за сохранение жизни. Странное зрелище представилось моим взорам. По берегу

озера раскинуты были юрты; вокруг видна была необозримая степь, и между небольшими кустарниками паслись многочисленные стада баранов, лошадей, верблюдов и рогатого скота. Мужчины и женщины заняты были работою: одни доили коров и кобылиц, другие выветривали войлоки, третьи разводили огни и носили воду, иные резали баранов и жеребят. Говор и клики людей смешивались со ржанием коней, мычанием коров и блеянием овец. Я догадался, что нахожусь в киргизском ауле, но не мог постигнуть, каким образом попал сюда. Последнее мое воспоминание ограничивалось свиданием с Грунею и прибытием на квартиру. После этого, мне казалось, что я не жил, и воскрес в палатке киргизской. Высокий киргизец, в шелковом халате, стоял возле своей юрты, которая была больше и красивее прочих. Он курил трубку и посматривал на все стороны. Увидев меня, он приказал одному киргизцу привести меня к себе. Догадываясь, что это должен быть старшина, я поклонился ему и просил позволения присесть на землю, по причине моей слабости. Старшина велел подостлать мне войлок и сам, сев на ковре против меня, сказал:

— Ты должен знать, Иван, что ты раб мой. Я старшина одного знаменитого поколения киргизской орды. Зовут меня Арсалан-султаном. Служи мне верно, если хочешь жить счастливо; когда ж я замечу в тебе охоту к побегу, то продам в Хиву или велю убить, как барана.

Эта приветственная речь не слишком утешила меня после выздоровления, но делать было нечего, и я отвечал с приторным равнодушием:

— Я буду тебе служить верно, и хотя до сих пор ничем не мог угодить тебе, но осмеливаюсь просить одной милости, в задаток будущих: скажи мне, каким образом я достался к тебе в неволю? Я был так болен, что не помню, что со мною делалось.

— Изволь, я расскажу тебе. Я был за делами в Оренбурге, тому недели три. Выехав вечером из города и свернув с дороги, чтоб возвратиться в степь известными нам путями, я увидел двух вооруженных людей, которые снимали что-то с телеги. Со мною было только четыре киргизца, для провожания моих верблюдов: прочие поехали вперед. Опасаясь, чтобы казачьи разъезды не услышали выстрелов, я не хотел напасть на этих разбойников, которые спорили между собою, что надобно с тобою сделать. Один, высокий и плотный головорез, хотел отрубить тебе голову; другой, бледный и сухощавый, советовал бросить в поле, чтоб не проливать

крови, говоря, что ты и без их помощи скоро испустишь дух. Я слышал их разговор издалека, по ветру. Они ужаснулись, когда я прискакал к ним, и весьма обрадовались, когда я объявил, что не хочу затевать с ними драки под городом и намерен избавить их от хлопот, взяв с собою человека, об участии которого они спорили между собою. Злодеи согласились и отдали тебя мне, с тем чтоб я не позволял тебе писать в Россию и откупиться. Я обещал, и они возвратились в город. Ты лежал в жару, без чувств, закутанный в одеяло. Я тотчас велел убить двух запасных баранов, закутал тебя голого в сырые шкуры¹ и привязал к поклаже моей на верблюде. Сырые шкуры и порошок из сушеных ног птицы тилегус², который я всегда вожу с собою, потому что он помогает также и от укушения бешеных собак, удержал жизнь в твоём теле. Прибыв в аул, я, по просьбе моих жен, призвал самого искусного баксу³, велел ему гадать над тобою и играть на кобызе⁴ во все продолжение твоей болезни, переменяя беспрестанно свежие шкуры разных животных, иногда по два и по три раза в день. Жены мои поили тебя похлебкою из пшена и наваром травы шириза⁵, и наконец Богу и Его Пророку угодно было сохранить тебя для славы и чести служить мне, султану Арсалану. Мне жаль было твоей юности! Теперь жизнь твоя принадлежит мне, и ты должен навсегда отказаться от всякой надежды увидеть свое отечество. Но скажи мне, кто таковы были эти разбойники, которые хотели убить тебя и за что они на тебя озлобились?

Поблагодарив сперва Арсалан-султана за его обо мне попечения и возобновив уверения в моей верности, я рассказал ему, каким образом выехал из Москвы с Вороватыным, чтоб увидеться с Грунею; как я встретил Ножова и подслушал его речи и, наконец, как узнал об измене Груни и после того впал в горячку от сильных душевных потрясений. Я объявил моему новому господину, что никого не подозреваю в намерении убить меня, кроме Вороватина и Ножова; но что побудило их составить противу меня заговор, того я не мог рассказать, потому что я сам не постигал. Мне не хотелось

¹ Это одно из средств, которыми лечатся киргизцы.

² Птица, похожая на куропатку.

³ Бакса, то же, что сибирский шаман: гадатель и лекарь.

⁴ Род гудка, или скрипки, без верхней доски. Струны на нем из конских волос. Играют на нем смычком, как на виолончеле. Баксы употребляют этот инструмент при своих гаданиях.

⁵ Степная трава, употребляемая для произведения испарины.

верить, чтобы злодеи эти посягнули на убийство из нескольких сот рублей, которые Вороватин удержал у себя, взяв на сохранение.

— Жаль,— сказал Арсалан-султан,— что я не сваял с земли этих бездушных злодеев, которые испытывают свои силы и мужество над больным юношею! Если они попадутся ко мне в другой раз, то я их заставлю просушить кости в степи и отдам черепы на гнезда змеям, которые гораздо лучше их. Слушай, Иван, пока ты не укрепишься, тебе не будет работы. Жены мои будут тебя кормить и поить, а там увидим, к чему ты мне пригодишься.

Семейство Арсалан-султана состояло из трех жен и четырех детей: трех дочерей от 5 до 7 лет и одного сына, юноши в мои лета. Все три жены были молоды и хороши собою. Если принять правилом, что суженные глаза и выдавшиеся скулы не составляют безобразия, то жены Арсалан-султана были бы красавицами и в европейской столице; а он сам, хотя уже имел лет за сорок, мог назваться киргизским Аполлоном. Сын его рожден был четвертою женой, которой уже не было в живых; но молодой Гаюк в каждой из трех своих мачех находил ласки и нежности, которыми не всегда могут похвалиться пасынки между образованными народами. Мой господин был счастлив своим семейством. Жены его жили дружно между собою, имели нрав веселый и старались угождать мужу всеми возможными средствами. Они отменно ласково обходились с служителями и меня любили, как родного брата. Им обязан я своим выздоровлением.

Наступила осень, и наш аул начал собираться в поход для приискания зимнего кочевья. Арсалан-султан разослал вестников в ближние, дружественные аулы с известием о перемене жилища и о направлении, которое он намерен взять в степи. По возвращении посланных, все вещи уложили в разные кипы, собрали юрты, нагроулили тяжести на верблюдов и на заводных лошадей и по данному знаку построились в походный порядок. Каждое семейство составляло особое отделение. Дети, старухи, молодые девицы, старцы и больные сели на верблюдов, а все мужчины, способные носить оружие, и все молодые женщины — на коней, в лучшем своем платье, как в торжественное празднество. На концах и по сторонам каравана находились толпы наездников, вооруженные пиками, луками, саблями, а некоторые шамхалами¹. Стада сохраняемы

¹ Длинное ружье без замка. Стреляют из него картечью, посредством фитиля.

были особым отрядом, в виду каравана. Когда все было готово к выступлению в поход, Арсалан-султан велел баксе начать гадание об успехе предприятия. Бакса выступил вперед, вынул из-за пояса нож, провел вокруг себя черту по песку и потом, приставив себе нож к горлу, начал громко петь. Пение его сопровождалось ужасными кривляньями и скачками, которые скоро привели его в истощение сил. Он упал замертво, едва переводя дыхание, и казалось, что заснул. Целый аул смотрел в молчании и с благоговением на сие мнимое чародейство. Чрез четверть часа бакса начал двигаться и как будто во сне бредить. Арсалан-султан и другие старшины внимательно прислушивались к его словам и заключили из оных, что путь наш будет благополучен. Изнеможенного баксу посадили на верблюда и по данному знаку двинулись вперед.

Я находился возле Арсалан-султана на лихом коне и одет был по-киргизски. По особенной ко мне милости и по просьбе жен своих он сделал меня своим оруженосцем, или, лучше сказать, военным прислужником. Обязанность моя состояла в том, чтоб держать лошадь, когда Арсалан-султан слезал с нее, подавать ему кумыс¹, накладывать трубку, чистить оружие, прислуживать за обедом и забавлять рассказами и песнями. Во время первого перехода Арсалан, отдалившись несколько от своих и подозвав меня к себе, сказал:

— Ты присмотрелся к нашей жизни, Иван, и надеюсь, что не захочешь променять наших степей на ваши душные города, где люди собираются, чтоб обманывать друг друга и выдумывать нужды, которые делают их рабами всех возможных глупостей и заставляют ползать и пресмыкаться пред всяким, кто может возвысить их в глазах глупцов, и наделить богатством, которому они не знают ни цены, ни меры? Что нужно человеку? — чтоб он был сыт, одет и спокоен. Все это ты найдешь у нас. Без труда и забот, мы имеем пищу и одежду от стад наших. Не мучим себя беспокойством о будущем и всегда готовы силою отразить враждебного или хищного соседа, предпочитая оружие хитростям, лжи и обманам, которыми воюют между собою ваши городские жители. Вы оцениваете красоту ваших городов широтою улиц, обширностью, величиною зданий. Наша мечеть — открытое небо, а город — необозримая степь, где никому не тесно и где ни стена, ни забор не удерживает воли. Я был в Москве и в Петербурге, видел все

¹ Крепкий напиток из кобыльего молока, приведенного в брожение.

ваши чудеса и удивлялся, смотря на умных людей, занимающихся игрушками, побрякушками и жертвующих здоровьем и спокойствием для того единственно, чтоб быть всегда закупорену в блестящей клетке в дороге и на месте и чтоб набивать желудок пахучими отравками. Я полюбил тебя, Иван, и хочу сделать из тебя удалого наездника, научу владеть конем и оружием. Если ж тебе понравится какая-нибудь киргизская девица, я буду твоим сватом и сам постараюсь устроить новое твоё хозяйство.

Я поблагодарил его за расположение ко мне и примолвил:

— В моем положении мне нельзя выбирать доли своей, и, во всяком случае, я лучше хочу быть воином, нежели слушаю.

После этого Арсалан-султан велел своим наездникам показать мне их искусство. Он бросал мелкие русские деньги на землю, и его удалцы подбирали их на всем конском скаку; вскакивали ногами на седло, становились на нем головою, ловили пиками на лету бросаемые вверх камни, обернутые сухою травой, срывали друг у друга шапки и боролись на лошадях. Ловкость и искусство киргизов в управлении конем и во всех воинских упражнениях восхитили меня, и я стал сам просить Арсалан-султана, чтоб он скорее научил меня наездничьему ремеслу.

— Сознайся, Иван,— сказал он мне,— что эта потеха мужчине гораздо приличнее, нежели ваше печальное передвигание ног под музыку, прыжки и повороты, которыми щеголяют ваши юноши на так называемых балах. Я видел ваши забавы и дремал на них со скуки. Я заметил, брат, что ты сперва неохотно согласился сделаться киргизским воином; но я уверен, что со временем, когда у тебя выветрится из головы городской чад,— ты сам с нами не расстанешься.

Между тем мы прибыли на ночлег. Прежде нежели какой-нибудь ленивый кучер успел бы выпрячь лошадей из повозки, уже наши верблюды были развьючены, юрты раскинута, бурьян с кустарниками пылал и согревал наши котлы. Женщины занялись приготовлением пищи и доением коров и кобылиц; мужчины составили очередную стражу и разъезды. При огнях раздавались веселые песни и звуки кобызы и чибызги¹. Небо было ясно и усеяно звездами, воздух благоухает. Арсалан, в ожидании ужина, сидел на седле перед своею юртой и подозвал меня к себе.

¹ Дудка из дерева, или из камыша, около аршина длины.

— Иван,— сказал он,— ты говоришь на многих языках, и потому ты лучше меня знаешь, как надобно им учиться. Но как у нас нет ни книг, ни школ, ни учителей, то я должен посоветовать тебе, как скорее научиться по-киргизски. Спрашивай название каждой вещи и болтай смело, что умеешь, не смущаясь насмешками. Нужда научит скорее, чем учитель за деньги. Чтоб скорее выучиться языку, я советую тебе влюбиться: это самое лучшее и успешное средство. Мне также любовь пособила выучиться по-русски. Я тебе когда-нибудь расскажу это. Но знай, чтоб быть удалым наездником, недовольно уметь владеть конем и оружием и знать язык нашего народа: надобно также уметь читать на небе, как по книге. Я сам хочу учить тебя этому искусству.

При сих словах я прервал речь Арсалана и сказал ему:

— Как! неужели ты хочешь из меня сделать баксу, гадателя?

Арсалан улыбнулся.

— Я столько же верю гаданиям баксы, сколько и ты,— сказал он.— Не в том дело. Живя в степях, где, по счастью, люди не приросли к одному месту как деревья, мы должны знать приметы, по которым можно было бы направлять путь днем и ночью. Днем служат нам указателями курганы, насыпные могилы умерших наших братьев, кустарники, озера, реки, возвышения и даже цвет степи. Ночью же — небо. Видишь ли ты эту светлую звезду? Это *Темир-казык* (железный кол)¹. Она всегда видима на том месте, откуда приходит к нам зима и холодные ветры. Тут опочивает солнце. Направо от Темир-казыка солнце восходит, напротив становится в полдень, а налево заходит. Эта звезда служит нам вместо того ящика с стрелкою, которой вы называете компасом. Вот *Чубанджулдус* (пастушья звезда)², которая означает время, когда пригонять стада с поля в аулы и выгонять на паству. Вот *Аркар* (дикий баран)³: эти звезды прячутся зимою, а появление их весною означает появление новой травы. Но я не хочу утруждать тебя на первый раз множеством имен. Учись знать небо и землю, чтоб не иметь нужды ни в чем, кроме своего мужества.

Ночь прошла благополучно, и мы с восхождением солнца снялись с кочевья и пустились в путь.

Прошед одинаким порядком, около десяти дней, мы остановились у подножья горы, заслоняющей степь от севера, и

¹ Полярная звезда.

² Венера.

³ Плеяды.

расположились кочевать поблизости ручья. Как старики, по разным приметам, предсказывали жестокую зиму, то мы заранее стали разбивать двойные войлочные юрты, готовить множество дров, камыша и сухого бурьяна. Из жизненных припасов мы более всего заготовили сушеного мяса и питья из заквашенной ржаной муки, похожего на барду в винокурнях.

Между тем, по приказанию Арсалан-султана, меня ежедневно учили воинскому делу и конной езде. Начали тем, что, привязав к седлу бешеной лошади, пустили в степь, чтоб выгнать из меня, как они говорили, городскую трусость. Мне не давали иначе мяса, как положив его на земле; и я должен был доставать свой обед, поднимая оный с лошади, сперва шагом, потом рысью, а наконец во всю конскую прыть. Печенные на углях лепешки из муки, величайшее лакомство, я должен был добывать копьем на всем скаку, и мне до тех пор не давали отведывать дичи, пока я сам не стал догонять на коне саек и бить их нагайкою. На лошадь мне не позволяли иначе садиться, как вскакивая на нее с размаху. Таким образом, до наступления морозов я сделался удалым наездником, следуя одному правилу: нужда камень долбит.

ГЛАВА XIV

РАССКАЗ АРСАЛАН-СУЛТАНА О ПРЕБЫВАНИИ ЕГО В РОССИИ

Выпал снег, и киргизы большую часть времени проводили в своих юртах, сидя вокруг огней и слушая рассказчиков. Табуны наши и стада находились беспрестанно в открытом поле и питались подснежною травой. Кроме перегонки скота с места на место, стережения его и приготовления пищи, более мясной в зимнее время, нам не было никакой работы. Киргизы, в бездействии, живут воображением. Сказки их наполнены чудесностью и волшебством и всегда имеют предметом какого-нибудь наездника, который, странствуя в степи, сражается с тиранами и притеснителями прекрасного пола, с волшебниками, похищает красавиц, разбивает богатые караваны и наконец возвращается в свой аул и отдыхает на лаврах. Любовь всегда служит завязкою сих рассказов; песни их также дышат нежною страстию и геройством. Понимая довольно киргизский язык, чтоб чувствовать всю единообразность сих сказок, я вскоре соскучился ими и однажды вечером просил

Арсалан-султана рассказать мне свои истинные приключения. Он исполнил свое прежнее обещание. В сем рассказе одни мысли принадлежат Арсалан-султану, потому что по прошествии долгого времени я не мог удержать оригинальности киргизского слога. Арсалан говорил по-русски с некоторыми малыми ошибками — так, как наши знатные господа и дамы, получившие от колыбели иноземное воспитание. Он рассказал мне следующее:

— Так суждено, чтоб человек, одаренный умом и душою бессмертною, превосходил в злости и жестокости всех бессмысленных тварей и, не довольствуясь терзанием и пожиранием других животных, беспрестанно стремился к истреблению своих собратий. Ты видишь, Иван, что мы в нашем ауле живем дружно и согласно, как родные братья, но не думай, чтоб это дружество и эта любовь простирались на весь наш род. Нет! каждое племя, каждая орда враждуют между собою; обида, причиненная в другом ауле или в другой орде одному киргизу, должна быть отмщена целым его аулом или ордою. Эта общая месть, или *баранта*, хотя простой только обычай, но сильнее всякого закона, ибо люди обыкновенно более повинуются внушению злых своих качеств и личных выгод, нежели правилам мудрости. Отец мой, хотя был любимцем хана и даже родственником его, но ханы наши бессильны и отец мой не мог покровительством защититься от мщения сильного султана, начальствовавшего чизлыкским и дерт-карикским племенами, самыми злейшими врагами России. Предлогом сей распри были полученные подарки моим отцом от Российского Двора, но в самом деле вражда происходила за предпочтение, оказанное моею матерью отцу моему при сватовстве обоих соперников. Частые набеги и оскорбления, причиняемые врагами аулам, подведомственным моему отцу, принудили его откочевать из внутренности степи к российским пределам и просить помощи в порохе и оружии у русских. В доказательство верности и преданности своей к России, отец мой отдал меня с несколькими молодыми людьми в заложники, желая притом, чтоб я увидел свет, присмотрелся к порядку в стране просвещенной и был со временем полезен соотчикам моими познаниями.

Я был тогда в твоих летах, Иван; нас отослали в Москву, где нам дали пристава, то есть казенного чиновника, который обязан был пещись о нашем содержании на счет казны, сопровождать меня повсюду, показывать все любопытное и наблюдать за нашим поведением. Этот чиновник, живя долго на Оренбургской линии, знал несколько наш язык.

Из Москвы нас отослали в Петербург, где от казны дали нам переводчика из татар и учителя русского языка.

Признаюсь тебе, что блеск роскоши и вид общего довольства сначала сильно подействовали на меня и возбудили охоту или остаться навсегда в городе, или завести у себя город и такой же во всем порядок. Любопытство мое не могло насытиться: я хотел все видеть, все знать и плакал с досады, когда не постигал виденного или не понимал слышанного. Императрице Екатерине Второй угодно было видеть меня. Меня одели великолепно и повезли во дворец в карете, запряженной в шесть лошадей цугом. С гордостью поглядывал я на народ из окон кареты и думал, что целая столица занимается мною, потому что все останавливались и с любопытством смотрели на меня. Проезжая чрез одну улицу, мы должны были остановиться от множества стеснившего народа, который обступил нашу карету и стал расспрашивать обо мне пристава. Вдруг заиграла музыка и показались обезьяны в растворенном окне ближнего дома. Народ, не выслушав рассказа пристава, побежал к обезьянам, и мы спокойно поехали вперед. Это был первый удар моему самолюбию, и я весьма дурно заключил о народе, предпочитающем обезьян султанскому сыну. Я тогда не постигал, что постоянное внимание каждого народа так же трудно удержать, как постоянство ветра и что народ об том только всегда помнит, чего боится.

Государыня приняла меня весьма милостиво: обласкала, обдарила и отпустила домой, поручив вельможам своего двора иметь попечение обо мне и ввести в общество, чтоб я мог лучше судить о выгодах просвещения.

По слову государыни, я вошел в моду, как новая прическа или новый покрой платья. Не было в городе бала, большого обеда, званого вечера, где б не было *киргизского красавца*. Так прозвали меня знатные женщины, от того что при Дворе сказано было: «Этот князек не так дурен собою, как описывают вообще киргизов».

Знатные господа и дамы утешались моею простотою, а я утешался их болтливостью и легкомыслием, с которым они принимали большие вещи за малые, а малые за большие. Однажды я застал одно доброе семейство в слезах и горе: все плакали, от отца до грудного младенца.

— Что с вами сделалось? — спросил я хозяйку.

— Ах, любезный князь, вы знали нашего дядюшку...

— Что же с ним случилось? Не умер ли он?

— О, если б он умер, то это было бы только половина

беды, потому что он уже начинает расстроивать свое имя, которое дети мои должны получить в наследство; но он... ах!.. он впал в немилость у своего сильного покровителя!

— За что же такая внезапная немилость?

— За нескромность, за язычок. Покровитель дяди гордился и хвастал тем, что он выдумал новый соус к рыбе, а мой дядя рассказал под секретом приятелям, что это его собственное сочинение, и вот — прощай дружба и покровительство!

Я не мог удержаться от смеха, и этот смех приписан был моему невежеству и дикости. В другой раз я нашел в отчаянии моего приятеля, молодого, образованного человека. Он хотел застрелиться, хотел бежать к нам, в киргизскую степь, чтоб скрыться от света.

— Какое несчастье поразило вас, почтенный друг? — спросил я его с участием и горестью.

— Любезный князь — я проклят отцом!

Я ужаснулся.

— Как! прокляты отцом! Неужели вы впали в преступление, оскорбили родителя?

— Я не пошел ему в вист в бостоне!

— Как! и за это он вас проклял?

— Проклял и лишил своих милостей!

Я принялся смеяться от чистого сердца.

— Утешьтесь, почтенный друг, — сказал я. — Такое проклятие не дойдет до небес и останется под карточным столиком, пока какой-нибудь забавник не подберет его, чтоб посмешить добрых людей насчет сумасбродного папеньки.

— Здесь дело не о небесах, но о земле, — возразил приятель, — следствия этого проклятия — лишение меня денежного пособия. Отец мой рад теперь, что нашел случай отказать мне в деньгах.

— Для чего же ваш папенька так бережет деньги?

— Для того, что кормит и поит толпу случайных людей, которые смеются за глаза над его страстью; хвастает своими отборными винами и кушаньем, как будто это было следствием ума, добродетелей, заслуг и составляло достоинство человека.

— Воля ваша, а вы мне кажетесь смешны с своими бестолковыми обычаями, — сказал я приятелю.

— Кому смех, а кому горе, — отвечал он.

Всего страннее казалась мне оценка людей, принимаемых в большие общества. Там не справлялись никогда ни об уме, ни о душевных качествах, ни о поведении человека. Первый вопрос: сколько за ним душ? Второй — какой чин? Третий —

в каком он родстве? Четвертый — в каких связях? Если на все эти пункты ответы удовлетворяли ожиданиям или если хотя один пункт был столь силен, что заглушал остальные, тогда, будь плут, обманщик, грабитель, притеснитель — двери во всех домах для него открыты, везде готова улыбка при встрече и новое приглашение при отпуске. А деньги?.. О! за деньги неотесанный мужик, который за несколько лет перед тем продавал водку лакеям и кучерам, разбогатевав обманами, принимается в доме их господ лучше, нежели бедный воин, не имеющий другого покровительства, кроме своей заслуги. А обеды!.. Ваши обеды сводили меня с ума! Подобно собакам, которые ласкаются к тому, кто их кормит, ваши просвещенные люди из лакомого блюда или бутылки вина, которые они, впрочем, могут иметь дома, толпятся в дом ко всякому пролазу, ко всякому грабителю, и не только прощают ему его бессовестность, но даже защищают от правосудия. Кстати о правосудии. В ваших судах одни — играют в жмурки и наугад ловят правого или виноватого; а другие — продают правосудие на вес, как лекарство в аптеках, по рецептам секретарей и подьячих. Одним словом, я удостоверился, что ваше просвещение состоит в искусстве говорить и писать о том, что полезно для *других*, а делать то, что полезно для *себя*. Слова и дела находятся у вас в такой противоположности, что, если кто скажет о себе: я честен, это значит, что он плут; кто говорит: я богат — означает, что он беден, то есть в долгу; а кто сознается сам и кричит везде, что он беден, это значит, что он богат, но хочет быть еще богаче. Кто кричит об общей пользе, это знак, что он ищет своих собственных выгод, а кто проповедует вольность, это значит, что он хочет угнетать других. Присмотревшись ко всем этим превратностям в течение четырех лет и взвесив ваше просвещение и выгоды городской жизни с нашим невежеством и кочеванием, я почувствовал сильное желание возвратиться в степи и забыть обо всем, виденном и слышанном, как о сновидении. Я вознамерился уже просить о позволении, как вдруг одно обстоятельство удержало меня — любви!

По существующему в России обычаю, для нас, диких азиатцев, нанимали квартиру в отдаленной части города, для того чтоб мы свободнее могли отправлять свое богослужение и готовить пищу по нашему обычаю, не обращая на себя внимания любопытных. Однажды, прохаживаясь пешком по глухой улице, я услышал в одной лачуге рыдания и жалостные вопли женщины. По невольному движению я вбежал

в дом. Горестное зрелище поразило меня. Прекрасная, как ангел, девица держала в своих объятиях старую женщину в обмороке и плакала в отчаянии, не зная, как пособить ей. Я, не говоря ни слова, выбежал в сени, нашел ведро с водою, возвратился в комнату с полным ковшом, sprysнул лицо больной, стал ей тереть виски и жилы на руках и наконец привел в чувство, перенес на кровать и просил позволения у красавицы побежать тотчас за доктором. Казалось, что девица сначала не примечала меня, будучи занята недугом своей матери, но наконец она обратила на меня свои прекрасные голубые глаза, в которых блеснули еще слезы, и, покраснев, поблагодарила тихим голосом. Мой киргизский наряд приводил красавицу в недоумение: она украдкой осматривала меня с ног до головы и не знала, что сказать.

— Не пугайтесь меня, сударыня,— сказал я,— я киргиз, уроженец диких степей; но и у киргизов есть также сердце, и они знают, что такое сострадание к несчастью ближнего. Будьте откровенны со мною, как с человеком, который почитает за богатую добычу всякий случай быть полезным страждущим и несчастным. Я вижу, что вы в нужде: это обнаруживает ваше жилище. Одолжите меня и примите от меня пособие для больной вашей матери.

Не дожидаясь ответа красавицы, я бросил на стол горсть червонцев и поспешно удалился. Девица хотела удержать меня за руку, умоляла взять назад деньги, но я, не слушая, силою вырвался и побежал опрометью домой.

Я видел много русских красавиц, и никогда оне не производили во мне сильного впечатления. Но образ этой бедной девушки врезался в моем сердце и памяти. Она днем и ночью представлялась моему воображению, и я мучился более недели, не зная, что делать с собою и не смея возвратиться к ней в дом, опасаясь, чтоб она мне не отдала обратно денег и тем не лишила себя пособия. Напрасно я силился забыть красавицу: она поселилась во мне, как жизнь, как душа, и моя азиатская кровь кипела, как будто в сердце моем пылало пламя. Ни развлечения большого общества, ни чтение, которое я чрезвычайно любил, ни уединение не могли меня успокоить. Наконец, я решился увидеть снова красавицу.

Я пошел к ней вечером. Какая-то непостижимая робость удержала меня при входе; я остановился под окном, закрытым ставнями, и услышал спор в комнате и неизвестные мне голоса.

— Стыдитесь, сударь, стыдитесь! — сказала женщина. — Как вы смеете предлагать мне бесчестье, в обмен за ваше покровительство, которым я гнушаюсь. Посмотрите на дочь мою: она не может произнести слова от избытка негодования, не хочет осквернить себя укоризнами. Мы, бедные, беззащитные сироты, и оттого вы так дерзки; но если б муж мой был жив, невзирая на ваше богатство и знатность, он бы умел заставить вас образумиться.

— Полно, полно, матушка, не гневайтесь, — возразил охрипший голос, — гораздо лучше отдать дочь мне на воспитание, нежели замуж за какого-нибудь подьячего или унтер-офицера. А ты, красавица, не дичись, подойди, позволь поцеловать себя в эти розовые щечки!

— Оставьте меня в покое! — закричала красавица, и я услышал стук опрокинутого стола. Мысль об оскорблении невинности воспламенила меня гневом; как бешеный вбежал я в комнату и увидел, что дряхлый старичишка, одетый щеголем, тащит к себе за руки красавицу и хочет насильно поцеловать ее. Я схватил его поперек, вынес как куль соломы на двор и бросил с размаху в грязь. Два лакея, стоявшие за углом домика, прибежали на крик своего господина и кинулись на меня. Но отчаянье и жажда мести удвоили мои силы. Я схватил в каждую руку по полену дров, напал на моих противников и выгнал их за ворота. Старый волокита побежал к карете, которая стояла на углу улицы, и звал к себе своих служителей. Вскоре я услышал, что карета поехала по улице во всю конскую прыть, запер калитку и возвратился в комнату.

Слезы благодарности были моею наградой. Мать благодарила меня за оказанную милость и покровительство; дочь молчала, но ее молчание было гораздо красноречивее слов старухи. Старушка рассказала мне свою историю. Муж ее служил комиссаром во флоте и был честный человек. После своей смерти он не оставил им другого наследства, кроме права на получение небольшой суммы из казны, за призы, сделанные экипажем корабля, на котором он служил. Преемник его представил на покойного какие-то начеты, в оправдание пословицы, что умершие и отсутствующие всегда виноваты. Дело находилось в то время у этого сладострастного старичишки, который, увидев Софию, предложил ей бесчестьем купить выгодный приговор по делу и покровительство на будущее время. Разумеется, что ему отказали с гордостью, приличною благородным душам; но старичишка не оставил своих преследований и даже стал страшать нес-

частную мать, что ее посадят в тюрьму за утрату казенных вещей, если дочь не перестанет упрямиться. Когда я нашел мать в обмороке, тогда она получила это известие. Мать и дочь жили трудами рук своих, вышивая для модных магазинов; но гнусный старичишка, чтоб довести несчастную жертву до крайности, лишил бедную семью и этого средства, платя в магазинах за то только, чтоб ничего не покупали у Софии и не заказывали никакой работы. Нищета, одно из величайших несчастий, среди всеобщей роскоши просвещенных народов, вскоре посетила добродетельное семейство, и если б я не явился к ним кстати, то Софья нанялась бы полоть в огороде, чтоб прокормить больную и слабую свою мать; ибо, кроме последней пары платья, все уже было продано. Я никогда в жизни моей не проливал слез и в первый раз заплакал при рассказе старушки об ее бедствиях.

— Позвольте мне вмешаться в это дело, — сказал я. — Если я не найду правосудия между знатными, то найду его выше.

— Оставьте это, добрый князь, — возразила старушка, — пока солнышко взойдет, роса глаза выест. Мы намерены отказаться от иска и удалиться в дальний город, к нашим родным. Если вы имеете знакомых, то попросите только, чтоб этот господин, которого вы здесь видели, нас не преследовал. Он называется Фирюлькин и имеет чин генеральский. Но, пожалуйста, не являйтесь к нему, потому что он может отомстить вам за вашу вспыльчивость. Между тем возьмите обратно свои деньги: мы не можем принять в подарок такой большой суммы.

— Деньги вы мне отдадите, когда получите из казны что вам следует; что же касается до г(осподи)на Фирюлькина, то не опасайтесь: он мне не страшен.

Пробыв несколько времени с этими несчастными, я возвращаясь, более влюбленный в Софию, нежели прежде.

На другой день поутру я пошел в присутственное место, где заседал Фирюлькин, и дождался его на лестнице. Он ужаснулся, увидев меня, и верно б переменялся в лице — если бы мог. Но у него не было капли крови в теле.

— Что вам угодно, любезный князь? — сказал он, заикаясь.

— Переговорить с вами наедине.

— Очень рад, только здесь не место. Пожалуйте ко мне в дом, завтра поутру, часов в девять. Я приму вас с удовольствием.

На другой день я до условленного часа был уже в передней

Фирюлькина. Лакеи имели повеление впустить меня; но как в зале было несколько просителей, а в кабинете секретарь с делами, то камердинер повел меня во внутренние комнаты, чрез уборную Фирюлькина. Проходя мимо, я невольно остановился, чтоб рассмотреть вещи, которых я прежде не видел.

— Что значат эти два стеганные мешочка с подвязками? — спросил я.

— Это икры моего господина, — отвечал лакей.

— А это что за череп?

— Это его волосы.

— А эти кости?

— Это его зубы.

— На что же эти краски на столике между щетками, пудрою и помадой?

— Это цвет лица моего барина.

— Хорош! — сказал я с насмешкою. — У него нет ни тела, ни души.

— Извините, — отвечал камердинер. — У него три тысячи душ: это важнее, нежели одна своя.

Я понял замечание лукавого камердинера и заключил из этого, что Фирюлькин должен быть негодным человеком во всех отношениях, когда слуги не имеют к нему уважения.

Меня позвали в кабинет. Фирюлькин взял меня за руку и весьма ласково попросил садиться.

— Забудем о прошедшем, — сказал он. — Вы поступили со мною весьма невежливо, но я прощаю вам, потому что вы не знаете правил нашего общежития. У нас можно убить, застрелить человека, но не должно прикасаться к нему безоружною рукой. Впрочем, вам не за что было сердиться на меня. Я так же искал дичи, как и вы, и не знал, что эта голубица уже подстрелена вами.

— Прощу говорить без обиняков, — сказал я, возвысив голос. — Я только два раза в жизни видел бедную девушку, которую вы преследуете, и решился защищать ее из одного сострадания.

— Сострадание в киргизской степи! — лукаво сказал Фирюлькин.

— Его там более, нежели в ваших позолоченных палатах и в ваших судах, — отвечал я с досадою.

— Но как бы то ни было, если вы не откажетесь от преследования Софьи и если не решите дела покойного ее отца по законам, то я клянусь вам счастьем моей жизни,

что сам упаду к ногам правосудной государыни и буду на вас жаловаться; а между тем расскажу всем вельможам и придворным о нашей встрече у Софьи.

— Потихе, потихе, не горячитесь! — сказал Фирюлькин. — Мне без того приятно одолжить киргизского князя: я даю вам честное слово, что забуду о существовании вашей Софии и завтра же подпишу приговор в пользу ее матери, потому что дело уже кончено. Условие — никому ни слова.

— Вот вам рука моя! — Фирюлькин поцеловал меня и поспешно вывел из кабинета.

Я поспешил к Софии с этою радостною вестью и был снова осыпан ласками и благодарностью. На другой день приговор был подписан, и чрез неделю уплачены деньги. Фирюлькин не являлся более в той части города, где жила София. Он сдержал свое слово: я думаю, в первый раз в жизни.

Я перестал думать о возвращении в степи. Софья любила меня; я был счастлив и жил новою жизнью.

Мы скрывали любовь нашу от матери, потому что она ни за что бы не согласилась выдать дочь свою за магометанина. Я не знал, на что решиться. Смерть матери дала Софье полное право располагать собою. Добрая старушка, удрученная летами и горестями, умерла с полгода после нашего знакомства. Софья осталась сиротою и объявила мне, что она готова следовать за мною не только в степь, но на край света, в безлюдные пустыни.

Надобно было взять некоторые предосторожности. Софья поехала вперед в Оренбург, а я, испросив позволение у государыни, отправился после. Не зная, позволит ли отец мой жениться на бедной сироте, я оставил Софью в соседнем ауле, у приятелей, и явился к отцу один.

— Батюшка! — сказал я. — Ты испытал любовь и, верно, не осудишь сына, если он выберет себе жену по желанию сердца, а не по расчету.

— Мне бы хотелось, чтоб ты женился на дочери султана, моего благодетеля, — сказал мне отец, — но если ты уже выбрал себе невесту и не хочешь других жен — твоя воля. Ведь не мне, а тебе жить с твоею женой!

Я рассказал ему свое приключение, и того же дня Софья была в его объятиях. Наши старухи сердились за то, что я женился на иноземке; молодые девушки негодовали, но храбрые мои наездники согласились, что София стоит быть киргизкою. Сам хан хотел видеть жену мою и похвалил мой выбор.

Арсалан умолк и закрыл руками лицо свое. Я видел его слезы. Наконец он сказал:

— Я десять лет был счастлив с Софией. Гаюк — плод нашей любви. Она умерла! По обычаю нашего народа и по воле хана, я должен был жениться; у меня теперь три жены: они добрые женщины, ты знаешь их. Но я любил одну Софью и никогда не утешусь в ее потере. Иван! верь мне, в степях киргизских знают любовь и дружбу, хотя не умеют красно об них рассказывать. Теперь ты знаешь, отчего я люблю русских. Софья соединяет меня с вами. Вот от чего, вопреки нашему обычаю, я обхожусь с тобою, моим невольником, как с равным. Я был счастлив с русской; русская кровь течет в жилах моего Гаюка, и хотя я в твоём отечестве видел много глупостей, но это принадлежность всех просвященных народов, как я узнал из книг, и вы только в том виноваты, что перенимаете чужие глупости. Я нашел в России много добрых людей, достойных жить с нами, в этих степях — и память их дорога для меня. Теперь ступай спать, Иван! Мне грустно; я сяду на коня и в степи развею грусть мою. Воспоминание прошлых бед утешает человека, а воспоминание минувших, невозвратных радостей наполняет сердце горестью. Прости... Гей, коня моего!

Арсалан вскочил на своего жеребца и, при свете луны, пустился в степь, во всю конскую прыть. Мне самому было грустно: я любил доброго султана всем сердцем.

ГЛАВА XV

СЛЕДСТВИЯ ЖЕСТОКОЙ ЗИМЫ В СТЕПИ.

НАБЕГ.

РАДОСТНАЯ ВСТРЕЧА

С ПЕРВЫМ МОИМ БЛАГОДЕТЕЛЕМ

Мы живем в беспрестанном заблуждении и не иначе видим предметы, как в отражении, в волшебном зеркале страстей. Но если человеку извинительно заблуждение, то это в таком только случае, когда он, увлеченный чувством, не видит недостатков в родителях своих и в своем отечестве. Сколько ни старался благородный Арсалан превозносить свои степи, но ни красноречие его образованного ума, ни пылкость дикого питомца природы не могли заставить меня позабыть Россию. Зима удвоила мою печаль. Живя в тесной юрте, с Гаюком и несколькими его товарищами, и находя единственное услаждение в беседах с Арсаланом, я скучал в

длинные вечера и мыслил о моем отечестве и о моей доброй тетке, которая, вероятно, была в отчаянии, узнав, что я пропал без вести. Грубая пища, нечистота, дым в юртах и жестокая стужа в степи, где надлежало делать разъезды и сторожить стада, были для меня тягостны и заставляли сильнее чувствовать то, чего я лишился. Наконец, стужа увеличилась до невероятной степени. Стада наши не могли добывать из-под снега травы, которая притом лишилась своей питательной силы. Метели засыпали скот снегом и пронизательные холодные ветры стесняли дыхание животных. Наконец появилось бедствие, ужасное для кочующего племени: скотский падеж.

Тщетно баксы употребляли свои гадания и лечения: стада наши и табуны беспрестанно уменьшались и не было средства пресечь падеж. Даже здоровые животные, скитаясь между снежными буграми без пищи и не имея сил разгребать глубокий и твердый снег, падали от изнеможения. С сим вместе оказался недостаток в съестных припасах и в дровах. Уныние разлилось в сердцах. Вместо веселых песен слышны были свист ветров и рев издыхающих животных. Женщины и дети таили свои слезы пред мужьями и отцами, но притворное равнодушие не могло скрыть всеобщей печали.

Арсалан более всех оказывал мужества. Он своим примером поощрял к работе. Он сам присутствовал при общих трудах и ободрял унылых; сам добывал корм для верховых лошадей из-под снежных глыб; сам ездил с нами за камышом и за ветвями молодых деревьев; сам осматривал стада и распределял для них новые пастбища. Опасаясь, чтоб падеж не лишил нас вовсе продовольствия, мы убили большую часть баранов и зарыли мясо в землю, употребляя с большою бережливостью наши сухие запасы. По счастью, богатые киргизы запаслись кирпичным чаем¹, который мы пили по несколько раз в день, приготавливая его сперва, как суп, с молоком, маслом и солью, а после, когда не доставало молока и масла, — просто с солью и бараньим жиром. Этот напиток поддерживал силы мои. Ржаная мука, которою Арсалан-султан запасся в Оренбурге, служила только для лакомства. Киргизы не употребляют хлеба, но варят из муки род каши и пекут лепешки на углях. Сарачинское пшено

¹ Самый простой и дешевый чай, употребляемый более в Сибири монгольскими поколениями. Он продается в кусках, наподобие кирпича, и в пограничных китайских городах служит вместо монеты. Количеством сих кусков чаю оценивают вещи.

было только у одного султана, и то в малом количестве. Пшено берегли для женщин и для больных. Хотя мы не чувствовали еще настоящего голода, но с лишением стада это бедствие угрожало нам к весне. Наконец прошла зима, снег растаял, земля зазеленела, падеж прекратился, но мы остались бедными. Без внешнего пособия голод должен был постигнуть нас еще до конца весны. Все это предвидели, но не знали, на что решиться. Некоторые поговаривали, чтоб вступить в русскую службу, на жалованье; другие хотели просить помощи у хана. Арсалан вознамерился силою победить несчастье. Однажды он пригласил к себе старшин, и когда все уселись на полу и закурили трубку, он произнес следующую речь:

— Обязанность моя пещись об вас: я делаю, что могу, но при всем этом я не в силах был ни прекратить мороза, ни пресечь падежа. Не хочу скрывать перед вами, что нам угрожает еще большее несчастье. Враги наши, узнав о нашей слабости и нужде, нападут на нас и истребят всех или сделают своими рабами. Только отчаянное мужество может спасти нас. В очевидных опасностях лучше предупредить бедствие сопротивлением, нежели малодушно ожидать удара. Я получил известие, что богатый караван идет через степи и что враг нашего племени, султан Алтын, провожает караван с лучшими своими наездниками. Сядем на коней и пойдем к нему навстречу, разобьем, возьмем караван и одним смелым подвигом обеспечим себя и от врага, и от голоду. Вот мое намерение. Объявите это удалцам моим. Кто не боится смерти и кто желает спасти свой род от поношения и бед, тот пойдет со мною. Я не возьму никого, кроме охотников.

Некоторые старшины хотели возражать, но Арсалан встал с своего места и сказал:

— Я никого не принуждаю идти со мною. Кому не нравится мое намерение, тот может остаться в ауле и после моего отъезда толковать что ему угодно. Но теперь я прошу вас повторить только в ваших семействах мои слова, без всяких толков; а если я узнаю, что кто-нибудь осмелится посеять раздоры, помните, что у Арсалан-султана есть кинжал, аркан и нагайка. Прощайте!

Все вышли в безмолвии, и Арсалан велел мне остаться.

— Ну, а ты, Иван, пойдешь со мною или останешься с бабами?

— Разумеется, с тобой, в огонь и в воду! — воскликнул

я. Арсалан сел на землю, задумался и, помолчав немного, сказал:

— Раздумай хорошенько, Иван; мы идем почти на верную смерть. В отчаянном положении нашем я не вижу другого средства к избавлению, как набег. Но нам должно будет драться с храбрыми и сильными противниками: их, верно, вдвое более нас, и если мы не победим, то должны умереть. Я, как начальник, должен подавать собою пример и скрывать перед своими опасность. Но с тобою я хочу быть откровенным. Мне жаль тебя. Даю тебе вольность. Возьми моего коня и ступай к своим. Зачем тебе разделять горькую мою участь?

Я бросился обнимать доброго султана и, тронутый до слез, отвечал:

— Нет, Арсалан-султан, я не оставлю тебя в опасности! Киргиз не превзойдет русского в великодушии. Ты спас мне жизнь; ты обходился со мною не как с рабом, но как с сыном, как с другом; ты научил меня владеть оружием, — и я был бы недостоин свободы, если б был столь малодушен, что бежал от тебя, когда ты идешь на смерть. Я пойду с тобою; буду драться возле тебя; закрывать тебя своим телом или погибну вместе, или буду с тобой торжествовать победу.

Арсалан поцеловал меня и сквозь слезы сказал:

— Быть так!

На другой день, с рассветом, сто отличных наездников были уже во всей готовности к походу. Кроме того, около двадцати человек находилось при заводных лошадях и нескольких верблюдах, навьюченных съестными припасами. К удивлению моему, я не видел женских слез и не слышал рыданий при прощании мужей и любовников. Те, которые не могли скрыть своей горести, не показывались из землянок. Другие, в молчании сложа руки, смотрели на наши приготовления к походу. Эта тихая горесть и уныние сильнее действовали на сердца воинов, нежели громкие изъявления печали. Явился Арсалан, в богатой шубе, на лихом коне. Он обратился к толпе женщин, стариков и воинов, остающихся для защиты аула, и, сказав: «Прощайте!», понесся в галоп в степь; наездники последовали за ним, прощаясь знаками с милыми сердцу.

Отъехав от аула такое расстояние, что мы могли видеть только один дым нашего кочевья, мы остановились, чтоб дать приблизиться к нам вьючному скоту, который должен был находиться всегда у нас ввиду. На первый ночлег мы

расположились среди степи, возле кургана; лошадей пустили в степь; кругом расставили часовых и, разложив огни, поместились вокруг, на войлоках. На другой день мы направили путь к реке Сыр-Дарье и продолжали шествие одним порядком, руководствуясь курганами и течением солнца и поверяя ночью наше направление по положению звезд на небе. Долго мы шли, не встречая в степи живой души, и наконец, в седьмой день, под вечер, увидели вдаль дым. Сперва мы думали, что это аул; но посланные вперед наездники уведомили, что это ночлег каравана. Мы остановились, и Арсалан решил ночью разведать обо всем в точности и, если б этот караван был тот самый, который составлял предмет наших поисков,—напасть утром и кончить дело.

Восемь человек из наших отличных наездников отправились к каравану с трех сторон. Четверо из них спешили и подползли камышом со стороны небольшого озера на такое расстояние, что могли слышать голоса стражи и видеть неприятелей в лицо. Мы между тем стояли в готовности к бою и решились напасть по первой тревоге, чтоб выручить посланных. Но поиск кончился благополучно. Посланные уведомили нас, что это *наш* караван, но что прикрытие многочисленно и что нападать ночью было бы опасно, потому что из вьюков с товарами сделан род укрепления и стража, вооруженная шамхалами, бдительно охраняет стан. Мы отступили несколько верст в сторону и расположились на ночлег за горою, чтоб не было видно наших огней. Арсалан собрал своих воинов в кружок и сделал следующее распоряжение. Отряд наш разделился на три части. Сам он с пятидесятью наездниками должен был оставаться в тылу. Одному отряду, из двадцати пяти человек, надлежало сделать ложное нападение спереди каравана, а другому отряду, равной силы, с фланга. Когда завяжется дело, тогда главному нашему отряду положено было броситься на тыл каравана и стараться отрезать часть оного и защищать добычу, прикрываясь наездниками двух малых отрядов, которые должны тогда стараться соединиться с главным отрядом, отступая по обоим флангам каравана и заманивая неприятельских наездников далее от него. Я с сыном Арсалана, Гаюком, причислен был к главному отряду.

До света два малые наши отряда выступили в путь, а мы остались за возвышениями, погасив огни, чтоб днем не было дыму. Около полудня слышали мы вдаль конский топот и клики погонщиков верблюдов. Арсалан, окутавшись серою попоной, всполз на гору, чтоб разглядеть караван. Когда

он скрылся из виду, мы сели на коней и отправились медленно по следам его. Лишь только мы услышали выстрелы, тотчас на рысях понеслись за караваном и, заведя его, пустились с криком в атаку. Неприятель, не занимаясь перестрелкою с двумя нашими отрядами и презирая их малочисленность, бросился на них с пиками и отдалился от каравана. Мы воспользовались этим случаем: ударили на остальных, смяли их, завладели большею частью каравана, загнали всех верблюдов с вьюками в одну кучу и решились защищать свою добычу до последней крайности. Султан Алтын, увидев наш успех, перестал преследовать наши малые отряды, которые, притворяясь, что спасаются бегством, заманивали его далее в степь. Возвратившись к каравану, Алтын с бешенством напал на нас, увидев в толпе личного своего врага, Арсалан-султана. Арсалан также не мог умерить своего гнева и, схватив копьё, отделился от своих и бросился на Алтына. Увиваясь на лихом коне, Арсалан потеснил своего противника и уже готов был нанести ему удар, но в самуюию минуту раздался выстрел; лошадь Арсалана упала со всех ног и подбила под себя всадника. С адскою радостью соскочил Алтын с коня и, обнажив турецкий ятаган, бросился на лежащего Арсалана, чтоб отрезать ему голову. Я находился в нескольких шагах от Арсалана и, видя его опасность, выхватил из-за кушака пистолет, прицелился, выстрелил — и Алтын пал мертвый возле своего врага, который между тем успел выбиться из-под лошади. Арсалан схватил ятаган Алтына и его же оружием отрезал ему голову, взоткнул ее на пику и прискакал к своим. Лишь только наездники Алтына увидели голову своего начальника на пике, свирепое их мужество утихло в одно мгновенье и превратилось в детскую робость. Они опрометью побежали назад с жалостными воплями, оставив нам в добычу целый караван, состоящий из ста верблюдов, нагруженных драгоценными азиатскими товарами, многочисленное стадо овец и множество заводных и табунных лошадей. Кроме того, нам досталось в плен десять человек бухарских купцов, с пятьюдесятью погонщиками и двадцатью невольниками.

Лишь только противники наши ускакали из виду, мы тотчас двинулись в поход, взяв направление к дружеским аулам, чтоб избежать погони. Арсалан не успел даже говорить со мной во время этой суматохи; но на походе он взял меня за руку и, обращаясь к своим наездникам, сказал:

— Вот кому я обязан моею жизнью, а вы — победою и добычею! Он уже свободен, но заслуга его превышает всякую награду.

Товарищи мои окружили меня и осыпали благодарностью и ласками. Один из бывших с нами поэтов, которых множество между киргизами, тотчас сочинил песню мне в похвалу. Товарищи мои выучили эту песню и пели хором во время похода.

Мы шли чрезвычайно скоро и часто переменили направление, чтоб избегнуть поисков. Чрез десять дней обратного похода мы возвратились в свой аул, измученные от усталости, но с торжеством победы. Весь аул выбежал к нам навстречу и принял нас с громкими восклицаниями радости. Арсалан рассказал перед целым собранием о моем подвиге: восхищенные киргизы сняли меня с лошади и носили на руках вокруг нашего стана, с песнями и музыкою, импровизируя в честь мне стихи и песни. Для меня отвели три юрты и предоставили право выбрать в жены первых киргизских красавиц. Я не воспользовался этою особенною милостью; но, признаюсь, так был доволен оказанными мне почестями, что думал навсегда остаться между киргизами.

Чрез несколько дней начали делить добычу. Все шелковые товары, жемчуг и другие драгоценности положено было продать в России, а деньги обратить на общие нужды аула, исключая некоторых вещей, которые разделили между семействами, так же как скот, лошадей и верблюдов. Наличные деньги и невольников разделили только между наездниками, бывшими в экспедиции. Бухарским купцам предоставили право выкупиться. По общему согласию, мне дали четыре пая в добыче и предоставили право выбрать четырех невольников для услуг. В числе взятых нами невольников, большею частью персиян и афганцев, было двое русских. Разумеется, что я взял их на свою долю, чтоб освободить при первом случае.

В хлопотах быстрого нашего похода я не имел случая обращать большого внимания на моих земляков и даже не имел времени расспросить порядочно об их состоянии и узнал только, что один из них дворянин, а другой отставной солдат. Когда же они достались мне, то я поместил их в свою палатку и того же вечера пригласил ужинать с собою, чтоб узнать подробно обо всем, до них касающемся. Один из них был лет тридцати пяти, видный и даже красивый. Невзирая на длинную бороду и большие волосы, черты его лица казались мне не чуждыми. Отстав-

ной солдат, человек лет сорока пяти, был ловок и расторопен.

— Кто ты таков, любезный земляк? — спросил я у первого.

— Я дворянин и отставной офицер.

— Как ваша фамилия?

— Миловидин.

— Александр Иванович Миловидин! — воскликнул я, вскочив с своего места и сплеснув руками.

— Неужели вы меня знаете? — спросил он в изумлении.

— Знаю ли? Я удивляюсь, как не узнал вас с первого взгляда. Но вы постарели, переменились, похудели, и притом же эта борода, эти лохмотья! Александр Иванович, всмотритесь в меня. Неужели вы не узнаете вашего *сиротки*, вашего Ваньки, которого вы взяли с собою из дома Гологордовского и оставили у жида в Слониме?

Миловидин бросился мне на шею, воскликнув:

— Как, это ты... это *вы*? Какая странная судьба!

Мы плакали от радости и в молчании обнимались. Отставной солдат стоял в нескольких шагах и утирал кулаком слезы. Наконец мы успокоились, и я, выслав солдата в другую палатку, остался наедине с Миловидиным, чтоб рассказать ему свои похождения.

Миловидин, выслушав мое повествование, обрадовался, что я так воспитан и нахожусь в свете в таком положении, что могу быть его другом и товарищем. В тот же вечер мы произнесли взаимную клятву не расставаться и делить все: горе и счастье. С этой минуты мы согласились говорить друг другу *ты* и называться братьями. Как уже было поздно, то мы легли спать и Миловидин обещал мне на другой день рассказать свои приключения.

Мы встали до свету, и Миловидин начал свой рассказ. Здесь я должен предупредить моих читателей, что все помещенное мною на счет Гологордовского и его семейства, все, что сказано о любви, браке и отношениях Миловидина к сему семейству, заимствовано мною из сего рассказа и помещено, для порядка повествования, в первых главах моего жизнеописания. Само по себе разумеется, что я был так мал и прост в доме Гологордовского, что не был в состоянии проникнуть всего того, что рассказано мною довольно подробно. Итак, рассказ Миловидина я начну от выезда его из Слонима в Москву с молодою его женой.

ГЛАВА XVI

РАССКАЗ МИЛОВИДИНА.
НРАВСТВЕННЫЙ АВТОМАТ
И ЕГО ДОМОПРАВИТЕЛЬНИЦА.
СЕМЬЯ СТАРОЙ ДЕВЫ.
ПАНОРАМА МОСКОВСКОГО ОБЩЕСТВА.
ДРУЖЕСКИЙ КАДРИЛЬ. РУССКАЯ ЧУЖЕЗЕМКА.
ОБЩЕСТВО НА ТЕПЛЫХ ВОДАХ.
ВЗГЛЯД НА ВЕНЕЦИЮ

— Приехав в Москву, в намерении умиловить дядю и получить от него помощь, я несколько дней скрывался пред знакомыми и, чрез одного старого приятеля моего отца, старался войти в переговоры с прежним моим благодетелем. Дядя отказался даже видаться со мною. Все усилия приятеля моего отца, чтоб помирить нас, остались тщетными. Вот причина сего неслыханного упорства. Дядя мой, человек холодный, равнодушный ко всему, тяжелый и ленивый, был рабом своих привычек. Он тридцати лет сряду служил в одном присутственном месте, где вся его должность состояла в том, чтоб подписывать на бумагах: *верно с подлинным: Степан Миловидин*. Почти каждый вечер он проводил в Английском клубе, где величайшее его наслаждение состояло в том, чтоб пить клюквенный лимонад, играть в вист и прислушиваться к сплетням, которые он, возвратясь домой, пересказывал своей домоправительнице, Авдотье Ивановне. Эта женщина, вдова отставного коллежского регистратора, нанимала, лет за двадцать пред сим, квартиру в одном доме с моим дядею и, узнав, что он заболел опасно и что за ним некому ухаживать, кроме слуг, самовольно поселилась в его комнатах, при помощи квартального надзирателя подчинила служителей своей власти, ссорилась с больным и с доктором, а между тем не отходила от постели дяди, лила ему в рот лекарство и до того ему надоела, что он выздоровел. Из благодарности ли или из трусости, он не имел духу выгнать Авдотью Ивановну из своей квартиры и, видя ее брюзгливое усердие к себе и шумное рачение в присмотре за хозяйством, оставил в ее распоряжении все, касающееся до устройства дома. Дядя мой вскоре почувствовал превосходство женского хозяйства пред домоводством старого холостяка. Белье его было в исправности, чай и кофе вкуснее, за столом всегда являлось какое-нибудь любимое его блюдо. Вскоре привычка одолела моим дядею до такой степени, что он не мог обойтись без Авдотьи Ивановны и все, что не было приготовлено и подано ее руками, казалось ему неприятным.

Широкое, калмыковатое, покрытое рябинами лицо Авдотьи Ивановны, без сомнения, не могло прельстить моего дяди; но он так присмотрелся к нему, что ему непременно надлежало взглянуть ежедневно на ее кошачьи глаза, как щеголю в зеркало. Уши его так же привыкли к ее звонкому голосу, как слух старого солдата к звуку барабана; и он бы не уснул спокойно, если б в течение дня не услышал ее брани с служителями, соседками и разносчиками. Лениость и нерешительность моего дяди имели нужду в возбуждающих средствах, и Авдотья Ивановна вскоре до такой степени овладела им, что он был в ее руках совершенным автоматом, не смел даже поправить своего колпака без ее совета, терпеливо слушал ее бранчивые увещания и все делал с ее позволения, кроме подписывания: *верно с подлинным*. Дядя мой почитал себя счастливым, что нашел существо, которое за него думало, желало, боялось и надеялось. Он с радостью отдал свое именье в распоряжение Авдотьи Ивановны, чтоб только не иметь дела с старостами, управителями и должниками, которые всегда выманивали у него что-нибудь, а притом и обманивали. Он благодарил судьбу, что Авдотья Ивановна позволила ему посещать Английский клуб, с условием: переносить ей все сплетни, — и с трепетом возвращался домой, когда, заигравшись в карты, пропускал мимо ушей занимательные рассказы и приходил без новостей. Другой, будучи на его месте, выдумал бы сам что-нибудь для успокоения злой бабы; но мой дядя так отвык от умственных упражнений, что заболел бы мигренью на трое суток, если б подумал три минуты о чем-нибудь другом, кроме наполнения желудка, козырей в висте и своего: *верно с подлинным*.

У Авдотьи Ивановны была дочь от мужа ее, отставного коллежского регистратора; она была по третьему году, когда маменька ее взяла приступом дом моего дяди. Само по себе разумеется, что она после того воспитывалась на счет моего дяди и что Авдотья Ивановна непременно требовала, чтоб ее Лиза говорила по-французски, играла на клавикордах по-немецки, пела по-итальянски и танцевала все заморские танцы. Всему этому научили Лизу за деньги, но как ум господя иностранцы привозят к нам не на продажу, а для собственного обиходу, то Лиза осталась дурочкою, как Бог ее создал.

Отец мой, будучи генералом в действительной службе, находился всегда в армии; матери лишился я в малолетстве, и так до десятилетнего возраста воспитывался у родственницы матери моей, старой девицы, вместе с двумя дю-

жинами обезьян, попугаев, собачонок, карлиц, калмычек и всяких других диковинок. Величайшая справедливость царствовала в сем зверинце: нас всех, то есть людей и зверей, равно любили, досыта кормили, ласкали и били, смотря по расположению духа нашей благодетельницы. Обыкновенно, она тогда была весела, когда к ней доходили вести о расстройстве предположенной свадьбы, чьей бы то ни было, или о соблазнительном житье супругов. В бешенство же приходила она тогда, когда слыхала о свадьбах, родинах, крестинах и о счастливом браке. Разумеется, что самое лучшее время для нас было в посты, когда не бывает свадеб. В дни веселья всех нас: собачонок, обезьян, калмычек, карлиц и меня — кормили одинаковыми бисквитами и миндалем, а в дни гнева — всех секли одним пучком розог. Нас брали по очереди гулять в карете: один раз меня, другой раз мартышку и так далее. Недаром говорят, что равная участь соединяет сердца: наше ското-человеческое общество жило в величайшей дружбе и согласии, исключая одного злого сибирского кота и одной упрямой старой обезьяны, которые никак не хотели пристать к нашему союзу и за то получали побои от меня и калмычек, а мы за это были биты нашею *благодетельницею*. Я думаю, что я сам бы превратился в сибирского кота или в обезьяну, если б долее пожил в этом доме. Но, по счастью, отец мой, приехав в Москву, взял меня оттуда, поссорившись с благодетельницею моею за то, что выхвалял перед нею супружеское состояние и утверждал, что он был счастлив с моею матерью. Отец мой прожил в военной службе часть своего родительского наследства; а дядя мой, подписывая *верно с подлинным*, умножил свой участок вдесятеро: он взялся платить за мое воспитание и содержать меня в службе. Меня отдали во французский пансион, как водится, — и по праздникам дядя позволял мне приходить к себе к обеду. Авдотья Ивановна, к удивлению всех, не только не завидовала тому, что дядя мой разделял свои благодеяния между мною и ее дочерью, напротив того, она очень любила меня, ласкала, дарила и обходилась со мною, как с сыном.

По определении моем в службу, уже по смерти моего отца, Авдотья Ивановна не только принуждала дядю моего снабжать меня всем нужным, но даже заставляла его давать мне более денег, нежели сколько было определено. Наконец открылась причина этой нежности. Авдотья Ивановна имела намерение женить меня на своей Лизе, и, как скоро я женился на другой, она заставила моего дядю верить, что я впал в величайшее преступление, оказался неблагодарным и наконец,

представив меня порочным и злонравным, принудила его отречься от меня и лишить наследства судебным порядком. Приятель моего отца доставил мне копию с сей пагубной бумаги, с подписью моего дяди: *верно с подлинным*. Это был приговор судьбы, ибо дядя скорее решился бы уничтожить солнце, нежели свою скрепу, почитая всегда копию важнее подлинника.

Узнав о приезде моем в Москву и о моем несчастье, некоторые друзья моего отца соединились, чтоб переменить намерение моего дяди. Они прибегнули к Авдотье Ивановне и, угрожая ей адом и уголовною палатою, успели наконец в том, что Авдотья Ивановна, в лице моего дяди, согласилась дать мне 25 000 рублей с тем, однако ж, чтоб я добровольно отказался от целого наследства, которое простиралось до миллиона рублей. Находясь в крайности, я на все согласился, уверен будучи, что сопротивлением ничего не выиграю. Мне отсчитали деньги, и я оставил дядю моего в покое думать и чувствовать головою и сердцем Авдотьи Ивановны, играть в вист, пить клюквенный лимонад в Английском клубе, прислушиваться к сплетням и подписывать: *верно с подлинным*.

Ты воспитывался в Москве, любезный Выжигин; но не знаешь этой древней нашей столицы, потому что был молод и неопытен. Разбойничий вертеп развратителя юношества, Воробьянинов, и приют для старых читателей прекрасного пола у твоей тетушки суть две неприметные точки на московском горизонте. Что же касается до французского пансиона, в котором ты находился, то эти заведения в целой России так сходны между собою, как два белые листа бумаги. Петербург можно уподобить прекрасной молодой кокетке большого света, ищущей наслаждений со всеми приличиями, со всеми расчетами образованности. Москва-матушка похожа на пожилую, богатую вдовушку, которая, пожив в большом свете, удалилась внутрь России, в провинциальный город, лежащий посреди ее поместий, чтоб играть первую роль в своем околотке, не прерывая, однако ж, сношений с столицею. Москва, любезный друг, из всех иностранных причуд и обычаев умела соткать для своего покровя свою собственную, оригинальную ткань, в которой чужеземцы узнают только нитки своей фабрики, а покрой одежды и узоры — принадлежат нашей родимой Москве. Лучшее московское общество составляют, во-первых, так называемые *старички*, отслужившие свой век и от усталости или других причин поселившиеся в Москве на временный покой, в ожидании вечного. Этот почтенный

разряд составляет живую летопись последнего полувека, или, лучше сказать, живые ссылки (citations) в современной российской истории. Члены сего разряда образуют также ареопаг, или верховное судилище, где обсуживаются все современные происшествия. Они имеют свои заседания в Английском клубе и у почтенных пожилых дам первых трех классов. Чинопочитание соблюдается между ними с такою точно строгостью, как в хорошем полку, под ружьем. Политика, война, внутреннее устройство государства, определение к местам, судопроизводство, а особенно награждения чинами и пожалование орденами, все подвержено суждению сего крикливого ареопага. В сем первом разряде даются балы, обеды, ужины и вечера для проезжающих чрез Москву важных лиц, первоклассных местных чиновников и лучшего дворянства. *Во-вторых:* чиновники, занимающиеся действительно службой в московских присутственных местах, которые отличаются тем только от чиновников петербургских и других городов, что живут роскошнее, имеют более влияния на дела и не занимаются другими посторонними предметами, как, например, литературою и науками, так, как некоторые молодые чиновники в Петербурге. *В-третьих:* чиновники, не служащие в службе, или матушкины сынки, то есть: задняя шеренга фаланги, покровительствуемой слепюю фортуной. Из этих счастливых большая часть не умеет прочесть Псалтыри, напечатанной славянскими буквами, хотя все они причислены в почет русских антиквариетов. Их называют архивным юношеством. Это наши петиметры, фашьонебли, женихи всех невест, влюбленные во всех женщин, у которых только нос не на затылке и которые умеют произнести: *оні и поп*. Они-то дают тон московской молодежи на гульбищах, в театре и гостиницах. Этот разряд также доставляет Москве философов последнего покроя, у которых всего полно чрез край, кроме здравого смысла; низателей рифм и отчаянных судей словесности и наук. *В-четвертых,* огромное стадо всякого рода отставных чиновников, принадлежащих к старым фамилиям и дослужившихся до известных чинов, из которых кто проживает свое имение на досуге, кто без большого труда наживает картами и всякими изворотами, а кто просто живет, от дня до дня, на счет московского гостеприимства. *В-пятых,* помещики замосковных губерний, приезжающие в Москву, по зимнему пути, съедать деревенский запас и любоваться танцами своих дочек на балах Дворянского собрания или на званых вечеринках, пока какой-нибудь жених, прельстясь приданым (о котором словоохот-

ные тетушки умеют весьма искусно разглашать во всех закоулках Москвы), не потребует прелестной руки, не знавшей от детства никакой работы. *В-шестых*, приезжие из столицы и из армии искать богатых невест, которыми Москва славится издревле. Эти господа начинают обыкновенно свысока, а кончат на воспитанницах или купеческих дочках, которыми расчет гораздо вернее. Вот главные части нашего московского общества, которые, невзирая на свою разнородность, составляют одно целое, похожее на вечный маскарад или венецианский карнавал. Мне не к чему теперь рассказывать тебе все хорошее и дурное в этой смеси. Ты это сам увидишь со временем. Скажу только, что, верно, нигде нет столько добрых людей, невзирая на их странности, как в Москве. Главная черта Москвы — гостеприимство, или страсть кормить и поить встречного и поперечного. Любезный Выжигин! если б наша планета подверглась, по какому-нибудь несчастному случаю, десятилетнему неурожаю и съестные припасы продавались на вес золота, то и в то время никто не был бы голоден в Москве, кроме барских слуг, которых, впрочем, и при общем довольстве не слишком откармливают, вероятно, для легкости в услужении. Хотя я не статистик, но могу ручаться, что в одной Москве съедают и выпивают более в один год, нежели в целой Италии в два года. Напоить и накормить более, нежели досыта, почитается в Москве первым условием хорошего приема. Напиться и наесться до самого нельзя есть род наслаждения, в котором не отказывают себе даже люди образованные. Но я слишком заболтался о любезной нашей Москве и отступил от рассказа моих похождений.

Получив 25 000 рублей, я поступил с ними точно так же, как со всеми деньгами, которые переходили чрез мои руки, то есть: смотрел только на начало моего капитала и не хотел взглянуть на противоположный конец, чтоб не огорчаться впредь его уменьшением. Я нанял хорошую квартиру и экипаж в четыре лошади. Завел изрядного повара, назначил у себя один день в неделю, в который собирались у меня знакомые и приятели к обеду и на вечер, и пустился с визитами по Москве. Жена моя составила себе большую партию между мужчинами, а я — между женщинами. Первые находили мою жену *удивительно* прелестною, вторые называли меня *ужасно* любезным, и мы, скоро познакомившись с лучшими домами в Москве, стали жить, как следует людям *порядочным*, то есть кормить и поить других, пресыщаться сами на чужих обедах и ужинах, танцевать везде, где только

желали этого, наряжаться, играть в карты в большую игру, а вслед за этим делать долги, не платить, и прочее, и прочее!

Всякий капитал в руках мота имеет два конца. На одном конце цепляются наслаждения и прихоти, на другом, если не поместится раскаяние, то пристают заблуждения, которые доводят часто до преступлений. Я опомнился при последней сторублевой ассигнации и пробудился из усыпления от пронзительного крика моих заимодавцев. К разорившемуся человеку, как к труп, приползает всегда множество нравственных пресмыкающихся и гадов, чтоб вовсе уничтожить его нравственное существование. Ко мне явилось множество ложных игроков, ростовщиков и всякого рода промышленников, чтоб увлечь меня на стезю порока. Они предлагали сделать из моего дома игорный вертеп, надеясь, что я привлеку к себе богатых людей из высшего круга общества, а жена моя, красавица, будет вознаграждать проигравшихся нежными взглядами. Другие хотели, чтоб я позволил, за известные проценты, употреблять мое имя в бездельнических оборотах и т. п. Сознаю, я часто преступал правила строгой нравственности, из легкомыслия и страсти к издержкам, но никогда не унижал себя обманами и нарушением законов чести. Я прогнал всех моих соблазнительей и решился — я ни на что не решился, только отказавшись от собраний в моем доме и вымолив у извозчика карету в долг, пустился разъезжать по Москве более прежнего, в надежде наткнуться на счастье. Заимодавцев моих я упросил подождать, обещая уплатить им долги, как скоро поправлюсь в состоянии. Они, видя, что с меня взять нечего, согласились. По счастью, между ними не нашлось ни одного такого, который бы в утешение себе за потерянные деньги захотел посадить меня в тюрьму, с тем чтоб иметь удовольствие кормить на свой счет.

Хотя разорение мое не наделало большого шума, но в Москве ничто не утаится, и вскоре весть эта обошла шепотом целую столицу. Я уже сказал, что в Москве более добрых, или, по крайней мере, снисходительных людей, нежели в другом месте. Поговорили, потолковали, покритиковали, побранили за глаза и замолчали.

Одна из пожилых богатых дам, которая находила меня ужасно милым, предложила мне свою дружбу и помощь; а муж ее, считавший жену мою удивительно прелестною, невзирая на свою старость и подагру, имел весьма нежное сердце и не мог хладнокровно переносить, чтоб прекрасная Петронелла нуждалась в нарядах. Мы подружались, составили одно семей-

ство, самое согласное, и опять зажили припеваючи. Жена моя стала наряжаться богаче, нежели прежде, а я принялся угощать приятелей чаще и лучше прежнего, играть в большую игру и делать новые долги гораздо смелее, уплатив старые.

Родственникам графа и графини Цитериных весьма не нравилась наша тесная дружба. Они, чтоб развлечь и рассеять старика и старуху, упросили докторов присоветовать им ехать к минеральным водам за границу, обоим вместе и к одному целебному источнику, думая, что я и жена моя, из приличий, останемся в Москве. Но где страсть или нужда, там не действуют светские приличия. Старик и старуха согласились ехать к минеральным водам из любви к жизни, но предложили нам ехать вместе с ними. Мы с удовольствием приняли это предложение. Чтoб избавиться от докучливой дружбы графининой в пути и за границу, я притворился больным, а между тем, охая и прихрамывая дома, пел и прыгал в других местах. В Карлсбаде мы провели время довольно весело. Общество на водах состояло: из увялых кокеток, ищущих на водах погибшей свежести; из игроков; из министров и вельмож разных дворов, лишившихся мест своих и силы, которых в начале немилости обыкновенно погружают в минеральную воду, как в Лету, чтоб у них испарилась память прежнего могущества; из молодых жен-красавиц, которые, из любви к добродетели, ищут рассеяния от печальной супружеской верности, *далеко* от своего отечества; из молодых и старых ветренников, ищущих приключений по белу свету; наконец, из множества слабонервных, исчахших больных обоего пола, которые, по принятому правилу, почитали лекарством на водах рассеяние и наслаждение, и потому все, здоровые и больные, старались делать как можно более глупостей, приносящих пользу докторам, трактирщикам, игрокам и нимфам.

Я попал в свою сферу и, скучая в обществе моих друзей, графа и графини, щедро познаграждал себя вне дома, за претерпенную скуку. Жена моя, с которой мы, между прочим, жили душа в душу, искала рассеяния своим чередом, и между нами не было ни ревности, ни расстройства. Но, любезный Выжигин, легкомыслие и распутная жизнь рано или поздно вовлекают в бездну. Выслушай и удостоверься!

Между прекрасными посетительницами Карлсбада мне более всех нравилась графиня Сенсibili, приехавшая из Вены, с двумя малыми детьми, пользоваться от ипохондрии целебными водами. Муж ее, благородный итальянец, занимал важную должность в австрийских итальянских владениях и не мог

ей сопутствовать. Какая-то томность разлита была на прелестных чертах графини; глубокая чувствительность выражалась в ее взорах и сообщалась сердцу тех, на которых она устремляла большие черные свои глаза. Видев ее несколько раз в доме одной старой австрийской баронессы, я снискал благорасположение графини и получил позволение навещать ее. Я почитал ее италянкою, но, вообрази мое удивление, когда я узнал, что она русская княжна, хотя не знала ни одного слова по-русски. Воспитанная в Петербурге француженкою, она, в доме родителей своих, природных русских, никогда не слыхала отечественного языка. В этом доме предпочтительно были принимаемы иностранцы, и молодая княжна от детства привыкла слышать, что русские варвары, не способны ни к чему, как только к платежу оброка и мелочной торговле, а что одни только чужеземцы *люди*, с которых русские должны брать пример, как жить в свете. Княжне натолковали, что русский язык может быть употребляем только между черным народом и что он так груб, что благовоспитанная дама может получить боль в горле от произношения остроконачных русских слов. Гувернантка княжны клялась, что она целую неделю страдала зубною болью и опухолью языка от того, что силилась произнести слово: *пощечина*, невзирая на то, что это так легко производить в действо над русскими служанками. Несчастная княжна (говорю несчастная, потому что почитаю таковыми тех, которые не знают и не любят своего отечества) чрезвычайно была рада, когда мать ее, по смерти своего мужа, выехала из России и, проехав вдоль и поперек Европу, поселилась во Флоренции. Старуха вышла там замуж за одного молодого французского мещанина, которому купили за деньги графское достоинство, там, где оно продается. На пятнадцатом году княжну Маланью отдали также замуж за графа Сенсibili, и вскоре наша одноземка, приняв все италийские обычаи, позабыла даже о существовании России. Прошло десять лет от ее брака, и она почувствовала ипохондрию, также, кажется, от избытка супружеского счастья: поехала рассеяться в Вену, а оттуда в Карлсбад, где я оказал ей величайшую услугу, удостоверив ее, что русские могут любить так же нежно, сильно и пламенно, как итальянцы и французы, и тем примирил ее с отечеством. Она даже стала учиться по-русски и нашла, что слово *люблю* чрезвычайно нежно и приятно для слуха.

Графиня Сенсibili должна была ехать в Венецию, к мужу. Я упросил графиню и графа Цитериных отправиться

на зиму туда же. В этом городе я проводил время чрезвычайно приятно, посещая ежедневно милую графиню Сенсibili, под именем учителя русского языка. Я не хотел быть вхож в дом ее под своим именем, ибо тогда мне надлежало бы познакомить графа Сенсibili с нашим кадрилиным семейством и ввести туда графиню, что могло бы сбить с такту наш дружеский кадрили. Мы видывались с графинею Сенсibili также в доме одной старой ее приятельницы и на всех городских увеселениях, которых в Венеции множество. Скажу тебе несколько слов об этом городе.

Гордая, некогда, Венеция, выветрев от политики и происков аристократии, потеряв силу и богатство, не лишилась страсти своей к забавам: напротив того, сделалась средоточием рассеяния и наслаждений. В Париже и Лондоне человек отвлекается от чувственных наслаждений политикою, науками, изящными художествами и умными беседами. В Венеции, исключая музыки, располагающей душу к нежным ощущениям, не знают других удовольствий, кроме волокитства и любовных интриг. Любовь — атмосфера Венеции, и чужеземцы приезжают туда из далеких стран подышать воздухом этого нового Пафоса. Нигде женщины не пользуются такою вольностью, как в Венеции. Под легкими покрывами они смело входят в кофейные дома, в казино и толпятся в народе на площади Св. Марка, в саду монастыря Св. Георгия или на Новой набережной. Женщин сопровождают не мужья, а кавалеры-прислужники (*cavalier-servente*), которые отправляют ту же должность при венецианских дамах, как расторопные адъютанты при молодых женах старых генералов, то есть кавалер-прислужник должен неотступно быть при своей даме с утра до вечера, если ей не вздумается взять другого спутника, на некоторое время. Ты знаешь, что Венеция построена на отмелях, в море, и что там вместо улиц каналы, а вместо экипажей крытые лодки, или гондолы. Эти-то гондолы суть плавающие храмы любви и гробы супружеской верности. Прославленная ревностью итальянцев сгорает при свистильнике Гименея и превращается в дым и пар, из которых тогда только образуется гроза, когда поведение жены угрожает расстройством мужнину карману. В Венеции не имеют понятия о гостеприимстве. Там все жители проводят время вместе только в казино, кофейных домах, на площади или в театре; потчевают друг друга только мороженым, шоколадом и весьма редко обедами; а в дома посылают визитные карточки. Вообще итальянцы не созданы ни для тихой беседы, ни для скромной семейной жизни. Величайшим благом в жизни почитают они — ничего

не делать (far niente), и самое наслаждение и прогулка называется у них работою. Не нужно тебе сказывать, что нет правила без исключения.

Я жил в Венеции как в раю, около года, как однажды...

Вдруг послышался голос Арсалан-султана, который звал меня к себе, и Миловидин должен был прекратить свое повествование.

ГЛАВА XVII

**РЕШЕНИЕ СТАРЕЙШИН КИРГИЗСКИХ
ОТНОСИТЕЛЬНО МОЕГО ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ.
ПРОДОЛЖЕНИЕ РАССКАЗА МИЛОВИДИНА.
ДУЭЛЬ. БЕГСТВО. ЖИД-РЕНЕГАТ.
ПРИБЫТИЕ В КОНСТАНТИНОПОЛЬ.
ЧТО ТАКОЕ ПЕРА?
ИЗМЕНА. РАБСТВО. ОСВОБОЖДЕНИЕ**

— Любезный Иван! — сказал мне Арсалан-султан. — Мы в совете старейшин решили твою участь. Я знаю, что ты томишься грустью по отечестве и если останешься между нами, то только из любви ко мне. Поезжай с Богом, Иван! Вот что постановлено нами, в рассуждении тебя.

Арсалан вынул из-за пазухи лоскуток бумаги, который был завернут в несколько платков, как величайшая редкость, и прочел следующее:

«1) Пленник непобедимого, вольного и знаменитого Киргизского народа, Иван Выжигин, освобождается за оказанные им великие услуги превосходному племени Баганалы-Кипчакскому и за спасение драгоценной жизни Арсалан-султана.

2) Вольный Иван Выжигин объявлен сыном благородного и лучшего поколения Баганалы-Кипчакского. Когда б он, Иван Выжигин, прозрев очами мудрости, вздумал возвратиться в благословенную и лучшую под солнцем страну, степь Киргизскую, тогда каждый отец семейства должен принять его в своей юрте как родного сына, каждый воин Киргизский, как своего брата, а каждая девица Киргизская, как жениха или мужа, по воле Ивана Выжигина.

3) Целое превосходное племя Баганалы-Кипчакское обязано кормить, одевать Ивана Выжигина и отапливать его юрту, пока он не будет иметь взрослых детей или сам добровольно не откажется от предоставленного ему права.

4) Всю добычу Ивана Выжигина, равно как лошадей его и верблюдов, старшины берутся продать при первом случае в Оренбурге или в пограничных Русских укреплениях и

деньги отослать к нему, куда он прикажет. Между тем на дорогу собраны ему тысяча червонных и дано двенадцать кип лучших товаров, которые и отдадутся ему немедленно.

5) Иван Выжигин имеет право вывезть с собою из степи своих Русских невольников и получает проводников и военное прикрытие до самой границы.

— Доволен ли ты нашим постановлением? — сказал Арсалан. Вместо ответа я бросился ему на шею и залился слезами. При одном воспоминании об отечестве, о России, все мое тщеславие исчезло как дым, и я решился немедленно отправиться.

— Когда же ты хочешь нас оставить? — спросил Арсалан.

— Завтра же, — отвечал я, потупив глаза, как будто стыдясь своей неблагодарности.

— Итак, я займусь приготовлением всего нужного к твоему отъезду, — сказал Арсалан и тотчас подозвал к себе несколько старшин. Чтоб не мешать им советоваться, я удалился в свою юрту.

Когда я объявил Миловидину, что мы завтра же отправляемся в Россию, то он едва не лишился ума от радости: он плакал, смеялся, прыгал, пел и, наконец, успокоившись, поблагодарил Бога со слезами за свое избавление и называл меня своим благодетелем.

— Выжигин! — сказал Миловидин, прижимая меня к груди своей. — Ты возвратил мне отечество и свободу; но это сердце всегда будет твоею собственностью. Я твой навеки!..

Отставной солдат не менее обрадовался, что избавится от нехристей, и просил меня, чтоб я оставил его у себя в услужении, потому что у него на святой Руси нет ни кола ни двора.

Позавтракав жаренною на углях бараниною и запив брагою, я просил Миловидина кончить свой рассказ.

— Однажды, — продолжал Миловидин, — когда я вышел из дому в сопровождении служителя, чтоб прогуляться в гондоле по взморью, мальчик отдал мне записку и скрылся. Я думал, что это любовное письмо, и спешил прочесть. Но на этот раз обманулся в своей надежде. Записка писана была по-русски и заключала в себе следующее: «Если в тебе сохранилась хоть капля русской дворянской крови и если честь твоя не совершенно померкла на попрание разврата, то явись завтра в 12 часов утра на твердой земле; в трактир Солнца, на берегу Бренты, с парю пистолетов, не объявляя никому о сем в доме. Ты уз-

наешь меня на месте, где один из нас должен погибнуть».

Не постигая, от кого мог быть этот вызов, я, однако ж, решил явиться в назначенный час и пошел тотчас к одному приятелю моему, англичанину, просить его в секунданты. Переехав в гондоле на площадь Св. Марка, я вошел в кофейный дом, под аркады, надеясь там найти моего приятеля, и у дверей получил другое письмо на французском языке, следующего содержания: «Один из нас должен погибнуть, чтоб другой был счастлив. Завтра в 3 часа пополудни ожидаю вас со шпагою, на твердой земле, в трактире Сирена, на берегу Бренты. Мы люди знакомые, и я не имею нужды подписывать своего имени, потому что при свидании вы узнаете, с кем имеете дело».

Две дуэли в один день, не шутка! Невзирая на то, что умею владеть шпагою и что я почитался в полку одним из искуснейших стрелков, я не мог, однако ж, преодолеть в себе смущения, получив вдруг два вызова. Как ни рассуждай, а весьма неприятно быть убитым или убийцею! Я догадывался, что волокитство мое вовлекло меня в это неприятное положение, но никак не мог проникнуть, какой случай вооружил против меня неизвестного мне земляка. Англичанин не только согласился быть секундантом, но и обрадовался, что будет свидетелем двух смертоубийств. Он признался мне, что национальная болезнь, сплин, уже начала мучить его и что он для того только предпринял путешествие по Европе, чтоб иметь более случаев познакомиться со смертью и возненавидеть жизнь.

Я провел целый день с англичанином. Он старался утопить в вине свой сплин, а я хотел залить мое горе. Мы возвратились домой очень поздно. На другое утро я побежал с оружием к англичанину, и мы отправились тотчас на место свидания, чтоб иметь время позавтракать перед смертью.

Около 12 часов утра мы вышли на большую дорогу, ожидая нашего противника. Один итальянец, приятной наружности, подошел к нам и спросил, который из нас называется Миловидиным. После того он предложил нам прогуляться в парке, где ожидал меня противник. В конце рощи нашел я моего земляка, который прохаживался скорыми шагами, по небольшому лугу. Я подошел к нему и, приподняв шляпу, сказал:

— Милостивый государы! я не имею чести знать вас, и следовательно, не мог вас обидеть умышленно. Мне кажется, что было бы весьма благоразумно, если б мы прежде объяснились.

— Это вовсе не нужно,— отвечал мне земляк.— Обида, нанесенная мне вами, такого рода, что ее ничем нельзя загладить. До моего имени вам также нет нужды. Довольно того, что я русский дворянин, офицер и прибыл сюда нарочно для того только, чтоб драться с вами. Извольте становиться на позицию и стреляйте. Но помните, если вы захотите играть роль великодушного, то будете самоубийцею. Условие дуэли такое: секунданты наши должны отмерить пятнадцать шагов и мы по данному знаку вольны или тотчас стрелять в одно время с черты, или один из нас, дав выстрелить противнику, может подойти на один шаг и выстрелить в него, приставив пистолет ко лбу.

— Это не дуэль, а убийство! — воскликнул я.

— Что, неужели ты уже струсил, развратник! — сказал мой противник грозно.— Но если ты думаешь избегнуть наказания трусостью, то я тебе тотчас раздроблю голову! — Он, как бешеный, бросился на меня с пистолетом, и если бы англичанин не успел схватить его за руку, то он, верно бы, в меня выстрелил. Кровь во мне закипела.

— Я покажу мою трусость! — воскликнул я и тотчас стал на черте.

Подали знак, я прицелился, спустил курок и — противник мой упал, облившись кровью, не успев выстрелить. Я бросился, чтоб помочь ему, узнать его имя и причину его ненависти ко мне. Но он грозно возопил, чтоб я удалился и не осквернял своим присутствием последних минут его жизни. Секундант его не хотел также отвечать на мои вопросы и просил нас удалиться. Мы с англичанином возвратились в трактир, изумленные сим непонятным происшествием, и решились дожидаться срока другой дуэли, не возвращаясь в город.

Около условленного времени мы поехали к другому трактиру, где нашли также секунданта. Он ввел меня в комнату, где, к величайшему моему удивлению, застал я графа Сенсibili.

— Ваши уроки русского языка,— сказал он, обращаясь ко мне,— произвели такое действие над моею женой, что она вознамерилась, взяв свою часть имения и детей наших, отправиться в Россию. Итак, я решился, г. профессор, дать вам урок другого рода. Я мог бы вооружить против вас наемных убийц, как то делают другие наши мужья; но, быв в военной службе, я имею другие правила и хочу доставить себе удовольствие лично отмстить вам за нанесенную мне обиду. Я все знаю!

— Об обиде ни слова,— отвечал я,— но если вы предпо-

лагаете, что я научил жену вашу оставить вас и отправиться в Россию, то клянусь вам, что вы ошибаетесь и что я в первый раз об этом от вас слышу.

— Полноте, сударь, полноте,— отвечал граф, — не украшайте ложью двойной своей измены; жене вашей — и... но я прибыл сюда не для объяснений. Пойдемте в сад.

Нельзя было отказываться, и я должен был драться на шпагах с несчастным мужем. Сначала я старался только защищаться и нанести моему противнику легкую рану, чтоб прекратить бой; но граф так сильно напирал на меня и с таким жаром стремился лишить меня жизни, что я сам разгорячился и в свою очередь стал нападать на моего противника. В отчаянии он хотел ухватиться за шпагу мою и бросился на меня с размаху. Но острие моей шпаги вонзилось в грудь его, и он упал без чувств на землю.

Мы с англичанином перенесли раненого в трактир, послали за доктором и, оставив графа на попечении его секунданта, поспешили в город. Приехав домой, я встретил жену мою, которая мне объявила, что граф и графиня Цитерины заперлись в своих комнатах и находятся в величайшей горести; что граф отказался даже видеть прелестную Петронеллу, а графиня не велела пускать меня к себе и просила перебраться на другую квартиру. Жена моя узнала от камердинера, что сын графа, бывший ротмистром в гусарском полку, которого мы прежде вовсе не знали, тайно приехал в Венецию, смертельно ранен на поединке и на одре смерти написал к родителям такое письмо, от которого графине приключились три обморока, истерика и нервный пароксизм, а граф почувствовал усиленный припадок подагры и род паралича. Я догадался тотчас, что мой непримиримый земляк был сын графа Цитерина, но скрыл это перед моею женой. Чрез полчаса я получил письмо от графини Сенсibili, в котором она упрекала меня в смерти отца ее детей, называла извергом, убийцею и запрещала являться на глаза. В отчаянии побегал я к приятелю моему, англичанину, и там узнал, что правительство ищет убийцу графа Сенсibili и приезжего иноземца и что если к вечеру я не уберусь за границу, то буду арестован и заключен в тюрьму. Я возвратился домой, собрал все наличные мои деньги и драгоценные вещи, написал к жене письмо, в котором уведомил ее обо всем случившемся, и советовал возвратиться в дом отца и ждать меня. После того я нанял гондолу и поехал на рейд. Один генуэзский корабль поднимал якорь, чтоб, воспользовавшись благополучным ветром, отплыть в Константинополь. Капитан, ко-

торого я накануне потчевал в кофейном доме, согласился взять меня с собою, не спрашивая о паспорте. В 9 часов вечера я уже был в открытом море. Слезы полились у меня из глаз при мысли о моей несчастной жене, которой я не переставал любить и которую своим легкомыслием и, сказать правду, беспутством увлек в пропасть! Но делать было нечего, и я, скрепя сердце, решился твердо перенести мое несчастье. Раскаяние терзало меня, и я поклялся исправиться.

В числе пассажиров находился один турок. Он говорил очень хорошо по-французски и по-итальянски и, видя мою задумчивость, старался развлекать меня разговорами. Он был лет пятидесяти, много путешествовал по Европе и Азии, был в Египте и приобрел большие сведения чтением и наблюдением. Он признался мне, что он гамбургский жид, учился медицине в Лейдене и на тридцатом году от рождения, прибыв в Константинополь, решился принять магометанскую веру, из убеждения, а не из каких-либо видов. Не имея привычки спорить о религии, я не входил в расспросы по сему предмету; но, приметив, что он начинает чаще заводить разговор о вере, выхваляя исламизм, я объявил ему решительно, чтобы он никогда не говорил со мною об этом предмете, если желает пользоваться моею беседою. Ренегат исполнил мою волю и ограничился только похвалою турецкого правительства, что я слушал терпеливо для того только, чтоб знакомиться с правами и обычаями турок. Более всего он превозносил честность поклонников Магомета, их твердость в слове и утверждал, что исламизм излечил его самого от врожденных привычек израильтян, которые, по его мнению, поныне не перестали поклоняться золотому тельцу, переделанному в червонцы.

Плавание наше было благополучно, и мы вскоре прибыли в Константинопольскую гавань. Я переехал в Перу, к одному итальянцу, который содержал род постоянного двора. Разбирая мой чемодан, я чуть не упал в обморок, не найдя в нем ни денег, ни драгоценных вещей. В отчаяние я побежал к корабельному капитану и объявил ему о покраже. Он ручался за свой экипаж, но не отвечал за пассажиров.

— Если б вы отдали деньги и вещи на сохранение мне, то, верно, с вами не случилось бы этого несчастья, — сказал он. — Теперь пеняйте на себя. Я сам человек небогатый и не могу вам помочь многим. Но вот десять червонных: вы мне отдадите, когда будете в состоянии.

С грустью в сердце возвращался я на постоянный двор и

на пути встретил знакомого моего, ренегата, которому рассказал мое несчастье.

— Магомет повелевает помогать в бедствии, не только единоверцам, но и всем добрым людям,— сказал он.— Почитаю вас таковым и предлагаю вам в моем доме квартиру и стол, без всякого вознаграждения. Впрочем, если вы когда-либо будете в состоянии заплатить мне, тогда я не откажусь от платы. А теперь об этом не должно и говорить. Возьмите свои вещи из трактира; я вас провожу в дом мой.

Я не знал, как благодарить ренегата за его великодушное предложение, и немедленно оным воспользовался.

Порта была тогда в войне с Россиею, и потому в Константинополе не было нашего посланника. Я никому не говорил, что я русский, и сказался славянином из Бока-ди-Катаро. В кофейных домах в Пере я познакомился с несколькими из Христианских жителей Константинополя, что доставляло мне некоторое рассеяние и даже пропитание. В доме ренегата я почти не видал людей; он редко говорил со мною, быв беспрестанно занят какими-то делами. Мне приносили кушанье в мою каморку; но хлеб подавания был не только горький, но и слишком легковесный. Мне на день отпускали столько пилаву, сколько надобно было по расчету медицины, чтоб я не умер с голоду, и если б я не имел помощи от греков, то, верно бы, получил чахотку от истощения.

Жизнь в Константинополе вряд ли может понравиться человеку образованному и чувствительному. Европейцы почти не имеют непосредственных сношений с турками, которые, в гордости своей и невежестве, презирают всех христиан и тогда только удостоивают их принятием в свое общество, когда предчувствуют какую-нибудь выгоду от сего знакомства. К тому ж образ жизни турок удаляет их от европейцев. Магометанин, если не занят какою-нибудь государственною службой, то проводит большую часть жизни в своем гареме и не знает другого наслаждения, как курить трубку и пить кофе в кофейном доме, смотря на конец своего носа и слушая вздо-ры трактирных болтунов или рассказчиков, составляющих особый класс. Турки весьма скупы на слова и тогда только многоречивы, когда бранят франков, то есть европейцев и всех гияуров, особенно раев, или христианских подданных Порты. Иногда и сам султан подвергается брани мусульман, особенно если он предпринимает какие-либо нововведения, которые всегда почитаются нарушением ислама. В кофейных домах, под воротами сераля также смело бранят султана, могущего по произволу рубить головы кому заблагорассудится,

как у нас в Европе, в так называемых оппозиционных журналах бранят министров. Впрочем, единообразная жизнь турок и их невежество не может доставить европейцу удовольствия в их обществе, и если иногда путешественники ищут знакомства с турками, то это из одного только любопытства, для наполнения своих путевых записок полуложными известиями.

Все дела в Константинополе, политические и торговые, исправляют пероты, или жители предместья, называемого Пера, составляющего не только отдельный город, но и отдельное царство, отдельный народ! Здесь живут потомки европейцев: итальянцев (большею частью венециан), илирийцев и других южных славян, армян, католиков, малого числа французов и еще меньшего англичан и немцев. Пероты могут гордиться тем, что предки их были равного достоинства с первыми основателями Рима, во время Ромула, с тою разницею, что первые основатели Рима снискивали пропитание силою оружия и явно грабили на больших дорогах, а предки перотов делали то же украдкою. Пероты имеют и то преимущество пред римлянами, что они не переменяли обычаев своих предков. Беспечность турецкой полиции в отношении к европейцам привлекла в Константинополь рыцарей промышленности и банкротов всех наций, которые стали селиться в Пера, под защитою знамени Магометова. Язык перотов есть итальянский, всех наречий Италии, с примесью турецких, греческих и славянских слов, с особенным произношением. Невежество их во всем, что касается до наук и художеств, равняется турецкому, но хитрость заменяет все качества, а познание многих языков составляет всю их мудрость. Дети, едва начиная лепетать, уже приучаются говорить по-турецки, по-гречески, по-французски и по-итальянски. Это языкознание ведет перотов к богатству и почестям, предавая в их руки все дипломатические дела Порты, ибо из них избираются драгомань, или толмачи, при европейских миссиях. Можно легко догадаться, с какою верностью служат они европейцам, когда удостоверятся, что перот ничего в мире не знает превосходнее своей грязной Перы, ничего величественнее турка, ничего мудрее и могущественнее султана и ничего хуже всех народов и всех людей, которые не исповедывают римско-католической веры или не имеют чести быть мусульманами. Честолюбие перота не простирается далее места драгомана, а единственная цель жизни — накопление денег. Они также принимают на себя звание европейских торговых консулов и маклеров, а разбогатевшие, с грехом пополам, делаются банкирами. Пероты ненавидят гре-

ков и вредят им, где только могут, опасаясь влияния их на дела общественные. За то и греки платят им тем же. Греки оттого только не любят римских католиков, что их вера есть вера перотов. Между греками назвать кого перотом значит то же, что у нас назвать в укоризну иезуитом. Европейские путешественники и чиновники разных посольств более всего обращаются с перотами, потому, что образ их жизни более похож на европейский и что с ними можно сообщаться без познания восточных языков. Женщины играют главную роль в обществе перотов. Все их упражнение состоит в том, чтоб летом сидеть целый день на софе, а зимою при тандуре. Этот тандур есть род четвероугольного низкого стола, покрытого ватованным одеялом, а сверху зеленым сукном. Под столом находится жаровня с раскаленными угольями, которая сообщает теплоту честной компании, помещающейся на малых софах вокруг тандура, спрятав ноги под стол и покрывшись до половины тела одеялом. Печей и каминов, как тебе может быть известно, нет в Константинополе. При сих тандурах играют в карты, рассказывают сплетни, восхваляют султана, когда он рубит головы и берет в казну имение своих подданных, не имеющих чести быть перотами, и заводят любовные интриги, передавая под одеялами записочки. Перотские женщины знамениты своею склонностью к любовным похождениям и по большей части помогают своим мужьям, братьям и отцам к возвышению, к обогащению и открытию политических тайнств. По недостатку образованного европейского общества, послы иностранные приглашают пероток на свои балы, для танцев, и они-то составляют константинопольский большой свет, смотря по достатку и связям.

Меня ввел один грек в общество перотов, но как я не имел денег и не хотел более испытывать счастья в любви, то был принимаем сухо; мне самому не весьма нравилось в сих беседах, где я не находил пищи ни для ума, ни для сердца. Между греками я нашел более искренности, более ума и более обходительности, нежели между перотами. Гречанки почти все красавицы, когда, напротив того, между перотками красота есть редкость. Жены и дочери греческих бояр, или потомков древних греческих фамилий, отличаются умом и любезностью; но они не появляются в европейских обществах, потому что перотки стараются удалять их всеми средствами. Армяне занимаются только торговлею, променом и переводом денег, водятся между собою и живут по своему обычаю. Жидаы, как повсюду, ветошники, брадобреи, мелкие продавцы, рассыльщики и плуты, исключая нескольких бога-

тых ювелиров, которые отличаются тем, что обманывают *en grand, оптом*. Полиция турецкая весьма строго наблюдает за всем, что касается до торговли и городского порядка, имеющих влияние на спокойствие и потребности жизни мусульманина. На дела и поступки франков она не обращает ни малейшего внимания, пока не принесется жалоба на плутовство или на убийство. Но и тогда она позволяет откупаться деньгами. Оттого в целом мире нет такого раздолья для плутов, как в Константинополе. Это их отечество, и удивительнее всего, что, кроме чиновников европейских посольств и путешественников, самые честные люди в Константинополе суть неверные, то есть турки.

Я провел в Константинополе четыре месяца весьма скучно, не зная, на что решиться, как вдруг пронесся слух, что в некоторых частях города показывается чума. Зная, что бедному человеку, и притом христианину, трудно взять предосторожности от заразы, и не желая быть жертвою её, я намеревался отправиться из Константинополя на острова архипелага или в Россию. Один приятель мой уверял меня, что я, как сын восточной церкви, буду хорошо принят на островах, где следуют греческому исповеданию, но не советовал мне искать прибежища у греков римско-католиков. Я объявил моему хозяину о сем намерении. Но он сильно воспротивился этому.

— Ты не знаешь греков,— сказал он мне.— Выгода есть одно их божество, которому они постоянно поклоняются, а раздоры и несогласия одни только их знания в жизни. Без денег ты будешь принят как нищий, хотя б ты одарен был всеми талантами в свете. Послушай меня: я давно уже пекусь о твоём жребии и наконец нашел для тебя местечко. Здесь находится персидский купец, один из первых богатей на Востоке. Он имеет нужду в европейском приказчике, для своей торговли. Отбрось на время свое дворянство и послужи у купца. Через пять или шесть лет ты будешь сам миллионщиком, возвратишься в отечество, снова прикроешься своею дворянскою мантиею и заживешь по обычаю вашей касты, переливая целый век из пустого в порожнее.

Подумав несколько, я согласился на предложение ренегата, и на другой день мы условились идти к персиянину.

Персиянин говорил немного по-русски и бывал несколько раз в Москве и в Петербурге.

— Мне нужен человек, знающий французский и итальянский языки,— сказал персиянин,— но тем лучше, что ты, сверх того, знаешь еще по-русски. Завтра будь готов к отъез-

ду с моим караваном. Если ты будешь хорошо вести себя, то тебе будет у меня хорошо.

Я хотел узнать, на каких условиях купец принимает меня к себе в службу. Но ренегат запретил мне это, уверяя, что я испорчу все дело видом корыстолюбия.

— Во всех не образованных по-европейски странах, — примолвил он по-французски, — купцы не платят известного годового жалованья своим приказчикам, но делят с ними барыши. Ты не должен показываться сребролюбивым; напротив, должен радеть только о выгодах своего хозяина, будто не помышляя о своих. Тогда купец примет тебя в долю и ты сделаешься его товарищем. Но пока он тебя узнает и полюбит, ты должен обходиться с ним раболепно, как водится на Востоке между господами и слугами. Решайся, любезный друг, на малые неприятности для обеспечения твоего состояния на всю жизнь. Ты сам сказал мне, что у тебя нет состояния в твоём отечестве и что ты даже не имеешь никакой надежды приобрести там богатство. Нельзя же всегда жить на чужой счет и лучше всего быть самому себе обязанным своим достатком.

Слова ренегата: нельзя жить на чужой счет — заставили меня на все решиться. В тот же вечер я перешел в караван-сарай к персиянину и на другой день отправился с ним в путь.

Я не буду тебе описывать ни городов, ни стран, чрез которые мы прошли, ни обычаев разных племен азиатских, которых я видал на пути; это заняло бы много времени. Опишу тебе все виденное в нескольких словах. Невежество, жестокость, грубость нравов составляют главнейшие свойства сих народов, с тою разницею, что в азиатских городах, где торговля процветает, негра и малодушие заменяют в жителях любовь к познаниям, художествам и утонченной роскоши и что кочующие азиатские племена, напротив того, отличаются дикою храбростью и хищничеством. Любезный друг! между европейцами есть люди, которые вопиют противу просвещения. Пусть они взглянут на Малую Азию и сравнят состояние, в котором она была под владычеством мудрых халифов, любителей и покровителей просвещения, с нынешним ее положением. Невежество унижает человечество до состояния бессмысленного животного, и самый опасный род зверей на земном шаре есть полупросвещенный народ, который, отступив от первой дикости, разбирает одни только буквы в *великой книге просвещения* и берет слова за вещи, а вещи за слова. Только одни порочные себялюбцы могут желать невежества, чтоб, пользуясь мраком, обманывать в промене своих поддельных

товаров и фальшивой монеты. Но, любезный друг, я не могу лучше изобразить тебе пользы просвещения, как рассказав анекдот, который остался у меня в памяти от детства.

— С каким намерением заводишь ты академию, школы, распространяешь науки? — сказал визирь Муссафер халифу Аарону-Аль-Рашиду. — Не думаешь ли ты, государь, что просвещенный народ будет лучше повиноваться тебе?

— Без сомнения, — отвечал халиф, — просвещенный народ будет лучше судить о справедливости моих законов и чистоте моих намерений.

— Но лучше ли он станет платить подати?

— Конечно: он в просвещении найдет более средств к своему обогащению и, сверх того, поймет, что я не требую лишнего.

— Воины твои лучше ли будут сражаться?

— Гораздо лучше, постигая, что счастье каждого семейства зависит от блага и славы отечества, и притом они будут сражаться успешнее, под предводительством искусных начальников.

— Но твои умники, твои мудрецы не вздумают ли вмешиваться в правление? не дерзнут ли они искать ошибок в делах твоих?

— Пусть ищут, находят и скажут мне: я буду осторожнее в будущем времени и поступлю лучше.

— Как! ты позволишь, о светильник мира! мудрецам своим говорить смело обо всем, что им придет на мысль?

— Иначе они не могли бы просвещать людей.

— Но разве самые мудрецы не могут ошибаться, не могут принять заблуждения за истину?

— Один ошибется, а другой заметит и поправит ошибку.

— Государь! я наконец должен открыть тебе все: с того времени, как народ твой стал просвещаться, некоторые дерзкие люди осмеливаются даже осуждать поступки твоих любимцев, обличенных твоею доверенностью, и даже меня, меня самого!

— Понимаю, — сказал халиф и вышел из комнаты.

Эту притчу я велел бы написать золотыми буквами на каком-нибудь публичном памятнике, для обличения ханжей и плутов, желающих водворить невежество, чтоб в мутной воде ловить рыбу. Желательно, чтоб все законодатели имели перед глазами примеры халифа Аарон-Аль-Рашида, который, водворив просвещение в грубом азиатском народе, доставил ему силу, богатство и славу. Упало просвещение в Азии, — упала и монархия халифов!

Множество купцов и странников соединились с нами для безопасного путешествия: ибо в странах невежества нельзя иначе путешествовать, как с прикрытием вооруженных воинов. Мы нанимали стражу от города до города. Хозяин мой поручил мне смотрение за караваном и обходился со мною весьма ласково, как с равным. Но когда мы приехали в персидские владения, то он объявил мне, что я его невольник и что он купил меня у жида-ренегата. Тщетно я уверял его, что ренегат не имел права продавать меня, потому что я никогда не был взят в плен, но приехал в Константинополь добровольно, как путешественник, под покровительством законов и прав народных. Персиянин возражал мне, что ныне война между турками и русскими, что ренегату известно, что я русский, следовательно, каждому турку позволено брать в неволю русского, где ни попало, и что, кроме того, я должен ренегату за квартиру и пищу столько, что во всю жизнь не в состоянии выплатить.

— Ты не торговался с ренегатом,— примолвил персиянин,— следовательно, он волен поставить на твой счет миллион секинов!

Для большего убеждения меня в законности моего рабства, персиянин показал мне какую-то бумагу, которую он назвал купчею крепостью, засвидетельствованною Кадием в Константинополе. Надобно было молчать и повиноваться! Проехав чрез знаменитые персидские города, Тавриз и Тегеран, мы прибыли наконец в город Астрабад, где мой хозяин имел постоянное свое пребывание и вел обширную торговлю с Бухарой, Хивой и Россиею. Он вовсе не употреблял меня по торговым делам, но поручил мне обучать языкам сына своего, мальчика лет двенадцати, объявив, что всякое мое покушение избавиться рабства будет наказано смертию, а безропотное повиновение и смирение будут вознаграждены хорошим содержанием и ласковым обхождением. В самом деле, со мною обходились в доме довольно человеколюбиво, как наши помещики, находясь в хорошем расположении духа, обходятся с дядьками их сыновей или приходскими учителями.

Однажды я был в комнате моего хозяина, когда пришел к нему купец покупать галантерейные вещи. Мой господин разложил на столе кучу перстней, серег и ожерелий европейских, и я весьма удивился, увидев между оными все мои вещи, украденные на корабле. Когда покупатель, поторговав и посмотрев вещи, вышел из комнаты, я сказал персиянину:

— Хозяин! между этими драгоценностями я вижу вещи,

мне принадлежащие. Я не могу подозревать тебя в дурном поступке, потому что ты не был на корабле, на котором у меня похитили мою собственность. Но скажи, пожалуйста, каким образом ты достал эти вещи?

— Я купил их в Константинополе у прежнего твоего хозяина, жида-рenegата, — отвечал Персиянин.

— Итак, вот честность, которой научился жид в магометанской вере! — воскликнул я невольно.

— Приятель! — возразил персиянин. — Не вера виновата, а человек. Даю тебе совет: остерегайся всегда доморощенного волка и человека, из подлых видов своекорыстия переменившего веру.

Я с лишком три года пробыл в неволе и наконец решился бежать, невзирая на угрожающую мне смерть. Я познакомился с одним бухарским купцом и обещал ему богатый выкуп, если он проведет меня в Россию. По счастью, этот бухарец бывал в Москве и знал моего дядю, продав ему несколько шалей для его домоуправительницы. Бухарец вывез меня с собою из Астрабада и присоединил к каравану, идущему в Россию чрез киргизскую степь. Остальное ты знаешь. Тебе обязан я свободою. Возвращаясь в Москву, я намерен отыскать жену мою, исправиться совершенно от двух несчастных слабостей: волокитства и мотовства; определиться на службу и трудами снискивать хотя бедное, но честное пропитание.

— Амины! — сказал я. — Похваляю твое намерение, а между тем, пора изготавляться в путь.

ГЛАВА XVIII

ВЫЕЗД ИЗ СТЕПИ. ОПЯТЬ КАПИТАН-ИСПРАВНИК! МЫТАРИ. ПИР ПРИКАЗНЫХ

Не стану описывать прощанья нашего с Арсалан-султаном, его семейством и целым аулом. Скажу только, что из сплюснутых карих глаз киргизов текли слезы гораздо искреннее тех слез, которыми орошаются наши траурные платья с плёрезами, и хотя на киргизский язык не переведно ни прощаний Абельярда и Элоизы, ни прощаний Гектора и Андромахи, ни дружеских объяснений Ореста с Пиладом, но простодушные прощальные выражения доброго Арсалана и моих товарищей, наездников, растрогали меня до глубины сердца. Правду сказать, киргизские красавицы несколько гневались на меня за то, что я решился оставить степь, украшенную их

прелестями, но в последнюю минуту все было забыто. Старик утешали других, повторяя: «Он возвратится к нам; увидите, что он возвратится. Невозможно, чтобы таком славному малому нравилось что-нибудь более киргизской степи!»

Мы с Миловидиным ехали верхами. Отставной солдат, Никита Петров, которого я принял в услужение, вел трех верблюдов с нашими вещами. Тридцать удалых наездников составляли мое прикрытие и следовали за нами в некотором расстоянии. Погода была теплая, и странствие наше было весьма приятно.

Светский человек с добрым сердцем и умом только в удалении от общества познает истинную его цену. Мелочные заботы, связи, знакомства, искательства отвлекают ум от предметов важных, и только удар несчастья или уединение снимают с глаз очаровательную завесу.

— Теперь я чувствую в полной мере все ничтожество того, что почитал благами, — сказал мне однажды Миловидин, — и благодарю Провидение, что оно извлекло меня из пропасти порока посредством несчастья, которое я заслужил своим легкомыслием, или, лучше сказать, дурным поведением. Вот я в свете одинок, без жены, без родных, без друзей, без всякого состояния и даже не имею права возбуждать жалость моим положением и утешаться воспоминанием моей невинности. Горькая участь! Чем бы я мог быть теперь, если б продолжал службу, употреблял мои способности на пользу общую и старался снискивать внимание и уважение людей почтенных, верных сынов отечества? Я искал в жизни одних наслаждений, одного рассеяния, не помышляя о будущем, не заботясь о настоящем. Что осталось мне от этих пустых знакомств, от связей, основанных на разврате? Пустота в сердце и раскаяние в душе. Я погубил жену мою, которой один порок — ветреность. Я мог сделать из нее добрую и счастливую супругу, украшение своего пола. Любезный друг! пусть мой пример послужит тебе уроком. В юности моей я не имел надежного путеводителя — вот причина всех моих несчастий! Живое мое воображение и пылкость характера не имели никакой узды. Никто не думал о том, чтоб вперить в меня какие-нибудь правила, которыми бы я мог руководствоваться в жизни. В юности моей я почитал синонимами: нравственность и скуку. Выжигин! ты находишься точно в таком положении, в каком я был в твои лета. Тебя также научили всему, кроме того, что тебе необходимо знать должно. Остерегайся людей, которые будут искать твоего дружества для того только, чтоб вместе искать наслажде-

ний. Не следуй никогда первым внушениям и обдумывай средства прежде, нежели примешься за исполнение. Ты красавец! берегись женщин... Но ты зеваешь, Выжигин! Вижу, что нравоучение более действует на нас примерами, нежели словами.

В самом деле, не имея привычки слушать нравоучения, я едва не заснул на седле, когда Миловидин изливал чувства свои из глубины души.

— Любезный друг! — примолвил он. — Волею, или неволею, но я должен быть твоим путеводителем в свете. Если не прошедшая моя нравственность, то опытность, желание исправиться и любовь моя к тебе дают мне на то право.

Я подал ему руку, и он, хлопнув по ней, сказал:

— Навеки!

За час пути от первого русского форпоста мы простились с киргизскою стражей. Когда мы увидели русского часового, сердца наши забились сильнее и мы сквозь слезы молились, благословляя любезное отечество. Надобно быть в отлучке, чтоб чувствовать приятность возвращения на родину. Первая минута, когда переходишь чрез рубеж, истинно очаровательна. Будущее представляется в самом блистательном виде, все тени исчезают в картине, и каждый человек, который говорит родным языком, кажется другом, братом!

Начальник форпоста, казачий офицер, принял нас очень ласково; но притом объявил, что как мы не имеем паспортов и возвращаемся в Россию с вещами, не бывшими еще в употреблении, то он должен представить нас, во-первых, местному начальству, где мы получим виды для свободного прожитья; во-вторых, в таможеню, где пересмотрят наши товары, возмут пошлину и приложат клейма. На другой день мы отправились в путь в сопровождении урядника и шести казаков.

Приехав в уездный город, мы явились к капитан-исправнику. Михайло Иванович Штыков был майором в пехотном полку и, вышед в отставку за ранами, принял должность капитан-исправника на своей родине, по просьбе дворян. Он был человек лет сорока. В чертах лица его изображалась некоторая угрюмость и важность. Приметно было, что он, сделав привычку начальствовать и повиноваться, требовал почтительности от тех, которых почитал младшими. Когда мы вошли к нему, он едва приподнялся с своего стула и, в вознаграждение за наши поклоны, только кивнул головою. Потом взял бумагу от урядника и когда вычитал в ней, что Миловидин отставной поручик, а я недоросль из дворян, привстал в другой раз, поклонился вежливо, хотя весьма сухо и, как

говорится, свысока; потом сел и, указав на ряд стульев возле противолежащей стены, сказал протяжно:

— Милости просим садиться.

Между тем явился писец, который, вытянувшись струной, руки по швам, смотрел в глаза начальнику, ожидая приказаний.

— Милостивые государи! — сказал Штыков. — Бывали случаи, что бежавшие из России люди, даже преступники, укрываясь в степях киргизских, возвращались оттуда, прибирая себе другие прозвания и даже сказывались чиновными. Для пресечения сего злоупотребления ныне постановлено выдавать не прежде паспорта русским выходцам, как удостоверившись, что показания их справедливы. Итак, извините, что я должен удержать вас в нашем городе, пока не придут ответы из Москвы и из губернского города на мои бумаги, которые я отправлю сегодня же. Знаю, что если б я стал дожидаться, пока получу судебное разрешение на выдачу нам паспортов, то вам пришлось бы здесь поседеть с горя и от старости. Но я позволяю себе некоторые отступления на пользу общую. К губернатору напишу я прямо в собственные руки, а в Москву — к приятелю моему. Если уверюсь в истине ваших показаний, то пройду штурмом чрез все формы. Теперь прошу одного из вас удалиться на другую половину, пока с другого возьмут изустное показание.

Служитель провел меня в другую комнату, чрез сени, и я от скуки стал рассматривать картинки, висевшие на стенах в деревянных рамочках, выкрашенных черною масляною краской. Более всего обратила на себя мое внимание надпись за стеклом, написанная на пергаменте буквами, составленными из человеческих фигур в разных положениях, вверх ногами, на коленях, ползком и т. п. Надпись гласила: *таков ныне свет!* Далее висели раскрашенные пальцем и гравированные гвоздем эстампы: *четыре времени года, четыре части света, приключения Женевьевы Брабинтской*, а в самом почетном месте, над большим стулом, портрет Петра Великого. В небольшом шкафчике стояло за стеклом несколько десятков книг, между коими я заметил: *Библию и Новый Завет; Ядро Российской Истории Хилкова; Российскую Историю Татищева; Памятник из Законов; Сочинения Ломоносова и Адрес-Календарь*. Чрез четверть часа позвали меня в комнату исправника, где я должен был отвечать на вопросные пункты. Я объявил только, что выехал из Москвы от тетки моей с Воробятиным в Оренбург, что заболел в этом городе и, пришед в чувство, очутился в плену у киргизов, сам не зная,

каким образом. Я не хотел высказывать моих догадок на Вороватина и Ножова и того, что Арсалан-султан спас меня из рук извергов, хотевших лишить меня жизни. Это слишком далеко завлекло бы меня и могло бы навязать уголовное дело. Миловидин советовал мне помолчать до времени, пока мы не разведем чего-нибудь сами или не встретимся с Вороватиным. Когда кончился допрос, исправник потребовал, чтоб я отдал ему в сохранение все свои деньги, и объявил, что он приискал для нас дешевую и покойную квартиру, где нам будут давать все в долг.

— Деньги отдам я вам тогда, — примолвил он, — как получу ответы из Москвы и от губернатора!

При сих словах Миловидин не мог удержать своего гнева и воскликнул:

— Как вы смеете грабить нас?

— Грабить! — повторил исправник, покраснев от досады. — Государь мой! я брал города штурмом, завоевывал провинции — и никогда не грабил. Благодарите судьбу, что ваше положение и мое звание не позволяют нам рассчитаться другим образом. Я действую по закону. Понимаете ли: по закону! Вы беспаспортные; я не знаю, кто вы, и потому не могу оставить у вас денег, чтоб вы не уничтожили всех предосторожностей, взятых мною на ваш счет. Это все равно, если б я отдал пленным туркам ключи от порохового магазина в крепости. Извольте идти в свою квартиру!

Вспомнив о Савве Саввиче и думая, что все капитан-исправники на один покррой, я сказал ему:

— Послушайте, г(осподин) майор, кончим миролюбиво! Возьмите себе двести червонцев и отпустите нас, сегодня же, в Москву, без дальних хлопот.

Исправник снова покраснел, устремил на меня свои большие глаза и молчал.

— Если вам мало, — примолвил я, — возьмите еще сто и избавьте нас от всяких притязаний.

Тут исправник вспыхнул и, проговорив дюжины три ругательств, не относящихся, однако ж, ни к чьему лицу, а повторяемых нами иногда, вроде поговорок, закричал как истступленный:

— Молодой человек! замолчи, или я не выдержу! Как ты смеешь предлагать мне деньги? Ты, верно, провел молодость свою с плутами, или... — Он от досады не мог кончить своей речи. Я отвечал хладнокровно:

— Извините, я знал капитан-исправников, судей и даже прокуроров!

— Черт их всех побери и с вами! — воскликнул исправник. — Отдайте деньги и убирайтесь.

Делать было нечего, и я отдал мой мешок с червонцами. Исправник пересчитал в молчании деньги, дал мне расписку в получении и велел инвалиду проводить нас на квартиру, сказав, что этот служивый останется при нас для почетной стражи. Когда мы вышли на улицу, Миловидин сказал:

— Вот, брат, попали мы из одной степи в другую! Этот г(осподин) исправник, право, не вежливее киргизских наездников. Не видать нам червонцев, как ушей своих! Золото растает как масло, когда только станет переходить по рукам приказных. Проклятый капитан-исправник!

— Не сердись, любезный друг, и не спеши в суждениях, — отвечал я. — Правда, что этот исправник груб, как дикая лошадь, но ты видел, как он сердился, когда мы подозревали его во взятках.

— Все это одни только уловки, — возразил Миловидин. — Я давно уже перестал верить бескорыстию приказных и готов биться об заклад, что нам не видать более червонцев! У этого грубияна и пушечными выстрелами не выбьешь денег из кармана. На что ему было брать от тебя часть, когда он схватил целое; а ты знаешь математическую аксиому, что часть не может быть равна целому.

— А расписка?

— Важна ли расписка на лоскутке, когда и гербовая бумага в руках подъячих сгорает, как на углях. Тебя так опутают, что ты сам отречешься от своей собственности, ради спасения души и сохранения тела.

— Увидим!

— Увидим!

Для нас наняли две чистые комнаты в доме купца, торгующего винами, сахаром, чаем и вообще пряными кореньями. Мы застали уже гг. таможенных чиновников, которые рассказывали вокруг наших кип с товарами, как лисицы вокруг курятника, а наш отставной солдат, как верный пес, сторожил нашу собственность, сидя на одной кипе и поглядывая искоса во все стороны. Лишь только мы вошли в комнату, таможенные чиновники явились к нам: один с клеймами, молотком и шнурками, другой с бумагою, третий с большою книгою под мышкою.

— Извините, милостивые государи, что мы должны беспокоить вас, — сказал один из них с нежною ужимкой.

— Но мы скоро кончим, — возразил другой.

— И кончим как вам угодно, полагаясь на ваше слово,— примолвил третий.

— Должность наша сопряжена с большими неприятностями,— сказал первый,— но между честными и образованными людьми есть средства, есть способы смягчить и ускорить скучное и неприятное производство дела. Особенно в теперешнем случае должно быть снисходительными: вы не купцы, вы не знаете, что вам надобно подать объявление, приложить список товарам, означить цену, написать и подписать многое множество разных бумаг.

— Все это я беру на себя,— сказал другой, свертывая бумагу в трубку и вежливо поклонившись.

— Потом клейма, оценка,— примолвил первый.

— Это мое дело,— сказал третий, поклонившись.

— Наконец оплата пошлин: мое дело,— сказал первый, возвыся голос и посмотрев значительно на двух прочих.

— Господа! — сказал я.— Делайте, что вам следует. Мы ничего не понимаем в этом ремесле, но, видя вашу вежливость, надеемся, что вы нас не обидите.

— Обидеть, сохрани Бог! — воскликнули все трое вместе.

— Теперь позвольте нам заняться делом,— сказал первый,— и прошу быть свидетелями, потому что мы чужды всяких прижимок и не хотим даже возбудить подозрения в честных людях.

Мы вышли все вместе под навес, где лежали кипы с товарами. Несколько сторожей принялись их развязывать, и я, не зная сам, что в них находится, весьма обрадовался, увидев целые кучи шелковых тканей, бухарских платков и даже одну кипу шалей турецких, отличной доброты. Я заметил, что краска выступила на лицах таможенных чиновников при виде этих товаров. Первый из них взял под руку меня и Миловидина, отвел в сторону и сказал:

— Пошлины за эти товары будут вам стоить ужасно дорого, почти половины всей цены. Но мы все это сладим так, чтоб и волк был сыт, и овцы целы. Однако ж для оценки позвольте нам взять на дом по нескольку штук из всех товаров: ибо оценивая при людях, вы понимаете, нельзя будет сделать что-либо в вашу пользу.

Я посмотрел на Миловидина; он улыбнулся и пожал плечами.

— Делайте что хотите, только кончите поскорее,— сказал я. Чиновник поклонился вежливо, и, возвратясь к кипам, прошептал своим товарищам по нескольку слов, и стал откладывать товары на сторону. Между тем другой писал, а третий

клеимил. Дело горело в руках. Наконец смерклось, и господа таможенные чиновники ушли, оставив при товарах своих часовых. Когда же сделалось темно, то приехал чрез задние ворота ямщик, уложил в повозку отложенные в сторону товары и повез их со двора — для оценки!

На другой день, со светом, явился один из таможенных чиновников со множеством бумаг, на которых мне должно было подписаться. Наконец он представил оценку товаров и счет следующих с меня пошлин. Я написал записку к исправнику, прося его удовлетворить таможду, что он тотчас исполнил и, пришед к нам на квартиру, сложил все товары в амбар и запечатал, сказав:

— Товары ваши подвергаются одной участи с червонцами: вы будете иметь право распоряжаться ими тогда, как я получу ответы.

Когда вся эта операция кончилась, хозяин наш, почтенный старик с седою бородой, вошел в нашу комнату и сказал, что если мы будем иметь в чем нужду, то относились бы к нему. Я просил его сходить к гг. таможенным чиновникам и попросить их, чтоб они отдали нам товары, взятые на дом для оценки.

— Что с возу упало, то пропало! — примолвил, улыбаясь, старик. — Невзирая, однако ж, на это, с вас взяли пошлину вдвое против тарифу. Эти господа не забыли ни себя, ни казны.

— Это называется уменье соединять полезное с приятным! — сказал Миловидин. Я хотел было сердиться, жаловаться, но купец успокоил меня и удержал от всяких покушений, представив, что все это будет напрасно, потому что я подписал квитанции.

— Надобно терпеливо покоряться обстоятельствам, когда невозможно их избегнуть, почтенные господа! — сказал купец. — Например, если в доме двери низки, то каждый, кто чрез них желает войти, должен непременно поклониться, чтоб не удариться лбом. Если на мосту одно бревно положено выше других, то каждая повозка непременно должна встряхнуться, проезжая чрез него. Так точно в некоторых делах человеческих есть всегдашние злоупотребления, рождающиеся от удобства делать их; ни время, ни законы, ни силы не могут их искоренить. Еще во времена Апостольские мытари славились своим ремеслом, которое доставляло им богатство вместе с нареканиями народа. До сих пор собиратели пошлин, во всех странах мира, поддерживают с блеском древность своего происхождения и подражают знаменитым

предкам своим, как достойные потомки. Вы сегодня испытали это на себе, господа, а я испытываю целую жизнь. Впрочем, милостивые государи, не судите о всех по некоторым. Каждая вещь имеет лицевую сторону и изнанку, и между нынешними мытарями вы найдете людей, достойных всякого уважения. Но, по несчастию, свет идет таким порядком, что, где более случаев к греху, там более греха. Трудно кузнецу не обжечься, трудно рыбаку не замочиться. Вы понимаете меня, господа!

Первым нашим старанием было одеться по-европейски, ибо у нас не было другой одежды, кроме киргизской. Имея деньги, я хотел одеться по моде. Пока хозяин доставал нам сукна, мы несколько дней провели не выходя из дому и смотрели в окно на прохожих. Дом был на площади, на которой находился немецкий трактир. Здесь толпились чиновники и дворяне, приезжающие в город за делами или от безделья. Мы хотели присмотреться к модам, но никак не могли добиться толку: в уездном городе всякий молодец на свой образец, в полном значении сего выражения. Молодые люди носили ужасные бакенбарды, усы, закоптелые от табачного дыму, и испанскую бородку. Растрепанная голова покрыта была картузом или фуражкой. Венгерка, то есть сертук, убранный шнурками по-гусарски, или казачий чекмень, длинные плисовые или нанковые шаровары и черный галстук составляли весь наряд уездного щеголя. Фраки хранились на важные случаи, балы, свадьбы и званые обеды. Каждый помещик запасался одеждою в столице, когда случалось ездить туда для займа денег в Опекунском совете, или выпи-сывал платье чрез приятелей из губернского города. Оттого в уездном городе не было постоянного покоя и невозможно было узнать, которая из запоздалых мод была последняя. Кроме того, модные фраки и жилеты весьма часто переходили из рук в руки посредством меновой торговли, с помощью 52 раскрашенных листиков, и оттого платье не у всякого было по росту и по объему. Словом, мы были так несчастны, что не могли увидеть в течение шести дней ни одного человека, одетого по моде, а трое городских портных, которых мы пригласили на совет, разногласили между собою. Наконец, приехавший из Москвы управитель одного вельможи вывел нас из недоумения. Мы, взяв его за образец, оделись кое-как, на первый случай, и стали выходить из дому.

Первостепенные особы в городе были: городничий, уездный стряпчий, казначей и члены уездного суда: последние, однако ж, не имели сильного влияния на общество потому,

что жили по деревням и приезжали в город только на сроки заседания суда. Представителем их был секретарь, который в своем лице соединял всю важность судилища в юридическом и светском отношениях. Капитан-исправник, хотя имел большое значение в уезде, но в городе власть его уступала власти городничего, и потому он был ни первым, ни вторым, но равным городничему, следовательно, естественным его соперником. В сем небольшом кругу большой свет (со всеми своими интригами, причудами и странностями) отражался:

«Как солнце в малой капле вод!»

По прошествии двух недель, капитан-исправник, будучи доволен скромным нашим поведением, укротил гнев свой и заставил сестру свою, жену стряпчего, пригласить нас к себе на именины. Мы пришли к самому обеду и застали уже многочисленное общество. Дамы, разряженные в блондовых чепцах, в богатых платьях, в турецких шالях, украшенные жемчугом и бриллиантами, сидели особо и говорили громко между собою. Девуцы составляли особый кружок и перешептывались, потупив взоры. Хозяйка не занималась сама с гостями, но перебегала по всем комнатам, суежилась и заботилась. Блондовый чепец ее несколько почернел от кухонного дыма, и локоны распустились от жару. Как скоро нозая гостья входила в комнату, то маленькая дочь хозяйки тотчас давала ей знать об этом; она выбегала впопыхах из кухни, вся раскрасневшись; потом поздоровавшись с новопривезжею и указав ей место, снова поспешала к хозяйству.

Другие гости с жадностью осматривали новопривезшую приятельницу с головы до ног и, казалось, взорами срывали с нее наряды. Мужчины, по большей части чиновники, были все в мундирах: они важно расхаживали по комнатам, часто останавливаясь возле столика, на котором стояла водка и закуски. Все знали о нашем приключении и о том, что у меня есть деньги и товары, а потому все обращались с нами довольно вежливо, однако ж с видом покровительства, ибо неизвестно еще было, буду ли я просителем или свободным от следствия и суда.

Я хотел послушать, о чем разговаривают между собою провинциальные чиновники, и, остановясь в дверях небольшой гостиной, услышал следующее:

— Ах, матушка, какой у вас пребогатый чепец! Неужели это с ярмарки?

— Нет, мать моя; прямехонько из Москвы, с Кузнецкого мосту, от мадамы француженки.

— А ваше платье, сударыня, здесь ли шито?

— Помилуй Бог! Уж мне эти доморощенные швеи нашей дворянской предводительши! Режут да шьют, а фасону-то, матушка, не могут никак снять с модных картинок.

— Да ведь журналы-то писаны по-французски!

— Что за беда: сама Матрена Ивановна ведь только и дела, что сидит за французскими книгами. Могла бы растолковать своим швеям.

— Да ведь для швей-то пишут портные, так не всякой поймет, когда мастеровые заговорят своим языком.

— И то правда: недавно сынок Андрея Кузьмича читал мне описание модного платья. Носить так сношу, а понять, право, мудрено!

— Уж нечего сказать, мудреный народ эти французы, откуда слова берутся для названия каждого шва, каждой петельки, каждой складочки!

— Да вы, милая моя, и не похвастались новою своею шалью. Пребогатая!

— А где купили?

— Мой Сидор Ермолаевич привез ее с откомандировки.

— Дай Бог ему здоровья!

— А ваш фермуар где куплен, милая кумушка?

— В Петербурге.

— Да я видала его у жены откупщика.

— Мой Карп Карпыч взял его за долг и в дорогой цене, матушка.

— Так уж откупщик входит в долги?

— Уж не стряпчему же быть должным откупщику!

— И то правда, матушка.

— Ах, кстати, была ли у вас Акулина Семеновна Падчерицына: ведь идет следствие по делам ее мужа.

— Была.

— И у меня была.

— И у меня.

— Ах, матушка, что за женщина! Уж ей бы родиться приказным. Так и сыплет указами! Все охает да жалуется на бедность, на притеснения, а какие шали, какие жемчуги!

— Сказывают, что она не забывала себя, когда муженек ее был при месте.

— Как забывать, ведь она не дура!

— Сошлись по нраву и по сердцу!

— Слыхали ли вы анекдот про эти большие жемчуги, которые у нее висят на шее, как хомут, прости Господи!

— Нет!

— Ах, расскажите, расскажите!

— Как муж-то ее был в силе, то секретарь не смел написать заключения, не спросясь Акулины Семеновны, а просители должны были являться прежде к ней, чем в суд с челобитьем. Однажды пришла к ней старушка в платочке и в худенькой шубейке просить за внука, которого общество отдало в рекруты. Поклонясь в ноги, старушка подала Акулине Семеновне тавлинку, примолвив:

— Возьми, матушка: не тебе, так дочке пригодится.

Акулина Семеновна думала, что старушка дарит ей тавлинку с табаком, рассердилась, закричала во все горло, чтоб помещики, которые были в другой комнате, услышали о ее бескорыстии, и ударила старушку по руке. Тавлинка упала на землю, и по полу рассыпался жемчуг. Вот тут-то суеты! Акулина Семеновна сама бросилась на пол и давай подбирать жемчуг да кричать изо всей силы, чтоб дочка ее, Ашенька, подросла к ней на помощь. Ашенька прибежала к ней из другой комнаты и позабыла прихлопнуть дверь, так дворяне-то и увидели всю комедию. Один из них спросил старушку на улице да и распустил весть по целой губернии.

— Ха, ха, ха!

— Вот те и наука, чтоб не пренебрегать малым. Недаром Сидор Карпыч всегда повторяет: «Всякое даяние есть благо, и всяк дар совершен».

В это время нас позвали к обеду. Дамы уселись на одной стороне, на верхнем конце стола, а мужчины поместились особо. Я занял место возле капитан-исправника. Обед начался огромным пирогом с рыбою, в котором могла бы выпастись сама почтенная хозяйка. Наливки всех цветов и названий поспешили на помощь пирогу и бросились опрометью и в большом количестве в горло гостей, чтоб предохранить их от вредных следствий недопеченного теста и полусырой рыбы. Вслед за пирогом следовали холодные: поросенок с хреном, студень, ветчина и т. п. Холодное надлежало разогреть, и опять прибегнули к наливкам и к мадере, которая весьма приятно светилась в пивных стаканах. Вкусные русские щи надлежало также развесть в желудке мадерою, итак, пока дошли до первого кушанья после щей, уже лбы почтенных собеседников покрылись блестящим лаком, а носы зарделись как клюковки. Здесь-то я выразумел настоящий смысл русской пословицы: «Первая чарка колом, а вторая соколом». Разница в том, что летали соколом не чарки, а стаканы и бутылки. Пока несколько блюд с соусами обошли кругом до появления жаркого, все гости (исключая капитан-исправника, меня

и Миловидина) были в таком расположении духа, что готовы были лезть на батарею. Вино размочило твердые приказные сердца, и откровенность поднялась из них в виде густого пара и осела на языке.

— Мартыныч! — воскликнул секретарь земского суда так громко, что окна затряслись в доме. — Мартыныч!.. Изменил ты мне, окаянный: выпустил медведя из моих тенет. Век бы тебе не простил, если б не жена твоя, моя кумушка.

— Полно, не сердись, Карпыч, — отвечал уездный стряпчий, — когда б ты один содрал шкуру с медведя, то нам не досталось бы ни клокa шерсти. Нечего сказать, ты мастер потрошить просителей, Карп Карпыч, а у меня ведь также жена и детки хлеба просят.

Все засмеялись.

— Нечего сказать, мастер потрошить Карп Карпыч! — воскликнули со всех сторон. Секретарь гордо перевалился на стуле, погладил себя по голове и по брюху и важно сказал:

— Дело мастера боится.

— Почтенные господа! — воскликнул с конца стола сухощавый, лысый и черномазый подьячий, тонким и звонким голосом. — Вся мудрость человеческая выписана на голландском червонце. Вся латынь, которой обучался я в семинарии, не стоит одной этой надписи: *Concordia res parval crescunt*, сиречь: *согласием вещи держатся*. Это означает, что если господа судьи хотят иметь червончики, то должны жить мирно, согласно, решать дела единодушно и слушать секретаря. Ведь кавалер-то, изображенный на червонце, есть не кто иной, как секретарь, а пук стрел в руке его означает то, что он должен всех судей и все дела держать в руках!

— Bravo, Климыч, bravo! — воскликнули приказные в восторге.

— Держать в руках, — примолвил секретарь, — да еще и в ежовых рукавицах!

Между тем внесли корзинку с шампанским, и начались тосты. Выпив за здоровье хозяйки, хозяина и, наконец, каждого гостя и отдельно жены его, чад и домочадцев, принялись за питье, как за работу, как за очищение бутылок по подряду. Когда корзины кончили, тогда встали из-за стола и кое-как побрели в гостиную.

Я не упоминал до сих пор о соседе моем, капитан-исправнике. Он не принимал никакого участия ни в питье, ни в разговорах почтенной компании и молчал в продолжение обеда. Гости также не обращались к нему с речами, потому что, зная нрав его, опасались, чтоб он не сказал им в глаза

какой-нибудь жестокой правды, обыкновенно называемой грубостью. После обеда капитан-исправник пригласил меня и Миловидина в садик, прилежащий к столовой заде, где, между рассеянными в беспорядке фруктовыми деревьями, произрастали подсолнечники, мак и пивонии. Мы сели на дерновой скамье, и капитан-исправник сказал:

— Я с удовольствием заметил, что вы не любите осушать стекло, по примеру любезных моих сослуживцев. Вы можете судить о моем горестном положении, — примолвил он, обращаясь к Миловидину, — видя, с какими людьми должен проводить жизнь старый служивый. Но нужда долбит камень. Эти приказные пиявицы давно бы задушили меня, если б, по счастью или по несчастью, я не породнился браком сестры моей с одним из их шайки и не был в милости у губернатора, прежнего моего генерала. Противу течения мудрено плыть. Довольно и того, что я успел оградить свою часть управления от их влияния. Дворянство меня выбрало и положило мне содержание, едва достаточное для прожития. Поживите здесь, услышите более о Штыкове, а между тем прошу вас не заключать по виденному и слышанному о целом уезде. Здесь есть честные и благородные люди между помещиками и выбранными от дворянства чиновниками; но как, по несчастью, наши дворяне не учатся русскому законоведению и немногие из них привыкли к письменной работе, а те, которые служили в гражданской службе, уклоняются от выборов, удаляясь в деревню на покой: то само по себе разумеется, что делами ворочают приказные. Это особая порода на святой Руси, которая живится, как моль, указною пылью. Советую вам идти домой, чтоб не быть свидетелями еще большего соблазна. Может случиться, что господа блюстители правосудия вцепятся друг другу в волосы, когда дойдет дело до объяснений.

Исправник встал, и мы последовали его совету. Между тем в сад вошли многие из гостей, держась за руки и напевая песни. Вошед в комнаты, чтоб отыскать наши фуражки, мы увидели, что уже на одном столике играли в банк, а на другом в горку и пучки ассигнаций начали переходить из рук в руки.

Пришед домой, мы попросили к себе хозяина, чтоб он объяснил нам некоторые непонятные для нас вещи:

— Растолкуйте, пожалуйста, — сказал я, — что за странный человек ваш исправник?

— Он слывет у нас чудачком, — отвечал хозяин. — В самом деле, Михайло Иванович Штыков не похож на своих това-

рищей, оттого и кажется всем странным. Он происходит из мелкопоместных дворян здешнего уезда. В военную службу вступил он с молодых лет и по смерти своих родителей отдал часть своего наследства сиротам, детям покойной своей сестры, бывшей замужем за одним честным, но бедным чиновником. Другую сестру его вы знаете. Дослужившись до майоровского чина и вышед за ранами в отставку, он жил здесь у меня в доме, небольшим своим пенсионом, пока дворяне не предложили ему места исправника. Михайло Иванович объявил решительно, что он взятки брать не умеет и не хочет этому учиться, а потому не может и не желает принять места, с которым сопряжены излишние расходы. Дворянство упросило его наконец принять место и положило давать ему известную сумму на канцелярию и на разъезды, с ведома начальства. Вот уже десять лет, как он исправником и все честные люди его благословляют. Все земские повинности, починка дорог, подводы, постой распределяются у нас с величайшею точностью, по очереди и по числу душ. Взимание податей и недоимок производится без всякого послабления, но с величайшим снисхождением к бедным. Беглые и праздношатающиеся не смеют появиться в нашем уезде; поселяне, зная, что поимкою их могут угодить доброму своему исправнику, которого они называют отцом, вовсе отреклись от пристанодержательства и тотчас представляют беглых в суд. Следствия производятся без угроз и побоев, но с неумытною справедливостью. На ярмарках Михайло Иванович не берет с купцов денег за позволение торговать контрабандою или обманывать несведущих дурными товарами, но наблюдает за порядком, за весом, мерою и качеством товаров. При рекрутских наборах старосты и выборные в казенных волостях не смеют отдавать в солдаты не в очередь и лишать последней подпоры беззащитных родителей. Управители частных имений, которых хозяева живут в столицах, не могут угнетать крестьян и обманывать своих господ. Даже порочные или злые господа, которые, слава Богу, весьма редки, не могут обращаться противозаконно с своими крепостными людьми. Одним словом, Михайло Иванович денно и ночно печется об искоренении злоупотреблений, водворении истины и исполнении законов. Правда, он груб в обхождении, не любит терять напрасно слов, не умеет смягчать горькой истины сладкими речами и исполнять свой долг с комплиментами. Он строг с порочными, неумолим с злыми и снисходителен к одним слабостям, но на деле, а не на словах. Он бы давно погиб от козней приказных и замыслов зло-

употребителей власти, если б его не поддерживал наш губернатор, человек честный и благонамеренный, также из военных, который знал его еще в полку. Все честные люди любят и уважают Михайла Ивановича, злые ненавидят его и боятся как чумы. Впрочем, он не вмешивается в чужие дела и требует только, чтоб другие не мешались в его управление. Вот каков наш чудак! Он поступил с вами несколько строго, но поступил законно и хотя обошелся грубо, однако ж и не обидел вас, и не лишит вас собственности, как наши вежливые мытари.

— Согласен,— примолвил Миловидин,— что горькое лекарство лучше, нежели сладкая отравка.

ГЛАВА XIX

ДЕЛОВАЯ БЕСЕДА У РУССКОГО КУПЦА. БЕСПОКОЙНЫЙ ЧЕЛОВЕК. КОНЧИНА ЗЛОДЕЯ

Хозяин позвал нас к себе откусать чаю. Мы застали у него приходского священника и одного порядочно одетого человека средних лет, приятной наружности, которого обращение и приемы показывали, что он привык жить в хорошем обществе. Хозяин познакомил нас, назвав своего гостя Петром Петровичем Виртутиным. Мы сели вокруг дубового стола и, попивая чай, стали рассуждать о предметах, которые показались мне чрезвычайно важными потому, что я в первый раз слышал разговоры о делах общественных.

— Не казалось ли бы вам странным, даже непостижимым, господа! — сказал купец. — Если б во всех французских портах одни немцы и голландцы, а в английских портах испанцы и итальянцы производили внешнюю торговлю и чтоб французы и англичане, как верблюды, только перетаскивали на своих спинах товары из внутренности государства к морскому берегу, для того только, чтоб чужеземцы пользовались неимоверными выгодами, без труда, без забот, без ответственности, потому единственно, что на дверях их жилищ прибитая медная дощечка с надписью: *Контора?*

— Я бы сказал решительно,— отвечал Петр Петрович,— что если туземцы работают как быки, позволяя из себя вырезать бифштекс иноземцам, то есть если туземцы трудятся для обогащения пришлецов, торгующих их трудами, то, верно, эти коренные жители не имеют ни довольно ума, ни довольно

денег, и даже ни довольно честности, чтоб самим быть купцами.

— Это слишком строго, — отвечал священник. — Я бы сказал, что, верно, какая-нибудь другая господствующая страсть отвлекает туземцев от внешней торговли, предоставляя все выгоды встречному и поперечному.

— Вы оба имели бы права так думать, — сказал купец, — но, к счастью, вы правы, батюшка. Приведем дело в ясность. Я говорю о нашем любезном отечестве. Не странно ли, не унижительно ли для народного самолюбия, что в России вся почти внешняя торговля производится посредством иностранных контор и факторий, находящихся во всех русских портах и даже в столицах, как будто бы Россия была Китаем или Япониею? Чужеземные купцы и фабриканты имеют дело только с этими конторами, а мы, русские, должны смотреть в глаза гг. конторщикам, доставлять им, чего они потребуют для отсылки за границу, и покупать у них чужеземные произведения по ценам, какие им угодно назначать в общем их совете. Эти гг. иноземные конторщики, которых мы величаем негоциантами, не выше почитают русских купцов, как своих артельщиков или биржевых дрягилей, и как будто ради Христа делятся с нами сотою частью своих барышей. Скажите, господа, неужели этот порядок дел будет вечно продолжаться и неужели в отношении к торговле мы будем всегда на той самой степени, как во времена открытия Архангельского порта Ричардом Ченселором, при царе Иоанне Васильевиче? Кажется, у нас есть все средства, чтоб составить почтенное купеческое сословие. Уму, проницательности и сметливости нашего народа отдают справедливость сами иностранцы. Честь наша в торговле, право, не ниже добродетелей гг. иноземных конторщиков, а в капиталах мы всегда будем иметь преимущество, имея в своих руках сырые произведения нашей земли и русский товар. Напротив того, у конторщиков, при начатии их дел, все богатство составляет медная дощечка с надписью: *Контора*, и несколько рекомендательных банкирских писем.

— Несколько рекомендательных банкирских писем! Вот в этом-то и вся сила, — воскликнул Петр Петрович. — Скажи, любезный Сидор Ермолаевич, кому бы ты более поверил: старожилу ли здешнему, которого ты знаешь давно с хорошей стороны, или приезжему торговцу, которого ты вовсе не знаешь?

— Разумеется, я скорее бы поверил старожилу, — отвечал купец. — Но позволёте, Петр Петрович, если это сравне-

ние клонится к нашей речи, то, кажется мне, что русских купцов скорее можно сравнивать с старожилами.

— Так бы следовало, но не так в самом деле, — возразил Петр Петрович. — Ты, Сидор Ермолаевич, лет пятьдесят как торгуешь и знаешь всех лучших купцов в Москве и Петербурге. Насчитай же мне, пожалуйста, полдюжины русских фамилий, которые известны в торговле от прадеда?

— Признаюсь, я не знаю ни одной, — отвечал Сидор Ермолаевич. — У нас, как скоро купец разбогатеет, то или обанкрутится оттого, что перестает водиться с своею братьей, пренебрегает делами, живет на барскую статью и отдает дочек за голеньких князей и графов, или спивается с кругу, от чванства и радости, оставляя именье на расхищение плутам приказчикам и мотам деткам, которые уже стыдятся быть купцами и лезут в чины; или, наконец, сам добивается до личного дворянства разными проселочными путями, под вывескою усердия и пожертвований! Правда, у нас нет старых купеческих домов и едва ли есть один знаменитый торговый русский дом в России, который начинает свою родословную далее царствования императрицы Екатерины II.

— Торговля поддерживается кредитом, а кредит известностью и древностью рода, — сказал Петр Петрович. — В Англии, во Франции, в немецких ганзеатических городах, в Голландии, в Швеции, в Дании вы найдете купеческие дома, которых фирма известна в течение целых столетий и возбуждает более доверенности, чем гербы княжеские. А у нас купцы — перелетные птицы в коммерции. Наш купец покажется на сцену, разжиреет, пустится в гору, а потом падает или разгуливает, напудрившись геральдическою пылью.

— Правда, совершенная правда! — примолвил купец, поглаживая бороду.

— Замечу еще одно обстоятельство, — сказал Петр Петрович. — У нас немногие русские богатеют от биржевой торговли, а по большей части от подрядов в казну. Подрядчики же и откупщики, по моему мнению, не могут называться купцами, или, как говорится, негоциантами. Ибо тот только приносит существенную пользу отечественной торговле, кто имеет дела за границу и споспешествует сбыту наших произведений в чужих краях. Итак, иноземные богатые купеческие дома и фабриканты, поневоле, должны производить свои дела в России посредством конторщиков, рекомендованных им старыми купеческими почтенными фамилиями, у которых эти конторщики прежде были приказчиками. Как заводить большие обороты с русскими купца-

ми, когда они появляются неизвестно откуда и исчезают неизвестно как и куда с поприща коммерции?

— И то правда! — сказал священник. — Однако ж не обвиняйте слишком купцов. Есть весьма много обстоятельств, которые заставляют их выходить из своего звания при первом удобном случае. Во-первых...

Вдруг поднялся шум в сенях. Хозяин хотел поспешить туда, но едва он вскочил со стула, как дверь отворилась с треском и в комнату вбежала с лаем ужасная медеьянская собака. Потом явился какой-то господин, одетый по-дорожному, с трубкою в зубах, а за ним лакей его и полицейский служитель. Между тем как собака обнюхивала углы и господин ее раздевался без околичностей, полицейский служитель сказал:

— Вот тебе постой, Сидор Ермолаевич. Его высокоблагородие приехал из Петербурга по казенной надобности, и ты так счастлив, что ему понравился с виду твой дом.

— Помилуйте, у меня уже квартируют шесть человек служивых, — возразил хозяин, — да сверх того, капитан-исправник велел мне принять в дом вот этих двух господ.

— Молчи, борода! — сказал чиновник, посмотрев грозно на почтенного старца. — Я знать не хочу твоего капитан-исправника и тебя и останусь здесь потому, что мне так угодно.

Хозяин обратился к полицейскому служителю и сказал:

— Но соседние дома не имеют постоя...

— Как тебе равняться с соседями, Сидор Ермолаевич? — возразил полицейский служитель.

— Эти господа чиновные, знатные дворяне; ты знаешь, что у них останавливается губернатор, прокурор... да полно, Сидор Ермолаевич; ведь если не купцам отвечать за всех, так и порядку не будет. Ведь сильному-то и мешок на плечи, а вы богаче всех.

Полицейский служитель вышел, а чиновник сказал:

— Шевелись, старина! Видно, вашу братию здесь балуют крепко, что вы еще смее спорить!

— Я не спорю, сударь, — отвечал купец, — но у меня с семейством остались только три небольшие комнаты, и я не знаю, где поместить вас.

— Я займу две, а ты помещайся в третьей, — сказал чиновник, — а если тебе тесно, так ступай в чулан. Смотри, пожалуйста, как этот мужик чванится!

— Я не мужик, сударь, а купец.

— А разве это не все равно? — возразил чиновник с насмешкою. — Не дворянин — так тот же мужик!

Мы вышли из комнаты, и хозяин последовал за нами.

— Господа! — сказал он. — Мы исчисляли причины, почему купцы не любят оставаться в своем звании. Вот вам малый образчик того уважения, которое имеют к нам другие сословия. Но вы еще не видели и тысячной доли, а когда увидите, вспомните добром — и не пеняйте на нас!

Священник пожал плечами и, не сказав ни слова, пошел к себе домой; хозяин должен был остаться у себя, чтоб поместить нового жильца; а мы с Петром Петровичем пошли прогуляться за город.

— У нас так, как и везде, до тех пор все будет идти не своей колеей, — сказал Петр Петрович, — пока просвещение не разольется на все сословия. Только просвещенный, образованный человек может в полной мере чувствовать свои обязанности в отношении к другим и уважать все сословия. Просвещенный человек знает, что в благоустроенном государстве каждое звание почтенно и столь же нужно, как все струны в инструменте, для общего согласия. Невежество полагает преграду к сближению, и точно так же, как турок почитает христианского подданного Порты нечеловеком, так наши гордые невежды пренебрегают всеми, кто им не родня и кто не может давать им чинов и орденов. Например, ваш хозяин, не почтенный ли человек во всех отношениях? От чего же это? От того, что он умен и образован. Жаль, что он не получил систематического образования в юности; тогда бы он был отечеству полезнее во сто раз. Сидор Ермолаевич происходит из экономических черносошных крестьян. Он остался сиротою после родителей, пошел в приказчики к дальнему своему родственнику, купцу, и трудами, прилежанием и хорошим поведением составил себе порядочное состояние, образовав себя чтением, обхождением с умными людьми, размышлением и опытностью. Сыновей своих он воспитывает в университете, убедившись, что первое благо на земле, первая потребность души бессмертной — просвещение. Вы видели почтенного священника, отца Евгения. Он также может служить примером, что просвещение не препятствует исполнению священных обязанностей его звания: напротив того, возвышая духовную особу в глазах народа, утверждает его более в вере и нравственности, красноречиво объясняемых пастырями церкви и подкрепляемых примером беспорочной их жизни.

Разговаривая о различных предметах, мы дошли по поряд-

ку до обстоятельств жизни самого Петра Петровича Виртутина. Мы крайне удивились, когда он сказал нам, что он не здешний уроженец, но живет здесь противу своей воли. Мы просили его объяснить нам причину сей странности, и Петр Петрович рассказал нам следующее:

— Отец мой был бедный дворянин и не имел к пропитанию никакого средства, кроме небольшого своего жалованья. Он женился на дочери достаточного купца и получил в приданое около пятидесяти тысяч рублей. Мать моя скончалась, родив меня на свет; отец мой оставил службу и занялся моим воспитанием. Для преподавания наук имел я учителей, но отец мой сам был наставником моим в отношении к нравственности. Он вперил в меня беспредельную преданность к престолу, с убеждением, что пространная Россия, составленная из разнородных племен, не может быть ни счастливою, ни сильною иначе, как под властью монархическою, единодержавною. С юных лет отец мой внушил мне, что в мире нет возвышеннее нравственности — как евангельское учение. Он позволял мне читать все философические сочинения, но повторял часто:

— Сын мой! Апостол Павел говорит в Послании к фессалонийцам: «Все испытывайте; хорошего держитесь». В творениях мудрецов ты найдешь много ума, еще более остроумия, но нигде не найдешь таких правил для жизни, как в Евангелии. В творениях мудрецов ты найдешь также советы добродетели, но нигде не найдешь такой возвышенной нравственности, столько удивительных истин, как в учении Апостольском. Вся нравственность, разлитая мудрецами в тысячах книг, заключена Апостолами в немногих словах: «И как хотите, чтобы поступали с вами другие, так и вы поступайте с ними». (Еванг. от Луки. Гл. VI.) «Но говорю вам, слушающим: любите врагов ваших, творите добро ненавидящим вас». (Там же.) Любезный сын! исполняя сии два правила, ты исполнишь все свои обязанности. Отец мой был не святошею, не ханжою, но истинным христианином и примером собственной жизни укреплял меня в преподаваемых им правилах.

Кончив мое воспитание, я вступил в военную службу. При отправлении в полк отец благословил меня образом Спасителя, с надписью из Апостола: «Посему отвергнув ложь, все говорите истину пред ближним своим». (Посл. Ап. Павла к Ефес. Гл. IV.)

С летами, я более утверждался в правилах, посвященных в сердце моем достойным моим родителем, и более убеждался

в истине, что человек для того только создан на свет, чтоб помогать своим ближним всеми зависящими от него средствами. Каждая несправедливость, оказанная кому бы то ни было и кем бы то ни было, производила во мне сильное впечатление: по несчастию, я не мог воздержать языка своего и вопиял громко противу всяких злоупотреблений. Мы стояли в плодотворной Украине, и богатые поселяне делились своею пищею с нашими добрыми солдатами, которые в свободное от службы время помогали им в полевых работах. Поселяне не хотели получать казенного провианта, и я настаивал, чтоб он всегда был продаваем в пользу солдат. При расчете амуниционных и артельных денег, при уплате жалованья я, как говорится, резался за солдатскую копейку. Правду мудро всегда облекать в нежные, мягкие формы, и я часто принужден был говорить горькие истины, спорить и жаловаться, когда меня не слушали. Я прослыл беспокойным человеком и принужден был выйти в отставку.

Отец мой, который был стар и слаб, хотел, чтоб я жил при нем. Я определился в гражданскую службу в столице, по судной части, чтоб не терять времени без пользы отечеству. Здесь-то открылось обширное поле для моей деятельности. Отец мой нисколько не сокрушался тем, что я невольно должен был оставить военную службу.

— Ты исполнял свой долг — вот твоя награда и утешение, — сказал он, обнимая меня. Когда мне надлежало знать новую мою должность, он призвал меня к себе в кабинет и, указав на раскрытый Новый Завет, велел прочесть в Послании Павла к Тимофею, в главе V, стих 20: «Согревающих обличай пред всеми, дабы и прочие страх имели». Потом он прижал меня к сердцу, благословил и сказал:

— Ступай с Богом ратовать за истину!

Я был как пес на страже у храма правосудия: лаял на бессовестных злоупотребителей законов, не пускал сильного злодея во внутренность святилища и защищал от грабителей несчастную вдову и сироту. Ябеда и лихоимство восстали противу меня с ожесточением. Деловые люди, без которых начальники не могли обойтись, не зная сами дела, объявили, что они не могут жить с таким беспокойным человеком, как я. Мне велено было удалиться.

Между тем отец мой скончался, и я остался на свете одинок, с порядочным состоянием. Отец мой не старался умножать своего капитала, полагая, что мне довольно будет приданного моей матери, и употреблял остальную от прожития часть доходов на вспоможение бедным. Я последовал его примеру

и делился по-братски с неимущими и страждущими и защищал их также от притеснения сильного. Я не мог отказаться несчастному в совете и даже сам писал просьбы для беззащитных, не умеющих отразить ябеды и угнетения силою красноречия юридических доводов; я сам хлопотал за бедных и иногда устрашал самых закоренелых лихоимцев моею настойчивостью. Тысячи неприятностей сносил я ежедневно, но, проведя день в трудах, утешал себя тем, что исполняю волю моего родителя и что моею горестью доставляю сладкое утешение страждущим. Я был счастлив! Несколько добрых друзей, науки и литература услаждали жизнь мою, которую злобные люди хотели отравить клеветою.

Облака образуются из паров; дождь состоит из капель; беда образуется из клеветы, изветов и наущений, и злобные слова в совокупности составляют громовую тучу в нравственном мире, извергающую перуны на безвинных. Я не давал обедов, полагая, что лучше от избытков кормить бедных, нежели пресыщать сластолюбцев; не давал займы денег мотам: меня называли *скупым*. Я ходил молиться в церкви общественных, вместе с народом, а не являлся в мундире в домашних церквях вельмож, — меня называли *безбожником*. Зная, что монархическое правление не может иметь другой цели, как благо подданных, я никогда не роптал на правительство, но громко вопиял противу злоупотребителей власти, которые, почитая места свои как бы откупам, помышляют единственно о своем обогащении и помещении своих родственников, — меня называли *возмутителем*. Я от всего сердца хвалил добрых вельмож, честных чиновников и выставлял их в пример, в противоположность злым и корыстолюбцам, — меня называли *интриганом* и *пристрастным*. Часто, не будучи в состоянии умерить моего негодования, я обнаруживал истину в выражениях сильных, в писанных мною для других просьбах и называл вещи их настоящими именами, — меня называли *ябедником*. Изю всех приписанных мне качеств составилось одно название: *беспокойного человека*, и меня выслали на житье в этот город, под надзор полиции. Признаюсь, я сперва сокрушался, но добрый священник Евгений утешил меня и успокоил.

— Вы трудились не для мира, а для души своей, — сказал отец Евгений. — Следовательно, в душе своей найдете награду. Вспомните, что говорит апостол Лука: *«Но вы любите врагов ваших и благотворите и займы давайте, ничего не ожидая; и будет вам награда великая, и вы будете сынами Всевышнего: ибо Он благ и к неблагодарным и злым»*. Не смущайтесь

несчастьем и не ослабевайте на пути к добру, помня слова апостола Павла: *«Правда, всякое наказание в настоящее время кажется не радостью, а печалью; но впоследствии доставляет мирный плод праведности тем, кои посредством онаго образовались»*.

Теперь я спокоен и счастлив, ибо счастье у всякого в сердце, а на земле нет населенного места без добрых людей. Я нахожу наслаждение в дружбе честного капитан-исправника, почтенного священника Евгения и купца, вашего хозяина; провожу время в чтении и прогулке и делаю столько добра, сколько позволяют мне средства мои. Не примите моего рассказа за самохвальство. Нет! я чужд этого порока и объявил вам истину для вашего поучения потому только, что вы этого требовали. Придет время — и правда всплывет наверх, как елей над водою, и рано или поздно, но всегда восторжествует над злобою и ложью!

Возвратясь в город с прогулки и проходя мимо городского острога, почтенный Петр Петрович предложил нам зайти туда и бросить семена утешения в жилище плача, как он изъяснялся. У меня было в кошельке несколько червонцев, и я с радостью согласился пойти в острог, чтоб облегчить подающим участь несчастных. Этот острог был не иное что, как простая изба, обнесенная тыном. За теснотою невозможно было разделить содержащихся под стражею по роду преступлений, и от того случалось, что молодой легкомысленный мальчик, бежавший из шалости от господина, помещался на нарах возле закоснелого в пороках вора или разбойника и нечувствительно заражался правилами злодейства. Чистоты также невозможно было требовать при недостатке помещения. Карательные солдаты расположены были в сенях, а по обеим сторонам, в двух избах содержались колодники, как сельди в бочке. Мне сделалось дурно от духоты и от сильного впечатления, произведенного видом зверских лиц. Я просил моих товарищей выйти скорее на свежий воздух. Вдруг услышали мы в чуланчике пронзительные стоны и страшные вопли. Любопытство повлекло нас туда, и ужасное зрелище представилось взорам моим. В темном углу, на соломе, лежал полуобнаженный человек, иссохший как скелет и скованный по ногам и по рукам. Лишь только свет проник в его конуру, он приподнялся, присел и устремил на нас ужасный взгляд. Взоры наши встретились, и я затрепетал всем телом, как от взгляда василиска. Черные волосы и борода у несчастного были всклоочены, лицо покрыто смертною бледностью, и глаза, налившиеся кровью от бессонницы и

страданий, светились как раскаленные уголья. Помолчав немного, несчастный прикоснулся скованными руками сперва ко лбу, а после к сердцу и сказал потихоньку:

— Огонь, огонь! — Потом, разинув рот, прошептал: — Воды!

Унтер-офицер подал ему деревянную кружку, и он, напившись, толкнул его от себя и громко воскликнул:

— Прочь, прочь, кровь! кровь!

Вдруг волосы его поднялись дыбом, лицо скривилось от судорожных движений, глаза сделались неподвижными, пена появилась на устах; он заскрежетал зубами, быстро поднялся и воскликнул:

— Я Ножов — берите меня!

— Ножов! — воскликнули мы в один голос с Миловидиным. Это был злодей Ножов, которого я не мог сперва узнать в таком положении; но когда он произнес свое имя, я тотчас припомнил его черты. Между тем несчастный снова упал на солому и завопил ужасным голосом:

— Не жгите меня, не жгите, а убейте одним ударом!

Ноги мои чуть не подкосились от ужаса; кровь приступила к сердцу, и голова закружилась; но я стоял на месте, ожидая, что Ножов придет в себя из беспамятства и скажет мне имя графини, моей неприятельницы. Преступник снова замолчал и закрыл глаза; тогда Миловидин кликнул его по имени. Ножов открыл глаза и как будто прислушивался.

— Ножов! — сказал Миловидин. — Выжигин прощает тебя за все зло, которое ты ему сделал.

Ножов опять присел на соломе и, озираясь кругом, сказал:

— Где Выжигин? Он умер в степи. Я сам бросил его в яму! Графиня не велела убивать его... — При сих словах Ножов снова упал навзничь, закрыл глаза и страшно захрипел. Я не мог долее выдержать этого ужасного зрелища и вышел из острога.

— Вы знаете этого злодея? — спросил Петр Петрович.

— По несчастию! — отвечал я. — Завтра я расскажу вам подробности моего с ним знакомства; но теперь я так расстроен, что не могу собрать мыслей.

Петр Петрович проводил нас до дому. Я весь вечер не выходил из комнаты и провел ночь без сна, мучаясь нетерпением узнать от Ножова тайну моего преследования. Понутру я послал в острог узнать о здоровье несчастного, но мне сказали, что он испустил дух в ужасных мучениях, вскоре после нашего ухода.

Петр Петрович, которому я рассказал часть моих при-

лючений и который знал понаслышке Вороватина, советовал мне быть весьма осторожным при открывании тайны, чтоб не попасть в большую беду.

— Судебным порядком вы ничего не выиграете с Вороватиным,— сказал он,— потому что у вас нет свидетелей; Вороватин может сказать, что киргизы взяли вас в плен силою. К тому ж если вы замешаете в ваше дело какую-нибудь знатную фамилию, то не оберетесь от хлопот. Лучше всего старайтесь поразведать стороною, и если только узнаете имя своей гонительницы, то тайна откроется сама собою. Вы видели из примера Ножова, что дерзость порока и закоснелость в злодеянии кончится на одре болезни и в ту минуту, когда для добродетельного страдальца сияет в полном блеске надежда на лучшую жизнь и услаждает его последние минуты, для злодея вместе с гробом предстоит угрызения совести, ужаснейшие самых адских мук. Вороватин, при первой тяжкой болезни или при первой опасности, окажет столько же малодушия, как и все злодеи, и откроет вам истину. Закоснелому пороку есть конец — твердость свойственна одной добродетели!

ГЛАВА XX

ПОМЕЩИК, КАКИХ ДАЙ БОГ БОЛЕЕ НА РУСИ. КАКОВ ПОП, ТАКОВ И ПРИХОД

Поведением нашим и предстательством доброго Петра Петровича мы снискали благорасположение капитан-исправника, который иногда заходил к нам, приглашал к себе на чай и позволял отлучаться за город. Однажды, когда мы были у него с Петром Петровичем, речь зашла о том, как трудно земской полиции соблюдать порядок на обширном пространстве, в стране малонаселенной, пересекаемой непроходимыми болотами и лесами.

— Прощу поймать беглого,— сказал капитан-исправник,— если помещик и поселяне захотят скрыть его! Надобно несколько тысяч войска для поимки одного человека в лесу, простирающемся верст на полтораста!

— Вообще на помещиках лежит большая ответственность пред Богом, государем и отечеством за все, что делается в их поместьях,— сказал Петр Петрович.— От помещика зависит все счастье его поселян, их нравственность, просве-

шение и благосостояние, следовательно, от поместного дворянства в совокупности зависит нравственность, просвещение и благосостояние целой России. Правительство ничего не щадит, чтоб открывать дворянству все пути к просвещению и к благосостоянию. Ни один чадолюбивый отец не печется столько о воспитании и счастье своего любимого сына, как русские государи пекутся о русском дворянстве. Но неужели русское дворянство должно уподобляться тому человеку в притче Евангельской, который зарыл в землю талант, полученный им от господина для умножения его богатства? Дворянин, получая, должен делиться, должен водворять в народе привязанность к престолу, любовь к отечеству и своим примером побуждать к нравственности.

— Справедливо, — сказал капитан-исправник, — а в противном случае, дворянин похож будет на ту бесплодную смоковницу, о которой упоминается в Евангелии от Луки, в главе XIII. Дворянин, как избранный сын чадолюбивого отца, должен быть всю жизнь на службе, для исполнения воли и благих намерений общего отца России. Дворянин, проживая в своих поместьях, должен почитать себя в столь же действительной службе, как если б он заседал в Совете государством или предводительствовал войском. Дворянин есть первый полицеймейстер в своем поместье, сборщик государственных податей, надсмотрщик за исполнением земских повинностей, мирный судья между своими крестьянами, попечитель об их здоровье, охранитель их имущества, надзиратель приходского училища.

— Прекрасно, прекрасно, Петр Петрович! — воскликнул капитан-исправник и бросился обнимать Виртутина, примолвив: — Точно так! Земская полиция была бы тогда тем, чем она быть должна, властью исполнительною, которая по требованию помещика водворяла бы порядок и благочиние силою закона там, где бы не действовала сила убеждения!

— Так и будет со временем, — сказал Петр Петрович, — когда созреют плоды просвещения, беспрерывно насаждаемые мудрыми нашими монархами; когда мы будем иметь достаточное число отличных русских учителей для образования нашего юношества в русских нравах, а не на английский или французский манер.

— Уж мне эти русские чужеземцы сидят костью в горле! — сказал капитан-исправник. — Я более уважаю французского кучера или повара, нежели русского князька, подражающего лордам и маркизам в их причудах и странностях. Недавно поселился у нас в уезде, в своих поместьях,

молодой вертопрах, который почел себя обиженным по службе от того, что начальник сказал ему, что он не может занимать значительного места и получать наград потому, что не умеет написать трех строк с логикой и грамматикой. Князь Слабоголовин, прочитав несколько книжонок французских о политике, при помощи своего гувернера и подписываясь на несколько английских газет, вообразил себе, что он сам великий политик и рожден быть законодателем своего отечества. Вместе с парами шампанского он вбивал в голову своих незрелых товарищей правила филантропии и мудрость философического словаря Вольтерова и прослыл либералом, оратором, защитником человечества. Когда же он, споткнувшись на пути честолюбия, приехал в свою деревню, то — знаете ли, чем кончилась его философия?

— Без сомнения, он начал учреждать сельские школы, радеть о благе своих крестьян, — сказал Миловидин.

— Не тут-то было! — воскликнул капитан-исправник, громко засмеявшись.

— Правительство, пекущееся о благе подданных на деле, а не на словах, принуждено было взять в опеку имение красноречивого оратора человечества за жестокое обхождение с крестьянами и разорительное управление имением. Послушайте всех этих крикунов за вкусным обедом или на вечере, в толпе молодых людей: они вопиют о благе человечества, о законах; а дома у себя и в каждом месте, подчиненном их начальству, хотят быть самовластными пашами. Истинный друг человечества не кричит, не вопиет против законов и учрежденного порядка; но, сообразуясь с оными, делает столько добра, сколько может, а добра всегда и везде можно много сделать, была бы охота! У нас же еще много можно и должно сделать добра на практике, прежде чем придется подумать о теориях. Знаете ли что, Петр Петрович! Свозите этих господ к приятелю нашему, Александру Александровичу Россиянину. Вы увидите, какие у нас люди скрываются в захолустье. Я вам дам своих лошадей. Прогуляйтесь, господа; вы засиделись в нашем городишке!

На другой день, утром, мы отправились в гости к г. Россиянину, жившему в своей деревне, в 25 верстах от города. Проехав верст 15, мы заметили удивительное различие в обработке полей. Везде на низких местах выкопаны были каналы, для стока излишней воды с пашней. Поля были порядочно размежеваны и унавожены; луга очищены от кочек и бесполезных кустарников. На берегу крутого ручья, на пастбище сделан был, мощный камнем, спуск для поения стад, чтоб скотина

не вязла в грязи и не засыпала землю источника. Дорога по обеим сторонам усажена была деревьями; мостики были в исправности, и топкие места устланы фашинами.

— Примечаете ли, — сказал Петр Петрович, — что мы въехали во владения порядочного человека?

Приехав в деревню, Миловидин всплеснул руками от удивления и воскликнул: — Вот какова может и должна быть целая Россия!

Деревянные прочные избы выстроены были в один ряд, по обеим сторонам дороги. Окна обложены были разными украшениями, дворы все загорожены высокими заборами, с красивыми воротами с навесом. Дома построены были на некоторое расстояние один от другого, из предосторожности от пожара. Между домами находились садики с плодовыми деревьями. Позади крестьянских дворов были овощные огороды, а за ними гумны. В конце деревни возвышалась прекрасная каменная церковь, осененная высокими липами. Дом священника отличался чистотою и красивою наружностью. Возле церкви находилось несколько красивых домиков, для общественной пользы. В одном из них была учреждена госпиталь и аптека, в другом богадельня для безродных, хворых и престарелых, в третьем запасный сельский магазин и лавка с товарами, необходимыми в крестьянском быту, и с первыми потребностями жизни; в четвертом сельское училище и словесный суд. В конце деревни была кузница, а посредине большой колодезь. Поселяне обоего пола имели здоровый вид, и молодые женщины отличались красотою, ибо наружная красота бывает следствием довольства. Мы не встречали на улице ни грязных детей, ни оборванных баб, ни пьяных мужиков. Крестьянские лошади и скот были отличной породы, упряжь и земледельческие орудия в исправности. Мы вошли в один крестьянский дом, чтоб увидеть домашнее устройство. Дом был с подвалом и разделялся на две половины: светлую и курную. В первой, состоящей из трех перегородок, помещалось семейство хозяина, а во второй пекли хлеб, варили кушанье и поило для скота, просушивали мокрую одежду, возвращаясь с работы в ненастную погоду, и т. п.

— Я знаю некоторых помещиков, — сказал Миловидин, — которые, прельстясь иноземщиною, вздумали строить для русских мужиков немецкие дома и требовать от них такой же чистоты, как в Германии. Это невозможное у нас дело и не только не составляет счастья поселянина, но стесняет его в жизни. Наш климат и местные обстоятельства требуют другой постройки домов, чем в Германии и Англии. Каменных об-

ширных домов для поселян у нас строить невозможно, потому что не везде есть материал для этого, что содержание дома стоит дорого и что у нас поселяне не живут большими семьями, а потому и не имеют нужды во множестве комнат, которые должно отапливать, в большей части России, 8 месяцев в году. Без курной избы также трудно обойтись русскому крестьянину в нашем сыром и холодном климате, в северных губерниях; без этого он не будет иметь места, где обсушиться. Желание добра часто не приносит пользы, если выполнено без познания местностей. Но этот г. Россиянинов, видно, мастер своего дела.

В сенях мы увидели лапти.

— Вот это отзывается еще варварством, — сказал Миловидин. Петр Петрович рассмотрел прилежнее эту обувь и сказал:

— Это не лапти, а шмоны¹, то есть обувь из пенки. Употребление лаптей невыгодно потому более, что этим истребляется много леса.

— Когда ваши мужики носят шмоны? — спросил он у крестьянина. — Я вижу, что на улице они все в сапогах.

— На рыбной ловле, родимой, в мокрое время на лугах да в лесной работе: ведь сапогов-то не наносишься; да и ноги-то не убережешь в сапоге так, как в смоленом веревочном лапте.

— Видите ли, что они употребляют эту обувь только при работе, и она гораздо удобнее деревянных башмаков французских и немецких поселян. Если крестьянин, будучи в довольстве, не отказался от этой обуви, то это знак, что она ему полезна и удобна.

Вокруг крестьянского двора был навес, где стояли телеги, сани, сохи и бороны и где ставили лошадей на время. В конце двора были хлева и конюшня, а за домом баня. Я спросил у хозяйки, чем они зимою освещают избу.

— Соседи наши, — отвечала она, — крестьяне других помещиков, жгут лучину, батюшка, а мы освещаем избу ночником с конопляным маслом. Ведь конопляного-то масла не покупать стать, родимой; а у нас всякая баба сама делает масло из семени.

— Есть ли у вас питейный дом в селе? — спросил Миловидин.

— Избави Бог от этого, отцы родные! — отвечала поселянка.

— В старые годы, при старом господине, был здесь пи-

¹ Областное выражение, которого нет в словарях.

тейный дом: так мужики только и знали, что пировали в праздничные дни да опохмелялись в будни. А ныне, слава Богу, вывелось это. И священник-то наш, дай ему Господь здоровья, толкует нам в церкви, что великий грех упиваться вином, и подлекарь наш говорит, что с вином жить не долго, и господин наш запрещает пить и не любит пьяниц; так пьянство-то и вывелось, а за этим и копейка не так скоро катится из дому. Иное дело Светлый праздник, или свадьба, или крестины, тогда варят пиво, а вино сам барин отпускает со двора. В осеннюю работу или зимой барин также велит рабочим людям пить по чарке вина, но не больше. Дай Бог ему здоровья — отец родной, а не господин!

Верстах в пяти от деревни, на возвышенном берегу реки, стоял господский дом, деревянный на каменном фундаменте, покрашенный зеленою краскою, с красною кровлей. Позади дома, к реке, простирался обширный сад. Вокруг двора расположены были хозяйственные заведения. Соразмерность частей составляла все достоинство архитектуры, чистота и прочность — все наружное украшение зданий. На крыльце встретил нас слугитель, одетый чисто, хотя весьма просто. Он сказал нам, что сам хозяин поехал в поле, а хозяйка присутствует при уроках своих дочерей. В комнате встретил нас старший сын хозяина, юноша лет шестнадцати, и просил нас подождать терпеливо, пока мать его кончит свое занятие. Высокий рост юноши, румяные его щеки и ловкость показывали, что об его физическом воспитании имели столько же суждения, как и о нравственном. Петр Петрович, который был коротко знаком в доме, предложил нам осмотреть комнаты и сад. Сын хозяйский, Алеша, взялся быть нашим путеводителем. Прошед чрез три гостиные комнаты и залу, которых все убранство составляла необыкновенная чистота, мы вошли в кабинет г. Россиянинова. Это была обширная комната, вокруг которой стояли огромные шкафы с книгами на латинском, греческом, французском, немецком, английском, итальянском и русском языках. Посреди комнаты находились три стола; на одном лежали новые журналы и газеты, на другом бумаги, на третьем новополучаемые книги. В другой комнате, прилегающей к кабинету, находились, в шкафах же, физические инструменты, химические аппараты, модели разных машин; на столах стояли глобусы; на одной стене развешены были географические карты. Небольшой шкафчик вмещал в себе собрание минералов.

— Здесь пахнет Европою! — сказал Миловидин.

Из этой комнаты мы вошли в сад. В нем не было ни ис-

кусственных прудов, заражающих воздух вредными испарениями, ни дорогих мостиков на суше, ни причудливых беседок варварской архитектуры, ни новых развалин. Сад наполнен был плодовыми деревьями и разными ягодами, посаженными с необыкновенным искусством. Ореховые и липовые рощицы доставляли приятное убежище в жаркие дни, а большая аллея вокруг сада, осененная высокими деревьями, служила для прогулки. В куртинах устроены были качели и разные игры для детей. В конце сада, на полуденной стороне, находилась оранжерея, не большая, но прекрасно устроенная.

— Это уж роскошь! — сказал Миловидин.

— Роскошь, не только извинительная, но даже полезная, — отвечал Петр Петрович.

— Может ли быть что приятнее для северного жителя, как лелеянные нежных произведений благословенных климатов? Самое воззрение на разнообразие, богатство и щедрость природы возвышает душу и сближает человека с Творцом. Среди этих растений различных стран мысль летает по земному шару. Скажу более: зачем лишать себя удовольствия отведать иногда нежных плодов, в которых нам отказала северная природа? Это не есть удовлетворение постыдного обжорства, но успокоение позволительного любопытства. Впрочем, мне кажется, что гораздо лучше заниматься воспитыванием растений, нежели держать в неволе множество животных и травить слабых зверей.

Вдруг послышался голос позади нас. Мы увидели человека с веселым и здоровым лицом, в сафьянном картузе и зеленом камлотовом сюртуке, который поспешал к нам. Это был сам хозяин.

— Здравствуй, друг! — сказал он, простирая руку к Петру Петровичу, который представил нас хозяину и в кратких словах рассказал наши похождения.

— Я уже слышал отчасти, — примолвил хозяин. — Здесь поневоле услышишь то, чего бы и не хотел слушать. Словесные газеты у нас в лучшем обращении, нежели печатные. Если кто хочет знать истину, тот должен верить только сотою части провинциальных вестей. Мне рассказали, что двое русских дворян прибыли чрез киргизскую степь из Индии, где один был владетельным князем, а другой его министром, и что они привезли с собою целые бочки червонцев и целые возы шалей. Я уверен, что если эта весть долетит до другой губернии, то одного из вас произведут в Великие Моголы, а другого в страшные завоеватели; сокровища ваши умножатся до миллионов червонцев и бочки наполнят-

ся бриллиантами. Но милости просим в комнаты. Пора обедать.

В комнатах любезный хозяин представил нас своей жене и двум дочерям, из коих старшей было четырнадцать, а меньшей двенадцать лет от рождения. Меньшой сын был лет десяти. К удивлению нашему, хозяйка заговорила с нами по-русски и вовсе не была разряжена в деревне как на куртаге, хотя принимала в доме своем в первый раз гостей, которые прослыли миллионщиками. Хозяин представил нам также учителей детей своих; француза мосье Энстриуи и немца г. Гутмана, которых он назвал своими друзьями. Мне показалось странным, что г. Россиянинов, которого Петр Петрович описал мне необыкновенным патриотом и врагом иноземного воспитания, держит у себя чужеземцев, для образования своих детей. Петр Петрович приметил мое удивление из косых взглядов, которые я бросал на чужеземцев, и сообщил мое наблюдение хозяину. Г. Россиянинов вывел меня и Миловидина в другую комнату и сказал:

— Не удивляйтесь, господа, что я употребляю иноземцев при воспитании своих детей. Поверять юношей безусловно на руки иноземцев есть величайшая глупость наша, от которой произошло все зло для русского дворянства; от сего оно сделалось почти чужеземною колониею в России, не зная почти языка отечественного, ни обычаев, ни истории, приучившись от детства любить все французское и английское и презирать все русское. Но употреблять иноземцев под надзором родителей можно и должно, избирая для этого людей почтенных нравственным своим характером и образованием, а не искателей приключений, не шарлатанов. Без познания чужеземных языков человек никогда не может образоваться, как прилично европейцу. Другие народы опередили нас в просвещении и имеют более средств подвигаться беспрестанно вперед, на поприще наук. Переводить все, что появляется важного и любопытного в чужих краях, невозможно. Выдумывать самим то, что давно уже открыто и обдуманно, было бы смешно, итак, надобно приобрести легчайшее средство одним взглядом обнимать обширное царство просвещения, и это средство есть познание чужеземных языков. Зная многие языки, вы делаетесь гражданином мира: согласитесь, что прежде надобно быть *человеком*, а потом уже русским или французом. Я люблю Россию более моей жизни; желаю ей блага более, нежели собственным своим детям, и готов принести ей в жертву жизнь мою и детей моих, имение и все блага жизни, но из этого не следует, что я должен не любить иностранцев и не пользоваться произведениями их ума и промыш-

ленности. Это было бы варварство, достойное турок, китайцев и алжирцев. Первые предметы при воспитании моих детей суть познание отечественного языка, истории и статистики России, и первое и главное мое старание состоит в том, чтоб вперить в детей моих беспредельную привязанность ко всему отечественному. Этим занимаюсь я сам. При всем этом я не скрываю пред ними, чего нам недостает еще к достижению той степени образованности, на которой находятся другие народы, а напротив того, возбуждаю желание стремиться к возвышению отечества распространением в оном всего доброго и полезного. Теперь домашнее воспитание моего старшего сына кончено, и я будущей зимою отправляю его в университет.

Нас позвали к столу, и г. Россиянинов прекратил свое объяснение.

Обед состоял из четырех блюд, приготовленных со вкусом и изобилием. Вина не лились чрез край, как говорится; но после каждого блюда всем собеседникам (исключая детей и дам) наливаемо было по большой рюмке отличного вина. Кроме того, на столе стояли графины с водою, легким пивом, квасом, яблочником и вкусным питьем из разных ягод, которое искрилось и пенилось в рюмке как шампанское и показалось мне гораздо вкуснее вина. Для десерта подали прекрасные, спелые плоды. Кроме семейства г. Россиянинова, двух учителей и нас, за столом было двое отставных за ранами, пожилых офицеров, две старушки, дальние родственницы хозяйки, и приходский священник. Я с удовольствием заметил, что всем гостям и домашним, без исключения, подносили одни блюда и всех потчевали одним вином. Это не всегда делают господа, дающие за своим столом место бедным людям. Г. и г-жа Россияниновы, напротив того, обходились с ними необыкновенно вежливо, и хозяин не изощрял своего остроумия на счет бедных людей, которым он предложил гостеприимство.

За столом разговор был общий. После обеда мы все вышли в сад и в ожидании кофе поместились под тенью густых лип. Вдруг у Миловидина навернулись слезы на глазах. Все обратили на него внимание с участием, и хозяева пришли в беспокойство.

— Вам грустно? — сказала хозяйка.

— Нет, сударыня, это слезы умиления, а не грусти. Я восхищаюсь семейным вашим счастьем, благополучием ваших крестьян, порядком, устройством вашего имения и радуюсь, что вы русские!

Хозяин пожал руку Миловидина и примолвил:

— Ваша правда: мы, или, по крайней мере, я, счастлив моим семейством!

Г-жа Россиянинова, вместо ответа, с нежностью поцеловала своего мужа, дети бросились ему на шею, восклицая:

— Папенька, ты составляешь все наше счастье, всю нашу радость!

Один из отставных офицеров пожал руку г-на Россиянинова, другой возвел взоры на небо и перекрестился; воспитанницы бросились целовать руки почтенных супругов. Старый служитель, принесший кофе, прослезился в молчании. Г. Россиянинов был тронут до глубины сердца.

— Вы видите теперь, счастлив ли я! — воскликнул он.

— Может ли быть блаженство выше, как быть любимым добрыми существами? Не подумайте, однако ж, чтобы счастье стоило мне больших трудов. Нет, это милость Провидения, за которую я не перестаю благодарить Его. Я старался только по возможности исполнять мои обязанности, — ничего более. Если вы любопытствуете, я в кратких словах расскажу вам мою историю.

Отец мой служил в морской службе, женился по любви и не имел никаких способов к содержанию своего семейства, кроме своего жалованья. Он дослужился до генеральского чина в сем положении дел и потому не мог дать мне и двум моим сестрам блистательного воспитания. Храбростью своею он приобрел богатство, взяв несколько богатых призов в Турецкую войну. Расстроенное его здоровье не позволяло ему служить далее: он вышел в отставку, купил это имение, состоящее в 500 душах, и поселился в деревне. Сестры мои вышли замуж, как скоро родители в состоянии были дать им хорошее приданое. Я определился в гвардию, но имел несчастье ушибиться, упав с лошади, и должен был, по совету врачей, выйти в отставку. Мне тогда было не более 19 лет от роду. Мне советовали прожить несколько лет в теплом климате, для укрепления сил и пользования минеральными водами. Я употребил это время на образование себя и слушал курсы в Болонском университете, а потом довершил свое перевоспитание в Париже. Возвратясь в отечество с восстановленным здоровьем и новыми познаниями, я хотел быть полезным отечеству службою гражданской. В это время я имел несчастье лишиться моих родителей и остался одинок в свете. Прослужив несколько лет в незначашей должности и видя, что ни старания мои, ни усердие и, смею сказать, ни способности и познания высшие, нежели познания моих товари-

щей, не могли выдвинуть меня из толпы, я стал охладевать в моей ревности к общей пользе. Один старый приятель моего отца, которому я жаловался на мое положение, вывел меня из заблуждения и указал истинный путь к счастью.

— Любезный друг! — сказал он мне однажды. — Ты не имеешь никаких родственных связей, не принадлежишь к числу тех счастливых, которых все достоинство состоит в имени, следовательно, ты вечно будешь осужден вывозить на своих плечах, из канцелярской грязи под гору фортуны, чужую неспособность, для увенчания ее твоими заслугами. Надобно дожидаться необыкновенного случая, одного из тех чудес, которое записывается в календарях, чтоб лучи солнца проникли сквозь густую атмосферу *племянничества* (*népotisme*) и озарили тебя, безродного дворянина. Бывают примеры, не спорю, но на это надобно железное терпение, а у тебя его нет. Чего ты ищешь? Быть полезным государю и отечеству; не правда ли? Средство у тебя в руках. Ты имеешь 500 душ крестьян. Посвяти себя их счастью. Верь мне, что тебе долго ждать, чтоб достигнуть до такого места, где б счастье 500 душ мужеского и, вероятно, стольких же женского пола зависело от твоей воли. Ты хорошо учился, много читал, путешествовал, следовательно, имеешь много способов устроить твое хозяйство, сделать благополучными твоих крестьян, и, что более, быть примером для других. Хозяйство есть вещь нетрудная, и твой староста, при познании местных обстоятельств, будет тебе полезнее, нежели два курса агрономии. Главное дело, соразмерять расход с приходом и все излишнее, остающееся от необходимого, употреблять на улучшение имения и благосостояния крестьян. Ограничь нужды твои, отбрось прихоти, и ты будешь иметь излишнее; употреби излишнее на полезное, и оно принесет тебе довольство, спокойствие и счастье!

Подобно слепому от рождения, который, прозрев после счастливой операции, восхищается и удивляется видом предметов, о которых он имел превратное понятие, я прозрел умом от слов истинного моего друга.

— Вот дочь его! — примолвил г. Россиянинов, указывая на жену свою. — Я женился, вышел в отставку и поселился в деревне. Отец мой, будучи стар и хвор, в то время, когда удалился в деревню, не мог сам заниматься хозяйством и оставил мне имение в таком виде, как купил. Поля были не удобрены, крестьяне в бедности и в полудиком состоянии, в отношении к нравственности. В 20 лет, при помощи Божьей и при усердных наших с женою трудах, мы успели довести

именно до такого состояния, в каком вы его видите. Я не имел капиталов и усердствовал именно из одних доходов, постепенно, поспешая без торопливости, занимаясь сперва существенным. Бог благословил мои начинания. Ныне все молодые люди в моем имени знают грамоту и постигают свои обязанности в отношении к Богу, к государю, к помещику и к своим равным. Без грамоты, господа, невозможно посеять ни нравственности в народе, ниже возбудить понятия об его обязанностях к властям, для собственного же блага. Людей нельзя обучать по слуху и по привычке, как дрессируют пуделей. Надобно, чтоб человек мог *читать*: тогда только он будет *помнить*; и кроме того, время, употребленное на чтение, не есть потерянное, ибо большая часть людей только от праздности предается разврату. Добрые мои крестьяне вскоре постигли, что я желаю им добра, и усердно принялись помогать мне. В этом я обязан также и почтенному нашему священнику, который, при всей своей бедности, вел себя таким образом, что крестьяне не могли не уважать его. Он не участвовал в их пиршествах и забавах, но посещал их только для подания духовной помощи, для совета, увещания или исполнения церковного обряда. Почтенный пастырь в поте чела снискивал свое пропитание, обрабатывая небольшой участок земли; но кроме положенного по закону, никогда не брал ничего от поселян. Он мирил ссоры, сам никогда не подавая повода к неудовольствию, и пресекал своим присутствием все непристойные шутки, а не возбуждал их. Одним словом, отец Симеон был и есть таков, каким быть должно сельскому священнику: кроток, воздержан, человеколюбив и важен в обхождении. Вы видели его за столом, господа. Теперь состояние его улучшилось, вместе с состоянием всех нас. Я полагаю первым долгом помещика привести священника в такое состояние, чтоб он мог жить, не заимствуясь ничем от крестьян: тогда только он будет уважен прихожанами и может действовать на их нравственность.

Следуя совету моего тестя, я начал хозяйничать не на английский или немецкий манер, но сообразуясь с нашим климатом, с почвою земли и обычаями. Все нововведения не иначе приводимы были мною в исполнение, как после многих опытов. Наконец, все мы обстроились, удобрили свои поля, и теперь только остается нам поддерживать то, что мы сделали.

Мы провели время в обществе доброго г-на Россиянинова и его семейства самым приятным образом и при закате солнца отправились в город, хотя хозяева старались удерж-

жать нас. Я торопился в город, ибо завтрашний день был почтовый, и я с нетерпением ожидал писем из Москвы. Мы обещались в другой раз приехать на несколько дней к почтенному Александру Александровичу и отправились с грустью в сердце, как будто из родительского дома. Когда мы выехали за ворота, Миловидин перекрестился и, возведя взоры к небу, произнес:

— Господи, благослови Россию и дай ей поболее таких помещиков!

ГЛАВА XXI

УДАЛОЙ ПОМЕЩИК СИЛА МИНИЧ ГЛАЗДУРИН

Мы поехали другою дорогой, чтоб сократить путь. Выехав из поместья г-на Россиянина и приближаясь к роще, мы слышали звук охотничьих рогов, лай собак и клики охотников. Вдруг из опушки леса выскочила лисица и помчалась чрез пашню, засеянную хлебом. Вскоре за нею показалось несколько борзых собак и с дюжину всадников. Один из них скакал стремглав впереди, без шапки, с развевающимися волосами, в длинных усах, кричал как иступленный: *ату ево! ату ево!* — хлопал арапником и шпорил своего коня. Лисица, чтоб избежать неминуемой гибели, изворотами, как то бывает и с людьми, вдруг повернула на большую дорогу; собаки и охотники устремились за нею, настигая утомленное животное. Наконец лисица, перепрыгнув через ров, бросилась прямо под ноги наших лошадей: собаки за нею, и поймали. Неистовый охотник, как вихрь, перелетел через ров и, видя, что собаки терзают лисицу, стал их стегать арапником с ужасным криком. Наши лошади испугались и начали становиться на дыбы, лишь только под их ногами раздались визг и грызня собак, но когда охотник ударил их арапником по ногам, они бросились в сторону, бричка наша опрокинулась и мы упали в ров.

По счастью, мы не ушиблись, но только попали по шею в грязь и не могли освободиться из-под брички. Мы лежали под нею, как мухи под стаканом. Вокруг нас раздавался крик и хохот. Миловидин ужасно сердился и говорил, что он разможит голову негодяю, который был причиною нашего несчастного приключения. Я проклинал охоту и охотников, а Петр Петрович молчал. Наконец бричка начала шевелиться над нами. Охотники своротили ее на бок, и мы вылезли из

рва, мокрые и грязные, как раки. Человек двадцать охотников собралось на большой дороге, и один из них, тот самый, который был впереди, подошел к нам и, прохохотав громко, сказал: «Извините, господа! Виноваты мои борзые. Не будь я Сила Глаздурин, если в целой России есть такие собаки, как мой *Залет* и моя *Винтовка*. Проклятая лисица бросилась под ноги ваших лошадей, а *Залет* и *Винтовка*, хоть из волчьих челюстей, добудут дичь!» Петр Петрович шепнул Миловидину, чтоб он не сердился и не бранил счастливого хозяина *Залета* и *Винтовки*, а я с удивлением смотрел на этого чудака. Круглое, красное его лицо покрыто было крупным потом и пылью. Между длинным красным носом и толстыми губами помещались длинные русые усы, как два беличьи хвоста. На всклоченных волосах надет был небольшой смятый кожаный картуз зеленого цвета. Одет он был в короткий зеленый стамедный чекмень и в пестрые шаровары. В наружном боковом кармане была у него трубка, чрез правое плечо на ремне висел охотничий рог, а чрез левое баклага, обтянутая в сафьян. В левой руке он держал арапник, а правую протянул к Петру Петровичу и снова завел речь:

— Дай руку, брат, и не сердись. Велика беда, что вы полежали во рву! Да здесь нет рва и ямы на 20 верст кругом, где б я ни валялся, гонясь за зайцами и лисицами. А вы, братцы, что на меня смотрите как на зверя? — примолвил он, взглянув на меня и на Миловидина. — Полно сердиться! моя ли вина, что вы попали в грязь? По мне, так я лучше бы хотел окунуть вас в пунше. Ведь на грех мастера нет!

При сих словах Глаздурин, взяв свою баклагу, потянул из нее, потом снял с плеч и, подавая Петру Петровичу, сказал:

—пей, брат, славная анисовка! Это освежит вас.

Петр Петрович отдал ему обратно баклагу и от имени всех нас отвечал:

— Милостивый государы! неосторожность ваша причиною нашего несчастного приключения. Но как вы это сделали не с умыслу, то мы охотно извиняем вас и просим, чтоб вы, в награждение за претерпенное нами от вашей страсти к охоте, дали нам во что переодеться и немедленно отправили в город в своем экипаже.

— Изволь, любезнейший! — воскликнул Глаздурин. — Дам мою московскую коляску и шестерку моих диких киргизов. Дом мой в трех верстах отсюда, садитесь на лошадей

моих охотников, и едем сей же час. Да пейте же; ей-ей, славная анисовка!

— Мы вовсе не пьем водки,— сказал Миловидин.

— Как водки не пить, пустое! — воскликнул Глаздурин. — Стыдитесь, ведь вы не красные девицы!

Мы снова отказались, тогда Глаздурин стал потчевать своих товарищей, представляя нам поодиночке человек десять окрестных дворян, называя каждого по имени и по отчеству. После того он спросил нас:

— А с кем имею честь познакомиться: нельзя ли узнать чин, имя и фамилию? Да из каких мест изволите быть? Кажется, вы не здешние?

Петр Петрович, опасаясь, чтоб Миловидин в гневе не сказал неприятностей Глаздурину, взялся отвечать за всех.

— Эти господа (он назвал нас по фамилиям) приехали в наш город по своим делам, а я уже три года живу в нем и удивляюсь, что ни вы меня не знаете, ни я вас не имел чести видеть до сих пор, почтенные господа.

— Да вы разве не бываєте в трактире у немца Шнапса? — спросил один из приятелей Глаздурина.

— Нет, но я знаком во многих домах,— отвечал Петр Петрович.

— Мы не разъезжаем по домам в городе,— возразил Глаздурин. — С подьячими управляют наши поверенные, а с своей братьей встретиться на медвежьей или волчьей охоте да на выборах. Да выпейте, братцы, анисовки; право, чудесная!

На повторенный наш отказ Глаздурин воскликнул:

— Пойдите же, я вас употчую дома такими наливками, каких нет в целой губернии. Жена моя сама их делает. Она воспитывалась в Петербурге и сперва было падала в обморок от запаха винного спирту и табачного дыму, а наконец я ее так нашколил, что теперь едва сама со мною не курит и с утра до вечера только и работы, что делает для меня наливки да настойки. Но пора домой. Гей, народ! оботрите травую грязь с господ. Филька *сиволаный*, Сенька *косой* и Митька *рыжий*, ступайте пешком домой. Лаврушка пострел, скачи в лес да труби позыв. Собак смыкай, и домой! Мужики пусть также идут по домам, а послезавтра чем свет — все в поле. Надобно обступить рощу, что за Сидоровым полем, да пустить собак. Петрушка видел свежий волчий след, три дня сряду. Подавай лошадей. Господа, в поход!

Заднее колесо и ось у нашей брички были сломаны. Охотники подвязали жердь и бричку потащили в кузницу. Мы

поехали с Глаздуриным верхами на охотничьих лошадях. Один из гостей предложил ехать через поле.

— Какой ты, брат, хозяин, Анисим Степанович! — сказал Глаздурин. — Другое дело, проскакать по хлебу, гоняясь за зверем, тут и греха нет; иное дело, когда нет нужды. Нет, поедем дорогою, а между тем молодцы мои распотешут вас. Гей, ребята, гаркните-ка: во лузях!

Лишь только охотники пропели песню, Глаздурин остановился, и мы все последовали его примеру.

— Сафрон, подай-ка *свежей* анисовки! — сказал Глаздурин. Один из охотников отвязал от седла баклагу и подал своему господину, который, напившись водки, стал потчевать своих товарищей.

— На охоте надобно пить, — сказал Глаздурин, обращаясь к Миловидину. — Водка укрепляет силы и *освежает* кровь.

— Напротив того, кажется, спирт горячит кровь и ослабляет тело, — возразил Миловидин.

— Пустое, брат, пустое! — воскликнул Глаздурин. — То ж твердит и немец доктор, да мы его не слушаем. Мусье Вассерброд водки в рот не берет, а чахл и сух, как запаленная лошадь; Сила Глаздурин пьет водочку, как и все грешные, а здоров и силен, как трехгодовалый медведь. Не верь, брат, немцам. Они хотят только сбывать с рук свой товар, и мусье-то Вассерброд от того хочет поить меня декоктом, вместо водки. Да, Сила Глаздурин себе на уме. Труби в рога, марш в галоп!

Надобно с волками выть по-волчьи. Мы пустились в галоп за толпою. Подъезжая к деревушке, мы встретили тощее стадо, возвращающееся с поля. Борзые, которые были спущены со свор, бросились на баранов и растерзали пару на месте. Пастух не смел отгонять барских собак, и охотники остановились, чтоб насладиться этим зрелищем, которое приводило в восхищение Глаздурина.

— Браво, Залет! ай да Винтовка! ату ево, ату ево! — кричал он изо всей силы. Когда эта травля кончилась, мы въехали шагом в деревню, принадлежащую Глаздурину.

Первое, что нам бросилось в глаза, был питейный дом, возле которого толпились крестьяне.

— Вы позволяете содержать кабак в вашей вотчине? — сказал Петр Петрович.

— Какой вопрос! — воскликнул в удивлении Глаздурин. — Ведь за это откупщики платят, так, по мне, хоть на носу заводи кабак!

— Убедительная логика,— сказал мне Петр Петрович.

Деревня Глаздурина составляла совершенную противоположность с деревней г-на Россиянинова. Здесь лачуги были полуразрушенные, дворы полуогороженные, соломенные крыши в некоторых местах светились насквозь. Улица была непроходима от грязи. Полунагие ребятишки, завидев нас, с воплем бежали в избы, боясь собак и арапников. Мужики были оборваны и имели угрюмый, неприятный вид; женщины были в рубищах, и от того почти все казались дурными. Правда, несколько приятных лиц показались из окон и несколько красивых девок, одетых довольно пестро, выбежали за ворота при нашем приближении, чтоб поклониться Глаздуру, который весьма фамильярно здоровался с ними и грозил им пальцем с улыбкою. Выехав за деревню, мы увидели в стороне господский двор. Глаздури велел трубить в рога и скомандовал в галоп, и мы пустились во всю конскую прыть. Прискакав на двор чрез полуразрушенные ворота, мы остановились, а Глаздури из молодечества вскочил на коне на шаткое крыльцо и въехал в сени. Толпа оборванных слуг встретила нас. Трудно было догадаться, какой цвет имела ливрея и какой металл употреблен был на галуны, которые от древности украшали лохмотья, в виде бахромы. Глаздури едва переступил через порог, как поднял ужасный крик и стал бранить всех, что на стол не накрыто. Дворецкому погрозил конюшню, лакеев разогнал толчками, а жену попотчевал за глаза несколькими изречениями, которые еще ни разу не появлялись в печати. В доме засуетились: слуги, служанки и собаки бегали с шумом по комнатам, двери хлопали, стулья трещали, и среди этой суматохи раздавалась брань Глаздурина, как команда корабельного капитана во время штурма. Наконец накрыли на стол и подали поздний охотничий обед. Гости собрались в залу, и г-жа Глаздурина, прекрасная, молодая женщина, появилась с двумя дочерьми, от 7 до 9-летнего возраста. Хозяин не заботился о том, чтоб представить нас жене своей; он только тащил всех к столу, на котором стояли графины с водкою, и рекомендовал всем свою любимую анисовку. Мы сами подошли к хозяйке и рассказали, по какому случаю попали к ней в дом, дав почувствовать осторожно, что мы не принадлежим к числу приятелей хозяина, познакомившись с ним на большой дороге. Едва г-жа Глаздурина промолвила несколько слов, Виртутин воскликнул:

— Как, вы не узнаете меня, Анна Львовна?

— Это вы, Петр Петрович!

Пошли объяснения, и мы узнали, что Петр Петрович был другом отца хозяйки и носил ее на руках. Хозяйка чрезвычайно обрадовалась этой встрече и даже прослезилась при воспоминании о прошедшем, которого Виртутин был свидетелем. Глаздурин, вместо нежностей и вежливостей, схватил Петра Петровича за руку и, потащив к столику, воскликнул:

— Да выпей анисовки, старый приятель моего тестя!

Когда попросили садиться за стол, все гости бросились на тот конец, где помещался сам хозяин, избегая соседства дамы, как будто какой неприятности. Мы хотя были не голодны, но сели за стол возле хозяйки. Стол окружали слуги, выстроившись в одну шеренгу. На каждого собеседника приходилось по два лакея; они поспешали только прибирать тарелки, на которых оставалось кушанье, и весьма медленно исполняли приказания гостей. Собаки теснились под столом и вокруг собеседников, чтоб полакомиться костями, которыми их потчевали охотники. Стол уставлен был разного рода наливками, которые хозяин рекомендовал гостям весьма усердно и пил еще усерднее для прихочивания приятелей. Разговор был самый занимательный и жаркий. Каждый хвалил своих собак, лошадей, свои ружья и своих охотников, рассказывая любопытные анекдоты о травле зайцев и лисиц, о знаменитых победах, одержанных над волками и медведями. Каждый хвастал своею ловкостью, неустрашимостью, исчисляя опасности, случившиеся с ним на охоте. Но Глаздурин если не переспорил, то перекричал всех и остался победителем в споре. Но как один из гостей никак не хотел уступить, утверждая, что его собака лучше *Залета* Глаздурина, то положено было после обеда разыгаться в карты, чтоб обе славные собаки принадлежали одному лицу, для уничтожения всякого соперничества.

Встав из-за стола, гости перешли в другую большую комнату, куда принесли трубки и кофе. Вдруг дверь с шумом отворилась и вбежала толпа цыган и цыганок, с балалайками, наигрывая и напевая: *«Ай жги, ай жги, говори!»* Не ожидая приказания, одна половина цыган и цыганок пустилась плясать, а другие, встав в кружок, начали петь плясовую песню, с аккомпанементом балалаек, вскрикиванием и свистом. Гости, развалясь на диванах с трубками, восхищались ловкостью плясунов и цыганских красавиц, а Глаздурин гордо похаживал вокруг пляшущих и прикрикивал:

— Славно, славно, лихо, чудо, шибче!

Петр Петрович, Миловидин и я пошли в гостиную, где хозяйка сидела одна.

— Извините нескромность, — сказал Виртутин, — но мне, право, непонятно, как вы, будучи воспитаны для жизни тихой, для высшего круга общества, можете переносить этот кордегардный тон ваших гостей и буйную жизнь вашего мужа?

Хозяйка покраснела и, помолчав немного, отвечала:

— Это правда, что муж мой несколько *шумен*, но он человек не дурной, и образ жизни его есть следствие воспитания и дурных примеров. Он остался сиротою в малых летах и попал в опеку к дяде, который был уверен, что дворянину более ничего не надобно знать, как подписывать свое имя и быть хорошим псовым охотником; что не только земля, но и светила небесные созданы для удовольствия дворян и что жить значит: есть, пить и веселиться. Однажды губернатор, будучи недоволен им, когда он был по выборам судьей, спросил его в Дворянском собрании: «Скажите, Фрол Тимофеевич, для чего дана человеку голова?» — «Для шапки и для хмелю», — отвечал преважно почтенный дядюшка. Поэтому вы можете судить, какое воспитание должен был получить мой муж под надзором такого опекуна и наставника. Необыкновенный случай, или, лучше сказать, судьба, соединила меня с Силою Миничем. Вы знаете, что отец мой жил одним жалованьем и что сама покойная матушка занималась моим воспитанием. По смерти моих родителей, меня взяла к себе тетка моя, вдова, которая любила меня с нежностью матери. Она была недостаточного состояния и жила, по кончине своего мужа, в небольшой деревушке, в здешнем уезде. Покойный муж ее должен был дяде моего мужа сумму, которой она никогда не была бы в состоянии уплатить и лишилась бы последнего убежища на старости, если б муж мой, получив в наследство векселя, представил их ко взысканию. Посещая мою тетушку, он полюбил меня и предложил мне свою руку. Я... но зачем продолжал объяснения — я вышла за него замуж, и векселя были уничтожены. Доставив спокойствие моей благодетельнице, я счастлива. Впрочем, муж мой любит меня, и долг мой... сносить терпеливо небольшие его слабости. Все мы имеем свои недостатки!

Глаздурин вошел в комнату.

— Ашенька! — сказал он. — Поди-ка да вынь из комода две тысячи рублей.

Мы пустились в *картеж*. Я проиграл тысячу рублей Травлину, да зато выиграл у него чудесную собаку, *Вихоря*. Он в

отчаянные, а я намерен праздновать это происшествие. Теперь у меня две первые собаки в целой России! Да сделай нам, Ашенька, пуншу, покрепче. А вы, господа, что сидите как постники и не хотите веселиться? Банчик порядочный — приставьте!

Мы поблагодарили хозяина и просили позволить нам удалиться на покой. Мы обедали очень поздно и, будучи измучены приключением того дня, вознамерились лечь спать, чтоб отделаться от привязчивости хозяина и чтоб не быть свидетелями его шумного веселья. Нам отвели комнату во флигеле.

— Глаздури́н и его приятели суть гири, удерживающие стремление России на пути к образованности, — сказал Петр Петрович. — Одна польза от них: пример. Точно так, как на общественной трапезе в Спарте, кругом столов водили пьяного Илота, чтоб показать юношеству гнусность сего порока, мы должны указывать на Глаздурина с братьей, чтоб отвлечь от подобной ничтожной жизни людей, которые еще сами не превратились в зверей на вечной охоте и у которых кровь не сделалась наливкою.

Всю ночь раздавались в комнатах песни, стук и крик. Когда цыганы утомились, Глаздури́н велел своим охотникам петь песни, а служанкам и деревенским девкам плясать. Глаздури́н проиграл в ночь несколько тысяч рублей, коляску, в которой обещал нас отправить в город, и шестерку лошадей; но он был чрезвычайно весел и доволен, выиграв *Вихоря*, и праздновал это приобретение пышнее, нежели рождение первого своего сына. С восхождением солнца тишина водворилась в доме.

Мы хотели уехать, не простясь с хозяином, но бричка наша еще не была готова и нам надлежало ждать противу воли. Около полудня Глаздури́н проснулся, и мы, прогуливаясь по двору, встретили его возле конюшни. Охриплым голосом он подозвал нас к себе и насильно потащил в конюшню, где мы должны были выслушать повествование о качестве каждой лошади и быть свидетелями, как он целовал и стегал хлыстом каждую из них. Потом он повел нас в комнаты к завтраку, где мы нашли уже всех гостей, бледных, с красными глазами. Дрожащею рукой принялись они за разноцветные водки и соленые закуски, и вскоре крепость спирта восстановила расслабленные их силы. Как уже поздно было выезжать на охоту, то положили до обеда скакать на лошадях. Хозяин и все гости (кроме нас троих) сложились по сту рублей, и эта сумма должна была служить наградою

тому, чей скакун опередит других. В общем совете решили, что тот, кто получит приз, должен после скачки заложить банк. Между тем бричку нашу починили и мы уехали, не дожидаясь обеда, который не поспел в назначенное время потому, что повар, запекала домашнего хора, слишком неосторожно смачивал горло, во время ночного празднества, и к утру едва мог держаться на ногах. Принявшись стряпать кушанье, он сбился с толку и клал в одну кастрюлю то, что надлежало класть в другую, все перепортил, сжег, не доварил и за это посажен был под стражу на скотный двор, а обед сызнова велено готовить ключнице.

Возвратясь в город, мы узнали от нашего хозяина, что приехавший из Петербурга чиновник перевернул все вверх дном в присутственных местах, желая отыскать упущения по службе капитан-исправника, на которого тайно жаловался управитель одного знатного барина. Почтенный М. И. Штыков наказал этого управителя за противозаконные поборы с крестьян. Но все дела капитан-исправника были в исправности. Следственный чиновник, в досаде вышед из суда, спросил у собравшейся толпы мещан:

- Довольны ли вы начальниками?
- Нет, — отвечали из толпы. — Полиция нас обижает.
- Что же она делает с вами?
- Чистоты спрашивает!

Следственный чиновник не мог не расхотаться от этой жалобы на полицию. Видя наконец, что ему нельзя здесь выслужиться обвинением капитан-исправника, он, как обыкновенно водится, принял его сторону и обвинил управителя: ибо ему, для показания своего усердия, непременно надобно было сыскать винозатого; иначе следствие почиталось бы незаконченным. Следственный чиновник вдруг переменялся и делался чрезвычайно вежливым со всеми, даже со своим хозяином, купцом. Друзья капитан-исправника взялись вознаграждать его за путевые издержки, на которые он весьма трогательно жаловался, представляя свое недостаточное состояние. Но все это скрывали от капитан-исправника, который, если б узнал намерение друзей своих, вероятно бы, поссорился с ними, а может быть, и подрался с следственным чиновником.

На другой день, поутру, капитан-исправник пришел к нам и принес паспорта, подорожную в Москву и мои деньги. Мы бросились обнимать доброго Штыкова, который сам был чрезвычайно рад, что это дело кончилось благополучно. Одно беспокоило меня: я писал несколько раз к тетушке и не полу-

чал ответа. Печальные предчувствия тяготили мое сердце, и только в дружбе доброго Миловидина я находил утешение. Наконец, распростившись с капитан-исправником, Петром Петровичем, священником и нашим хозяином и написав прощальное письмо к почтенному г-ну Россиянинову, мы отправились в Москву на почтовых, в купленной нами повозке, а товары послали с извозчиками.

ГЛАВА XXII

РАССКАЗ ОТСТАВНОГО СОЛДАТА. ПРИБЫТИЕ В МОСКВУ. ИСТОРИЯ ТЕТУШКИ. Я НАХОЖУ СВОЮ МАТЬ. ОБОЛЬСТИТЕЛЬ. УБИЙЦЫ

В дороге иногда самые угрюмые нелюдимы сближаются с своими слугами. Я и Миловидин, напротив того, почитали Петрова более товарищем нашего общего несчастья, нежели слугою, и обходились с ним весьма ласково и дружелюбно.

— Откуда ты родом, Петров? — спросил его однажды Миловидин.

— Из Польской Украины, — отвечал отставной солдат.

— Я бы никак не догадался, что ты из этого края, — возразил Миловидин, — у тебя настоящее великороссийское произношение.

— Это оттого, ваше благородие, что я смолоду обучался парикмахерству в Петербурге и рано вступил в службу.

— Итак, ты из дворовых людей?

— Да, сударь.

— Как же звали твоего пана?

— Я крепостной человек одной богатой русской барыни, поселившейся издавна на Украине.

— Каким же ты образом попал в солдаты?

— Я вам расскажу это, если прикажете.

— Говори.

— Отец мой был надворным казаком.

— А что это значит? — спросил я.

— Богатые помещики в Польской Украине дворовых людей своих одевают по-казацки и держат для рассылок, розысков, экзекуций и т. п. У нашей барыни было до полусотни казаков, под начальством моего отца, который носил звание асавула, или капитана. Наряд этих домашних казаков точно таков, говорят старики, как прежнего малороссийского

войска: широкие турецкие шаровары, куртка, баранья шапка. Казаки бреют головы и носят на маковке длинный хохол, завивая его за ухо: этот клок волос называется оселедец. Бороды также бреют, оставляя длинные усы. В надворные казаки выбирают обыкновенно самых расторопных и красивых людей. Невзирая на запрещение, иногда вооружают их пиками, саблями, пистолетами, а всегда нагайками. Обширные поместья моей барыни все отданы были в арендное содержание разным мелким помещикам, а корчмы и шинки в местечках на откуп жидам. Украинцы народ добрый, но упрямый. Украинский мужик не так терпеливо сносит обиды, как мужик литовский или белорусский. В поместьях моей барыни крестьяне часто противились самовластному управлению арендаторов и их приказчиков, и казакам всегда была работа и пожива при усмирении непокорных и при экзекуциях, то есть в буйных постоях, в наказание заслушание. Казаки должны были также взыскивать недоимки с жидов. Если бы отец мой был воздержан, он мог бы составить себе большой капитал, по примеру своих товарищей, из которых многие откупались на волю, и дети их, обучившись грамоте, называются теперь шляхтичами в дальних от родины странах. Многих из товарищей моего детства я встречал в Петербурге: большая часть из них занимается ходатайством по тяжбыным делам, и они живут как пань. Но, по несчастю, отец мой был пристрастен к карточной игре и все, что выручал в целый год, проигрывал на Киевских контрактах, куда он ездил с конвоем при казне нашей барыни. Нас было пятеро сыновей у отца. Барыня выбрала меня с полсотнею других мальчиков, для отсылки в Петербург, обучаться разным ремеслам.

Дворецкий, который доставил нас в Петербург, был приятель моего отца и потому назначил меня обучаться самому легкому ремеслу, которое могло меня сблизить с господами. В лавке моего хозяина я научился плутням и обманам, о которых прежде не имел понятия. Отец мой велел обучать меня грамоте на свой счет, но я лучше любил карты, нежели книги, и помогал товарищам своим обманывать хозяина, чтоб иметь, на что играть целые ночи напролет. Пять лет прошли скоро, и меня потребовали домой. Я должен был выдержать экзамен перед барыней и причесать по новой моде одну из горничных девушек. Но я лучше умел играть в три листа и в орлянку, чем завивать волосы и взбивать тупей. Я прижег щипцами лоб горничной и лишил ее прекрасных пуклей. Барыня дала мне пару пощечин и отослала на задний двор, впредь до приказания.

У барыни моей не только сундуки, но и целые бочки наполнены были серебром; невзирая на это, она не упускала случая, где можно было поживиться копейкою, и из огромных своих доходов не издерживала и сотой части. Хотя во дворе было множество людей и за господский стол садилось также много слуг из шляхтичей и родни, но барыня умела кормить весь этот народ дешевым образом. Съестные припасы в наших местах весьма дешевы, и все, что следовало к барскому столу, как-то: кур, гусей, индеек, масло, яйца, грибы и т. п.,— доставляли мужики в виде податей, называемых *данною*. Вина, сахару, чаю, кофе и всяких пряностей для кухни барыня также никогда не покупала: это должны были дарить ей жиды, при заключении контрактов на арендное содержание корчем и шинков. Барыня наша ничем не занималась, как только приемом и считанием денег, поверкою счетов и осмотром своих сундуков. Она имела особенное удовольствие принимать от деревенских баб яйца. Для этого у нее была особая мера, род деревянного стаканчика без дна, чрез который она пропускала яйцо в кадь с водою. Если яйцо не приходило в меру, то крестьянка должна была дать взамен другое.

Из числа разного рода поборов и доходов с имения, которых я не упомяну, а отчасти и не знаю, один доход был выдуман самою барыней и доставлял много денег. Каждый крестьянский двор должен был раз в год дать лошадиный хвост, и каждая крестьянская девка должна была, по крайней мере, раз в жизни обрезать свою косу и подарить барыне. Лошадиные хвосты покупали русские купцы, а с косами отправляли человека в Москву и в Петербург, для продажи их парикмахерам, на парики, шиньоны и фальшивые локоны. Как барыня не знала за мною другого порока, кроме неловкости в причесывании по новой моде, то чрез несколько времени мне поручено было стричь этих двуногих овечек и возить волосы в столицы. Несколько лет исправлял я дела порядочно, но однажды попал к игрокам и проиграл три пуда самых лучших волос, между которыми был целый пуд рыжих, которые были тогда в большой моде. Не смея воротиться к барыне, я долго скитался в Петербурге, наконец попал в полицию, как беспаспортный, и отослан по пересылке домой. В это время был рекрутский набор и меня отдали в солдаты. Служба исправила меня от порока, да я и сам, вошедши в лета, образумился. Десять лет прослужив порядочно, произведен я был в унтер-офицеры. Полк наш стоял на кавказской линии, где в сражении с горцами я получил тяжелую рану и выпущен в отставку. Я вздумал идти в Москву и

приняться за ремесло сапожничье, которому научился в службе. На Нижегородской ярмарке меня приманил в службу к себе бухарский купец, обещал золотые горы и, по прибытии в Бухару, продал как невольника узбеку, или тамошнему дворянину. Я должен был работать в поле, как лошадь, в жестокий зной; усталость мою выгоняли палками, а кормили меня хуже домашнего скота. Наконец я заболел от голоду и изнурения и хозяин мой променял меня на быка другому купцу, который, по выздоровлении моем, взял меня с собою, для провожания верблюдов в киргизскую степь. Я уже несколько раз бывал в караванах, назначенных в Россию, но бухарские купцы оставляют русских пленников в степи у своих знакомых киргизов и берут своих рабов, возвращаясь в Бухару. Таким образом весьма трудно спастись бегством, и я, верно, кончил бы жизнь у этих нехристей, если б, по счастью, они не передрались между собою, как собаки за кость, и если б его благородие, Иван Иванович, не был между киргизами. Правда, есть везде добрые и злые люди, и в Бухаре я видел добрых господ, и у нас есть господа не лучше моего узбека. Но придет уровень — смерть, а там переключка и разбор по формулярным спискам: кому галуны, а кому стойка. Кто бывал в сраженьях и походах, тот знает, что на свете все пустое, трын-трава! На биваках столько же надобно дров, чтоб согреться генералу, как и солдату, а чтоб выспаться, никому не надобно более земли, как в рост человека. Сухарь ли в животе или сдобный пирог, все равно, был бы человек сыт, а как придется потчеванье свинцовыми орехами, так всем равная доля. Главное дело — чтоб совесть была чиста, тело здорово, да был паспорт за пазухой. Хлеба и работы на Руси довольно!

Наконец мы завидели московские колокольни и в безмолвии бросились в объятия друг другу. Я был как в лихорадке, и, когда застава поднялась перед нами, слезы полились из глаз моих. Мы остановились в трактире, и как еще было не очень поздно, то каждый из нас, взяв извозчика, поехал на поиски. Миловидин горел нетерпением узнать, что сделалось с его женою, графинею и графом Цитериными и дядею. Я поехал отыскивать тетюшку. На прежней квартире не знали, куда она переехала и что с нею сделалось. Вороватина я также не нашел в прежнем его жилище. Хозяин сказал мне, что Вороватин, возвратясь из Оренбурга, продал все свои вещи и уехал из Москвы неизвестно куда. Он советовал мне справиться о тетюшке в полиции. Я возвратился домой весьма печален и застал Миловидина еще печальнее. Граф и гра-

финя Цитерины померли; сын их, ротмистр, которого он почитал убитым, был только тяжело ранен, выздоровел и получил все имение своих родителей. О жене своей Миловидин не имел никакого известия, кроме того, что она не возвращалась в Москву из-за границы. Дядя его вышел наконец в отставку, устав подписывать: *верно с подлинным*, и поселился в Киеве, с своею домоуправительницей, которая так привилась к нему, как хроническая болезнь. Дочь ее вышла замуж за одного из тех женихов, которые от юношеского возраста начинают искать невест между *воспитанницами* богатых людей или *домоправительницами* старых холостяков. У Миловидина не было ни копейки и никакой надежды к приобретению денег. Я предложил ему мою казну и на первый случай дал сто червонных. Это несколько утешило его в горе. На другой день я поехал в полицию и нашел чиновника, который взялся отыскать жилище тетушки. Разосланы были приказания ко всем частным приставам, чтоб они немедленно дали знать в управу, где проживает г-жа Баритоно. От всех съезжих дворов получены рапорты, что в такой-то части упомянутой Баритоно на жительстве не имеется. На другой день, после получения рапортов, трактирный лакей, которому я также поручил отыскивать тетушку, уведомил меня, что она живет в двадцати шагах от трактира, в доме, принадлежащем жене частного пристава, рядом с тем самым квартальным надзирателем, который сочинял от своего квартала рапорт, что г-жи Баритоно на жительстве не имеется.

Я полетел к тетушке. По грязной лестнице я вошел в галерею, или, лучше сказать, под навес второго этажа, и едва мог добраться до конца, пролезая между ушатами, кадками, ведрами, чугунами и горшками. Отворяю дверь в темную кухню; старуха в лохмотьях с удивлением смотрит на меня и кланяется в пояс.

— Здесь ли живет Аделаида Петровна Баритоно?

— Здесь, батюшка!

Сердце мое сжалось, ноги тряслись: я отворяю двери в комнату — Боже мой! какое зрелище! В небольшой светелке, с одним окном, на грязной постели лежала женщина с опухлым лицом, покрытым красными пятнами. Она была накрыта старым салопом, голова ее повязана была платком, потерявшим цвет. Она смотрела на меня неподвижными глазами, приподнялась, отворила уста, чтобы промолвить что-то, и молчала.

— Тетушка, вы ли это? — воскликнул я и бросился к ней; но она упала на подушку и закрыла глаза. Трепет про-

бежал по всему ее телу, холодный пот выступил на лице, уста скривились от судорожного движения. Я думал, что она умирает, и в отчаянье не знал, что делать. Со мною был трактирный лакей, который дожидался меня на галерее. Я выбежал к нему, велел немедленно привести доктора и бросился помогать тетушке. Старуха кухарка между тем сбегала к соседке, жене квартального надзирателя, которая прибежала немедленно с спиртами и своими стараниями привела тетушку в чувство. Она залилась слезами, и это облегчило ее сердце.

— Ваня,— сказала она наконец,— итак, ты не забыл меня! Я отвечал одними слезами.

— Благодарю Тебя, Господи, что Ты позволил мне еще раз в жизни прижать к сердцу того, кто мне всего дороже! — сказала тетушка.— Добрый Ваня, ты застал меня в нищете, в болезни: я заслужила это и не пеняю на Провидение. Оно милостиво ко мне, возвращая мне тебя. Теперь я умру спокойно!

Добрая соседка нас оставила, и я, пришед несколько в себя, окинул взором это убежище нищеты. Стены светелки были черны как в кузнице. Окно составлено было из обломков разнородных стекол и в нескольких местах заклеено сахарною бумагой. Один сосновый стол, два стула и небольшой сундук составляли все мебели. В углу теплилась лампада перед образом. На окне стояли: фаянсовый чайник без крышки, фаянсовая белая чашка, стакан, кувшин с питьем и сальная свеча в бутылке. Осмотрев все это имущество, я прижал тетушку к груди моей: не помню, что говорил, но горько плакал. Наконец, успокоившись несколько, я пошел приискивать приличное жилище для тетушки, оставив ей мой бумажник с деньгами на уплату доктору и на лекарство.

Того же дня к вечеру тетушка моя переехала в чистую и хорошо меблированную квартиру и нашла в комодах все нужное на первый случай; кроме того, чистую постель, в кухне посуду, сервиз, серебро и для услуг ловкую служанку, искусную кухарку и проворного лакея. Я до времени остался жить в трактире с Миловидиным, который разделял со мною радость мою и сам приискал и меблировал наскоро квартиру и купил что нужно (разумеется, на мои деньги) для тетушки. Он был в этом весьма искусен, разорившись несколько раз и заводясь многократно новым хозяйством.

Через две недели тетушка оправилась от болезни, и доктора объявили, что опасность миновалась. Она даже могла

прохаживаться по комнате. Я прежде не хотел ей рассказывать моих приключений, чтоб не произвесть вреда раздражением ее чувствительности. Наконец, когда силы ее укрепились, я рассказал ей все, случившееся со мною от самого отъезда из Москвы, и заключил мое повествование просьбою, чтоб она объяснила мне причину расспросов и подозрений Вороватина насчет моего отца и преследование какой-то графини. Тетушка задумалась, и наконец бросилась мне на шею, и зарыдала.

— Ваня,— сказала она.— Я хочу открыть тебе душу мою, в которой хранится тайна целой моей жизни. Не презирай меня, но пожалей о несчастной: я жертва легкомыслия и суежности. Слушай!

Тебе, может быть, неизвестно, что в Белоруссии есть много селений или слобод, в которых живут великороссияне, выходцы из разных стран России, по большей части староверы, укрывавшиеся в бывшей Польше из опасения преследования. Одна Русская слобода находится в десяти верстах от имения г-на Гологордовского. В этой слободе был зажиточный крестьянин, по имени Петр Севастьянов, по прозвищу Крутоголовый, который извозом и торгом щетиною, полотнами и льном составил себе хорошее состояние. Он был вдов. Хозяйством управляла сестра его, Аксинья. У него было двое детей, дочь Дуня 16 лет и сын Василий 19 лет от роду. Эта Дуня — я!

— Как! вы, тетушка! — воскликнул я в удивлении.— С таким воспитанием, с такою ловкостью! Этому трудно верить... Итак, я принадлежу также к крестьянской семье,— примолвил я, покраснев и потупя взоры.— Но я родной ваш племянник по сестре, а вы говорите, что у вас не было родной сестры. Как же это?..

— Будь терпелив и выслушай,— сказала тетушка,— и не стыдись своего происхождения. Мы не вольны избирать себе родителей; но от тебя зависит облагородить род твой; слушай терпеливо до конца и после говори и делай, что тебе угодно.

В окрестностях наших стоял на квартирах гусарский полк, и в нашем селе расположен был один эскадрон, которым командовал ротмистр князь Милославский. Он только что приехал из гвардии и удивлял не только нас, но и помещиков богатством своих экипажей, красотою лошадей и своими издержками. Князь был красавец, молод, ему было тогда 25 лет от рождения, ласков со всеми, любезен и большой волокита. Он дарил всех девиц в селе лентами, бисером, сладостями, кланялся всем вежливо, играл в хороводы, а крестьян

поил водкою и платил за все наличными деньгами. Его все любили в селе, старые и молодые. Только я одна не получала от него подарков и никогда с ним не говорила. Я была боязлива, и князь казался несмелым со мною одной. Каждый день он проезжал верхом или проходил пешком мимо моих окон, слезал нарочно с лошади, будто поправить что-нибудь, или останавливался поговорить с отцом, а в самом деле для того только, чтоб посмотреть на меня. Как ни просты деревенские девушки, но они читают в глазах влюбленных, как в книге, и не надобно девушке опытности, чтоб догадаться, с каким намерением мужчины на нее посматривают. Я не могла сомневаться, что князь для того только ездит и ходит мимо нас, чтоб видеть меня, ибо если я отходила от окна и пряталась за воротами, то он двадцать раз кружил возле нашего дома, чтоб только взглянуть на меня. Но мне досадно было, что он, будучи так разговорчив, никогда не сказал мне ни слова. Правду сказать, я не понимала тогда, что значит любовь, но мне очень весело было, когда я смотрела на князя, и весьма скучно, когда я не видала его несколько дней или даже хотя одно утро. Он мне часто виделся во сне с своим белым личиком и черными усиками, и когда случалось, что он в сновидении поцелует меня, чего мне очень хотелось, то я целый день была весела и довольна. В селе нашем было много красавиц и пригожих молодцев, но все лица казались мне неносимыми, и я находила удовольствие глядеть только на два лица, на свое собственное в мое маленькое зеркальце и на лицо князя. Не одно мое маленькое зеркальце говорило мне, что я красавица. Все молодые крестьяне наши, все офицеры и помещичьи сынки, которые останавливались у нас, ездя на охоту, повторяли мне одно и то же, и верст на пятьдесят кругом я известна была под названием *прекрасной крестьянки*.

Отец мой был весьма строг и утрюм: он был ревностный старовер и отрекся бы от меня, если б узнал, что я осмелилась взглянуть на человека не староверческой секты. Он повторял мне это несколько раз. Князь знал о строгости моего отца и закоснелости его в предрассудках, а потому именно избегал со мною встречи, довольствуясь одними взглядами. Таким образом прошло около полугода: князь оставил все свои знакомства, все занятия и не выезжал из села, находя все наслаждение жизни в том, чтоб видеть меня несколько раз в день на улице или чрез окно. Я только и думала, что о князе, и образ его был беспрестанно перед глазами моими днем и ночью. Настало лето. Отец мой поехал по торговым

делам в город, а я, оставшись под надзором одной тетки, выпросилась у ней пойти с подружками в лес по ягоды. Мы разбрелись по лесу, и я, напевая заунывную песню и думая о князе, рвала ягоды, как вдруг что-то зашевелилось в кустарнике; я ахнула от страха и хотела бежать: ветви раздались,— явился князь, и я невольно осталась.

— Милая Дуня, я люблю тебя! — сказал мне князь, подошед ко мне. Я молчала, стояла неподвижно, потупя взоры, но чувствовала, что колена мои трясутся и что щеки горят.— Дуня, я умру, если ты не будешь любить меня! — Я все молчала.— Да посмотри же на меня,— сказал князь. Я подняла глаза, посмотрела на него и должна была утереться рукавом, чувствуя, что глаза мои наполнились слезами. Князь взял меня за руку, посадил возле себя на колоду и стал со мною разговаривать. Я не помню, что он говорил мне и что я ему отвечала. От руки моей, которая была в руках князя, распространилось пламя по всем жилам моим, и сердце мое так сильно билось, что я слушала его удары и была как в лихорадке. Князь долго говорил со мною, долго ласкал меня, и наконец, когда поцеловал меня в лицо, свет затмился в глазах моих: я думала, что умру на месте от страха, и бросилась в объятия князя...

Недолго мы находились в забвении: дни улетали, а с ними улетала и радость. Вскоре почувствовала я, что природа назначила мне быть матерью, и почти в то же время полк получил повеление выступить в поход, против турок. Где скрыться от стыда? Как избежать строгости отца? В один день вдруг вся деревня узнала с удивлением, что прекрасная Дуняша пропала из родительского дома. Я вела себя так осторожно, что никто не подозревал меня в добровольном бегстве. Разнеслись даже вести, будто меня насильно увезли из дому и убили. Подозревали князя, подозревали многих из окрестных помещиков. Отец мой не искал меня, а чужие люди поговорили да и замолчали.

В пятидесяти верстах от нашего села, в лесной деревушке, находилась корчма. В ближнем городе жида рекомендовали князю содержателя этой корчмы, как человека честного, скромного и услужливого, на которого во всем можно положиться. Князь поместил меня в этой корчме, приставив ко мне старуху, которая называла себя повивальной бабкой; дал мне шкатулку с своими драгоценными вещами, между которыми находились два его портрета и 10 000 рублей ассигнациями. Князь приказал мне, как скоро я оправлюсь после родов, ехать с ребенком в Москву и ожидать его возвраще-

ния, оставив свой адрес в приходе Иоанна Предтечи, в Кречетниках. Князь отправился в поход, дав клятву составить мое счастье и никогда не покидать дитяти. Расставаясь с князем, я думала, что расстаюсь с жизнью.

У меня была особая светелка в уединенном углу дома. Приставленная ко мне старуха помещалась в чуланчике. Целое семейство жиды услуживало мне с большим усердием. Сам хозяин слыл доктором и лечил окрестных мелкопоместных дворян. Наконец я родила на свет сына... Ваня! ты сын мой и князя Милославского!.....

Я вскочил со стула.

— Как, вы мать моя! — воскликнул я в сильном волнении чувств. Мать моя сидела неподвижно и, закрыв лицо руками, плакала. Я бросился в ее объятия, и слезы наши смешались.

— Сын мой,— сказала матушка,— не обременяй меня упреками и не презирай меня. Я следовала внушению природы, и вся вина лежит на том, который силою своего ума и характера мог бы удержать меня от преступления. Но его уже нет в живых... почтим его память. Он был виновен, но не сердцем!

Когда мы несколько успокоились, матушка продолжала рассказ:

— Ты уже знаешь, что родился с наростом на левом плече, который прижег тебе хозяин мой, жид-доктор. Впрочем, ты был здоров и крепок. Я уже начинала оправляться от болезни и намеревалась в скором времени отправиться в Москву. Ужасное происшествие разлучило меня с тобою.

Приставленная ко мне повивальная бабка, невзирая на ее услужливость и ласкательства, была мне несносна. В лице ее, покрытом морщинами, выражались злоба и зависть. Всякий раз, что взоры наши встречались, трепет пробегал по всем моим жилам. Я старалась избегать ее присутствия и все время проводила одна в моей светелке с тобою или с портретом твоего отца. Однажды вечером, в осеннюю пору, я мучилась головною болью и легла рано в постелью. Но, чувствуя нестерпимый жар, я встала и вышла на свежий воздух. Прислонившись к стене, неподалеку от окна хозяйской комнаты, я услышала, что произнесли мое имя. Я подошла к окну и услышала разговор, который едва не лишил меня чувств.

— Я осмотрела весь сундук этой девчонки,— сказала повивальная бабка,— и нашла в нем несметные богатства. Целые пучки белых ассигнаций, целые горсти золотых перстней, колец с дорогими камнями!

— Ну, так возьми и беги, мы скроем тебя,— сказал жид.

— Нельзя,— возразила старуха.— У меня в городе семья, дети и внуки. Девчонка найдет кого-нибудь, чтоб написать к князю, а он приятель с маршалом, с городничим, даже с самим губернатором: будет беда!

— Ну, так сбыть с рук девчонку,— сказал жид.

— Это всего лучше,— отвечала старуха.— Здесь пусто и глухо. Девчонку на тот свет, мальчика подкинем кому-нибудь, деньгами и вещами поделимся и — концы в воду. Пускай приезжает князь: мы скажем, что она уехала в Москву; пускай тогда ищет. Мертвые молчаливы!

— Славно, славно, Василиса! — сказал жид.— Когда же начать работу?

— На что откладывать? — отвечала старуха.— Она сегодня больна и спит теперь: возьми топор, стукни раз, потом тело в мешок, да и в озеро.

— И правда, незачем откладывать; поди ты к дверям, а я возьму топор и тотчас ее отправлю.

Ты можешь легко представить себе, в каком положении находилась я, слушая это адское совещание. Я бросилась в беспамятстве бежать к лесу, и, невзирая на холодную, сырую погоду, на темноту ночи, шла наудачу, пробиралась между кустарниками. Выбившись из сил, я прилегла под деревом и пришла несколько в себя. Я упрекала себя, что оставила тебя в руках убийц; но, раздумав хорошенько, успокоилась. Я была почти уверена, что они не посмеют убить тебя, когда я избегнула от их сетей. Я решилась идти в город, открыть все губернатору, который, как я услышала, был приятелем князя, и просить его о возвращении мне сына и об отправлении меня в Москву. На мне были большой платок и душегрейка. Помолившись Богу, я заснула под деревом.

ГЛАВА XXIII

ОКОНЧАНИЕ ИСТОРИИ АДЕЛАИДЫ ПЕТРОВНЫ.

ЗАМУЖСТВО. ПЕРЕВОСПИТАНИЕ.

ВОЛЬНАЯ ЖИЗНЬ.

ПАГУБНЫЕ СЛЕДСТВИЯ ЛЕГКОМЫСЛИЯ.

Я ВСТУПАЮ В СВЕТ. ВИЗИТЫ

С рассветом я проснулась от холода и снова пошла лесом, без дороги. Жажда мучила меня, но сильное нравственное потрясение сделало перелом в моей болезни. Испив дождевой воды из лужи, я почувствовала себя сильнее и бодрее прежнего. Но вспомнив, что ты остался без кормилицы, я горько

заплакала и поручила тебя попечению Того, Который питает слабых птенцов и несчастных сирот. Отдыхая несколько раз и продолжая путь с напряжением сил, я к полудню очутилась на большой дороге. Опасаясь погони, я не смела идти большою дорогою, а шла опушкою леса. Вдруг услышала я звук колокольчика. Я прилегла в кустах и, увидев, что в бричке, запряженной четверкою, сидит какой-то господин с лакеем, выбежала на большую дорогу, бросилась на колени и, воздев руки, закричала: «Спасите, спасите несчастную от смерти!» Бричка остановилась, господин вышел из нее, подошел ко мне и стал меня расспрашивать. Я рассказала ему всю свою историю и, упав к ногам, просила помощи и защиты. Господин этот тронулся моею юностью и моим несчастьем: он посадил меня рядом с собою, и мы помчались в город.

Избавитель мой был родом итальянец и назывался Баритоно. Он был в доме одного богатого помещика учителем музыки и капельмейстером и, пробыв шесть лет в провинции, возвращался в Москву с небольшим капиталом, чтоб по-прежнему заняться в столице преподаванием уроков. Баритоно был уже пожилой человек, лет за сорок, но приятной наружности и веселого нрава. Он говорил довольно хорошо по-русски и утешал меня как мог. Приехав в губернский город, он явился к губернатору и рассказал ему мое приключение. Губернатор был человек добрый и справедливый: он сам захотел видеть меня; так же, как Баритоно, пленился моею наружностью и был тронут моим несчастьем. Тотчас же выслал он чиновника с приказанием взять под стражу жида и повивальную бабку и доставить немедленно моего сына и все мои вещи. Но, вероятно, по не скромности извозчика, при котором я рассказала мое приключение Баритону, весть о моем спасении дошла и до жида. Чиновник нашел корчму опустелую. Семейство жида, повивальная бабка исчезли вместе с тобою и с вещами: и я больше о тебе не слыхала!

Баритоно привез меня в Москву и обходился со мною, как нежный отец с дочерью. Он написал письмо в полк к князю Милославскому, но вместо ответа мы получили письмо обратно, с известием, что князь Милославский убит в сражении.

Баритоно не хотел расставаться со мною. Он назвал меня Аделаидою, нанял для меня учителей и сам занимался обучением меня музыке. Чрез пять лет я выучилась русской грамоте, французскому, итальянскому языкам, танцевать, петь и играть на фортепиано. Природа, столь щедрая к русскому

народу, не требовала больших усилий к моему образованию. Я полюбила чтение и вскоре познакомилась со всем, что должно знать светской женщине. Баритону восхищался своим созданием, и все приятели его удивлялись моей ловкости, понятливости и дарованиям. Я имела много обожателей, но благодарность привязывала меня к моему избавителю. Он предложил мне свою руку, и я с радостью согласилась быть его женою, чтоб любовью моею хотя несколько вознаградить моего благодетеля за все его обо мне попечения.

Баритону был человек добрый и любил меня нежно. Я не могла быть в него влюблена, но была к нему привязана и все обязанности жены исполняла с величайшим усердием. Между тем муж мой, устав бегать по городу за билетами и ссориться с учениками и их родителями для получения денег за уроки, притом же чувствуя, что здоровье его ослабевает, вздумал завести магазин ниренбергских товаров и отказаться от учительства. Он издержал весь свой небольшой капитал на устройство магазина и на покупку товаров; но как он не имел кредита, будучи новичком в торговле, и не знал всех коммерческих уловок, то вскоре торговля наша упала. Баритону так огорчился этим, что заболел нервною горячкою и умер.

Положение мое было самое неприятное. Я осталась с тысячею рублями, спасенными мною из всего капитала, без всякой надежды на будущее, без друзей и покровителей. Круг моего женского знакомства ограничивался несколькими иностранками, магазинщицами и актрисами. Из мужчин я не знала никого, кроме нескольких музыкантов и земляков моего мужа. Но меня знали все любители прекрасного пола, гонялись за мною толпами на прогулках, не сводили глаз с моей ложи в театре и беспрестанно бегали мимо окон. Я имела множество неизвестных мне обожателей. Некоторые из них, еще при жизни Баритону, писали ко мне письма, которые я, не распечатывая, отдавала моему мужу; другие чрез знакомых женщин объяснялись в любви, но я с первого слова налагала молчание на услужливых приятельниц и таким образом прослыла по справедливости скромною, что, впрочем, редко случается. После смерти Баритону мои приятельницы и приятели моего мужа приступили ко мне с советами, или, лучше сказать, с наущениями, чтоб я приняла благоедеяния, предлагаемые мне великодушными людьми, которые сгорают от любви ко мне. Не видя вокруг себя ничего лучшего и наслышавшись анекдотов о знатных дамах, пользующихся, однако же, уважением в свете, я думала, что все это в поряд-

ке вещей и согласилась принять предложение князя Чванова, который требовал от меня не любви, но только позволения любить меня и за это, так сказать, осыпал золотом. Ты знал этого доброго старичишку. Он издержал все свои доходы на женщин, из одного тщеславия, чтоб прослыть волокитой! При всех своих слабостях и странностях, он имел доброе сердце, и если б он был жив, я не была бы доведена до крайности, в которой ты нашел меня.

Не зная ни цены денег, ни недостатка в них, я издерживала столько, сколько мне попадалось в руки. Получив деньги, я почитала обязанностью немедленно истратить их и не знала других расходов, кроме как на наряды и на щегольство. Богатством нарядов я думала прикрыть тайну моего поведения, и уважение, оказываемое мне по платью и экипажу от незнакомых людей, утешало меня в малых неприятностях, получаемых в публичных собраниях от гордых взглядов замужних женщин, которые, прикрываясь именем мужа, как ширмами, порицают в других то, чего сами втайне придерживаются.

Не имея знакомства, куда бы я могла выезжать, я составила мужской круг знакомства из самых приятных и любезных людей столицы. Ты был свидетелем наших музыкальных вечеров, Ваня, следственно, я не стану тебе их описывать. Будучи молода, я не могла ограничиться полуплатоническою любовью князя Чванова и сперва для рассеяния, а после по привычке, искала сердечных связей. Семен Семенович Плезириин обещал жениться на мне, как скоро князь Чванов исполнит свое обещание и устроит судьбу мою. Но дела князя Чванова начали упадать: часть его имения была заложена, а другая в процессе, и он, невзирая на добрые желания, не мог обеспечить судьбы моей. Семен Семенович познакомил меня с Грабилиным, этим разбогатевшим подьячим, который грубостью своею и притязаниями сделал мне жизнь несносною. После твоего отъезда в Оренбург я решительно отказалась от его дружбы и намеревалась даже выйти замуж за одного трудолюбивого и влюбленного в меня смертельно живописца, как вдруг жестокая болезнь свалила меня в постель. Я получила природную оспу, и столь сильную, что все тело мое покрылось короем. Я была в горячке, в беспамятстве, и жестокосердный подьячий, Грабилин, воспользовался этим случаем, чтоб отнять у меня последние вещи. Семен Семенович, один из тех вечно подчиненных чиновников, которые везде ищут женщин, в связях с знатными и богатыми, чтоб чрез них получить покровительство за обещание жениться, Се-

мен Семенович первый оставил меня в нищете. Другой приятель, аббат Претату, также отрекся от моей дружбы, и я бы умерла без всякого пособия, если б одна русская дама, которая гневалась на меня за то, что муж ее хаживал ко мне на вечера, не отомстила мне благодеянием. Хозяин не хотел держать меня на квартире без денег, и меня в болезни перенесли в ту комнату, где ты нашел меня, и бросили на произвол судьбы. Русская дама, узнав о моем положении, прислала мне несколько денег и своего доктора; наняла женщину, чтоб ухаживать за мною: но, будучи сама небогатою, она не могла сделать для меня много. В этом бедствии Промысл Всевышнего послал мне помощь и утешение в тебе, сын мой! Я уже навсегда лишилась красоты и с нею того тщеславия и легкомыслия, которые были причиною моих проступков. Отныне обращаюсь на путь раскаяния и любовью к Богу, любовью к моему сыну наполню пустоту сердца. Ваня, сын мой! ничего не может быть несчастнее, как женщина, которая одну красоту почитала достоинством и пользовалась ею, как товаром, как средством к минутным наслаждениям. Я это чувствую теперь в полной мере. Что была бы я теперь, если б Бог не послал мне тебя!

Матушка, кончив свой рассказ, бросилась на колени перед образом и со слезами стала молиться. Молитва облегчила ее сердце: она успокоилась.

— Любезная маменька,— сказал я.— Забудем о прошедшем и станем помышлять о настоящем и о будущем. В вашем повествовании я не нашел ключа к открытию таинства моего преследования. Я не сделал зла никому: какая же это графиня, которая столь пламенно желает моей гибели? Не было ли у вас какой неприятельницы?

— На меня могли гневаться многие знатные женщины,— отвечала матушка,— но я не думаю, чтоб которая-нибудь из них захотела мстить мне гибелью моего племянника. Тайна твоего рождения известна только мне одной. Ни один из бывших моих приятелей даже не догадывался о том, что ты сын мой. Не постигаю, откуда противу тебя такая злоба в этой графине. Не ошибка ли это?

Прошло еще два месяца, и матушка совершенно выздоровела. Но красота ее исчезла: лицо покрылось глубокими рубцами и рябинами, волосы внезапно поседели, глаза потеряли живость, прекрасные округлости упали. Матушка казалась десятию годами старше, нежели была в самом деле. Потеря наружных достоинств привела ее на путь мудрости. Она сделалась богомольною и оделась в черное платье с ног

до головы; все время проводила в церквах и в чтении божественных книг.

Между тем товары мои прибыли в Москву, и я немедленно их продал. У меня было около сорока тысяч рублей всех денег. Я нанял небольшую, но чистую квартиру, разделенную на две половины: в одной жила матушка, в другой я с Миловидиным. Отставной солдат Петров остался при мне, в звании камердинера. Мы проводили время довольно скромно. Миловидин беспрестанно писал письма во все концы России, чтоб узнать об участи жены своей, о которой не было никакого слуха. Я отыскивал Вороватина, чтоб узнать об имени неприятельницы моей, графини. Мы прогуливались, читали вместе, философствовали и составляли планы в будущем, и, по правде сказать, скучали. Миловидин привык к рассеянной светской жизни; моя душа требовала деятельности. Несколько приятелей узнали Миловидина и открыли его убежище, а видя его порядочно одетого, издерживающего деньги в кофейных домах и трактирах, стали навещать нас. Рассказы о прежних связях, о большом свете снова возбудили в Миловидине желание возвратиться в прежний круг знакомства.

— Послушай, Выжигин,— сказал мне однажды Миловидин.— Ты хочешь вступить в службу, приобрести какое-нибудь звание в свете. Похвально! У нас в России порядочный человек без чина почти то же, что в других странах без паспорта. Но без покровительства трудно чего-нибудь добиться. Где власть имеют мужчины, там управляют женщины; а где властвуют женщины, там управляют мужчины. Надобно искать в женщинах, любезный друг! Для вступления в свет ты имеешь два важные преимущества: деньги и приятную наружность. Ты более знаешь, нежели нужно знать в свете. Довольно было бы одного французского языка и танцеванья; а ты, сверх того, музыкант и хорошо играешь в коммерческие игры. Все это составляет высочайшую премудрость большей части людей из знатного круга, которым открыт путь честолюбия до первых степеней в государстве. Тебе недостает только той ловкости, той самонадеянности, которые приобретаются посещением обществ высшего круга. Но этими качествами весьма скоро можно запастись, с умом и со смелостью, в которых у тебя нет недостатка. Итак, послушайся меня и вступи в свет. Я познакомлю тебя с двумя дюжинами моих тетюшек и кузин и несколькими полновесными законодателями обществ; с молодежью ты сам познакомишься. Потакай старшим, играй в бостон и вист со старухами,

никогда не гне айся за картами и не спрашивай карточного долга; потчевай молодых людей и разделяй с ними их удовольствия; не спорь, соглашайся всегда с большинством голосов в собрании товарищей, с хозяином в его доме и со всяким наедине. Не делай сам сплетней и не клевети ни на кого, но слушай терпеливо все сплетни и клеветы; извещай о сплетнях намеками, всегда скрывая имена; забавляй выдумками и никогда не прислуживайся правдою; хвали все чужое и порицай все свое; называй всех болтунов умными, всех чиновников деловыми и трудолюбивыми, всех судей честными, всех богачей благодетельными, всех пожилых дам добрыми, всех молодых женщин и девиц красавицами, всех детей амурами и гениями. Знай наизусть дни именин и рождения всех твоих знакомых и не пренебрегай визитами. Научись хохотать до слез, когда тебе рассказывают скучное под именем смешного, и умеи морщиться, когда кто-нибудь поверяет тебе грусть свою. Подаваясь вперед, старайся показывать, что ты всегда стоишь позади. Всякий успех свой приписывай другим и благодари всех. Сноси терпеливо небольшие оскорбления, а мстить за себя предоставляй другим. Проси всегда за других и заставляй других просить за тебя. Никогда ни в чем никому не отказывай; обещай все и всем и после извиняйся невозможностью исполнения, показывая вид, будто ты все сделал, что от тебя зависело, хотя бы вовсе не начинал. Помни мои наставления и верь, что, если будешь им в точности следовать, превзойдешь всех камер-героев мире и получишь чего пожелаешь!

Я открыл другу моему, Миловидину, тайну моего рождения. Сердце мое имело нужду облегчиться доверенностью. Мы посоветовались с матушкою, и она благословила меня на новое поприще. «Ты встретишь, может быть, своих родственников в свете,— сказал Миловидин, но как ты не имеешь никаких доказательств, что ты сын князя Милославского, и как отец твой ничего тебе не оставил, то это ни к чему тебе не послужит и даже может навлечь неприятности. Я представлю тебя в свете под именем русского дворянина, имеющего жалованные имения в белорусских губерниях. Вообще русские фамилии, поселившиеся в новоприобретенных областях, имеют мало связей в столицах: нам поверят. Те же, которые почитают тебя племянником Аделаиды Петровны и видели тебя у нее в доме, не знают ни твоего, ни ее происхождения. Они, без сомнения, узнают, что Аделаида Петровна живет теперь отшельницею и что ты содержишь ее на своем иждивении. Это еще более утвердит их в мнении насчет твое-

го дворянства. Впрочем, любезный друг, только в среднем сословии люди взыскательны и любопытны насчет других. В высшем кругу каждый думает о себе самом и не беспокоится о другом, если тот не загроживает ему дороги».

Наконец настал день, назначенный для визитеров. Я нанял карету четвернею, одел лакея в ливрею с галунами, и мы пустились в путь. Дорогою Миловидин сказал мне: «Начнем посещения с графини Протрубиной. Это *запевала* между московскими старухами: по ее камертону воет полсотни крикуней, и этот хор составляет репутацию молодых людей, а особенно молодых супругов. Вот дом ее: видишь ли, сколько здесь карет перед крыльцом? Не так опасно прогневить начальство, как этих гарпий, которые за малейшее упущение готовы растерзать добрую славу порядочного человека.

— Принимает! — сказал швейцар, занимавшийся починкою сапогов в своей камерке. Мы вошли в залу, расписанную за полвека пред сим. Вокруг стен стояли огромные стулья, покрытые чехлами из пестрой холстины, а в углу большие голландские часы, в дубовом резном футляре.

— Пожалуйте! — возгласил камердинер, отпирая двери в гостиную. Мы вошли. Графиня, старая женщина, сидела, скорчившись на софе, обложенная подушками, вышитыми по канве ее внучками и воспитанницами. Под ногами была также огромная вышитая подушка. На коленях ее покоился шпиг, высунув голову из шали. Перед ней на столике стояли фарфоровые чашки с визитными билетами, табакерка и колокольчик. Кругом в креслах сидело несколько дам и мужчин.

— Здравствуйте, тетушка, — сказал Миловидин, поцеловав у нее руку.

— Откуда, батюшка? — спросила графиня, подняв голову и смотря пристально на Миловидина.

— Из далеких стран, тетушка, и первым долгом почел явиться к вам.

— Спасибо, что не забыл.

— Позвольте, тетушка, поручить вашему покровительству друга моего, белорусского помещика, Ивана Ивановича Выжигина, которому я весьма много обязан.

Графиня посмотрела на меня и кивнула головою, а я поклонился.

— Милости просим: мы рады добрым людям. Прошу садиться. Что, ты один в Москве или с женою? — спросила графиня.

— Один, тетушка; жена моя осталась за границею, по слабости здоровья.

— Тем лучше, что ты один. А где служить изволите? — сказала графиня, обращаясь ко мне.

— Я теперь только намереваюсь вступить в службу, — отвечал я, — и по сие время занимался науками.

— А, из ученых! Понимаю, — примолвила графиня, понюхав табак. — А много ли за вами душ? — спросила она.

Миловидин не дал мне отвечать и сказал:

— Полторы тысячи.

— А много ли детей у родителей? — спросила графиня.

— Он один и — сам хозяин, — отвечал Миловидин.

— Не дурно, — проворчала графиня, снова понюхав табак.

Я посмотрел на других гостей и заметил, что матушки подталкивали дочек и дочки выпрямливались, поднимали глаза, опускали взоры, склоняли грациозно голову на плечо, а те, которые имели хорошие зубы, улыбались.

— Полторы тысячи душ для одного человека довольно изрядно, — сказала про себя графиня, потирая свою табакерку.

— Как бышь фамилия, извините?

— Иван Иванович Выжигин, — повторил громко и протяжно Миловидин.

Я снова заметил, что все гости шевелили губами, как будто повторяя для памяти мое имя.

— Я всякий день обедаю дома, — сказала графиня, — и кроме двух дней в неделе и необыкновенных случаев, всякий вечер принимаю. Мне приятно будет видеть вас у себя в доме, Иван Иванович; а тебя, Александр, звать не к чему: ты у меня домашний, пока снова не заветреничаешь.

Миловидин снова поцеловал руку графини, а я отпустил такой складный комплимент, что графиня даже кивнула головою, в знак согласия, и удвоила прием табаку, в знак своего удовольствия.

— Дело сделано, — шепнул мне Миловидин. — Теперь все запоют на одну ноту.

Так и случилось.

— Александр Иванович, — сказала Миловидину одна толстая дама, пожилых лет, сильно развращенная, в огромном чепце, торчавшем на самом почти лбу, — давно ли вы заспесивились и не узнаете старых знакомых?

— Помилуйте, сударыня, — отвечал Миловидин, — я вам кланялся, и, будучи занят разговором с ее сиятельством, не имел времени обратиться к вам с засвидетельствованием

моего почтения, намереваясь, впрочем, исполнить это в вашем доме.

— То-то,— примолвила толстая женщина.— Прошу не оставлять нас по-прежнему. Милости просим и с приятелем вашим.

Я снова выстрелил комплиментом, и толстая дама сделала гримасу, которую, вероятно, какой-нибудь льстец назвал бы приятною улыбкой. Миловидин знал всех гостей. Начались объяснения, и мы были приглашены с первого визита ко всем *всякий* день обедать и *каждый* день на вечер. В полчаса я сделал одиннадцать знакомств.

— Многое переменялось с тех пор, как ты оставил Москву,— сказала Миловидину графиня.— Кузина твоя, Ашенька, вышла замуж за богатого чиновного человека. Кузина Полина разъехалась с мужем, который потерял место директора таможни. Кузина Катиш чуть не вышла замуж за полковника; уж мы было все сладили, да проклятые сплетни Кукушкиной расстроили дело, и она навязала жениху свою жеманную племянницу, у которой нет ничего, кроме денег. А ты знаешь, что порядочный, благовоспитанный человек не женится на деньгах,— примолвила она, посмотрев на меня.— Не правда ли, Иван Иванович?

— Денежный расчет в супружестве качество низких душ,— сказал я.

— Как умно! — сказала толстая дама, посмотрев на своих дочек.

— Чувствительно и остроумно! — воскликнула сухоощавая дама, возле которой сидели четыре дебелые девы.

— Все вы говорили, что из моего внука Коко не будет проку,— сказала графиня Миловидину,— а мы его пристроили порядочно. Он при особых поручениях при князе Связине в Петербурге, и уже титулярный, да в нынешнем году получил крестик за поездку в Москву, с каким-то секретарем или прокурором на следствие. Жаль, что он приехал сюда по окончании следствия, а то бы еще схватил что-нибудь. Мы прочим его в камер-юнкеры. Князь Связин теперь в силе, а он мне *свой* человек. На днях отправляю к нему внука моего, Жака, сына несчастного Благородова, который, говорят, с ума сошел от книг, поселился в деревне и отказался от чинов. Жак, слава Богу, не в отца. Прекрасный молодой человек, хочет служить в Иностранной коллегии и мастер своего дела. На мои именины сочинил по-французски куплеты на двух листах, которые пропели три мои внучки. На последнем бале всех удивил мазуркою, и, кроме того, весьма учен: как сказывают, знает

орфографию и мифологию! Из него будет человек! Но за то про тетку его, графиню *Никодим*, говорят очень дурно. Я не люблю повторять дурных вестей; но говорят, что она имеет связи... понимаешь? Она перестала ко мне ездить: Бог с ней! Да и бывший губернатор, твой родственник, Доброделов, также перестал ездить ко мне. Даром, что приятели провозглашают о его честности; да не все верят. Уж кто в дом ко мне не ездит, так верно тот чувствует за собою какую-нибудь вину. Я не люблю оговаривать, а знаю кое-что! — Графиня стала нюхать табак и собиралась еще рассказывать про всех своих родных и знакомых, но Миловидин воспользовался минутою молчания, встал, и мы вышли из комнаты.

— Сохрани Бог, попасться ей на язык, — сказал Миловидин, садясь в карету. — Она присвоила себе право владычества над четвертою долею московского общества, и кто только отдалается от нее и не хочет идолопоклонничать, с тем поступает она, как с дезертиром, отдает под свой бабий суд, произносит сентенцию и, в наказание, лишает доброго имени. Языком своим и связями она сделалась страшною для многих лиц, занимающих важные места, и они должны исполнять ее желания, чтоб избежать клеветы и всякого рода козней. Надобно польстить ей: она доставит тебе место. Пожалованные мною тебе полторы тысячи душ и белорусское дворянство возьмут свое.

Мы подъехали к большому дому, и Миловидин сказал: «Теперь я познакомлю тебя с одним из коноводов московских стариков, которого имя произносится с таким точно уважением, как некогда дельфийского оракула. Антип Ермолаевич некогда занимал важное место, и хотя дела при нем шли точно таким же порядком, как и всегда, но он уверен, что с тех пор, как он вышел в отставку, солнце слабее согревает Россию, луна не так ярко светит и отечество на краю гибели. Все, что только делается внутри и вне государства, почитает он дурным и говорит, что он присоветовал бы сделать лучше, хотя, по несчастию, он ничего не сделал хорошего в жизни, кроме того, что вышел в отставку. По словам его, кроме покойных его приятелей и покровителей, не было способных людей в России. Если б он не давал обедов и балов, то его бы никто не слушал; но как он любит собирать в своем доме толпу, то он, как говорится, имеет вес. Он может быть тебе полезен».

Нас приняли. Антип Ермолаевич был в своем кабинете. Он сидел в больших креслах, в зеленом бархатном шлафроке, опушенном соболями и украшенном двумя звездами.

— А, старый приятель, где пропадал? — сказал он Миловидину.

— Путешествовал и, возвратясь в Москву, первым делом почел явиться с почтением к вашему превосходительству.

— Спасибо, спасибо, дружок!

— Позвольте представить вам моего приятеля, Ивана Ивановича Выжигина, русского дворянина, имеющего полторы тысячи душ в Белоруссии.

— Добро пожаловать. А где служил ваш отец и в каком был чине?

— Полковник в армии, — отвечал Миловидин.

— Не при Светлейшем ли?

— Точно так, — сказал я, заикаясь.

— Вот тогда-то были времена! Не правда ли?

— Точно так, ваше превосходительство, — сказали мы в один голос.

— А вы где служите?

— Я теперь только хочу определиться к месту.

— Какая теперь служба! — воскликнул Антип Ермолаевич. — Теперь выдумали везде штатные места, и порядочному человеку негде приютиться. Не правда ли?

— Точно так, ваше превосходительство, — сказал Миловидин, и я повторил за ним то же самое.

— Однако ж и ныне есть места для особых поручений, — примолвил Миловидин.

— Да ведь в том дело: при ком состоять для особых поручений! Не правда ли? — сказал Антип Ермолаевич. — Те ли вельможи были в наше время, что ныне? Не правда ли? Бывало, придешь к вельможе: он лежит себе в халате на диване да перекачивается, а перед ним стоят стрункою князья, графы и генералы и ожидают сигнала плакать или смеяться. Не правда ли? А ныне сам вельможа не смеет присесть, не посадив других; принимает даже просителей в мундире и подчиненного иначе не назовет, как вы, да еще по имени и отчеству. Не правда ли? Ну какое это время? быть ли тут добру? Не правда ли? Бывало, вельможа выберит тебя хуже, нежели своего лакея, иногда и вытолкает, бросит в глаза бумагами, да зато, где гнев, тут и милость. Не правда ли? Вообразите, до какой степени ныне дошла испорченность нравов! Я рассказывал моему племяннику анекдот, что один вельможа, в мое время, представил своего секретаря к награде 200 душ крестьян. На доклад соизволения не последовало, и вельможа подарил секретарю 200 душ своих собственных.

Что ж бы вы думали, сказал на это мой племянник? Он отвечал: что если б он был на месте секретаря, то не взял бы 200 душ от вельможи, потому что служит государю, а не вельможе и от одного государя может получать награды. Вот каковы нынешние! А этот-то секретарь — я. О, время, времечко! Не правда ли? Ныне обходятся вежливо, да что в том проку? По усам течет, а в рот не попадает. Когда я еще был в малых чинах, мне надобно было съездить в отпуск. Я подал просьбу и пришел к начальнику за милостивым ответом, когда у него было множество гостей. Знаете ли, чем он меня встретил? «Ты дурак, Антип Ермолаевич, болван», — сказал начальник. «Слушаю-с, ваше превосходительство». Он повторил: «Ты дурак, Антип Ермолаевич, осел, болван». — «Виноват, ваше превосходительство», — отвечал я, поклонившись. «Ты просил отпуска на два месяца?» — «Точно так, ваше превосходительство». — «Как же ты не просил жалованья за два месяца? — примолвил начальник. — Дурак, брат! На вот те отпуск, а вот те предписание к казначею, чтоб отпустил тебе жалованье». Я поцеловал ручку доброго начальника и вышел с поклоном, благословляя его добродетель. А ныне пришел с *bonjour* и вышел с *bonjour*. Не правда ли? Что же бы вы думали говорит мой племянник об этом? Он говорит: лучше ничего не давай да обходись по-человечески, а не как с лошадьёю. Вот какие времена! Не правда ли?

— Как нам нельзя воротить золотого века, — сказал я, — то надобно подчиниться обстоятельствам, и я прошу, ваше превосходительство, взять меня под свое покровительство.

— Посмотрим, посмотрим. Бывшие у меня писцами занимают ныне важные должности. Чему тут быть доброму? Однако ж посмотрим. Я увижусь, переговорю. Но ведь ныне завелся какой-то *штиль*. Требуют, чтоб канцелярские бумаги были писаны складно, как песенки, а притом и кратко, и ясно, и отчетливо. Не правда ли? Это вовсе не возможно. Не правда ли? Да как ныне и образоваться человеку на коротеньких записочках? То ли дело, бывало, как накинута на тебя дело в три тысячи листов об украденной курице и разбитом окне, так изволь-ка ломать голову да выводить заключения? Поневоле приучишься к делам. Не правда ли?..

В это время лакей доложил, что частный пристав просит позволения войти.

— Проси! Я, как неспособный, ныне без места, — сказал Антип Ермолаевич с лукавою усмешкою. — Я неспособный! Понимаете ли? А нет дела, в котором бы умные люди со мною

не советовались. Вот полиция приказала выкрасить забор моему соседу. Так все ко мне на совет, какую краской? Антип Ермолаевич неспособный человек! Не правда ли?

Мы откланялись и вышли, получив позволение быть *каждый* день на обеде и на вечере.

— Пустой старичишка! — сказал я Миловидину в карете. — Он похож на остановившиеся часы с репетицией, которые бьют всегда тот час, на котором стрелка остановилась.

— Сохрани тебя Бог говорить пред кем бы то ни было в Москве, что Антип Ермолаевич пустой человек! Тебя почтут раскольников, вольнодумцем. Молчи и слушай. Эти старики могут тебе наделать много доброго и много худого.

— Уволь! На нынешний день будет довольно.

— Нет, еще один визит; но этот будет приятен. Я повезу тебя к моей милой кухне, в которую целая Москва влюблена, и она, право, стоит этого.

— Ах, mon cher Александр!

— Ах, ma cousine Annette!

Пошли обнимания и целования, и Миловидин, сев на софе с хозяйкою, стал шептаться, перешептываться и забыл обо мне. Наконец кухня опомнилась:

— Ах, pardon!

— Милая Анета, — сказал Миловидин. — Я рекомендую особенной твоей милости и покровительству друга моего, благодетеля, спасителя и все, что угодно, Ивана Ивановича Выжигина, который, кроме того, что хорош собою, как ты видишь, умен и добр, как ты и я, имеет полторы тысячи душ.

— Charmée...

— Полно, милая, пожалуйста без церемоний, — возгласил Миловидин. — Помни, что это другой я. Послушай, дело в том, что я хочу друга моего поместить в службу и ввести в лучшее московское общество. У тебя большая партия, кузинушка. Пожалуйста, покричи с недельку за моего друга. Ты можешь смело уверять всех, что он точно таков, как я, а ты некогда была уверена, что я мил до крайности.

— Ты все такой же ветреник, как был прежде, — сказала кухня.

— Где же муж твой? — спросил Миловидин.

— Он все в разъездах по своим откупам и заводам: теперь в Петербурге. Я должна здесь обрабатывать его дела — и признаюсь, мне это несносно.

— Мы с другом моим постараемся утешать прекрасную

Ариадну! — сказал Миловидин, поцеловав руку кузины Ане-ты. — Но не надейся, чтоб я поместил тебя, кузинушка, в соз-вездие небесное: нет, ты слишком хороша для земли.

— *Jougours Volage et aimable* (всегда ветрен и любезен), — сказала кузина.

— Между тем, прощай, милая, — сказал Миловидин. — Мы так измучены двумя тяжелыми визитами у ваших московских коноводов общества, что спешим домой. До свиданья!

Кузина пригласила нас также *каждый* день обедать и *каждый* день на вечер.

ГЛАВА XXIV

КАРТИНА БОЛЬШОГО СВЕТА. ВСТРЕЧА С МИЛЫМ ВРАГОМ. О, СЛАБОСТЬ ЧЕЛОВЕЧЕСКАЯ!

Что б вы сказали, читатели мои, если б вам указали на четырех мужчин и четырех женщин, которые бы съезжались всякий день затем только, чтоб вместе утолять голод и жажду, разговаривать о домашних мышах и о дыме, выходящем из труб, играть в бирюльки и потом от скуки прыгать на одной ноге, кивать пальцем и делать друг другу за спиною гримасы? Вы бы сказали, что это сумасшедшие. Не судите так строго: обратите внимание на то, чем занимаются всю жизнь люди в так называемых обществах большого света. Послушайте, о чем они говорят; взгляните, что они делают! Приведите все их слова и дела в один итог, и вы удостоверитесь, что этот итог будет равен тому, который извлечется из занятий четырех пар, поставленных мною для примера, которых вы чуть-чуть не назвали сумасшедшими!

Первая обязанность света *визиты*; а что значат визиты? Скажите: не странно ли ездить, бегать, торопиться, чтоб показать себя на одну минуту в одном месте, не сказать ничего или сказать пошлую глупость; после того раскланяться и бежать в другое место, в третье, в четвертое и так далее. Время потеряно, в голову ничего не прибыло, в сердце пустота, в теле усталость, из кармана улетело несколько рублей, которыми можно было бы накормить бедное семейство. Между тем визиты важное занятие, и светский человек не знает другой обязанности, другого дела утром, как, посвятив несколько часов своим ногтям, зубам и волосам (и подписке векселей), скакать из одного конца города в другой с визитами! Другое важное дело — *обед*. Конечно, это дело важное в буквальном смысле, потому, что без пищи нельзя жить, а следовательно,

и думать. Но в большом свете люди только и думают о том, как и где поест. Великое счастье попасть за тот стол, где индейки, куры и рябчики будут пожираемы людьми важными, то есть людьми, которые не только сами могут иметь за своим столом много индеек, кур и рябчиков, но даже в состоянии доставить другому человеку такое блаженство, что он также может иметь много индеек, кур и рябчиков. Рассуждайте, как угодно, а это сушая правда. Чего люди ищут? Мест, чинов, милостей. К чему же ведет все это? К тому, что со всем этим человек будет более значить, то есть лучше жить. А что значит лучше жить? Иметь более комнат и быть в состоянии кормить других. Вот и выходит на мое, что люди быются из того только, чтоб иметь более индеек, кур и рябчиков, с принадлежностями. Вы станете говорить о Камиллах, Цинцинатах, Фабрициях. Древняя история, древние сказки! Теперь этих господ почли бы сумасшедшими. Другие времена — другие нравы, и если б теперь какой-нибудь главнокомандующий, подобно Цинцинату, взялся за плут или, подобно Велисарии, пошел по миру, то земская полиция взяла бы обоих под стражу (и поделом) за нарушение общественного порядка и за бродяжничество. Наш век — век обедов, хотя ничего нет забавнее, как то, что люди из вещи, самой простой и грубой, общей нам со всеми животными, то есть из потребности *есть*, сделали какое-то торжественное представление и собираются в параде, при звуке музыки, при блеске серебра и золота — набивать себе желудок! Призвать кого участвовать в этой великолепной операции — значит оказать ему *честь*. Уж воля ваша, а волки в этом случае гораздо умнее нас. Они собираются, когда идет дело о добыче или о продолжении благородного волчьего племени, а едят вместе тогда только, когда вместе достали добычу. Мне кажется, что было бы гораздо лучше, если б вошло в обычай созывать гостей не *есть* вместе, а *спать* вместе. Сон есть также в числе первых потребностей человека, как и еда: следовательно, обижаться нечем. Сон даже благороднее, ибо говорят, что человек может пробыть девять суток без еды, а более трех суток не в силах пробыть без сна. Выгоды же от этого обычая, если б он ввелся, были бы неисчислимы. Во-первых, это угощение было бы дешевле; во-вторых, во сне говорили бы менее глупостей, нежели наяву, особенно за обедом, при вине; в-третьих, человек не утомлялся бы столько и не портил здоровья на *званом сне*, как на *званом обеде*; наконец, мы не видали бы низости хозяина, который истрачивается или разоряет бедных торговцев для того только, чтоб оказать честь

нужному человеку — услаждением его поднебенья и расстройством его желудка. После обеда опять важное дело — *карты*. Вообразите себе, что существа, созданные по образу и по подобию Божию, садятся за столики, покрытые зеленым сукном, берут в руки лоскутки лощеной бумаги, расписанные уродливыми фигурами, вопреки всем правилам живописи, и забавляются тем, кто насчитывает более очков или кто угадает, какой лоскут упадет на какую сторону. Угадчикам, или счастливым, или просто плутам, которые умеют пользоваться этою забавою, платят деньги, которые или взяты с крестьянина, добывающего копейку в поте лица своего, или добыты продажей совести, или получены в наследство и приданое, или принадлежат заимодавцам. Наконец наступает вечер: опять важное дело! Надобно *прыгать* в такт под музыку. Правда, и овцы прыгают, но тогда только, когда довольны. А люди в свете прыгают, как обезьяны на канате, иногда со слезами на глазах. Это обязанность, долг! Хозяин хочет, чтоб завтра говорили, что у него был бал. И так гости, которым подагра не подкосила ног, излишний аппетит не раздул тела, и старость не отягчила членов, должны прыгать, должны прыжками платить за честь приглашения и приобретать прыжками право быть зваными в другие дома. Наконец, важное дело — *ужин*: второй том обеда и необходимость спать несколько часов, чтоб проснуться с тяжелою головою, белым языком и усталостью во всех членах. На другой день опять то же, на третий, четвертый то же, и так проходит молодость, жизнь: дряхлое тело разрушается, душа отлетает, не оставив на земле никакого следу своего существования; имя остается некоторое время в маклерских книгах и в счетах мастеровых и наконец погибает в пучине забвения, а между тем тысячи других подобных созданий стремятся тем же путем ничтожества и так же исчезают с лица земли, как устрицы. Спрашиваю: не полезнее ли жизнь барана из рода мериносов, который во время своего существования на земле одел и обогатил своею шерстью многих людей и никого не обговаривал, ни на кого не клеветал, не интриговал, чтоб занять место, к которому он не способен; не лишал легковверных чести и имущества и не гордился пред баранами простой породы тем, что он родился мериносом?

В большом свете вы найдете не только взрослых людей, но даже детей, которые говорят на многих языках. Вся разница в том, что одни говорят складнее, нежели другие. Но о чем говорят? Мне, право, стыдно повторять. В кругу семейном, между особами обоего пола, связанными взаимными выгода-

ми (что называется дружною), в сердечных излияниях, любимое занятие есть злословие, процветающее в свете под именем откровенности и остроумных наблюдений. Подслушайте разговоры малых кружков; вот их эссенция: такая-то не умеет одеваться; та кокетка, иная злая, вот эта дура, та мотовка, другая пронырлива, тот несносен, другой смешон, неловок, тот просто глуп, этот занят собою, тот в милости не по заслугам, а этот в немилости поделом. Там было скучно, а там очень весело, невзирая, что хозяева несносны. Завтра должно надеяться, что будет весело там-то, а очень скучно вот там. Но зато там будут важные особы! В больших собраниях о чем говорят? Сегодня холоднее вчерашнего. Тот получил место, этот орден; тот лишился места, тот приехал, а тот отъезжает. В модных магазинах показались новые вещи; такая-то швея хорошо одевает, а такой-то парикмахер прекрасно причесывает. Важная дама нездорова; девица такая-то выходит замуж; такая-то пожалована во фрейлины, у такой-то родился сын, а у той умерла дочь, и прочее, и прочее, и прочее, сему подобное!

Боже мой, на то ли дан человеку дар слова, на то ли он отличен от всех тварей душою бессмертною, умом созерцательным и творческим, чтоб оглашать воздух пустыми звуками, подобно воронам и сорокам? Мысль и чувство улетают из общества большого света, как улетают соловей и жаворонок из бесплодной песчаной степи. Тяжелый ворон несется к бездушному трупу: это его пища. Соловей прячется в кустах, жаворонок носится под небесами!

Целый век, от детства до старости, быть рабом так называемых светских приличий, машиною для поклонов и движения челюстями; говорить и ничего не думать, думать и ничего не говорить, слушать глупости и отвечать дурачествами, быть в беспрестанном движении и не выходить из круга бессмыслицы: и это называется жить! Ах, добрый мой Арслан-султан, ты прав, совершенно прав! Да здравствует киргизская степь! Там, по крайней мере, есть какая-нибудь цель — здесь вовсе никакой.

Вот что я написал в своей записной книжке, по прошествии двух лет от вступления моего в свет. Если б я хотел описывать эти два года, то мог бы написать пятьдесят томов глупостей, столь похожих одна на другую в разных видах, как две щеголихи: парижская и русская. Но и без меня написано уже много глупостей, и я не хочу томить себя над сочинением *истории единообразия*. В два года, вместо того чтоб сделаться умнее, я чуть не лишился последнего умишка,

от неупотребления его. Следуя буквально наставлениям Миловидина, я достал себе место покровительствами, получил три чина, хотя до сих пор не знаю, где находилась та канцелярия, к которой я был причислен, и как она называлась: помню только, что говорено было что-то о строениях. В эти два года я успел сделаться поверенным старух, любимцем стариков, нажил много приятелей между молодыми людьми, а между молодыми дамами имел много приятельниц, которые находили меня любезным, милым, добрым и услужливым. Но душа моя создана для деятельности, для сильных ощущений, а светская жизнь есть не поприще для деятельности, а только беспокойный сон.

Матушка моя продолжала вести свою богомольную жизнь. Миловидин, получив от какого-то совестного человека десять тысяч рублей, выигранных им на вексель, когда он жил еще с женою в Москве, пустился на поиски за своею любезною Петронеллою, проведая, что она живет скрытно где-то в Польше. Я остался один в Москве и очень соскучился. Сердце мое чего-то жаждало; я искал наслаждений и не находил. Многие женщины мне улыбались; многие девицы выбирали меня в котильоне и в играх (*petit jeux*), задевали мое маленькое самолюбие знаками предпочтения. Но я не хотел ни быть рабом женских скоропреходящих прихотей, ни обманывать женитьбою. Красавец Выжигин мог нравиться женщинам, и не будучи дворянином и без полуторы тысячи душ, но при женитьбе с девицею хорошей фамилии надлежало бы объясниться обстоятельнее. Я был столько благоразумен, что не помышлял ни о любви, ни о браке. Но это благоразумие было следствием сердечной холодности, а не соображений. Чтоб взорвать в сердце моем мину страстей, недоставало только искры. Чрез ледяную оболочку большого света ничто не проходит, кроме холодных паров расчета. Некоторые, по простоте своей, почитают пламенем отражение лучей на этой ледяной глыбе. Обман! обман! Там нет теплоты, а один только блеск.

Находясь в непрерывном рассеянии в большом свете, я искал еще рассеяния! Но у нас, для светского человека, нет середины между скукою и развратом. Науки, искусства, художества только распускаются, а много, когда цветут в большом свете и никогда не приносят плодов зрелых, могущих питать душу, дремлющую в бездействии. Кроме того, искусства, науки и художества в Москве составляют занятие особого класса и в общества большого света доходят только по слуху. Одно общественное наслаждение — театр. Я был

пламенным любителем театра, ибо, не имея времени сам читать наедине, я рад был случаю, что актеры читали передо мною публично. Я угождал в одно время и вкусу своему, и обязанностям общества.

Однажды объявили в газетах, что новоприбывшая в Москву актриса из провинциальной труппы будет дебютировать на московском театре в роли кокетки. Кузина Миловидина, моя искренняя приятельница, просила меня взять ложу.

— Мне так скучно смотреть в свете на наших смиренниц, — сказала она, — что хочется посмотреть на кокетку.

Я хотел было сказать, что ей только стоит взглянуть в зеркало, но удержался и пошел в контору взять билет. Мы поехали вместе в театр. Поднимается занавес: нет новой актрисы, и мы с кузиною Анетой изошряем наше остроумие в насмешках над несчастными артистами, которые, как говорится, лезли из кожи, чтоб нам нравиться. Я был в самом веселом расположении духа. Вдруг появляется новая актриса; партер хлопает для ободрения ее; она приседает, кланяется, подходит к оркестру, начинает говорить, но я ничего не вижу и не слышу.

— Что с вами сделалось? — говорит кузина Анета, которая хотела мне сказать какое-то замечание насчет одежды новой актрисы. — Ради Бога, что с вами сделалось! Вы бледны, вы трепещете, вам дурно!..

— Дурно, очень дурно! — сказал я вполголоса и выбежал из ложи. В новой актрисе я узнал — Груню!

Был ли я влюблен в Груню — не знаю. Я был очень молод, когда подружился с нею, и душа моя тогда не была способна к сильным ощущениям. Страсти могли только тлеть, но не пылать в моем сердце. Красота Груни сделала тогда сильное впечатление в моем воображении, а не в сердце. Прежде и после моей несчастной поездки в Оренбург я находил много женщин прекраснее Груни; но как скоро я пришел в тот возраст, когда страсти начинают действовать, то, невзирая на измену Груни, на зло, причиненное мне ее коварством, я уверился, что трудно найти женщину *милее* Груни. Взгляд ее и звук ее голоса производили во мне всегда такое действие, которого я никак не могу растолковать. Кажется, если б мне завязали глаза, то между миллионом голосов я узнал бы ее голос. Он прямо доходил мне до сердца, а взгляды ее имели какую-то очаровательную силу приковывать к себе мои взоры. Со времени последнего нашего свидания я старался вовсе не думать о Груне, но невольно воспоминал о ней тогда, когда любовь расставляла мне свои сети в большом свете.

Там много было прекрасных, но ни одна мне не нравилась. Ах, зачем Груня не так хороша душою, как наружностью, думал я часто, и опять старался не думать об ней. И наконец, вот она опять перед моими глазами!

Отдохнув в буфете, я вышел на улицу и бродил в раздумье около театра. Я никак не мог истолковать себе, отчего мне сделалось дурно при виде Груни. Я приписывал это страху, ужасному воспоминанию той опасности, которой я подвергался в Оренбурге, по причине измены Груни, ввергшей меня в болезнь. Но это был не страх и не ужас! Груня представлялась моему воображению не в ужасном виде, но во всем блеске очаровательной своей красоты. Как она хороша, думал я, как пополнела, как выросла! Но я никогда ее не увижу, не должен видеть. Рассуждая таким образом, я уже был в коридоре театра и невольно вошел в ложу. Я могу видеть ее в публичке, думал я, чтоб извинить свою слабость. Неужели для этой легкомысленной девочки я должен отказаться от театра?

— Лучше ли вам? — спросила кузина Анета...

— Немного лучше.

— Ах, как мило играет новая актриса, — примолвила кузина. — Какая ловкость, какой благородный тон! как она постигает роль! Кроме того, она очень приятно поет и весьма недурна собою. По правде сказать, это счастливое приобретение для нашего театра, и эта миловидная г-жа Приманкина вскружит голову всей московской молодежи.

Я молчал и взглянул на афишу, чтоб прочесть имя, принятое Грунею. Пропустив два акта, я увидел Груню в третьем. Она играла превосходно и превзошла все ожидания любителей драматургии. Рукоплесканиям не было конца. По окончании пьесы ее вызвали на сцену. В продолжение игры Груниной я был весь как в огне. Я следовал душою за каждым ее словом, за каждым ее движением; страшился за нее, трепетал и чуть не плакал от радости, когда громкие рукоплескания раздавались в зале. Мне кажется, что я бы умер на месте, если б Груня не имела полного успеха!

Проводив мою даму до кареты, я отказался от удовольствия сопутствовать ей домой и остаться у нее на вечере. Машинально пошел я к подъезду актеров. Я намеревался, закутавшись в плащ, взглянуть на Груню вблизи. Выходит Груня, но я позабыл закрыться.

— Выжигин! — воскликнула она.

— Груня! — сказал я — и не мог ничего более промолвить.

Она посмотрела на меня пристально, потом смело взяла за руку и потащила с собою. Подали ее карету; она села и велела мне сесть возле себя. Я повиновался. Карета покатила по мостовой, и я все молчал, не смея поднять глаз и страшась объяснений, могущих оскорбить Груню. Она сама вывела меня из этого неприятного положения.

— Ваня, милый друг мой Ваня! ты имеешь право на меня сердиться. Я виновата, но не столько, как ты думаешь. Я была слишком молода, неопытна, не имела собственной воли, должна была повиноваться матери. Ты все узнаешь, и сердце говорит мне, что ты простишь меня, что ты будешь любить меня по-прежнему, любить так, как я люблю тебя. Скажи, Ваня, каково я играла сегодня?

Я поцеловал руку Груни, вздохнул тяжело и сказал:

— Ты играла прекрасно, бесподобно; но я не удивляюсь этому. Природа создала тебя актрисой. Игрою своей ты увлекла меня на край гибели и теперь хочешь лишиться счастья, спокойствия. Груня, ты слишком прелестна, я боюсь тебя! Позволь мне выйти из кареты и прости навеки!

Последние слова я выговорил таким жалким образом, что даже Груня тронулась. Я почти задыхался от усилия удерживать слезы: мне было горько.

— Ты боишься меня, Ваня; ты хочешь бежать от меня и находишь меня прелестною? Ваня, ты наводишь на меня грусть и вместе с тем доставляешь величайшее блаженство. Верь мне, друг мой, что я истинно люблю тебя и никогда любить не переставала. Во все время нашей разлуки ты не выходил у меня из сердца и из памяти. Если я была виновата пред тобою, то загладила вину мою чистосердечным раскаянием и страданиями. Ваня! люби меня — или я умру с отчаянья. — При сих словах Груня заплакала.

Я был в восторге и не помню, что я насадил ей: мне было так хорошо, я был так счастлив! Когда карета остановилась у крыльца, мы были в большей дружбе, нежели пред поездкою в Оренбург. Весело взбежали мы на лестницу, держась за руки, и, вошедши в комнату, обнялись, как старые друзья, которые никогда не ссорились. Стол был накрыт. Груня велела поставить другой прибор, подать лучшего вина и, взяв меня за руку, повела со свечью по всем своим комнатам.

— Посмотри, друг мой, мое маленькое хозяйство, — сказала Груня. — Ведь ты должен быть здесь хозяином. Вот моя гостиная. Она не велика, но я не намерена принимать много гостей. Это моя уборная. Вот столовая; здесь кабинет,

или учебная комната. Вот здесь спальня. Не правда ли, что спальня убрана со вкусом?

— Все твои комнаты, милая Груня, убраны со вкусом, весьма пристойно, хотя без великолепия: по этому я должен судить, что ты получаешь порядочное жалованье.

— Какие у нас жалованья, друг мой! — отвечала Груня: — Вся надежда моя на бенефис. Я привезла с собой тысячи две рублей и уже все почти истратила на необходимые вещи, да сверх того не доплатила трех тысяч рублей за мебели. Бог милостив, как-нибудь да разделаемся, а между тем согласись, милый друг, что молодой женщине, актрисе, с моим маленьким дарованием и довольно приятною наружностью, нельзя же жить, как какой-нибудь плясунье на канате? Но пора ужинать.

Поевши с Грунею, я остался далеко за полночь и все еще не имел времени расспросить, что довело ее до актерства. Она десять раз начинала рассказывать, и десять раз я перебивал ее, чтоб говорить о любви! На первый случай я узнал только, что она лишилась матери и состояния. На другой день она пригласила меня к себе обедать и обещала рассказать свою историю. Надлежало расстаться. Я поехал домой влюбленный до сумасшествия, беспрестанно повторяя:

— Груня, милая Груня, она любит меня; нет сомнения, что она не виновна в измене.

Утром я раздумал, что Груня должна находиться в неприятных обстоятельствах, не имея денег и будучи в долгу. Я послал ей с Петровым пять тысяч рублей.

Невзирая на то что я жил порядочно, имел экипаж, одевался всегда по последней моде, потчевал приятелей, делал небольшие подарки дамам в именины и покупал всем балованным детям конфеты и игрушки, чтоб понравиться маленьким; брал на наличные деньги билеты на лотереи (которые никогда не разыгрывались) и платил старухам карточные долги, не получая с них ни копейки; невзирая на все эти расходы, я не тронул моего капитала. Многим покажется это удивительным, особенно когда я скажу им при этом случае, что я не употреблял никаких необыкновенных средств к приобретению денег. Но если кому счастье станет служить, то деньги сами катятся в карман со всех сторон; а если, напротив того, оно начнет изменять, тогда ни сундуки, ни запоры не удержат копейки, и деньги сами откатываются и пролезают сквозь пальцы. Я играл честно в коммерческие игры, но играл искусно, хладнокровно, внимательно; садился играть на большие деньги и почти всегда

выигрывал. Не имея никакого понятия об игорном плутовстве, я одним счастьем разрушал все заговоры, составляемые против меня игроками. Когда играли в банк, я внезапно ставил несколько карт в середине талии: выигрывал, брал деньги и уезжал домой. Проиграв, я не продолжал игры и никогда не отыгрывался. Я поступал таким образом по совету Миловидина, который умел прекрасно советовать, но весьма дурно сам исполнял свои мудрые правила, потому что он советовал хладнокровно, а действовал всегда с пылкостью, увлекаясь страстями. Не будучи привязан ни к игре, ни к деньгам, я играл, как говорится, расчетисто, и как счастье мне благоприятствовало, то я, не будучи игроком, жил игрою. В два года я выиграл около двадцати пяти тысяч рублей наличными деньгами, а в долгу у меня было по крайней мере столько же. Но как я послал Груне все мои наличные деньги, оставив себе только несколько сот рублей на мелкие расходы, то теперь надлежало приняться за капитал на случай каких непредвидимых издержек. Правда, мне очень не хотелось этого, но когда я посылаю деньги Груне, то думал о Груне, а не о деньгах. Она подарила сто рублей Петрову, который был в восхищении от *доброй красавицы*, так он назвал Груню с первого знакомства. Меня поблагодарила она таким нежным письмом, что я, читая его, готов был в ту минуту отдать ей последнюю мою копейку. Если кто мне скажет, что он, будучи влюблен, помышлял о деньгах, то я в ответ скажу, что он не любил, а рассчитывался. Любовь есть болезнь: лихорадочное состояние тела, производящее помрачение в уме. В любви человек не рассуждает. Иначе, как бы мог умный человек убивать на поединке другого человека за то, что он более нравится красавице? Как бы мог он лишать себя, а иногда и целое свое семейство пропитания, чтоб угождать прихотям возлюбленной? Как бы мог жертвовать своим спокойствием, свободой, временем для любимого предмета? Как бы мог пренебрегать обязанностями службы, долгом к отечеству, к согражданам, из любви к женщине? Пусть говорят, что хотят; но любовь, пламенная, страстная, есть точно болезнь — и даже опасная, часто низводящая несчастного в могилу, а гораздо чаще к потере имени и доброй славы. Одно спасение в этом недуге: благоразумие, нежность чувствований и благородный образ мыслей любовницы или любовника. Но влюбленный человек слеп и глух. Он любит даже недостатки в любимом предмете и находит в них особую прелесть. Часто, весьма часто случается, что влюбленные

низвергаются в пропасть, будучи вовсе безвинны, увлекаясь только характером, нисколько не помышляя вредить друг другу, напротив того, взаимно себя обожая. Один или одна делает глупости, другой или другая не видит того и гибнет точно так, как во время чумы и медик гибнет от больного и здоровый от медика. Повторяю: любовь в душе, пылкой, страстной есть болезнь. Но обратимся к происшествиям.

ГЛАВА XXV

ИСТОРИЯ ГРУНИ. ДРУЖБА С УМНОЮ АКТРИСОЮ, ИЛИ САМЫЙ ЛЕГКИЙ, САМЫЙ ВЕРНЫЙ И САМЫЙ ПРИЯТНЫЙ СПОСОБ К РАЗОРЕНИЮ

Я не преминул явиться к обеду. Груня приняла меня с распростертыми объятиями, смеялась, плакала и повторяла тысячу раз, что нет счастливее ее в мире, после того как она удостоверилась в моей любви. За столом я рассказал ей в кратких словах мои приключения в киргизской степи. После обеда мы уселись на диван, и Груня начала свое повествование:

— Отец мой, как тебе известно, оставил после смерти своей порядочное состояние; но матушка, управляя имением во время моего детства, расстроила его и наделала долгов. Ты видел жизнь нашу. У нас в доме собирались все любители и все профессора карточной игры. Все, что только матушка выигрывала *на верную* в доле с игроками, она проигрывала им же *на счастье*, с прибавкою из своих собственных денег. К довершению несчастья, она влюбилась в одного молодого вертопраха, который обещал на ней жениться, взял займы большую сумму денег и женился — на другой. Положение наше, пред отъездом в Оренбург, было самое отчаянное: дом был заложен, капитала ни гроша и долгов вдвое более, нежели всего имения. В это время умер мой дядя, и мы поспешили в Оренбург за наследством, надеясь поправить в делах.

Едва только я вышла из пансиона, где научилась нашей пансионной премудрости, то есть держаться прямо и болтать по-французски, матушка моя взялась довершить начатое воспитание и стала учить меня кокетству, чтоб красотою моею и любезностью привлекать в дом богатых юношей. Ты видал часто и сам, как я выбирала карты из колоды для горя-

чего понтера и советовала ему ставить большие куши на мое счастье. Я всегда избирала для этого игроков, которые были равнодушны к моей красоте и охотно мне повиновались. Разумеется, что выбранная мною карта всегда проигрывала, потому что мне шептали игроки, какую карту и когда я должна ставить. Мне противна была эта роль, но я должна была повиноваться, а сверх того, принуждена делать глазки, приятно улыбаться и слушать пошлые вежливости влюбленных в меня игроков, которых я должна была питать надеждою взаимности. Клянусь честью, что я кокетничала с величайшим отвращением, пока не узнала тебя.

Мне велено было привязать тебя к дому. Это было самое приятное для меня поручение со времени выхода моего из пансиона. Я не имела нужды притворяться, потому что истинно тебя полюбила. Вспомни, что я не только не завлекала тебя в игру, но даже всегда отвращала от ней. Матушка часто бранила меня за это; но я решительно объявила ей, что, под условием не вовлекать тебя в игру, я соглашаюсь обманывать других, по ее воле. Она оставила меня на этот счет в покое.

В Оренбурге постигло нас новое несчастье. Лишь только суд намеревался отдать нам оставшееся после дяди имение, явились наследники: полдюжины воспитанниц с духовным завещанием, написанным законным образом, при свидетелях. Имение было нажитое, то есть приобретенное самим дядею, а потому и спорить было бы бесполезно, тем более что воспитанницы были красавицы и имели сильное покровительство. Делать было нечего, и матушка снова открыла игорный дом: выписала из Москвы нескольких искусных игроков, и меня снова заставила играть роль Сирены и приманивать пловцов на очарованные утесы Сциллы и Харибды!

Дела шли весьма плохо до зимы. Мы жили почти в долг. Особенно сначала мы нуждались в деньгах. В это время приехал в Оренбург, по делам службы, адъютант одного генерала из Петербурга, ротмистр граф Ловков, молодой человек приятной наружности, сын богатых родителей, веселый нравом и чрезвычайно любезный. Он увидел меня на прогулке, влюбился, познакомился в доме и стал посещать нас ежедневно. Матушка, под угрозою проклятия, велела мне употребить все средства прельщения, чтоб привязать к себе графа Ловкова. Эта любовная игра гораздо опаснее карточной, и весьма часто случается, что в ней теряет сторона, расставляющая сети на уловление своего противника. Граф Ловков проигрывал деньги в нашем доме, но он пользовался

за это своим правом надо мною и нечувствительно поймал меня в те самые силки, которые я для него приготовила. Слушая терпеливо его изъяснения в любви, я так к ним привыкла, что мне скучно было, когда я их не слыхала, и, наконец, чтоб продолжать эту приятную забаву и удержать графа в моей зависимости, я сама призналась ему, что он мне мил. Граф был человек светский и опытный не по летам в подобных делах. Вскоре между нами водворилась тесная дружба, фамильярность, которой ты был свидетелем...

Ты все еще жил у меня в сердце, но, признаюсь, почтительная, робкая любовь твоя ко мне казалась мне детскою игрушкой, в сравнении с пламенною, открытою счастием графа. Когда он узнал от Вороватина, что ты приехал в Оренбург из любви ко мне, то поклялся лишить тебя жизни, и чтоб спасти тебя от опасности, я вздумала отречься от тебя и даже клеветать..... Конечно, лекарство было не слишком привлекательно; но я думала тогда, что делала хорошо. Внезапное твое появление привело меня в такое смущение, что я была вне себя... не знаю, что я говорила. Твое намерение унижить меня в глазах графа привело меня в гнев... Любезный Ваня, прости меня!

Груня заплакала, и я объявил торжественно и утвердил клятвою, что прощаю ее и не сохраню в сердце ни малейшей искры негодования за все прошедшее.

— Будь искренна, Груня,— сказал я.— Все забыто, все прощено; я люблю тебя более, нежели прежде!

— Я хотела узнать, что с тобою сделалось,— сказала Груня.— Меня уведомили, что ты заболел, что Вороватин, на другой же день, нанял другую квартиру, что какой-то незнакомец приехал за тобою в телеге, чтоб перевезти в новое жилище, но что хозяин новой квартиры тебя не видал. Вороватин чрез несколько дней уехал из Оренбурга, не простясь с нами, и я не знала, что случилось с тобою. Тайный голос упрекал меня в твоём несчастье. Ужасные сновидения часто тревожили меня: я видела тебя умирающим, видела тень твою, угрожающую мне мщением. Я думала, что ты умер, плакала, молилась; наконец, мало-помалу успокоилась, и если не вовсе забыла, то по крайней мере реже стала думать о тебе.

Любезный друг! избавь меня от рассказывания подробностей моих приключений, смешанных с проступками, которые я чувствую в полной мере и в которых от вей души раскаиваюсь. Граф, представив мне искусным образом несчастное положение мое в игорном доме и обещая жениться

на мне после смерти старого и больного своего отца, уговорил меня тайно уехать с ним в Киев, где стоял полк, в который он поступил, оставив звание адъютанта. Не долго была я в заблуждении. Граф был любезен, нежен и вежлив, как все обольстители до исполнения своего умысла, а после того сделался груб, капризен, холоден, чтоб отвязаться от легковерной. Не проходило ни одного дня без ссоры, взаимных упреков, слез. Презрение, которым я была окружена, терзало меня, и легкомыслие графа, искавшего рассеяния в других связях, приводило меня в отчаяние. Наконец он объявил мне, что отец его скончался и что он должен немедленно ехать в Петербург. Я припомнила ему обещание. Он молчал. Я просила его, чтоб он взял меня с собою: он отговорился невозможностью. Наконец он уехал, и чрез месяц я узнала, что отец его жив и что мой обольститель женился на богатой девице знатной фамилии!

Ты можешь вообразить себе мое отчаяние. Я намеревалась возвратиться к матери, которая переехала снова в Москву: но в ответ на мое письмо получила известие, что матушка моя скончалась. Я осталась сиротою в свете, без покровителя, без денег, без доброго имени!

Граф поручил одному из своих друзей разделить с мною и предложил мне пенсию, с тем чтобы я оставила его в покое. Я презрела его предложение и написала к жене его письмо, в котором изобразила всю гнусность поступка графова. Долго я колебалась, жить ли мне или броситься в воду. Молодость превозмогла отчаяние, я успокоилась, но, не зная, каким образом снискивать пропитание, вознамерилась служить. В это время чрез Киев проезжала труппа странствующих актеров, составленная из недоучившихся школьников, исключенных семинаристов и полуграмотных актрис домашних театров, отпущенных на волю или проживающих по паспортам. Мне вдруг пришла в голову мысль сделаться актрисой. Хозяин этой орды, отставной суфлер, испытывав мои способности к театру, так был доволен мною, что тотчас дал мне в своей труппе место: первой певицы, первой трагической и комической актрисы и первой танцовки. Я не хотела играть на театре в Киеве, где меня знали офицеры. Мы отправились на малороссийские ярмарки, где я снискала себе славу и привлекла зрителей на наши представления. Я одна поддерживала труппу и за то уважаема была всеми более, нежели сам хозяин. Даже женщины любили меня, потому что я не мешала им ни в чем, вела себя скромно, не хотела иметь обожателей и даже слыла жестокосердою.

Мне не было покою от влюбленных; некоторые из мелкопоместных дворян даже предлагали мне свою руку; но я полюбила свободную жизнь и не хотела заживо погребстись в каком-нибудь хуторе. Рукоплескания сделались моею потребностью: я мечтала о славе!

Безденежье преследовало нас повсюду, как совесть преступника. Приехав в город, мы обыкновенно жили в долг, до тех пор, пока не удастся собрать денег на уплату долга и на переезд в другое место. Одевались мы на бенефисные выручки, а нанимали квартиру и имели стол на общие деньги или на счет хозяина. О разделе прибылей говорено было по приезде на каждую ярмарку, но по окончании ее оказывалось, что делиться было нечем. Однако ж мы жили хотя не богато, но весело; не заботились о будущем и наслаждались настоящим.

Однажды, на проезде чрез небольшой городишко, хозяин объявил нам, что казна наша в таком истощении, что не позволяет нам продолжать нашего странствия. Мы остановились в трактире, устроили в сарае театр, наделали люстр из обручей, вывесили свои бумажные декорации и обклеили все углы улиц писаными объявлениями. Прошло несколько дней, и никто не являлся в театр. В это время остановился в трактире богатый господин, проезжавший из Петербурга в свои поместья. Увидев на афишке, что актеры намерены играть трагедию Сумарокова: *Димитрий Самозванец* и оперу *Мельник* и ожидают только зрителей, чтоб отличиться прекрасною игрою,— проезжий барин, для потехи, заказал для себя спектакль и за 50 рублей ассигнациями поместился в театре один, с своим пуделем. Невзирая на то, что пудель мешал нам декламировать, поднимая ужасный лай, как скоро наш Дмитрий Самозванец приходил в бешенство, невзирая на то, что свечки, прикрепленные к висячим обручам, то гасли, то падали актерам на голову, что в целом оркестре не было ни одной скрипки с полным числом струн, мы благополучно окончили наше представление, и богатый барин заметил во мне способности, которые ему угодно было назвать большим дарованием. Он подарил мне, из одного великодушия, 200 рублей на проезд в губернский город, где один любитель театра содержал труппу. Я послушалась его, оставила своих товарищей и, прибыв в губернский город, явилась к содержателю театра. После первого дебюта мне назначили бенефис, с условием сыграть несколько раз в пользу театра. Бенефис был блистательный, ибо тогда были дворянские выборы, и я нравилась публике. С собранными деньгами

и рекомендательными письмами отправилась я в Москву, опередилась в актрисы здешнего театра, и ты по моему дебюту можешь судить о малых моих способностях и о тех успехах, какие ожидают меня на этом поприще.

— Любезная Груня,— сказал я.— Ты видишь одни приятности в звании актрисы, но не рассчитала неудач, которые могут тебе встретиться. Послушайся меня, оставь театр: я женюсь на тебе, мы уедем в какой-нибудь отдаленный город, и я с капиталом моим заведу торговлю или займусь хлебопашеством. Для счастливых сердец так мало надобно в жизни!

Груня задумалась, потом, положив мне руку на плечо и посмотрев на меня умильно, сказала:

— Выжигин! Аркадские твои мечты хороши в водевиле, но не в существенности. Неужели при имени *славы* сердце твое остается холодным? Неужели блистательная участь твоей Груни тебя не трогает? Ваня, любезный Ваня! если б ты знал, какую сладость доставляют сердцу и слуху рукоплескания, как приятно привлекать внимание публики, видеть имя свое напечатанным, быть превозносимому похвалами в журналах, то, любя меня, ты не отвлекал бы меня от моего звания, но был бы вдвое счастливее, наслаждаясь моею любовью и моим счастьем! Нет, Выжигин, я не могу отречься от театра в ту самую минуту, когда он доставляет мне славное имя, способ к существованию, удовольствие и примиряет с светом, из которого, так сказать, я дезертировала. Подожди, дай мне насладиться, и тогда — я твоя навеки.

Я хотел спорить, рассуждать, но Груня просила меня прекратить этот разговор.

— Слава и любовь! — воскликнула Груня.— Вот девиз хорошей актрисы. Принимай вещи в таком виде, как оне есть — или я буду несчастна!

Надлежало повиноваться, или, лучше сказать, не надлежало, но хотелось повиноваться — и я замолчал. Прошел месяц; Груня сделалась предметом обожания всех любителей прекрасного пола и драматического искусства, предметом зависти для всех кокеток. Она торжествовала; я страдал и молчал. Мало-помалу в доме у меня составилось небольшое общество из покровителей драматургии, из покорных и услужливых актрис, которые льнут всегда к каждой из своих сестер, входящей в моду, чтоб поймать отставного обожателя или раздать свои бенефисные билеты, и из некоторых чиновников театральных, необходимых для успеха актрисы, как деревянные подставки для декораций. Но Груня вела

себя прекрасно. С богатыми и влюбленными в нее любителями драматургии она обходилась гордо, но вежливо; принимала их только в условленные дни и часы, всех вместе, при других женщинах, и не позволяла никаких вольностей ни в словах, ни в поступках. С театральными чиновниками она умела обходиться таким образом, что они сами предупреждали ее желания. Груня слыла фениксом ума и добродетели между актрисами. В обществах большого света ни о чем более не толковали, как о русской актрисе, красавице, которая говорит прекрасно по-французски. Последнее обстоятельство сводило с ума острых читателей прекрасного пола, из высшего круга общества. «Русская актриса говорит по-французски? *C'est charmant! c'est charmant!* — повторяли старые волокиты. — Как жаль, что она добродетельна! Добродетель в актрисе — роскошь, и даже непозволительная!» Так рассуждали волокиты, а Груня смеялась и любила меня одного.

Однажды я застал Груню в печали: глаза ее были красны, бледность покрывала лицо: видно было, что она плакала. Я ужаснулся.

— Милая Груня, что с тобой сделалось: скажи, ради Бога?

— Ах, Выжигин, как я несчастна! Мне дали первую роль в новой опере, назло этой глупой и вялой девчонке Маскиной, которая гордится только тем, что расточает имение графа Жилкина и появляется на сцене в золоте и в алмазах. Она должна занять второстепенную роль в этой опере; я это сделала, невзирая на все интриги партии графской. Я даже выслушала преглупое любовное объяснение ротозея, закулисного чиновника... Не бойся, Ваня! ты уже выпучил глаза и струсил; я только выслушала объяснение и уже позабыла его. Между тем первая роль принадлежит мне! Что же вздумала сделать эта злая Маскина? Она должна представлять соперницу мою, богатую вдову, и заказала богатейшее платье, вышитое чистым золотом по бархату, и хочет явиться вся в бриллиантах, возле меня, а я в первой роли буду в мишуре и стеклянных бусах! — Груня заплакала.

— Но этому можно пособить, — сказал я, заикаясь. — Не плачь, посоветуемся хладнокровно.

— Что помогут советы? Из сотни развратных старичишек я могу выбрать любого, который готов для меня разориться. Но я не хочу ни за миллионы иметь дело с трупами. У всякого свой характер: я ни за что не соглашусь сказать люблю тому, кому должно говорить: *memento mori* (помни

смерть). Молодые же красавцы или голы, как соколы, или так заняты собою, что воображают, будто взгляды их краше и дороже бриллиантов. Какой тут совет, Ваня? Я люблю одного тебя и лучше хочу погибнуть, сгореть от стыда, чем изменить тебе.

Я поцеловал Груне руку и сказал

— Милая Груня! игра твоя затмит блеск наряда Маскиной.

— Могу ли я играть хорошо, когда перед глазами моими будет блестеть эта кукла, с своим чванством!

— Сколько же надобно на платье?

— Тысячи полторы.

— Полторы тысячи небольшое дело, но бриллианты...

— Бриллианты можно взять напрокат, только чтоб было что заложить за них. Мне в собственность нужны только порядочные бриллиантовые сережки и жемчуг с фермуаром, а прочее все можно было бы взять напрокат. Но оставим это: сядь ко мне, Ваня, и погорюем вместе.

— Извини, Груня, я не могу долее у тебя оставаться. Прошу об одном: не кручинься и не предпринимай ничего до обеда. Я приеду к тебе обедать, и мы посоветуемся. Авось-либо и Выжигин поможет тебе!

Я выбежал от Груни в сильном волнении. Она любит меня, думал я; она пренебрегает всеми связями из любви ко мне и жертвует даже для меня женским тщеславием — самолюбием! О, неоцененная Груня! я должен вознаградить тебя за эту бескорыстную любовь, возратить тебе часть наслаждения, доставленного мне твоею любовью. С сими мыслями я полетел домой, взял билеты Сохранной казны, поехал с ними в Опекунский совет, взял десять тысяч рублей и прямо поскакал к ювелиру. Я выбрал прекрасные сережки и жемчуг с фермуаром за 6000 рублей, взял напрокат диаманту, ожерелье и браслеты, ценою в 25 000 рублей, под залог моих билетов, и возвратился к Груне, когда она собиралась садиться за стол, полагая, что я уже не буду. Она приняла меня нежно, но с печальным лицом.

— Ты знаешь, Груня, что я боюсь снов?

— Что же из этого?

— Мне снилось, будто у тебя во время обеда делается что-то неожиданное. Потешь меня, милая, и сходи сама в кухню посмотреть, все ли исправно. Ты знаешь, что недавно в одном доме, вместо того чтоб посыпать пирожное сахаром, кухарка, по неосторожности, посыпала мышьяком, который хранился в шкафе, для истребления крыс!

— Боже мой, какие у тебя мысли! — сказала Груня и вышла из комнаты, а я между тем разложил на маленьком столике привезенные мною галантерейные вещи и, кроме того, две тысячи рублей на платье. Лишь только Груня подошла к дверям, я взял ее за руку и, подведя к столику, сказал: — Не печалься: желание твое исполнено!

Груня посмотрела на вещи, потом бросила на меня такой взгляд, что я чуть не растаял; кинулась в мои объятия, вскрикнула и лишилась чувств.

Я перенес ее на софу, кликнул служанку, бегал, суетился, лил воду, духи и наконец привел в чувство Груню.

— Ваня, — сказала она, — я не умею благодарить тебя: это сердце, которое принадлежит тебе, чувствует, но язык мой слаб, чтоб выразить чувства.

Груня от излишней чувствительности перешла к такой шумной радости, что я опасался, чтобы она не лишилась ума. Она кричала, смеялась, пела и беспрестанно примеривала то диадему, то склаваж, то браслеты. Я принудил ее сесть за стол, но она ежеминутно вскакивала со стула, чтоб посмотреть в зеркало и снова принаравливать к лицу убранства.

— Груня, — сказал я, — ты так умна! неужели эти блестящие игрушки имеют в глазах твоих такую цену, что ты от них забываешься?

— Нет, друг мой, — отвечала она, — не вещи мне дороги, но торжество над моею надменною соперницей, торжество, которого она не надеется и которое мне тем милее, что я тебе за него обязана!

Между тем приближалось время представления, и Груня открыла мне, что друзья графа Жалкина составляют против нее заговор.

— Любезный Ваня, — сказала Груня, — в свете не знают о нашей тесной дружбе, и так надобно, чтобы ты взялся составить также для меня партию. Я бы это легко могла сделать сама, но не хочу возбуждать твоей ревности, не хочу трогать твоей чувствительности. Возьми несколько десятков билетов, скажи приятелям, что ты выиграл их, побившись об заклад, и раздай даром. Дай обед или завтрак самым пылким, неутомонным и дерзким шалунам и внуши им, что надобно защищать правое дело, возвысить меня рукоплесканиями и вызовом на сцену, и зашикать Маскину.

Я хотел возражать, но Груня зажала мне рот своею прекрасною ручкой, поцеловала и смехом разрушила все мои философические батареи. Я должен был, то есть мне хотелось, ей повиноваться.

Наконец наступило представление. Я в этот день давал обед приятелям — буянам, в ближнем от театра трактире, и когда в голове у всех зашумело, предложил им идти в театр, защищать правое дело, и роздал билеты. Мы вошли в театр гурьбою, и друзья мои ожидали только моего сигнала, чтоб шикать или хлопать. Между тем Груня не показывалась из своей уборной, пока не пришла ее очередь выходить на сцену. Когда же она вышла, то Маскиной сделалось дурно при виде бриллиантов и богатого платья, которые были на Груне, и весь закулисный факультет решил, что невозможно быть одетой лучше и богаче ее. Груня была вне себя от радости, и это расположение духа имело такое сильное влияние на ее игру, что она в самом деле превзошла все ожидания; а Маскина, в отчаянии от торжества соперницы, забыла роль и мешалась в игре. Друзья графа Жалкина старались всеми силами поддержать его приятельницу; но шиканье нашей партии заглушало слабые рукоплескания, и Груня, превозносимая похвалами в продолжение пьесы, была вызвана на сцену; а Маскина, покрытая стыдом и насмешками, побранилась с Грунею за кулисами и, приехав домой, подралась с графом.

Я был принят Грунею с восторгом. У нее были званные гости к ужину, но я так был расстроен волнениями того дня, что чувствовал себя нездоровым, и поехал домой.

По мере успехов Груни на драматическом поприще и по мере распространения ее известности надлежало ей наряжаться лучше других, или, по крайней мере, так, как другие актрисы, иметь удобнее квартиру и завести свой экипажец. Я никак не мог согласиться, чтоб Груня прибегала к кому-либо другому в своих нуждах, и сделал для нее все, что было нужным. У нее не было шалей, но она у меня никогда их не просила; когда же я звал ее прогуливаться за город или просил надеть бриллианты на вечер, она с улыбкою отговаривалась тем, что у нее нет шали, а без этого нельзя ни прогуливаться, ни богато наряжаться. Разумеется, что надобно было купить несколько шалей, ибо привезенные мною из степи были распроданы.

Наконец, три новые представления, два переезда с квартиры, устройство гардероба и зимней одежды, заведение экипажа, одни именины и день рождения Груни в течение года лишили меня сорока тысяч рублей и навязали долгу до десяти тысяч. Повторяю, что она меня никогда ни о чем не просила, и я не имел ни малейшей охоты

покупать деньгами любовь или благорасположение у кого бы то ни было. Ни я, ни Груня не знали, как это случилось, что мы истратили такую кучу денег! Ей хотелось *иметь*, у меня было *на что достать*: деньги катились — и выкатились! Вот я остался без гроша, без всяких средств достать денег, обязанный содержать мать... Раздумав о моем положении, я пришел в отчаяние, но не имел духу сказать Груне о моем несчастье. Я даже думал застрелиться, думал бежать в киргизскую степь, но меня удерживало положение моей матери. Несколько дней я не смел являться к Груне и сидел запершись в моей комнате, помышляя о средствах содержать себя пристойно в свете. Матушке моей я сказал, что нездоров. Ничто не приходило мне в голову, а всех денег оставалось у меня только пятьдесят рублей. Я уже писал однажды к Арсалану чрез Оренбург, но не получил никакого ответа: теперь снова написал я письмо к Арсалану и старшинам киргизским, уведомляя их о месте своего жительства и прося о присылке следующих мне денег за продажу из оставшейся моей доли добычи. Молчание степных друзей моих не предвещало ничего доброго. Между тем я страшился, чтоб друзья мои, покровительницы и заимодавцы не узнали о моем разорении. Тысячи проектов рождались и умирали в моей голове, как вдруг вечером шестого дня моего уединения дверь в комнате моей быстро отворилась и вбежала — Груня.

ГЛАВА XXVI

ИЗБАВИ НАС ОТ ЛУКАВОГО! УРОК ДНЕВНОГО РАЗБОЯ. СОВЕТЫ ОТСТАВНОГО СОЛДАТА. Я ОПЯТЬ С ДЕНЬГАМИ

— Что это значит, любезный друг, что ты бросил меня? — сказала Груня. — Великое дело, что промотался?

— Как, и ты уже знаешь...

— Как мне не знать, — сказала Груня, — когда твой Петров отпрапортовал мне о твоём горе.

— Изменник! — воскликнул я.

— Не горячись, он истинный друг твой. Увидев, что ты лишился веселости и отстал от всех своих привычек, он догадался, что казна твоя в чахотке. Наконец, когда приметил, что ты принялся осматривать и повертывать в руках свои пистолеты, добрый Петров не мог более вытерпеть

и прибежал ко мне с просьбою, чтоб я поспешила к тебе на *сикурс*. Что ж ты молчишь?

Я взглянул на Груню исподлобья, в смущении и стыде, и заметил на лице ее веселость и улыбку.

— Полно унывать! — сказала Груня. — Не стыдно ли киргизскому наезднику горевать о потере добычи, когда он сам цел и невредим? Давно ли ты называл меня своим сокровищем, своим счастьем. Вот я перед тобою — а ты кручинишься о потере денег! — Груня села на софе, велела мне поместиться возле себя и сказала: — Ну, много ли мы спустили в этом году?

— Тысяч пятьдесят, слишком!

Груня захохотала.

— Изрядно, очень мило! — воскликнула она. — А кажется, мы были так бережливы! Теперь посуди, стоит ли кручиниться из денег, стоит ли мучить себя для них? Это сущая пыль, которая разносится и наносится ветром.

— Утешительная философия! но без денег невозможно существовать, — отвечал я. — И самая нежная любовь, самая бескорыстная дружба могут наполнить только сердце...

Груня прервала слова мои.

— Ах, как ты умен без денег! — сказала она. — Но оставь это, любезный Выжигин! Ничего нет скучнее в мире, как рассуждения безденежной философии! Ну, сколько у тебя осталось?

— Менее нежели ничего.

— Как так?

— То есть долги и невозможность уплатить их.

— Чисто! Послушай же, Выжигин, я пришла к тебе с тем, чтоб извлечь тебя из твоего неприятного положения. Будь тверд и бесстрашен. Один из старых знакомых моей матушки, Яков Прокофьевич Зарезин, просит у меня позволения держать банк в моем доме...

— Груня, ты опять берешься за средства непозволительные, которые довели до несчастья твое семейство!

— Я от роду не играла в карты и играть не стану, следовательно, ничего не проиграю. Зарезин дает мне равную долю в выигрыше без проигрыша за одно позволение играть у меня...

— То есть обыгрывать на верную, красть, явно разбивать!

— А нам до этого какое дело, любезный друг? — сказала хладнокровно Груня. — Всякому даны разум и воля: кто

не умеет владеть ими, тот пусть учится, а за уроки, ты знаешь, надобно платить.

— Твоя философия хотя не так скучна, как моя, безденежная, но это курьерская подорожная в Сибирь.

— Полно, полно вздорить; посмотри, чем живут люди, принимаемые и честимые в обществах большого света. Тот обогатился взятками, тот расхищением казны, тот опеками над сиротским именем, тот несправедливыми тяжбами. *Не пойман, не вор* — гласит пословица, и богатые плуты высоко поднимают голову, гордятся, что умели нажить себе имение. Ты не имел дела с купцами. Попробуй, и увидишь, как лучший твой приятель сдерет с тебя вдесятеро и, выпустив из лавки или из конторы, посмеется насчет твоего легковерия. При всем моем уважении к человечеству, верю, что едва ли не половина городских жителей — игроки на верную. Разница в игре: кто играет в политику, кто в коммерцию, кто в администрацию, кто в правосудие, а кто в банк, вист и штос.

— Груня, милая Груня, — сказал я, целуя ее руку, — ты настоящий демон в образе красоты; я не могу спорить с тобою, но не налагай на меня обязанности быть бесчестным, не пользуйся моею слабостью! Я так люблю тебя, что не могу ни в чем отказать тебе. Могу только умолять: не вводи меня во искушение!

— Я не предлагаю тебе самому играть, — сказала Груня. — Ты будешь только моим депутатом при Зарезине; станешь наблюдать, чтоб он не обманывал меня, чтоб он действовал *прилично*, то есть не слишком зазнавался и употреблял свое искусство с умеренностью. Для этого тебе самому надобно знать все игорные штуки.

— Я не знаю ни одной. Слыхал кое о чем, но сам не умею ничего.

— Зарезин имеет нужду в *крупере*¹ и *мотиянте*², который еще не прославился и, как говорится, имеет представительную фигуру. Для этого нельзя в мире сыскать человека способнее тебя. Ты скромненький в обхождении, ловок, имеешь приятную наружность, мил... — Груня при сих словах улыбнулась, погладила меня по голове и поцеловала. Я совершенно забылся.

Поговорив еще несколько времени о посторонних предметах, Груня оставила мне адрес Зарезина и велела мне

¹ Крупер сидит возле банкира, записывает выигрыш и рассчитывается с понтерами.

² Мотиянт — половинщик в игре.

явиться к нему на другой день, в 10 часов утра, сказав, что он уже предупрежден и будет ожидать меня. Она уехала, пожелав мне более веселости, твердости духа и — философии!

В тысячный раз, с тех пор как я связался с Груней, воскликнул я: «О, слабость человеческая!» В тысячный раз, с тех пор, повторил я молитву:

— Не введи нас во искушение! — и остался таким же, каков был прежде!

Матушка заметила, что я с некоторого времени переменялся, стал задумчив, мрачен, брюзглив. В обществах большого света, куда я всегда ездил, хотя не так часто, я был столь же любезен, как прежде; но человек в гостях и человек дома — два разные лица. Иногда домашний тиран, мучитель слуг и семейства, почитается в свете самым любезным человеком; иногда тот, который заставляет других хотеть в обществе своею веселостью, пришел от слез и возвратится к слезам. Учиться узнавать людей надобно: во-первых, в их отечестве, а потом в их семейной жизни. Дурной отец с хорошими детьми, дурной муж с доброю женой, дурной сын с почтенными родителями — никогда не могут быть добрыми людьми, и я таким людям не дал бы в управление не только уезда или департамента, но не поверил бы моей собаки; боялся бы с одним из таких людей ночевать в лесу, без оружия.

Я сказал матушке, что необдуманные обороты расстроили мое состояние и что я должен теперь стараться трудами приобретать деньги. Матушка не упрекала меня и не гневалась. Она просила позволения удалиться в монастырь, где настоятельница, ее знакомая, предлагала ей безмятежное убежище. Я согласился, и матушка в тот же день вознамерилась перебраться в новое жилище, взяв с меня обещание навещать ее каждый день или, по крайней мере, три раза в неделю.

Между тем я отправился, по условию, к Зарезину. Слуга ввел меня в гостиную, очень чисто убранную, где я застал Зарезина, прохаживающегося по комнате. Это был небольшой человек, лет за сорок, бледный, сухощавый, с пронзительными взглядами, с какими-то ужимками, похожими на лакейское передразнивание господских приемов. Следуя правилам моей физиономики, в глазах и на устах Зарезина я заметил коварство, бесстыдство и трусость. По привычке, он имел на глазах зеленый зонтик, хотя одарен был таким превосходным зрением, что малейшую крапинку на

картах видел на столе простым глазом, как в микроскоп. Пальцы его были чрезвычайно длинные и сухи. На правой его руке указательный и большой пальцы обвязаны были черною тафтой. Он беспрерывно тасовал карты и срезывал штос, даже беседуя со мною, чтоб не терять напрасно времени, как он говорил, и постепенно усовершенствоваться в механике. Яков Прокофьевич одет был особенным образом: галстух его повязан был плотно возле шеи, фрак с широкими рукавами висел на нем, как на гвозде, короткое исподнее платье и сапоги до колен представляли ноги его в виде крученых столбов готическо-арабской архитектуры. Яков Прокофьевич редко заглядывал в глаза тому, с кем говорил, и то тогда только, когда говорил не о *деле*, а о вещах, посторонних своему ремеслу.

— Прощу покорнейше, — сказал Зарезин, указывая мне место на софе. — Очень рад с вами *сойтись*: Аграфена Степановна изволила мне говорить, что вы были в связях с искренним другом моим, Лукою Ивановичем (Вороватыным). Почтенный человек, добрейший!.. Мы с ним много *работали* вместе. Жаль, что я не могу узнать, где он теперь находится.

Я молчал. Зарезин опять завел речь:

— Я слышал, что вы изволили вести большую игру, и много выигрывали. Позвольте спросить: метали или понтировали?

— Понтировал, но более играл в коммерческие игры.

— Понимаю-с: на *свои* карты, с *кумовьями*¹, а в банк, верно, изволили играть с *своими* людьми, на *продажу*²?

— Ни то, ни другое. Я играл чисто.

— А, тем лучше, что *чисто*: однако ж Аграфена Степановна не изволила мне сказать, что вы *чисто* играете.

Я смотрел в глаза Зарезину, изъявляя удивление и не понимая его выражений.

— Вы не изволите понимать, что значит... *чистота*? Это значит ловкость, проворство.

При сих словах Зарезин сделал движение пальцами, как будто хотел щелкать ими.

— Нет, вы не угадываете, — отвечал я. — Аграфена Сте-

¹ Кум, или партнер, называется один из трех сговорившихся в вист или другой коммерческой игре, к обыгранию четвертого. Иногда играют на подмеченные, то есть на *свои* карты.

² Банкир входит в половину со многими лицами и, сговорившись с одним из своих приятелей, подтасовывает колоду известным образом или дает знать приятелю, которая карта выигрывает, а тот срысывает банк. Это называется *продать*. Миленькая коммерция!

пановна сказала вам, и я повторяю, что я вовсе ничего не знаю в картах и что если вы хотите, чтоб я был вам полезным, то должно посвятить меня в таинства своего искусства.

— Конечно, должно знать что-нибудь,— возразил Зарезин.— Не угодно ли *потрудиться* пройти в мой кабинет; я вам дам первый практический урок, с указанием инструментов.

Из гостиной мы вошли в холодную комнату, где находилось множество разнородных вещей в величайшем беспорядке. Картины, фарфор, бронзы, конские приборы, пенковые трубки, богатое оружие разложены были на окнах, стульях, столах и на полу. Кроме того, в разных местах стояли сундуки, ящики с винами и т. п. Все это покрыто было пылью и грязью. В другой комнате, или в кабинете, все три окна завешены были зелеными шторами. Под окнами стояли маленькие столики, покрытые большими листами бумаги, а посреди комнаты находился один большой стол, покрытый зеленым сукном. Зарезин подошел к одному малому столу, снял бумагу, и я увидел: несколько талий карт, а на тарелке растертые синюю и красную краски и несколько вороньих перьев.

— Кажется, вы можете догадаться,— сказал Зарезин,— что это *живописная часть* нашего искусства, то есть крап. Самые лучшие карты для накрапливания вот эти, которых верхние узоры отделяются пунктировкой. Одна лишняя точка в известном месте достаточна, чтоб читать поверху, как будто колода была раскрыта. В середине крапятся карты для *верховки*. Вы не знаете верховки?

— Нет-с.

— Извольте видеть: вы пускаете в оборот свои карты и, понтируя, знаете всегда, что лежит наверху, а этим избавляетесь от потери *соников*. Это самая невинная игра и употребляется только против *опытных* игроков. Здесь авантажу не более 10 процентов. Вот эти карты с крапинами на ребрах служат для улавливания *соников*. Верный и зоркий глаз видит иногда четвертую карту в колоде банкира, и тогда, прощай банк! Вот банкирские карты с крапинами на углах, чтоб, зная, когда идет карта с большим кушем, можно было *передернуть*.— Зарезин при сем выдвинул ящик в столе, вынул табакерку и подал ее мне.

— Видите ли вы в ней что-нибудь? — спросил он.

— Ничего, кроме того, что она тяжела и очень хорошо сделана,— отвечал я.

— Тяжела оттого, что середина золотая, а верх платинный и что тяжесть эта всяма нужна. Видите ли, что нижнее дно обведено рубчиком, или рамочкою, а на самой середине дна цветок, отделанный матом? Теперь извольте смотреть: вот я, например, банкир.

При сем Зарезин сел за стол, взял карты в руки и продолжал толкование:

— Теперь вижу, что вторая карта должна выиграть понтеру большой куш. Я кладу карты на стол, прикрываю колоду табакеркою, будто из предосторожности, чтоб понтеры не видали их; вынимаю платок, утираю нос, потом открываю табакерку, беру табак, снимаю табакерку, продолжаю метать, и вот видите, семерка, которая должна была лечь налево, ложится направо.

— Как же это случилось? — спросил я с удивлением.

— А вот как! В табакерке два дна, золотое и платиновое. Золотое тонкое и упругое, а в платиновом этот цветочек вставной, на пружине, и намазан по мату воском или клеем. Когда я беру табак, то прижимаю пальцем середину: верхняя карта пристаёт к вставному цветку и держится в рамочке, а вторая остается верхнею. Теперь идет другая карта, которую мне надобно положить направо. Я точно таким же порядком кладу табакерку на карты, прижимаю дно, и карта отстает от цветка и ложится наверх, а та, которая долженствовала выиграть в первом *абцуге*, проигрывает понтеру во втором. Не правда ли, что это очень мило?

Я кивнул головою в знак согласия.

— Это новое петербургское изобретение, одного моего закадычного приятеля, и очень хорошо с *мастерами*, которым нельзя передернуть. Ведь ученых иначе нельзя уловить, как самыми простыми средствами. У меня есть еще любимый черный фрак, в котором я езжу на игру. В правом рукаве этого фрака также сделан механизм, для скрадывания карт. Это чудо, а не изобретение: я вам покажу после. Стоит только погладить обшлагом колоду, и карта так же исчезнет, как от табакерки.

Мы перешли к другому маленькому столику, и Зарезин, сняв бумагу и указав на кучи карт, продолжал рассказ:

— Вот *баламуты*, то есть известное число карт, подрезанных таким образом, что при тасовке выбираются широкие и укладываются вместе, по исчислению. Баламутов множество, и их укладывают разными ключами. Есть такие, где все первые тридцать карт проигрывают, то есть где понтер не

выигрывает ни одного куша; есть баламуты легкие, с большим числом *плие* и с фальшивыми *рутье*. На баламута играют только с неопытными. Ныне, извольте видеть, свет зело умудрился! Вот различные *подрезы* карт, для укладывания штосов в тасовке. На это надобно иметь необыкновенное проворство в пальцах, больше, нежели требуется от нынешних модных фортепианных игроков, и эта ловкость приобретается только временем и трудами. Вы видите, что у меня обвязаны пальцы: извольте видеть, кожа на этих пальцах у меня так надскоблена терпугом, и тело так размягчено мазью, что я в игре одним прикосновением угадываю карты, а суставы мои гибче всяких пружин. Но вы до этого не скоро дойдете: это плоды двадцатилетней опытности и невероятных усилий. Вы же будете моим крупером, и так вам нужно более знать понтировку, для наблюдения за игроками, при моем банке. Я не могу смотреть за ними потому, что в игре я бываю *погружен в глубокое созерцание* искусства, для произведения в действо моих банкирских опытов, а вы между тем смотрите, чтоб нас не обманывали ложные братья, втирающиеся в игру под маскою простаков.

Мы перешли к третьему столу, и Зарезин, вскрыв по-прежнему бумагу и показывая мне различные карты, продолжал свой рассказ:

— Вот видите эту тройку. Смотрите же: раз! — и вот двойка; еще раз! — и вот туз.

Зарезин только снимал карту со стола, и на карте в самом деле переменялись очки, по его воле.

— Знаете ли, что это такое? — спросил Зарезин.

— Мне почему знать!

— Это инструмент русского изобретателя, хотя французского названия, и зато не так страшный, как французский. Это *гильотина*. Вот извольте видеть: карта расклеивается, и вот на этой часовой пружине насаживаются вырезанные очки. Пружина укреплена в середине, а кончик ее выходит с боку карты. Двигая пальцем кончик, очки прячутся или выходят по произволу. Гильотина делается из всех карт, кроме фигур. Но вот у меня и резервные фигуры, или *маски*. Извольте видеть: вот на одной карте король и дама, на другой валет и король и т. д. Это делается из двуголовых фигур. Крашенный листок сдирается, разрезывается, и головы переменяются. Для *темных* и для *соников* это очень хорошо. Эти карты несколько помудренее. Видите ли, вот я ставлю семерку: выигрывает шестерка, и моя карта тотчас превратилась в шестерку. Это *насынные* очки. На карте наво-

дится клеем очко и посыпается черным порошком из жженой кости. Карта, разумеется, ставится *темная*, и если выиграла та карта, которая стоит у меня, я вскрываю и беру деньги; если выигрывает другая, я стираю очко при вскрытии карты и опять беру деньги. Вот *мешки*: карта, извольте видеть, расклеена в середине, и в ней оставлено пустое место, куда кладутся ассигнации. Если карта проиграла, понтер берет со стола карту и оставляет несколько ассигнаций; если карта выигрывает, то понтер искусно вытряхивает ассигнации из мешка, и банкир платит иногда вдесятеро, особенно при выигрыше углов. Вы изволите посматривать в этот ящик? Здесь инструменты: *волчий зуб*, для лощения крапленых карт, *вишневый клей*; вот *медные доски* разного формата, для обрезывания карт этими тоненькими *ножницами*. А вот на шкафу стоит *пресс*, или *тиски*, для сжатия распечатанных и вновь запечатанных карт. Вам угодно знать, что на этом большом столе, под зеленым сукном? Приготовленные карты. Но на первый случай вам довольно. Пойдемте, позавтракаем и потолкуем о предстоящей кампании.

Завтрак уже стоял на столе, но не было ни приборов, ни вина. Зарезин вынул ключи из кармана, вышел в другую комнату, позвал лакея и возвратился с вином и приборами. Когда лакей удалился, я сказал:

— Верно, ваш служитель дурного поведения, что вы ему не веряете серебра?

— Ничего не заметил в течение десяти лет,— отвечал Зарезин.— Но я, сударь, имею привычку никому не верить, а это самое лучшее средство, чтоб не быть никем обманутым. К тому ж: не введи во искушение! Зачем доставлять человеку случай к воровству?

Я не отвечал ничего, но внутренно проклинал любовь мою, доведшую меня до связей с этим адским творением.

— Извольте видеть,— сказал Зарезин,— Аграфена Степановна очень добрая девица и моя старая знакомая; но она немножко ветрена, немножко своенравна и немножко любит бросать деньгами. Мы не должны совершенно верить ей все свои дела и весь денежный оборот. Она готова предостеречь человека, если он ей понравится, и когда будет в точности знать о выигрыше, то в нужде в состоянии потребовать от нас более, нежели сколько ей будет следовать. Извольте понимать? Я имею обычай, когда играю в половине с кем-нибудь, откладывать с банку в сапоги: вы то же должны делать, когда я поморщусь и ска-

жу вам: *сапоги жмут*. После того мы пойдем домой и расчитаемся.

— Увидим! — сказал я и спешил оставить Зарезина, чтоб увидеться с Грунею.

— Ты мне навязала сущего разбойника! — сказал я Груне.

— Неужели ты хочешь, чтоб я для обмана обманщиков выбрала честного человека? Перестань ребячиться, Ваня: ты скучен с своею школьною добродетелью. Мы ни у кого не станем отнимать денег, а будем брать у тех, которые ищут случая сбыть их с рук. Впрочем, не хочешь — как угодно! Но тогда ты должен отказаться от своей несносной ревности.

— Я решился! — воскликнул я почти сквозь слезы и пошел домой, чтоб проводить матушку в монастырь, обещая в вечеру возвратиться к Груне. Зарезин долженствовал открыть в этот вечер первое свое заседание.

Отвезши матушку, я возвратился домой, с грустью в сердце, и лег на софу. Петров вошел в комнату и, остановившись у дверей навытяжку, сказал:

— Позвольте, ваше благородие, вашему усердному Петрову промолвить слово.

— Говори.

— У нас нет денег!

— Нет, и так ступай, ищи себе службы у того, кто имеет деньги.

— Сохрани меня Бог от этого: вы мой благодетель, Иван Иванович, и я вас до смерти не оставляю. Солдату немного надобно: шинель на плечах да сухарь в кармане. Я могу у соседей заработать дневной паек и всегда буду готов на службу к вашему благородию. Да не в том дело.

— Чего же ты от меня хочешь?

— Аграфена Степановна — хороша!

— Это я знаю и без тебя.

— Ласкова, как кролик, болтлива, как ласточка, голосиста, как жаворонок!

— Так что ж?

— Да она, сударь, издерживает более денег в сутки, нежели целая гренадерская рота в месяц.

— Тебе какая нужда!

— Нужда, ваше благородие, потому, что я вас люблю более отца родного, люблю, как моего ротного командира, упокой Господь его душу: он умер от раны на моих руках! Мне ли не знать, что ваши денежки прокатились сквозь нежные и белые пальчики Аграфены Степановны!

— Не твое дело.

— Не мое дело, но моя кручина! Ваше благородие, Иван Иванович! Я рад положить живот за вас, и мне больно, горько смотреть, что от Аграфены Степановны и тетушка ваша, Аделаида Петровна, изволила съехать со двора, да и вам скоро не будет места на белом свете. Уж если гибнуть смолоду, так от пушки или от пули, а не от бабьих прихотей. Не дойдем мы до добра с московскими красавицами. Вступите в военную службу, и поедem на Кавказ. Здесь, сударь, вам нужны и кареты, и мебели, и двадцать пар платья, и Бог весть что; а там молодому офицеру ничего не нужно, кроме сабли да храбрости; а у вас есть и то и другое. А уж жизнь-то — жизнь — веселье! Каждый Божий день — драка, да и с какими молодцами, с меткими стрелками, с наездниками, которые, кроме русских, не боятся и самого черта. Винцо славное, баранов тьма, хлеб хороший, а девушки-то, девушки-то: грузиночки, черкешеночки, чудо! Сказывают, что и сам турецкий султан в своем Царьграде других знать не хочет. Одна беда для русского солдата, что не всегда можно напиться квасу да поесть шей, а вам, господа, ведь это ныне не горе. Эй, ваше благородие, послушайте старого солдата! Увидите, что на высоком Кавказе сердце ваше выветреет от любви, а черкесские наездники займут вас более, чем Аграфена Степановна!

Мне в самом деле нравилось предложение Петрова; но меня удерживали в Москве любовь и долги.

— Спасибо, брат, за совет, а за любовь вдвое. Я раздумую о том, что ты мне сказывал, и на первый случай говорю тебе, что я не прочь от войны и Кавказа. Между тем давай одеваться: мне надобно идти со двора.

Вечер у Груни был блистательный. Она пригласила к себе несколько красавиц актрис и множеству богатых любителей драматического искусства, которые любят это искусство, не в книгах и не в представлениях, но воплощенным, в виде прекрасных актрис. Сперва занимались разговорами, музыкою; потом, как будто для окончания старых наших счетов, мы с Зарезиным сели в угловой комнате играть в штос. Груня, шутя, попросила одного богатого гостя сорвать банк пополам с нею, примолвив, что она весьма счастливо выдергивает карты для понтеров. Несколько дамских прислужников просили Груню выдернуть для них карты. Завязалась игра, сперва небольшая, потом огромная, и Зарезин очистил все бумажники. Игра продолжалась до шести часов утра, и, когда гости разъехались, мы разделили

выигрыш на три части, и каждому досталось около восьми тысяч рублей. Однако ж Зарезин остался весьма недоволен мною за то, что я спросил у него, не жмет ли ног его обувь, и принудил его снять при мне сапоги, в которых я нашел пучка два ассигнаций и горсть золота. Чтоб утешить Зарезина, я сказал ему, что делаю это для того только, чтоб приобрести доверенность Груни, которая приметила, как он опускал деньги в сапоги. Плут не поверил мне, но притворился, что верит. Таким образом малейшее отступление от пути чести ведет за собою множество пороков. Связавшись с игроком для обмана других, я в первый день сделался лжецом и обманул Зарезина, воображая себе, что с плутом позволено быть обманщиком. Такое легкое приобретение денег вскружило мне голову и усыпило совесть. Я возвратился домой очень весел: бросил деньги в комод и, дав 25 рублей Петрову, сказал: «На Кавказе, брат, хорошо, но в Москве лучше. Повеселимся-ка сперва здесь, а далее увидим!»

ГЛАВА XXVII

ЛОЖНЫЕ ИГРОКИ. ПИСЬМО ОТ МИЛОВИДИНА.

ОН НАШЕЛ ЖЕНУ СВОЮ.

РАСКАЯНЬЕ ПЕТРОНЕЛЛЫ.

ЭКСДИВИЗИЯ В ПОЛЬСКИХ ГУБЕРНИЯХ,

ИЛИ ШАХ И МАТ ЗАЙМОДАВЦАМ.

КОНЧИНА Г-НА ГОЛОГОРДОВСКОГО.

Г. ПОЧТИВСКИЙ, ДРУГОЙ ЗЯТЬ ЕГО

Ремесло фальшивого игрока соединяет в себе все пороки, унижающие человечество. Нет такой подлости, на которую бы ложный игрок не решился, чтоб заманить в сети свои человека, пристрастного к игре. Ложные игроки, как настоящие демоны, изоощряют ум свой единственно на изобретение всякого рода искушений, чтоб лишить человека достоинства, доброго имени, ввергнуть его в пучину пороков, погубить целое семейство. И эти люди принимаются в порядочных обществах, пользуются правами, предоставленными породе, заслуге! Бедный воришка, укравший 25 рублей, иногда от нужды, наказывается, как преступник; а эти дневные воры гордо разъезжают в богатых экипажах, водятся с вельможами, смотрят с презрением на бедного, но честного человека, от которого поживиться нечем, и даже обсуживают слабости других людей. О, бедное человечество, с твоими обычаями! Кто виноват? Законы предают ложного игрока поношению и

наказанию, но *по обычаю* почитается неприличным обнаружить и предать строгости правосудия дневного вора, то есть ложного игрока, между тем как почитается похвальным делом поймать воришку в краже 25 рублей и предать его заслуженному наказанию. Какая несообразность! Итак, если вам стыдно истреблять волков в ваших дачах, так пусть же волки истребляют ваши стада, грызут пастухов, пока доберутся до вас самих. В добрый час!

Игра в доме Груни постепенно увеличивалась, общество делалось многочисленнее. Справедливо, однако ж, что нажитое неправдою не идет впрок. Мы с Грунею не знали счета деньгам и не знали притом меры нашим желаниям. Что легко приходит, то легко и уходит. Наше игорное заведение сделалось гласным, и мы принуждены были допустить в часть нескольких из самых искусных игроков, чтоб они нам не мешали, и между тем как мы с Грунею сыпали деньгами на наряды, мебели, экипажи, лошадей, обеды и ужины, наши сообщники резались между собою и проигрывали друг другу на счастье то, что выигрывали у других обманом. К тому же между ложными игроками не бывает добронравных отцов семейства, людей скромного и тихого поведения. В вине, в буйных забавах, в связях с развратницами они стараются забыть свое ничтожество, заглушить вопль совести и выказанием богатства и роскоши прикрыть свою низость. Они живут во всегдашнем чаду, боятся опомниться. Уединение, тишина есть преддверие мучений для порочного.

По несчастию, знатность породы не всегда сопряжена с достоинством душевным, и во всех народах существует пословица: в семье не без урода. В нашем обществе игроков было два выродка знатных фамилий: князь Плутоленский и граф Тонковорин. Первый, отказавшись от выгодного брака, от всех связей с хорошим обществом, от службы, вел жизнь распутную, показывался всегда в публике в нетрезвом виде и буянством своим нарушал все приличия. Он был еще в самом цветущем возрасте и мог бы служить образцом живописцу для изображения отчаянного разбойника. Красное, раздутое его лицо, заросшее огромными бакенбардами, выражало дерзость и неводержимость; глаза были всегда выпучены и налиты кровью, как у гиены; губы были надуты и отворялись только для пищи, питья и грубостей. Граф Тонковорин был уже человек пожилой: он прошел сквозь огонь и воду, несколько раз промотал и нажил состояние и, будучи всю жизнь в разладе с совестью, наконец из-

брал, по своему мнению, самое *невинное* ремесло ложного игрока. Он имел все пороки и одно только качество, общее с честными людьми: неустрашимость. Но как это качество он употреблял на одно злое, то прослыл между игроками *храбрым корсером*. Граф Тонковорин жил открыто и роскошно, давал вкусные обеды и веселые вечеринки и обыгрывал в своем доме не только простяков, но и самых игроков. Зарезин взял в часть этих двух молодцов от страха, чтоб они не убили его, а для помощи себе избрал двух самых тонких игроков и записных злодеев, Удавича и Ядина.

Удавич, человек средних лет, смуглый, небольшого роста, был умен, как демон. Он водился более с купцами и был также ростовщиком. Между богатыми купцами почитается знаком хорошего тона бросать деньги в дружеском обществе, и они гордятся издержками, точно так как в утонченном обществе гордятся остротами, каламбурами и ловкостью. Каждый богатый купец почитает обязанностью погулять несколько дней в году, и трактирщики, развратницы и ложные игроки дождаются этих радостных дней, чтоб, воспользовавшись затмением рассудка богатого купца, ощипать его, как липочку. Кроме того, ложные игроки ведут постоянную дружбу с молодыми купчиками, которые начинают мотать еще при жизни родителей. Удавич давал деньги взаймы на большие проценты, торговал векселями и обыгрывал своих приятелей, купцов, которые толпились к нему для того, что в его доме находили все вымыслы разврата. Ядин, при врожденном уме, был довольно образован, читал много, говорил приятно, водился с литераторами, которые не знали его ремесла, с актерами и вообще с людьми, имеющими притязание на ум. В своем доме он вел небольшую игру и разбивал, как говорится, *налетом*, высмотрев простячка в кругу своих знакомых. Я удивился одному только, а именно, как эти разбойники находили простодушных людей, которые верили им, когда природа заклеивала их печатью отвержения. С первого взгляда на всех этих промышленников я вычитал на их лицах все адские их склонности. Верю, верю, что злая душа отражается в физиономии. Неверующие! загляните только в глаза первому ложному игроку, первому лицемеру — удостоверьтесь!

Вот в каком обществе должен был я жить, по слепой привязанности моей к Груни, которая усыпляла совесть мою ласкательствами, нежностями и затемняла рассудок ложными умствованиями. Время между тем летело, и уже уплывал почти год с тех пор, как я делил добычу с игроками. Однажды,

когда у нас не было игры, по причине отлучки некоторых богатых понтеров, Груня поручила мне заехать к Удавичу, чтоб переговорить насчет смены Зарезина, который начал сильно обманывать нас. Я застал у Удавича князя Плутоленского, графа Тонковорина, Ядина, еще двух мастеров и десятка полтора купцов, между которыми было несколько богатых бородачей. Все они были навеселе и только что возвратились из поездки в загородные трактиры. Лакеи разносили по комнатам шампанское и мадеру; полупьяные цыганки и хмельные цыганы расхаживали по комнатам; купцы шумели, объяснялись между собою в дружбе и высказывали друг другу свои старые неудовольствия; какие-то женщины выглядывали украдкой сквозь полуотворенную дверь задней комнаты; игроки на ходу совещались и перемигивались; кривой гуслист настраивал гусли в передней комнате. Я остановился, осмотрелся кругом и тотчас догадался, что эта пирушка кончится чем-нибудь поважнее. Удавич подошел ко мне, мигнул значительно, вывел в темный коридор и тихим голосом сказал, чтоб я вел себя осторожно, потому что здесь *подтасовано* большое дело, в котором я получу прибыль, если обещаюсь не рассказывать никому о происшедшем, особенно игрокам. Я обещал молчать, более из любопытства, и мы возвратились в комнаты. Удавич между тем развернулся и принялся играть роль радушного хозяина. Он перебрал поочередно всех гостей, целуя и обнимая каждого и вопия громким голосом:

— Господа! что же вы присмирели, соскучились, что ли? Гей, шампанского! Прочь с рюмками: подавай нам прадедовские стопы! Иван Меркулыч, да кушай пожалуйста. Семен Патрикеич, Фома Назарыч, да пейте, братцы! Ну ты, балагур, Пафнutyч, полно задерживать своей болтовней; пей, да и других потчевай! Вина! Человек, сюда! Не правда ли, что винцо хорошо? Сам выписал из Петербурга от Боасонета. Ну, Стешка, запой что-нибудь повеселее; гуслист, играй любимую Ивана Меркулыча! А вы, проказницы, Маша, Василиса, Параша, попляшите удалую цыганскую, распотешьте господ!

Пока Удавич говорил то с купцами, то с цыганами, вино лилось рекою и другие игроки потчевали гостей также с целованьями, обниманьями и просьбами. Когда у всех в голове зашумело, Иван Меркулыч, богатый купец с окладистою бородой, отец семейства, который дома питался круглый год щами и кашей, пил квас и настойку, оттягивал по гривне у приказчиков и торговался за рубль до зарезу, а в

трактирах разбивал ящики с шампанским и в пьянстве проигрывал десятки тысяч, Иван Меркулыч, которого так честил Удавич, подошел к нему, ударил фамильярно по плечу и сказал:

— Что вздор молоть; заложи-ка банчик, Клим Егорыч!

— Боюсь,— отвечал Удавич.— Ведь ты, Иван Меркулыч, отчаянный игрок, и как раз сорвешь банк. С такими лихачами надобно быть осторожным; я слышал, что ты выиграл в горку 16 000 рублей у Сидора Сидорыча.

— Что за беда! выигрываю и проигрываю; не дурачусь, Клим Егорыч, и сделай банк.

— Да разве небольшой! — сказал Удавич с ужимкою.

— Нет, брат, на малые деньги я играть не стану.

— Нечего делать, брошу тебе десять тысяч,— сказал Удавич и велел подавать столики.

Между игроками тотчас настала суматоха. Они не могли скрыть своей радости и приметно суетились. Удавич положил деньги, сел за стол и собирался метать банк. Но прежде нежели он взял карты, Ядин воскликнул:

— Вина, вина! Шампанского!

Принесли несколько бутылок вина, и Ядин взялся сам потчевать гостей, которые сели за карточный столик, а неигравших вывели под разными предлогами в другие комнаты, где князь Плутоленский, граф Тонковорин и другие игроки предложили им поехать повеселиться. Купцы рады были предложению и случаю веселиться вместе с князьями и графами и поехали со двора благополучно. Ядин и Удавич снова принялись потчевать вином гостей, и я вскоре заметил, что они совершенно одурели; ставили карты без разбора, снимали их не вовремя и исполняли машинально приказания Удавича, который записывал на них, что хотел, сам вынимал из кармана бумажники, брал деньги, метал по две карты вдруг и, словом, обходился с понтерами, как с бессмысленными тварями. Мне казалось странным такое опьянение, а еще страннее наглость Удавича, который явно грабил своих гостей, дремлющих за карточным столом. Один из игроков, который, вероятно, думал, что я призван также для совершения подвига, вывел меня в другую комнату и сказал:

— Ну этот Удавич бес, а не человек! *Опоил* купцов *дурманом* в вине, да и в ус себе не дует! Очистил бумажники без всякого труда, а кроме того, еще записал на каждом тысячи, а эти олухи вовсе не играли и не проигрывали! Мастер, злодей, мастер!

В это время вошли в комнату князь Плутоленский и граф Тонковорин.

— Кончено ли дело? — спросил князь.

— Кончено, — отвечал мой товарищ.

— Ну, славно, а мы насилу отделались от этих проклятых купчиков: они хотели приехать сюда ужинать. Велите-ка запереть ворота да не впускать их на двор. Пусть скажут им, что Клим Егорович поехал на вечер к губернатору и что нет никого дома. Ведь эти ротозеи теперь нам не нужны, когда дичь уже подстрелена.

Между тем Удавич не сходил с места, сторожил одурелых понтеров, как змей добычу, и как скоро игроки приметили, что опоенные гости начинают шевелиться на стульях и что дремота и дурь проходят, то князь Плутоленский и граф Тонковорин присели к столу и стали нарочно понтировать.

— Ну, что ж, каковы наши дела? — сказал Иван Меркулыч, очнувшись и потирая лоб. — У меня так вдруг зашумело и завертелось в голове, что я не мог удержаться от дремоты. Посчитаемся-ка.

— Да вот за тобою записано 23 327 рублей с полтиной, — сказал хладнокровно Удавич.

— Как так! — воскликнул купец.

— Так, как водится: ты проиграл все наличные, так велел писать; я тебе верю хоть на миллион, так и послушался.

— Проиграл наличные! — возразил купец, схватившись за бумажник. — Да здесь было 17 000 рублей!

— Не считал еще, — отвечал хладнокровно Удавич.

Между тем другие понтеры также очнулись, стали рассчитывать и весьма удивились, что у всех бумажники были чисты, а кроме того, на каждом был записан долг. Один чайный торговец, молодой человек, у которого Удавич вынул из бумажника 10 000 рублей, пришел в отчаяние, кричал, плакал и сердился, говоря, что ему придется утопиться, если он завтра не уплатит по векселю. Удавич пребыл хладнокровен; но когда Иван Меркулыч и другие начали горячиться и требовали, чтоб стереть долг, которого они не помнят, тогда князь Плутоленский и граф Тонковорин выступили на сцену и зашумели в свою очередь.

— Как ты смеешь говорить в честной компании, что ты не помнишь проигрыша? Разве мы не были свидетелями? Мы тебя проучим: ты отсюда не уйдешь жив.

Другие игроки также шумели и бранились, а в это время толпа лакеев и цыган показалась в дверях. Купцы струсили и стали утихать. Пошло дело на мировую; послали за маклером, который уже давно дожидался в передней. Иван Меркулыч и его товарищи дали векселя; чайному торговцу Удавич дал займы 10 000 рублей, а взял вексель на 20 000, и все сладилось дружелюбно. Подали ужинать, гости с горя напились и наелись досыта, а некоторые из них, в том числе и Иван Меркулыч, остались ночевать, в полном наслаждении, забыв о деньгах и о векселях. Мне дали ни за что ни про что 4000 рублей и снова взяли слово не разглашать происшествия, до времени.

Миловидин писал ко мне, после отъезда своего из Москвы для поисков за женою своею: до сих пор старания его были безуспешны. Не получая от него писем более полугода, я весьма беспокоился об участи моего друга. Приехав домой от Удавича, к величайшей моей радости нашел я большой пакет от Миловидина. Он уведомлял меня, что наконец нашел свою Петронеллу. Сообщаю читателям моим письмо Миловидина в подлиннике:

«Подобно рыцарю печального образа, странствовал я по Польше, доискиваясь местопребывания жены моей. Чрез всезнающих жидов проведая, что она находится в окрестностях Кракова, но никак не мог открыть ее убежища. Случай, как обыкновенно водится, помог мне более, нежели старания. Петронелла приняла звание сестры милосердия и, чтоб загладить проступки юности, предала себя в жертву страждущему человечеству: она прислуживала больным в госпитале. Ты знаешь, что сестры милосердия не произносят обетов монашества и могут оставить свое звание по произволу; но мне стоило большого труда уговорить ее сопутствовать мне в свет, который ей опротивел. Только несомненные доказательства моей любви к ней, из которой я обрек себя на странническую жизнь, для отыскания ее, убедили Петронеллу последовать за мною. Она чрезвычайно обрадовалась, узнав о перемене твоей участи, и воссылает мольбы ко Всевышнему о твоём счастье, в воздаяние за все, что ты для меня сделал. Она, разумеется, много переменилась, но с утратою юности не потеряла красоты. Легкомыслие ее исчезло, и она сделалась теперь строгою к себе и снисходительною к другим, именно вопреки обычаю женщин, руководствующихся тщеславием даже в самом исправлении. Ты, верно, захочешь знать, что сделалось с Гологордовским и его семейством. Тесть мой, проживая более, нежели поз-

воляло его состояние, делая беспрестанно новые долги и не уплачивая старых и следуя советам жида-арендатора в своих торговых оборотах, должен был наконец объявить себя банкротом. Ты знаешь, что в древней Польше законы для целого королевства составляли сами дворяне, следовательно, в этих законах все придумано для выгод одного дворянства. Кажется, нет ничего справедливее, как продать имение банкрута с публичного торга и вырученными деньгами удовлетворить должников. Чтоб властители имений не могли делать долгов, превышающих цену имения, кажется, справедливо было бы, чтоб каждое имение было оценено и каждый долг вносился в судебную книгу с обеспечением на имении. Тогда кредиторы ничего бы не теряли, разве одни проценты. Но, невзирая на то, что в Польше были умные люди и часто составляли мудрые постановления в политическом отношении, однако ж касательно долгов дворянских, уплаты податей и других денежных дел, безумное veto (не позволяя) превращало благие намерения в постановления безобразные. Обанкротившийся тесть мой объявил эксдивизию, или раздел имения между кредиторами, на основании литовских законов. Займодавцы выбрали от себя судей, или арбитров, из окрестных дворян, предоставляя тестю моему законное право выбрать судей также с своей стороны. Кроме того, составили канцелярию из нескольких регентов, или секретарей и писцов, и каждая сторона выбрала себе адвоката. Имение взято в заведование суда, но только на бумаге, а отдано в управление теще моей, которая за внесенное в дом приданое и по векселям, данным ей накануне банкротства, была также кредиторкою своего мужа. В назначенный срок съехались судьи, регенты и адвокаты, каждый с своими людьми, лошадьми, собаками. Всех должно было кормить и угощать на счет имения, принадлежащего кредиторам. Дело тянулось чрезвычайно долго, потому что судьям и канцелярии приятно было жить на чужой счет, в веселом общстве. Г. Гологордовский, чтоб привлечь судей на свою сторону, угощал их великолепно (на счет кредиторов), созвал на время эксдивизии всех своих родственников, у которых были прекрасные дочери, давал балы, охотился и жил веселее прежнего. Судьи играли в карты, волочились, влюблялись, пили, танцевали, а канцелярия между тем работала мало-помалу, по побуждению адвокатов, которые поспешали, чтоб скорее получить награду. Наконец, по истечении двух с половиною лет, кончилась эксдивизия. Имение разделили на плане, как шахматную доску, и участки раздали кре-

дителям по мере их претензий. Моей теще отдали самую лучшую часть, которая стоила втрое более ее приданого; другим именитым кредиторам и родственникам г-на Гологордовского дали участки с крестьянами, а между бедными кредиторами и отсутствующими разделили болото, бесплодные заросли и песчаные степи, оценив эту бесполезную землю дороже индейских полей, покрытых корицею, гвоздиком и сахарным тростником. Тесть мой сделался гораздо богаче после эксдизии, нежели как был прежде, потому что получил самую лучшую часть имения, а бесплодную землю и малым пожертвованием уплатил долги, вдвое превышавшие имение. Кредиторы же, уплатив проценты с долгу судьям, жалованные канцелярии, адвокатам, за помер земли землемерам, и казенные пошлины с приобретенных участков, вовсе разорились. Некоторые даже вовсе отrekliсь от своих требований, чтоб избавиться от издержек, вдвое превышающих долг.

Гологордовский жил недолго после этого счастливого с ним происшества и умер от желчной лихорадки, рассердившись, что губернский маршал, которого дед был бедным шляхтичем и служил у деда Гологордовского, сел выше его в церкви и был позван обедать к губернатору, тогда как тесть мой не удостоился сей чести. Последние слова его были обращены к жиду-арендатору, которому он сказал: «Иосель, быть преставлению света! Прежде гром не смел тронуть польского шляхтича¹, а ныне губернатор, родом из татар, не зовет обедать к себе жемчужину шляхетства, первого в роде Гологордовских?» Вымолвив сие, он горько улыбнулся — и Богу душу отдал.

По счастью, в Белоруссию приехал по делам своим помещик Гродненской губернии, Подкоморий Почтивский. Он влюбился в мою свояченицу, Цецилию, и как род Почтивских столь ж был знаменит и многочислен в Гродненской и Виленской губерниях, как род Гологордовских в Белоруссии, то теща моя согласилась выдать дочь свою за этого помещика. Между тем шурыя мои окончили воспитание свое в иезуитском коллегииуме, где, по крайней мере, вперили в них дух бережливости. Теща отдала имение в управление сыновьям, а сама поселилась у дочери своей, в Гродненской губернии.

Узнав все эти подробности, мы из Кракова поехали прямо к г-ну Почтивскому. Не доезжая до господского двора, мы

¹ Древний предрассудок между шляхтичами.

остановились в корчме, чтоб переодеться. К удивлению моему, корчма была порядочная, с гостинными комнатами, и содержана в чистоте. В корчме не было жида; ее содержал христианин, столяр, который в отдельной комнате занимался своим ремеслом, а жена его управляла хозяйством и торговала водкою.

— Отчего здесь нет жида? — спросил я хозяйку.

— Барин выгнал жидов из всех своих вотчин и запретил им не только торговать вином, но даже жить по деревням. Оттого в десять лет наши крестьяне так поправились, что все окрестные помещики нам завидуют.

— Верно, наш барин радеет о благе своих крестьян?

— Он отец, а не барин. В десять лет, как он сам хозяйничает, он удобрил все поля, свои и крестьянские, размножил стада, дал крестьянам лошадей, перестроил их дома, завел школу для детей и печется о здоровье и состоянии своих мужиков более, нежели о своем собственном; и за то он любим и уважаем всеми.

Мне приятно было слышать такие речи о моем свояке, и мы с нетерпением поспешили к нему в дом. Не стану тебе описывать радости при свидании моей Петронеллы с матерью и сестрою, которые почитали ее погибшею. Цецилия была счастлива с благородным и умным своим мужем: она имела уже двух сыновей, прелестных малюток, и была беременна третьим. Мы с первого дня подружились с Почтивским. Он воспитывался в Виленском университете и при выходе получил по экзаменту степень доктора философии, путешествовал по Европе и, возвратясь в отечество, вознамерился заняться устройством своего имения, которое разорено было опекунами, во время его малолетства. Почтивский говорит довольно хорошо по-русски, любит вообще все славянские наречия и почитает все славянские племена кровными, всех славян братьями, которые должны любить друг друга взаимно и общими силами стремиться к просвещению, к возвышению литературы, чтоб занимать почетное место во всемирной республике наук и словесности. Не стану описывать тебе всего порядка в доме Почтивского: скажу только, что в нем не было ни пленипотента, ни комиссара, ни жида-поверенного; что у него не было ни долгов, ни процессов; словом, все делалось вопреки тому, как было в доме покойного Гологордовского.

Прожив два месяца в доме Почтивского, я получил известие из Киева, что Авдотья Ивановна, ожидая нетерпеливо смерти моего дяди, чтоб воспользоваться его духовною,

впала наконец в чахотку от сильного крика и попалась в когти смерти прежде моего дяди, который находится в отчаянии, что некому его мучить. Говорят, что дочь Авдотьи Ивановны, Лиза, поспешает с муженьком своим в Киев занять место покойницы. По совету друзей моих отправляюсь в Киев и употребляю все старания, чтоб примириться с дядею. Не знаю, чем это кончится, а между тем будь здоров и пиши ко мне в Киев».

ГЛАВА XXVIII

МОЛОДОЙ БАРИЧ. ГЛУПАШКИН.
ЛЮБИТЕЛЬ ДРАМАТИЧЕСКОГО ИСКУССТВА.
РАССТРОЙСТВО В РАЗБОЙНИЧЬЕМ ВЕРТЕПЕ.
БЕДА. БЕГСТВО ГРУНИ.
ЧЕСТНОСТЬ В ВОЛЧЬЕЙ ШКУРЕ,
ИЛИ НЕ ДОЛЖНО ВСТРЕЧАТЬ ПО ПЛАТЬЮ.
ЭГОИСТ

Молодые люди лучшего московского общества собрались ехать на охоту, к одному юному кандидату в банкроты, который, истощив весь свой ум на мотовство в городе, выдумал новое средство сорить деньгами в своей подмосковной деревне. Он устроил театр, завел большую псовую охоту и открыл в доме своем род бесплатного трактира. На эту охоту приглашены были также дамы, родственницы хозяина, с своими знакомыми, и Анета, кузина Миловидина, убедила меня сопутствовать ей на это празднество. Отсутствие мое долженствовало продолжаться не более недели, и я, простясь с Грунею, отправился в путь.

Мы провели время весьма приятно. Хозяин, Фалелей Глупашкин, хотел непременно играть роль английского лорда. Деревенский дом его был великолепно убран выписными мебелью, картинами, статуями, бронзами. Конюшня его вмещала в себе более ста английских лошадей; на псарне было более трехсот собак разной породы. Между прислужниками было множество иностранцев: англичан, немцев и французов. Для компании он держал француза, называвшегося литератором, который был его домашним секретарем; англичанину он платил большое жалованье для того только, чтоб, разговаривая с ним, усовершенствоваться в произношении английского языка. Итальянец, старый плут, жил в доме, как приятель. Он пользовался славою знатока в живописи, археологии и музыке. Итальянец торговал ученическими

итальянскими картинами, мозаиками, фальшивыми антиками и вместе с этим был ростовщиком и любовным вестником. Немец, библиотекарь, служил за малую цену, более из любви к каталогам, которых было множество в библиотеке. Глупашкин купил целую труппу крепостных актеров у одного промотавшегося любителя драматического искусства, Харахорина, который при потере имения утешал себя тем, что играл на всех домашних театрах и управлял бывшею своею труппою. Оркестр Глупашкина составлен был также из крепостных людей, собранных из разных домашних оркестров. В доме было около пятисот жителей, питавшихся на счет Глупашкина и служивших единственно к его забаве. Нельзя было удержаться от смеха, смотря на важный вид безбородого сумасброда, который, воображая себя великим человеком, говорил обо всем решительным тоном, судил о политике, перетолковывая суждения своего компаньона-англичанина; произносил приговоры в литературе со слов своего француза и говорил об искусствах по внушению итальянца. Многие из нашего общества, не имея никакого понятия о предметах, о которых говорил Глупашкин, и зная в науках одни имена, почитали его чудом мудрости и, пресыщаясь за его столом, утверждали громогласно, что Россия была бы счастлива, если б Глупашкин был министром. Он сам так думал и, в ожидании первого звания в государстве, записался в Коллегию иностранных дел, для переводов с русского языка на французский. Должно сказать по справедливости, что начальники имели причину быть им довольными: он исправлял дело очень хорошо. Один бедный студент переводил для него, за деньги, русские бумаги на французский язык слово в слово, а француз-компаньон переделывал их и сообщал выражениям французские обороты. Таким образом Глупашкин, исполняя в точности поручения начальства, имел полное право требовать наград и повышений, и не без основания надеялся достигнуть до важных степеней. Не он один успел приобрести награды чужим умом и чужими трудами: не один Глупашкин прослыл дельцом и великим политиком, повторением слов своего компаньона!

По утрам мы ездили на охоту, после того обедали, потом присутствовали при представлении трагедий и балетов под руководством Харахорина, наконец танцевали, играли в карты и ужинали. Соскучиться было невозможно, потому что Харахорин представлением каждой трагедии доставлял нам предмет для смеху на целые сутки. Он был уверен, что

в целом мире нет лучше его декламатора. Он ломался ужасным образом, ревел стихами нараспев, как раненый медведь, шагал и размахивал руками, как иступленный. Чтоб приучиться носить ловко одежду древних героев и маркизов 18 столетия, он всегда одевался в театральный наряд с утра, в день представления, румянился и говорил со всеми, даже с служителями, театральным тоном. Рассказывали об нем, что, собравшись однажды играть на домашнем театре за городом, он с утра отправился туда в театральном костюме. На заставе остановили карету, чтоб спросить у него чин и фамилию. Харахорин объявил настоящее свое звание; но караульный унтер-офицер, приняв его за паяца-самозванца, отправил в съезжий двор, а дежурный квартальный, не слушая его возражений, отвез в дом умалишенных, где продержали бедного Харахорина до тех пор, пока приятели его не выручили, убедив начальство, что он просто дурак, а не сумасшедший. Харахорин всю свою труппу образовал по своему понятию о декламации, а из этого вышло, что зрители принуждены были плакать в комедиях и смеяться в трагедиях. Балеты его состояли из прыжков, которые тогда только были непротивны, когда танцовщицы были недурны собою. Я бы долее остался в доме Глупашкина, но по несчастью, мне отвели одну комнату с Харахориным, и он так измучил меня чтением своей диссертации о драматическом искусстве, основанном на любви к отечеству, что я отказался от всех забав и на шестой день бежал от него в Москву.

Приехав домой, я узнал от моего Петрова, что полицейский чиновник приходил ко мне ежедневно по нескольку раз справляться, дома ли я, чтоб объясниться со мною по какому-то делу. Я велел подать себе чаю и едва принялся за чашку, как Петров доложил, что полицейский чиновник снова явился и требует позволения войти. Он вошел скромно и поклонился весьма вежливо. Хотя физиономия его была невыразительна, но какая-то простота и добродушие в приемах предупреждали в его пользу. Мундир его был вытерт, как мостовая, шляпа отзывалась прошлым столетием, и ефес шпаги казался вороненым. Он поклонился мне и сказал:

— Начальство мое сносилось с вашим, и мне поручено побеспокоить вас предложением вопросных пунктов, на которые вы должны отвечать немедленно.

— Что такое случилось? — спросил я с беспокойством.

— Будьте хладнокровнее,— отвечал полицейский чиновник.— Присяждемте и станем читать вместе.

Подали чернилицу, и я тотчас отвечал на следующие вопросы:

— Давно ли коллежский секретарь Выжигин знаком с актрисою Аграфеною Степановною Приманкиной?

— От детства: я познакомился с нею еще при жизни матери ее, титулярной советницы Штосиной.

— Давно ли Выжигин знаком с князем Плутоленским, графом Тонковориным, Зарезиным, Удавичем и Ядиным?

— Я познакомился с ними в доме Приманкиной, года полтора пред сим.

— Знал ли Выжигин о намерении вышепереченных лиц обыграть на верную двух братьев Дуриндиных, недавно вышедших из-под опеки и взявших триста тысяч рублей в Опекунском совете, под залог имения?

— Не знал и в первый раз слышу о сем намерении и о Дуриндиных.

— Был ли Выжигин в доме вышепереченной Приманкиной, когда происходила игра между вышеименованными лицами, когда они опоили Дуриндиных каким-то вредным зельем и когда впоследствии произошла драка, в которой Зарезину вышибли левый глаз, Ядину разбит нос, у князя Плутоленского вырвана огромная правая бакенбарда, Удавичу разбит лоб бутылкой, у графа Тонковорина перешиблен указательный перст, а Дуриндины получили опасные раны в голову и в грудь, от которых теперь лежат при смерти?

— Не был, а находился в подмосковной деревне у г-на Глупашкина и теперь только возвратился, пробыв в отсутствии шесть дней.

— Не знает ли Выжигин, где укрылась от поисков полиции вышепереченная Приманкина, обвиненная всеми вышеименованными лицами в том, что она заманила к себе в дом Дуриндиных, опоила их зелием и призвала вышепереченных: Плутоленского, Тонковорина, Зарезина, Удавича и Ядина, к обыганию Дуриндиных, возбудив их к драке, когда Дуриндины не хотели платить проигранных денег?

При сих словах перо выпало у меня из рук.

— Как, Груня скрылась, Груня оставила меня! — воскликнул я в отчаянье и бросился на софу, закрыв лицо руками.

— Аграфена Степановна, называющаяся Приманкиною, изволила уехать из Москвы неизвестно куда,— отвечал полицейский офицер хладнокровно,— и поелику по допросу слу-

жителей оказалось, что вы изволили ежедневно по несколько раз посещать вышепереченную Аграфену Степановну и жили с нею в тесной дружбе, то начальство за благо рассудило взять с вас показание, не знаете ли вы чего-либо о сем происшествии и о месте укрывательства вышепоименованной Приманкиной.

— Я ничего не знаю, и видите, в каком нахожусь положении, узнав о несчастье Приманкиной, которую я люблю, на которой хотел жениться... и теперь... всего лишаясь!

— Я уже записал в протокол о том изумлении, в которое вы пришли при сем известии, и почитаю это доказательством, что вы не знаете о случившемся, — сказал полицейский чиновник.

Пока он писал и приводил в порядок свои бумаги, я несколько успокоился, раздумав, что в этом несчастном происшествии лучшее для Груни то, что она избегнула преследований полиции, и утешался, что, может быть, этот случай заставит ее последовать моим советам и обратиться на путь чести. Я надеялся найти ее, оправдать посредством моих дружеских связей; одним словом: грусть моя переменялась вдруг в радость.

— Господин офицер, — сказал я, — присягою готов я утвердить мои показания и признаюсь вам откровенно, что одно отсутствие спасло меня. Если б я был в Москве, во время этого происшествия, то, может быть, невольно был бы увлечен в это дело. Теперь отдохните, выкушайте со мною чашку чаю и расскажите мне подробнее эту гнусную историю.

— Вы мне кажетесь человеком добрым и откровенным, — сказал полицейский чиновник, — и потому я также буду с вами искренен, тем более что в соседстве все говорят об вас хорошо, и на повальном обыске объявили, что вы человек благодетельный, щедрый и смирный. Ваш слуга, Петров, клянется, что лучше вас нет барина в целой Москве.

— Полно, без предисловий! Скажите, что знаете, успокойте мое любопытство: я буду вам благодарен.

Полицейский чиновник встал с своего места, подошел к дверям на цыпочках, заглянул в другую комнату, потом возвратился тихими шагами, сел и, оглянувшись на все стороны, начал говорить вполголоса:

— Я маленький человек, квартальный надзиратель, безгласный исполнитель воли начальства, но, благодаря Бога, я не глух, не слеп, имею немножко ума и чистую совесть. Что вы так изволили вытянуть шею? Что вы так стран-

но на меня смотрите, Иван Иванович? Да, сударь, я имею чистую совесть и оттого...— При сем квартальный надзиратель показал на свой изношенный мундир и рыжую шляпу и продолжал: — Частный пристав знал, что в доме Приманкиной ведется большая и нечистая игра и что там собираются главнейшие московские карточные разбойники. Но это его оброчные мужички, которых он бережет, как добрый помещик своих исправных крестьян, и так, невзирая на мои рапорты, дело шло своим порядком. Драку с Дуриндиными предали бы забвению, если б не поступила жалоба от их дяди, человека в силе, который деньгами и угрозами заставил Зарезина во всем признаться. Тогда Удавич предложил своим товарищам и частному приставу свалить всю вину на Аграфену Степановну, на том основании, что место для игры можно открыть новое, а таких лихих игроков взять неоткуда. Между тем стороною дали знать Приманкиной, чтоб она скрылась, и дело приняло другой вид. Но как виноватого непременно надлежало открыть и наказать для успокоения дяди Дуриндиных, то в жертву принесли изменника Зарезина и выслали его за город, а Ядина посадили на гауптвахту. Прочих не тронули, а атаман их, Удавич, остался цел и невредим, разумеется, до поры до времени. Провидение рано или поздно накажет преступника. Иван Иванович! я все знаю. Послушайте доброго совета: отвяжитесь от этих проклятых игроков, которые со временем доведут вас до гибели. Забудьте коварную прелестницу, Приманкину, которая льстила вам, а между тем любила французика, странствующего комиссионера по торговым делам одного французского фабриканта, и уехала с ним в Париж.

Я прервал речь квартального надзирателя и воскликнул:

— Довольно, довольно! вы убиваете меня!

Оскорбленное самолюбие, обманутая любовь произвели во мне сильное волнение. По счастью, я мог плакать, и это несколько облегчило мое сердце.

— Итак, Приманкина уехала в Париж? — спросил я.

— Это верно, — отвечал надзиратель. — Мне все рассказала служанка ее, Катерина, невеста нашего унтер-офицера. Она говорит, что Аграфена Степановна очень и очень любит вас, но что вы слишком нежны и мучите ее своею ревностью; напротив того, французик был весел, и не только не ревнив, но утешается победами Аграфены Степановны. Она предпочла французика и, уезжая с ним, горько плакала об вас.

Я мучился, как в пытке, при этом рассказе, но природная гордость и остаток здравого рассудка меня укрепили. Помолчав немного, я собрался с духом и сказал:

— Зачем же вы предлагали мне вопросные пункты, когда знаете, что я не участвовал в деле Дуриндиных и не знал о бегстве Приманкиной?

— Это, сударь, форма. Частный пристав, чтоб показать свое усердие и старание к открытию истины, напугал как можно более *имен* и собрал множество показаний. По числу допрошенных лиц и по толщине дела будут судить о верности исследования.

Мне не хотелось оставаться одному, и я предложил надзирателю поужинать со мною. Он согласился, и пока Петров собрал на стол, я ходил большими шагами по комнате, рассуждая о моем положении и о вторичной измене Груни, два раза доведшей меня до несчастья. В первый раз я потерял свободу от любви к ней; теперь, потеряв свой капитал, едва не лишился доброго имени, попал в общество грабителей и сделался участником, и по крайней мере, поверенным их обманов. Из чего такие жертвы? Из любви к неверной, к недостойной этого благородного, возвышенного чувства! Нет, думал я, пора сделаться человеком достойным благородной крови Милославских. Начну преодолевать страсти, и первая жертва: любовь к Груне.

Я рассуждал хорошо и на этот раз последовал рассудку оттого, что Груни не было при мне. Не ручаюсь, что было б со мною, если б во время борения во мне страсти явилась Груня, во всем блеске своей красоты, с очаровательным своим красноречием, с нежными своими ласками. Но, по счастью, Груня была далеко, и я восторжествовал над собою. Поплавав, посердившись, подосадовав, побранив свет, людей, и особенно женщин, правду сказать, на этот раз вовсе понапрасну, я подошел к надзирателю и, хлопнув рукою по его руке, или, лучше сказать, по засаленной перчатке, сказал:

— Благодарю вас за добрый совет. Отныне — я другой человек.

Не будучи в состоянии сам есть, я утешался аппетитом доброго надзирателя. Чтоб рассеять себя, я попросил его рассказать мне, каким случаем попал он в полицию, отчего служит до сих пор без повышения и каким образом совесть его, плавая по такому бурному морю, избежала кораблекрушения? Архип Архипыч хлебнул вина, гаркнул, кашлянул, поправил галстух и начал свой рассказ:

— Воля ваша, а я верю, что нельзя избежать того, что кому на роду написано. Отец мой был дворецким у одной барышни, Лукерьи Семеновны Порядкиной, и за верную службу отпущен на волю со всем своим семейством. Нас было два сына у отца; матери мы лишились еще в младенчестве. За нами некому было присматривать в господском доме, и мы росли на воле. Величайшее мое наслаждение в детстве было сражаться с полицейскими служителями: я швырял в них из-за угла камнями, задевал петлею за ногу, когда который из них проходил вечером мимо ворот, обливал их водою и делал всякие шалости. Ненависть моя к ним происходила оттого, что они однажды взяли под стражу моего отца, а когда он дерзнул жаловаться, обошлись с ним невежливо, то есть прибили и содрали деньги — за чужую вину. За детское мое мщение мне достается целый век от полиции и, наконец, придется умереть с голоду, на съезде двора!

Отец мой нанял дьячка учить нас грамоте; но как дьячок сам знал немного, то и выучил нас малому, а сверх того, у всякого свой талант — а мне грамота не далась. Писать и читать я умею, рассказываю кое-как; по крайней мере, есть люди, которые меня слушают с удовольствием; но как придется изложить на бумаге, то, что легко высказать языком, вот тут и станешь в тупик. Бьешься как рыба об лед; нет, нейдет с пера! Небольшая беда, что я в разладе с ятями, ериками, точками и запятыми: и наши дельцы не более меня в этом разумеют; но все горе оттого, что не могу выписать так, как думаю и как могу высказать. Если бы можно было писать языком, вместо пера, то, может быть, у нас было бы более писак и я также попал бы в грамотеи.

В господской службе мне не хотелось оставаться, и я не знал, что с собою сделать после смерти моего отца, который был человек честный, богобоязливый и не оставил нам ни копейки, управляя лет тридцать домом своей госпожи. Старший брат мой вступил в службу писцом в Гражданскую палату и скоро до того наметался, что прослыл грамотеем. Я достал себе маленькое местечко при городском запасном магазине, при покровительстве градского главы, который знал покойного моего отца. На этом месте я едва имел хлеб насущный. По счастью, старший сын нашей прежней барыни, служивший в армии, сделан был в Москве полицеймейстером. Явившись к нему, я рассказал ему о несчастной моей участи и просил покровительства; он причис-

лил меня к своей канцелярии и стал употреблять по особым поручениям.

Сергей Семенович Порядкин был человек честный, правдолюбивый, желал добра и делал его, где мог, и даже искал к тому случаев. Но будь человек семи пядей во лбу, имей доброе сердце величиной с полицейскую будку, все-таки он один ничего не сделает, если не будет иметь помощников, и кончит тем, что схватит с сердцов чахотку, как то случилось с добрым Сергеем Семеновичем. «Архипыч, — сказал мне мой начальник, — я удостоверился, что ты честный человек. Смотри, наблюдай, открывай мне все беспорядки, а за Богом молитва, за царем служба не пропадают. Помни, что звание полицейского чиновника, охранителя спокойствия и безопасности граждан есть звание почтенное, если только чиновник действует по закону и по совести. Не бойся никого — я твоя защита!»

Я вскоре ознакомился со всеми полицейскими делами стал действовать. Я открыл, что секретарь Сергея Семеновича берет подать с чиновников, с откупщиков, с торговцев будто бы для своего начальника. К секретарю мы приехали ночью, обыскали его комоды, нашли деньги, билет сохранный казны и переписку с разными лицами. Допросили, и как он не мог показать и доказать, откуда набрал в короткое время столько денег, то их отдали в Приказ общественного призрения, а секретаря выгнали из служ. Я открыл, что один чиновник умышленно делает проволочку при взыскании долгов и при описи имений по решению судебных мест, что он бьет дворников тех домов, которых хозяева не хотят дарить его, берет деньги с лавочников, винопродавцев и мясников, за позволение торговать испортившимися товарами и припасами. Чиновника отставили. Я открыл, что в одном месте позволяют жить ворами и тогда только отдают на жертву некоторых из них, когда дело слишком гласное и когда надобно отличиться в скором отыскании вещей, покраденных у знатных господ. Чиновника предали суду, воров переловили и сослали в Сибирь. Я донес, что в питейные дома пускают солдат, и только тех продавцов берут в полицию, на которых доносят сами досмотрщики откупщиков, по личным неудовольствиям. Злоупотребление прекращено, и виновные наказаны. Я открыл пристанодержателей, торговцев краденными вещами, передельщиков краденых вещей; открыл сношения свободных воров с заключенными в тюрьме и этим пресек источник богатых доходов для многих лиц. Наконец, я решился на отчаян-

ное дело. Добрый Сергей Семенович, как человек, имел свои слабости. Он был влюблен в одну женщину, недостойную благородного его сердца. Она брала деньги с просителей и в минуту слабости выманивала у почтенного моего начальника согласие на решение дел по ее желанию, разумеется, всегда представляя дела в самом лучшем виде. Я собрал несомненные доказательства лживости и корыстолюбия этой хитрой женщины и представил Сергею Семеновичу. Бедненький! он даже заплакал — но победил страсть свою и бросил гнусную торговщицу его доброй славы. В три года он произвел меня в титулярные советники, дал мне вот этот крест и определил частным приставом в самой лучшей части города.

Вы можете догадаться, что на меня все смотрели, как на пугало, и рады были бы сжить с этого света. Пробовали разными средствами погубить меня, но пока был жив Сергей Семенович, все усилия злобы были напрасны. Я вел себя честно, ничем не пользовался, и как жалованья было недостаточно для моего содержания, потому что надлежало иметь лошадей для разъездов и быть всегда чисто одетым, то Сергей Семенович позволял мне брать добровольные приношения от благодарных людей, когда я отыскивал покражу, взыскивал долг или открывал утаенное имение должника, и, кроме того, отдавал в мою пользу конфискованную контрабанду, штрафы за нерадение и тому подобное. Сергей Семенович, как я выше сказал, не мог долго выдержать борьбы с злоупотреблениями. Пылкость его характера, неусыпность, труды и беспокойства расстроили его здоровье. Он умер, и с ним схоронил я мое счастье.

Преемник его был также человек благонамеренный; но он имел своих доверенных людей, которых польза состояла в том, чтоб погубить меня. Он не знал меня и поверил моим врагам. Подо мною стали подсыкиваться. В мою часть впустили целую стаю воров, стали подкидывать мертвые тела, найденные в других частях; обременили ложными доносами, завели переписку и опутали меня крючками и привязками. Кончилось тем, что у меня отняли часть и ради Христа дали место квартального надзирателя, с тем условием, чтоб я не видал далее своего носа, заткнул уши и, укоротив язык, держал его за зубами. Вот я пятнадцать лет живу день за день, питаюсь где попало и как попало у добрых людей и едва имею чем прикрыть свою наготу, тогда как, вчерашнего еще числа, жена моего частного пристава

(которому три года пред сим не на что было купить табаку) имела на себе бриллиантов на 12 000 счетом да турецкую шаль в 2500 рублей. Терпи, казак,— атаманом будешь!

Между тем брат мой сделался важным и богатым человеком: он имеет первое место при знатном чиновнике в Петербурге и ворочает делами. Я писал к нему письмо и просил, чтоб он позволил мне приехать к нему в Петербург и достал местечко посредством его начальника. Он мне отвечал на это письмом, которое я всегда ношу в своем бумажнике. потому, что мне нечего класть туда и что оно весьма для меня занимательно. Вот оно.

Архип Архипыч вынул письмо из бесцветного своего бумажника и дал мне прочесть. Оно заключало в себе следующее: «*Любезный брат!* Ты желаешь приехать ко мне в Петербург и остановиться у меня. Это невозможно. Я принужден так много проживать с большим семейством и в отличном кругу моего знакомства, что не могу дать тебе ни копейки на проезд. Правда, квартира у меня казенная и на вид довольно большая, но она так распределена, что я никак не могу поместить тебя, *любезный брат*. В одной комнате мой кабинет, в другой кабинет жены, в третьей спальня, в четвертой гостиная, в пятой спят мои дочери, в шестой два сына, в седьмой учебная дочерей, в восьмой учебная сыновей, девятая зала, десятая столовая, в одиннадцатой живет мадам француженка, в двенадцатой француз гувернер, тринадцатая девичья, в четырнадцатой живут два мои писца, пятнадцатая лакейская, шестнадцатая гардероб, семнадцатая для складки бумаг, осьмнадцатая маленькая приемная для просителей, с которыми надобно объясняться *наедине*. Внизу людская, кучерская; там чуланы, кладовые, и, словом, нет порожнего места, где бы можно было прилечь коту, а не только тебе, *любезный брат*. За стол у меня садятся всякий день, нас домашних восемь человек, да, кроме того, мой секретарь, дежурный чиновник, два молодые барича, которые отданы мне на руки, чтоб вывести их в люди; а сверх того, надобно всегда иметь лишних три, четыре куверта, на всякий случай, если кто нечаянно пожалует. Времена же нынче дорогие, и доходы плохие, и так хотя я рад бы поделиться с тобою последними крохами, но обстоятельства на преграде, *любезный брат!* Дети мои воспитаны по-нынешнему, все говорят на многих языках, знают с знатными и богатыми людьми, итак, появление бедного дяди, отставного полицейского чиновника, бы-

бы им неприятно и могло бы повредить им в общем мнении, *любезный брат*. Что же касается до местечка, которое ты желаешь получить чрез посредство моего покровителя и благодетеля, то я откровенно скажу тебе, *любезный брат*, что я не могу тебе быть полезным в этом случае. Благодетель мой не любит, чтоб его просили об чем-нибудь, а еще более не терпит просить за кого бы то ни было. Милость свою раздает он по капельке, и так я должен беречь его для себя и для своих детей, как добрый отец семейства, как человек нравственный. Оставайся в Москве, *любезный брат*, и положишься во всем на Бога, которого я не престану умолять, да сохранит тебя в своей святой деснице и да ниспошлет тебе все блага земные, чего желает искренно, *нежно любящий тебя брат Пантелеймон*.

Р. С. Не беспокойся, *любезный брат*, и не пиши ко мне. Ныне почта дорога, и я так занят делами, что не могу всегда отвечать тебе. О драгоценном твоим здоровьем я наведываюсь от приезжающих из Москвы. Общие наши приятели обвиняют тебя, что ты, имев случай составить себе состояние, упустил его и, сверх того, наделал себе множество врагов: они могут повредить мне, если узнают, что я вступаюсь за тебя. Итак, прошу тебя, *любезный брат*, не говори никому, что мы братья, а сказывай, что однофамильцы. Я уверен, что, по родственной любви, ты сделаешь это для меня, пока откроется случай, где я могу быть тебе полезным».

— Хорош братец! — воскликнул я, возвращая письмо Архипу Архиповичу, который спрятал его с улыбкою и собирался оставить меня. Я вышел в кабинет, и, вынув из бюро сто рублей, возвратился в комнату, и просил Архипа Архипыча принять, как от приятеля. Он отказался следующими словами:

— Если б я пришел к вам не за делом, то взял бы деньги, но теперь не могу. Это не в порядке вещей, и подарок ваш будет иметь вид подкупа.

Я прижал доброго Архипыча к сердцу и утешил его уверением, что честность его, хотя поздно, но получит награду. Архип Архипыч поднял вверх указательный палец и сказал:

— Там моя надежда! — Он утер кулаком слезы и вышел из комнаты.

ГЛАВА XXIX

НАМЕРЕНИЕ ЖЕНИТЬСЯ.
ПОДЪЯЧЕСКАЯ АРИФМЕТИКА.
ЗНАКОМСТВО С БОГАТЫМ ОТКУПЩИКОМ.
ПИРУШКА В ДОМЕ КУПЦА МОШНИКА.
ЕГО СЕМЕЙСТВО. ДОМАШНИЙ ТЕАТР

Навестив матушку в монастыре, я чрезвычайно удивился, что она знает о происшествии в доме Груни, о моей с нею дружбе и даже о моем поведении. Со слезами умоляла она меня быть осторожнее в связях и избрать для своего пропитания род жизни, не столь опасный, как сообщество с игроками. Я обещал перемениться, и обещал искренно. Не будучи в состоянии преодолеть мое любопытство, я спросил у нее, каким образом, в удалении от света, она узнала о средствах, которыми я приобретал деньги, и о связи моей с Грунею?

— Вести разносятся по воздуху, как туман, любезный Ваня,— сказала матушка.— Наши старицы посещают многих богомолков, живущих в городе; они также ездят к нам, так нельзя же, чтоб городская новость не перешла чрез монастырскую ограду.

Я крайне испугался, что слух о Грунином происшествии, в котором замешано было мое имя, разнесся по городу. С беспокойством оставил я матушку и поехал на вечер к одному отставному вельможе, которого сын имел значение в Петербурге, и оттого к нему собиралась целая Москва. Со страхом и трепетом я вошел в залу. Гости поглядывали на меня с любопытством, перешептывались и как будто удивлялись моему присутствию. Один из моих приятелей отвел меня на сторону и спросил, что со мною случилось, и правда ли, что я попал в неприятную историю, по связи моей с бежавшею актрисой? Я отвечал решительно, что ничего не знаю, что был целую неделю у Глупашкина и, возвращаясь в город, услышал, стороною, что в доме Приманкиной подрались за игрою и что она тайно уехала из Москвы. Я нарочно говорил громко, и вскоре вокруг меня составилась кружок, в котором я, с притворным смехом, рассказал происшествие в доме Груни, прикрашивая повествование каламбурами и представляя дело в смешном виде. Вскоре в целом собрании узнали, что я нимало не причастен этому происшествию, и все сомнения на мой счет исчезли. Дамы объявили меня безвинным, а юноши даже завидовали, что меня подозревали в тесных связях с Грунею. Только кухня

Анета не поверила моему оправданию и, нашед случай поговорить со мною наедине, сказала дружеским тоном:

— Любезный Выжигин! я все знаю и все простила вам, но, ради Бога, будьте осторожны и не связывайтесь с актрисами. С вашим лицом, с вашею любезностью вы можете быть счастливы в лучшем кругу. Не унижайте себя. Женщины все для вас сделали, чего вы только желали; они простят вам все, кроме волокитства вне своего общества. Помните это и исправьтесь!

Я в самом деле стал раздумывать, каким образом содержать себя в свете честными средствами. Не занимавшись никогда делами и только считаясь в службе, я не надеялся вскоре достичь до такой степени, чтоб содержать себя письменною работой. К тому же в моем чине нельзя было надеяться получить большое жалованье, а от взяток я имел непреодолимое отвращение. У меня еще оставалось несколько тысяч рублей и несколько драгоценных вещей. Я стал жить весьма скромно, отпустил всех своих слуг, продал богатые мебели, экипаж и, наняв маленькую квартиру, оставил в услужении одного Петрова и никогда не сказывался дома приятелям, которые приезжали ко мне, чтоб заманивать к забавам и издержкам. Я обедал каждый день в гостях, играл в небольшую игру, танцевал на всех вечерах, любезничал; время проходило, но я никак не мог придумать, что сделать с собою.

В это время один из моих приятелей, промотавшийся дворянин, женился на воспитаннице богатого человека. Этот случай возбудил во мне мысль, поправить или, лучше сказать, упрочить свое состояние женитьбою. Но где искать невесты? При всем моем самолюбии, я не осмеливался свататься в знатных домах, где порода и связи составляют главное достоинство жениха. Богатые воспитанницы очень редки; пожилые богатые вдовы выходят вторично замуж более по расчетам честолюбия. Новое дворянство ищет связей с старинными фамилиями, а сии последние с богатыми. Я решился поискать невесты в купеческом звании, но, не имея никаких связей с купцами, не знал, как за это приняться. Однажды, возвращаясь домой, противу моего обыкновения, в шесть часов вечера, я встретил у моих дверей старушку, одетую очень порядочно, в кофте, с шелковым платком на голове.

— Кого тебе надобно, бабушка?

— Вашего человека, Петрова, батюшка барин: я ему кума.

— А кто ты такая? — спросил я из любопытства.

— Повивальная бабка, родимой, а в случае нужды — сваха.

— Прекрасно! поди-ка, бабушка, к Петрову, а после я позову тебя к себе.

Через полчаса я велел старушке прийти к себе в кабинет.

— Кого же ты сватаешь?

— Кого угодно, сударь: купцов, чиновников и даже бар.

— Есть ли теперь богатые невесты?

— Как не быть! У нас довольно всякого товару, были бы покупщики.

— Попытка не пытка, а спрос не беда: если ты высватаешь мне богатую купчиху, то я тебя, бабушка, озолочу.

— Изволь, сударик, барин, у меня теперь на руках две купеческие невесты; да какие красивые, какие жеманные, как выучены! Говорят на всех немецких языках, пляшут заморские пляски, рядятся, как куколки...

— Хорошо, хорошо! Но много ли приданого? — спросил я словоохотную старушку.

— По сту тысяч деньгами за каждую, да по пятидесяти вещами, серебром, золотом, жемчугом, цветными камнями и всяким убранством.

— Бесподобно! Как же зовут этих почтенных девиц и их честных родителей?

— Отец, Памфил Меркулович Мошнин, родом из нашего Пошехонья, приписной к здешнему городу. Матушка, Матрена Евдокимовна, предобрая хозяйка, дай Бог ей здоровья; деток у них восьмеро: два сына, уж взрослые ребята, да три малые мальчика; три дочки: две невесты, а третья ребенок, лет пятнадцати.

— Как же зовут дочек?

— Старшая Акулина Памфиловна, средняя Василиса Памфиловна, а младшая Лукерья Памфиловна.

— Которая же из них красивее?

— Полнее и румянее всех Акулина Памфиловна; Василиса немногим ей уступает, а третья худенька, да она еще ребенок.

— Как же мне начать сватовство?

— Я об вас поговорю с девицами, шепну Матрене Евдокимовне, ублажаю всех тетюшек, а ты, барин, познакомься с Памфилом Меркуловичем: он человек тороватый и любит всякого рода потехи. Господ у него собирается множество: он имеет много дел по разным подрядам.

— Хорошо, вот тебе десять рублей за первое доброе обо мне слово; ступай с Богом и поспедай с приятным известием: до свиданья!

Когда сваха ушла, я не на шутку стал раздумывать, каким бы образом состряпать эту свадьбу. Сто тысяч наличными деньгами и родство с богатым подрядчиком почитал я величайшим благом в тогдашнем моем положении. Одна трудность: как познакомиться в доме? В кругу моих приятелей я не надеялся найти путеводители в дом Мошнина, а сверх того, не хотел никому из них открываться в моих намерениях. Я вспомнил, что видывал у Груни, за игорным столом, одного секретаря, над которым мы иногда подшучивали, говоря, что на его деньгах видны чернильные пятна. Однажды, крупируя, заметил я, как он пригнул лишний угол, и, не желая вводить его в неприятную историю, умолчал, а после игры дал ему это почувствовать. Секретарь обещал мне отслужить при случае, итак я решился ехать к нему и узнать, каким образом мне можно познакомиться с Мошниним, который, без сомнения, известен всем подьячим.

Мой Петров знал его квартиру, и я немедленно к нему отправился. Он жил в деревянном домике красивой наружности, в одной из отдаленных частей города. Я нарочно нанял карету. Лишь только карета четверней остановилась у крыльца, я тотчас заметил движение в доме: лакей отворил мне двери с поклоном и ввел в залу, где встретил меня секретарь в стаметном сертуке, в красных сапогах, в цветном платке на шее. Из почтения он снял колпак и очки и просил к себе в кабинет, род светелки, в которой не было ни книг, ни бумаг, ни письменного прибора.

— Чем могу вам служить? — сказал секретарь протекторским и вместе вежливым тоном.

— Не беспокойтесь, — отвечал я. — У меня нет никакого дела, а я хочу только знать, не знакомы ли вы с Памфилом Меркуловичем Мошниним или с кем-нибудь из его коротких приятелей.

— А по какому делу, если смею спросить? — сказал секретарь.

— У меня есть коммерческие виды.

— Понимаю, — сказал секретарь с лукавою улыбкой. — Направо, налево!

— Ошибаетесь: с тех пор как я получил богатое наследство, я вовсе отказался от игры, — сказал я, утираясь платком, чтобы хитрый секретарь не прочел лжи в чертах моего лица.

— А! вы получили богатое наследство и не играете более? Вот что хорошо, то хорошо. А я, окаянный, не могу отстать от этой проклятой страсти! С Мошниным я задумешный приятель: теперь у меня одно его дельце; он обещал быть ко мне сегодня на тайное совещание, и я вас тотчас познакомлю. Но сделайте одолжение, подождите здесь немного, пока я переговорю с одним просителем, которого вы не заметили в углу гостиной. От скуки я вам дам прекрасную книгу: Сочинения Федора Эмина.— Секретарь вынес книгу из боковой комнаты и кипу бумаг, с которыми он вышел к просителю.

Они говорили довольно тихо; но, сколько я мог разобрать, секретарь делал просителю различные возражения, на которые он отвечал весьма нежным голосом. Наконец стали горячиться, спорить, вдруг утихли, и я только услышал: раз... два... три, наконец сорок, и чрез минуту новый счет от единицы и опять сорок, составлявшее финал в этом прении.

— Ваше дело совершенно правое! — сказал секретарь.— Поезжайте домой и будьте спокойны!

Проситель откланялся, и секретарь возвратился ко мне. Мы разговаривали с четверть часа о несчастном происшествии у Груни, об ее бегстве и т. п., как вдруг слуга вошел доложить секретарю, что приехал другой проситель. Секретарь вышел, и снова началась та же комедия. Сперва возражения, после того спор, убеждения, просьбы, наконец арифметический счет три раза до сорока и после того отпусковой комплимент секретаря.

— Будьте спокойны, ваше дело совершенно правое.

Когда секретарь вошел снова ко мне, я не мог удержаться, чтобы не спросить, кто этот второй проситель, который так много горячился?

— Это противник первого, которого вы здесь застали! — отвечал секретарь.

— Счастливые соперники,— сказал я, усмехаясь,— когда оба имеют дела правые!

— Итак, вы слышали?..

— Да, я слышал только ваши уверения в справедливости дела каждого.

— Это обыкновенная форма судейских комплиментов,— сказал секретарь,— а кто прав и кто виноват, это увидим из слушали и приказали.

В это время коляска подъехала к крыльцу.

— Вот и почтенный наш Памфил Меркулович! — воскликнул секретарь и побежал к нему навстречу.

Я несколько смутился, не зная, каким образом начать это знакомство и как вести себя с богатым откупщиком. Высокомерием я боялся раздражить его, а скромностью унижить себя в глазах человека, который, вероятно, не станет трудиться, чтоб открывать во мне внутренние достоинства. Подобно генералу, который на поле битвы, в виду неприятеля, располагает своими действиями, а в кабинете чувствует свою нерешимость и недалекость, я ожидал появления Мошнина, чтобы составить план атаки и начать действие. Он пробыл наедине с секретарем около получаса, и наконец секретарь позвал меня в залу. Я увидел пред собою высокого и плотного старика, с длинною седою бородой, с свежим, румяным, лоснящимся лицом, в длинном синем сертуке немецко-русского покроя, составлявшем средину между сибирским и немецким платьем. Он улыбался весьма благосклонно и сделал несколько полупоклонов прежде, нежели секретарь меня представил.

— Рекомендую доброго моего приятеля, г-на Выжигина, — сказал секретарь, — человека богатого, умного и в связях: он хочет с вами познакомиться, Памфил Меркулович, зная, что у вас бывает приятная *компания*.

— Очень ради, сударь! — отвечал Мошнин, продолжая свои полупоклоны. — Милости просим. Нас любят и жалуют многие господа, и мы ради стараться.

Не могу вспомнить, что я пробормотал ему насчет его известности, честности, умения жить и т. п., только Мошнин был очень доволен мною.

— Да вот, не угодно ли пожаловать ко мне завтра, без церемоний, вместе с Антипом Трифоновичем? — сказал Мошнин, указывая на секретаря. — У меня завтра старшая дочь именинница. Милости просим откусать хлеба-соли.

Я поблагодарил за приглашение, и Мошнин простился с нами, отступая с полупоклонами, спиною к дверям, и повторяя несколько раз:

— Прощения просим, счастливо оставаться, благодарим покорно, не извольте беспокоиться, — и тому подобное. Когда он уехал, секретарь сказал:

— Ну, вот вам и знакомство! Видите, что я нашел случай отслужить вам за вашу скромность у Аграфены Степановны.

— Обещаю вам быть еще скромнее насчет вашей арифметики с просителями! — сказал я с улыбкою.

— Этого я не боюсь, — возразил секретарь весело. — На

то щука в море, чтоб карась не дремал! Всем известно, что мы живем своими трудами.

— Однако ж гласность!..

— Гласность,— продолжал секретарь,— приносит иногда более пользы, нежели неизвестность и сомнение о наших поступках. По крайней мере, проситель знает, как адресоваться, а это большое облегчение. Пускай кричат, говорят, поют, пишут и представляют на театрах! Я сам не пропущу ни одного разу *Ябеды*, *Честного Секретаря* и всегда с удовольствием слушаю, когда актер, представляющий подъячего, согнувшись дугою, поет:

Ах, что ныне за время —
Взяток брать не велят!

— Это, сударь, игрушки, детские игрушки, а дело идет своим порядком.

Посмеявшись вместе с секретарем, я простился с ним, условившись ехать вместе, на другой день, обедать к Мошнину. Я спросил его, не нужно ли мне сделать прежде визита, и можно ли, вроде постоя, явиться прямо к столу, не будучи знакомым с целым семейством.

— Между купцами это не наблюдается,— сказал секретарь.— Их семейства привыкли видеть новые лица, появляющиеся в доме и исчезающие по мере нужды в них и по мере течения дел. У них знакомство начинается обедом, а кончится обыкновенно тогда, когда человек, в котором нет никакой более нужды, попросит займа денег.

— Благодарю вас за предуведомление; до завтра!

На другой день я все утро просидел дома, размышляя о прошедшем и о будущем, и находился в странном расположении духа: разбирал и сам критиковал все мои поступки. Во-первых, я упрекал себя в употреблении непозволительных средств к приобретению денег; во-вторых, в легкомыслии, с каким я расточал приобретенное. Я решил вести жизнь скромную; женившись на купчихе, войти в торговые обороты для умножения моего капитала и быть порядочным человеком. Удалившись от большого света, от роскошной знати, я думал, что мне вовсе не нужно будет делать излишних издержек на прихоти, которые простительны, а иногда и нужны людям высшего звания и смешны в купцах. Жена моя, рожденная и воспитанная в кругу людей простых, без сомнения, не имеет понятия о тех утонченностях в жизни, которые составляют мучение особ высшего звания, среди богатства и почестей. Покойная жизнь, хозяй-

ство, воспитание детей и невинные удовольствия — вот что должно быть уделом жены, которой муж ограничивается небольшим числом знакомых. Я решился отказаться от всякого честолюбия, убегать интриг и заниматься делами. Без сомнения, участь честного купца, с умеренными желаниями, есть самая завидная. Дело решено: я буду купцом, откажусь от всех моих бесполезных связей в свете; если нужно, даже перееду жить в другой город, например в Астрахань, и... но надобно сперва жениться и взять мои сто тысяч.

Рассуждая таким образом и утешаясь надеждами, я не заметил, как пролетело время до обеда. Часовая стрелка известила меня, что пора одеваться. Нарядившись самым щегольским образом, я поехал в место, назначенное для свидания с секретарем, и оттуда прямо к обеду, в дом Мошнина.

Я до сих пор не понимаю, какое удовольствие имеет хозяин в том, чтоб созывать к обеду людей различного звания, образования, состояния, образа мыслей и жизни! Во-первых, он себе готовит величайшие хлопоты, а часто и неудовольствия; а во-вторых, гостям своим делает неприятности. Хозяин с каждым гостем должен принимать различные физиономии, а гость не знает; с какого тона начать и на какой степени откровенности поддерживать разговор. Все это испытал я в этот день у Мошнина. Лишь только мы вошли в залу, мне показалось, что я нахожусь на Макарьевской ярмарке. Офицеры, гражданские чиновники, купцы всех народов, в различных одеждах, всех разрядов, от 1-й гильдии до маклеров биржевых; женщины в робондах, щегольских парижских нарядах, в блондовых и кружевных чепцах, в шелковых платках на голове, в кофтах; одним словом, смешение языков, настоящий дивертиссемент! Я окинул взором толпы гостей, шепчущих и громко разговаривающих о погоде, и, по счастью, не нашел ни одного знакомого лица: это меня ободрило; признаюсь, я опасался встречи с моими картежными знакомцами. Секретарь спросил у лакея, где хозяин и хозяйка: нас провели в обширную столовую. Там Памфил Меркулович работал в поте чела, с дражайшею своею половиной. Лакеи вынимали вина из корзин, купор объявлял достоинство каждого, а хозяин расставлял бутылки, распределяя лучшие вина по местам почетным, а мадеру и портвейн отечественной фабрики на конец стола, в разряд гостей обыкновенных. Хозяюшка, здоровая и толстая женщина, лет пятидесяти, в немецком платье, с шелковым платком на голове (на русский манер), распорядилась де-

сертом. Они извинились предо мною, что я застал их за хозяйственными хлопотами, и просили быть без церемонии, как дома. Мы возвратились к гостям, и я просил секретаря познакомить меня с детьми хозяина. Два сына Мошнина, наряженные по последней моде, приветствовали меня французскими фразами и старались казаться ловкими, развязными, словом, людьми лучшего тона. Видно было, что они переняли все приемы молодых щеголей большого света не в гостиных, а в театрах, на бульварах, на загородных гуляньях и в кордегардиях, и оттого их обращение, с первого взгляда, казалось слишком фамильярным и даже дерзким. Они уже оставили купечество и вошли на поприще гражданской службы, то есть сидельцы и лакеи называли их *ваше благородие*. Я старался, с первой встречи, снискать их благосклонность, применяясь к их понятиям, и просил, чтоб они, как *водится в большом свете*, представили меня своим сестрам. Слово *большой свет* подстрекнуло их самолюбие, и они, взяв меня под руки, повели в гостиную, где находилось множество разряженных девиц. Некоторые из них сидели на стульях и на диване, другие перешептывались возле окон, а некоторые прогуливались по комнате. Братья подвели меня к своим сестрам, которые, по счастью, все три сидели в одном месте, и отрекомендовали меня, пробормотав несколько слов по-французски. Две первые одеты были по последней, и притом самой нарядной, моде; младшая была в простом платье. Она сделала мне поклон, по всем правилам танцевального искусства, и старшая сестра, от имени прочих, отвечала мне по-французски:

— *Charmée de faire votre connoissance!*

Если толстота и белизна почитаются красотою на Востоке, а особенно в Китае, то старшая дочь Мошнина была бы первую красавицей в Пекине, а средняя второю: жаль только, что китайцы любят маленькие ноги, а у нас, на Севере, это большая редкость, которая притом не была принадлежностью двух старших девиц Мошниных. Но младшая была прелестна, во всем смысле этого слова. Из краски в лице у старшей сестры и некоторого невольного смущения я догадался, что сметливая сваха уже успела поговорить с нею обо мне. Я заметил в то же время, что все гости поглядывали исподлобья на меня, после того посматривали друг на друга и перешептывались. Я почел неприличным продолжать разговор с одною девицей, в кругу других безмолвных свидетельниц, откланялся и вышел, с моими новыми друзьями, в другую комнату. Вскоре нас позвали обедать,

и я поместился в середине, между сыновьями Мошнина, вслед за почетными гостями. За столом не могло быть общего разговора. Офицеры говорили между собою о производствах и новых эволюциях; гражданские чиновники о новых указах и переменах в министерствах и губернских местах; законоискусники о *казусных* делах; купцы о вексельном курсе, новых конкурсах, цене биржевых товаров. Несколько купеческих юношей, а в том числе и сыновья Мошнина, рассуждали о лошадях, модных сертуках и жилетах, о театре, певицах, танцорках. Между тем никто из гостей не забывал кушанья и вина: порожние бутылки беспрестанно заменялись новыми, по знаку хозяина, который, сидя на конце стола, подобно Юпитеру, одним мановением бровей приводил в движение весь питейный механизм. Женских голосов вовсе не было слышно, исключая кратких ответов на редкие вопросы мужчин. Мои соседи беспрестанно осушали бутылки, повелевая слугам подавать нам лучшего вина, и когда дело дошло до тостов, все гости уже были навеселе. Полупьяные лакеи бегали с бутылками, как угорелые, обливали гостей вином и суетились. Начали провозглашать здоровья, сперва именинницы, после того родителей, детей, родных, почтенных гостей, каждого особенно, всей компанией и т. д. Прекрасный пол между тем спокойно занимался десертом. Девушки клевали по яголке, как птички, и, невзирая на свою дебелость, клали в рот фрукты и конфеты маленькими кусочками, с приятным жеманством. Хотя я чрезвычайно расположен был к веселью, но мне неприятно было слушать насмешки молодых Мошниных над своими родителями. При всякой неловкости папеньки и маменьки дорогие детки хотели, закрывшись салфетками, и перемигивались с старшими сестрами. Сыновья называли отца скупым своим приказчиком, а матушку — конторою, и даже громко шутили по-французски на их счет. Добрые родители, не понимая, радовались, что дети их говорят на чужеземном языке. Я невольно задумался, видя на опыте несообразности от воспитания, в котором помышляют единственно о наружном блеске, не заботясь о нравственности, заставляют нас презирать то состояние, в котором мы родились, и неуместным высокомерием заглушают в сердце чувства природы.

После обеда некоторые гости уселись за бостон и за вист; женщины и девушки забавлялись разговорами и закусками в своем кругу, а молодежь, и в том числе я, собралась в комнатах молодых Мошниных, курить трубки и допивать шампанское, разговаривая о таких предметах, о

которых здесь и упоминать было бы некстати. Чрез полтора часа старший Мошнин просил своих гостей возвратиться в парадные комнаты, объявив, что там будет представление французской комедии, для сюрприза его *папахену* и *мама-хене* (так он назвал своих папеньку и маменьку). В столовой зале установлены были стулья; в буфете собрались домашние актеры, то есть семейство Мошнина и некоторые подруги его дочерей. В конце залы расставлены были подвижные кулисы и привешена завеса из нескольких сшитых вместе ковров. Вместо оркестра, учитель музыки младшей дочери играл очень плохо на фортепиано. Когда все гости уселись по чинам, Мошнин с своею женою поместился в первом ряду кресел, посадив между собою французского гувернера младших своих сыновей, для перевода пьесы и толкования хода действия. Этот же гувернер, по имени мусье Фюре (Furet), был автор представляемой драмы, под заглавием: *Щедрые родители, или Добрые дети*. Хотя самое заглавие обнаруживало бессмыслицу, но в одобрении не было недостатка, и рукоплескания раздавались при каждом слове, при каждом куплете. Содержание пьесы было следующее: богатый купец не жалеет ничего на воспитание и содержание своих детей; сыновьям дает деньги на угощение своих приятелей, на экипажи и т. п., дочерям на наряды и, кроме того, возит их по всем гульбищам, театрам, маскарадам, дает в своем доме балы и праздники. Наконец дочери выходят замуж за князей, графов и генералов, а сыновья дослуживаются до первых степеней. Зятья и сыновья, в вознаграждение своих заслуг, испрашивают дворянство для своего папеньки, которого тут же на театре, во французской пьесе, величают по-русски вашим высокоблагородием. Надобно было видеть восторг добрых Мошниных во время разыгрывания пьесы. Гувернер переводил верно каждую фразу, каждый куплет, относящийся к чести родителей, и слезы умиления текли ручьем. Невзирая на то, что старшие сыновья, разгоряченные вином, сбивались в игре, что две старшие дочери вовсе не знали своих ролей и что голос суфлера заглушал речи актеров, которые, сверх того, пели не в такт, представление сошло с рук с похвалами и достигло своей цели, то есть убедило Мошнина в том, что не должно жалеть денег детям на мотовство, потому что это послужит к возвышению его фамилии. Спектакль кончился танцами: девицы Мошнины танцевали фанданго, тамбурин и шаль, а меньшие сыновья прыгали как обезьяны. Фарфоровые чашки и люстра тряслись и звенели от прыжков двух старших сестер, но мень-

шая обворожала всех игрою, танцами, пением, а более своею красотою и скромностью. Мне она в самом деле весьма понравилась. Но зная, что в купеческих домах дочери должны выходить замуж по старшинству, я не предвидел никакой надежды к получению ее руки, как разве при усиленном старании старших ее братьев. В этот день я чрезвычайно с ними подружился и, уезжая, просил их на другой день к себе, на завтрак.

ГЛАВА XXX

НЕУДАЧА В СВАТОВСТВЕ. ПИСЬМА ИЗ КИРГИЗСКОЙ СТЕПИ И ИЗ ПАРИЖА. ОТЪЕЗД В АРМИЮ. ВОЙНА. ОТЛИЧИЕ. ВОЗВРАЩЕНИЕ В МОСКВУ

Не стану описывать всего, что я перенес для приобретения дружбы молодых Мошниных. Водясь с ними несколько месяцев и желая применить к их образу жизни, я едва не спился с кругу и не попал в бездну разврата. Величайшее наслаждение богатых купеческих сынков, отставших от торговли и только на вид прилепившихся к службе, состояло в поездках за город, где на свободе предавались они пьянству, буйству и разврату, били окна и посуду, заводили драку с чиновниками и бедными немецкими ремесленниками и, в заключение спектакля, ссорились и мирились с полицией. Мошнины обходились со мною, как с другом и братом, и открывали мне все свои тайны. Я узнал, каким образом доставали они деньги в долг на счет папеньки; как обманывали маменьку и брали у нее деньги, будто на подарки своим начальникам по службе; как очищали комод поддельным ключом, когда в нем накоплялось много денег, и т. п. Наконец я открылся им в любви моей к младшей их сестре, и они взялись помогать мне к достижению цели моих желаний. Простодушная девица согласилась выйти за меня замуж и с охотою вошла со мною в переписку, чрез посредство братьев. Памфил Меркулович и его полновесная супруга были также ко мне благосклонны, по слуху о моем дворянстве и полуторе тысяч душ, и весьма желали, чтоб я был счастлив *на почине*, то есть женившись на их старшей дочери. Осталось преодолеть одно препятствие, а именно убедить родителей сделать свадебный *почин* с третьей дочери, как вдруг в один день все мои планы и надежды нескольких месяцев исчезли, как дым.

Хитрый секретарь проведал, что я обманул его и не получил наследства, а отстал от игры со страха попасть в беду. Будучи знаком с одним подьячим, белорусским уроженцем, лишенным по суду звания адвоката за ябедничество, секретарь узнал от него, что в целой Белоруссии нет ни одной дворянской фамилии Выжигиных. За стаканом пуншу, в минуту откровенности, он рассказал все старику Мошнину и описал меня самыми черными красками. К нему присоединился Иван Меркулович, тот самый купец, которого в моем присутствии обыграли и ограбили у Удавича, и засвидетельствовал также, что он знает меня, как игрока на верную. Старик Мошнин предостерег своих сыновей, чтоб они не водились со мною. Но если б я был в самом деле таков, каким описали меня старику, то все-таки я был бы лучший между друзьями молодых Мошниных. Они уведомили меня обо всем и советовали представить отцу доказательства моего дворянства и вотчинничества. Разумеется, что мне ничего не оставалось, как отказаться от посещения Мошнина, от ста тысяч приданого и миленькой женочки. Я почел это праведным наказанием за мою связь с игроками и терпеливо покорился судьбе. Человек сильно чувствует потери и неудачи, предается отчаянью тогда только, когда судьба стесняет в нем пламя господствующей страсти, не погашая его. В несчастиях же, где действует рассудок, а не сердце, легко утешиться. Взвесив все выгоды и невыгоды от предположенного брака, я даже был рад, что отвязался от родства с молодыми Мошнинными, перестал их принимать у себя и вскоре отстал от них.

В один день я получил два письма, из Оренбурга и из Парижа. Из киргизской степи писал ко мне мой лекарь, бакса Темир-Булак. Письмо его было следующего содержания:

«Высокопочтенному, блистательному, храброму мирзе Ивану Выжигину, от верного друга Баксы Темир-Булака приветствие, желание здравия и благополучия!

С тех пор, как ты оставил благословенную степь нашу, Мухамет, восседающий в девятом небе, прогневался на знаменитое племя Баганалы-Кипчакское, и священная кобылица его, Эль-Борак, навеяла хвостом своим несчастье на аулы, благоденствовавшие под правлением мудрого и храброго Арсалан-султана. Пагубные предзнаменования на небе и на земле побуждали нас к осторожности: луна закрыла чело свое полою священного халата Мухаметова и появилась мрачною, как сайга в тумане. Во внутренности баранов находили насекомых, и лучшая кобылица Арсалан-султана родила мертвого жере-

бенка, с двумя головами. Я предсказывал бедствие, но Арсалан-султан, вобравшись в России книжного легкомыслия, не верил ни снам моим, ни гаданиям, не слушал совета, чтоб прикочевать к Большой Орде и соединиться с нею, для избежания баранты двух сильных племен, Чизлыкского и Дерт-Карикского, которых глава, Султан-алтын, пал от могучей руки твоей, храбрый мирза, Иван Выжигин. Эти два племена, собрав союзников своих, напали на нас нечаянно и не победили, но истребили лучших наших наездников. Мужественный, доселе непобедимый Султан-арсалан, острее меча Пророкова, украшение степей, погиб в рядах неприятельских, как волк среди стада, в наказание за неверование в мудрость Молл и прорицательство Баксы. Стада и табуны наши достались в добычу врагам, аулы расхищены, красавицы уведены в неволю! В общем расстройстве остальные воины спаслись бегством и смешались с Большой Ордой. Письмо твое я получил в Оренбурге, на меновом дворе, куда послан был от хана за его делами. Итак, мирза Иван Выжигин, не надейся получить своей собственности, которая хранилась в юрте самого Арсалан-султана и досталась победителям, вместе с его сокровищами. Наследник храброго султана, друг твой Гаюк, так беден, что питается кумысом подаяния от великодушного хана Большой Орды и служит у него начальником его телохранителей! Впрочем, хан так много о тебе наслышался, что рад тебя видеть, и вероятно, даст тебе почетное место в своей Орде. Прощай и не забывай друга своего, Темир-Булака, который молит Бога о твоём счастье и просит Его, чтоб Он вселил в тебя желание возвратиться в красу красот земных, преддверие рая — в степь киргизскую».

Слезы полились у меня при чтении известия о кончине доброго Арсалан-султана и о несчастьи, постигшем моих прежних товарищей. Надежда на помощь из степи исчезла. Положение мое сделалось еще затруднительнее.

Другое письмо было от Груни. Трепещущеею рукой сорвал я печать и прочел его несколько раз, в борении различных ощущений. Вот что она писала ко мне:

«Друг мой, милый сердцу Выжигин! ты, вероятно, знаешь уже причину, заставившую меня оставить Москву и Россию. Я так люблю тебя, что не хотела подвергнуть несчастью, соединяя горькую мою участь с твоею. Но как женщине трудно жить в свете без покровительства мужчины, то я выбрала себе в защитники мусье Сансуси, веселого и доброго француза, который меня любит так пламенно — как я тебя! У него в паспорте было означено, что он путешествует с женою, но как

мадемуазель Адель осталась в России гувернанткой, то я заступила ее место и благополучно прибыла в Париж. Ах, любезный друг, что за город этот Париж! Наша тихая, угрюмая Москва в сравнении с столицей Франции есть то же, что пруд в сравнении с водопадом. У нас зимою, уж в сумерки везде глухо и пусто и только экипажи припоминают, что вы не в лесу. А здесь вечная жизнь, вечное движение; нет ни дня, ни ночи, а только перемена декораций, замен природного света искусственным. Я удивляюсь, как со мною не приключилось апоплексического удара от радости, когда я в первый раз увидела парижские модные магазины! Ах, друг мой, что за прелести! Здесь новости появляются не чрез месяцы, не чрез недели, но каждый день, каждый час, каждую минуту. Здесь-то храм вкуса, законодательное сословие моды, средоточие всех изобретений. Здесь жизнь исчисляется не годами, но числом наслаждений; и каждый торопится жить, подобно мореплавателю, который спешит исправить дела свои на берегу, когда уже паруса на корабль подняты. Париж есть гостиница целого мира. Здесь собираются искатели мудрости, наслаждений и счастья со всех концов земли, и оттого-то каждый живет здесь по своему вкусу, без всякого принуждения, как водится в трактире. Любезный друг! если б ты видел, как наши дамы, которые в России не сделают шагу пешком без конвоя двух дюжих лакеев и которым надобны четыре лошади, чтоб переехать чрез улицу, разгуливают здесь одни-одинешеньки по извилистым парижским улицам, по иллюминированному саду Пале-Рояля, под аркадами и в простом фиакре ездят в купальни! Это инкогнито доставляет им тысячи наслаждений, о которых если б кто смел заговорить при них в России, то был бы провозглашен невеждою, грубияном, нахальным! Здесь на все открытые конторы, для каждого желанья свои комиссионеры. Можно продать и купить сердце и ум. Здесь только получила я понятие о жизни общественной. Как ни высока наша образованность, но согласись, любезный друг, что в среднем классе у нас еще много азиатского, и женщины, хотя властвуют у нас над мужчинами, как везде, и в самой даже Азии, но в общежитии чрезвычайно стеснены старинными обычаями. Здесь же всякому полная свобода. Порядочные женщины посещают трактиры и кофейные дома, путешествуют одни в дилижансах и почтовых колясках и часто имеют свои связи и знакомства, о которых муж вовсе не знает и не заботится. Каждая француженка полная хозяйка в доме, а обязанность мужа заниматься внешними делами. Иностранное золото

пробирается в Париж разными источниками, и вся забота парижан в том только, чтоб пользоваться этим золотым дождем. Звание иностранного путешественника есть самое почетное, если только он приезжает в Париж веселиться на свои деньги, зато здесь каждого чужеземца величают графом, князем, лордом и бароном, справляясь не с дипломами, а с кошельком. Меня также называют княгиней, хотя я веселюсь не на свои деньги. Утонченность в забавах и наслаждениях доведена здесь до высочайшей степени, и ум человеческий истощился для изобретения удобств в жизни. Забавы разделяются на публичные и тайные. К первым принадлежат: театры, концерты, общественные балы, гульбища, сельские праздники. Все, чем в других столицах забавляют публику только в большие торжества и при необыкновенных случаях, здесь бывает ежедневно и всегда привлекает толпы любителей. Не стану говорить тебе о театрах, которые составляют господствующую страсть французов, не стану описывать тебе всех забав, вкушаемых *инкогнито*, и молчу, именно для того, что хочу, чтоб ты сам приехал в Париж и наслаждался на деле, а не на бумаге. Я до сих пор еще не могу опомниться, и голова у меня беспрестанно в кружении. Мусье Сансуси премилый человек и вовсе не беспокоит меня докучливою любовью. Я познакомилась с некоторыми иностранками и моими землячками, ищущими, подобно мне, рассеяния: мы ведем жизнь самую веселую. Гордись, милый друг, моею любовью! Даже в Париже называют меня *прекрасною русскою*, и если б ты видел меня в парижском наряде — то упал бы к ногам моим, вместе с дюжиною лордов, немецких князей, путешествующих *инкогнито*, и наших богатых земляков. У нас швеи и магазинщицы совсем не умеют одевать к лицу и думают только, как бы сбыть с рук свои тряпки. Но здесь работают для славы и — для денег. Приезжай, друг мой, только оставь в России свою ревность и свою философию, для которых здесь нет места. Обо мне спроси в Пале-Рояле, в модном магазине №113».

Из этого письма увидел я, что несчастье не исправило Груни и что легкомыслие и тщеславие остались в ней по-прежнему господствующими страстями. Я даже не хотел отвечать на это письмо, зная, что советы мои не помогут.

Между тем у нас возгорелась война с Турцией, и я, вспомнив советы моего доброго Петрова, решился вступить в военную службу. Я открылся в этом приятельнице моей, кузине Анете, с которою я жил в дружбе, как брат с сестрою. Она похвалила мое намерение и взялась исходатайство-

вать мне перемещение из гражданской службы в военную. О, всемогущие женщины, сколько я вам обязан в жизни! Кузина Анета привела в движение всех своих приятельниц, тетюшек и кузин. Пошла женская переписка, свидания, совещания, просьбы, рекомендации. Начальник, у которого я играл в вист два раза в неделю и обедал каждое воскресенье, выдал мне самое лучшее свидетельство в усердной и беспорочной службе, хотя я ни разу не входил во внутренность его канцелярии, и через два месяца меня переименовали в корнеты, в тот же самый гусарский полк, в котором служил покойный мой отец.

Когда явился я в полном гусарском наряде к кузине Анете, она ахнула от удивления и созналась, что я рожден для мундира. Мои покровительницы радовались успеху своего ходатайства, и я чуть не занемог от усталости, танцуя из благодарности мазурку со всеми их дочками и племянницами. Петров был в восторге и мучил меня просьбами скорее отправиться в полк. Добрая кузина Анета дала мне взаймы несколько тысяч рублей, и я, собрав остатки своего имущества, распростился со всеми и уехал в Малороссию, где стоял полк и ожидал первого повеления к выступлению в поход.

Я не говорил матушке о своем намерении и явился к ней уже в военном мундире, накануне моего отъезда. Она едва не упала в обморок при моем появлении. Я был так похож на отца моего, в таком же мундире, что матушка не могла на меня насмотреться. Поплавав, как водится в подобных случаях, она благословила меня и, снабдив советами, пожелала мне счастья. На другой день я был на большой дороге в Харьков.

Полк уже выступил, и я догнал его на походе. Когда я представился полковнику, то он, взглянув на меня, всплеснул руками от удивления и сказал:

— Боже мой, какое удивительное сходство! Если б я сам не был свидетелем смерти друга моего, князя Милославского, то подумал бы, что вижу его перед собою.

Он позвал из другой комнаты полкового квартирмейстера, который был вахмистром в эскадроне моего отца, и спросил:

— На кого похож корнет Выжигин?

— Да это живой портрет покойного князя Ивана Александровича Милославского! — воскликнул старик, и слезы показались у него на глазах.

— Слыхали ли вы когда о князе? — спросил у меня полковник.

— Нет, — отвечал я.

— Знаю, что покойный друг мой был холост, но в свете часто случается, что... то есть бывают странные сходства! Желаю вам, любезный сослуживец, чтоб вы похожи были на князя душою и храбростью, и как в противном не имею причины сомневаться, то на первый случай даю вам один совет: старайтесь узнать поскорее фрунтовую часть службы, без чего лучший человек будет всегда плохим офицером. У нас много рекрут, из которых я сформировал учебный эскадрон и должен обучать их на походе. Вас я определяю в лейб-эскадрон, а на время, для узнавания порядка службы, поручаю командиру учебного эскадрона, ротмистру Бравину, старому служивому, которого советую вам любить и почитать, как отца, потому что он того стоит.

В полках не любят, когда поступают в них офицеры из других полков с старшинством, или, как говорится, на голову. Я хотя определен был младшим корнетом, но товарищи приняли меня весьма холодно от того, что я поступил из гражданской службы. Невзирая на вежливое мое обращение и на старание заслужить любовь офицеров, меня прозвали подьячим, хотя я клялся, что от роду ничего не писал, кроме любовных писем, и сам ненавижу крючкотворцев более, нежели турок, с которыми мы шли сражаться. Шутки не прекращались и даже повторялись чаще, с тех пор как я стал сердиться. Ротмистр Бравин, который полюбил меня искренно, советовал мне проучить насмешников. В одну неделю я имел два дуэля на саблях и один на пистолетах, ранил двух моих противников и получил сам легкую рану пулею в левую руку. Полковник арестовал всех нас и объявил выговор в приказе, а я, вылечившись, дал завтрак товарищам, пригласил и моих противников и объявил всем, что если кому угодно удостовериться, что я никогда не был и не буду подьячим, то я готов представить каждому мои сабельные и пистолетные доказательства. Товарищам моим понравилась моя откровенность и смелость, и, при хлопанье шампанских бутылок, я провозглашен был лихим гусаром.

— Выжигин! — сказал мне ранивший меня поручик Застрелин. — Ты кровью смыл свои чернила; теперь ты наш, и кто противу тебя, тот против нас всех. Дай руку, брат! таких гусаров нам надобно.

Полковник, призвав меня, дал мне отеческое наставление, сказав:

— Я наказал вас по долгу службы, но не имею причины быть недовольным вами за ваше поведение. Вы были вынуждены к драке; но теперь, когда вы вступили в товарищество

с старыми офицерами, избегайте ссор. Хороший офицер должен доказывать храбрость свою в сражении с неприятелем, а не в поединках. Ротмистр Бравин доносит мне, что вы довольно знаете фрунтовую службу, чтоб командовать взводом. Извольте явиться к командиру лейб-эскадрона: я приказал дать вам третий взвод.

Не знаю, радовался ли когда-нибудь так сердечно заслуженный генерал, получив начальство над целою армиею, как я моим взводом. Добрый мой Петров прыгал от радости.

Я никому не говорил о пребывании моем в степи у киргизцев, боясь, чтоб мне не дали опять какого-нибудь прозвания, и не показывал моего искусства в наездничестве, в котором я часто упражнялся даже в Москве, выезжая верхом прогуливаться за город, в уединенные места. Однако ж я запасся волосяным арканом и купил себе горскую лошадь, чтоб при случае употребить мое искусство в пользу.

Любезные читатели! если вам случится слышать рассказы корнетов и прапорщиков о плане кампании, о совокупности военных действий, об ошибках генералов, о причинах удач и потерь в войне — слушайте из вежливости, но верьте вполнину, а лучше вовсе не верьте. Офицер, служа во фрунте, не может видеть ничего более, как то, что делается перед фрунтом, а о военных планах иначе нельзя судить, как соображая и поверяя множество обстоятельств и случаев, открывающихся всегда после кампании. Итак, я не хочу говорить о военных действиях, тем более что я вовсе не намерен писать историю войны, а желаю представить мои собственные похождения. Скажу о войне только в отношении к моему лицу не из самолюбия, но исполняя предначертанный мною план, при сочинении моего жизнеописания.

Перешед Дунай, полк наш поступил в авангард главного корпуса. Мы не участвовали в нескольких сражениях, то есть победах, одержанных нашими войсками до перехода чрез эту реку, и поступили в авангард в полном комплекте и, как говорится, свежими.

Однажды я стоял со взводом на форпосте, в окрестностях Туртукая. Это было в июне месяце, однако ж ночью холод был пронзительный. Я лежал возле огонька, завернувшись в шинель, и ожидал, пока Петров согреет чайник, как вдруг прискакал гусар из передней цепи и донес мне, что он слышит шум в кустах, опушающих равнину, на середине которой расположены были наши конные часовые. Я тотчас велел моим гусарам сесть на коней, и, оставив их на месте, под начальством унтер-офицера, сам поехал с двумя человеками и

неотступным моим товарищем, Петровым, поверить донесение часового. Ночь была темная, густые облака закрывали луну, и туман висел над долиной. Я слез с лошади, приложил ухо к земле и в самом деле услышал топот и легкий шум в кустах. Ужели это неприятель? Как узнать в темноте? Прежде, нежели я занял мой пост, я осмотрел окрестности, версты на две кругом, и узнал, что в той стороне, где был слышен шум, нет никакой дороги и что долина ограничивается холмами, примыкающими к лесу. Последний наш разъезд открыл неприятельские партии в тридцати верстах, в другом направлении, и так я не мог предполагать нападения с этой стороны. В то время, когда я рассуждал сам с собою, вдруг луна выглянула из-за облаков и ружья заблестели в кустах, которые закрывали людей только до половины. По глазомеру заключил я, что тут было около ста человек. Что делать? Я последовал первому внушению, послал одного гусара в лагерь, уведомить о появлении неприятеля, а сам бросился со взводом в атаку. Мы ударили с такою быстротой на турок, что они приведены были в смятение, выстрелили из нескольких ружей и стали кричать *аман* (нардон) и бросать оружие. Мы собрали их в кучу, обезоружили, перевязали для безопасности арканами и погнали назад, прикрывая наше отступление полувзводом. При мне был переводчик из татар; он расспросил пленного офицера, и я узнал, что турки, получив подкрепление, двинулись вперед, чтоб атаковать нас утром. Сотня арнаут, которую я взял так счастливо в плен, была послана в сторону для добывания провианта грабежом; но проводник, родом из булгар, изменил им: завел в лес и ночью ускользнул от них. Блуждая по лесу, они наткнулись на наш форпост и, не зная, где находятся, полагая притом, что попали в средину русской армии, оробели и решились сдаться нападающим, которые, по их мнению, вероятно, были сильны, когда осмелились ночью, не зная о числе, броситься на пехоту. Этим турки подтвердили сказанное мне полковником, что, кто хочет их побеждать, тот должен непременно первый нападать на них; если ж ожидать от них нападения, тогда победу должно покупать большими жертвованиями.

Я послал разъезд вперед; гусары проехали на рысях несколько верст и донесли, что нет никакого слуха о неприятеле. Я остановился и ожидал возвращения посланного мною к отряду с известием о встрече с неприятелем. Чрез несколько времени мы слышали конский топот со стороны нашего лагеря, и вскоре прискакали к нам две сотни донских казаков под начальством одного волонтера знатной фа-

мили. Он для отличия послан был из Петербурга в армию, которою начальствовал его двоюродный дядюшка. Я отдал ему пленных, с которыми он возвратился в лагерь, а сам остался на моем посту до утра.

Прибыв в полк по смене, я получил поздравление от моего доброго полковника и от товарищей. «Славно, Выжигин, славно! — кричали офицеры. — Ты делаешь честь нашему удалому полку». Полковник пригласил всех на завтрак, то есть на съедение жареного барана и опорожнение бочонка с молдавским вином. Пили за мое здоровье и тут же на месте сочинили реляцию бригадному командиру, в которой сказано было, что я, с 30 гусарами, взял в плен 112 человек вооруженных турецких пехотинцев. Полковник особенным письмом просил наградить меня. Доброе мнение обо мне утвердилось в полку.

Волонтер, который принял от меня пленных, назывался Пустомелин. Этот молодой человек, воспитанный отставным французским тамбур-мажором, почитал себя военным гением и в обществах офицеров беспрестанно толковал о тактике, о великих операционных планах, о походах Тюрения, Монтекукули, принца Евгения и Фридриха Великого, критиковал все наши военные движения и планы и судил обо всем и обо всех дерзко и решительно. Мы иногда подшучивали над его всезнанием, а чаще вовсе не слушали и принимали в свое общество потому только, что на биваках нельзя спрятаться от докучливых болтунов. Пустомелин, отведя пленных в вагенбург, более не показывался в авангарде и остался в главной квартире, за болезнью. Вскоре мы получили в полку приказ, в котором было сказано, что Пустомелин награждается орденом за взятие в плен 112 человек турецких пехотинцев, при содействии корнета Выжигина, которому и объявляется за сие удовольствие Главнокомандующего.

Офицеры приведены были в негодование, а я в бешенство. Я поскакал в главную квартиру, насказал грубостей Пустомелину, назвал его трусом, бесчестным, прикоснулся даже к нему рукою и вызвал на дуэль. Меня посадили под арест и хотели отдать под суд, но простили единственно по ходатайству офицеров и полковника, который, снова пожурив меня, утешил нашу русскую пословицею, которая уже несколько раз повторена мною: *за Богом молитва, а за царем служба не пропадают.*

— Будь покоен, Выжигин! — сказал мне добрый мой полковник. — Ты исполнил свой долг, как следует храброму и расторопному офицеру, и приобрел уважение товарищей: вот

величайшая награда для благородного человека! Несправедливости, ошибки случаются везде; но это не должно лишать тебя ревности к службе. Потерпи, придет и на тебя очередь правды: как ни стараются опутывать и запутывать ее сетями интриг, она всегда возьмет свое.

Через несколько недель после того армия наша остановилась на позиции противу всей силы неприятельской, укрывавшейся в укрепленном лагере, защищаемом выгодным местоположением. Положено было дать генеральное сражение. Главнокомандующий приехал в авангард, в то самое время, когда турецкие наездники фланкировали с нашими гусарами и казаками. Вся кавалерия нашего авангарда была в боевом порядке, а пехота под ружьем, и все смотрели на единоборство турецких наездников с нашими гусарами и казаками, как на драматическое представление. Главнокомандующий, с целым штабом своим и множеством иностранных офицеров, бывших при нем волонтерами, остановился, чтоб полюбоваться этим, истинно восхитительным зрелищем, где ловкость и мужество имели обширное поприще к отличию. Надобно отдать справедливость турецким наездникам: они превосходят всех почти кавалеристов в управлении лошадью, в употреблении оружия и в наездничестве, или единоборстве, хотя пылкая их храбрость никогда не может противостоять нашему постоянному мужеству и твердости в общих атаках. Более всех отличался один турецкий наездник, в богатом убранстве, на белом коне. С удивительною дерзостью напирал он на наших фланкеров и уже свалил с лошади нескольких из самых лучших наших гусар. Главнокомандующему было неприятно это торжество азиатского наездничества в глазах иностранцев, и он с досадою сказал полковнику:

— Неужели у вас нет никого равного этому смельчаку, чтоб наказать его за дерзость?

Услышав слова эти, я тотчас пересел на мою горскую лошадь, распустил мой киргизский аркан и выпросил у полковника позволение перевестись с турецким наездником. Он позволил мне; но я приметил в глазах его сострадание, обнаружившее любовь ко мне.

— Выжигин! — сказал он. — Я знаю, что ты не трус; но здесь надобно искусство, а ты не мог выучиться наездничеству в гражданской службе. Мне жаль тебя!

— Увидите! — сказал я, надел фуражку вместо кивера, прищепил коня — и понесся вперед.

Мне чрезвычайно хотелось взять наездника живого. Я сперва выстрелил из пистолета в другого турка, потом наска-

кал на наездника, выстрелил из другого пистолета наудачу, повернул лошадь и бросился в сторону, как будто заряжать пистолеты. Турецкий наездник, приметив, что я отдалился от своих, кинулся на меня опротя, заехал с левой моей стороны и ринулся на меня, чтоб одним ударом ятагана отрубить мне голову. В это решительное мгновение я подвернулся под лошадь, и турок от сильного размаха потерял равновесие и зашатался на седле. Я вскочил опять на седло и, прискакав сзади к турку, бросил ему аркан на шею, дернул и — турок упал на землю. Это нечаянное падение навзничь, на всем скаку, его оглушило. Поводья его жеребца были закинута на руку за локоть, и он остановился при падении всадника. Я соскочил с лошади, обезоружил наездника, опутал его арканом, поднял с земли и как бесчувственного перевалил чрез седло на брюхо, сам вскочил сзади на лошадь, взял за поводья турецкого жеребца и полетел во всю конскую прыть к полку. Толпа турок с криком бросилась отбивать своего начальника; но главнокомандующий велел податься вперед, на рысях, двум эскадронам, и турки поворотили коней. Когда я прискакал к полку, в рядах раздался шум и говор. Главнокомандующий с своею свитою подъехал ко мне, слез с лошади и велел мне подойти к себе. Я соскочил с коня, снял своего пленника, развязал его и представил главнокомандующему, который поцеловал меня, пожал мне руку и сказал:

— Благодарю вас за этот подарок и в память дарю вас взаимно.

При сих словах он велел своему адъютанту отвязать Владимирский крест с бантом и своими руками привязал его к шнуркам моего доломана.

— Я вас не забуду! — примолвил главнокомандующий и удалился.

Офицеры нашего полка окружили меня, поздравляли, обнимали, и каждый радовался, как собственному торжеству. Полковник прижал меня к сердцу и с чувством сказал:

— Спасибо за поддержание чести полка!

Я был в восхищении и в жизни моей не ощущал подобной радости.

— Отдай Петрову моего турецкого жеребца и вели подвезь мою фрунтовую лошадь, — сказал я унтер-офицеру.

— Я здесь! — раздался голос позади меня. Слезы текли из глаз Петрова, но на устах была улыбка: он хотел поцеловать мою руку, но я прижал его к груди. Петров не мог произнести ни одного слова: он был растроган до глубины сердца.

Взяв мою добычу, он пошел тихими шагами за фронт, крестясь и шевеля губами. Добрый мой Петров молился за меня! В этот день не было ничего важного. К вечеру войска возвратились на позицию, и полковник поехал к главнокомандующему, который расположился с главным отрядом в двух верстах за авангардом. Чрез час после отъезда полковника прискакал вестовой с повелением, чтоб я немедленно явился к главнокомандующему. Полковник ожидал меня в адъютантской палатке, и, лишь только я слез с лошади, он повел меня в палатку главнокомандующего. Я застал там множество генералов и штаб-офицеров. За мною вошел и Пустомелин — без шпаги.

— Г<осподин> корнет Выжигин! — сказал главнокомандующий. — Почтенный ваш полковник рассказал мне о вашем подвиге, при взятии в плен турецкого пехотного отряда. Славу этого подвига и награду за него присвоил себе вот этот г<осподин> офицер (и при этом он указал на Пустомелина), который, по несчастью, принадлежит к моей фамилии. Меня ввели в заблуждение и заставили быть несправедливым люди, которые не знают меня и думали сделать мне угодение, доставляя случай к награждению родственника. Но у меня в армии нет других кровных, кроме храбрых воинов: они родные мои братья; они дети мои и племянники! Кто хочет верно служить государю и отечеству, тот должен быть справедлив с подчиненными и награждать одну заслугу, ибо ничто так не вредит службе, как пристрастие, предпочтение из видов родственных или по связям. Одна несправедливость вредит более, нежели сто наград могут принести пользы. Помните это, г<оспода> начальники! Итак, поздравляю вас поручиком, г<осподин> Выжигин; а вы, г<осподин> Пустомелин, извольте немедленно возвратиться в Петербург, под крылышки своих тетушек и бабушек, и не смейте являться ко мне на глаза. Для вас довольно места на лощеных паркетах, а на ухабистом поле битв вовсе не нужно полотеров, низкопоклонников и балагуров. Прощайте!

Мы вышли из палатки, я с радостью, а Пустомелин потупив взоры. Он мне казался жалок, и я даже хотел было утешить его, но боялся оскорбить его самолюбие. Товарищи мои собрались в кружок, выпили за мое здоровье и провозгласили имя мое, с троекратным повторением ура!

На другой день было генеральное кровопролитное сражение, в котором дрались, с обеих сторон, с величайшим ожесточением. Турки были вдвое многочисленнее; но русская храбрость, подкрепляемая дисциплиною, восторжество-

вала. Укрепленный лагерь взят был приступом: артиллерия, обозы, множество знамен, бунчуков и пленных достались победителям. Турецкое войско было разбито и рассеяно. Слава увенчала новыми лаврами русское оружие.

Полк наш был в деле и отличился более других. Но мы много потеряли убитыми и ранеными, сражаясь с отборными неприятельскими войсками. В свалке с спагами я немножко погорячился и врезался с моими гусарами в самую средину густой их толпы, которая не могла бежать от нас, потому что дефилея занята была янычарами. Суматоха была ужасная! Янычары стреляли в нас с боков дефилеи и из оврага; спаги рубились, как отчаянные: от крику и выстрелов нельзя было слышать команды; трубы гремели атаку, и мы рвались вперед чрез ряды неприятельские. Я попал в такую тесноту, что едва мог владеть саблею. Удары посыпались со всех сторон, и я наудачу рубил направо и налево. Но вскоре я почувствовал, что кровь заливает мне глаза и что левая рука не в силах держать лошади. В это время кто-то схватил мою лошадь за поводья и потащил насильно назад. Выбравшись из толпы на дорогу, я протер глаза и увидел, что это был — Петров.

Я получил две раны в голову, одну в левую руку и одну в правое плечо. Кровь текла ручьями, и я ослабевал ежеминутно. Отъехав с версту от места сражения, Петров снял меня с лошади, вынул из своего чемодана готовые бинты, компрессы и корпию, обмыл раны мои водою с уксусом, перевязал их, потом посадил на лошадь, сел сзади седла и, держа меня в своих объятиях, повез в вагенбург, привязав свою лошадь к моему стремени.

Раны мои были не опасны, но болезненны. Опасались только, чтоб от излишней потери крови слабость моя не превратилась в истощение. Я едва мог передвигать ноги и воспользовался первым случаем, чтоб отправиться в Россию.

Петров не отходил от меня ни на одну минуту и даже спал при мне. Ни одна нежная мать не может иметь такого попечения о единородном, любезном ей сыне, какое имел обо мне оставный солдат. Добрый Петров сам варил для меня пищу, давал лекарство, перевязывал раны, водил под руки прогуливаться; днем, во время сна, отгонял мух, ночью вскакивал, лишь только услышит, что я стою или кашляю. Он жил только для одного меня, и когда я хотел благодарить его, он всегда морщился и говорил:

— Когда вы благодарите меня, ваше благородие, мне что-то неловко и нехорошо, как будто стыдно чего. Ведь я

должен служить моему командиру: за что же благодарить! Выздоровливайте, Иван Иванович, вот этим так потешите меня.

Приехав в Каменец-Подольск, я написал письмо к Миловидину в Киев, намереваясь отправиться к нему, если он находится в этом городе. Я адресовал письмо к знакомому мне коменданту, который уведомил меня, что Миловидин помирился с дядею и уехал с ним вместе в Петербург. Это поразило меня, потому что денег было у меня весьма мало и я не мог доехать с ними до Москвы.

— Худо, брат, без денег,— сказал я Петрову.

— Правда, сударь, только нам нельзя на это жаловаться.

— Как, да у меня всего тридцать червонцев!

— Немного поболее,— сказал Петров, вышел в другую комнату и принес два тяжелых череса.

— Это что значит?— воскликнул я с удивлением.

— Ваши деньги, сударь,— отвечал Петров.— Здесь счетом полторы тысячи полновесных турецких червонцев, да вот, кроме того, алмазное перо.

— Откуда же ты взял это?

— Взяли вы, а я только припрятал. Когда ночью вы забрали в плен пехотинцев, я снял с их начальника чалму и кушак, чтоб они не достались другому, а когда вы в глазах целого полка подцепили этого удалого агу, я поскакал на то место, где он свалился как сноп, и также подобрал его чалму, зная, что турки прячут в ней свои червонцы. Кроме того, в седле я нашел горсти две золота, и вот из этого и составила у нас казна. Я не говорил вам прежде, опасаясь, чтобы вы не вздумали отдать деньги назад туркам, а еще более, чтобы не проиграли их, потому что вы уже начали проигрывать на биваках, от скуки.

— Послушай, Петров, это твои деньги, и я не соглашусь иначе взять их, как взаймы.

— Отчего же они мои, когда вы добыли их, жертвуя жизнью? Добыча в сражении не грех и не стыд, а грешно и стыдно обирать своих да выгадывать на провианте, на фураже да на гошпиталях! Но Бог с ними, а денежки-то наши! Берите как угодно, взаймы или на сохранение, только возьмите: они ваши.

Я продал моих лошадей и оставил у себя турецкое оружие и конский прибор, в памяти моего торжества. Купив покойную коляску, я отправился для излечения ран в Москву, куда и прибыл благополучно в конце осени.

ГЛАВА XXXI

ОТСТАВКА. ОТЪЕЗД В ПЕТЕРБУРГ.
РАЗНИЦА МЕЖДУ ПЕТЕРБУРГСКИМ И МОСКОВСКИМ ОБЩЕСТВОМ.
ЗЛОДЕЙСКИЙ УМЫСЕЛ.
НЕСЧАСТНАЯ ОЛИНЬКА.
Я ЗАКЛЮЧЕН В ТЮРЬМУ.
МОЖНО БЫТЬ СЧАСТЛИВЫМ И В БЕДСТВИИ

Приехав в Москву, я тотчас полетел в монастырь к матушке, которая едва не лишилась чувств от радости, увидев меня с знаком отличия. Но бледность моя и слабость привели ее в беспокойство, и она советовала мне выйти в отставку, опасаясь, чтоб военная служба не расстроила вовсе моего здоровья. Мир был заключен; добрый мой полковник произведен в генералы и полк отдан другому полковнику. Мне самому хотелось отдохнуть и насладиться жизнью, и я, собрав мои аттестаты, подал прошение и получил отставку с повышением в чине и позволением носить военный мундир. Навестив всех моих знакомых и покровительниц, которые уже знали из реляций о моих подвигах и приняли меня благосклонно, я стал лечиться и два месяца не выходил из дому. Матушка посещала меня ежедневно, и я в совещаниях с нею решил, чтоб мне отправиться в Петербург и, имея теперь право на покровительство, просить о каком-нибудь покойном месте, которое могло бы доставить мне пропитание. Кроме того, любопытство влекло меня в знаменитую столицу, где я надеялся также найти Миловидина и кузину Анету, которая наконец соединилась с своим мужем и переселилась в Петербург. Поправившись в здоровье и запасшись рекомендательными письмами, я в конце зимы отправился в путь.

Я приехал ночью и остановился в Демутовом трактире. На другой день поехал я по городу, чтобы ознакомиться с положением улиц, которые знал по плану. Повсеместная чистота, порядок, какая-то милая простота в самом великолепии произвели во мне приятное впечатление и вселили высокое мнение об образованности жителей. Здесь я не встречал ни готических экипажей, как в Москве, ни арлекинской ливреи; не нашел ни грязных московских переулков, ни пестрых домов с уродливыми изваяниями, ни неопрятных лавок, ни полуразрушенных хижин рядом с пышными и пустыми палатами. Доселе я не имел никакого понятия о европейском городе и теперь только понял, отчего петербургские жители называют Москву огромною деревней. Правда, что Москва имеет преимущество пред Петербургом своим местоположением, дров-

ностями и историческими воспоминаниями. Москва есть сердце России, а Петербург голова. Москва есть то же для русских, что был Рим для потомков Ромула, когда Константин Великий перенес престол в прелестную Византию. Москва есть колыбель всех древних русских фамилий и могущества России, и как ни мил русскому Петербург, сей памятник величия Петра Великого и его преемников, но сердце его всегда сильнее бьется при воспоминании о Москве. Подобно Мухаметанину, которому вера повелевает посетить Мекку хотя однажды в жизни, русский почитает за священный долг посетить Москву. Вид Кремля и храмов Божиих, где сосредоточивались желания, надежды, радости и скорби наших предков, питает душу и возвышает любовь к отечеству.

Я отыскал кузину Анету, которая чрезвычайно мне обрадовалась. Она познакомила меня с своим мужем, огромным и толстым человеком с татарскою физиономиею, который жил своим чередом, не заботясь о жене, играл в вист, ел и пил за десятерых и занимался поставкою вина в казну. Он поклонился мне довольно сухо, просил посещать его и, оставив наедине с женою, отправился — есть устрицы. Кузина Анета сказала мне, что Миловидин был с женою и с дядею в Петербурге, для уничтожения духовного завещания, разных записей и векселей, которые Авдотья Ивановна заставила его подписать, когда он находился в ее когтях. Окончив все дела благополучно, Миловидин решился навсегда отречься от общества большого света, который ему наскучил; он купил себе прелестное имение в Крыму, на южном берегу, и поселился там, вместе с своим дядею, который все свои прежние привычки заменил страстью к гран-пассиансу и чтению «Московских ведомостей». Он сделался великим политиком и, по прорицаниям Мартина Задека, Великого Алберта и по Брюсову календарю, предсказывал великие перемены в мире. Миловидин и жена его положили правилом слушать его два часа в сутки, и за это он отдал им все свое имение.

Кузина Анета познакомила меня в некоторых домах лучшего общества; кроме того, я имел ко многим значащим людям письма из Москвы, и так вскоре я составил себе большой круг знакомства. Петербургское общество гораздо холоднее московского, и в каждом доме стараются перенимать этикет и приличия сверху. Присутствие иностранных послов сообщает обществам дипломатическую важность и какую-то воздержность, которые чрезвычайно стесняют человека в обращении. Здесь не любят ни рассказчиков, ни весельчаков, ни людей, занимающих общество своими дарованиями, ко-

торых так честят в московских беседах. В петербургском обществе каждый человек должен говорить по нотам, ходить по плану и являться в дом по востребованию, как в комедии. Здесь каждое знакомство рассчитано и ведется по значению, по связям, по родству. Каждый почитает своих знакомых ступенями в лестнице к своему возвышению или выгодам и набирает их столько, сколько нужно, чтоб добраться доверху. Одних принимают для того, что они нужны, других для того, чтоб они служили для забавы нужных людей. Забава — игра в карты; итак, кто может играть в большую игру, тот принимается в обществах, чтоб составлять партию важных лиц. Петербург слывет музыкальным городом, или, сказать справедливее, городом, где много поют и играют на разных инструментах. Это правда, но из этого не должно заключать, чтоб здесь было много истинных знатоков и любителей музыки. Играют в карты для того, чтоб менее говорить; слушают музыку для той же причины; за обедом говорят о погоде. Здесь не любят разговаривать, потому каждый чего-нибудь ищет или надеется, а в таком случае опасно проговориться. Московская открытая болтливость, непринужденность в обхождении, старинное русское хлебосольство почитаются здесь грубостью и старинною дикостью. Здесь не просят так, как в Москве, с первого знакомства каждый день к обеду и на вечер, но зовут из милости, и в Петербурге, где все люди заняты делом или бездельем, нельзя посещать знакомых иначе, как только в известные дни, часы и на известное время. В Москве составлен какой-то причудливый язык из французских и русских слов, в Петербурге вы не услышите по-русски ни одного слова; должно говорить по-французски с такою чистотою произношения, как в Париже; сделать ошибку против правил французского языка почитается невежеством. В Москве *иногда* говорят о русской литературе, о русских журналах, о писателях; а в Петербурге это почитается дурным тоном. Высокое воспитание полагается в том, чтоб судить о французской литературе по курсу Лагарпа, по статьям из журнала прений (*journal des Débats*) и читать английские романы в подлиннике. Ни одного прославленного писателя, ни одного знаменитого русского артиста не примут в высшее общество, если он не пользуется особенным покровительством какого-нибудь значащего человека. Одно исключение из правила, а именно уважение к московским связям: хозяин или хозяйка, представляя нового человека, *не значащего* в свете, извиняется тем, что это *знакомый по Москве*. Петербургское общество в молодых летах

приобретает навык к холодности в обращении, которая делает молодых людей несносными и скучными. Они дружатся не по сродству вкуса и образа мыслей, но по значению и связям их родственников. Каждый человек, который не может им ничего сделать, не в состоянии помочь, пособить к повышению ни собственным влиянием, ни связями, почитается у них лишним в обществе; они обходятся с ним гордо и даже избегают его знакомства. Женщины милы, как везде, когда они хороши собою и обходительны. Но женщины здесь также подчинены всеобщему духу искательства, как и мужчины, холодны в обращении и слишком, слишком смиренны, по крайней мере — на вид. Нежность и сострадание в такой моде, как шляпки. Московские барыни бранятся, ветреничают, но помогают от души. Здесь вздыхают, прекрасно говорят о нравственности — и разыгрывают лотереи для бедных. Петербургский бал кажется устроен комитетом из французского балетмейстера, церемониймейстера китайского, немецкого рыцаря печального образа и итальянского декоратора. Все на своем месте, всего довольно, а более всего скуки. В Москве, напротив того, иногда танцуют не в такт, иногда музыканты разногласят, иногда в числе восковых свечей находятся сальные, иногда полы скрипят в танцевальной зале; за сытным ужином иногда с избытком льется шампанское; иногда на бале бывает более шуму, нежели на Красной площади: но там веселятся не из приличий, а от чистого сердца; приезжают нарочно в город, чтобы потанцевать и повеселиться... Но я слишком заговорился и позабыл сказать, что нет правила без исключения, и все, что здесь говорится в общем смысле, должно брать только в частности.

Я играл в вист в большую игру, танцевал, говорил чисто по-французски, пел и играл на фортепиано в домашних концертах, ездил в карете четверкою и имел связи по Москве, то есть мог с полчаса говорить с хозяйкою о московской ее родне и знакомых, следовательно, меня везде принимали и приглашали в дома. Но, привыкнув в Москве к дружескому и ласковому со мною обхождению, я скучал в обществах, где хозяйева едва устаивали меня взглядом и вопросом о здоровье или о погоде. Я не был никому нужен, и потому, принимая меня, думали, что мне делают одолжение. Я заметил даже, что в обществах составила против меня враждебная партия из злых старых и молодых людей, надутых несносною гордостью.

Дружба кузины Анеты и небольшой, но отличный круг

ее знакомства вознаграждали меня за скуку в большом свете, где кузина Анета появлялась только для приличий.

Наступило лето, город опустел, все разъехались по дачам, и я еще ничего для себя не сделал. Кузина Анета советовала мне приобрести прежде милость какого-нибудь значащего вельможи, а после стараться о месте. Вельможи были со мною чрезвычайно ласковы за карточными столами и в разговорах о погоде; но лишь только я намекал о желании моем быть полезным службою, об усердии моем к общему благу, лицо вельможи принимало такой холодный вид, что мороз пробежал у меня по жилам. Я скорее бы решился броситься в толпу спагов, чем из ледяного сердца извлекать искру соучастия к моей судьбе. Женщины просили только за свою родню, и так я решился подождать благоприятных обстоятельств.

Однажды, выехав поутру со двора и возвратясь домой, чтоб переодеться к званому обеду, я нашел письмо следующего содержания, писанное по-французски женскою рукой:

«Я знаю, что вы столь же скромны, как и любезны. Приезжайте сегодня в 12 часов вечера, в деревню Емельяновку, за Екатерингофом. Оставьте экипаж за деревней и ступайте пешком, один, по взморью. Там, в уединенном домике, над окнами которого увидите венок из свежих ветвей, ожидает вас особа, которая принимает живейшее участие в судьбе вашей. Обстоятельства принуждают ее скрываться и быть другом вашим втайне. Приезжайте — вы все узнаете».

«Любовная интрига», — подумал я. Итак, и здешние скромницы, которые едва поднимают глаза в присутствии чужого мужчины, любят уединенные загородные домики! О, эти дачи — прелестное изобретение! Можно жить рядом, сходиться на прогулках в уединенном домике, нанятом на имя какого-нибудь чиновника, ездить к колонистам кушать сливки и т.п. «Прекрасно, прекрасно! — думал я. — Это меня рассеет, вознаградит за скуку». Я решился ехать на место свидания.

В двенадцать часов я был в условленном месте, нашел уединенный домик, постучался в калитку, старуха крестьянка отперла ее, и я вошел в избу. В первой комнате я не нашел никого, кроме лакея, который стоял у дверей; он тотчас защелкнул их и вышел в сени, лишь только я переступил чрез порог. В сию самую минуту вышли три незнакомые мне человека из другой комнаты, и один из них подошел ко мне, просил присесть рядом с ним на скамье и выслушать его. Я был несколько встревожен этою внезапною

и неожиданною сценою, но решился терпеливо дожидаться конца.

— Иван Иванович! — сказал мне незнакомец. — Вы находитесь теперь в таком положении, что от вас единственно зависит погибнуть невозвратно или быть навсегда счастливым. По рождению, хотя незаконному, вы принадлежите к фамилии, которая хочет устроить судьбу вашу. Если вы согласитесь подписать бумагу и сознать ее здесь же, в маклерской книге, то этим поступком вы загладите несправедливость одного из членов этой почтенной фамилии, получите тотчас двадцать тысяч рублей наличными деньгами и, сверх того, будете всю жизнь пользоваться покровительством весьма важных лиц; достанете место, какого сами пожелаете; будете иметь чины, ордена; женитесь богато; словом, будете счастливы. В противном случае гибель ваша неизбежна. Противу вас собраны показания к обвинению в важных преступлениях, и вам не миновать Сибири, а может быть, еще чего-нибудь худшего. Вы человек одинокий, безродный, без покровительства: знакомые ваши оставят вас при первом несчастье, и женщины, которые помогали вам в малых ваших делах, откажутся от преступника, против которого будут действовать люди сильные, богатые. Решайтесь, вот бумаги и чернила: подпишите — и с Богом! Деньги, если угодно, возьмите прежде: вот оне!

Пока один из незнакомцев говорил, другой положил на стол два листа гербовой бумаги, исписанные кругом, и большую книгу, а третий считал ассигнации. Помолчав немного, я отвечал:

— Милостивый государь! если дело ваше чистое, то вам надлежало бы отнестись ко мне с предложениями прямо, без всяких таинств. Сначала прошу вас растолковать мне, какая фамилия требует от меня очищения несправедливости одного из ее членов? Знаю, что я обязан рождением на свет князю Ивану Александровичу Милославскому, последнему в роде. Он умер от ран, не зная даже о моем существовании, ибо оставил мать мою беременною. Имение его разделено на четыре части между его двоюродными племянниками, которых я даже вовсе не знаю, потому что они воспитывались где-то за границею и теперь служат при Миссиях. Я не был никогда в связях с родными покойного моего отца и не имел с ними никаких сношений по делам. Итак, позвольте мне прежде прочесть бумаги, которые я должен подписать, после раздумать хорошенько и, наконец, решиться на что-нибудь. Вы напрасно страшаете меня Сибирью и мнимы-

ми моими преступлениями. Знаете, что я нетрусливого десятка, имею свои заслуги и найду себе покровительство в законах моего отечества.— Сказав это, я встал и подошел к столу, чтоб взять бумаги; но один из незнакомцев тотчас схватил их и спрятал за пазуху.

— Итак, вы не хотите подписать? — спросил меня прежний незнакомец.

— Я ничего не подписываю, не читая,— отвечал я.

— Это последнее ваше слово?

— Последнее.

— Так пеняйте на себя,— сказал незнакомец. Он велел подавать карету. Несколько минут мы провели в молчании; вдруг четвероместная карета подъехала к крыльцу, и я, взглянув в окно, увидел, что в карете сидела женщина. Три незнакомца взяли книгу, вышли поспешно из избы, сели в карету и поехали. Я остался один в доме.

Крестьянин хозяин и старуха, мать его, вошли в комнату и спросили, не угодно ли мне здесь ночевать?

— Кто здесь нанимает квартиру?— спросил я.

— Да не знаем, батюшка,— отвечал крестьянин,— домишка у нас стоит пустой целое лето, а вчера господа приехали, наняли на одне сутки, пообедали здесь, да вот и уехали. Ведь вам-то лучше знать, кто они.

Я вышел из дому и пошел поспешно к моей карете, размышляя об этом необыкновенном происшествии. Спустился вниз к морскому берегу и проходя мимо кустов, я услышал шорох. Я оглянулся, и в то же мгновение раздался выстрел: пуля просвистела мимо моей головы. Ночь была ясная, как день; вдруг из кустов поднялся человек, и я узнал — Вороватина!

Он пустился бежать из всей силы, между кустами, и бегу заряжал ружье. Будучи безоружен, я не осмелился его преследовать и побежал к тому месту, где оставил свою карету. Но я не нашел ее и, на песке увидев следы поворота ее, догадался, что она, вероятно, отправлена в город злоумышленниками. Я поднял с земли дубину для моей защиты и пошел по берегу моря, в Екатерингоф.

Я шел быстрыми шагами, часто оглядываясь, в опасении погони или засады. На половине дороги я услышал шелест в лесу. Сохранив все мое хладнокровие, я решился устремиться навстречу опасности, которой избежать было невозможно, зная, что в решительную минуту смелость торжествует всегда над расчетливостью. Подняв на плечо мою

дубину, где мелькало что-то, я бросился вперед и встретил — женщину.

— Пощадите меня! ах, пощадите меня! — воскликнула она.— Я и так уже несчастна.

Я остановился, как громом пораженный. Этот голос был знаком моему сердцу; он тронул меня и привел кровь мою в движение. Мне казалось, что я слышу голос Груни. Я взял женщину за руку, в безмолвии вывел из лесу, взглянул ей в лицо, глаза наши встретились, и внезапный трепет пробежал по всем моим жилам. Девушка в самом цвете юности, прелестная, как ангел, стояла передо мною и, сложив руки на груди, взорами умоляла о сострадании. Я смотрел на нее и не мог вымолвить слова. Темно-каштановые ее волосы были в беспорядке и небрежно лежали на плечах. Длинные ресницы омочены были слезами; темно-голубые глаза, припоминающие мне очаровательные глаза Груни, выражали страх и надежду; прелестные уста были полуоткрыты и, казалось, готовы были умолять меня о жалости. Она была в белом платье и прикрыта темным плащом.

— Что вы делаете здесь в лесу, одни и в такую пору? — спросил я наконец.

— Я бежала от измены, от предательства, от разврата и не знаю, где укрыться; боюсь одна возвратиться в город; не имею убежища, где приклонить голову!

— Пойдемте, я буду вашим провожатым, защитником. Здесь я также нашел измену, предательство, убийц.

Не ожидая ответа прелестной девушки, я взял ее за руку и потащил за собою. Рука ее трепетала в моей руке; она с беспокойством поглядывала на меня и поспешно следовала за мною. Я остановился.

— Вы боитесь меня, — сказал я. — Клянусь Богом и честью русского офицера, что я не имею никакого злого умысла противу вас: я готов пожертвовать жизнью для защиты вашей чести, и пока я жив, никто не осмелится прикоснуться к вам.

— Я верю вам, — сказала девушка. — Будьте моим ангелом-хранителем: я несчастна, очень несчастна!

Я был в таком смущении, что не мог более говорить и шел в безмолвии, держа девушку за руку. На конце деревни, примыкающей к Екатерингофу, я увидел мою карету. Наемный лакей спал на траве, кучер и фореитор дремали. Я разбудил их.

— Зачем ты оставил место, где я велел тебе дожидаться меня? — спросил я лакея.

- Мне велели вашим именем, отъехать в Екатерингоф.
- Кто?
- Какой-то лакей в ливрее с галунами.

Догадка моя подтвердилась. Я просил девицу сесть в карету. Она повиновалась в молчании.

— Где вы поместите меня?— сказала она, заливаясь слезами, когда я велел гнать в город, во всю конскую прыть.— Я вам сказала, что не имею убежища. Я бедная сирота, брошенная судьбою на свет, без пристанища.

— Будьте спокойны, я холост и не осмеливаюсь везти вас к себе. Я вам доставлю убежище у одной почтенной дамы; но прошу вас, не скрывайтесь предо мною и расскажите мне свои несчастья.

— Без сомнения, я должна вам рассказать все случившееся со мною; но дайте мне слово не преследовать людей, ввергнувших меня в то положение, в котором вы нашли меня.

- Даю вам слово!

— Итак, слушайте.— Отец мой был чиновник штаб-офицерского чина, из бедных дворян. Он служил секретарем при начальнике, который был женат на богатой вдове, имевшей дочь от первого брака: эта дочь моя матушка. Секретарь любил падчерицу своего начальника и был любим взаимно. Любовники, не надеясь получить согласие гордого вотчима, обвенчались тайно. Скажу коротко: брак был открыт, дочь выгнана из дому и лишена наследства, которое утверждено за детьми от второго замужества. Отец мой исключен из службы.

Батюшка мой, снискивая пропитание тяжкими трудами, умер за пять лет пред сим. Матушка сама занималась воспитанием моим, учила меня иностранным языкам, музыке, женским рукоделиям и снискивала пропитание трудами рук своих и преподаванием уроков в женском пансионе. Вот уже два года, как она скончалась, оставив меня бесприютною сиротой!..— При сих словах девица горько заплакала. Помолчав немного, она продолжала:— Пансион, в котором матушка моя преподавала уроки, не существовал более. Я никого не знала в городе, кроме француженки, содержательницы модного магазина, куда я носила на продажу работу маменькину. Я пошла к француженке и со слезами просила принять меня в работницы. Она исполнила мою просьбу и дала мне почетное место между швеями; ласкала меня, одевала очень хорошо и вообще обходилась со мною лучше, нежели с другими швеями. Я писала к моей бабушке оск-

ву, изобразила ей несчастное мое положение, но не получила ответа. Два года я прожила спокойно в магазине. Вчера мне исполнилось шестнадцать лет.

Хозяйка подарила мне новое платье в день моего рождения, ласкала более обыкновенного, посадила с собою за стол к обеду, возила прогуливаться за город и под вечер, призвав в свою комнату, сказала:

— Олинька! возьми этот короб с бальным платьем и отвези в моей карете на дачу, по Петергофской дороге, к этому старику, который так часто бывает здесь и так ласков с тобою. Это платье для его дочерей. С нынешнего дня ты должна заступить место моей помощницы и исполнять мои комиссии. Господа любят, когда к ним являются такие миленькие магазинщицы, и гораздо лучше платят, нежели нам, старухам. Будь вежлива, друг мой, не дичись, знай и помни, что ты не дурна собою, и умеешь пользоваться своею красотой — юность не приходит два раза в жизни.

Не смея послушаться хозяйки, я взяла короб, села в карету и поехала, куда кучер повез меня. Я очень знала в лицо старика, к которому послала меня хозяйка, но не знала, как зовут его. Он много покупал и заказывал в нашем магазине, дарил швей конфетами и обходился с нами очень ласково и вежливо. Я приехала к нему на дачу довольно поздно. Лакей ввел меня в залу и просил следовать за собою во внутренние комнаты. Думая, что он проведет меня к барышням, я смело шла за ним и очутилась в кабинете старика. Он сидел в халате на софе, перед которой стоял столик с плодами, вареньями и вином.

— Присядь здесь, мой ангел, — сказал он.

— Но где барышни? — спросила я в смущении, сама не зная причины.

— Они тотчас придут. Да присядь же, не упрямясь!

Я села на стуле, но старик насильно посадил меня на софе и стал потчевать плодами и вином. Я отказалась от вина, но из вежливости должна была отведать плодов. Старик стал гладить меня по лицу, и я, извиняя его летам, не обращала на это внимания; но когда он начал позволять себе вольности, неприличные ни ему, ни мне, я с негодованием вскочила с места и хотела выйти из комнаты. Старик удержал меня за руку и сказал:

— Послушай, милая, не ребячься и не будь упряма. Полюби меня — и ты будешь навеки счастлива!

Я посмотрела на него с презрением и не могла вымолвить ни слова от избытка негодования. Старик продолжал:

— У меня старая и злая жена, и если ты захочешь усладить жизнь мою своею любовью, я с первого дня подарю тебе тридцать тысяч рублей и формальною судебною сделкой обещаю тебе платить в год по десяти тысяч. Ты еще так молода, что чрез десять лет найдешь себе мужа, а если будешь любить меня в течение этого времени, то я обещаю тебе на десятом году еще тридцать тысяч рублей.

Терпение оставило меня.

— Как вы смеете предлагать мне позор и разврат?—воскликнула я.— Видно, что вы не знали в жизни ни одной честной женщины, когда смеете предполагать, что любовь можно купить за деньги. И не стыдно ли вам, в ваши лета, будучи женатым, развращать бедную девушку?

— Но твоя мадам, душенька, уж продала мне тебя. Ты ей должна за одежду, за содержание...

— Хозяйка моя такое же гнусное существо, как и вы! — сказала я, выдернула руку и, когда он хотел заступить мне дорогу, толкнула его так, что он присел на софу.— Бесчестный искуситель! — сказала я, остановясь посреди комнаты и взяв нож в руки.— Выпусти меня, или я научу тебя, как оскорблять русскую дворянку. Знай, что я дочь надворного советника Александра Уральского и генеральской дочери Евгении Славинной. Я равна тебе по роду и не хочу сравнивать себя с тобою по чувствам. Выпусти меня, злодей! — Лишь только я назвала моих родителей, старик закрыл глаза руками и, воскликнув: «Боже мой!», убежал в другую комнату.

Не будучи в состоянии отпереть двери и не осмеливаясь идти в ту комнату, куда скрылся старик, я отворила окно, выскочила в сад, а из сада чрез калитку выбежала на дорогу. В соседней даче я спросила, кто живет в этом доме, и узнала, что мой искуситель Грабилин, муж моей бабушки, изверг, лишивший наследства мою матушку.

— Грабилин! — воскликнул я.— Этот развратник знаком мне от детства. Боже мой, какая странная судьба!

Ольга продолжала:

— В ужасе, в негодовании я не знала, где укрыться. Я боялась идти в город, чтоб злодей не велел догонять меня, и пошла в противоположную сторону. Увидев дорогу направо, я пошла по ней, не рассуждая, куда она приведет меня, и наконец очутилась в лесу. Мне надобно было отдохнуть. Я села под деревом и принялась горько плакать: это облегчило мое сердце. Не зная, куда деваться, и страшась показаться одна на дороге, в лесном месте, я ожидала случая, пока какой-нибудь добрый человек пройдет мимо. Несколько

карет проехало по дороге, и больше никого не появлялось. Я начала отчаиваться и решила ночевать в лесу, как вдруг появились вы и прямо пошли ко мне. Мне было страшно, но когда вы посмотрели мне в глаза, боязнь исчезла и я почувствовала, право, не знаю, не страх, но что-то страшное и вместе утешительное. Я боялась мужчины; но сердце мое шептало мне, что я нашла великодушного защитника. В ваших глазах я вычитала, что вы меня не обидите.

— Сердце ваше угадало, Ольга Александровна: отныне я ваш отец, брат, защитник! Положитесь во всем на Бога и на меня. Пока я жив, вы ни в чем не будете иметь нужды, и я ничего не требую от вас, ничего, кроме одной милости, чтоб вы верили мне, что я готов жертвовать для вас жизнью без всяких видов. Верите ли мне?

Она сжала мою руку и сказала сквозь слезы:

— Верю, благородный человек: Бог наградит вас!

Я велел кучеру ехать к доброй кузине Анете.

Уж было три часа утра. В доме все спали, но я требовал непременно, чтоб разбудили хозяйку. Она вышла ко мне, трепеща от страха, думая, что со мною сделалось что-нибудь необыкновенное. Я умолчал о происшествии со мною в уединенном домике, потому что кузина Анета не знала тайны моего рождения, но рассказал ей приключение Олиньки. Милая, добрая Анета с радостью приняла ее к себе в дом и благодарила меня за то, что я привез несчастную к ней, как за оказанное ей самой благодеяние. Благородная женщина! Я возвратился домой в совершенном расстройстве.

Разумеется, что я не мог спать. Я был влюблен. Олинька возбудила во мне любовь, не ту пламенную, пожирающую страсть, которую зажгла в сердце моем очаровательная Груня, а любовь нежную, сладостную, которая не знает другого желания, кроме счастья возлюбленной, не порождает ни одной земной мысли, при воспоминании о красоте. Олинька, казалось мне, была несколько похожа на Груню, но таким образом, если б Груня велела написать портрет свой в виде ангела, с выражением скромности, которой ей не доставало. Красота Груни была блистательная, Олиньки — умилительная. Взгляды Груни пожирали сердце и приводили кровь в лихорадочное движение; взоры Олиньки проливали в душу тихое наслаждение. Мне казалось, что я оттого полюбил Олиньку так сильно, что она была несколько похожа на Груню, но я чувствовал, что если б она была похожа на Груню совершенно, то я не мог бы любить ее так страстно. Олинька казалась мне идеалом красоты, который давно существовал

в моем воображении и которого я искал сердцем. Не оттого ли я полюбил Груню, что она несколько приближалась к тому подлиннику моей фантазии, который я наконец нашел в Олиньке?

Выбившись из сил, я заснул: странные сновидения тревожили меня. Мне снилось, что ужасной величины змеи хотят пожрать меня. Я проснулся в четыре часа пополудни, в тревоге и беспокойстве: сердце мое сильно билось, и в эту минуту Петров вошел в комнату и сказал:

— Ваше благородие! Полицейские офицеры требуют, чтобы вы немедленно изволили одеваться. Вот они.

Полицейский офицер объявил мне, что он имеет приказание опечатать мои бумаги и отвезти меня в городскую тюрьму.

— Сказано ли вам, в чем меня обвиняют?

— Нет, но вы это скоро узнаете.

Догадываясь, откуда этот удар, я поспешно оделся и, оставив двух других чиновников хозяйничать в моей квартире, велел Петрову отправиться к кухне Анете, рассказать случившееся со мною, и ожидал в ее доме окончания этого происшествия.

В тюрьме мне отвели особую комнату и объявили, что если я имею деньги, то могу жить, как мне угодно, но только не выходя за ограду. Чрез час явилась кухня Анета с Олинькою. Петров был с ними. Им позволили видаться со мною в приемной комнате, в присутствии чиновников. Лицо Анеты показывало состояние ее души; Олинька не могла удержать слез своих; Петров был угрюм и важен.

— Что вы сделали?— спросила меня Анета.

— Это адская родственная интрига, которой я не понимаю совершенно, но несколько догадываюсь. Клянусь вам честью, что я ни в чем не винен. Потерпим! Без суда меня не накажут, и тогда я узнаю, в чем меня обвиняют, и без сомнения оправдаюсь.

Я взял у Петрова несколько денег и просил Анету не ездить ко мне в тюрьму, чтоб не повредить своей доброй славе.

— Вы не знаете женщин, когда говорите таким образом,— отвечала Анета.— Женская дружба познается там, где кончится мужская, то есть в несчастии, в опасностях. Приличия удерживают женщину только в обыкновенном течении светской жизни; но где надобно спасти, утешить, помочь, там приличия исчезают, и сердце свободно летит к сердцу несчастного. Нет, любезный друг, я вас не оставляю.

— И я также!— сказала сквозь слезы Олинька.— Вы

мой спаситель, благодетель... — Она не могла более говорить: рыдания пресекли ее речь.

Должно было расстаться, чтоб освободить чиновника от тягостной для него обязанности, быть свидетелем излияния нашей дружбы.

— Ваше благородие! — сказал Петров. — Я не оставлял вас на поле сражения и никогда не покину, что бы с вами ни случилось. Пусть злодеи ваши бьют тревогу — Петров останется при вас, пока смерть не пробьет для него вечернюю зорю! Русский солдат не сходит с часов во время опасности!

Три недели я провел в заключении, в обществе с виновными и злополучными. Видел унижение человечества и несчастную добродетель; видел пороки и слабости и не хочу их описывать. Пусть мрачная завеса покрывает это убежище горести. Я не хочу растревать сердечных ран моих воспоминаниями и исчислениями злодейств и пороков, которые, как ядовитые зелья, оскверняют нравственную природу человека. Предоставляю человеку с сердцем, закаленным на поприще опыта, с душою, охлажденною от соткновения с пороком, представить в живой картине внутренность тюрьмы. Верное изображение нравов существ, исторгнутых из общества, может быть поучительным, но оно всегда будет отвратительно, и я не хочу возбуждать ни в ком омерзения к человечеству; я не в состоянии этого выполнить. Я был бы несчастнее тех злополучных, которых хотел бы представить на позор. Даже чужое злодейство лежит, как камень, на сердце!

Кузина Анета ежедневно посещала меня с Олиньюкою. Петров только на ночь оставлял меня одного. Я узнал, что в обществах даже боялись произносить мое имя и что все упрекали себя за то, что были со мною знакомы. Только некоторые добрые женщины вступались за меня и не хотели предварительно обвинять в преступлениях, о которых никто ничего не знал.

Однажды Анета, будучи нездорова, не могла приехать ко мне и прислала Олинью одну. Чиновник, которому получено было сторожить нас при свиданиях, удостоверившись, что в наших речах не заключается ничего предосудительного, позволял нам наконец говорить наедине и удалялся в угол, а на этот раз вовсе вышел из комнаты. Я воспользовался случаем, чтоб испытать Олинью в ее чувствах ко мне.

— Ольга Александровна! — сказал я. — Вы не презираете меня в этом униженном положении? — Она посмотрела на меня значительно.

— Презирать вас! Но называйте меня просто Олиньюкою; мне как-то досадно, когда вы обходитесь со мною слишком вежливо, как будто с незнакомкою.

— Вы чувствуете ко мне сострадание, милая Олинья! Но, может быть, нам придется разлучиться навеки... Я должен признаться вам, что не могу жить без вас, что я умру, если меня разлучат с вами!

— Расстаться с вами — никогда! — воскликнула Олинья и вдруг покраснела и потупила взоры.

— Меня преследуют люди сильные и богатые, — сказал я, — а я бесприютный сирота, как и вы. Мне угрожают даже ссылкой в Сибирь...

— Я последую за вами: буду трудиться и не оставлю вас, как вы не оставили меня!

— О, Боже, как я счастлив! Олинья, милая Олинья! я люблю тебя более жизни — и ты...

Олинья бросилась мне на шею и залилась слезами.

— Я твоя, твоя навеки! — воскликнула она, рыдая. — Может быть, я дурно делаю, что открываюсь; но я не в силах преодолеть чувства мои: я люблю тебя!

Я никогда не был так счастлив, как в эту минуту. Тюрьма мне показалась храмом блаженства. Я ничего не мог говорить, только пожимал руку Олиньи — и проливал слезы.

Вошел чиновник, и нам должно было расстаться. Я пошел в мою комнату, заперся и не показывался целый день. При избытке счастья нужно уединение.

Наконец мне предложили вопросные пункты. Первое обвинение состояло в том, будто я бежал из России в киргизскую степь, разбойничал, нападал на русские пределы и грабил караваны. В оправдание мое я описал все, приключившееся со мною от выезда из Москвы, предательство Вороватина, болезнь мою, и сослался на Миловидина, Петрова и, наконец, на самого Гаюка и целый киргизский аул. Меня обвиняли, будто я в степи переменял веру. Я сослался на священников в Москве, пред которыми совершал обряды нашей церкви, после возвращения из степи. Меня обвиняли в самозванстве, будто я назвался дворянином и чрез это получил чины в гражданской службе. Я признался, что Миловидин называл меня дворянином, чтоб ввести в общество, но что в моем формуляре не сказано, из какого я звания, а просто означено, что я из вольноопределяющихся. При этом я прибавил, что я кровью приобрел личное дворянство, заслужив чин штабс-ротмистра и орден Св. Владимира. Меня обвиняли в участии с ложными игроками к обыгранию Дурин-

диных. Я сознался, что был с ними в связях по знакомству с Груней, но объявил, что я не участвовал в этом деле, и сослался на отсутствие мое из Москвы. В заключение я описал происшествие мое в уединенном домике на Емельяновке и покушение Вороватина убить меня.

Прошла неделя от подписания мною вопросных пунктов, и я с нетерпением ожидал решения моей участи. Олинька почти не оставляла меня. Я открылся в любви моей к ней кузине Анете, которая благословила нас и взялась ходатайствовать по моему делу.

ГЛАВА XXXII

ИЗБАВИТЕЛЬ.

НЕ МЕСТО, А ПРЕСТУПЛЕНИЕ БЕСЧЕСТИТ ЧЕЛОВЕКА.

ПРАВЕДНОЕ НАКАЗАНИЕ ЗЛОДЕЯ.

ТАЙНА ОТКРЫВАЕТСЯ. ДУХОВНОЕ ЗАВЕЩАНИЕ.

ЛЮБОВЬ И ДРУЖБА. ПРОЦЕСС. ХОДАТАИ.

СЕКРЕТАРИ. ПОСЕЩЕНИЕ СУДЕЙ.

ВЕЗДЕ ЕСТЬ ДОБРЫЕ ЛЮДИ

Прошло десять дней от моего счастья, от объяснения моего с Олинькою. Утром, одиннадцатого дня, я прохаживался большими шагами по коридору, ожидая Олиньку или Петрова с письмом от нее, как вдруг вбежал чиновник, запыхавшись, в коридор, чуть не сбил меня с ног и, опамятовавшись, воскликнул:

— А, это вы, а я за вами! Пожалуйста к его превосходительству!

Не дав мне вымолвить слова, он побежал вниз, повторяя:

— Ох, мне эта чистота! беда с этими генералами!

Вошед в приемную, я увидел человека в богатом шитом мундире, с лентою чрез плечо и двумя звездами. Я поклонился и ожидал приказаний.

— Вы не узнаете меня, Иван Иванович?— сказал он. Я всматривался ему в лицо и боялся ошибиться.

— Вы не узнаете *беспокойного человека*?— примолвил он с улыбкою.

— Это вы, Петр Петрович?— воскликнул я, протянул руку и остановился. Он бросился ко мне на шею и прижал к сердцу.

— Помните ли слова мои,— сказал Петр Петрович,— что правда всплывает наверх, как елей? Вот видите, я теперь осыпан почестями, которых не искал, а клеветники мои ли-

шились средств вредить и обогащаться, чего они добивались всеми подлостями. Но пойдем в вашу комнату, переоденьтесь и поезжайте со мною. Вы свободны, оправданы, и вся тайна вашего преследования открылась! Не стыдитесь и не смущайтесь тем, что я нашел вас в тюрьме. В утешение ваше, я вам повторю надпись, которая находится над тюрьмою в Варшаве: «Не место, а преступление бесчестит человека».

Я полетел в мою комнату, и едва Петр Петрович успел войти в двери, я уже был одет.

— Расскажите, ради Бога, расскажите, Петр Петрович, за что меня гонят, в чем и пред кем я виноват?

— Вы все узнаете, но теперь не время. Поедьте ко мне, я вам объясню все дело.

Дорогою Петр Петрович расспрашивал меня о моей службе, о Москве, о Миловидине; но я так был занят желанием узнать тайну, что отвечал ему сбивчиво и отрывисто. Приехав к Петру Петровичу, мы заперлись с ним в кабинете, и он рассказал мне следующее:

— Дело ваше поручено было мне к исследованию. Лишь только я прочел ваши ответы на вопросные пункты, тотчас догадался, что это продолжение той же интриги к погублению вас, которая едва не лишила вас жизни в Оренбурге. Вороватин давно был известен мне как человек безнравственный, способный на всякое злодеяние. Я велел взять его под стражу. В квартире у него нашли связки поддельных ключей, инструменты для делания фальшивых ассигнаций, ложные паспорта, подорожные, множество краденых вещей, одним словом, все признаки сношений и участия с злодеями и ворами. Я велел допросить некоторых из них, содержащихся под стражею, и они признались, что Вороватин был их покровителем, брал их на поруки, скрывал у себя их воровские орудия и краденые вещи, выдавал паспорта, подорожные и указывал, где надлежало красть. Вороватина замешали даже в нескольких смертоубийствах. Я обещал ему облегчить его участь, ежели он будет искренен в показаниях, особенно на ваш счет. Этот злодей так трусил, что наговорил даже более, нежели от него требовали. Он присужден к лишению своего звания и к ссылке в каторжную работу. Вот что я узнал об вас от Вороватина.

Отец ваш, князь Иван Александрович Милославский, был человек честный и благородный. Отправляясь на войну, он сделал духовное завещание, в котором назначил 250 000 рублей младенцу, который родится от крестьянской девушки

Авдотья Петровой. Деньги и завещание лежат поныне в Опекунском совете. Исполнителем завещания назначил он друга своего, графа Безпечина, и поручил ему отыскать несчастные жертвы его слабости. В завещании между прочим сказано, что законные наследники тогда только могут воспользоваться этою суммою, когда представят ясные доказательства о смерти младенца, и в таком случае должны платить его матери, по смерти, по 6000 рублей в год. Когда же в течение тридцати лет не явятся ни крестьянка Авдотья Петрова, ни рожденное от нее дитя, тогда наследники имеют право взять сумму в свое распоряжение.

Граф Безпечин посылал своего поверенного отыскивать вашу матушку, но поиски его остались без успеха, и он не возобновлял их, а вскоре вовсе позабыл об этом деле. После смерти вашего отца огромное имение разделили между двоюродными его племянниками, двумя графами Ничтожиными и двумя Честинскими, детьми двоюродных братьев князя. Мать графов Ничтожиных, родом итальянка или, как некоторые утверждают, перотка, явно кричала против завещания, но не смела ничего предпринять потому, что граф Безпечин был в силе и что фамилия Честинских не хотела нарушать воли завещателя. Прошло много времени, пока наконец Вороватин познакомился с вами. Зная все обстоятельства дела, по связям своим с графинею Ничтожиною, и выдав часто покойного вашего отца, он, по сходству вашему с князем и по вашему рассказу, стал догадываться, что вы сын князя Милославского и что Аделаида Петровна есть та самая Авдотья Петрова, которую тщетно отыскивал граф Безпечин. Подкупив слугителя вашей матушки, он с графинею Ничтожиною пересмотрел, во время ее отсутствия из дому, все ее вещи и бумаги, и они нашли портреты князя Милославского и некоторые его письма, которые удостоверили в истине догадок Вороватина. Опасаясь, чтоб известие о духовном завещании не дошло со временем до вас, она решилась удалить вас из Москвы. Вороватин представил ей к услугам известного злодея, Ножова, который взялся убить вас и матушку вашу. Графиня, при всей превратности своего характера, не согласилась на это злодеяние; но, желая воспользоваться вашими деньгами, обещала Вороватину пятьдесят тысяч, если он выманит у вас отречение от наследства, квитанцию или что-нибудь подобное. Вороватин привязался к вам, как змея, чтоб вползть в ваше сердце и, снискав доверенность, обмануть вас. Он вознамерился поселить в вас страсть к игре, развратить вас и после выманить отречение за безделицу. Любовь

ваша к Груне подала ему новые надежды, и когда вы согласились отправиться с ним в Оренбург, он уже не сомневался в успехе, тем более что вам исполнились совершенные лета для подписки всяких сделок. Ножов послан был графинею для помощи Вороватину и для привезения ей ожидаемой сделки. Им велено было поспешить делом, потому что в Москву ожидали графа Безпечина и опасались, чтоб он случайно не узнал Аделаиды Петровны.

Внезапная болезнь ваша расстроила их планы, и злодеи решились умертвить вас, подписаться под вашу руку и получить деньги от графини. Провидение спасло вас от смерти. Подделка квитанции, в получении будто бы вами денег от графини, и передача ей права к наследству также не удалась. Хотя они искусно подписались под вашу руку, но не нашли в Оренбурге маклера к ложному сознанию этого документа, без личного вашего присутствия. Притом же злодеи поссорились между собою, и Вороватин предал Ножова в руки правосудия, а сам ускользнул от мести своего сообщника, поселился в Петербурге, притворился святошею и снискал дружбу и покровительство равного ему злодея, хотя в другом роде, Притягалова, того самого, который погубил меня и о котором я вам расскажу после. Графиня между тем уехала за границу и жила в Италии с детьми своими, до вашего приезда в Петербург. Услышав ваше имя в одном обществе и узнав вас по вашему сходству с покойным князем, она снова вознамерилась попытаться лишить вас наследства, которое теперь возросло за миллион. Злые встречаются между собою скорее, нежели добрые. Вороватин отыскал графиню и предложил ей свои услуги. Не надеясь теперь выманить у вас отречение от наследства хитростью, они решились прямо предложить вам, не читая, подписать бумагу, угрожая доносом и преследованием и привлекая деньгами. Намерение дерзкое и довольно глупое; но злодеев иначе нельзя было бы изобличать и наказывать, если б от излишней дерзости они не делали глупостей. Он подобрал сообщников между выгнанными из службы подьячими, нашел услужливого маклерского помощника, и они сыграли с вами неудачную драму в уединенном домике, на Емельяновке. Когда же вы отказались от подписания бумаг, то озлобленный Вороватин, опасаясь, чтоб вы не отыскиали его случайно в Петербурге, решился убить вас и выстрелил из кустов. Между тем донос на вас уже был приготовлен и подан одним из сообщников Вороватина. Для исследования столь важных преступлений, в каких вас обвиняли, надлежало приступить к мерам решительным и скорым.

Вас задержали, и дело поручили мне. Я не хотел видиться с вами, чтоб не подать подозрения в пристрастии по причине нашего знакомства. Впрочем, я исследовал дело по всей строгости законов, и вы оправданы потому только, что вы правы, а не потому, что исследовал дело Виртутин, который вас любит. Если б вы были родной мой сын, а виновны, то я бы подписал ваш приговор. Вот развязка тайны. Графиня подала просьбу об уничтожении духовного завещания, ссылаясь на земскую давность и на то, что деньги, завещанные вам, были не благоприобретенные князем Милославским, а полученные в наследство; и таким образом, вдобавок к своим преследованиям, навязала вам процесс, который едва ли не тягостнее плена у киргизов. Вы должны защищаться, но я вам не советую вводить в дело показаний Воробятина, потому что для обвинения графини в участии с ним нет никаких письменных доказательств, а фамилия Ничтожиных чрезвычайно сильна и многочисленна, следовательно, не должно касаться ее чести. К тому ж это ни к чему не послужит в тяжбе о законности духовного завещания и навяжет вам более хлопот. Теперь прощайте; займитесь своим делом, найдите знающего поверенного, а я буду вам советовать в досужное время. На меня навалили столько дел, по разным поручениям и комитетам, что я едва имею свободное время отдохнуть и, при всем моем желании быть полезным, большую часть дел должен обслуживать поверхностно. Беда, когда кого объявят человеком способным к делам: тогда заставляют одного работать за целые десятки неспособных!

Поблагодарив Петра Петровича за все его благодеяния, я поспешил к доброй кузине Анете или, справедливее сказать, к Олинке. Она уже знала от Петрова о моем освобождении и стояла у окна, с нетерпением поглядывая на все стороны.

Тайне моей надлежало скоро обнаружиться процессом, и так я вознамерился предупредить обо всем Анету и Олинку. Признаюсь, мне было тягостно сознаться в проступках моих родителей и в происхождении моей матери. Но Анета приняла дело в настоящем его виде и даже поздравляла меня, что княжеская кровь течет в моих жилах. Она уверяла меня, что с первого нашего знакомства открыла во мне признаки высшего происхождения. Об Олинке ни слова. Ей было бы все равно, если б я был сыном кучера князя Милославского, потому что она любила меня искренно, а истинная любовь никогда не заглядывает в родословную.

Я просил кузину Анету, чтоб она разгласила в обществах о моем приключении, происхождении и процессе.

— Если вы хотите, чтобы это сделалось гласным,— сказала Анета,— то должно просить меня не о том, чтоб я разглашала, но чтоб сказала за тайну нескольким женщинам: тогда весть разнесется скорее, нежели посредством газет. Слово *тайна* заставит каждую женщину рассказать происшествие своим приятельницам также за тайну, и эта тайна обойдет кругом город, и все будет повторяться на ушко. Женщины думают, что тайна есть не что иное, как *весть*, которую надобно разглашать вполголоса, с форменным предисловием: «Я скажу тебе за тайну, я слыхала под секретом» и пр. Вы видите, что я не щажу себя — это дань дружбе.

Взяв с собою Петрова, я возвратился в Демутов трактир, чтоб снова нанять в нем квартиру. Дворник сказал мне, что приезжие сейчас из Москвы спрашивали о моей квартире и о Петрове. Я послал его узнать, кто таковы мои московские знакомые, и сам остался под воротами. Вдруг услышал я крик на лестнице. Выбегает Миловидин и бросается в мои объятия.

— Ты откуда и зачем здесь? — спросил я.

— Из дому, из Крыма, из объятий жены и сына, к тебе, друг мой, к тебе на помощь! — воскликнул Миловидин.

Он потащил меня за руку на лестницу, сказав:

— Пойдем к матушке.

— Как, она здесь?

— Разумеется, здесь. Она ничего не знала о твоём несчастье, потому что ты в письмах своих ничего не упоминал об этом, а она не хотела верить слухам...

— Понимаю.

— Но я, получив известие от кузины Анеты, тотчас полетел к тебе, заехал в Москву к твоей матушке, и когда сказал ей о твоём заключении, она упросила меня взять ее с собою.

Я пожал руку Миловидина и ни одним словом не поблагодарил его за такое нежное участие в моей судьбе. Истинное чувство — не богато на слова.

Между тем мы уже были в комнатах, и слезы доброй моей матери оросили мое лицо. Поплакав, порадовавшись, я рассказал подробно все случившееся со мною и объяснил тайну моего преследования. Когда дошло дело до духовного завещания, матушка растрогалась и сказала:

— Я не обманулась в его душе! Он думал обо мне, думал о несчастном залоге нашей любви. Но я сделалась недостойною его сердца и памяти...

Она залилась слезами, и нам стоило большого труда успокоить ее. Я не хотел скрываться в моей любви и во всем признался матушке и моему другу. Они мне не противоречили, но только просили, чтоб я не поспешал женитьбою и узнал Олиньку покороче.

Прошло две недели от моего освобождения. Матушка выезжала только в церковь, но кузина Анета и Олинька ежедневно ее навещали. Миловидин пребыл верным своей клятве и не показывался в обществах. Он проводил утро в чтении газет и журналов, прогуливался, бывал только у кузины Анеты и у Петра Петровича и для развлечения ходил в театр. По совету Петра Петровича, я выслал его дворецкого в Белоруссию, чтоб отыскать мою метрику и узнать, каким образом я попал в дом г-на Гологордовского. Между тем он дал мне одного опытного чиновника из своей канцелярии, чтоб познакомить меня с характером и поведением каждого ходатая по делам, из которых я выбрал известнейших и назначил им в моей квартире свидание со мною, каждому в особый час. Я должен был вытерпеть несносную скуку от 6 часов пополудни до полуночи, но это был только первый мой опыт на поприще процесса: я не знал еще, что в этом лабиринте на каждом шагу рождаются огорчения, точно так, как во времена недуга, когда тело покрыто ранами, каждый поворот, каждое движение производит нестерпимую боль.

Чиновник этот, Федосей Савельич Кавыкин, начал службу с детства, знал все ябеднические происки и помнил наизусть биографию каждого чиновника и каждого ходатая. Голова Кавыкина была лексикон ябеды. Он был человек веселого нрава и занимался собиранием приказных сплетней и анекдотов для своей забавы. Он был очень рад, что мог при этом случае выказать свои познания и быть полезным приятелю своего начальника.

Из числа приглашенных ходатаев сначала явился г. Дурачинский, человек средних лет с огромными бакенбардами, одетый щегольски. Он хотел играть роль франта, ловкого, воспитанного, светского человека, но согнутая его шея, полуфамильярный тон и образ изъяснения обнаруживали низкое его происхождение.

— Извините, если опоздал. Я нахожусь в службе, в самом почетном месте, и занят делами. Кроме того, частные дела, связи, знакомства! Я теперь прямо из Английского клуба, где меня ожидает партия в вист с тремя сенаторами. Я член Английского клуба, а у нас это дело важное! У нас выбаллотировывают самых честных и благородных людей,

известных, с репутацией — так можете вообразить себе, какая честь быть членом Английского клуба! Я там всякий день играю с важными людьми в большую игру, решаю дела по-приятельски в газетной, собираю запас новостей и разглашаю кое-что под рукою. Я вам советую поинтриговать, чтоб попасть в Английский клуб. Это будет вам весьма полезно. Там знакомятся, потчевают шампанским, зовут к себе обедать, делают дела... Правда, я не рожден заниматься частными делами: происхожу из графской фамилии... но обстоятельства!

Дурачинский продолжал бы говорить несвязно до вечера; но я дал ему записку о деле, просил его прочесть наедине и вышел в третью комнату, где, по условию, ожидали меня Кавыкин и Миловидин.

— Каков вам кажется этот удалец?— спросил Кавыкин.

— Просто сумасшедший фанфарон,— отвечал я.

— Это отрасль литовского мещанства, облагороженная одеждою,— сказал Кавыкин.— Он был мальчиком, то есть слугою у графа Пьяноти, который выучил его грамоте и по особой, непостижимой милости сделал впоследствии своим поверенным. Обманывая бедных литовских дворян своим значением в Петербурге, а чиновников своим значением в провинции, Дурачинский выкарабкался из грязи, втерся в службу и продолжает ходатайствовать, то есть обманывать, брать деньги с имеющих дела и не давать никому. Он так глуп, что не в состоянии написать письма ни на одном языке, но играет в вист, проигрывает, хвастает, что имеет большие имения, оттого терпим между порядочными людьми. Выгоните его, без обид.

Я вышел к Дурачинскому, взял записку и просил его оставить меня, сказав, что я теперь занят и дам ему ответ после.

Вслед за Дурачинским явилась другая фигурка, олицетворенная ябеда. Маленький, грязный, сухощавый старичишка, обвязанный тряпками. Он с четверть часа раскутывался, кашлял и наконец расшаркался и объявил, белорусским наречием, что он шамбелян бывшего польского двора, пан Крючковский.

— Уже коли хоцице выиграць ваше дзело,— сказал он, прикашливая,— то возмице меня. Все несправедливые дзела у меня на руках; если я не выиграю, то уж так поволочу ваших противников, что они сами отказуцця от процесса и дадуц вам, что сами захоцице.

Я всучил ему записку, усадил в креслах и пошел к Кавыкину, который мне сказал:

— Это знаменитый ябедник, который уже пятьдесят лет, как язва, свирепствует во всех судах, и на старость переселился в Петербург. Несмотря на то, что он одет, как нищий, он богат, имеет недвижимое имение и капиталы. Поверите ли, что этот кощей воспользовался имением трех жен, которых он пережил? Своятаясь, он всегда делал условную запись с каждою женой, чтоб имение досталось тому, кто переживет. Как он тридцать лет носит в груди чахотку, то разумеется, что молодые женщины погибают жертвою его заразительного недуга. Он, как баснословный Пифон, отравляя добычу, пожирает ее. Прочь его! прочь, чтоб он своим присутствием не заразил воздуха!

Я отделался от Крюкотворского таким же образом, как от Дурачинского.

После Крюкотворского явился толстый, огромный, пожилой человек. Он, как дикий кабан, ввалился в комнату, устремил на меня волчьи глаза и проревел приветствие таким тоном, что я почел его ругательством.

— Ну что, в чем дело? Давайте, я сейчас вам скажу, что начать. Да главное, есть ли деньги?

Я подал ему записку и просил прочесть; но он отказался.

— Я даром не стану трудиться и читать чужие вздоры. Денежки, денежки, вот документы!

Я просил его подождать и вышел к Кавыкину. Лишь только я произнес имя ходатая, как Миловидин воскликнул:

— Ба, да это знаменитый пленипотент г-на Гологордовского, пан Струкчаший¹ Хапушкевич, известный плут, который несколько раз переменял веру, был в ссылке за многоженство и по суду лишен права ходатайствовать по делам.

— Он уже был несколько раз выслан из Петербурга, — возразил Кавыкин, — и всегда прокапывается в столицу, как лисица в курятник. Вон плута! вон!

— Но скажите, пожалуйста, отчего здесь такое множество ходатаев из поляков, — спросил я, — и почему вы их так дурно аттестуете?

— Помещик с именем и состоянием не переселится в чужой город, чтоб жить ходатайством, — отвечал Кавыкин. — Честные и искусные адвокаты в польских провинциях имеют дома достаточные средства, не только к своему содержанию, но и к обогащению, и кроме того, пользуются всеобщим уважением. Итак, на ходатайство выезжают кан-

¹ Старинный польский чин.

целярские чиновники, помощники адвокатов и всякого рода искатели счастья, потому что это самое легкое и прибыльное ремесло, которого главное основание во лжи и обмане верителей. Они берут деньги от помещиков, будто бы для раздачи чиновникам, никому не дают, а только клеветают на правого и виноватого. Эти-то ходатаи долгое время пятнали честь целого польского народа, потому что русские чиновники, не бывавшие в польских провинциях, судили обо всех по этим гнилым образчикам. Теперь это переменялось. Многие воспитанные и благонравные люди из поляков вступили в службу в Петербурге и своим поведением очистили дурное мнение о своих единосемцах. Есть и между ходатаями очень добрые и почтенные люди (хотя весьма немного), и они, бедные, должны терпеть за других! Но подите и выгоните пана Стручкашаго.

Я поступил с ним так же, как с двумя первыми.

За ним вошел титулярный советник Загадченко, родом малороссиянин. После первого приветствия он сказал:

— Мы, малороссияне, люди простые, нехитрые, хохлы, любим правду, идем прямым путем. Я вам скажу откровенно, что добре, а что не добре.

Я дал ему записку и возвратился к Кавыкину.

— Этого человека ни я, ни сам черт не знает,— сказал он.— Об нем одни говорят очень дурно, другие называют его сведущим и прилежным ходатаем. Он выиграл много дел.

Я повторил ему слова Загадченки.

— Это обыкновенная малороссийская уловка принимать на себя вид простоты. Я знаю между ними много весьма честных и добрых людей, знаю многих, которые никого и никогда не обманывали и не оскорбляли; но не знаю ни одного, которого бы обманули и который бы простил нанесенное ему оскорбление. Вы знаете, что есть немецкая пословица, применяемая к людям смышленным: «*Он слышит, как трава растет*»¹. Не стану объясняться, а скажу только, что в Малороссии подслушали, как *трава растет*. Русские, поляки, богемцы и другие славянские племена любят, при случае, похвастать и блеснуть умом. Одни только малороссияне хвастают своею простотой и дикостью. Об ком говорят, что он *тонок* и ловок, тот уже не может пользоваться этими качествами. Тонкость состоит в том, чтоб вас почитали простым и грубым. Помните, что в Турции богатые раи притворяются бедными, именно для того, чтоб пользоваться богатством: то же

¹ Erhört das Gras wachsen.

бывает и с умом. Но довольно об этом: отошлите Загад-ченку; мы увидим после, что делать. Я порасспрошу об нем. Авось-либо мы разгадаем его когда-нибудь!

Наконец пришел русский ходатай, Пафнутий Сидорович Рубоперин, и решительно объявил, что иначе не возьмется за дело, как пересмотрев документы и сделав со мною условие в рассуждении награды за ходатайство. Я дал ему записку и возвратился к Кавыкину, который мне сказал:

— Это делец, знает законы, мастер писать и неутомим; но не давайте ему денежных поручений и объясняйтесь с ним тогда только, когда он явится натошак, потому что он, по старинному обычаю, скрапливает свой талант! Советую взять Рубоперина. Лучшего достать негде.

Я сказал Пафнутию Сидоровичу, чтоб он написал условие и доверенность, и, в ожидании прибытия моего посланного из Белоруссии, занялся сочинением просьбы и записки. Мы расстались, и я так был измучен, что едва успел раздеться — и заснул.

Миловидин, невзирая на все мои убеждения, не хотел возвратиться домой и решился подождать, по крайней мере, начала процесса. Мне уже велено было представить доказательства моего рождения, и я с нетерпением ожидал возвращения посланного. Наконец, через два месяца, возвратился дворецкий Петра Петровича и привез метрику и свидетеля, жида Иоселя, бывшего арендатора г-на Гологордовского. Иосель из богатого откупщика сделался на старость нищим и учил грамоте детей нового корчмаря. Контрабанда разорила его, а новые плутни довели до тюрьмы. Вот каким образом попал я из рук убийц в дом г-на Гологордовского:

Когда повивальная бабка и жид-лекарь узнали о бегстве моей матери и уведомились, что она нашла защитника, то, собрав пожитки, бежали, взяв и меня с собою. Они не хотели убить меня, полагая, что, в случае открытия их убежища, они могут отпереться от обвинений моей матери и, возвратив меня, замять все дело. Жид-лекарь поехал к двоюродному брату своему, Иоселю, и, пробыв у него неделю, отправился далее, не открыв причины своего путешествия, а выдумал сказку, будто его приглашает какой-то богатый пан, в звании деревенского врача. Он сознался, однако ж, что один офицер поверил ему младенца, прижитого с крестьянской девушкой, которая умерла в родах, и просил Иоселя отдать меня какой-нибудь поселянке, заплатив за год вперед. Повивальная бабка сама свезла меня к русскому священнику и велела окрестить, дав имя Ивана. Когда я начал ползать, бедная

поселянка, моя кормилица, лишилась своего мужа и, нанявшись в работницы в другой деревне, подкинула меня, по совету Иоселя, в доме г-на Гологордовского. Дело было ясное, подкрепленное выпискою из метрической книги, в которой именно написано было, что я незаконнорожденный сын князя Ивана Александровича Милославского и Авдотьи Петровой. Иосель сказал мне, что жид-лекарь утонул с целым семейством и повивальною бабкой при переправе чрез реку на ветхом пароме.

— Ваша тяжба справедливая,— сказал мне Рубоперин, увидев метрику.— И вы выиграете ее, если будете стараться и хлопотать. Без этого нельзя.

С секретарем сладил я посредством приказной арифметики, которой научился в Москве, у секретаря, приятеля Мошнина. Мой секретарь обнял меня, расцеловал и даже прослезился от сострадания, выслушав о гонениях, которым я подвергался. Ни одна наука не смягчает сердца так, как эта практическая арифметика! Секретарь уверил меня, что я непременно дело выиграю, и клялся жизнью, честью, детьми, что он скорее согласится умереть на пороге присутственного места, чем скрепить резолюцию против меня.

Петр Петрович советовал мне раздать записки всем судьям и стараться каждому из них объяснить мое дело. Рубоперин отличился в сочинении записки: изложил дело ясно, кратко и основался на законах. Наняв карету, я пустился с утра странствовать с записками.

Вошед в переднюю к первому судье, я должен был повторить лакею десять раз, чтоб он доложил обо мне, и едва мог добиться ответа. Слуга проворчал, что это не его дело и что я должен подождать камердинера. Невзирая на мой гусарский мундир, пред которым трепетали турки и которому отдавали честь храбрые русские солдаты,— челядинцы судьи едва удостоивали меня взглядом и не хотели даже говорить со мною. Наконец, когда я объявил, что пойду в кабинет без доклада, камердинер пошел тихими шагами к своему барину и, возвратясь, сказал грубо: «Ступайте!»

Судья, г. Дремотунов, был человек пожилой и, по старинному обычаю, еще прикрывал пудрою свои седые волосы и носил косу. Он сидел в белом пудермантеле перед зеркалом, а парикмахер, в серой засаленной куртке, причесывал его голову.

— Садитесь, батюшка,— сказал мне судья. Я подал ему записку и присел.

— Потрудитесь сами прочесть, а я послушаю,— сказал

судья. Я опять сделал ему поклон и стал читать громко, внятно и протяжно.

— Хорошо, хорошо, справедливо! — приговаривал судья. — Сенька, чеши на маковке, вот так, хорошо, легче! Ваше дело, сударь, кажется справедливым.

Вдруг Сенька дернул его как-то неосторожно за волосы, и судья закричал:

— Мошенник! ты вырвал мне тупей!

Потом, обратясь ко мне, примолвил, покраснев от боли и досады:

— Ябеда, сударь, одна ябеда! все ваши резоны никуда не годятся... Ах, злодей Сенька, как он больно меня дернул!

Между тем я прекратил чтение.

— Что ж вы не читаете?

Я снова принялся за чтение.

— Хорошо, Сенька, вот так, легохонько, почеси еще на правом виске. Прекрасно, прекрасно! — примолвил он, обращаясь ко мне. — Дело ясное, чистое, справедливое, законы за нами... Сенька, плут Сенька, ты режешь меня — это грабли, а не гребень!.. Крючки, сударь, привязки, дело ябедническое! — воскликнул он снова, и я опять остановился. Судья толкнул Сеньку под бока и, отдохнув, велел ему продолжать ческу, а мне чтение. По счастью, Сенька благополучно кончил причесывание, и судья, встав довольный со стула, обтер пудру с лица и сказал:

— Оставьте записку; я посмотрю подлинные бумаги в суде. Кажется, дело ваше справедливо.

От радости я дал 10 рублей Сеньке, в передней, и заставил этим других слуг раскаиваться в грубости. Г. Дремотунов был из числа разбогатевших подьячих; он некогда ворочал делами, а на старости служил из одного честолюбия и имел в своем распоряжении несколько голосов своих старых приятелей.

Другой судья, г. Формин, которого я знал в обществах, принял меня вежливо; но когда я вручил ему записку, он улыбнулся, покачал головою и сказал: «Зачем это? Ведь мы не станем судить по словам просителей. Я двадцать пять лет нахожусь при делах и знаю, что все просители говорят вздор в своих записках.

— Дело мое изложено здесь с ссылками на законы и на подлинные документы, — отвечал я. — Вероятно, и противница моя сделала то же. Итак, благоволите поверить наши ссылки в подлинном деле и в законах и тогда увидите, кто прав, кто виноват.

— Да я *двадцать пять лет* занимаюсь делами и знаю, что такое записки! — воскликнул судья.

— Записки у нас заменяют голоса адвокатов, — возразил я.

— Мне кажется даже, что, не прочитав частной записки по делу, нельзя никак понять его. Просителя надобно выслушать, как больного. И точно так же, как искусный врач, соображая слова больного с признаками болезни, узнает ее причину и качество, судья, сверив показания сторон, узнает все слабые и сильные стороны дела.

— Теории, сударь, теории! — воскликнул судья. — Я *двадцать пять лет* занимаюсь тяжёбными делами и знаю *все*, что мне знать нужно. Не просители, а канцелярия изложит все обстоятельства дела и откроет слабые и сильные стороны.

— Но канцелярия, при множестве дел может иное упустить и представить не в том виде: а сверх того, в канцеляриях не ангелы, а люди...

— Что вы под этим разумеете? — сказал с гневом судья. — Я *двадцать пять лет* знаю течение канцелярских дел и удостоверился опытом, что просители всегда напрасно жалуются на канцелярии! Но будьте благонадежны, — примолвил он, успокоившись. — Мы рассмотрим ваше дело прилежно.

Я, однако ж, оставил на столе записку, примолвив:

— Не читайте, но возьмите: это облегчает сердце просителя. Я не могу предполагать, чтоб вы были так жестокосердны, чтоб отказались выслушать несчастного. Не читать записки значит прогнать нищего от дверей. — Сказав это, я откланялся и вышел. В передней слышал я восклицания судьи: «Я *двадцать пять лет!*...»

Лукавый слуга судьи, подавая мне шинель, сказал с усмешкою:

— Барин все сбивается в счете: вот уже 15 лет минуло, как он остановился на двадцати пяти годах своей судейской должности!

Этот судья был добрый и честный человек; но он всю жизнь занимался не тем, чем должно. В суде думал о книгах, за книгами о суде; в гостях говорил о делах, а в присутственном месте о забавах в гостях. Он говорил всегда хорошо — и ничего не делал, и если б он исполнил хоть тысячную часть того, о чем рассуждал так прекрасно, то был бы полезным человеком. Он любил честных и умных людей и знался с ними, а управляли им плуты, которых он презирал и ненавидел, но не имел твердости выгнать их или ослушаться. Добрый человек, но настоящий *нуль*, который имел значение только с цифрою.

От него поехал я к г-ну Чувашину, к человеку, *слышшему* великим дельцом и гигантом правоты. Он также был не злой и даже не глупый человек: но, достигнув заслугами отца высоких степеней в самых молодых годах, он помешался от самолюбия и верил от чистого сердца, что поглотил всю человеческую мудрость. Воспитанный с иностранцами и живя всегда в высшем кругу, черпая сведения о разных предметах из иностранных книг, он не знал России и смотрел на нее во всех отношениях чрез призму иностранного просвещения. На старости в голове его слились в одну массу все теории, все иностранные законы и уложения, вместе с тем что он узнал понаслышке о России, и из этого вышел такой хаос, что добрый старик, при самых лучших намерениях, беспрестанно делал глупости. Долгое время в свете не знали его, и добрые намерения принимали за великие дела. Наконец узнали, что это не что иное, как опрокинутый шкаф с недочитанными книгами!

Он принял меня ласково и дружелюбно: дай Бог ему здоровья и за то! Но когда пришло до объяснения дела, то он едва не свел меня с ума своими суждениями. По правилам его строгого правосудия, женщины и дети всегда были правы, хотя бы отец или муж их сам сознался в несправедливости дела, и как Чувашин уже был напрошен графиней Ничтожиною и ее подругами, то он никак не хотел уверить себя, что я могу быть правым. Когда я ссылался на законы, он говорил, что должно в делах подобного рода судить по совести; когда я доказывал, что по совести я должен получить деньги, назначенные мне по воле моего отца, он утверждал, что по законам признает меня неправым. Я показывал ему законы, гласящие в мою пользу, а он, в удостоверение, что знает законы, разложил предо мною целые кипы выписок из Бентама и других английских законоискусников и теоретиков. Желая показать свое познание в законах, он стал передо мною шеголять памятью и, вместо указов, приводил пандекты; вместо английских законов Уложение царя Алексея Михайловича и т.п. Я сократил мое посещение и уехал от него с сокрушительным сердцем. До тех пор, не имея с ним никакого дела, я сам почитал его великим мужем и теперь удостоверился, что общее мнение так же может обманываться, как и частный человек. Чувашин был явным покровителем всех *семейных* взяточников и защищал их, где мог и как мог. Многие взяточники нарочно женились, чтоб пользоваться его покровительством, и за то писали для него мнения, которые он выдавал за свои. О люди, люди!..

Чувашин, имея доброе сердце, делал зло из одного тщеславия и желания — прослыть Публиколою!

Большая часть судей безмолвно приняла записки, и наклонением головы дали знать, чтоб я ретировался. Иные заставили меня рассказывать о пребывании моем в киргизской степи и моих похождениях и не хотели слушать о деле. Некоторые извинялись, что они заняты своими собственными делами. Иные жаловались на свою бедность, на трудность достать займы денег и поздравляли меня с претензией на миллион. В нескольких местах меня приняли весьма грубо, в других — с такою гордостью и высокомерием, что я потерял терпение и даже отказался от тягостной обязанности просителя. Правда, я нашел благородных и умных судей, которые утешили меня своим ласковым приемом и которых известная правота успокоила меня насчет их товарищей. В неделю я объездил почти по всем моим судьям, измучился более, нежели в целую кампанию против турок, и даже заболел от огорчения. Боже, если твоею святою волей суждено будет, чтоб я претерпел испытание в жизни, пошли мне недуг, плен, нищету, но избавь — от тяжбы!

Между тем Миловидин получил известие от жены своей, что единородный сын его болен. Я упросил друга моего, чтоб он возвратился домой, обещая прибыть к нему тотчас по окончании тяжбы, которая, против обыкновения, должна была решиться весьма скоро, потому что противная сторона, сильная и богатая, желала этого столь же усердно, как и я.

Когда дело уже было готово к докладу, секретарь тайно показал мне докладную записку, в удостоверение, что она составлена в мою пользу, и проект решения. Я чуть было не попал в силки от этой лишней откровенности, но Рубоперин спас меня. Приятель его, повытчик, показал ему другую докладную записку и другой проект решения в пользу графини Ничтожиной, которые секретарь намеревался представить судьям. Я сказал об этом Петру Петровичу, и он, влиянием своим, устранил откровенного секретаря в самый день доклада. Дело мое попало в руки доброго человека.

— Государь мой! — сказал он мне. — Я человек бедный, но не продам совести. Ничтожина предлагает мне 25 000 рублей: признаюсь, грешный человек! я взял бы деньги, если б дело ее было правое; но обманом не возьму ни копейки. Вы сами теперь не богаты, а когда вас Бог наградит, тогда, может быть, и вы вспомните о моих детях.

Хотя, по строгой справедливости, можно бы сказать мно-

гое вопреки этого рода честности, но, снисходя к обстоятельствам, я радовался, что нашел такого доброго человека. Наконец дело мое поступило в доклад.

ГЛАВА XXXIII

РОСТОВЩИКИ. ОКОНЧАНИЕ ТЯЖБЫ.
ДОПОЛНЕНИЕ К РАССКАЗУ ПЕТРА ПЕТРОВИЧА.
УЧАСТЬ ЛИТЕРАТОРОВ. БЕДА ОТ ХАНЖЕЙ.
ВЫСЛУЖНИКИ. БРАК. МИЛОСТЬ ВЕЛЬМОЖИ.
ХОД ДЕЛА. НАБЕГ РОДСТВЕННИКОВ.
ОТСТАВКА. ХОРОШИЙ КОНЕЦ ВСЕМУ ДЕЛУ ВЕНЕЦ.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Казна моя истощилась; я не хотел продавать бриллиантового пера, которое Петров снял с чалмы взятого мною в плен Аги, ибо почитал это собственностью моего верного слуги-друга и при деньгах намеревался купить у него эту вещь, чтоб сохранить в память моего торжества. Я мог бы занять деньги у Петра Петровича, у кузины Анеты или у Миловидина, но мне не хотелось обременять их, и я решил заложить перо. Рубоперин повел меня к ростовщикам. Мы вошли в небольшую лавочку, в квадратную сажень пространством, уставленную сверху донизу старыми, разрозненными книгами, на всех языках, древних и новых, покрытыми пылью и паутиною. В задних углах этой конуры дремали, один против другого, тощий кот и мальчик-сиделец. Рубоперин разбудил сонного стража щелчком в нос и спросил, где Тарасыч.

— Да ведь по утрам он таскается по судам да палатам, как вам известно, а теперь уж наступает час, в который он возвращается в лавку.

— Неужели у хозяина этого нищенского короба есть деньги?— спросил я у Рубоперина.

— Тысяч триста наличных, не более,— отвечал Рубоперин.— Эта лавочка есть не что иное, как *притин*, угол для свидания и условий, вывеска местопребывания Тараса Тарасовича Кашеева. Жаль, что сегодня не суббота — день расчета и уплаты недельного долга между купцами; вы бы увидели, как купчики, хозяева богатых лавок и магазинов, увиваются возле этой лавочки, как они мигают Тарасу Тарасовичу и нежными взглядами вызывают его к себе в лавки. Кашеев человек снисходительный и добрый: он берет только по три копейки с рубля в месяц, под залог вещей с незнакомых, а людям верным дает даже на вексель. Но пойдем к другому, посмотрим, что он будет давать и как оценит вашу вещь.

Мы пошли на толкучий рынок и в будке, сплоченной из старых досок, застали человека средних лет, который занимался чтением *Истории Ваньки Каина*. На полках в будке лежали старые гвозди, медные пряжки, пуговицы, помадные и аптекарские банки, куски мела, купороса, ремни, битые чашки и тарелки, одним словом, все принадлежности помойной ямы.

— Здорово, Пафнutyч! — сказал Рубоперин, потрепав по плечу сидящего в лавке купчину.

— Здравствуйте, ваше благородие!

— Что, есть деньги?

— Какие ныне деньги, сударь. Торговля идет плохо!

Я не мог удержаться от смеха при этой жалобе: Пафнutyч повторил ее, в подражание купцам, которые, обогащаясь беспрестанно, жалуются на упадок торговли.

— Помилуй, любезный, — сказал я, — когда же твой товар был в ходу? Неужели и ты станешь жаловаться на тарифы и таможи?

— А почему не жаловаться мне, когда богатые жалуются? Ведь мелкая торговля тянется по следам за большою. Большая вперед, и малая за ней; большая назад, и малая туда же.

— Полно рассуждать, Пафнutyч, — сказал Рубоперин. — Вот алмазное перо; бриллианщики оценили его в 15 000 рублей; сколько дашь под залог этой вещи?

— Бриллианщики оценили! — воскликнул Пафнutyч. — А подите-ка продавать им, так увидите, что не дадут и половины. Но мне нужно знать, во-первых, на сколько времени изволите брать деньги; ведь от этого зависит у нас цена вещи, то есть по соразмерности процентов.

— На месяц, много на два, — отвечал я.

— Мал срок, — отвечал Пафнutyч, — не могу дать более трех тысяч рублей.

Я рассердился.

— Ты хуже всякого жида! — воскликнул я. — И стоишь, чтоб тебя бросить в Неву и с твоею западней.

— За что изволите гневаться? — сказал хладнокровно Пафнutyч. — Вольному воля, спасенному рай. Не угодно, извольте идти к другому или заложить в ломбарде.

Я взял Рубоперина за руку и с досадою отошел.

— Не надобно горячиться, — сказал мне Рубоперин, — ведь это только торг. Если он с первого слова посулил три тысячи, то, верно, дал бы восемь или девять. Ростовщики рады сами давать более денег, чтоб содрать более процентов, но торгуются по непреодолимой привычке, чтоб

показать, будто они дают из одного снисхождения. Этот Пафнutyч дьявол, не человек. Он уже несколько раз увертывался от Уголовной палаты.

Разговаривая с Рубоперным, мы возвратились к лавочке Кашеева и застали его перебирающего векселя и расписки.

— Ну, Тарасыч, — сказал Рубоперин, — развертывайся, нам надобно 50 000; отсчитывай, а мы тебе дадим целый мешок бриллиантов.

— Откуда взять такие большие деньги? — возразил Кашеев, вздыхая и поглядывая на меня исподлобья, — ныне времена плохие! Но если у вас есть вещи, то, пожалуй, можно собрать у приятелей.

— Пошутил, пошутил! — сказал Рубоперин. — За то, что всегда прикидываешься нищим. Дело вот в чем: у нас вещь, ценою в 15 000 рублей, а нам надобно 10 000.

— Это много — но посмотрим. Не угодно ли со мною на дом; вы знаете, что я живу отсюда близко.

Мы пошли в дом к Кашееву. Он был человек холостой, и только старая кухарка и отставной инвалид оберегали его квартиру, не смея отлучаться вместе ни на шаг за двери. Три комнаты убраны были довольно чисто; в спальне целая стена украшена была образами в золоченых и серебряных окладах; пред нами теплилась лампада. Возле постели стоял огромный железный комод. Кашеев попросил нас показать вещь, вертел и перевертывал в руках алмазное перо, долго торговался и наконец дал 9 000 рублей с процентами, по три копейки с рубля в месяц, и с условием, чтоб я взял деньги на полгода и дал расписку следующего содержания: «Я, нижеподписавшийся, *продал* купцу Кашееву алмазное перо за 10 620 рублей, которое имею право выкупить за сию сумму по истечении шести месяцев; а буде в срок не выкуплю, то никакого права на сию вещь не имею». Я сперва соглашался написать, что я *продал* вещь, но Рубоперин уверил меня, что это только форма и что Кашеев человек верный.

— Нас, сударь, не извольте опасаться. Наживете беды, как свяжетесь с чиновными, которые занимаются нашим ремеслом. Расписка нужна для того, чтоб *включить проценты* и чтоб оправдаться в случае жалобы. Бывает иногда, что как придется платить, так явится жалоба о лихоимстве. Вам надобно ж каждому беречь себя.

Если б я гневался на моих читателей и хотел накачать их, то описал бы подробно, в нескольких томах, ход моего процесса, который в несколько месяцев чуть не вогнал меня в чахотку, а читателей моих, верно бы, заставил бро-

сильную книгу. Удивляюсь, как люди переносят подобные мучения в течение многих годов; а еще более удивляюсь, что есть охотники к тяжбам! Но странности человеческой природы непостижимы! Есть люди, которые, будучи здоровы, всю жизнь лечатся и, от излишней привязанности к жизни, теряют здоровье и погибают. Так точно люди, думающие обогатиться тяжбами, истрачивают последнее имущество и кончат свое поприще в нищете. Но тяжба так же иногда невольно приходит, как и болезнь; тогда рассудок велит отражать законами ябеду и лекарствами изгонять недуг. Счастье, если средства помогут, а не доведут до истощения!

Невзирая на все пронырства графини Ничтожиной и на ходатайство ее приятелей и приятельниц, Провидение спасло меня: дело решено в мою пользу — и я вдруг получил более миллиона рублей.

Я любил общество от того, что не знал, что делать дома. К тому же меня ласкали в Москве, и я некоторым образом был обязан являться в домах, в которых был причислен ко всегдашним посетителям. Искательством я сам никогда не занимался: Миловидин и кузина Анета работали всегда в мою пользу. Но в Петербурге кузина Анета, уже отвечающая, не имела большого влияния; советника моего при мне не было, и я вовсе отстал от общества, отчасти из ложного стыда, отчасти, чтоб не подать вида, будто я ищу покровительства, которого в правде сыскать не надеялся. Большая часть людей, занимающих почетные места в обществах, находится в дружбе или в связях с чиновниками, и ничего нет несноснее, оскорбительнее для чувствительного человека, имеющего тяжбу, как, появляясь в обществах, испытывать общую холодность, которая находит на каждого при одном имени *просителя*. Каждый избегает быть наедине с человеком, имеющим тяжбу, опасаясь, чтоб он не стал утруждать просьбою о помощи или о ходатайстве. Каждый бежит от него, как от проклятого, страшась, чтоб он не стал рассказывать о своем деле или говорить дурно о судьях и жаловаться на неправосудие. Видев это прежде на других, я не хотел играть роль Лазаря в обществах и отказался от них. Я был счастлив в нашем маленьком кругу, которого украшением была Олинька. Матушка моя так полюбила ее, что не могла прожить без нее ни одного дня. Олинька находилась при матушке с утра до вечера и только на ночь возвращалась к кухне Анете.

Когда я выиграл процесс, то в течение трех дней получил столько визитных билетов и приглашений к обеду и на вечер,

что в три месяца не мог бы удовлетворить всем желаниям и отплатить личными визитами. Пересматривая билеты, я, к удивлению, увидел имя Грабилина! Я каждый день собирался начать визиты и каждый день не находил на то времени, которое так быстро летело при Олиньке, что я не мог щедро располагать им.

Петр Петрович пригласил меня на вечер, чтоб поговорить наедине о моих планах и надеждах. Он знал уже о любви моей к Олиньке и советовал мне жениться поскорее, если только я уверен во взаимной любви.

— Любезный друг! — сказал он. — Счастье нисходит с неба росой, горе — проливным дождем. Пользуйся благоприятным временем для счастья и освежи душу чистою любовью. Нет выше наслаждения в мире, как истинная любовь и дружба. Душа, которая может вмещать их, способна ко всему доброму и великому. Но не всякому дано в удел наслаждаться этими благами, даже при способностях души к этим ощущениям. И я любил, и я был любим, но смерть лишила меня счастья: теперь я уже стар, не могу помышлять о любви и в одной дружбе ищу наслаждения.

В это время вошел доктор и, сказав несколько слов Петру Петровичу, перешел во внутренние комнаты.

— У вас есть больные в доме? — спросил я. — И я удивляюсь, что вы призвали этого доктора, который слышит в свете хотя *искусным*, но *несчастливым*.

Петр Петрович улыбнулся.

— Мое правило советоваться именно с врачами, которые слышат *искусными* и *несчастливыми*, а избегать тех, которых называют *счастливыми*, хотя *неучеными*. У нас обыкновение, в начале болезни призывать первого встречного врача или держать годового доктора *подешевле*, а прибегать к славному и опытному медику в последней крайности, когда надобен не доктор, а священник. От того чаще всего случается, что лучшие медики должны быть только свидетелями смерти больного, а между тем родственники всю вину сваливают на докторов.

— Кто же болен у вас? Я думал, что вы живете один.

— Я взял к себе на воспитание сироту одного дальнего моего родственника; он нездоров теперь. Этот юноша одарен большими способностями, но он сокрушает меня несчастною своею страстью к поэзии и литературе. Он хочет быть сочинителем!

— Помилуйте, Петр Петрович, вам ли сокрушаться об этом? Признаюсь, и у меня есть страстишка к авторству, и я никак не думал, чтоб такой просвещенный человек, как вы,

Петр Петрович, почитали несчастьем способность и страсть к авторству! Скажите, кем прославляются государства, народы, если не сочинителями? Что бы случилось с победами, со всеми мудрыми учреждениями, если б писатели не сохранили их для потомства? Они провозглашатели народной слав наставники целых поколений, представители своего отечества в собрании мужей, избранных из целого рода человеческого к утверждению прав разума и добродетели! Где имена, где подвиги этих надутых чванством любимцев счастья, которые в жизни пользовались богатством и властью? Они исчезли в забвении. А имена писателей, которых гордые баловни фортуны презирали в жизни и даже гнали, — эти имена сохранились с уважением, сделались достоянием народа, его славой. Исчислите, Петр Петрович, имена всех великих мужей, которые, не будучи сами писателями, не перестали жить в потомстве: вы увидите, что они потому только всплыли на поверхность Леты, что, при других занятиях, любили и покровительствовали науки, художества и словесности. Это первое условие к славе, ибо науки, художества и словесность есть *дар слова славы*. Без них она нема.

Петр Петрович сидел, облокотясь на стол, и погружен был в задумчивость. Наконец он сказал:

— Все это правда, любезный Выжигин; но ты исчислил одно будущее, а не заглянул в настоящее. Сам я волен броситься на утлой ладье в бурное море, но другому советовать не имею права и должен показать ему опасность. Осмотрись кругом: что значат в свете авторы? Одно название сочинителя, а особенно поэта, вреднее дурного аттестата в службе. Писатель есть синоним неспособного к делам человека, и у нас еще привыкли ставить писателя на одну точку с комедиянтами, скоморохами и другими забавниками. Если писатель плох, он делается посмешищем толпы; если посредствен, предается забвению; если одарен умом и дарованием необыкновенным, то становится предметом зависти, клеветы и преследований, потому именно, что люди все охотно прощают, кроме превосходства в уме, к которому каждый имеет притязание, и чем кто глупее, тем более. Долг писателя — говорить правду, а печатная правда колет глаза больнее изустной. Перебери ты, в свою очередь, всех писателей, которые осмелились говорить правду пред ослепленным человечеством: ты увидишь, что все они более знамениты своими несчастьями, нежели творениями. Отчужденные от общества, в котором их также боятся, как школьники страшатся присутствия строгого учителя; непричастные к делам, к которым их

не дпускают, как неспособных, — они проводят дни и ночи в тяжком умственном труде, чтоб приобрести неблагодарность соотечественников и едва хлеб насущный! Никто не считает доходов взяточника, но всякий удивляется, если писатель не ходит по миру. Правда, случается иногда, что мощная рука охраняет некоторых из счастливых писателей и что некоторые из них, по родству или по связям, вовсе чуждым литературе, имеют самостоятельность и голос в обществе; но это исключения, которых не должно ставить в пример. Даже значащий в свете писатель, принятый в лучшем кругу, подвергается чрезвычайным неприятностям. Он бы хотел отдохнуть в свете и забыть кабинетные труды: но нет! каждый неуч, которому случилось прочесть хотя одну книгу в жизни, душит его и томит своими суждениями о словесности, чтоб высказать свои познания! Нет, любезный Выжигин, не советую тебе вступать на поприще словесности: оно самое скользкое и опасное. А писать вздоры, лезть, славить лень и переливать из пустого в порожнее недостойно человека с умом и душою.

Я не хотел спорить и просил Петра Петровича рассказать мне причину претерпенного им гонения и, наконец, освобождения из ссылки. Он исполнил мое желание и рассказал мне следующее:

— Во всяком звании и состоянии есть лицевая сторона и изнанка. Во всех государствах на поприще службы свирепствует заразительная болезнь, которая называется: *желание выслужиться*. От этой болезни происходит множество зла и большая часть несправедливостей; она обнаруживается признаками ложного усердия к службе и беспредельной *преданности к особе* начальника. Человек, одержимый этим недугом, старается представлять дурным все, что не им выдуманно, и каждого человека, вышедшего из толпы своими дарованиями или усердием и непокорного его видам, изобразит злонамеренным. Обезображивая и черня других, *выслужник* думает, что сам украшается и убеляется чужими заслугами; представляя всех виновными, полагает, что сам будет казаться правым. Чтоб действовать смелее, эти господа *выслужники* прикрываются личиною добродетели. Набожность, любезный друг, есть потребность души тихой и добродетельной: истинная набожность не ищет гласности, точно так же, как истинная добродетель. Но ханжи, вопия громогласно о тихих обязанностях христианина, употребляют священнейшее чувство, как орудие, для исполнения своих замыслов. Из всех нравственных чудовищ самое опасное есть ханжа, которого бессмертный Мольер

еще слабо обрисовал в своем Тартюфе. Ханжа Мольеров стремится только к разрушению счастья одного семейства; но есть ханжи, которые разрушают спокойствие всего гражданского общества.

У нас был некто Притягалов, который, всю жизнь проповедуя вольнодумство, якобинство и представляя собою образец разврата, вдруг объявил себя святошею и, подобно лжепророку Магомету, устремился с мечом и пламенем, или, что еще хуже, с клеветою и изветами, на пагубу всех честных и умных людей, следовательно, своих противников, чтоб, низвергнув их, стать самому на высоте. Проповедуя смирение, он *таптал почестей*; провозглашая о небе, он требовал для себя земных сокровищ. Подобно гиене, он грыз и живых, и мертвых; ему надобно было жертв, надобно было виновных, и, по несчастью, он напал на меня в то самое время, когда я пламенным и нерассудительным моим стремлением к общей пользе нажил себе врагов. Клеветы Притягалова и он сам, опасаясь, чтоб я не обнаружил их замыслов и не сорвал с них личины, огласили меня *беспокойным человеком* и, оклеветав, успели сослать туда, где ты меня встретил.

Притягалов обманами и притворством успел ослепить на время некоторых добрых и благородных людей, которые верили его усердию и преданности к общему благу. Но торжество пророка кратковременно — и Провидение для того только возносит злых, чтоб на высоте показать явственнее их гнусность и сделать падение их разительнее, а тем самым поучительнее. Правосудие постигло Притягалова и наказало самым жестоким образом, то есть у него отняли *средство вредить*; а это значит то же, что вырвать у змеи жало, без которого она не может существовать. Мщение и клевета Притягалова обратились мне в пользу: дело мое исследовали, нашли меня правым, открыли даже малые мои заслуги и чистоту моих намерений и наградили выше моих надежд: мне дали *средство делать добро!*

Я обнял доброго Петра Петровича, который, прощаясь со мною, сказал мне, пожимая руку:

— Верь Провидению, друг мой, и не отчаивайся никогда в правосудии. Оно, рано или поздно, проглянет, как солнце из туч. Ты, кажется, уверился в этом опытами. Теперь ты появишься в свете с миллионом денег и женою красавицей. Это новая школа для опытов. К тебе будут лнуть, как к магниту, все ржавые опилки общества. Берегись! ржавчина сообщается.

Я нанял небольшую, но спокойную квартиру, с малой кухнею и еще меньшею столовою, по совету Петра Петровича.

Завел экипаж и, дав денег кухне Анете, просил ее сделать приданое для Олиньки. Добрая Анета непременно хотела снарядить часть приданого от себя, но я никак не согласился на это. Все эти распоряжения мы скрывали от Олиньки, и только в день нашей свадьбы она увидела свой гардероб и свои бриллианты. Она благодарила нас не за вещи, но за внимание.

— Друг мой! — сказала она. — Ты полюбил меня бедною, и я открылась тебе в любви моей, когда ты был в тюрьме. Теперь ты богат, и я радуюсь за тебя перемене твоей судьбы; но, признаюсь, мне было бы приятнее любить тебя бедного.

Петр Петрович был приглашен мною в посаженные отцы, и, кроме его и семейства кузины Анеты, мы никого не звали. Муж Анеты отказался на этот раз от партии виста в Английском клубе и остался на свадьбе ради страсбургского паштета, который для него купила жена, чтоб удержать дома. Когда мы собирались в церковь, я получил пакет на мое имя: распечатал и нашел в нем на сто тысяч рублей ломбардных билетов, при следующем письме: «М. Г. Иван Иванович! Непокорность матери вашей невесты заставила мать ее, а мою жену, лишить ее наследства. Невзирая на все мои просьбы и представления, жена моя не хотела возвратить своей внучке наследства ее матери потому, что до нас дошли ложные слухи, будто бы она дурно ведет себя. Я нарочно испытал ее добродетель и удостоверился, что она сохранила благородные чувства и не совратилась с истинного пути. Это заставило меня снова прибегнуть с просьбами к жене моей, и она наконец согласилась исполнить мое желание. Деньги, следующие вашей невесте, при сем препровождаю и прошу числить меня между искренними вашими друзьями и почитателями. Имею честь быть и проч. *Еремей Грабилин*.

Я не мог опомниться от удивления и подал письмо Петру Петровичу, который улыбнулся и, вынув из кармана другое письмо, просил прочесть. Вот его содержание: «М. Г. Петр Петрович! Покровительство и особенная дружба, оказываемая вашим превосходительством Ивану Ивановичу Выжигину, который женится на внучке моей жены, заставили меня ходатайствовать в пользу приятного вам человека, и я успел испросить согласие жены моей на возвращение его невесте наследства ее матери. Примите это как знак особенного моего к вам уважения и преданности и как доказательство, что я не *корыстолюбив*, но оклеветан злыми людьми, от которых вы также много претерпели. Не из видов честолюбия или

корыстолюбия я желал бы снова войти в службу, но для того только, чтоб показать свету, что я не таков, каким враги мои изображают меня, и чтоб руководствовать детей моих на поприще службы. Я могу быть полезным моею опытностью в делах и буду всегда стараться заслуживать вашу благосклонность. Знаю, что одно ваше слово доставит мне желаемое. Я бы хотел получить местечко почетное и такое, где бы представлялось *много выгод*, которые я обратил бы в пользу казны, будучи человеком достаточным и бескорыстным, как вы можете усмотреть из поступка моего с покровительствуемым вами Выжигиным. За сим честь имею и проч. *Еремей Грабилин*».

— Плут! — сказал я.

— И вместе с тем глупец, — возразил Петр Петрович, — только одни глупцы могут полагать, что они в состоянии всех обманывать и скрываться от взоров умного человека. Если б они были умны, то удостоверились бы, что собственная польза каждого повелевает быть честным. У плутов есть смысленность, род инстинкта для обманов, как у хищных зверей; но нет ума. Плут всегда сам открывается. Не то ли случилось с Грабилиным?

Когда я рассказал Олинке о содержании письма и отдал ей билеты, она сказала мне:

— Я не знаю, должна ли возратить деньги бабушке, хотя это собственность моей матушки; но мне хотелось бы, чтоб я вовсе ничего не имела и была б всем обязана тебе одному. Возьми эти деньги и делай с ними, что хочешь: они мне не нужны, когда ты их имеешь.

Я уже два месяца был счастлив и все еще не мог собраться выехать с визитами. Олинка решительно отказалась от всякого знакомства.

— Воля твоя, милый друг! — сказала она. — Но мне кажется странным этот обычай молодых супругов разъезжать на третий день после свадьбы с визитами, искать знакомств, как запаса от предстоящей скуки, показывать на гульбищах новый экипаж, а в обществах бриллианты и шали, как будто бы это было принадлежность супружеского счастья. Подождем: знакомства составятся сами собою, случайно, по взаимному выбору, а я теперь довольна беседою с тобою, с матушкою и благодетельницею моею, Анетой.

Петр Петрович так привык быть с нами, что ежедневно обедал у нас и проводил большую часть вечера. Мы любили и уважали его, как отца. Однажды он привел с собою незнакомого нам, пожилого человека, здорового и румяного,

в физиономии которого выражалась веселость и добродушие. Незнакомец, увидев меня, остановился, хотел улыбнуться по своему обыкновению, но вдруг прижал меня к сердцу и залился слезами, воскликнув:

— Какое сходство! это он, точно он! — Потом, успокоившись, он примолвил:— Я друг отца твоего, школьный его варищ и даже дальний родственник. Ты, может быть, слышал о графе Безпечине?..

— Это вы, душеприкащик моего отца!

— Которому, однако ж, не удалось исполнить его желания и осталось только радоваться, что само Провидение тебя защитило.

Граф хотел видеть мою жену и матушку, просидел с нами до поздней ночи, был весел, любезен и без дальних околичностей объявил, чтоб я почитал его вторым отцом и что он каждый день будет видаться с нами.

Граф был человек отменно добрый, образованный, но, привыкнув от детства, чтоб другие трудились для него и вместо его, он проводил время в чтении, в приятных беседах и в путешествиях и не любил заниматься делами, хотя принужден был служить, отчасти по причине расстройства своего состояния. Родство, связи, долговременная служба, прямотушие и честность графа и, наконец, невольно приобретенная опытность в делах очистили ему путь к важному месту, которое он приехал занять. Однажды, вечером, за чайным столиком, он сказал:

— Выжигин! я пришел к тебе с тем, чтобы предложить место правителя моей канцелярии.

— Помилуйте, граф! я вовсе неопытен в делах и могу быть более вредным, нежели полезным. Будучи беден, я искал места из куска хлеба; но теперь я не возьмусь за то, чего не понимаю. Когда б надобно было командовать эскадронном, и я был бы холост, тогда решился бы в одну минуту. Но дела так мне чужды, как китайская грамота.

— Пустое, друг,— возразил граф,— дельцов я найду более, нежели мне нужно. Но мне надобен честный человек, в котором я был бы уверен, что он не обманет меня и не позволит подкупить себя.

— А если этого честного человека будут обманывать? — спросил я.

— Он должен быть также умный и прилежный: тогда скоро приучится к ходу дел.

Я хотел возражать и отказываться, но Петр Петрович убедил меня, сказав, что в общем балансе чиновников необ-

ходимо нужны честные и бескорыстные люди, для равновесия с дельцами. Я согласился.

По странному стечению обстоятельств, я занял место брата московского квартального надзирателя, Архипа Архипыча, и поселился в квартире Пантелеймона Архипыча, в которой он не мог дать пристанища своему бедному брату. Пантелеймон Архипыч отставлен был от службы и отдан под суд, разумеется, за *напраслину*, как он говорил. Но как он имел жену и детей, то не сомневался оправдаться, возбуждая сострадание к семейному человеку. Он нашел сильного покровителя в особе Чувашина.

Пантелеймон Архипыч так распорядился в казенном доме, что двадцать с лишком комнат занимал сам, около тридцати были отданы любимым его чиновникам, а канцелярия помещалась только в четырех малых комнатах. На лошадях, назначенных для рассылок, ездил он сам; сторожа служили ему, а курьеры перевозили вещи из модных магазинов и развозили письма его дочерей и жены по городу и приглашения на балы. Чиновники, не имея места для работы, толпились возле окон и проводили время в чтении газет и в пустых разговорах, и только интересные дела *обрабатывались* по приказанию Пантелеймона Архипыча. Три части чиновников служили только для того, чтоб получать награды по связям их родных с начальником, а четвертая часть работала за всех, из куска насущного хлеба, и в надежде будущих благ. Дел нерешенных было такое множество, что страшно было заглянуть в шкафы. Разумеется, что все надлежало переменить и устроить по новому порядку. Сперва я думал посоветоваться с кем-нибудь, как взяться за это дело, но наконец решился начать своим умом и стал переделывать все напротив, как было прежде. Я назначил для канцелярии двадцать комнат, для себя взял шесть, а остальные отдал чиновникам, оставив их такое только число, какое необходимо нужно было для исправления канцелярской работы. Всех искателей наград я удалил, посоветовав им искать почестей на поле брани, если они не имеют охоты к перу; но объявил притом, что прежде не выдам аттестата, пока они не кончат нерешенных дел.

В нашей канцелярии был один чиновник, Софрон Софронич Законенко, слывший большим дельцом, которого хотя не любил мой предместник, но держал при себе по нужде. Я призвал его однажды к себе, обласкал и просил растолковать мне ход дел канцелярских и научить средствам скоро обрабатывать огромные дела, которые кипами привозили в канцелярию. Вот что мне сказал Г. Законенко:

— Только в присутственных местах, где составляются решения по тяжёлым делам, с формулой по указу и прочее, секретарь обязан просматривать целое дело для извлечения записки и приготовления решения. Взглянув на огромную кипу, состоящую из нескольких тысяч листов, покажется всякому, будто надобно иметь премудрость Соломонову и силу Самсонову, чтоб выпутаться из этой письменной топи. Но во всем нужна сноровка. Стоит только прочесть первые прошения тяжущихся сторон, по которым началась тяжба; потом первое следствие или решение присутственного места, далее апелляционную жалобу, решение второй инстанции, поверить ссылки на законы — и вы дома. Все прочее лишнее и одна болтовня. По последнему решению вы заключите, что должно оставить во всей силе, что уничтожить, что прибавить, и резолюция ваша готова. В канцеляриях же, которые не имеют права решать, а только обязаны пересматривать дела и просьбы для представления на заключение начальнику, который, в свою очередь, отсылает их в другое место для решения или пропускает решения к исполнению, в этих канцеляриях совсем другой порядок. Здесь все умение в том, чтоб искусно *переполоскать* бумагу, то есть, чтоб бумага, перешед чрез несколько столов, вышла из канцелярии в другом виде, но в том же самом существе, как и вошла. На это надобны только сметка и привычка, чтоб рапорт переделать в отношение или сообщение и, включив те же обстоятельства дела, передать в другое место. Для этого не нужно даже беспокоить его сиятельство, который, как вы знать изволите, не очень любит заниматься бумагами. Что же касается до дел, на которых графу должно надписывать свои заключения, то в этом случае надобно поступать весьма осторожно. Его сиятельство человек совестный и не захочет подписывать бумаг, которых не читал, и заключать о деле, которого вовсе не знает: он станет откладывать, дел накопится, а из этого разнесется дурная слава о графе, об вас и о целой канцелярии. Деятельность же и исправность наша измеряется числом номеров исходящих бумаг. Итак, есть средство успокоить совесть графа и дать быстрый ход делам составлением форм для заключений, которые ни помогут, ни повредят делу, какого бы то ни было рода. Вот, например, некоторые из этих всеобщих решений: *Сделать справку и доложить в свое время; поступить по существующему порядку; препроводить в надлежащее место для пояснения всех обстоятельств и после того доложить; представить высшему начальству на благоусмотрение; дать надлежащий ход; обратиться в надлежащее место для заключе-*

ния по законам и выставления на вид всех обстоятельств дела; потребовать мнения от места, где производилось дело, и препроводить куда следует; принять к сведению и т. п. На частные жалобы отвечать еще легче; например: просить по порядку, буде имеет право; приобщить к делу; препроводить куда следует; ожидать окончания дела; справившись, доложить; испросить мнения местного начальства; подтвердить прежнее заключение; а лучше всего: по неимению уважительных причин, отказать, отказать, отказать — это и коротко и ясно!

При множестве дел, я невольно должен был прибегнуть к средствам, которым научил меня Софрон Софронович Законенко. Дела летели, номера сходили тысячами, и я вскоре прослыл самым исправным и деятельным человеком. Правда, что некоторые важнейшие дела я обрабатывал, то есть давал надежным чиновникам для прочтения и составления краткой выписки с заключением, основанным на существе дела и на законах; а чтоб при выборе дела соблюдать порядок, я списывал номера на особых билетах и велел жене выбирать, как в лотерее. Какой номер выдергивался, такое дело поступало в ход, и это придавало мне вид беспристрастия. Между тем другие бумаги докладывались по очереди, с заключениями по методу Софрона Софроновича. Граф Безпечин был чрезвычайно доволен мною и благодарил за то, что я поправил невыгодное об нем мнение. Из ленивого он вдруг прослыл деятельным. Чтоб более утвердить это мнение в публичке, он назначил один день приемный в неделе, а в другие дни никого не принимал по утрам. Швейцар говорил всегда одно и то же: занят, а граф, запершись в кабинете, лежал на софе и читал газеты и новые романы. Вечером он приходил к моей жене пить чай и в это время подписывал бумаги. Он верил мне совершенно, потому что я никогда его не обманывал. Если мы с ним не делали много добра, то по крайней мере не делали зла с умыслу и защищали правых, как могли, когда доискивались правды случайно или по чьему-либо внушению. Петр Петрович помогал нам весьма много, сообщая краткие записки о правых и неправых делах, поступающих к нам на рассмотрение; мы буквально следовали его мнению и никогда не ошибались.

Бог дал мне сына, к увеличению нашего семейного счастья, и граф Безпечин еще более привязался к нашему семейству, беспрестанно нянчил дитя на руках и, посматривая с умилением на Олиньку, сожалел, что он остался холост. Злые языки хотели представить дружбу графа в другом виде, и даже многие, не довольные мною, верили, что граф —

любовник моей жены; но те, которые знали графа ближе, были уверены в несправедливости этих заключений, а я так был спокоен на этот счет, что даже сам смеялся и шутил перед графом и Олинькою.

Петр Петрович, пользуясь властью, делал добро, вызвал всех честных людей, которых он знал прежде, и между прочим доброму Штыкову доставил место губернатора, а купцу Сидору Ермолаевичу — звание коммерции советника. Я последовал примеру Петра Петровича и также извлек из несчастного положения много добрых людей, и в числе других честному квартальному надзирателю, Архипу Архипычу, дал место частного пристава в Петербурге, что составляло единственную цель его желаний.

Все знали, что я один управляю делами и что граф Безпечин имеет ко мне неограниченную доверенность, итак, невзирая на старание наше с женою отклонить от себя знакомства, множество искателей с своими семействами втерлись насильно к нам в дом, чтоб при случае похлопотать о дельце или при представлении к наградам замолвить словечко за роденьку. Кроме того, появилось множество родни, о которой я прежде вовсе не слыхал. Родственники жены моей по отцу и матери до четвертого поколения, родственники моего отца, а в том числе и Ничтожины, составили заговор противу моего спокойствия, и напали на меня родственным ополчением — в 358 человек, и, называя меня *любезным дядюшкою*, требовали мест, чинов, орденов и несправедливых решений по делам, в их пользу. К этому числу родственников присоединилась родня моей матушки, трое двоюродных моих братьев, дети дяди моего Алексея Петровича, который по смерти моего деда переписался в купцы в Витебск и нажил порядочное состояние. Детям его казалось стыдно оставаться в купеческом звании, когда двоюродный брат их в силе и значении. Шамбелян Крючкотворский состряпал им какое-то свидетельство о шляхетстве, и они также требовали от меня мест и чинов. Кроме того, все те московские дамы, которые помогали мне и принимали благосклонно в своем доме, высылали под моим адресом целые дюжины своих внуков и племянников, чтоб я открывал им путь к почестям и хлопотал о камер-юнкерстве. Меня мучили, терзали и заваливали просьбами и объяснениями, дома, в канцелярии, в гостях, в театре и на гульбищах. Даже зимою я должен был выезжать за город, чтоб прогуляться спокойно пешком, по большой дороге, не смея показаться на улицах. Три года провел я в таком мучительном положении; наконец, не имея времени ни зани-

маться делом, ни наслаждаться семейным счастьем, отправился в отпуск в Москву, на 28 дней, и оттуда подал просьбу об отставке, при убедительных письмах к графу Безпечину и Петру Петровичу, чтоб они сжалились надо мною и избавили меня от несносного для меня ига. Ожидая в Москве решения моей участи, я узнал от одного из моих знакомых, возвратившегося из чужих краев, что бедная Груня кончила свое шумное поприще в гошпитале Св. Лазаря, в Париже. Я искренно оплакал ее кончину. Несчастная! с ее умом и красотою она была бы украшением своего пола, если б в юности позаботились об образовании ее сердца. Здесь же узнал я, что Скотинко сошел с ума, а детки его промотали неправомерно нажитое имение и находятся в нищете. Савва Саввич спился с кругу и сгорел во время пожара, бывшего в питейном доме. Зарезин умер от побоев; другие игроки пропали без вести, а Удавич в это время разделялся с Уголовною палатою. Как кто постелет, так и выпится!

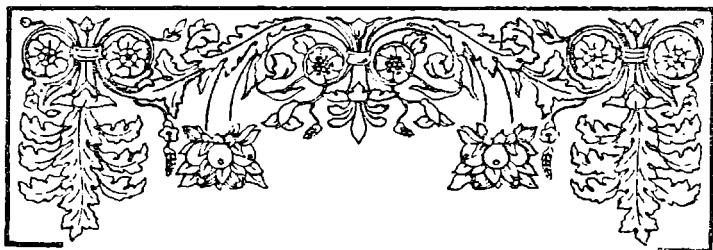
После долгой переписки мне наконец прислали отставку. В это время узнал я от Миловидина, с которым находился всегда в сношениях, что в версте от него, на берегу моря, продается небольшое, но прекрасное имение, в живописном местоположении, с большим садом и виноградником. Я тотчас послал деньги, чтоб купить его на имя моей жены, и немедленно отправился к Миловидину с моим семейством и с матушкою. Миловидин и Петронелла приняли нас, как родных, и я решился навсегда поселиться на южном берегу Тавриды.

Вот уже десять лет, как я живу счастливо в кругу моего семейства, в объятиях любви и дружбы. У меня три сына и одна дочь; у Миловидина только один сын. Мы сами занимаемся первоначальным воспитанием детей, услаждаем время приятною беседою, музыкою, чтением; прогуливаемся, обрабатываем наши поля. Веселы, спокойны оттого, что ничего не ищем и делаем столько добра, сколько можем. Матушка моя проводит время с дядею Миловидина, гадает с ним на картах и играет в тентере. Петров нянчит детей и делает им игрушки; мальчикам рассказывает о сражениях и учит их маршировать.

Испытав многое в жизни, быв слугою и господином, подчиненным и начальником, киргизским наездником и русским воином, ленивцем и дельцом, мотом, игроком по слабости, а не по страсти, испытав людей в счастии и несчастьи, — я удалился от света, но не погасил в сердце моем любви к человечеству. Я уверился, что люди более слабы, нежели

злы, и что на одного дурного человека, верно, можно найти пятьдесят добрых, которые от того только неприметны в толпе, что один злой человек делает более шуму в свете, нежели сто добрых. Радуюсь, что я русский, ибо невзирая на наши странности и причуды, неразлучные с человечеством, как недуги телесные, нет в мире народа смысленнее, добрее, благодарнее нашего. Ни в одном иностранном государстве нельзя так безопасно путешествовать, как в малонаселенной, лесной или степной нашей России; нигде так охотно не помогут несчастному, как в нашем отечестве, которое по справедливости почитается образцом веротерпимости, гостеприимства и спокойствия.

Дядя Миловидина в глубокой старости, едва разбирая буквы в Брюсовом календаре и Зерцале Великого Алберта, предсказывает: что скоро, весьма скоро благодетельное просвещение озарит все концы России и разольет свои дары на все сословия; что русские вельможи и дамы станут говорить по-русски, читать русские книги и смеяться над приверженностью своих отцов к чужеземному; что литература наша возвысится до той степени, на какой находится английская, французская и немецкая; что молодые люди станут учиться для того, чтоб быть полезными отечеству службою, а не для получения аттестатов к штаб-офицерскому чину; что купцы, просвещаясь более и более, не станут переходить в дворянство, но составят почтенное значащее сословие; что на основании, водворенном просвещением, возникнет правосудие повсюду, от нижней до верхней инстанции, и наступит черный год для всех взяточников и злоупотребителей. Сии-то предсказания заставили меня приняться за перо, вопреки советам Петра Петровича, и описать мои приключения, чтоб сохранить в предании таких героев, каковы Скотинко, Савва Саввич и подобные им, которых существованию не станут со временем верить, как ныне не верят в существование Недоросля Митрофанушки. Если рукопись моя со временем сделается известною, то каждый, прочитав ее внимательно, удостоверится, что все зло в мире происходит от недостатка нравственного образования, а все доброе от истинного просвещения. Критики простят мне недостатки ради благой цели, удостоверясь, что дурное выставлено мною на вид для того только, чтоб придать более блеска хорошему.



МАЗЕПА

Исторический роман



ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

Возьмем же истины зеркало,
Посмотрим в нем твоих лучей;
Ехиднино раскроем жало,
Сокрытое в груди твоей.
Исследуем твои деянья,
Все виды, козни и желанья,—
И обнажим тебя всего.

Державин

ПРЕДИСЛОВИЕ

Мнения насчет романов различны. Многие любители чтения и даже некоторые литераторы, особенно у нас, в России, требуют от романа одной занимательности происшествий и думают, что сей род словесности должен служить только для забавы. Неоспоримо, что занимательность в романе вещь необходимая, но дело в том, что она должна быть только путеводительницею к главной цели, а цель сия не должна быть одною забавою праздности. Роман должен служить автору средством или к развитию какой-либо философической идеи, или к освещению тайников сердца человеческого, или к пояснению характера исторического лица. Так понимают роман отличнейшие современные писатели Англии и Франции, а потому даже мужи ученые, философы и политики не пренебрегают ныне сим родом словесности и не стыдятся писать и читать романы. Этого прежде не бывало.

Весьма далек я от того, чтоб иметь притязания на сравнение себя с уважаемыми мною романистами Франции

и Англии, однако же придерживаюсь их мнения насчет цели романа, состоящей в том, чтоб по древнему правилу: *поучать забавляя*. Действовал я и буду действовать единственно в сем убеждении и утешаюсь мыслию, что есть люди, которые поняли чистоту моих намерений.

В романе я предпринял представить *очерки характера Мазепы*, так как я понял его по истории и по преданиям. Мазепа был один из умнейших и ученейших вельмож своего века, и, чтобы быть великим мужем, ему недоставало только — добродетели! Без нее не сделали его счастливым ум, ученость, почести, богатство и власть.

Вот *тема* моего романа!

В нынешнее время в Малороссии и в Украине просвещение разлито в большей массе, нежели было до преобразования России, но тогда просвещение было виднее, ибо сосредоточивалось в малом числе избранных и составляло резкую противоположность с дикостью Запорожья и Заднепрья, где все достоинство человека поставлялось в удалстве и наездничестве. Палей избран мною в представители сего удалства, и характер его очерчен также сообразно с историею и преданиями.

Все прочие лица, входящие эпизодически в роман, носят на себе отпечаток тогдашнего века; образованность ума с дикостью нравов.

Изображение характера Петра Великого и Карла XII не входило в план моего романа. Я коснулся их только мимоходом.

Лорд Байрон и А. С. Пушкин воспользовались лучшими эпизодами из жизни Мазепы: романтической любовью его в юности и в старости, с занимательными и ужасными последствиями сей необузданной страсти. Я почел благоразумным не входить в совместничество с столь отличными дарованиями и не коснулся того, что уже изображено английским и русским поэтами. Я ограничился политическим характером Мазепы, представив его, если смею так выразиться, в рамках частной его жизни. Для завязки романа я ввел вымышленные лица.

Исторические события, рассказываемые от имени автора, верны; но в происшествиях не соблюдено в точности хронологического порядка, ибо цель романа, как выше сказано, есть изображение характера Мазепы, а не история Малороссии.

ГЛАВА I

Се глыба грязи позлащенной!
И вы, без благодати душевной,
Не все ль, вельможи, таковы?

Державин

Южная Россия, ныне тихая, населенная, процветающая, была подвержена непрерывным волнениям и смутам, от пришествия варягов до основания империи Петром Великим. Междоусобные брани удельных князей, набеги татар, продолжительная и кровавая борьба с храбрыми единоплеменными соседями и народные смятения истощили богатую от природы страну, остановили ход просвещения и, утомив воинственных жителей, сделали их, наконец, беспечными к собственной участи. Вельможи, составлявшие всю силу аристократической Польской республики, воспользовались благоприятными обстоятельствами и, покорив лучшие области Южной России, обременили народ тяжким игом рабства. Но бедствия, угнетавшие страну, не истребили в храбрых ее жителях духа народности, основанного на православной вере, и священная память русской независимости сохранялась в народе, подобно неугасаемому огню древних язычников. Со времени первого нашествия татар на Южную Россию толпы отважных ее защитников, будучи не в силах спасти отечество и влекомые любовью к независимости и чувством народной самобытности, удалились в пустыни и на диких берегах Днепра, возле порогов, в густых камышах и неприступных засеках¹, основали беспримерную дотоль в мире подвижную военную республику, получившую впоследствии название *Сечи Запорожской*. В течение нескольких столетий Сечь держалась и укреплялась новыми пришельцами из порабощенной родины и удалыцы из соседних и дальних стран сохраняли древние воинские обычаи предков. Презирая негу, живя добычею и почитая дикую независимость превыше жизни и всех ее наслаждений, запорожцы исключили женщин из воинского своего пристанища как лишнее бремя для человека, посвятившего себя в вечную войну. Вольное Запорожье не признавало ничьей власти и ничьих прав в порабощенном отечестве и жестоко отмщало потомкам Орд Батыевых и соотчикам польских вельмож за прошлые и настоящие бедствия Южной России,

¹ Сечь, вероятно, происходит от слова *засака*. Естественное укрепление есть засака в местах лесных, а вал и ров в полях.

питая в жителях ее надежду к освобождению и поддерживая в народе воинственный дух. Надежда сия исполнилась, ибо основана была на справедливости. Созрели горькие плоды угнетения: ненависть и жажда мести, и мужественный, предприимчивый Зиновий Хмельницкий, восстав с горстью запорожцев против притеснителей, воззвал к оружию весь народ Малороссии и Украйны, свергнув польское иго и возвратил России древнее ее достояние. Облеченный в звание гетмана, или предводителя освобожденного народа, Хмельницкий, признавая власть русского царя, управлял Малороссиею и Украйною, как независимый владелец, на основании дарованных им прав и пребыл верен России. Но последовавшие за ним гетманы, избираемые вольными голосами, мучимые честолюбием, алчностью к богатству и подстрекаемые поляками, татарами, турками и волошскими господарями, завидовавшими возникающему могуществу России, беспрестанно нарушали долг присяги и подданства, изменяли русским царям, возмущали народ, губя собственную родину и уязвляя общее отечество, Россию. Не имея постоянного, устроенного войска, Россия не могла держать в пределах законного повиновения вооруженный народ Малороссии и Украйны. В опасностях и нуждах государства русские цари, наученные опытами, не смели полагаться на верность и помощь гетманов малороссийского народа, приученного к буйству и своеволию собственными старшинами. Политика тогдашнего российского двора требовала употреблять все возможные средства, чтобы иметь в гетмане человека верного и преданного престолу, и когда царевна Софья Алексеевна объявила себя правительницею государства, тогда любимец и первый ее советник, ближний боярин, государственных великих и посольских дел оберегатель, князь Василий Васильевич Голицын, отправился в Малороссию для избрания гетмана, преданного пользам царевны. По доносу генерального есаула Мазепы, гетман Самойлович, верный царям и чести, низложен и сослан в Сибирь, а на его место избран, проискамыи Голицына, сам доносчик. Вознаграждая неблагодарность и гнусную измену, вопреки нравственности, князь Голицын посеял семена, которые принесли свои ядовитые плоды.

Генеральный есаул войска Малороссийского, Иван Степанович Мазепа, славился умом, познаниями в науках, искусством и ловкостью в делах письменных и государственных. Он употребляем был гетманами Дорошенком и Самойловичем при труднейших переговорах с русским двором, в сношениях с Польшею и с Крымом и заслугами достиг до почетного зва-

ния генерального старшины. Но при всем уме своем и ловкости он не имел в войске друзей, которые приобретаются сердцем, а не головою, и без влияния князя Голицына никогда бы не был избран в гетманы. В сем звании он вел себя весьма осторожно: во время насильственных потрясений, бывших в Москве, до принятия Петром Великим единодержавной власти, Мазепа держался всегда первенствующей стороны и повиновался одной силе. Будучи избран в гетманы противу воли и желания старшин и заслуженных родов в войске, Мазепа имел нужду в подпоре и потому искал покровителей при дворе Московском. Угодливостью и покорностью он снискал дружбу многих русских вельмож, приближенных к престолу, а верною и усердною службою приобрел милость самого государя.

В самую трудную и самую блистательную эпоху бытия России, во время ее перерождения, великий ее преобразователь имел нужду в верных и умных исполнителях своих исполнских предначертаний. По неотъемлемой принадлежности гения Петр умел находить их во всех сословиях народа, и сей гений, открывший чрез грубую оболочку невежества необыкновенный ум в юном Меншикове, не мог не оценить по достоинству изощренного науками и опытностью разума Мазепы. Государь, пользуясь советами и содействием гетмана в великих своих подвигах, наградил его первыми государственными почестями и почтил полною доверенностью, которую Мазепа оправдывал двадцатилетнею верною службой.

Петр Великий созидал среди пожара и разрушений. Когда великое дело преобразования России уже начинало процветать, вся Северная Европа объята была пламенем войны. Петру невозможно было утвердить величие России на прочном основании без возвращения отторгнутых Швецией приморских областей и без ослабления беспокойного соседа, Польши. Но сей подвиг, казавшийся сначала легким, порождал, по мере исполнения, непреодолимые трудности. Швеция произвела героя, равного Петру по воинской доблести и твердости душевной, который, повелевая народом мужественным, решился или погибнуть, или погубить соперника своего. С переменным счастьем, хотя с существенными выгодами для России, война продолжалась и на суше и на водах, пока, наконец, Карл XII, устранив Данию, опустошил Саксонию и, обессилив Польшу посеванием в ней междоусобия, вознамерился вторгнуться в сердце России, лишенной всех своих союзников, свергнуть с престола Петра, так же как свергнул Августа в Польше, и разрушить до основания все великие начинания, должен-

ствовавшие, по созреним своем, вознести Россию на нынешнюю степень могущества. Приближалась решительная минута! Карл XII надеялся найти в России недовольных правлением Петра и не стыдился смущать подданных своего соперника льстивыми, хотя лживыми обещаниями. Петр Великий готовился с твердостью встретить врага в пределах своих и, зная народный русский характер, не опасался обманчивых наущений иноплеменника. Только Малороссия и Украина, еще не сросшиеся с Россией и напитанные буйством прежних своих владетелей, несколько беспокоили государя; но там управлял Мазепа и государь, надеясь на испытанную его верность и на необыкновенную проницательность его ума, отдалял от себя все сомнения насчет того края и был совершенно спокоен. Мудрейшие государи могут только постигать ум и судить дела человека: сердце остается тайною до тех пор, пока участь сильного не будет зависеть от воли слабого. Только в несчастьи познается верный друг и бескорыстный слуга. Петр Великий не знал сердца Мазепы: оно открылось в опасности, угрожавшей государю.

Ни один гетман не управлял войском малоросским столь самовластно и вместе столь блистательно, как Мазепа. Его воля была законом для народа, а дарованные народу права — орудием к утверждению гетманской воли. Имея власть делать добро и зло, Мазепа приобрел приверженцев, которые находили свои выгоды в оказывании ему беспредельной преданности; но не имел искренних друзей, кроме племянника своего, Войнаровского, и питомца, Орлика, нераздельно связанных судьбою с участью гетмана. Старшины войсковые ненавидели его; но не смели обнаруживать своих чувствований. Примерная казнь доносчиков на гетмана и угнетение недовольных его правлением заставляли молчать всех его противников, а пешие полки гетманской стражи, называемые сердюками, набранные из вольницы, пользуясь преимуществами и наградами, устрасали народ и содержали его в повиновении. Мазепа жил с невиданною дотоле пышностью, в новом своем дворце, построенном в Батурине по образцу палат знатных польских вельмож. Здесь он угощал роскошно царских посланцев, генеральных старшин¹ и полковников войска малороссийского, раболепствовавших пред властью гетмана. Но лаская и награждая старшин, оказывающих ему преданность, Мазепа устранил их от совещания в де-

¹ Чины в малороссийском войске сохранились те же, что были в старинном Польском Войске и в Республике. (См. о сем Историю Малороссии, соч. Бантыша-Каменского.)

лах, по древнему обычаю, и сам сносился с государем и его вельможами, повелевая войском от своего имени. В Малороссии и русской Украине никто не смел рассуждать о пользе или вреде гетмановых распоряжений. Честь, имущество и свобода каждого жителя Малороссии зависели от воли гетмана, поправшего дарованные народу права.

В то время, с которого начинается сие повествование, несколько малороссийских полков находились на службе при войске русском, действовавшем в Ливонии, в Польше и в северных областях России, противу шведов и поляков, принявших сторону новоизбранного короля Станислава Лещинского. Остальным полкам отдан был приказ приготовляться к походу. Многие полковники и генеральные старшины, прибывшие в Батурин для личных объяснений с гетманом, уже две недели ожидали позволения представиться ему. Мазепа сказывался больным и никого не допускал к себе, кроме Войнаровского и Орлика, через которых передавал старшинам свои приказания. Враги и приверженцы Мазепы с равным нетерпением, хотя и с противоположными чувствами, ожидали прибытия врача, за которым послали нарочного в польскую Украину. Наконец, врач прибыл в Батурин и остановился во дворце гетманском.

После пробития вечерней зари на литаврах, перед дворцом гетмана, Мазепа отпустил на покой всех слуг своих и остался в почивальне своей с племянником своим, Войнаровским. В ближней зале стоял у дверей, на страже, неотступный слуга гетмана, немой татарин. Сей татарин был в детстве полонен запорожцами, и свирепый Дорошенко, умертвив его родителей, отрезал язык безмолвному ребенку, чтоб иметь впоследствии скромного слугу; но, будучи недоволен мальчиком за его угрюмость и упрямство, подарил другу своему, Мазепе. Ненависть к христианам, особенно к казакам, возростала с летами в мстительной душе татарина за причиненное ему увечье и смерть родных, но он скрывал свои чувствования и, оказывая преданность своему господину, как злой дух питался только чужими бедствиями и страданиями. Один Мазепа понимал условные знаки татарина, и как в войске и в доме почитали его глухим, то гетман употреблял его для подслушивания чужих замыслов, которые должны были оставаться навсегда в тайне. Татарин, стоя на страже, трепетал от радости в уверенности, что ночная беседа гетмана породит для кого-нибудь бедствие, и, как вран, ожидал добычи.

Мазепа сидел в задумчивости перед столом, на котором

развернуты были карты Польши, России и Украины. Он был в турецком халате и в больших бархатных сапогах. Голова его покрыта была небольшою красною скуфьею, или феской. Хотя ему было уже за шестьдесят лет, но он имел вид бодрый. Блестящие, быстрые глаза оживляли бледное лицо его. Он то покручивал длинные седые свои усы, то поглядывал на своего племянника, который стоял безмолвно возле стола, опершись на саблю, и ожидал с нетерпением окончания прерванного разговора. Наконец, Мазепа сказал:

— Любезный племянник! я воспитал тебя как царевича и имел попечение о тебе, как о родном сыне. Ты последняя отрасль моего рода и единственная моя надежда! Досель я употреблял тебя в одних воинских делах, но теперь укажу тебе поприще, на котором тебе нужны будут и доблесть воина, и проницательность государственного человека. Я открою тебе тайну, от которой зависит моя жизнь, честь и благо целой Малороссии. Слушай со вниманием! До сих пор ты не посвящен был в таинства моей политики и не знал положения наших дел. Но клянись мне, что ты ни словом, ни делом, ни помыслением не нарушишь верности ко мне!

— Можете ли вы сомневаться, мой отец, мой благодетель? Клянусь Богом и всеми святыми, что ни смерть, ни мучения не заставят изменить вам!

— Итак, слушай! На старости лет мне предстоит совершение подвига, на который напрасно покушались мои предшественники, после храброго, но недальновидного Зиновия Хмельницкого. Я решился отложиться от России, основать независимое государство, укрепить его союзами с соседними владителями, враждебными России, и *тобой* продлить род мой, на сооруженном мною престоле. Теперь или никогда!..

Трепет пробежал по всем жилам молодого человека, и вся кровь в нем взволновалась. Предстоящие опасности, слава и величие воспламенили в одно мгновение, как порох, пылкий ум и честлюбивую душу племянника Мазепы. Войнаровский встряхнул саблю, на которую упирался, ударил ею в пол и воскликнул:

— Независимость или смерть... Теперь, сей час!..

— Да, теперь или никогда! — сказал с жаром Мазепа и, помолчав, продолжал: — Если Петр останется победителем в сей войне, то он вознесет Россию на высочайшую степень могущества, и тогда Малороссия исчезнет как песчинка в степи. Если б я был на месте Петра, я также не согласился бы, ни за какие выгоды, иметь в своих владениях отдельную военную полуреспублику, которая гораздо более может вре-

дить государству, нежели приносить пользы. Уже Петр намекал мне об этом, и когда я, в качестве гетмана Малороссийского, стал горячо возражать, — он затворил мне уста пощечиной! Пощечина эта врезалась у меня в ум и, как неизлечимая язва, осталась на сердце. Я отомщу, отомщу не как оскорбленный раб, а как разгневанный владелец: буду воевать с русским царем и не допущу, чтоб та рука, которая поднялась на гетмана Малороссии, сломила мою гетманскую булаву и разодрала нашу войсковую хоругвь! Герой Севера, Карл, предлагает мне союз. Король польский, Станислав Лещинский, обещает уступить области, на которые Польша предъявляет права свои. Хан крымский ждет только моего согласия, чтоб соединиться со мною. Султан турецкий и волошский господарь дают деньги, и я едва ли буду не сильнее Петра, истощенного войною, постройкою флота и городов! Духовенство предано мне совершенно, страшась потерять свои вотчины, а народ Малороссийский, послушный моей воле, с радостью возьмется за оружие, когда я объявлю ему, что восстаю за его права. Правда, между поковниками и генеральными старшинами у меня есть враги, но я от них скоро отделаюсь. Одна трудность в том, что не вся Украина в моей власти. Кошевого атамана Сечи Запорожской, Гордеенку, я надеюсь склонить на свою сторону. Гетман Польской Украйны, Самусь, при всей храбрости своей, человек простой, недаленовидный и легко может быть увлечен моими советами. Страшен мне один Палей! Это старая лисица в волчьей шкуре! В течение двадцати лет я не могу с ним управиться! Прежде он служил полякам, теперь враждует с ними и, признавая над собою власть русского царя, нося звание полковника Хвастовского, отложился от меня, завладел целым Заднепровьем Польским и сидит царьком в Белой Церкви, набирая подати с пограничных жителей и разоряя Польшу. Ни обвинения мои, ни жалобы не имеют никакого действия при дворе Московском, и царь велел мне сказать, что если я хочу предать суду Палея, то должен представить его вместе с обвинительными актами. Вот в чем все мое горе! Пока Палей жив и свободен, я не могу ничего начать. Он имеет сношения с моими врагами, слывет богатырем в войске, и если б я восстал противу царя московского, то он мог бы произвести замешательство даже в моих полках и переманить большую часть к себе. У меня воинский порядок, а у него дикая воля; у меня для казака труд и тяжкая служба, а у него праздность и грабеж. Хитрый Палей не дремлет и беспрестанно наблюдает

за мною. Верно, он догадывается о тайных связях моих с Польшею, что прислал сюда двух своих посланцев будто бы с предложением мира и покорности, а в самом деле для шпионства. Но он меня не обманет: я знаю обоих его молодцев! Огневик хотя молод, но хитер и смышлен. Он воспитан у иезуитов и служит вместо секретаря при Палее. Иванчук был писарем при Дорошенке. Этот старик, при всей дикости своей, ловок в делах и искусен во всех пронырствах. Они здесь ничего не узнают, но и я от них ничего не выпытаю, а потому не хочу даже видеть их и тебе, племянник, запрещаю видаться с ними. Пусть Орлик ведет с ними переговоры, пока я велю их выслать восвояси. Дело с Палеем я поручу иезуиту Заленскому, посланцу короля Станислава, и надеюсь, что иезуитская хитрость переможет запорожское пронырство. Но теперь нам надобно начать с того, чтоб посеять неудовольствие в войске нашем, приготовить все к наступающему пожару, и как я никому не верю и ни на кого не смею положиться, то избрал тебя, чтоб бросить первую искру...

— Дядюшка! Я готов на все! Приказывайте! За вас готов пролить последнюю каплю крови!..

— Нет, любезный племянник! Пусть проливает за нас кровь наш народ, а мы должны щадить кровь свою и действовать умом. Первая добродетель, в твоём положении, должна быть — скромность, а первое искусство в нашем деле... как бы это назвать!.. благоразумие, то есть умение казаться тем, чем надобно быть для успеха предприятия, именно то, что простодушные люди называют притворством.

— Дядюшка! — возразил молодой человек, посмотрев на Мазепу с удивлением. — Я не учился притворству и не могу вдруг сделаться искусным в этом ремесле!

— Учись, а если не хочешь, так откажись от желания управлять людьми и достигнуть первой степени могущества. Мне, в моем звании, невозможно сближаться с моими подчиненными; но ты можешь и должен искать друзей и приверженцев, а в этом иначе нельзя успеть...

Молодой человек не мог вытерпеть и снова прервал слова дяди, сказав:

— Но друзей приобретают откровенностью, простосердечием, а не притворством!..

— А кто ж тебе запрещает казаться откровенным и просто-сердечным? Но *быть* и *казаться* большая разница! Искренностью, при великом предприятии, ты предаешь себя во власть того, с кем ты откровенен, а только *казавшись* искренним,

овладеешь человеком по мере возбуждения в нем истинной к тебе доверенности. Не открывай никому своих намерений, но умей вперить в каждого свой образ мыслей, заставь открыться себе и кажись убежденным чужими доводами. Люди тогда только усердно служат и помогают другому, когда убеждены, что действуют своим умом, ибо тогда они уверены, что действуют для собственной пользы. Я открыл тебе все мои надежды, потому что *ты* — другой я, и что я только насаждаю древо, с которого ты, с твоим потомством, соберешь плоды. Но до тех пор, пока я не прикажу ударить на московские полки, никто в войске моем не должен даже догадываться о моем намерении, — никто, понимаешь ли?

— Как никто! неужели и Орлик, и Чечел, и Кенигсек? — спросил с изумлением Войнаровский. — Эти люди преданы вам душевно, дядюшка!

— Преданы! Но зачем мне без нужды испытывать их верность? Помни слова молитвы: «...и не введи нас во искушение»! Человек слабое творение, любезный племянник. Им должно действовать как орудием, взяв крепко в руки, но не должно опираться на него, из опасения, чтоб не сломился. Большая часть людей привержена к власти, а не к человеку, имеющему власть, и если верность моих приверженцев положить на весы между мною и царем московским, то, быть может, весы поколеблются и перетянут на царскую сторону! На великий, решительный и опасный подвиг людей надобно вызывать в последнюю минуту, перед начатием дела, чтоб они не имели времени рассуждать и совещаться, а до тех пор должно только ласкать их и привязывать к себе. Пуля оттого бьет крепко, что вылетает из ружья быстро, а кто заряжает его осторожно, тот более уверен в успехе. Ты должен начать с распространения слухов, *будто* царь объявил решительно, что по окончании войны он намерен переселить казаков к новому городу, Петербургу, и уничтожить казачину. Но не говори, что *ты сам* слышал это, а только спрашивай, правда ли, будто об этом поговаривают в войске. Стоит только породить мысль и бросить ее в народ, а она сама распространится, если вымышленное дело опасно для всех и предосудительно для власти. Люди так созданы, что скорее верят злumu, нежели добромu...

— Позвольте заметить вам, дядюшка, что если вы почитаете Палея столь опасным для себя, то не лучше ли начать с того, чтоб распространить в войске какие-нибудь вредные вести на его счет?

— Сохрани тебя от того Бог! — возразил Мазепа. —

Помни слова философа Сенеки: *Professa produnt odia vindictae Josum*¹. Все знают, что Палей враг мой; каждое двусмысленное твое слово об нем будет сочтено злым намерением противу него и, вместо вреда, принесет ему пользу. Напротив того, ты должен восхвалять Палея, превозносить его, сожалеть о неприязни его ко мне и обнаруживать желание о нашем примирении. Этим ты усыпишь друзей его, а порицанием ты только разбудишь их. Что же касается до царя, то все знают, что он ко мне милостив, что я предан ему и служу верно, и нас не станут подозревать в выдумке злых вестей противу него. Надобно так устроить, чтоб войско, веря в угрожающее ему бедствие, думало, что я также согласен с царем на переселение казаков и уничтожение войска. Пусть меня подозревают в измене войску, пусть бранят, проклинают, и тогда-то узнав, наконец, что я восстаю для защиты народа, жертвуя милостию царскою, все с восторгом мянстанут ко мне, не подозревая, что умысел составлен мною и для нас... Понимаешь ли теперь дело, племянник?

— Я удивляюсь вашей мудрости, дядюшка! Но, признаюсь, мне было бы приятнее, если бы вы поручили мне такое дело, которое надлежало бы начать и кончить саблею. Я новичок в политике и опасаюсь, чтобы не оступиться на этой скользкой стезе...

— Держись за меня, племянник, и не зевай, а все будет хорошо. Сабля, племянник — *ultima ratio*, но и сабля сокрушается умом. Медведь сильнее человека, а человек заставляет его плясать под палкой. Теперь позови патера Заленского. Надобно отпустить его. Пребывание его здесь может возбудить подозрение, если посланец Палея, Огневик, узнает его. Иезуит требует от меня решительного ответа на предложение королей приступить к их союзу. Надобно отделаться от него так, чтоб он не знал ничего решительного.

— Но вы уже решились, дядюшка?

— Решился, но этого не должны знать те, которым нужна моя решительность! Не так я глуп, чтоб, полагаясь на одни обещания, вверил участь свою людям, которым я нужен только как орудие к их собственным пользам. Короли могут завтра примириться с царем и, в залог своей искренности, предать меня. Нет, они не проведут меня! Я сам извещу царя о делаемых мне предложениях королями и тем обеспечу себя на всякий случай. Королям же буду обещать все

¹ То есть, обнаруживая ненависть, мы лишаем себя средств отомстить.

и исполню, когда это не будет сопряжено с опасностью измены с их стороны. Надобно забавлять их до поры до времени, а когда настанет решительная минута, тогда положение дел покажет нам путь, на который должно устремиться. Ступай же за иезуитом!

Войнаровский вышел, не говоря ни слова, чтоб позвать иезуита, а Мазепа, покачав головою, сказал про себя: «Молодость! молодость! Пусть он верит в наследство!.. Оно, в самом деле, может достаться ему, если я останусь бездетным. Но за это еще нельзя поручиться!..» В ожидании иезуита Мазепа стал снова пересматривать карту Польши, на которой означены были предполагаемый путь и становища шведского войска из Саксонии в Украину.

Дверь отворилась, и за Войнаровским вошел пожилой человек низкого роста, бледный, сухощавый. Он сбросил с себя синий плащ, прикрывавший иезуитский наряд, поклонился низко гетману и сказал обыкновенное приветствие католических священников: «*Laudatur Jesus christus!*»

— *In secula seculorum, amen!* — отвечал Мазепа и, указав рукою на стул, примолвил: — Присядь, старый приятель, патер Заленский, и поговорим о деле.— Патер снова поклонился и сел, а Мазепа продолжал: — Перед племянником у меня нет ничего скрытого, и я стану говорить с тобою без обиняков, по врожденной мне откровенности и моей казацкой простоте. Начну с повторения сказанного уже мною тебе, патер Заленский, что пока вы не избавите меня от Палая, до тех пор у меня руки будут связаны. Я человек добродушный, не питаю к нему ненависти, а напротив того, много уважаю его. Но он вреден для нашего общего дела, и если вы искренно желаете освободить Украину от русского владычества, то должны начать со старого Палая, на которого оно опирается в здешнем крае. Притом же Палей жесточайший враг поляков и без разбору опустошает владения приверженцев обоих королей в Польше. За это самое он уже достоин казни! Я не постигаю, почему русский царь до сих пор терпит хищничество этого разбойника и не слушает ничьих жалоб на него! Вероятно, Палей оклеветал меня перед царем и царь, сберегая Палая и позволяя ему владеть независимо от меня Хвастовским полком и отнятыми у польских панов землями, хочет держать в узде меня, с моими полками, надеясь на неусыпность Палеевой вражды. Когда же не станет Палая — я буду один властелин в Малороссии и Украине и тогда... тогда могу безопасно совещаться о союзе с королями!

— Но я не предвижу, какими средствами можем мы изба-

виться от Палея...— сказал иезуит, потупя взоры.— У нас нет войска в этой стороне, а атаман Заднепровских казаков в дружбе с ним и следует его советам...

— Полно, полно! — возразил Мазепа.— Ведь мы учились с тобой в одной школе, патер Заленский! Помнишь ли, как нам повторяли, что, где нельзя быть львом, там должно сделаться лисицей. В Украине много тайных католиков и учеников ваших, патер Заленский, а на что не решится католик с разрешения духовного отца и с уверенностью, что он действует для блага церкви! Иезуитский Орден уже не раз делал чудеса и доказал, что чашке шоколаду или рюмке вина он может дать силу пули и кинжала. Патер Заленский, пожалуйста, будем откровенны между собою. Я человек простой, не хитрый, и у меня, как говорится, сердце на ладони. Вот, например, первый любимец Палея, Огневик, который теперь в Батурине, твой ученик и друг. Здесь было бы опасно для нас, если б он увидел тебя и узнал, что ты приехал сюда под именем врача; но когда б ты встретился с ним в другом месте и растолковал ему, какая польза была бы для него, если б старик Палей отправился *ad patres*, какие награды получил бы он от королей?

— Нет, ясновельможный гетман, об этом и думать напрасно,— отвечал иезуит.— Огневик обязан Палею жизнью и воспитанием и ни за что не изменит своему благодетелю. Я хорошо знаю этого молодого запорожца. Науки образовали ум его, но несколько не укротили в нем дикости запорожской, не обуздали пылкого нрава и не изгладили того простосердечия, которым отличаются они в самой своей свирепости. С Огневицом нельзя делать попыток в подобных делах. Он хладнокровно готов перерезать половину рода человеческого, если б это надобно было для безопасности разбойничьего притона его благодетеля, но за все земные блага не сделает того, что почитается злом в их шайке. Огневик умен и просвещен за пером и за книгою, но при сабле он тот же хищный зверь, как и все запорожцы. С ним страшно переговариваться!..

— Так приищи другого... Нельзя ли употребить женщин? Это стрелки и наездники иезуитского воинства, патер Заленский! — сказал с улыбкою Мазепа.

— Дело это надобно обдумать, и я обещаюсь вам, ясновельможный гетман, предложить его на общее совещание в нашем коллегиуме. Но прежде надобно решить важнейшее. Благоволите подписать договор, ясновельможный гетман, которого ждут с нетерпением их величества!

— Подписать! — сказал с улыбкой Мазепа. — Я не думал, чтоб, при твоём благоразумии, ты был так тороплив, патер Заленский. Царь Петр, купивший мудрость опытностью, повелел присягать своим воинам, чтоб они во всем поступали: «*как храброму и неторопливому солдату надлежит*»¹. Scripta manent, verba volant, патер Заленский! Ты человек умный, итак, скажи же мне, на что бы пригодилось королям условие подписанное мною, если б его величество король шведский отложил намерение свое вторгнуться в Россию чрез Украину и заключил мирный договор с царем, а вследствие того, если бы мое содействие было ненужным его величеству, и с моей стороны даже невозможным?

— Тогда бы их величества возвратили вам, ясновельможный гетман, подписанный вами трактат, в такой же тайне, как и получили, — отвечал иезуит.

— Итак, для избежания затруднений при сбережении тайны, пусть же этот трактат останется неподписанным до тех пор, пока гласность его не будет ни для кого опасною. Я даю тебе мое гетманское слово исполнить все условия, изъясненные в трактате, как только король шведский вступит с войском в Украину и когда вашим содействием я, до того времени, избавлюсь от Палея, который своим влиянием мог бы помешать мне. Слово мое прошу передать их величествам. Одиннадцатая заповедь моей веры: *Verbum pobile debet esse stabile*.

— Но все, что вы изволите говорить, ясновельможный гетман, не согласно с данным мне наставлением при отпуске к вам, — возразил иезуит, — и не удовлетворит...

— Как угодно, патер Заленский, — сказал Мазепа, прервав слова иезуита, — я человек простой, не хитрый и говорю откровенно, по-казацки, что думаю. Я буду верный слуга их величествам, но не прежде, как могу свободно действовать. Это мое последнее слово!

— Этот ответ не утешит княгини, — примолвил иезуит, — она особенно поручила мне сказать вам...

— Об этом после, патер Заленский! — возразил быстро Мазепа и, оборотясь к Войнаровскому, который во время этого разговора стоял почти неподвижно возле стола и слушал со вниманием, сказал: — Поди, любезный племянник, и узнай, готовы ли лошади и провожатые для почтенного моего врача. Да останься в канцелярии, пока я позову тебя, когда будет нужно.

¹ Подлинные слова из военной присяги.

Войнаровский приметно смутился, когда иезуит сказал о княгине. Не говоря ни слова, он вышел из почивальни и медленными шагами, в задумчивости, удалился из комнат гетманских.

— Хотя я и сказал тебе, патер Заленский, что перед племянником я не имею тайн, но ты должен был догадываться, что сердечные дела исключаются из общего разряда. Напрасно ты намекнул при нем о княгине!

— Прошу извинить меня, ясневельможный гетман, но мне мало остается времени для переговоров с вами, и притом же я так был занят моим предметом, что совсем забылся...

— Ну, что ж говорит прелестная княгиня Дульская? — спросил Мазепа, устремив пристальный взор на иезуита.

— Она приказала мне сказать вам, ясневельможный гетман, что с тех пор, как вы приобрели любовь ее и получили согласие на вступление в брак, княгиня находится в весьма затруднительном для нее положении и не знает, как из него выпутаться. Родственник ее, король Станислав, не зная о ваших связях с нею, принуждает ее решиться на выбор мужа из числа знатнейших вельмож польских, старающихся получить ее руку. При нынешних междоусобиях в Польше это послужило бы к поддержанию королевской стороны. Другие родственники княгини, которых участь соединена с торжеством короля, также просят ее неотступно об этом. Будучи душевно к вам привязана, она решилась бы оставить все свои надежды в Польше и приехать к вам, если б не опасалась, что брак с родственницей друга Карла XII повредит вам в мнении царя московского. Итак, она просит вас покорнейше утвердить подписью договор с королями; тогда она объявит королю Станиславу, что она ваша невеста, и освободится от утруждающих ее убеждений, близких к принуждению. Но пока она не уверена, что вы союзник ее родственника, княгиня боится открыть ему о своих связях с вами, чтоб не подвергнуться подозрению, ибо весьма многие почитают вас искренним другом царя Петра.

Мазепа задумался.

— Вспомни, патер Заленский, историю Самсона с Далилоу! — сказал он, улыбаясь. — Сила моя также вмещается в тайне, и если тайна сия выльется на бумагу до времени, то я попаду во власть филистимлян! Но для успокоения княгини я напишу к ней письмо!

Вдруг вдали послышался шум, и татарин опрометью вбежал в комнату. Он истолковал Мазепе, знаками, что внизу, в

сенях, где находилась стража сердюков, произошло замешательство. Гетман забыл о своей болезни, вскочил с кресел, схватил пистолеты со стены, подпоясался кушаком, положил их за пазуху и вышел поспешно из почивальни, опираясь на плечо татарина. Иезуит, трепеща от страха, спрятался под кровать. Когда Мазепа прошел чрез залу и приближался к передней, он услышал звук оружия и яростные вопли сердюков. Отворив двери на лестнице, гетман встретил Войнаровского, который бежал к нему вверх. Они остановились, чтоб объясниться.

ГЛАВА II

Извлек он саблю смертоносу:

— Дай лучше смерть, чем жизнь поносну
Влачить мне в плене! — он сказал.

И. И. Дмитриев

— Что это значит? — спросил Мазепа.

Войнаровский отвечал:

— Орлик, проходя по коридору нижнего жилья, увидел при слабом свете фонаря человека, который притаился за столбом. Когда Орлик подошел к нему, он бросился на него, свалил с ног Орлика и стремглав побежал по задней лестнице, ведущей в сад. По счастью, дверь на том крыльце была заперта и стража успела окружить дерзкого. Вообразите наше удивление, когда в этом ночном посетителе мы узнали Огневика, посланца Палеева!..

— Огневик!.. Посланец Палея!.. В моем доме... ночью!.. — вскричал Мазепа. — Измена!.. Коварство!.. Он, верно, хотел убить меня!..

— Так и мы думаем, — примолвил Войнаровский, — и потому велели схватить его живого, чтоб расспросить. Но он не сдается, невзирая ни на угрозы, ни на увещания, и уже переранил нескольких сердюков.

— Вы очень умно поступили, что не велели убить его на месте, хотя он и заслужил это, — сказал Мазепа. — Но постой, я поймаю этого зверя тенетами!

Опершись одною рукой на Войнаровского, а другою на татарина, Мазепа сошел с лестницы в большие сени. В углу, у печи, стоял молодой человек исполинского роста, в коротком куптуше, в широких шароварах и в низкой бараньей шапке. Он махал саблей, отклоняя удары, которые старались

ему нанести сторожевые сердюки. Один из сердюков, увидев Мазепу, закричал:

— Ясневельможный пане гетман! Позволь пустить пулю в лоб этому головорезу! Он уж умылся нашею кровью, и мы только напрасно бьемся с ним!..

— Никто ни с места! — сказал Мазепа повелительным голосом. — Кто смеет обижать в моем доме дорогого гостя и посланца моего приятеля, полковника Хвастовского полка? Прочь все, отступите от него! А тебя, пан есаул Огневик, прошу извинить, что люди мои тебя обеспокоили.

Бой прекратился. Сердюки с ропотом отступили, и Огневик в замешательстве не знал, что делать. Он не промолвил ни слова и с удивлением смотрел на Мазепу, который приближался к нему медленно, прихрамывая. Подойдя к Огневику на три шага, Мазепа вынул из-за пазухи пистолеты и отдал их татарину, дал знак, чтоб он отнес их назад, в почивальню. Потом, оборотясь к сердюкам, стоявшим в некотором отдалении, сказал:

— Сабли в ножны, ружья по местам!

— Ты видишь, — сказал Мазепа Огневику, — что я не намерен поступать с тобой неприятельски. Вот ты стоишь вооруженный противу меня, безоружного, и я вовсе не подозреваю в тебе злого умысла. Ты гость мой; поди со мною в мои комнаты, и мы объяснимся с тобой дружески. Притом же ты окровавлен и, кажется, ранен. Если б я желал тебе зла, то ты видишь, что, по одному моему слову, ты лежал бы трупом на месте. Но я, напротив того, желаю тебе всякого добра и рад случаю показать полковнику Палею мое к нему уважение и дружбу ласкою и снисхождением к его посланцу. Пойдем со мной, пан есаул!

Огневик, казалось, колебался; наконец он вложил окровавленную саблю в ножны, снял шапку и, поклонясь гетману, сказал:

— Я противустоял насилию, но покоряюсь беспрекословно ласковому приказанию и готов исполнить все, что вы прикажете, ясневельможный гетман!

Мазепа подошел к Огневику и, потрепав его по плечу, примолвил:

— Я люблю таких молодцев! Пойдем-ка ко мне и переговорим спокойно и по-приятельски, а там ты пойдешь себе, с Богом, куда захочешь.

Мазепа, опираясь на Войнаровского и на Орлика, пошел вверх по лестнице, оставив в недоумении и негодовании сердюков, которые роптали, про себя, за такое снисхождение к

дерзкому пришельцу. Орлик втайне разделял чувства сердюков. Огневик следовал за Мазепой, который пошел в свой кабинет, послав служителя вперед засветить там свечи. Вошел туда, Мазепа сел в кресла и сказал Войнаровскому и Орлику:

— Подите, детки, к доктору, в мою почивальню. Он, верно, соскучился в уединении! Я позову вас, когда будет надобно. Велите татарину стоять у дверей. Не опасайся ничего! — примолвил он, обращаясь к Огневику: — Мы с тобой останемся наедине, и татарин станет у дверей не для стражи, а для помощи мне, хворому, в случае надобности.

Войнаровский и Орлик вышли из комнаты.

— Ты, пан есаул, человек умный, а потому я с тобой стану говорить без обиняков, со всею моею откровенностью. Скажи: что б ты подумал о теперешнем случае, если б ты был на моем месте? Полковника Палея почитают врагом моим. Тебя, его верного и неизменного сподвижника, находят ночью в моем доме прячущегося от моих людей, и, наконец, когда велят тебе положить оружие и объясниться, зачем ты ночью вошел в гетманский дворец, оберегаемый стражей, куда не позволено входить без позволения даже верным моим генеральным старшинам и полковникам, — ты стараешься силою выйти из моего дворца и бьешь моих людей! Скажи, пан есаул, что б ты подумал об этом, будучи на моем месте?

— Признаюсь, ясновельможный гетман, — отвечал Огневик, — что с первого взгляда можно счесть меня преступником. Но клянусь пред вами Богом и совестью, что я не повинен ни в каком злом противу вас умысле. Я проходил вечером мимо вашего сада. Калитка была не заперта, и я вошел в него погулять. Прилегши на траву, я заснул и проснулся уже поздно. Желая возвратиться тем же путем, я нашел калитку запертою и потому хотел пройти чрез сени, увидев отпертую дверь на заднем крыльце. Не зная расположения дома, я запутался и попал в коридор. Послышав шаги в коридоре, я почувствовал неосторожность моего поступка и хотел спрятаться от проходящего, чтоб не возбудить в нем подозрения. Орлик напал на меня, закричал на стражу, и я, не думая ни об чем, по врожденному чувству, стал обороняться. Вот все, что я могу сказать в свою защиту, и прошу вас, ясновельможный гетман, верить мне.

Пока Огневик говорил, Мазепа писал карандашом на лоскутке бумаги. Когда Огневик кончил свое оправдание, Мазепа захлопал в ладоши. Вошел татарин. Мазепа отдал ему записку,

сделав несколько знаков, и татарин, кивнув головою, снова вышел. Тогда Мазепа сказал Огневику:

— То, что ты изволил сказывать, пан есаул, было бы хорошо выдуманно, если б мне не известно было, что ключи от садовой калитки и от задних дверей хранятся у Орлика и что двери отпираются по моему приказанию. Впрочем, подобать ключ к замку не великая мудрость и его может подделывать каждый слесарь. Но не в том дело. Мне давно уже сказывали, будто Палей хочет знать внутреннее расположение моего дома и намеревается подослать убийцу, чтоб умертвить меня. Я уверен, что ты не взял бы на себя такого гнусного поручения; но скажи мне откровенно, не слыхал ли ты чего-нибудь об этом? Жизнь твоя была в моих руках, но я не воспользовался моим преимуществом и поступил с тобой, как с приятелем. Из благодарности ты можешь сказать мне, для моей предосторожности, справедлив ли этот слух?

— Я никогда и ни от кого не слыхал об этом и готов жизнью ручаться за полковника Палея, что он не в состоянии покуситься на такое гнусное дело. Он человек горячий, сердитый, но честный и простодушный. Врага своего он готов убить в бою или в единоборстве, но никогда не посягнет на ночное убийство. В этом вы можете быть уверены, ясневельможный гетман!

Мазепа лукаво улыбнулся.

— Дело идет не о похвальных качествах полковника Палея, но об его вражде ко мне,— сказал он.— Неужели он не дал тебе никакого другого поручения, кроме предложения своей покорности? Мне что-то не верится, пан есаул! Будь откровенен со мною и выскажи всю правду. Если ты боишься Палея, то я даю тебе гетманское слово, что завтра же сделаю тебя полковником в нашем верном войске малороссийском и дам вотчину, в вечное владение.

— Я не хочу ложью приобретать ваши милости, ясневельможный гетман,— отвечал Огневик.— Полковник Палей не давал мне никакого другого поручения и не имеет никакого злого противу вас умысла. Напротив того, он желает помириться с вами и поступить под ваше начальство.

— Он не должен был выбиваться из моего законного начальства,— возразил Мазепа.— Но я вижу, что с тобой нечего делать: ты не знаешь ни благодарности, ни обязанности своей к законному твоему гетману. Бог с тобой! Я напишу сейчас письмо к полковнику Палею, и ступай себе, с Богом, в Белую Церковь! Ты должен немедленно, сей же ночью отправиться в путь. Однако ж, после того что слу-

чилося здесь, я не могу тебя отправить восвояси иначе, как в сопровождении моей стражи. Надеюсь, что ты эту предосторожность не сочтешь излишнею?

— Мой долг повиноваться вам, ясневельможный гетман!— отвечал Огневик.

— Хорошо было бы, если б это была правда,— сказал Мазепа, улыбнувшись, и, не ожидая ответа, принялся писать. Огневик между тем стоял у дверей и ожидал, когда он кончит. Вошел татарин и, сделав несколько знаков, удалился. Мазепа положил перо и сказал Огневику:

— Прежде отъезда ты должен непременно явиться к полковнику царской службы, Протасьеву, который находится при войске малороссийском, по повелению царя для наблюдения за пользами службы его царского величества. Он должен засвидетельствовать, что ты отпущен отсюда цел и невредим. Но твоя одежда изорвана и облита кровью, а в таком виде неприлично тебе явиться к царскому чиновнику. Поди в ближнюю комнату, умойся и переоденься. Я велю выдать тебе что нужно!

Мазепа хлопнул в ладоши, и татарин снова явился.

По данному Мазепою знаку, татарин отворил двери в другую комнату, взял со стола свечу и кивнул на Огневика, который беспрекословно последовал за ним. Мазепа пошел в почивальню.

Огневик вошел в небольшую комнату с перегородкою. Несколько пар платья лежало на стульях; на столе стоял умывальник. Татарин показал знаками, что должно раздеться. Огневик отпоясал саблю, снял с себя кафтан и хотел умываться. Но в самую эту минуту татарин схватил саблю Огне-вика и перебросил ее чрез перегородку, в которой дверь мгновенно отворилась и четверо сильных сердюков бросились опрометью на Огневика, не дали ему опомниться, повалили на пол, связали веревками по рукам и по ногам, рот завязали полотенцем и потащили за перегородку. Татарин поднял дверь с полу, и сердюки спустили Огневика по высокой и крутой лестнице в подземный погреб. Там, при свете лампы, уже ожидал их тюремный страж, который из огромной связки ключей выбрал один и отпер боковые железные двери в небольшой, но высокий погреб. Здесь сердюки помогли тюремщику приковать Огневика к стене, подостлали под него связку соломы, развязали ему рот, поставили при нем ведро воды и положили кусок хлеба. Огневик не промолвил слова во все это время и, будучи не в силах противиться, беспрекословно позволял делать с собою все, что им было

угодно. Татарин с приметною радостью помогал сердюкам приковывать Огневика, и, удаляясь из погребца вместе с сердюками, с улыбкой погладил узника по голове, и провел несколько раз указательным пальцем по шее, как будто давая знать, что его ожидает. Страж взял лампаду, вышел последний из погребца и запер двери снаружи внутренним и висячим замком. Огневик остался во мраке.

Мазепа, пошутив над иезуитом насчет его трусости, сказал ему:

— Теперь, патер Заленский, ты должен остаться на несколько дней у меня и переговорить со старым своим знакомцем, Огневиком, которого уже нечего опасаться. Во что бы ни стало, но я узнаю, зачем приятель Палей подослал ко мне своих людей. Один из них уже в мешке, а за другим я послал моих сердюков!

— Сомневаюсь, ясновельможный гетман, чтобы вы могли выпытать что-нибудь от Огневика, — отвечал иезуит. — В нем душа железная!

— А мы смягчим это железо в огне! — возразил Мазепа. — Ты знаешь, старый приятель, что душа столько же зависит от тела, как тело от души. Крепкое тело сначала изнуришь мы постом и оковами, а твердую душу ослабим мраком и уединением. Верь мне, патер Заленский, что самый твердый, самый мужественный человек, который презирает смерть с оружием в руках, при свете солнца, и даже готов выдержать жесточайшую пытку в крепости сил телесных, что этот самый человек, лишенный пищи, движения, света и воздуха, непременно упадет духом, по прошествии некоторого времени... Ведь тюрьма именно для этого и выдумана умными людьми.

— Но что скажет Палей, узнав, что вы, дядюшка, задержали его посланцев? — сказал Войнаровский.

— Он и до сих пор не говорил об нас ничего доброго, — возразил Мазепа с улыбкою. — Посланцы его так же, как и он сам, суть мои подчиненные, и я имею полное право над ними.

— Но если Палей искренно желал примирения, если Огневик в самом деле невиновен в злом умысле?.. — возразил Войнаровский.

— Тогда Палее должно было самому явиться с повинною, а посланцам его надлежало вести себя осторожнее, — отвечал Мазепа. — Я сам человек простодушный и неподозрительный, как и ты, любезный племянник: но всему должна быть мера. Впрочем, это дело общественное, а не мое собственное, и я обязан исследовать его порядком. Послушаем, что ска-

жет Орлик. Что ты думаешь, Орлик, как должно поступить в этом случае?

— По моему мнению, так этого ночного разбойника надобно взять в порядочные тиски и выжать из него всю правду, а после, для примера, петлю на шею, да на первую осину!— сказал Орлик.

— Орлик говорит как человек государственный,— сказал Мазепа,— а ты, племянник, все еще нянчишься со своими школьными понятиями о делах и об людях. Ты знаешь, что я не люблю проливать крови, что я не могу смотреть равнодушно, когда режут барана — но, где общее благо требует жертв, там скрипя сердце должно прибегать даже к жестоким средствам. Если б Огневик сознался добровольно, я не тронул бы волоса на голове его, а теперь... он должен выдержать пытку. Не правда ли, Орлик?

— Иначе быть не может и не должно,— отвечал Орлик.

— Орлик понимает дело,— примолвил Мазепа,— а ты, па-тер Заленский, мой старый приятель и школьный товарищ, что скажешь об этом?

— Вы лучше меня знаете, что должно делать, ясневельможный гетман,— отвечал иезуит.— Но я думаю, что к крайностям должно прибегать в таком только случае, когда они могут принести верную пользу. Огневику же вы не заставите муками изменить своему благодетелю.

— Так я накажу его за измену мне, законному его гетману,— сказал Мазепа.— Но вот привели и другого...

В комнату вошел любимый казак Мазепы, Кондаченко, и остановясь у дверей, сказал:

— Иванчук ушел из города!

— Как! когда? — воскликнул Мазепа в гневе

— Недавно, в то самое время, как мы управлялись здесь с его товарищем, Огневином,— отвечал Кондаченко.— Они жили в доме хорунжего Спицы, который, уже четвертый день, отправился в Стародуб. Мы допросили жену его и парубков. Жена хорунжего сказала нам, что Иванчук был в своей светлице и ждал товарища, как вдруг кто-то постучался у окна, шепнул что-то на ухо Иванчуку, а тот пошел в конюшню, оседлал коня, съехал со двора — и только!..

— Измена! заговор! — сказал Мазепа, ударив рукой по столу,— но я все узнаю, все открою! Послать погоню за беглицом...

— Наши поскакали уже по всем дорогам, и сам есаул Не тенко понесся по Винницкому тракту с десятью казаками,— отвечал Кондаченко.

— Хорошо, спасибо вам, братцы! Видишь ли, Орлик, как глубоко Палей запустил свои когти в мою гетманщину,— сказал Мазепа.— Иванчука тотчас уведомили, что делается в моем доме. Не дремлют приятели! Теперь, патер Заленский, нельзя нам полагать, что ночное посещение Огневика есть случайное. Палей имеет своих лазутчиков в собственном доме моем, ибо кто бы мог известить Иванчука о происшедшем здесь при запертых дверях? Но сам Бог хранит меня, и он же поможет мне открыть измену и наказать изменников. Теперь ступайте почивать, друзья мои! Ты, патер Заленский, не поедешь сегодня. Ты должен знать последствие этого дела, ибо оно может быть связано с общою пользою... Понимаешь меня?.. Ну прощайте! Орлик! осторожность в доме!

Все вышли, и Мазепа остался один с татаринцом, который помог ему раздеться и лечь в постель.

Между тем обыск в доме, где проживали посланцы Палеевы, и погоня за одним из них не могли произойти втайне в небольшом и тихом городке. Несколько генеральных старшин из любопытства, другие из опасения, старались в ту же ночь разведать о случившемся, и некоторые из них собрались в доме Черниговского полковника, Павла Леонтьевича Полуботка, потолковать о сем происшествии. Сей заслуженный воин хотя не мог равняться с Мазепою ученостью, но был одарен от природы умом необыкновенным, укрепленным долговременною опытностью в делах, а проницательностью своею превосходил даже хитрого Мазепу. Полуботок пользовался неограниченною доверенностью всех благомыслящих старшин и любовью народною и потому был ненавистен Мазепе, который почитал Полуботка своим совместником и опасался его ума, веря, что разум только пригоден на козни, к гибели соперников.

Все желания, все помышления Полуботка клонились к одной цели: к сохранению прав Малороссии, которые он почитал столь же священными, как самую веру, и пока он был убежден, что Мазепа намерен сохранять и защищать сии права, он был искренно предан гетману и даже способствовал его возвышению. Но уверившись в коварстве и в себялюбии Мазепы, Полуботок возненавидел хитрого честолюбца и хотя не выходил никогда из пределов повиновения, но с твердостью защищал права народные и безбоязненно говорил гетману правду. Зная, что Мазепа наблюдает за всеми речами и поступками его, Полуботок был осторожен, однако ж, по врожденной ему откровенности, не мог всегда скрывать ненависть

ти своей к притеснителю Малороссии и иногда, хотя неясно, обнаруживал свой образ мыслей пред искренними друзьями. Уже было далеко за полночь, когда пришли к нему Стародубовский полковник Иван Ильич Скоропадский, Нежинский Лукьян Яковлевич Жураковский и Миргородский Даниил Апостол. Полуботок с нетерпением ожидал вестей и весьма обрадовался посещению своих товарищей.

— Скажите, братцы, что это за шум, что за скачка на улицах, в эту пору, в глухую ночь? — сказал Полуботок вошедшим полковникам.

— Сказывают, что посланцы Палеевы хотели убить гетмана, в его дворце, — отвечал Апостол. — Одного из них поймали, а другой ушел.

— Счастливейший путь! — примолвил Полуботок, улыбаясь. Потом, помолчав несколько, сказал: — Знаете ли что, братцы? Я не верю всем этим рассказам! Не так глуп Палей, чтоб подсылать убийц в Батурин, в гетманские палаты, которые оберегаются с большим усердием, чем наши малороссийские права. Да если б он это и вздумал, то не послал бы на такое опасное дело первых своих любимцев, письменных своих есаулов. Он нашел бы в своей удалой вольнице довольно головорезов, которые бы давно уже сняли голову, как шапку, с нашего ясновельможного князя! Все это пустое! Гетман не страшен Палею так, как нам, грешным, и он в своей Белой Церкви едва ли не сильнее нашего пана гетмана, которого полки подмазывают колеса в царском обозе да гоняют стада за московским войском¹. Я скорее бы поверил, если бы что-нибудь подобное случилось в Белой Церкви!..

— Воля твоя, Павел Леонтьевич! — возразил Скоропадский. — А уже здесь есть что-то недоброе. Я говорил со сторожевым сердюком, и он сказал мне, что есаула Огневика поймали в самом гетманском дворце и что он не хотел сдаваться живой...

— Так что же? убили его? — спросил Полуботок.

— Нет, сам гетман вышел и уговорил его сдаться... — отвечал Скоропадский.

— Сам гетман! Итак, он не так опасно болен, что не может встать с постели или в постели выслушать нас! — примолвил Полуботок. — Я не хочу судить о деле, которого не знаю в точности, но как гетман уже выходил из комнаты, то завтра же пойду к нему, чтоб он выслушал меня. Что за чуде-

¹ Старшины казацкие сильно негодовали на полководцев Петра Великого, которые употребляли более в дело регулярную конницу, а казакам поручали обозную службу.

сного исцелителя привезли из Польши! — примолвил он насмешливо. — Сказывали, что гетман лежит почти без языка и без дыхания, а лишь появился польский лекарь, так ясновельможный наш пан в ту же ночь стал расхаживать и говорить, да еще так убедительно, что убийца отдался ему живой в руки!

— Недаром Польша так мила нашему гетману!

Правда, что у гетмана не сходит с языка похвала Польше и всему польскому, а милости получает он втихомолку от русского царя, — сказал Жураковский. — Как Малороссия Малороссией, ни один гетман не был так награжден от царей, как нынешней: он и князь, и Андреевский кавалер, и действительный тайный советник, и вотчинник в Великой России... Уж не знаю, чего ему было желать!

— Ни нами сказано, — примолвил Полуботок, — что чем более дают, тем более хочется; а есть еще такие вещи, которых царь дать не может или не захочет. Ты помнишь, что сказывали Кочубей и Искра в своем доносе?

— Эй, побереги себя, Павел Леонтьевич! — сказал Скоропадский. — Уж ты был раз в тисках за твой язычок; смотри, чтоб в другой раз не попасть в гетманские клещи! Как нам сметь припоминать о доносе, за который враги пана гетмана положили головы на плаху!

— Я ведь не доношу на гетмана, а говорю о деле, всем известном и обнародованном! — возразил Полуботок.

— Нет, воля твоя, Павел Леонтьевич, а я никак не верю, чтоб гетман имел намерение отложиться от России и отдаться в подданство Польше, как доносили царю Искра и Кочубей, — сказал Жураковский. — Наш гетман человек умный и знает, что ему нельзя этого сделать без нас и без воли целого войска, а нет сомнения, что каждый из нас скорей полезет в петлю, чем покорится Польше! Дались нам знать, польские паны и ксензы, и об них такая же память в народе, как предания о чертях да о ведьмах.

— А я знаю, что есть люди в Украине, которые иначе думают, как мы с тобою, Лукьян Яковлевич! — возразил Полуботок. — И эти люди говорят: «Не будь Палея да Самуся за Днепром, так поляки давно бы расхаживали по Киеву и по Батуруну!»

— Их и теперь довольно здесь, — примолвил Жураковский. — Почти вся дворян гетманская из поляков!..

— Теперь они служат здесь, а им хочется господствовать, — отвечал Полуботок. — Но полно об этом. Завтра, братцы, надобно всем нам идти поздравить гетмана с благополуч-

ным избавлением от измены и убийства, и я произнесу ему поздравительную речь!..

— Да полно тебе играть с огнем, Павел Леонтьевич! Обожжешься! — сказал Скоропадский.

— Я не шучу и божусь вам, что пойду завтра поздравлять гетмана, — примолвил Полуботок.

— Да ведь ты не веришь ни измене, ни покушению на убийство гетмана! — возразил Скоропадский.

— Верю или не верю — это мое дело, — отвечал Полуботок. — Но пока Полуботок полковник черниговский, а пан Мазепа гетман малороссийского и запорожского войска, до тех пор Полуботок должен наблюдать все обычаи, какие были при прежних гетманах.

— Ну так и нам идти с тобой же? — спросил Скоропадский.

— Без сомнения! Уж когда Полуботок кланяется гетману, так нам должно падать ниц пред ним, — примолвил Журавковский.

— Полуботок кланяется не гетману, а гетманской булаве, — возразил Полуботок. — Но пора почивать, братцы! Прощайте! Завтра, может быть узнаем более.

ГЛАВА III

Каких ни вымышляй пружин,
Чтоб мужу бую умудриться,
Не можно век носить личин,
И истина должна открыться.

Державин

На другой день Мазепа не принял старшин и назначил им свидание в воскресенье, чрез трое суток. Генеральные старшины и полковники собрались в сей день во дворце гетманском. Генеральный войсковой писарь, Орлик, как первый чиновник после гетмана, ввел их в приемную залу. Гетман был в зеленом бархатном кафтане русского покроя, с золотыми застежками и широкими золотыми петлицами¹ от верху до низу, подаренном ему царем Иоанном Алексеевичем, при милостивой грамоте, за верную службу. Старшины и полковники были в польском платье, в длинных шелковых кафтанах, называемых жупанами, сверх которых надеты были суконные кунтуши с прорезными рукавами. Все они подпоя-

¹ В таком кафтане автор видел современный портрет Мазепы.

саны были богатыми парчовыми кушаками, при саблях, в красных сапогах; головы у всех были обриты в кружок, а на верху оставлен был хохол, и все носили длинные усы, но брили бороды. Только один Мазепа и Войнаровский не подбрасывали волос на голове. Орлик провел войсковых старшин по парадной лестнице, на которой стояли сердюки, с ружьями на плечах. Они одеты были в синие кунтуши с красными воротниками и красными выпушками по швам, имели низкие шапки с черным бараньим околышком и красным верхом; подпоясаны были красными шерстяными кушаками, имели сабли и черные ременные перевязи, на которых висели небольшие пороховницы с гербом Малороссии. Стены обширной залы обиты были красными кожаными обоями под лаком, с золотыми цветами, а на стенах висели портреты, писанные масляными красками, царей: Алексея Михайловича в старинном наряде; Петра Великого в мундире Преображенского полка; Феодора и Иоанна Алексеевичей в русском платье и гетмана Хмельницкого в польской одежде. На обоях приметны были четверугольные пятна, где висели портреты бывшей правительницы царевны Софьи Алексеевны и любимца ее, князя Голицына, которые прозорливый гетман велел снять со стены после заключения правительницы в монастырь и ссылки Голицына. Гетман сидел в конце залы в больших креслах, обитых бархатом, положив на подушки ноги, завернутые в шелковое одеяло на лисьем меху. Возле кресел гетмана стоял русский полковник Протасьев, в мундире Ингерманландского драгунского полка. Он находился при гетмане для наблюдения за порядком во время прохода великороссийских полков чрез Малороссию. Гетман знал, что он имеет тайные поручения от не благоприятствующего ему князя Меншикова и явного врага его, фельдмаршала графа Бориса Петровича Шереметева, и потому был осторожен с полковником и весьма ласкал его. Для него поставлен был стул, но он не садился, из уважения к гетманскому сану и к старшинам, которые должны были стоять в присутствии надменного повелителя Малороссии.

Генеральные старшины и полковники, вошед в залу, низко поклонились гетману и стали полукругом. Тогда Павел Леонтьевич Полуботок выступил на середину залы и, поклонившись еще раз гетману, произнес громким голосом:

— Ясневельможный гетман, наш милостивый предводитель! Вельможные генеральные старшины и полковники верного царского войска малороссийского поручили мне изъяс-

вить пред вами общие наши чувствования. Распространился слух, что, за несколько дней пред сим, провидение избавило вас от убийцы. Благодаря бога за покровительство нашему предводителю, мы поздравляем вашу ясневельможность и желаем вам здоровья и благоденствия на многие лета!

Сказав сие, Полуботок еще поклонился гетману и стал на свое место.

Гетман смотрел проницательно на Полуботока. Сухость речи его и холодная важность в голосе и во всех приемах обнаруживали, что поздравление излилось не из сердца. Лицо Мазепы, однако ж, казалось светлым, на устах была улыбка, но нижняя губа его двигалась судорожно, челюсть дрожала, глаза искрели и придавали физиономии вид злобный и вместе насмешливый. Мазепа поглядывал кругом так весело, как смотрит голодный волк в отверзшие овчарни, избирая верную добычу. Помолчав немного, он сказал:

— Благодарю вас, вельможные паны, за ваши желания и поздравления; надеюсь, что они искренни, по крайней мере у большей части панов генеральных старшин и полковников, то есть у тех, которые знают меня коротко и постигают мою любовь и усердие к общему благу. Всевышний, покровительствующий народ Малороссийский, избавивший его уже однажды от чужеземного ига, как израильтян из неволи египетской, правосудный Господь, видимо, хранит меня от убийц и злейших врагов, нежели убийцы — от предателей и клеветников. В искренности чувств моих, я верю, что Он хранит меня для утверждения благоденствия Малороссии, под мощным скиптром всемилостивейшего государя нашего и моего благодетеля, его царского величества, которого волею я живу, дышу, мышлю и движуся! Под покровом Провидения и под защитой всемилостивейшего моего государя и благодетеля не боюсь я ни измены, ни клеветы! Еще происшествие, о котором вы вспомнили, не совсем объяснилось, то есть еще не исследована вся гнусность измены и предательства, но злой умысел открыт и опасность, угрожавшая в моем лице всему войску, отвращена. Не помышляю я о себе, ни о бренном моем существовании, но моллю Бога, да сохранит храброе царское войско малороссийское, нашего всемилостивейшего государя и моего благодетеля и верных моих сотрудников в тяжком и славном деле управления! — Мазепа, окончив речь, приветствовал собрание наклоном головы, и старшины снова поклонились гетману.

После некоторого молчания, Мазепа примолвил:

— Прошу извинить меня, слабого и недужного, что я задержал вас так долго в Батурине, вельможные паны! Я ожидал и ожидаю ежечасно повелений от его царского величества, нашего всемилостивейшего государя и моего благодетеля, и потому не мог исполнить желание ваше и распустить по домам ваши сотни, которые находятся на польской границе. Между тем прошу вас, вельможные паны, возвратиться теперь в свои полки и продолжать ревностно приготовления к походу. Быть может, скоро наступит пора, что всем нам, без исключения, старым и малым, придется взяться за оружие.

— Об этом именно мы и хотим переговорить лично с вами, ясневельможный гетман! — сказал Полуботок. — В прошлом году саранча опустошила Малороссию и скотский падеж довел до бедности даже зажиточных казаков. Все доходы, которые прежде поступали в полковые скарбы, ныне отсылаются в скарб войсковой, и мы, полковники, не имеем средств одеть и вооружить как следует полное число казаков и дать помощь неимущим. Мы просим вас всепокорнейше, ясневельможный гетман, исследовать сие дело и помочь нас высокою своею мудростью!

— Давно ли ты усомнился в своей собственной мудрости, пан полковник Черниговский, что вздумал прибегнуть к моей? — отвечал Мазепа насмешливо, обращаясь к Полуботку. — Разве ты не знаешь, что сделано и что делается на деньги, которые поступают в войсковой скарб? На счет каких доходов содержатся Компанийские полки, сердюки и артиллерия? На какие деньги строятся и украшаются храмы Божии? Из каких доходов воспитывается наше юношество в Киевской Академии? Не хочешь ли ты, чтобы я тебе отдал отчет в доходах и расходах войскового скарба? Послушай, пан полковник Черниговский! если мы станем рассчитывать, то едва ли не все вы останетесь внакладе! И в какое время ты заговорил о деньгах, о помощи! — когда отечеству угрожает опасность; когда все подданные его царского величества, всемилостивейшего государя нашего и моего благодетеля, должны жертвовать жизнью и последним имуществом для низвержения врага, осмеливающегося называться непобедимым!

— Извольте послушать, господин полковник! — примолвил Мазепа, обращаясь к Протасьеву. — Вот какое усердие нахожу я в некоторых из моих подчиненных! Слава Богу, что их не много и что я их знаю! Прошу вас, господа, ехать домой и приготовляться к походу; а если которому полковнику неостанет средств к поданию помощи неимущим каза-

кам, то я сам помогу им, из доходов от ранговых¹ полковничьих маетностей.

— Осмеливаюсь доложить вам, ясневельможный гетман! — сказал Полуботок. — Что я не отказывался от пособия неимущим казакам ни из ранговых маетностей, ни из собственного моего имущества; но, на основании дарованных нам прав, изложил пред вами, как пред начальником, состояние наших полков, не зная намерений и средств других полковников к поданию помощи разоренным казакам. В старину помощь сию давал войсковой скарб по представлению полковников, которые, на основании дарованных прав...

Гетман прервал слова Полуботка и сказал:

— В старину все козни делались именем дарованных прав, о которых ты беспрестанно толкуешь, пан полковник Полуботок. Но я знаю права не хуже тебя, и я один хранитель и исполнитель сих прав, всемилостивейше подтвержденных его царским величеством! Правда, что я иногда отступаю от сих прав, но только к собственному вреду моему, а не ко вреду войска. Нарушением сих прав я даровал свободу тебе и твоему отцу и возвратил вам имущество, полковник Полуботок, после ложного и злобного на меня доноса, составленного изменником Забелю с его клеветами. Но память твоя так загромождена правами, что ты забыл это, полковник Полуботок, и, верно, хочешь, чтоб я припомнил тебе возобновлением прошедшего!.. Прощайте, вельможные паны! С Богом, по домам — и за дело! Ты, Чечел, останься!

— Я был и есмь не виновен!.. — примолвил Полуботок; но гетман не хотел более слушать его и снова, прервав речь его, повторил:

— Прощайте, вельможные паны, до свидания!

Генеральные старшины и полковники вышли из залы, поклонясь гетману. Остался Орлик, Войнаровский, Чечел и царский полковник Протасьев:

— Вы видите, какой крамольный дух обнаруживают мои полковники, — сказал Мазепа Протасьеву, — я ежедневно опасюсь здесь восстания и измены; а между тем его царское величество, всемилостивейший государь наш и мой благодетель, по внушениям неприятных мне вельмож, которых я не хочу называть, беспрестанно понуждает меня высылать по несколько тысяч казаков к царскому войску! Для пользы службы царской и для защиты священной особы его вели-

¹ Каждый полковник и генеральный войсковой старшина имел по чину своему деревню, которую владел до тех пор, пока был на месте. Сии имения от слова ранг, чин назывались ранговыми.

чества, я готов отдать жизнь мою, и если б здоровье мое позволило, сам сел бы на коня и сражался в рядах, как простой казак, когда б это было нужно и угодно его царскому величеству. Но теперь, когда носятся слухи, что неприятель намерен вторгнуться в Россию, когда в Польше приверженцы Станислава Лещинского и враги его царского величества вооружаются на наших границах, возмущают Запорожье и заводят связи на Дону и у нас; когда измена уже открывается в самой Украине,— я должен иметь при себе все полки мои¹, чтоб противустоять внешним и внутренним злодеям его царского величества. Полковники мои нарочно высылают лучших и вернейших людей к войску царскому и оставляют в полках самых бедных и самых своевольных казаков, которых легко совратить с истинного пути и вовлечь в измену. В таком положении нахожусь я, верный слуга царский, и мысль, что я, при желании пользы, могу быть неугоден его величеству, моему благодетелю, увеличивает болезнь мою, убивает меня!..

Мазепа замолчал и закрыл лицо руками, опустив голову на грудь.

— Вам известно, князь! — отвечал полковник Протасьев. — Что я прислан сюда по царскому повелению, единственно для наблюдения за порядком во время прохода великороссийских полков чрез войсковые малороссийские земли и для защиты здешних жителей от обид и притеснений. Я не имею права вмешиваться ни в какие дела, не касающиеся до моего поручения, и не смею судить о положении сего края. Только из преданности к вашей особе, как честный человек, я расспрашивал господина генерального писаря о происшествии, случившемся в вашем доме, которое наделало много шума в Батурине и, вероятно, дойдет до царя... По службе моей, я даже не смею и об этом спрашивать!..

Мазепа значительно посмотрел на Орлика и на Войнаровского и отвечал Протасьеву голосом простодушия:

— Я знаю ваше поручение и если открыл пред вами душу мою, то не как пред царским чиновником, но как пред любезным мне человеком, которого я уважаю и почитаю моим искренним приятелем. Открылся я вам по врожденной мне откровенности и простодушию! Что же касается до последнего происшествия, так вот в чем все дело. Палей подкуплен поляками и шведами. Зная мою непоколебимую верность к

¹ Со времени рождения мысли об измене, Мазепа употреблял все усилия, чтобы сохранить при себе полки свои, и беспрестанно сказывался больным, чтоб избежать похода.

его царскому величеству, он вознамерился спровадить меня на тот свет изменнически, будучи не в силах погубить клеветой, чрез своих единомышленников в моем войске. Посланный Палеем убийца во всем признался и покаялся — а я, гнушаясь мстью и следуя внушению сердца, дал ему свободу. Об этом я буду писать к его царскому величеству, лишь только силы позволят мне взяться за перо. Враги мои, вероятно, составят из этого какую-нибудь сказку, к моему же вреду! Бог с ними! Я помышляю не о себе, а о пользе службы его царского величества и о благосостоянии вверенного мне войска. Все прочее предоставляю воле Божией и царской. Но полно о делах! У меня есть до вас просьба. Вы отличный ездок и знаток в лошадях. Сделайте мне одолжение и возьмите себе моего гнедого турецкого жеребца. Я знаю, что он вам нравится, а мне он вовсе не нужен и только напрасно занимает место в конюшне. Мне, дряхлому старцу, уж нельзя ездить на таких конях! Мое время прошло. Вам же этот конь будет пригоден!

Полковник Протасьев смешался. Ему хотелось иметь эту лошадь, но он не смел принять ее в подарок, опасаясь толков и доноса от врагов гетмана при дворе царском.

— Покорно благодарю вас, князь! — сказал он прерывающимся голосом, потупя глаза. — Чувствую в полной мере ваше великодушие, но не могу принять такого дорогого подарка... Всем известно, что вы заплатили за этого жеребца триста червонцев... Это слишком много для приятельского подарка!

Мазепа прервал слова его:

— Полно-те, полно, полковник! Кто вам может запретить принять подарок от приятеля? Ведь вы находитесь здесь без всякого особенного поручения в отношении к моей особе, следовательно, мы можем обходиться между собою как друзья, как независимые друг от друга люди. Лошадь ваша — и ни слова об этом! Она уже в вашей конюшне, и я уверен, что вы не захотите обидеть меня отказом. Уверю вас, что вы мне оказываете услугу, принимая этот маловажный подарок, потому что мне весьма хочется, чтоб эта лошадь была в хороших руках, у знатока и охотника, когда не может служить мне самому. Прощайте, дорогой приятель! Я чувствую начало моего подагрического припадка. Орлик! Войнаровский! проводите меня в мою спальню! Чечел! подожди в канцелярии моих приказаний! — Не дав полковнику Протасьеву объясниться, Мазепа сделал ему приветствие рукою, встал с кресел и, опираясь на плечи Орлика и Войнаровского, вышел из залы. Протасьев поклонился гетма-

ну и вслед ему повторил благодарение за подарок, который был весьма приятен ему, как страстному охотнику до лошадей. Вышед из залы вместе с Чечелом и проходя чрез комнаты, Протасьев слушал терпеливо преувеличенные похвалы гетману, которого превозносил до небес Чечел, преданный ему искренно. Стража, расставленная на лестнице, расположилась в своем обычном месте, в обширных сенях нижнего яруса, у входа в гетманский дворец и в ближней комнате. Во дворце водворилась прежняя тишина.

Когда Мазепа уселся в своих креслах, он посмотрел весело на своих приверженцев и громко захохотал.

— Хитер москаль, — сказал он, — но и малороссиянин не бит в темя! Протасьев думает, будто мы люди простенькие и не знаем, что он шпион Меншикова и Шереметева, приставленный ко мне, чтобы наблюдать за всеми моими речами и поступками! Меншикову хочется быть гетманом, и он свернул бы шею родному отцу, чтоб сесть на его место. Шереметев поклялся погубить меня за то, что я избавил Малороссию от неспособного и слабодушного гетмана Самойловича, его тестя. Но у меня есть приятели при царском дворе, и чрез них я знаю вперед все замыслы моих врагов. Трудно им провести меня при всем моем простодушии! Но признаюсь вам откровенно, верные друзья мои, что это положение между жизнью и смертью, между милостию сильных и погибелью наконец мне наскучило. Мореходец и воин имеют время отдыха и безопасности; я же должен бодрствовать непрерывно, целую жизнь, и днем и ночью, чтоб отклонять козни врагов моих и блюсти милость царя, который одним грозным словом своим может лишить меня, как моего предместника, Самойловича, жизни, чести и имущества! Это грозное слово висит над головою моею, как меч Дамоклеса, на одном волоске, и я должен наконец разорвать этот волосок и обрушить меч — на главу врагов моих и завистников! Сердце разрывается у меня на части, когда я подумаю об вас, друзья мои! Какая участь постигнет тебя, верный мой Орлик, когда врагам моим удастся свергнуть меня с гетманства и разделить Малороссию между русскими вельможами, под управлением великороссийских воевод?

— Я не доживу до этого! — воскликнул Орлик с жаром. — И скорее погибну, нежели дождусь уничтожения нашего войска, вашего несчастья...

— Конечно, лучше, во сто крат лучше погибнуть, чем пережить позор! — отвечал Мазепа. — Но пока мы живы и целы,

нам должно помышлять об отвращении угрожающей нам опасности. В голове моей созрела мысль, которая если исполнится, то может избавить нас навсегда от опасностей и страха. Мы потолкуем с тобой об этом на досуге, верный мой Орлик, избранное чадо моего сердца, сладкий плод моей головы! Тебя я воспитал и возвысил для подпоры моей старости и для блага моего отечества и тебе поручу судьбу моего рода и моего отечества! Обнимитесь при мне, дети мои!..

Войнаровский и Орлик бросились в объятия друг другу и потом начали целовать руки гетмана. Они были растроганы и не могли ничего говорить. Слезы навернулись у Войнаровского. Мазепа закрыл платком глаза.

— Жить и умереть для тебя — вот мой обет! — воскликнул Орлик. — Скажи одно слово — и эта сабля сразит твоего врага, хотя бы он стоял на ступеньках царского престола! С радостью пойду на смерть и мучения, чтоб только доставить спокойствие тебе, моему отцу и благодетелю!

— Поди ближе к сердцу моему, обними меня, мой верный Орлик! — сказал Мазепа. — Я всегда был уверен в тебе и сегодня же дам тебе самое убедительное доказательство моей беспредельной к тебе доверенности. Сегодня ты узнаешь тайну, от которой зависит более нежели жизнь моя!

Разговор пресекся на некоторое время. Мазепа радовался внутренно, что нашел в Орлике готовность содействовать замышленной им измене, но не хотел открываться при Войнаровском, намереваясь воспламенить еще более своего любимца надеждою на наследство. Он хотел уже выслать его, под предлогом своей болезни, но Орлик прервал молчание и сказал:

— Простите моему усердию, ясновельможный гетман, если я осмеливаюсь сделать некоторое замечание насчет вашего ответа Протасьеву о нашем пленнике. Вы изволили сказать, что он отпущен и сознался в том, что подослан Палеем умертвить вас, а между тем Огневик находится в темнице и еще не допрошен. Я боюсь, что если Протасьев проведает об этом, то может повредить вам, ясновельможный гетман!

— Не опасайся, я все обдумал, — отвечал Мазепа. — Конечно, я сам той веры, что тайна тогда может называться тайною, когда известна только двум человекам. Но в этом случае некому изменить нам. На моего татарина и на верных казаков моих, Кондаченка и Быевского, которых мы употребим при допросе Огневика, мы можем смело положиться, а иезуит Заленский сам имеет надобность в сохранении тайны. Чем бы ни кончился допрос, сознанием или отрицательством,

Огневик, по твоему же рассуждению, Орлик, не должен более видеть свету Божьего; итак, допросив его, мы освободим душу его от земных уз, а после этого сказанное мною Протасьеву об его освобождении будет совершенная правда! Прикажи Чечелу, чтоб он послал разъезды по всем дорогам. Чего ждать доброго от бешеного Палея! Пожалуй, он готов напасть на меня открытою силой. Да скажи Кенигсеку, чтоб он выкатил все пушки на валы и содержал вокруг крепости строгие караулы. Но, пожалуйста, растолкуй Чечелу и Кенигсеку, чтоб они все это делали, как будто для приучения людей к полевой и крепостной службе, не подавая виду, что это делается из опасения и предосторожности. Народ никогда не должен знать, что правитель его опасается чего-нибудь. Ступайте с Богом!

Войнаровский и Орлик вышли, и Мазепа занялся чтением писем, полученных им из России и из Польши.

Прошло две недели, и Огневик томился в цепях, во мраке, поддерживая угасающую жизнь черствым хлебом и полусгнившею водою. Он никого не видал в это время, кроме своего стража, который дважды в сутки отпирал его темницу и подходил к нему с лампадою в руках, чтоб удостовериться, жив ли он. Мазепа медлил приступить к допросу и пытке несчастного, хотя участь его уже была решена. В первый раз в жизни свирепый и мстительный Мазепа чувствовал жалость к чужому человеку и не постигал, каким образом чувство сие могло вкратиться в душу его и что удерживало его от истязания явного врага. Гетман только один раз в жизни видел Огневику, но образ его беспрестанно представлялся его воображению и тревожил его сердце. Мазепа, во время мучившей его бессонницы, припоминал себе гордый вид и мужественную осанку Огневику, противоборствующего толпе яростных сердюков, и его открытый, ясный взор, когда, надеясь на слово гетмана, он покорился его воле. Даже звук голоса Огневику имел необыкновенную приятность для Мазепы. «Если б этот человек захотел передаться мне,— думал Мазепа,— я осыпал бы его золотом. Чувствую в нем присутствие великой души, способной на все отважное, отчаянное, а таких-то людей мне теперь и надобно. Иезуит говорит, что обширность ума его равна твердости его характера. Какой бы это был клад для меня! Проклятый Палей! Нет, ты не будешь пользоваться им! Он умрет! Он должен умереть! Но мне жаль его. Сокол не терзает сокола, и львы вместе ходят на добычу. Этот Огневик создан по размеру Мазепы, и оттого-то сердце мое сожалеет его. Но дело реше-

но! Я должен переломить лучшее орудие Палеево. Смерть Огневику, а перед смертью — пытка!»

Накануне дня, назначенного к пытке, Мазепа был угрюм и скучен. Для рассеяния себя он послал вечером за женщиной, которая некогда пользовалась его любовью и даже после прохладения любви умела сохранить его благосклонность. Пример единственный, ибо Мазепа обходился с людьми, как своенравное дитя обходится с игрушками: бросал их или уничтожал, когда они ему были не нужны или немилы.

Только двух страстей не могла обуздать сильная душа Мазепы: властолюбие и женолюбие. Они, от юности до старости его, управляли им самовластно и подчиняли себе и глубокий ум его и коварное сердце. Для достижения цели, предначертанной властолюбием, и для приобретения любви женщины Мазепа жертвовал всем — жизнью, честью, дружбою, благодарностью и сокровищами, собираемыми с усилием, всеми непозволенными средствами. Но властолюбие и женолюбие в душе Мазепы лишены были тех свойств, которые облагораживают человека, даже в самых заблуждениях страстей. Мазепа искал власти и дорожил ею, как разбойник ищет смертоносного оружия и бережет его, чтоб иметь поверхность над безоружным странником, и любил женский пол, как тигр любит кровь, составляющую лакомую его пищу. Все ощущения души Мазепы основаны были на себялюбии, и потому-то, не обуздываемый ни верою, ни добродетелью, он успевал во всех своих желаниях, при помощи хитрого своего ума и золота. В сорокалетнем возрасте он возвысился на первую степень могущества в своем отечестве и пользовался любовью красавиц, даже будучи в тех летах, когда мужчина не может вселять других чувств, кроме дружбы и уважения. Последняя любовная связь его с дочерью генерального писаря Кочубея и ужасные ее последствия, навлекшие гибель на целый род сего малороссийского чиновника, возбудили негодование во всех благомыслящих людях и ужаснули людей простодушных. В народе носились слухи, что гетман водится с колдуньями и волшебниками и носит при себе талисманы, имеющие силу очаровывать женщин. Легковерные родители и мужья трепетали за дочерей и за жен своих, боясь волшебства; благоразумные страшились ухищрений сладострастного гетмана. Но люди бессовестные и развратницы пользовались сею слабостью своего повелителя и ценою чести приобретали богатство и почести для себя и для своих родных. Мазепа был непостоянен в любви, и потому все удивлялись, что одна женщина имела к нему доступ и пользовалась его

милостью в течение многих лет, невзирая на другие любовные связи гетмана.

Сию любимицу свою Мазепа вывез из Польши во время первого похода и вскоре после того выдал замуж за старого урядника из своих телохранителей, Петрушку Ломтика, которому он велел называться Ломтиковским и произвел его в сотники. Марья Ивановна Ломтиковская обходилась с мужем своим, как со слугою, и только при гостях позволяла ему садиться с собой за стол. Старый казак вовсе не обижался этим и был доволен своею участью, живя в достатке, в особом отделении дома. Ломтиковская хотя уже имела лет под тридцать, но сохранила всю красоту и всю свежесть юности. Она одевалась богато и любила наряжаться в польское платье, чтоб показывать свои прекрасные, черные, как смоль, волосы, которые замужние малороссийские женщины, по обычаю своему, должны были скрывать под головными уборами, или намешкою. Черты лица ее были правильные. Орлиный нос, небольшие розовые уста, оживленные нежною улыбкою, белые как снег зубы, густой румянец и пламенные черные глаза, окруженные длинными ресницами, составляли вместе самую приятную физиономию. Ломтиковская имела ум хитрый, проницательный, но игривый, и притом веселый нрав. Мазепа любил ее беседу, которая разгоняла его мрачные думы и доставляла рассеяние при важных занятиях. Но привыкнув пользоваться всем для выгод своих, он употреблял ее для шпионства и отпускал ей значительные суммы денег для подкупа слуг войсковых старшин и для заведения приятельских связей с женами нижних чиновников, имеющими доступ к семействам малороссийских вельмож. Гетман верил ей более, нежели другим своим лазутчикам, думая, что собственная польза должна внушать ей к нему верность. Знатные малороссийские женщины не допускали ее в свое общество, но многие из войсковых старшин, в угодность Мазепе, навещали ее и старались снискать ее благоволение лестью и подарками, употребляя ее иногда, как орудие, для оклеветания врагов своих перед гетманом. Никто не знал ни родственников Ломтиковской, ни настоящего ее происхождения, ни отчества. Она исполняла все наружные обряды греко-российской церкви и ежегодно ездила в Киев говеть и поклоняться мощам святых угодников. Но люди простодушные и легковверные, особенно женщины, основываясь на народных толках, были убеждены, что Ломтиковская занимается волшебством; что она только для обмана христиан исполняет закон, по наружности, и что она ездит в Киев не для

богомолья, но для совещания с ведьмами, на Лысой горе.

Ломтиковская за несколько дней перед сим возвратилась из Киева. Она узнала, чрез своих лазутчиков, что в Батурин приехала из Варшавы девица, в сопровождении одной пожилой женщины и управителя гетманского, поляка Быстрицкого. Гетман скрывал ее две недели в замке своем, Бахмаче, под Батурином, и перевез в город во время своей болезни. Ломтиковская, при всем усилии своем, не могла проведать, кто такова новоприбывшая красавица, с которою гетман обходится весьма важно, но почтительно и никогда не оставался с нею без свидетелей. Кроме Орлика и двух племянников гетмана, Войнаровского и Трощинского, никто даже не видал ее, и Ломтиковская могла только узнать от слуг, что прибывшая девица необыкновенная красавица и имеет не более осьмнадцати лет от рождения, говорит по-польски и по-малороссийски, исповедует греческую веру и нрава печального, любит уединение и часто плачет. Не ревность, сия мучительная спутница истинной любви, терзала сердце Ломтиковской, но зависть, свойственное женщинам любопытство и наконец страх лишиться милостей и доверенности гетмана тревожили душу ее. Она боялась влияния польки на ум старца, зная ловкость польских женщин и их искусство к овладению сердцем мужчины. Истошив бесполезно все средства пронирыливого своего ума к узнанию, кто такова гостья гетмана, Ломтиковская наконец решилась попытаться разведать о ней у самого гетмана, при первом удобном случае. Она знала, что гетман не любит расспросов, и предвидела всю трудность и всю опасность своего предприятия. Тысячи планов вертелись в голове ее, а когда ее позвали к гетману, она еще не избрала ни одного из них.

Немой татарин провел ее чрез задние двери в коридор, ведущий во внутренние комнаты гетмана. Было около десяти часов вечера. Гетман лежал на софе, в своем кабинете, и курил трубку из длинного, драгоценного чубука. На маленьком столике стояли две свечки, несколько скляночек с лекарствами и серебряный поднос с сухими вареньями. Татарин придвинул стул и удалился.

— Здравствуй, Мария! Садись-ка да Расскажи мне, что слышно нового в Киеве,— сказал гетман, не переменяя положения.

— Вы бы не узнали Киева, пан гетман! — отвечала Ломтиковская. — Печерская крепость, которую заложил сам царь, выросла как на дрожжах. А пушек-то сколько, а народу сколько! Царского войска множество, и конного и пешего,

да какие все молодцы! Как обрили бороды москалям, да как одели их в цветные короткополые кафтаны, так любо смотреть! Народ бодрый, красивый, веселый, и как станут в строй, так не хуже наших польских и саксонских солдат. Все говорят, что теперь будет худо шведу, если он вздумает вызывать царя на бой...

— Так говорят все дураки, а верят им бабы да храбрецы, которые помогают бабам прясть, сидя за печью, — возразил Мазепа с досадою. — Пускай бы противу меня выставили трех таких фельдмаршалов, как Шереметев да Меншиков, хоть бы с двумястами тысяч этих безбородых короткокафтанников... С одним моим казацким войском я бы припомнил им Нарву!.. Пошли бы снова наутек...

— Да в том-то и сила, что у шведа нет такого гетмана, как у царя московского! — сказала Ломтиковская. — Ведь пан гетман один на свете, как солнце!..

— А почем знать, может быть, у шведского короля и есть свой Мазепа, — примолвил гетман с улыбкою. — Дело еще впереди, и песенку еще не разыграли, а только гусли настроили. Сила русская в Киеве, а как швед возьмет Москву, так и Киев ему поклонится!..

— Шведы возьмут Москву! — воскликнула Мария Иванова. — Да об этом никто и не думает в Киеве!

— Потому, что там ни об чем не думают, а просто двигаются как воли в плуге, под плетью! Чай, воевода киевский, князь Голицын, куда как храбрится! — примолвил насмешливо Мазепа.

— Правда, что он не дремлет. С утра до ночи он на коне, то перед войском, то на крепостных работах; за всем сим смотрит, всем сам занимается и, как говорят, стал даже вмешиваться и в наши войсковые малороссийские дела и знает все, что у нас делается.

— Ого, какой любопытный! А ты знаешь польскую пословицу: что любопытство первая ступень в ад! Если мой приятель Шереметев приказал ему разведывать, что здесь делается, то я боюсь, чтоб он не выдрал ему после усов, когда выйдет на поверку, что сосед мой, киевский воевода, ничего не знал, ни про что не ведал! Не спозналась ли ты с ним, Мария, и не приманил ли он тебя московскими соболями, чтоб ты шепнула ему иногда, что здесь делается?

— Как вам не стыдно обижать меня, пан гетман! — сказала Ломтиковская с недовольным видом. — Мне и без московских соболей не холодно, по вашей милости, а если б я была уверена, что могу избавить вас от всех ваших врагов и завист-

ников, то с радостью бросилась бы в прорубь, в крещенские морозы!

— Я шучу, Мария! Я знаю, что ты не изменишь мне, если б даже был случай к измене. Но как я веду все дела начисто, служу царю верно и усердно, то не боюсь ни разведов, ни измены, ни козней врагов моих. Ты знаешь, что я человек простодушный, откровенный, и если благоразумие велит мне соблюдать некоторые предосторожности, то это единственно для сбережения друзей моих, которых участь сопряжена с моею безопасностью.— Мазепа, сказав это, посмотрел пристально на Ломтиковскую, чтоб увидеть, какое действие произвела в ней его ложь. Ломтиковская казалась растроганною, закрыла глаза платком и сказала со вздохом:

— За то и верные слуги ваши готовы за вас в огонь и в воду!

— Ну, а что ж толкуют обо мне в Киеве? — спросил Мазепа с притворным равнодушием.

— Ведь там языки не на привязи, там толков не оберешься,— отвечала Ломтиковская,— я жила в доме Войта Ковнацкого, к которому собираются русские офицеры, полковники и даже адъютанты Голицына и англичанина Гордона. Наслышалась я всякой всячины!

— Да что б такое говорят?

— На что повторять пред вами пустяки! Пользы от этого не будет, а вам будет неприятно...

— Но я непременно знать хочу, что такое ты слыхала про меня! Говори, Мария; я не люблю этого жеманства!

— Я, право, боюсь... Вы нездоровы, можете прогневаться, и это повредит вам!

— Давно бы мне пришлось лечь в могилу, если б злые толки причиняли мне болезни! Говори смело! Ты знаешь, что я привык к дурным вестям.

— Говорят, будто друг короля шведского, новый король польский, Станислав Лещинский, старается преклонить вас на свою сторону и заставить вас отложиться, с войском, от России...

— Так это новость в Киеве! — возразил Мазепа с улыбкою.— Об этом я сам уведомил царя!

— Сказывают, будто Станислав Лещинский прислал вам богатые подарки...

— Какой вздор! Казна короля Станислава столь же пуста, как голова тех бездельников, которые выдумывают на меня такие вещи. Если б король Станислав был в состоянии дарить, то он послал бы подарки не мне, а царским вель-

можам, например Меншикову, Шереметеву! Ведь московские паны куда как падки на подарки! А мне что он может подарить? Я едва ли не богаче короля Станислава!

— Говорят,— примолвила Ломтиковская, понизив голос,— что король Станислав прислал к вам с подарками... красавицу... польку... которую смолода обучали, как вести дела политические...— Ломтиковская, закрывая лицо платком, посмотрела исподлобья на Мазепу. Он быстро поднялся, присел на подушках и, устремив пламенный взор на Ломтиковскую, сказал:

— Как! в Киеве знают о прибытии сюда женщины из Польши! Мария! говори правду... не твоя ли это выдумка?

— Клянусь вам, пан гетман, всем, что есть святого, что я слыхала об этом в Киеве! — возразила она дрожащим голосом.— Даже адъютанты князя Голицына говорили об этом... Но я чувствовала, что мне надобно было молчать!..

— Хорошо! я напишу к Голицыну... Я скажу ему, кто такая эта девица... Пусть он узнает... Пусть узнает сам царь!..— сказал Мазепа прерывающим от гнева голосом.— Я окружен здесь изменниками, лазутчиками... Но на этот раз они жестоко обманутся... Я их открою!.. О, я открою их!..— Мазепа замолчал, снова прилег на подушки и чрез несколько времени, пришед в себя и как бы устыдясь своего гнева, сказал хладнокровно: — Все это пустое! На меня выдумывали не такие вещи и ни в чем не успели. А какая кому нужда до моей домашней жизни? Пусть себе толкуют, что хотят! Поврут, да и перестанут!

Но хитрая Ломтиковская видела ясно, что равнодушие Мазепы было притворное и что эта весть сильно поразила его и даже заставила, противу обыкновения, разгорячиться. Она решилась продолжать разговор и, приняв также хладнокровный вид, сказала:

— Не равны толки толкам. Один духовный сказывал мне в Киеве, что хотя царь и много уважает вас, но не перенесет равнодушно известия, что у вас находится женщина, подосланная врагами его из Польши. Я боюсь за вас, пан гетман!

— Да какой черт вбил тебе в голову эту мысль, что она подослана ко мне! Эта девица — моя собственность и была моею прежде, нежели королю Станиславу снилось о короне польской! Перестань молоть вздор, Мария!

— Да ведь это говорю не я, пан гетман! Я только пересказываю вам, что говорят в Киеве — и даже здесь... Мне кажется, что, вместо того чтобы объявлять Голицыну

или царю, кто такова эта девица, лучше б было, если б вы, пан гетман, сказали об этом верным своим друзьям и слугам — тогда они могли бы опровергнуть ложь и клевету...

— Целая Малороссия, целая Украина, весь мир узнает, кто такова моя гостья... Да, да, Мария, целая Малороссия и Украина преклонят пред ней колени... Слышишь ли, Мария! Но теперь не время... Чрез полгода, чрез год... а не теперы!..

— Я первая упаду ниц перед ней и готова поклоняться ей как божеству! Все друзья ваши, все верные ваши слуги давно уже молят Бога, чтоб вы избрали себе жену по сердцу, чтоб оставили наследника великого имени!.. Благодарю тебя, Боже, что наконец желание мое сбылось!.. — Коварная женщина подняла руки и взоры к небу и притворилась восторженною от радости.

Мазепа пожал плечами, покачал головою и сморщился от досады.

— Побереги свою радость и молитвы на другое время, Мария! — сказал он с язвительной усмешкой. — Скорее я обвенчаюсь с луною, чем с этою девицею! Но более ни слова об этом! Ни одного слова!.. Я приму меры, чтоб потушить клевету в самом ее начале. Спасибо за известие, хотя оно не стоит сломанного ешелега. Да скажи-ка мне, не слыхала ли ты чего здесь или в дороге о пойманном в доме моем убийце, подосланном Палеем?

— Я узнала об этом здесь и слыхала, что многие полковники никак не верят тому, что посланец Палеев хотел убить вас. Они думают, что все это выдуманно для того только, чтоб погубить Палея в мнении царя. Могу поручиться вам, что Палей имеет весьма много друзей в войске русском и здесь и что он найдет между старшинами и между простыми казаками много таких, которые поверят ему более, нежели вам. В целой Малороссии и Украине Палея чтут и уважают, как другого Хмельницкого, как народного витязя... И я не раз слыхала, что если б пришлось избрать гетмана вольными голосами, то Палей, верно, был бы гетманом!

— Ну вот потому-то Палей и хочет извести меня, а они для того хотят Палея, чтоб своевольничать безнаказанно! И вот меня же обвиняют! Да что смотреть на вражеские речи! Им я ничем не угрожу... Нас с Палеем рассудит — смерть или... Но я чувствую себя нездоровым; прощай, Мария! Мы потолкуем с тобою в другое время, а между тем ты прилежно наблюдай за всеми моими недоброжелателями и старайся открыть, кто из них переписывается с русскими

чиновниками. Полковника Протасьева ты опутай кругом паутиной, чтоб муха не добралась к нему без твоего ведома. Я велю Быстрицкому выдать тебе нужные деньги... Прощай, Мария! — гетман захлопал в ладоши и дал знак вошедшему татарину, чтоб он проводил Ломтиковскую. Она вышла в крайней досаде, что не могла ничего узнать о таинственной гостье.

ГЛАВА IV

...А ты, свирепый зверь,
Моей главой играй теперь!
Она в твоих когтях...

А. Пушкин

По наступлении вечера Мазепа с нетерпением ожидал в своем кабинете возвращения иезуита, патера Заленского, которого он послал в темницу к Огневику, чтоб уговорить его к открытию замыслов Палея и к признанию в покушении на жизнь гетмана.

С печальным лицом вошел иезуит в комнату и, сложа руки на груди, не говорил ни слова.

— Ну что ж, признался ли он? — спросил Мазепа, едва переводя дух.

— Он стоит все на одном, что не покушался на жизнь вашу и ничего не знает о намерениях Палея, кроме того, что объявил вам, ясновельможный гетман!

— Итак, он упорствует... Нечего делать! — сказал Мазепа и, помолчав, примолвил с жаром: — Или я извлеку тайну из души его, или извлеку из него душу!

— Признаюсь вам откровенно, — возразил иезуит, — что мне весьма тяжело было видеть его в таком несчастном положении. Он был моим учеником, и я невольно чувствую к нему некоторую привязанность, а зная нрав его, не думаю, чтоб он был в состоянии лгать и заперяться. Страдания его трогают меня, и если он должен умереть...

— Он должен умереть! — воскликнул Мазепа. — Этого потребует безопасность моя и успех нашего великого предприятия. Мне самому жаль его, патер Заленский! Но... что значит жизнь одного незначительного человека, когда идет дело об участии целых государств, о безопасности правителя народа? Я вижу, что ты грустен, старый друг мой! Садись-ка, патер, да потолкуем!..

Иезуит сел в безмолвии, потупя глаза. Мазепа поверты-

вался беспокойно в своих креслах и, погладив себя по голове, обтер пот с лица и, устремив взор на иезуита, сказал:

— Что такое жизнь, патер Заленский? Мы с тобой дожили до седых волос, прочли множество философских бредней, а знаем об ней столько же, сколько знает грудной младенец. Жизнь есть не сон, не мечта, а какая-то странная существенность, которой все зло в настоящем, а вся прелесть в прошедшем и в будущем, в воспоминаниях и в надеждах. Жизнь была бы даже тогда благо, когда б человек мог, по крайней мере, сохранить по смерти память о своем земном странствии. Но как с жизнью кончатся и земные радости, и земные страдания, и воспоминания и надежды, то и жизнь и смерть есть ничто. Они важны тогда только, когда служат к пользе многих. Судя таким образом, жизнь, право, небольшая потеря для Огневика, а если он мил тебе, то верь мне, что в воспоминании, то есть после своей смерти, он более выиграет, ибо будет тебе милее. Впрочем, если б жизнь его была для нас безвредною, мы оставили бы его в покое; но жизнь его есть искра, которую рука врага нашего, Палея, может произвести гибельный для нас пожар. Итак, мы должны погасить эту искру! Мы, предпринимая теперь новое устройство целых царств, так же мало должны заботиться о жизни одного человека, как зодчий, сооружающий новое здание, мало помышляет о потере одного камня.

— Но этот камень мог бы служить украшением целого здания, если б попал в руки искусного ваятеля,— возразил иезуит.— Я думаю, что нам было бы весьма полезно склонить Огневика на нашу сторону каким бы ни было средством!

— Я уже истощил все средства и не знаю, чем смягчить его!

— Великодушием,— примолвил иезуит.— Насильственные средства не действуют на благородное сердце: оно, как нежное древо, гибнет бесполезно в насильственном жаре и только влиянием благотворной теплоты солнца производит сладкие плоды.

— Солнце действует, патер Заленский, только на те растения, которые ищут лучей его. Впрочем, шаг сделан, воротиться нельзя!..— Мазепа, сказав это, отворотился и задумался. Иезуит молчал.

Вдруг вошел Орлик в комнату.

— Все готово! — сказал он.

— Иду! — отвечал Мазепа.— Увольняю тебя от присутствия при допросе, патер Заленский.

Иезуит, не говоря ни слова, вышел из комнаты.

— Я не верю этой змее,— сказал Мазепа, указав на дверь, в которую вышел иезуит.— Партия Станислава Лещинского ищет повсюду друзей и помощников, и быть может, что в то самое время, как этот иезуит лижется ко мне, сообщники его льстят Палею и обещают ему мою голову в награду за измену. Мне известно, что самый этот Огневик был несколько раз в Варшаве и проживал там тайно, по повелению Палея. Об этом писал ко мне этот же иезуит, за два месяца пред сим. Нет сомнения, что Палей в связях с Польшей, хотя и грабит польские области. Все это мы должны узнать... Пойдем!

— Давно пора кончить это дело,— примолвил Орлик.— Мы напрасно теряем время. Что за важная особа этот запорожский головорез? Аминь ему!

— Мы тотчас кончим,— возразил Мазепа и, засветив фонарь, отдал его Орлику, а сам, опираясь на костыль, пошел в ту самую комнату, где схватили Огневика; велел Орлику поднять опускающую дверь и, держась за него, сошел в подземелье, по тайной лестнице.

Между тем верные сердюки гетманские, Кондаченко и Быевский, расковыляли Огневика, который, предчувствуя, что его ведут на казнь, радовался близкому окончанию страданий, предпочитая смерть вечному заключению в темнице. Невольно подумал он о жизни, и прошлые радости и будущие надежды отозвались в душе его, как отдаленные звуки мелодии в ночной тишине. Он забылся на минуту и тяжело вздохнул. Кровь в нем взволновалась, быстро пролилась по всем жилам и скопилась к сердцу: оно сжалось, и холод с дрожью пробежал по всему телу.

Кондаченко, который, стоя на коленях, поддерживал ногу Огневика (между тем как Быевский развинчивал оковы), почувствовал, что узник затрепетал.

— Что, брат, струсил! — сказал насмешливо Кондаченко, посмотрев в лицо Огневику.

— Молчи, палач, и делай свое дело! — возразил Огневик грозным голосом.

— Палач! Я палач? Ах ты разбойник, бесов сын! — воскликнул Кондаченко в бешенстве и уставил кулаки, готовясь ударить пленника. Быевский удержал за руку своего товарища.

— Перестань! — сказал он.— Пусть черт дерется с мертвецами. Он почти уж в могиле!

— Постой, проклятая палеевская собака! Ты у меня завоешь другим голосом! — завопил Кондаченко и так сильно

дернул за ногу сидевшего на соломе пленника, что тот упал навзничь.

— Расковылай скорее, что ли! — примолвил Кондаченко Биевскому. — Пора молодца на пляску!

Медленно привстал Огневик. Ничто не оскорбляет столько благородной души, как уничтожение в несчастии. Не будучи в состоянии отомстить за обиду, он посмотрел с негодованием на дерзкого и сказал ему:

— Презренная тварь! И дикие звери не ругаются над добычей, готовясь растерзать ее, а ты...

— Полно толковать! — вскричал озлобленный Кондаченко. — Вставай и ступай на расправу! — Огневик не мог подняться на ноги. Сердюки пособили ему привстать и, связав назад руки, повели его из темницы. Тюремщик шел впереди с фонарем. Несчастный пленник, лежавший около двух недель без всякого движения, почти без пищи, в стесненном воздухе, едва мог передвигать ноги от слабости. Биевский поддерживал его. Пройдя длинный коридор, они вошли в погреб, которого дверь была не заперта. Провожатые позволили Огневику присесть на отрубке дерева, и он, бросив взор кругом подземелья, догадался, какая участь его ожидает.

В одном углу стоял стол, покрытый черным сукном. На столе находились бумаги, письменный прибор, огромная книга в бархатном переплете с серебряными углами и застежками, вероятно Евангелие. Между двумя свечами стояло распятие из слоновой кости. Возле стола стояли двое кресел. В своде погреба вделаны были большие железные кольца. На середине стоял узкий стол, нагнутый к одному концу, а на четырех углах вбиты были также железные кольца, при которых висели сыромятные ремни. В другом углу погреба сидел немой татарин и раздувал огонь в жаровне. Голубоватое пламя освещало смуглое, лоснящееся лицо татарина, который, смотря со злобною улыбкой на узника, выказывал ряды белых зубов, как будто готовясь растерзать его. Татарин встал, взвалил на плечи тяжелый кожаный мешок, приблизился к Огневику и высыпал перед ним страшные орудия пытки: клещи, молотки, пилы, гвозди... Сталь зазвучала на каменном полу, и в то же время раздался под сводами глухой, пронзительный хохот немого татарина. Эти адские звуки проникли до сердца несчастной жертвы. Огневик невольно содрогнулся.

Вдруг дверь настежь растворилась. Вошли Мазепа и Орлик. Мазепа остановился, окинул взглядом Огневику и медленными шагами приблизился к креслам, сел и, облокотясь на свой

костыль, продолжал пристально смотреть на узника. Орлик уселся за столом и стал разбирать бумаги. Татарин примкнул двери и присел по-прежнему возле жаровни. Огневик не трогался с места и, взглянув мельком на гетмана, потупил глаза.

— Ты сам причиною своего несчастья,— сказал Мазепа Огневику смягченным голосом.— Я предлагал тебе дружбу мою и мои милости взамен твоей откровенности, но ты упорствуешь, и я принужден прибегнуть к последним средствам. Терпенье мое истощилось, и если теперь ты не признаешься во всем и не будешь отвечать удовлетворительно на вопросы, то кончишь жизнь в жесточайших мучениях. Если ты христианин и хранишь в сердце веру отцов своих, то подумай, какой грех берешь на душу свою, лишая себя добровольно дарованной тебе Богом жизни, упорствуя во лжи и в обмане! Если ложный стыд удерживает тебя, то я поклянусь тебе на Евангелии, что сознание твое останется навсегда тайною и что я не предприму никаких мер противу Палея, чтоб сделать сие дело гласным. Выскажи правду и ступай себе с Богом, куда заблагорассудишь, если не пожелаешь остаться при мне! Ни с одним из врагов моих не поступал я столь человеколюбиво... Ты возбудил во мне участие... Страшись превратить это чувство в мечь! — Мазепа замолчал и, не ожидая ответа Огневика, обратился к Орлику, примолвил:

— Делай свое дело!

— Мне не для чего повторять тебе, в чем ты обвинен,— сказал Орлик Огневику,— товарищ твой, Иванчук, захваченный в одну ночь с тобой, во всем признался. Он подтвердил присягою свое показание, что изменник Палей, полковник Хвастовский, присвоивающий себе звание гетмана и не признающий власти законной, выслал вас сюда, чтоб умертвить ясновельможного нашего гетмана, произвести мятеж в войске малороссийском и заставить своих клеветников избрать себя в гетманы. Ты видишь, что нам все известно, итак, воспользуйся милостью ясновельможного гетмана, сознайся, и дело будет кончено.

— Вельможный писарь войсковой! — отвечал Огневик.— Иванчук не мог признаться тебе в том, чего не бывало. Если б Палей имел какие злые замыслы, то скажу, не хвалясь, он бы скорее открылся мне, нежели Иванчуку, однако ж я ничего не знаю о том, что ты говоришь. Сведи меня на очную ставку с Иванчуком: пусть он уличит меня.

— Это вовсе не нужно,— возразил Орлик.— Ты сам уличил себя, вошед в дом ясновельможного гетмана вооруженный,

ночную порою, и стараясь силою пробиться сквозь стражу. Ты весьма обманываешься, почитая нас столь глупыми, чтоб мы могли поверить сказке, выдуманной тобою в свое оправдание. Итак, говори правду... или прочти последнюю молитву, и...

Огневик быстро привстал, как будто чувствуя возрождение сил своих. Лицо его покрылось слабым румянцем, в глазах отразилось пламя, вспыхнувшее в душе его.

— Слушай, гетман, последние слова мои! Не хочу предстать пред судом Божиим с ложью на сердце и скажу тебе правду.

Гетман поднял голову, Орлик встал с своего места, и Огневик продолжал:

— Я вошел в дом твой с умыслом. Скажу более: для исполнения сего умысла я нарочно напросился у Палая, чтоб он выслал меня в Батурин, вместо назначенного в посланцы священника Никифора. Но ни Палей, ни Иванчук и никто в мире, кроме меня и еще одного лица, не знают причины, для которой я хотел проникнуть в дом твой. Это собственная моя тайна, и она не касается ни до тебя, гетман, ни до Палая, ни до войска малороссийского. Я не имел намерения убить тебя, гетман, и даже не помышлял о тебе, входя в дом твой. Что же касается до замыслов Палая, то я знаю, что это одни только догадки твоего тревожливому уму, потому что Палей не имеет других намерений, как искренно помириться с тобою, для пользы службы его царского величества. Вот святая истина: теперь делай со мною что хочешь!..

— Ты должен непременно сказать, зачем вошел в дом мой ночью,— сказал Мазепа.— В противном случае то, что ты называешь правдивым сознанием, еще более навлекает на тебя подозрение в злом умысле. Говори!..

— Это моя тайна,— отвечал Огневик,— и если б ты мог превратить в жизнь каждую каплю моей крови и каждую из сих жизней исторгал веками мучений, то и тогда не узнаешь ничего. Вот я безоружный перед тобой!.. Режь меня на части... тайна моя ляжет со мной в могилу!..

— Заставь его говорить, Орлик! — сказал хладнокровно Мазепа, сложил руки крестом на костыле и, опершись на него подбородком, потупил глаза.

— На встряску его! — сказал грозно Орлик. Клевреты гетмана потащили Огневику на середину погребя, сорвали с него одежду и обнажили до пояса. После того повалили его на пол, привязали руки к железному кольцу, а ноги к двум деревянным толстым отрубкам, продели веревку от кольца, к

которому привязаны были руки страдальца, в кольцо, прибитое к потолку, и ожидали дальнейшего приказания.

— Скажешь ли правду? — возопил Орлик, бросив гневный взор на страдальца.

— Я все сказал вам что знаю и что мог высказать, — отвечал Огневик, — и вы ничего не услышите более от меня, кроме проклятия вам, изверги!..

— Поднимай! — закричал Орлик, ударив кулаком по столу. Два дюжих сердюка и татарин ухватились за конец веревки и стали тянуть медленно до тех пор, пока страдалец не поднялся на руках до того, что чурбаны, привязанные к ногам, чуть дотрагивались до полу. Тогда удвоив усилия, они, по условленному знаку, дернули вдруг за веревку. Все члены страдальца хрустнули в суставах, и он повис на руках. Положение его было ужасное. Все жилы вытянулись в нем до такой степени, что едва не полопались. Истощенные силы несчастного узника не могли выдержать сего внезапного напряжения. Сперва лицо его покраснело, и вдруг он побледнел как труп, глаза его закатились, голова перевалилась назад, и кровь хлынула из рта и из носа... он лишился чувств.

Мазепа сидел во все это время в безмолвии, потупя глаза, и, казалось, ожидал воплей страдальца, чтоб возобновить вопросы. Но не слыша никакого звука, он поднял голову и, увидев Огневику, без чувств облитого кровью, оборотился к Орлику и сказал по-латыни, хладнокровно:

— Видишь ли, что наш доктор прав! Он сказал, что гораздо лучше пытаться человека сильного и здорового, нежели истощенного, уверяя, что чем человек здоровее, тем более может выдержать мучений, и притом тем сильнее чувствует боль. Вот тебе наука, Орлик! Ну что теперь нам с ним делать?

— Я не переменяю моего мнения, ясновельможный гетман! — отвечал Орлик также по-латыни. — Мне кажется, что лучше всего будет, если мы избавимся от него поскорее. Велите придавить его, да и в землю!

— Для этого не стоило бы и начинать дела, — возразил Мазепа. — Нет, я непременно хочу, во что бы то ни стало извлечь из него эту тайну. Тут должно крыться что-нибудь весьма важное! Одно средство не удалось, попробуем другое. Вылечим его, выкормим, заставим полюбить приятности жизни — и тогда снова в пытку... Снимайте его! — примолвил он по-русски.

Истязатели опустили веревки, и несчастный упал, как труп, на землю. Мазепа встал с кресел, приблизился к нему, положил руку свою на его сердце и сказал:

— Он жив еще. Развяжите ему руки и ноги, а ты, Кондаченко, подай воды и уксусу...

Вдруг в коридоре послышались быстрые шаги, дверь с треском отворилась, и в погреб вбежала опрометью женщина. Она остановилась, вскрикнула, бросилась стремглав к Огневику и, припав к нему, обняла его и, прижавшись лицом к его лицу, оставалась неподвижно в сем положении, не вымолвив слова, не взглянув на сторону. Только по сильному волнению груди и по тяжкому дыханию приметна была в ней жизнь.

Мазепа стоял над трупом, как громом пораженный. Смертная бледность покрыла лицо его, костыль дрожал в руке, и он смотрел на молодую женщину диким взором, в котором попеременно изображались то злоба, то сострадание. Наконец он оборотился к Орлику, посмотрел на него значительно, покачал головою и горько улыбнулся дрожащими устами. Орлик пожал плечами и молчал.

— Тайна открыта, Орлик! — сказал Мазепа. — Но пытку суждено выдержать мне! Никакие мучения не сравнятся с тем, что я чувствую теперь в душе моей!.. В ней целый ад!.. Наталия!.. Наталия!.. Опомнись! — примолвил он тихим, прерывающимся голосом.

Молодая женщина, казалось, не слышала слов его и не переменяла своего положения.

— Наталия! — сказал гетман ласково. — Отойди от него, дай нам помочь ему... Ты убьешь его, если не допустишь нас помочь ему.

Молодая женщина подняла голову, осмотрелась кругом и, уставив блуждающий взор на Мазепу, сказала тихо:

— Ты убил его... Ты убил моего жениха!..

— Твоего жениха! — воскликнул Мазепа. — Орлик, слышишь ли! — примолвил он голосом отчаяния.

Молодая женщина быстро приподнялась; бледное лицо ее покрылось пламенным румянцем; она одной рукой держала бесчувственную руку Огневика, а другой вынула нож из-за пазухи и сказала тихим, но твердым и спокойным голосом:

— Гетман! Эта кровь погасила в душе моей все прежние чувства к тебе и искупила долг мой. Теперь я свободна и не признаю твоей власти надо мною! Ты призрел меня, сироту, заступал место отца, воспитал, хотя в чужой стороне, но с родительским попечением, и я ежедневно молилась за тебя как за моего благодетеля. Одним ударом ты разрушил свое создание и убил того, кого я любила более жизни, более счастья, ты произнес мой смертный приговор... Ты любишь кровь... насладись кровью!.. — При сих словах она замахнулась

на себя ножом; но Кондаченко, стоявший рядом с нею, схватил ее за руку и вырвал нож.

— Наталия! ради бога успокойся! — воскликнул Мазепа в отчаянье. — Этот человек не убит, он жив... он будет жить!.. Помогите ему! — примолвил он. — Орлик, помоги ему! Бегите за доктором! О, я несчастный! — Мазепа подошел к Наталье, взял ее за руки своими дрожащими руками и, смотря на нее с нежностью, наблюдал все ее движения. Между тем Орлик послал за доктором тюремщика, стоявшего за дверьми, и велел оттирать Огневика уксусом и спиртами, которые принесены были прежде, как принадлежности пытки.

Наталия стояла неподвижно; глаза ее были красны, но в них не видно было слез, и в чертах лица ее заметно было какое-то отчаянное хладнокровие. Она пристально смотрела на бесчувственного Огневика и не отвечала Мазепе.

Вдруг Огневик открыл глаза и вздохнул. Наталия мгновенно вырвалась из рук Мазепы, бросилась снова к Огневику, стала пред ним на колени, взяла его за руки и с трепетом смотрела ему в лицо, как будто желая уловить первый взгляд его.

— Богдан, милый Богдан! — сказала она нежно. — Взгляни на меня! Это я... твоя Наталия! Они не убьют тебя!..

Этот голос проник до сердца Огневика и возбудил нем угасающую жизнь. Он пришел в чувство и, устремив взор на Наталью, пожал ей руку.

— Теперь смерть будет мне сладка, — сказал он слабым голосом, — я видел тебя... Пусть они убьют меня... Смерть лучше разлуки!..

— Они не разлучат нас, — сказала Наталия, — мы умрем вместе, если не можем жить друг без друга. Богдан! с этой минуты мы неразлучны!..

Каждое нежное слово, каждая ласка Натальи, обращаемые к Огневику, уязвляли сердце Мазепы. Он молчал и смотрел на любовников, как смотрит змей из железной клетки на недосыгаемую добычу. Страшно было взглянуть на гетмана! Посинелые губы его и навислые брови судорожно шевелились; на бледном лице мгновенно показывался румянец и снова исчезал; глаза пылали. Между тем пришел Патер Заленский со склянками и перевязками и, не говоря ни слова, стал натирать и перевязывать Огневика.

— Наталья! — сказал наконец Мазепа. — Тебе неприлично быть здесь. Ступай в свои комнаты, я велю перенести твоего друга в верхнее жилье, и ты сама станешь ухаживать за ним.

Натаалья оглянулась и смотрела на Мазепу с удивлением, как будто не доверяя своему слуху.

— Ты позволишь мне ухаживать за ним? Ты не заперешь его в темницу? О мой благодетель, мой отец! — воскликнула она и бросилась к ногам гетмана.

Мазепа поднял ее, поцеловал в голову и сказал нежно:

— Не обвиняй меня в жестокости противу него, Натаалья! Я почитал его врагом моим, убийцею и должен был употребить обыкновенные судебные меры для исследования истины. Бог свидетель, что я с горестью в сердце исполнял сей тяжкий долг судьи! Но теперь, когда я знаю, зачем он вошел скрытно в дом мой; когда я вижу, что ты любишь его... он более не враг мой! Напротив, он мне столь же дорог, как собственное детище. Натаалья! Счастье твое есть мое собственное благополучие, и я всем готов жертвовать, чтоб осушить твои слезы. Ты худо знаешь меня, Натаалья, если думаешь, что я стану противиться твоему счастью, будучи убежден, что оно состоит в любви, в союзе с ним! Я человек простодушный и откровенный в дружбе и во вражде. Верь мне и успокойся! С этой поры он поступает в семью мою!..

Натаалья рыдала и, улыбаясь сквозь слезы, целовала руки Мазепы, обнимала его колени, была вне себя от радости.

— Отнесите его бережно в мои комнаты, — сказал гетман Кондаченко, и он с Быевским и татаринном понесли больного на плаще. Натаалья шла рядом, поддерживая его голову.

Во все это время Орлик не трогался с места и стоял как окаменелый. Он знал, кто такова Натаалья; знал, с каким намерением гетман велел привезти ее из Варшавы, и потому думал, что, открыв любовную связь ее с человеком, которого он почитал не более как разбойником из мятежной шайки Палея, гетман без отлагательства, своеручно убьет дерзкого обольстителя. Непостижимая слабость характера, оказанная Мазепой в сию решительную минуту, удивляла Орлика, и он едва верил собственным чувствам. Но один взгляд Мазепы вывел его из недоумения. Когда вынесли Огневика из погреба и когда Натаалья удалилась, Мазепа обратился к Орлику, взглянул на него весело и простодушно улыбнулся. Орлик совершенно знал Мазепу: это была улыбка торжества и самодовольствия, и потому Орлик догадался, что Мазепа составил какой-нибудь замысел, которого успех верен и соответствует его пользе. Орлик успокоился.

— Поддай мне руку, верный мой Орлик! — сказал Мазепа. — И проводи меня в мою светлицу. Мне нужно успокоение. А ты, почтенный друг мой! — примолвил он, обращаясь

к иезуиту. — Приложи попечение о здоровье твоего прежнего ученика. Жизнь его мне драгоценна. Клянусь тебе, что она мне драгоценнее, чем смерть десятерых врагов. Прошу тебя также, успокой Наталию и уверь ее, что я не стану противиться их любви... Завтра мы поговорим об этом подробнее.

Вошед в свою почивальню, Мазепа послал немедленно татарина за Марьей Ивановной Ломтиковской и остался наедине с Орликом.

Мазепа бросился на софу, вздохнул и, покачав головою, сказал:

— Ну что ты думаешь об этом, Орлик?

— Все, что я видел и слышал, кажется мне непонятным, непостижимым, чудесным!

— А мне все это кажется простым и весьма обыкновенным, — возразил Мазепа. — Ты знаешь, что Палей несколько раз посылал Огневика в Варшаву. Молодой человек мог встретиться там с Наталией, влюбился и снискал ее любовь. Узнав, что она здесь, он хотел повидаться с нею, а может быть, и похитить ее из моего дома. Все это весьма просто и естественно. Что он не признался в истинной причине своего ночного посещения — это весьма похвально, а что Наталия скрывала до последней минуты свою любовь и не пришла просить у меня прощения для своего любовника, это также весьма благоразумно, ибо, вероятно, она надеялась освободить его из темницы и, весьма основательно, не полагалась на мое снисхождение. Но каким образом Наталия узнала о времени пытки? Как она попала в подземелье?.. Вот это загадка, которую мы должны разгадать. Если эту шутку не состряпал наш проклятый иезуит, то очевидно, что между моими людьми есть изменники, которых надобно извести, как ядовитых гадин. Время все откроет! Только надобно терпенье, а твой единственный порок, Орлик, нетерпеливость! Ты не можешь представить себе, сколько мне стоило труда преодолеть справедливый мой гнев и негодование!.. Сердце мое чуть не лопнуло от внутренней борьбы. Но я победил себя и этою победою над собою восторжествовал над моими врагами! Какая была бы польза, если б я вспыхнул, разгорячился... даже убил Огневика? В глазах Наталии я был бы чудовищем; хотя бы она и забыла со временем Огневика, но всегда бы ненавидела меня, его убийцу. Пусть он умрет естественною смертью...

— Понимаю! — подхватил Орлик. — Порошок или пилюли сделают свое дело. Конечно, это лучше!..

— Это совсем не лучше, и ты не понимаешь меня, Орлик, — примолвил Мазепа. — Я хотел сказать, что, когда он умрет естественною смертью, тогда Наталия простит мне, ибо я пытал его как врага, не зная о ее любви к нему. Но мне не нужна смерть его. Напротив, я дал бы год собственной жизни за его исцеление.

— Признаюсь, что я вовсе не понимаю ничего! — сказал Орлик, склонив голову и размахнув руками.

— Поймешь, если я скажу тебе, что Огневик будет примирителем моим с Палеем.

— Неужели вы, ясновельможный гетман, искренно желаете примирения с Палеем и верите в его искренность?

— Верю или нет, это мое дело; но мне надобно помириться с ним; необходимо нужно, чтоб Палей верил моей искренности, и никто лучше не убедит его в этом, как воспитанник его и первый любимец, Огневик. Его же весьма легко убедить теперь в чем угодно, потому что никто так не расположен всему верить, как влюбленные, особенно когда от его верования зависит успех их любви. Скажу тебе одним словом, что Огневик есть теперь главное веретено в моей политической машине и мы должны беречь и лелеять его как зеницу ока! Прошу тебя, верный мой Орлик, наблюдай сам за его исцелением и прикажи, чтоб скрывали от всех пребывание его в моем доме. Навещай его, приобретай его доверенность и дружбу твоими ласками... Прошу тебя об этом... Преодолей себя! Все это необходимо нужно к моему и твоему счастью. Но вот и Мария! Ступай с Богом, Орлик, до завтра!

— Что новенького, Мария? садись-ка да порасскажи мне, — сказал гетман.

— Кажется, что новости мои вам неприятны, ясновельможный гетман, итак, мне лучше молчать, потому что я не умею, подобно другим, лгать пред вами.

— Ого! Да ты не на шутку сердисься, Мария! Когда же я гневался на тебя за твои вести! Я гневался на тех, которые говорят про меня вздор, а не на тебя. Как друг твой, я не скрывал перед тобой чувств моих. Я имею к тебе полную доверенность, Мария, ибо убежден, что ты предана мне искренно.

Ломтиковская тотчас догадалась, что гетман имеет нужду в ее помощи в каком-нибудь важном деле. Она вознамерилась воспользоваться сим случаем к удовлетворению своего любопытства и корыстолюбия.

— Вы шутите, ясновельможный гетман, говоря, что имеете

ко мне полную доверенность,— отвечала она с притворною досадой.— Передо мною сокрыто то, что знают даже ваши домашние прислужники!..

Гетман громко засмеялся.

— О женщины, отродие Евино! — сказал он, смеясь.— Тебя все мучит эта варшавская красавица, не правда ли? Тебе хотелось бы знать, какова она, как одевается, как ходит, как говорит!.. Изволь, милая, я доставлю тебе удовольствие быть с нею по целым суткам... Слышишь ли?

Мария смотрела Мазепе в лицо, не веря словам его и думая, что он шутит над нею.

Вдруг Мазепа принял важный вид.

— Ты сказывала мне,— примолвил он,— будто в войске и даже в Киеве толкуют, что эта девица моя любовница, моя невеста, присланная ко мне из Польши, для уловления меня в сети измены своею необыкновенною хитростью. Увидишь, Мария, как справедливы народные толки и как мудры догадки людей, почитающих себя умными и дальновидными! Правда, эта девица имеет жениха, но этот счастливец — не я, а тот самый запорожский удалец, о котором говорили, что он хотел убить меня. Он здесь, болен, и пока выздоровеет, ты должна быть при нем, ухаживать за ним, как бы ты ухаживала за мною, а между тем наблюдать, чтобы эта варшавская девица, его невеста, которая будет навещать его, не оставалась с ним наедине. Влюбленные не думают о приличиях, о клевете, и чем они безвиннее, тем скорее подадут повод к злословию. Я не доверяю польской воспитательнице этой девицы и имею на то мои причины. Тебе поручаю я важное звание надзирательницы с условием, чтоб ты не беспокоила ни девицы, ни ее жениха своими расспросами и скрывала пред всеми, что посланец Палея скрыт в моем доме. Вообще, ты должна хранить в глубокой тайне все, что ты узнаешь, все, что услышишь и увидишь. За преступление сего приказа — смерть! Слышишь ли — смерть! Ты знаешь меня, Мария; я человек добродушный и простосердечный, почитаю величайшим наслаждением награждать верных исполнителей моей воли и неумолим в праведном наказании — как самая судьба!

— Вы напрасно, ясновельможный гетман, огорчаете себя, припоминая об изменниках, о непослушных, о казнях!.. Все это до меня не касается... Жизнь моя посвящена вам, и я готова была наперед выколоть себе глаза и отрезать язык, если б не надеялась, что они будут послушны моей воле, то есть

вашей воле.— Ломтиковская едва могла скрыть радость, возбужденную в ней повелением гетмана, достигнув до того, чего так пламенно желала.

— Я верю тебе, Мария,— сказал гетман с видом простодушия,— но любя тебя искренно, должен предостеречь, что сто глаз и сто ушей будут наблюдать за всеми твоими поступками и подслушивать... даже мысли твои! Ты знаешь хорошо Орлика!

Ломтиковская наморщилась.

— Его личные выгоды сопряжены с сохранением сей тайны, и если он откроет какую-либо нескромность... то ты погибнешь прежде, чем я узнаю об этом! Берегись, Мария!

— Пусть сам черт или чертов брат, Орлик, смотрит во сто своих глаз и слушает своей сотней ушей... Надеюсь, однако ж, что найдется хоть один праведный язык, который донесет вам о моей верности.

— Я слышал, что муж твой хотел взять в арендное содержание Чигиринскую мельницу,— сказал гетман.— Я отдаю ее тебе в трехлетний срок, без платежа откупных денег.

Ломтиковская поцеловала руку гетмана.

— Прощай, Мария! — примолвил он.— Завтра переселись ко мне в дом и разгласи в городе, что ты призвана ухаживать за мною, в моей тяжелой болезни. До времени я не хочу показываться войску.

Ломтиковская вышла, и Мазепа захлопал в ладоши. Вошел немой татарин, раздеть и уложить в постель гетмана. Татарин был угрюм и грустен. Он похож был на волка, который уже ощущал на языке теплую кровь добычи и лишился ее от внезапного нападения охотничьих псов.

Мазепа не нашел сна на мягком ложе. Сильные страсти и исполинские замыслы порождали в нем мысли и желания, которые беспрестанно росли, созревали и тем более терзали его наедине, чем сильнее он старался скрывать их пред людьми. Тщетно он закрывал глаза и хотел забыться. Каждая капля крови перекатывалась чрез сердце его, как холодный и тяжелый свинец. Мазепа, до восхождения солнца, переворачивался в постели, вздыхал, охал и, наконец, выбившись из сил, заснул, чтобы снова мучиться в сновидениях.

ГЛАВА V

Ой, на горе да женьци жнут,
А под пид горою
По пид зеленою
Казаки йдут.

Малор. песня

Необозримая долина, покрытая высокою, густою травою, оканчивалась холмами, между коими поднимался туман, разгоняемый лучами восходящего солнца. После дождливой и бурной ночи настало тихое и теплое утро. По степи, без дороги, тянулась ватага украинских казаков. Впереди ехал на вороном турецком жеребце воин высокого роста, сухощавый, бледный. Седые усы его ниспадали на грудь. Бритая голова покрыта была низкою шапкой с голубым бархатным верхом и с собольим околышком, а из-под шапки, надетой набекрень, висел клочок белых, как лунь, волос, или чуприна. Он был в синем суконном кунтуше, с прорезными и закидными рукавами, подбитом светло-голубою шелковою тканью, в красных бархатных шароварах и в желтых сафьяных сапогах. За столом персидским кушаком заткнут был турецкий кинжал; чрез плечо, на красных шелковых шнурках висела кривая турецкая сабля в золотых ножнах. Турецкое, окованное серебром, седло покрыто было бархатным чапраком с золотою бахромой. На коне был ронтик с серебром и сердаликами. Воин держал в зубах короткую трубку и сквозь дым, пробивающийся чрез густые усы, вперял взор вдаль. Лицо его было угрюмое и суровое, нос длинный, орлиный, губы тонкие, а большие черные глаза светились из-под седых, навислых бровей, как звезды. За ним ехал казак в синем кобеньке¹, насунув видлогу² на малую шапку из черной овчины, и держал в руке аркан, которого другой конец зацеплен был за шею жида, ехавшего без седла, с связанными назад руками, на тощей кляче. Бедный жид был в одном полукафтанье, без шапки, с открытою грудью, босиком. Ветер развевал длинные его волосы и осушал слезы, которые оставили светлые следы на грязном и бледном его лице. Другой казак вел одну заводную и одну выючную лошадь. В некотором отдалении ехали рядом два воина, одетые также в короткие суконные кунтуши синего цвета и в голубых бархатных шапках. Наряд их был простой, и только в оружии и в конской сбруе

¹ Род шинели.

² Капюшон.

видно было золото и серебро. Один из них был уже в пожилых летах, а другой молод и красив, с гордым взглядом, с богатырскою ухваткой. За ними ехали в беспорядке, но в тишине казаки, по одному, по два и по нескольку вместе. Некоторые были в кобеньях, а другие сняли кобенья и перевесили их чрез седло. Наряд простых казаков состоял из синей куртки с нашивными на груди карманами, для хранения зарядов, и из широких холстинных шаровар, также с нашивными карманами по обеим сторонам, в которых были пистолеты. Все казаки имели одинаковые низкие шапки из черной овчины с голубым верхом и светло-голубые шерстяные кушаки. У каждого была сабля при бедре, за плечом ружье, обернутое в овчину, и в руке длинная пика. Чрез плечо на ремне висела нагайка. С тылу чрез седло перевален был мешок с съестными припасами и кормом, а наперед была баклага с водою и аркан, свернутый в кольцо. Всех казаков было человек двести, и между ними не было ни одного молодого. Почти у каждого седина пробивалась в усах и в чуприне.

Ватага повернула к оврагу, поросшему кустарниками, чрез который проходила дорога, извиваясь змейкой по степи. Лишь только передовой, богатоубранный воин въехал на дорогу, на повороте, за кустами, послышался скрип телеги и голос погонщика волов. Ватага продолжала шествие свое. Вскоре телега, запряженная парюю волов, показалась из-за поворота. Украинский поселянин, в свитке, в шапке, слез с воза, поворотил телегу на сторону, остановил волов, и, когда передовой воин поравнялся с ним, поселянин снял шапку и поклонился ему в пояс.

— Здорово, хлопче! — сказал передовой воин.

Мужик поднял глаза и, как будто пораженный блеском убранства воина, еще ниже поклонился, примолвив:

— Здоров будь, пане! — Потом, взглянув простодушно на воина, выпучил глаза, разинул рот и, осмотрев его с головы до пят, спросил: — А куда едете, панове?

— *Куколь с пшеницы выбирать*; жидов и ляхов резать! — отвечал хладнокровно передовой воин.

Жид вздрогнул, как будто его кто уколол под бок, сделал жалостную гримасу, но не смел пикнуть, страшась казачьих нагаек.

— Помогай Бог! — отвечал простодушно мужик.

— А далеко ли до Днепра? — спросил передовой казак.

— Для проклятого ляха или для поганого жида была бы миля, а для тебя, пане, скажу только — на один воловий рык, — отвечал мужик.

Передовой воин улыбнулся, вынул из кармана талер и бросил мужику, который не спускал глаз с воина и даже не наклонился, чтоб поднять талер.

— Возьми деньги и пей за наше здоровье! — сказал передовой воин.

— Мы и за свои гроши пьем за твое здоровье, пане, коли ляхи да жида не подсматривают за нами да не подслушают, — отвечал мужик.

— А разве ты знаешь меня? — спросил воин.

— Как нам не знать батьку нашего, пана Палей! — отвечал мужик, снова поклонясь в землю.

Это был в самом деле знаменитый вождь Украинской вольницы, Семен Палей, гроза татар и поляков, бич жидов и жестоких помещиков, ужа Мазепы, идол угнетенного народа в польской Украине, любимец войска малороссийского и Запорожского. Казаки и поселяне не называли иначе Палей, как батькой, и это нежное, сердечное наименование употребляли всегда, говоря с ним и про него. Палей гордился этим прозванием более, нежели титулом ясневельможного, которым величали его паны польские и даже сам король; а с тех пор, как отложился от Польши и объявил себя подданным царя русского, он истребил в своей вольнице все прежние польские обыкновения, удержал только наряд польский, который носили тогда все знатные украинцы и чиновники царского войска малороссийского.

Палей бросил мужику другой талер и спросил:

— Не слыхал ли про польских жовнеров или не собирается ли где шляхта?

— Не знаю, татар ли, москалей или тебя, батько, боятся ляхи, а только они крепко зашевелились, как овцы перед стрижкой. Отовсюду гонят подводы да свозят всякий запас в Житомир. Слышно, что паны наши да экономы, трясца их матери! берут за то гроши, а нам велят давать хлеб и волов даром! Вот и к нашему пану наехало ляхов тъматушя. Сами ляхи — бис бив бы их батьку! — пируют на панском дворе, а коней своих да ляшенков расставили по селам да велят объедать, нас, бедных! Ты знаешь, батько, что ныне у нас завелось два короля, и наш пан держит за новым королем, так и собирает у себя ляхов, чтоб идти на старого короля. Брат мой, надворный казак¹, сказывал мне, что ляхи

¹ В прежнее время украинские паны выбирали из своих крестьян годных на службу людей, вооружали и одевали их по-казацки и употребляли для защиты своих поместий. Даже до нашего времени сохранился сей обычай. Но в наше время надворных казаков вооружают одними нагайками, и

навезли к пану целые скрини с грошами, а разве жид да бис увидит ляхский шеляг!

— Гроши будут наши, а ляхи — собакам мясо! — сказал Палей. — А как зовут твоего пана?

— Пан Дульский, тот, что...

Палей не дал мужику кончить.

— А я к нему-то именно и еду в гости, — сказал он. — Так ты говоришь, что у него собралось много ляхов? А сколько, например?

— Считать я их не считал, а знаю, что их будет больше, чем скота в панском стаде...

— Сотни три, четыре, что ли? — спросил Палей.

— Уж верно, сотни четыре, — отвечал мужик. — Не ходи теперь, батюшко, к нашему пану, а то тебе мудрено будет добраться до него, коли ты к нему едешь с тем, чего мы ему у Бога просим. Панский двор окопан валом, на валу стоят двенадцать пушек, да еще каких крепких, железных! А перед валом ров, а за рвом частокол, а за частоколом стоят ляхи с ружьями, а ворота одни, да и те на запоре, а за воротами решетка, да еще железная, а над воротами куча камней, а за камнями...

— Довольно, довольно! Спасибо за добрые вести, — примолвил Палей и бросил третий талер мужику.

— Добрые вести, добрые вести! — проворчал мужик с удивлением, подбирая деньги. — От этих добрых вестей у другого бы морозом подрало по коже, а нашему батюшке пули как вареники, а пушка как бабья ступа!

— Что ты ворчишь себе под нос? — сказал Палей.

— Так, ничего, а дивлюсь только, что ты не боишься ни панских пушек, ни ляхских ружей, а нам так и от канчука экономского деваться некуда!

— С завтрашнего дня эконом ваш не будет больше размахивать канчуком, а взмахнет всеми четырьмя, да и поминай как звали! — сказал Палей.

— Ой, дай-то, Боже! — сказал мужик, перекрестясь.

— Ведь ты слышал уже, что мы идем куколь из пшеницы выбирать? — примолвил Палей.

— Да, да! Ляхов и жидов резать!.. Помогай Боже, помогай Боже! — сказал мужик, крестясь и кланяясь.

— Только смотри ж... ни гугу! — сказал Палей. — Никому ни словечка, что видал меня с моими детками!

употребляют только для посылок и для экзекуций по деревням, при соби-
рании податей.

— Хоть бы меня на крыже раскряжовали, хоть бы век горелки не пить, хоть бы жиду служить, хоть бы быть прокляту, не скажу и отцу родному! — отвечал мужик. — Ступай, батко, куколь из пшеницы выбирать! Бог помочь! Счастливый путь!

Палей махнул нагайкой, улыбнулся и поехал вперед по дороге, ведущей к Днепру. Влево видна была вдали колокольня. Палей снова своротил с дороги и целиком поехал к холмам, покрытым лесом. Чрез час он въехал на холм, и величественный Днепр открылся его взорам. Бодрый старик соскочил с лошади и, обернувшись к своим казакам, сказал:

— Здесь, детки, отдохните и покормите коней! Огней не разводить и держаться в куче. Иванчук! расставь часовых вокруг. Москаленко! размести коней по десяткам, да смотри, все ли в порядке. Грицко! подай горелки и сала!

Палей бросился под дерево, набил снова трубку и стал вырубать огонь, мурлыча про себя известную украинскую песню:

Ой, кто в лисе,
Отзовися!
Выкрешило огня,
Потягнемо люльки,
Не журися!

Иванчук был тот самый старый есаул, который спасся бегством из Батурина, когда его уведомили, что Огневик захвачен в гетманском дворце. Зная хорошо характер Мазепы, Иванчук был уверен, что ему не миновать участи Огневика; а потому, для уведомления Палея о случившемся, заблагорассудил отправиться к нему немедленно, не ожидая окончания переговоров. Москаленко, молодой казак, ехавший рядом с Иванчуком, был сотник в вольнице Палеевой. Только один Палей знал его настоящее прозвание, которое молодой сотник скрывал пред всеми. По месту его родины, по Москве, Палей прозвал его Москаленкой. Он был сын одного из стрелецких старшин, казненных за буйное сопротивление воле Петра Великого. Двое старых стрельцов, успев спастись бегством из Москвы, взяли с собой сына своего начальника, юного Лаврентия, и чрез Польшу пришли в Запорожье, где Лаврентий приучился к военному ремеслу, не забыв грамоты и некоторых сведений в истории и географии, приобретенных им в родительском доме, от старого монаха Заиконоспасского монастыря. На двадцатом году от рождения, прельстясь славою Палея, Лаврентий упросил Кошевого атамана запорож-

цев, Гордеенку, отпустить его в службу к вождю Украинской вольницы и уже три года служил при нем, отличаясь храбростью, расторопностью и пламенной привязанностью к Палею, который любил его за сие, как родное дитя, почти так, как Огневика.

Иванчук вскоре возвратился, и Палей позвал его и Москаленка позавтракать с собою.

Грицко разостлал ковер на траве, поставил деревянную, обшитую кожей баклагу с водкой и кошель, в котором были сухари и свиное сало, любимая пища украинцев. Палей перекрестился, выпил порядочный глоток водки, вынул из-за пояса кинжал и отрезал кусок сала, взял сухарь и, зачесав пальцами длинные свои усы, стал завтракать, подвинув кошель к своим собеседникам, которые присели возле ковра. Между тем казаки подвешивали коням торбы с овсом.

Невзирая на то что дружина Палеева называлась вольницей, она рабски повиновалась воле своего начальника. Во время похода Палей запретил казакам возить с собой водку и вообще предаваться пьянству, и сколь ни склонны были к сему его подчиненные, но не смели преступить запрещения, зная, что жестокое наказание постигнет виновного. С жадностью поглядывали казаки на баклагу, стоявшую пред Палеем, и, казалось, поглощали ее взорами.

— Грицко! — сказал Палей. — Дай по доброй чарке горелки деткам!

Грицко снял две большие баклаги с вьючной лошади, вынул из мешка медную чарку величиною с пивной стакан и перевесив баклаги чрез оба плеча, пошел к толпе и стал потчевать усатых деток Палеевых, которые как будто пробудились от запаха водки и стали прыгать и подшучивать вокруг Грицка.

Позавтракав, Палей обтер усы рукавом своего кунтуша, помолился, снова закурил трубку и велел подозвать к себе жида, который во все это время стоял ни живой ни мертвый под деревом, поглядывая вокруг себя исподлобья. Жид, подошед к Палею, бросился ему в ноги и не мог ничего сказать от страха, а только завопил жалобно: «Ай вей, ай вей!»

— Пан Дульский подослал тебя узнать, что я делаю и можно ли напасть на меня врасплох, в Белой Церкви. Жаль мне, что ты не получил обещанных тебе им пятидесяти червонцев, потому что я сам повезу к нему вести, которые он поручил тебе собрать об нас, своих добрых приятелях! Но как ты не станешь с нами есть свинины, воевать не умеешь, а плутовать хоть бы рад, да мы не хотим, то мне нечего делать с тобой,

и я решил отправить тебя на приволье, где у тебя будет рыбы вдоволь, хоть не ешь, а воды столько, что ты можешь наделить всех шинкарей, которые разводят ею горелку. Детки, в Днепр иуду!

Стоявшие вблизи казаки, которые, закусывая, слушали с приметным удовольствием речь своего вождя, бросились на жида, как волки на паршивую овцу, отогнанную от стада, и с хохотом и приговорками потащили его к реке.

— О вей! — закричал жид. — Ясневельможный пане, выслушай!.. Я тебе скажу большое дело... важное дело... весьма тайное дело... Только помилуй... пожалей жены и сирот!

— Я не пан и даже не шляхтич, а простой казак запорожский, — сказал Палей, — однако ж выслушать тебя готов. Постойте, детки! Ну говори, что ты знаешь важного.

— А если скажу, то помилуешь ли меня? — сказал жид, дрожа и плача. — Я бедный жидок и должен был сделать, что велит пан. У меня бедная жена и четверо бедных деток... они помрут без меня с голоду... Прости! помилуй! — Жид снова бросился в ноги Палею и зарыдал.

— Так это-то твое важное и великое дело! — возразил Палей. — Жизнь твоя, жена твоя и дети важны для тебя, а не для меня. Из твоих малых жиденков будут такие же большие жида-плуты, как и ты, а ведь кому тонуть, того не повесят! Один конец... в воду его!

Казаки снова потащили жида к реке.

— Ясневельможный пане! — возопил жид. — Ты не выслушал меня... я не успел сказать тебе важного дела... Постой... выслушай!

— Подайте его сюда, — сказал Палей. — Ну говори, что ли?

— А помилуешь ли меня, — возразил жид, трепеща от ужаса, — оставишь ли мне жизнь?.. Я ничего не прошу, только не убивай, не бросай меня в воду!

— Что ты, проклятый иуда, торговаться со мною хочешь, как в корчме, что ли! — воскликнул Палей грозно. — Говори, или я заставлю тебя говорить вот этим! — примолвил он, потрясая нагайкой.

— Изволь, ясневельможный пане, я скажу тебе всю правду, — отвечал жид, морщась и закрыв глаза при виде нагайки. — К нашему пану и князю Дульскому приехала его родственница из Варшавы, княгиня Дульская, у которой первый муж был князь Вишнеvский. Сказывают, что пан гетман

Мазепа хочет жениться на ней, и это слышал я от гайдука пани княгини, а гайдуку сказывала первая служанка пани княгини. Вот ровно неделя, в прошлый шабаш, приехал из Батурина к нашему пану ксенз иезуит и привез много бумаг, а пан наш да еще другие паны целую ночь читали эти бумаги, радовались, пили, поздравляли княгиню и отправили нашего конюшего к новому королю... Так видно, что тут дело пре-большое, когда пан гетман Мазепа пишет к панам, которые держатся за новым королем, а новый король неприятель московского царя, которому служит пан гетман Мазе-па... Ну вот это дело важное!.. Помилуй меня, бедного жид-ка, ясневельможный пане! Сжался над моими бедными детками, над моею женою! — Жид снова зарыдал и бро-сился в ноги Палею. Казаки с трудом оттащили его на сто-рону.

Палей задумался. Помолчав несколько, он взглянул на Иванчука и сказал:

— Проклятые жида, как они смышлены! Смотри, пожалуй, как этот иуда догадался! Прибывший к Дульскому иезуит, верно, патер Заленский, о котором ты говорил мне, Иван-чук. Про любовную связь Мазепы с Дульской я давно уже слышал. А эта переписка, прибытие Дульской в эту сторону, вооружение приверженцев Станислава на Украинской грани-це, все это мне что-то весьма подозрительно! Узнаем скоро всю правду! Ну, жид, если нечего более говорить — так сту-пай на шабаш, в Днепр!

Казаки снова ухватились за жида, но Москаленко тронул-ся его жалким положением и сказал Палею:

— Батько! прости этого несчастного, помилуй отца семей-ства, ради важности сообщенных им новостей...

Палей одним грозным взглядом пресек речь молодого человека.

— Я никогда не прощаю и никогда не милую изменни-ков и шпионов! Понимаешь ли, неженка! Что тут общего между жидом и его новостями? Это то же, если б я, купив коня, берег слепня, который впился в него... В воду его, детки!

Казаки подхватили жида на руки, завязали ему рот ку-шаком и понесли на берег.

— Раз... два... три! — прокричал один из казаков... Плеск раздался в воде, и жид, брошенный с размаху в реку, канул на дно как камень.

— Вечный шабаш! — закричали казаки. Гул повторил их хохот.

Между тем Палей сидел в задумчивости, не обращая внимания на происходившее вокруг него, курил свою короткую трубку и поглаживал усы.

— Послушай, Иванчук! — сказал он наконец, уставив на него быстрый взгляд. — Я что-то выдумал, и если дело удастся мне, то проклятый Мазепа съест гриб!.. — Он остановился, посмотрел неподвижными глазами на Иванчука и снова задумался. Трубка его перестала куриться, но он сосал чубук и шевелил губами, будто пуская дым.

— Слушаю, — сказал Иванчук. Палей молчал и не переменил положения.

— А что же ты выдумал, батько? — примолвил Иванчук, взяв за руку Палея и пожав ее сильно.

— Что бишь я сказал? Да, да! Вот что я выдумал! — сказал Палей. — Лукавый Мазепа замышляет что-то недоброе! Научившись у иезуитов хитростей, а у Дорошенки измены, Мазепа, этот латинский змей, не пропустит теперешнего случая, чтоб не воспользоваться враждою четырех царей. Служит он Петру, а в дружбе с польскими приверженцами Станислава, которого сажает на престол шведский король. Я хочу вывести приятеля на чистую воду! Ты, Иванчук, с полуторой сотней молодцов выступи в поле, покажись в окрестностях замка пана Дульского, вымани в погоню за собой шляхту, которая собралась у него, а я, с Москаленкой и с остальными пятьюдесятью удалцами, ударю ночью на замок, возьму его, захвачу невесту или любовницу Мазепы, Дульскую, захвачу иезуита, возьму их бумаги и заставлю и патера и бабу признаться во всем. Дульскую выменяю тотчас на моего Огневика, а иезуита с бумагами, если в них есть что важного, отправлю к царю, а если нет, то на осину патера — и делу конец!.. Как ты думаешь об этом?

— Дело хорошее, — отвечал Иванчук, сняв шапку и пригладив свою чуприну, — дело хорошее, только слишком опасное. Пан Дульский укрепил дом свой валом и пушками; народу у него вдвое больше нашего, так мы можем наткнуться на беду, а все это, право, не стоит того, чтоб ты, батько, шел почти на верную смерть!..

— На верную смерть! — воскликнул Палей. — Верно то, что каждый должен умереть — а где и как, это, брат, у всякого на роду написано, а знать нам не дано. Ты говоришь, что дело не стоит того, чтоб подвергаться опасности! Не так бы ты запел, когда бы вместо Огневика сидел теперь в тюрьме, в цепях! Тебе, видно, дорога только твоя седая чупри-

на, Иванчук! — примолвил Палей гневно. — Все вы помышляете только о себе...

— Помилуй, батько! — возразил Иванчук. — Я совсем не думал об Огневике, говоря это. Я думал о тебе, про твою дорогую для нас жизнь, полагая, что иезуит и бумаги Мазепны не стоят того...

— Черт побери всех иезуитов и всю вашу бестолковую грамоту, которую я ненавижу насмерть! — сказал Палей, ударив своею трубкой о землю. — Все это дело постороннее, а главное — мой Огневик, мой Огневик, которого я люблю более, нежели родное детище! Будь он свободен, а я, пожалуй, отдам Мазепе и иезуита его, и любовниц, и бумаги, и всех приятелей его, польских панов, нанизав их на веревку, как сушеную тарань! Ты мало знаешь Огневику, Москаленко! Послушай, я тебе расскажу, как мне дал его Бог. Когда я был еще в Запорожье, лет двадцать пять перед этим, мы ходили однажды на промысел в Польшу, чтоб проучить панов за то, что они перевешали с полсотни наших казаков, поймав их на ярмарке, где они немножко пошалили и, кажется, зажгли какое-то грязное жидовское местечко, верно, для просушки. Похозяйничав порядочно в панских дворах, мы послали добычу вперед, а сами возвращались в Запорожье, малыми ватагами, чтоб ляхи не знали, за кем гнаться. Переправившись с моей ватагой чрез Буг, я наехал на место, где ночевали наши передовые. Это было на рассвете. Корчма догорала. Между дымящимися головнями было несколько жидовских трупов и полусгоревший берлин какого-то проезжего пана, который, на беду свою, попал на ночлег в эту корчму. Вокруг все было дико и пусто, только под лесом выла собака. Я слез с лошади закурить трубку, и вдруг мне послышался крик ребенка. Я послал казаков отыскать его, и они, под лесом, нашли ребенка, над которым выла собака. На ребенке была тонкая рубашка, золотой образ Богоматери и шелковый кафтанчик. Ему было не более году от роду, и он чуть был жив от холода и голода. Казаки хотели для забавы бросить мальчика в огонь, чтоб полюбоваться, как будет жариться ляшенок, но он так жалобно кричал и протягивал ко мне ручонки, что я не дал его на потеху казакам и завернул в свой кобеняк, накормил саламатой и привез с собой в Запорожье. Казаки смеялись над моей добычей, но мне не хотелось уже расстаться с мальчиком. Я отвез его на хутор, к жене, и велел вскармливать вместе с моими детьми. Я окрестил его в русскую веру и прозвал Огневиком, в память того, что я нашел его при огне и спас от огня. Когда мальчик подрос, я сам

выучил его казачьему делу и он был со мной в нескольких набегах на Крым и на ляховщину и отличился храбростью в таких letech, когда другие едва в силах пасти табуны. Наконец я раздумал, что мне со временем будет нужен грамотный человек, и решился отдать его сперва в Киевскую школу, а после в Винницу, к иезуитам, чтоб они научили его польскому и латинскому письму. Иванчук скажет тебе, что ни у царя, ни у королей нет такого писака, как мой Огневик. А на коне с саблей и с пикой ты видал его сам. Я надеялся скоро... Но что тут говорить! Злодей Мазепа как будто оторвал половину моего сердца, отняв у меня Огневику! Во что бы ни стало, а я выручу его из Мазепиных клещей! Если же он убьет его, то вот этим кулаком я пробью грудь нечестивому и исторгну у него внутренности, вместе со злобною душою! Этот предатель не стоит того, чтоб на нем марать клинок моей сабли!..— Глаза Палея налились кровью, краска выступила на бледном лице, уста дрожали, и кулаки сжимались: он был в сильном припадке гнева.

— Он не посмеет убить Огневику,— сказал Иванчук в успокоение Палея.

— Не посмеет! — возразил Палей.— Не посмел бы он явно, так как не смеет напасть на меня — но Мазепино оружие: яд и кинжал! Откладывая нечего и надобно торопиться освободить Огневику.

— Я готов на все, что прикажешь! — сказал Иванчук.

— Дело мы поведем отважно, а притом и осторожно,— примолвил Палей.— Как только ты увидишь за собой погоню, Иванчук, то веди ее к Днепру и, переправясь в лесном месте, остановись. Ляхи не посмеют идти за тобой на русскую сторону, а ты между тем перейди опять на этот берег и другою дорогой поспешай ко мне, на выручку, так, чтоб ляхи не заметили твоего похода. Я нападу ночью на замок пана Дульско-го и... что будет, то увидим завтра, на рассвете! Недаром русские говорят: утро вечера мудренее!

Заметив, что лошади уже съели корм, Палей встал со своего места и сказал:

— Детки! напоите коней, осмотрите ружья и вперед! Пора на работу!

Казаки бросились к лошадям.

Через час казацкая ватага уже шла по дороге, в устройстве и в боевом порядке, а малый отряд, при котором был сам Палей, на рысях прошел степью в сторону и скрылся в лесу.

ГЛАВА VI

Но не раскаяньем душа его полна:
Отмщеньем, злобою терзается она.

Озеров (в Фингале)

Молодость и крепкое сложение Огневика преодолели недуг, а врачебные пособия и попечения Наталии ускорили возврат здоровья. Чрез две недели после пытки Огневик уже был вне всякой опасности и чувствовал только небольшую слабость.

Наталия, по собственной воле, а Ломтиковская, по приказанию гетмана, ни день, ни ночь не отходили от постели больного, во время опасности. Но теперь, когда он оправился, Мазепа приставил к нему своих комнатных служителей, а Наталии позволено было навещать больного только в известные часы, всегда, однако ж, в присутствии Ломтиковской, для соблюдения приличия, как сказал гетман своей питомице.

Такое положение мучило любовников. Неизвестность их будущей участи и принуждение омрачали радостные минуты свидания. Истинная любовь не многоречива, но она ищет уединения, и не только речи, а даже нежные взгляды, самое безмолвие приятнее без докучливых свидетелей. Огневик и Наталия не могли не догадываться, что поверенная гетмана приставлена к ним в качестве стражи и лазутчицы, и потому присутствие ее было им несносно. Усердные попечения Ломтиковской о больном, оказываемое ею сострадание к участи любовников, нежность обхождения ее с Наталией, вид добродушия во всех речах и поступках и даже жалобы на суровость гетмана несколько раз увлекали Наталию к откровенности; но Огневик, воспитанный в чувствах недоверчивости к Мазепе, видел во всем его окружающем измену и предательство и удерживал Наталию взглядами и намеками от ропота и душевного излияния. Ломтиковская не смела ни о чем расспрашивать их, а они не имели охоты рассказывать, и потому время свидания проходило почти в безмолвии, прерываемом изредка краткими речами, которых сила и выражение понятны были только любовникам.

Наконец комнатный служитель объявил Огневику, что гетман желает переговорить с ним наедине. Наталия и Ломтиковская удалились немедленно, и чрез несколько времени вошел гетман в комнату больного.

— Не беспокойся, любезный Богдан! — сказал Мазепа

Огневику, который сидел на постели и, при входе гетмана, встал и поклонился ему.

— Сядь или приляг, если чувствуешь слабость,— примолвил Мазепа, приближаясь к кровати.— Спокойствие тебе нужно: оно главное для тебя лекарство.

Огневик сел по-прежнему на кровати, и Мазепа поместился на стуле, у изголовья.

— Я почти столько же страдал, как и ты,— сказал Мазепа,— от мысли, что я причиною твоего недуга, любезный Богдан! Но ты человек умный, и порассудив, вероятно, простишь меня. Мы были в неприязненных отношениях друг к другу, и я, окруженный изменою и враждою тайною и явною, не столько для собственной безопасности, сколько для блага общего должен был прибегнуть к крайности с человеком, которого не знал и который навлек на себя справедливое мое подозрение... Отдаю это дело на твой собственный суд!..

— Я истребил из памяти все прошлое,— сказал Огневик,— и от будущего зависит мой образ мыслей и моя повинность к вам, ясновельможный гетман! Как подчиненный Палея, я должен был служить ему верно; но если вы, ясновельможный гетман, исполните свое обещание и отдадите мне руку своей питомицы, я оставлю службу Палея, и хотя никогда не стану действовать противу пользе и выгоде моего благодетеля, но во всех других случаях буду вам служить верою и правдою, не жалея ни жизни, ни трудов.

— Откровенность твоя оправдывает любовь мою к тебе, любезный Богдан! — возразил Мазепа.— Нет, я не хочу, чтоб ты изменил своему благодетелю, и твоя к нему верность служит мне порукою в будущей твоей ко мне преданности и в счастии моей питомицы. Напротив того, я желаю, чтоб ты, питомец Палея, был примирителем между нами и служил верно нам обоим. Он любит тебя как сына, я люблю Наталию как родную дочь; итак, пусть же союз ваш, наших детей, будет неразрывною цепью нашей дружбы! Ты говоришь, Богдан, что он послал тебя ко мне с предложением мира и покорности. Не хочу покорности, хочу мира и дружбы искренней, верной, такой дружбы, какой я ему дам доводы. Тебя же избираю я с моей стороны в посредники нашей мировой. Пусть Палей поклянется защищать со своей вольницей права Малороссии, противу кого бы то ни было, без оглядки ни на царя московского, ни на короля польского — и я весь его!.. Я, с со своей стороны, поклянусь: отдать ему в вечное владение все занимаемые им земли и не только защищать его от каждого, но исходатайствовать у Польской Республики уступ-

ку забранных им земель, за малое вознаграждение. Палей будет владеть, независимо от меня, полком Хвастовским, Винницею и Белою Церковью; может именоваться гетманом, если ему это угодно, и только в случае общей опасности, угрожающей Малороссии и Украине, должен ополчиться и вступить с своим войском под мое начальство.

Мазепа перестал говорить и смотрел пристально на Огневика, который слушал внимательно, потупя взоры, и погружен был в размышления. Помолчав несколько, он поднял глаза и сказал:

— Но что скажет об этом царь московский?

— Он не должен знать об этом, — возразил Мазепа. — Видишь ли, любезный Богдан, какую доверенность оказываю я тебе, открывая важнейшую мою тайну! Слушай меня! Я верен царю московскому и намерен остаться верным до гроба. Но царь Петр замыслил преобразовать Россию, по образцу прочих европейских государств, заводит флоты, устраивает регулярное войско, сооружает крепости, и хочет, чтоб целая Россия управлялась одинаково. Малороссия и Украина, оставаясь при своих правах и привилегиях, составляет почти независимое владение внутри самой России, и тем опаснее для нее, что примыкает к двум враждебным ей народам, полякам и татарам. На основании наших привилегий царь не может даже содержать своего войска в нашей земле, ниже строить крепостей. Власть гетмана, по силе привилегий, почти независима от государевой! Такой порядок не может существовать, если Россия будет устроена по образцу просвещенных европейских государств. Все единоверцы и все соплеменники должны слиться с Россиею, как ручьи с разлившимся океаном, а все противники России должны погибнуть, если не успеют удержать в берегах сие море. Что будет после меня, то в воле Божией; но если при жизни моей царь московский захочет уничтожить гетманщину и казачину, я решился защищать до последнего издыхания права, вверенные мне народом. Не для своих выгод жертвую я спокойствием моим, но для блага любезной нашей Украины! Мне нечего желать более и нечего надеяться! Царь московский дал мне все, что только царь может дать подданному, но я и самую благодарность приношу в жертву общей пользе, пренебрегая людским мнением. Недолго мне остается жить на свете! Пусть, при жизни моей, народ выберет себе другого гетмана, если найдет достойнее меня. Мазепа умрет спокойно и счастливо в уверенности, что сохранил своей родине ее права и вольности! Вот мысль, которая занимает меня денно и ночью;

вот одно чувство, заставляющее еще биться это охлаждающее сердце! Любовь к отечеству, желание народного блага управляют всеми моими помыслами и всеми желаниями! Для них я всем жертвую: здоровьем, спокойствием и самою славою! Но меня не понимают, меня ложно судят, на меня клеветают, потому что я не смею ни пред кем открыться! В твою высокую душу изливаю мою тайну и все мои чувствования! Будь сыном моим, будь подпорою моей старости, поборником прав любезной нашей родины и склони Палея к принятию участия в общем деле! Клянусь, что в этом сердце одна истина, одна чистая любовь к отечеству!.. — Мазепа распростер объятия: слезы катились градом по его лицу. Огневик бросился ему на шею.

В то время в Малороссии и в Украине существовал свой особенный, местный патриотизм, своя народность и свои понятия о правлении. Казаки ненавидели поляков. Лях и папист почитались бранными словами, но и слово москаль не означало ласки. Малороссияне и украинцы не любили русских. С поляками разделяла казаков ненависть за веру и за прежнее господство, а с русскими соперничество. Все благомыслящие, все умные малороссияне желали пламенно, чтоб Малороссия и Украина были в подданстве России, но не было между ними тогда ни одного, который бы желал, чтоб Малороссия и Украина слились воедино с Великороссиею. В то время Украина и Малороссия имели весьма важные и основательные причины не желать сего тесного соединения, ибо в то время Россия была не то, что она ныне! Петр Великий только что начал тогда свои преобразования, а до него Россия была азиатским государством. Бояре и воеводы, высылаемые в области, для управления ими, немилосердно грабили и угнетали народ, по примеру татарских баскаков, и закон молчал пред сильными любимцами царскими! Одним словом, малороссиянам и украинцам тогда нечего было завидовать русским. Впоследствии уравниение Малороссии с Великороссиею делалось благодеянием для первой — но в то время это было бы бедою, ибо нынешнее величие, сила, могущество и просвещение России существовали тогда только в сердце и в уме Петра Великого.

Итак, неудивительно, что умный Огневик воспламенился речами Мазепы, ибо он был в душе украинец и выгоды своей родины предпочитал всему в мире. Но когда первый восторг прошел, Огневик вспомнил о коварстве Мазепы и усомнился в истине слышанного. Хитрый Мазепа заметил внезапное охлаждение Огневика и ожидал, что он скажет.

— Доверенность за доверенности! — сказал Огневик. — Сомневаюсь, что Палей поверил той опасности, которая, по вашим словам, ясновельможный гетман, угрожает Украине. Долговременная вражда между вами породила недоверчивость...

— Понимаю! — прервал Мазепа. — Ты хочешь доказательств. Они есть у меня на бумаге. Я покажу Палею переписку мою с князем Меншиковым, с графом Головкиным, с бароном Шафировым и даже с самим царем, и он удостоверится в истине сказанного мною. Вверить сих бумаг я не могу никому, но готов их показать Палею. Пусть он назначит место для свидания со мною. На твое слово я прибуду туда безоружный, один, без стражи! Какое же более хочешь доказательство моей искренности? Для мира с Палеем, для блага родины — предаюсь в руки врага моего, если Палей хочет быть моим врагом!

— Нет, он не будет вашим врагом, если уверится в вашей искренности; если убедится, что вы столь преданы нашей общей матери, Украине! Я ручаюсь вам за него, ясновельможный гетман! Палей истинный казак и для казацкой вольности пожертвует всем, и дружбою, и любовью, и враждою. С радостью беру на себя ваше поручение и завтра же отправляюсь в путь!

— Дай мне руку, друг мой, сын мой! — сказал Мазепа, с радостью во взорах и на устах. — Ты будешь основным камнем счастья нашей родины и моего собственного счастья, нераздельного с ее благом! Я стар и бездетен. Я хотел усыновить мою питомицу, с тем чтоб передать избранному мною мужу ее все мое достояние и даже все заслуги мои в войске. Я имею сильных друзей, и если чрез их посредство голос мой будет услышан войском, если воля моя найдет путь к сердцу моих добрых старшин, я сам назначу наследника в гетманы, назначу при жизни моей... Обойми меня еще раз, сын мой!

Огневик был растроган ласкою, добросердечием и великодушием Мазепы и никак не мог сомневаться ни в его желании примириться с Палеем, ни в любви к отечеству, когда гетман отдавал себя в залог своей искренности. Любовь к Наталии вопияла также в сердце Огневику в пользу ее благодетеля, когда Огневик удостоверился, что Мазепа любит ее только отеческою любовью, а не воспитывал, как твердило людское мнение, для развратных своих наслаждений. Огневик с чувством обнял Мазепу и в эту минуту готов был жертвовать жизнью на его слово.

— Теперь поговорим о твоём деле, любезный Богдан! —

сказал Мазепа. — Клевета и зависть, эти шипы славы и счастья, изъязвили меня. Каждую мысль мою, каждое слово мое, каждый мой поступок завистливые люди толкуют в дурную сторону. Прощаю ли я врагов моих и доносчиков — я малодушен! Караю ли их — жесток! Избегаю ли умом и осторожностью измены и тайных сетей — я коварен! Удерживаю ли в повиновении закону старшин — я деспот! Вот суждения обо мне! Я все знаю и молчу, предоставляя все Богу и потомству. Не скажу, чтоб я был беспорочен, бесстрастен, безгрешен! Я человек! Но я человек не злой и не коварный, каким хотят представить меня враги, а может быть, слишком простодушный для нашего века и слишком снисходительный! Вот вреднейшие мои пороки! Вся моя беда в том, что я не пью ночи напролет, с моими старшинами, как Зиновий Хмельницкий, и не обсуждаю дел на площади, в толпе пьяной черни, или за ковшом с медом, в светлице, как бывало прежде меня. Многим несносно, что я работаю один за всех и для всех, не теряя времени на пустые толки с пустыми головами. Глупцам кажется, что все должно быть так, как было при Хмельницком и при Дорошенке, а хитрецам этого хочется. Но умный человек должен жить по поре, по времени, а ныне русские не те люди, что были за десять лет перед сим! С другими людьми я должен иначе вести себя. Но меня не понимают здесь и бранят, клеветуют, ненавидят! Узнают и раскаются! Таким образом клевета выдумала, будто Наталию воспитал я из гнусных видов сладострастия и берегу для любовных утех! Будь проклят тот язык, который первый вымолвил сию подлую ложь! Порази гром ту голову, в которой родилась сия злодейская мысль! Наталия не могла ничего рассказать тебе о своем происхождении. Она знает только, что она сирота, которую я взял к себе, еще в колыбели, но не знает ни родителей своих, ни причины, которая заставила меня быть ей вторым отцом. Слушай! Когда я был в Польше, в моей молодости, любовная связь с женою одного вельможи, при котором я служил в звании конюшего, подвергла жизнь мою опасности. Озлобленный вельможа поставил в засаду гайдуков своих и велел схватить меня, когда я пойду на свидание с его женою. Он хотел лишить меня жизни в жесточайших мучениях, и уже все приготовлено было к моей казни. Один бедный шляхтич, служивший со мною при дворе вельможи, Иван Милостинский, по особенной ко мне привязанности, уведомил меня о предстоящей опасности и помог мне спастись бегством. Я бежал в Запорожье и записался в казаки. Приобрев доверенность гетмана Дорошенки, я призвал шляхти-

ча, чтоб разделить со мною мое счастье. Судьбе угодно было, чтоб он в другой раз спас мне жизнь, в одном татарском набеге. Израненный, он не мог продолжать службы, удалился в Киев, женился, и Наталия — дочь его. Мать ее умерла в родах, а мой избавитель слег в могилу в год после рождения своей дочери. Я взял сироту к себе и послал в Варшаву, к сестре управителя моего, Быстрицкого, чтоб воспитать ее в польских нравах, как пристойно благородной девице. По окончании ее воспитания, я велел привезти ее сюда, чтоб найти ей мужа, достойного той блистательной участи, какую я готовлю для дочери моего истинного друга, которому я дважды обязан жизнью. Заботы мои кончены! Наталия сама выбрала себе жениха, и я благодарю Бога, что выбор ее пал на человека, который достоин всей любви моей и уважения. Теперь скажи мне, Богдан, как ты узнал ее?

— В прошлом году польские вельможи предложили Палею именем Республики отложиться от России, обещая ему гетманство в Заднепррии, место в Сенате, богатые вотчины и жалованье войску. Палей, верный в преданности своей к России и в ненависти к Польше, не поколебился лестными обещаниями врагов своих, но, желая узнать причины, побуждающие вельмож к сему поступку, выслал меня в Варшаву, будто для тайных переговоров, а в самом деле, чтоб узнать настоящее положение дел. Он предупредил о сем царя Московского. Я жил в Варшаве около осьми месяцев. В первые дни моего пребывания я увидел Наталию в русской церкви и с первого взгляда полюбил ее. Никогда я прежде не думал и не верил, чтоб женщина могла приковать к себе мое сердце, овладеть моею волею, воцариться в душе моей и подчинить себе все мои помыслы и ощущения. Так стало, однако же! Тщетно старался я забыть ее. Образ красавицы беспрерывно мечтался мне и днем и ночью, и я, в намерении избегать встречи с ней, невольно искал ее всюду. Чрез всезнающих жидов, всесветных лазутчиков, я узнал, что она воспитывается на ваш счет в Польше и по окончании воспитания должна возвратиться к вам, в Малороссию. Я поверил, вместе с другими, что вы, ясновельможный гетман, готовите Наталию в любовницы себе, и вознамерился спасти ее от срама. Я нашел случай познакомиться с шурином Быстрицкого, чрез наших варшавских приятелей, и вскоре приобрел его дружбу и доверенность его жены. Они также разделяли общее заблуждение на счет отношений ваших к Наталии и не противились моей любви...

Мазепа прервал речь Огневика и, посмотрев на него, с видом простодуший, сказал:

— Меня обвиняют в недоверчивости к людям, а между тем все меня обманывают! Сестра Быстрицкого и муж ее, благодетельствованные мною, исторгнутые из бедности, изменили мне при первом случае!.. И сама Наталья!..

— Наталия ни в чем не виновна, — отвечал с жаром Огневик. — Она всегда питала к вам чувство нежной дочери, всегда вспоминала с благоговением о своем благодетеле...

— Пусть будет так! — возразил Мазепа. — Продолжай!

— Я любил нежно, пламенно Наталию и был так счастлив, что приобрел любовь ее. Я помню, как свое имя, день и час, в который мы сознались друг другу во взаимной любви, но не помню ни одного слова из всего того, что я сказал Наталии, а из ее ответа одно *люблю* — врезалось навеки в сердце моем и в памяти. Мы поклялись...

— Довольно, довольно, — сказал Мазепа, насупив брови и стараясь улыбнуться, — я знаю, что говорится в подобных случаях! Клятвы... верности!.. Мне удивительно, однако же, как вам не пришло в голову обвенчаться без моей воли и без моего ведома! Только этого недостает в этой повести!

— Признаться, я хотел жениться и увезти Наталию в Белую Церковь, но несчастный случай воспрепятствовал мне исполнить сие намерение. Князь Вишневский, прибыв в это время в Варшаву, из своих поместьев, зная любовь и доверенность ко мне Палея, вознамерился захватить меня и удержать заложником, до возвращения Палеем завоеванных нами земель княжеских и до удовлетворения за добычу, взятую в поместьях князя. Паны Рады, не предвидя успеха в переговорах своих со мною, согласились предать меня, и я, предудежденный заблаговременно, должен был бежать тайно из Варшавы и скрытно пробираться на Украину. Я не хотел подвергать Наталию опасностям моего бегства и пожертвовал собственным счастьем... Вскоре после моего бегства из Варшавы вы, ясновельможный гетман, велели Наталии ехать в Батурин, и я, узнав об этом, решился воспользоваться данным мне от Палея поручением, чтоб окончить мое намерение...

— То есть увезти Наталью из моего дома, не правда ли? — примолвил Мазепа, устремив пронизательный взор на Огневика и стараясь скрыть внутреннее волнение.

— Я не хочу обманывать вас, ясновельможный гетман! Не надеясь, чтоб вы отдали Наталию неизвестному вам человеку, бедняку, казаку без роду и племени, и притом вер-

ному другу врага вашего, — я хотел увести ее и обвенчаться с нею, с благословения благодетеля моего...

— Молодецки! — сказал Мазепа, скрывая гнев и злобу под улыбкой мнимого простодушия и веселости. — Но этого нельзя было исполнить, не имея в доме моем сообщников, которые из дружбы к тебе или к Палею согласились бы помогать тебе. Иначе невозможно было подумать...

— Нет, клянусь вам всем святым, что я ни на кого не надеялся, как только на любовь Наталии, на саблю мою и на быстроту коня моего. Кроме Наталии и надзирательницы ее, я никого не знал и не знаю в вашем доме.

— Если это правда, то, признаюсь, удивительно мне, что такой умный человек, как ты, решился на такое безрассудное предприятие!

— Ясневельможный гетман! Ссылаюсь на вас самих: рассуждает ли любовь о предстоящих опасностях, когда сердце стремится к сердцу? Нам ли, сынам степей и воли, выросшим в опасностях, живущим для искания опасностей, дорожить жизнью тогда, когда жизнь представляется в будущем хуже татарского плена! Я даже и не помышлял об опасностях! Я думал об одной Наталии!

— Пусть будет и так! — сказал Мазепа, кивнув головой и махнув рукой. — Дело кончено! Наталья твоя! Поезжай к Палею, и, после нашей мировой, он будет твоим посаженным отцом. Я велю приготовить все к твоему отъезду, а между тем ты простиись со своей невестой и переговори с Орликом. Он даст тебе некоторые наставления. Ты найдешь его в войсковой канцелярии, в нижнем жилье.

Мазепа пожал дружески руку Огневика и вышел из комнаты.

Едва Огневик успел одеться, в первый раз после болезни, в богатый полупольский наряд, присланный ему Мазепою, Наталия вошла в комнату. В третью комнату вошла в то же время Ломтиковская чрез особенный вход из коридора и села за пляцы, затылком к Огневику, будто не примечая вошедшей Наталии. Огневик улыбнулся и сказал вполне голося:

— Гетман все-таки не может никому верить вполне! Нечего делать. У каждого своего рода слабость! Наталия! — примолвил он нежно. — Все нам благоприятствует. Гетман согласился на наше счастье — а я вижу грусть на лице твоём... даже слезы!

— Ты едешь! — сказала она печально.

— Еду, друг мой, для утверждения нашего счастья и для блага нашей родины; еду, как посланец гетмана к моему

вождю, с тем же предложением, с которым я прибыл сюда от Палея. Старики хотят наконец помириться, и хотят этого искренно. Успех моего посольства несомнителен. Итак, утешься, милая Наталия: отсутствие мое не будет продолжительным, и я возвращусь к тебе, чтоб никогда более не расставаться.— Огневик по польскому обычаю поцеловал руку Наталии, и в это время Ломтиковская оглянулась. Взор ее пылал, и движение походило на судорожное.

— Мне все что-то страшно! — сказала Наталия тихим голосом, поглядывая с беспокойством на Ломтиковскую, в растворенную дверь.— Когда гетман объявил мне близкое наше соединение и назвал меня твоею невестой, эта женщина, на которую я тогда нечаянно взглянула, улыбнулась с такою выразительностью и бросила на меня такой ужасный взгляд, что кровь во мне охладела. Я чуть не упала без чувств от страха. Эта женщина пользуется доверенностью гетмана: она приставлена присматривать за нами и, верно, знает что-нибудь такое, что стараются пред нами скрывать. Любезный Богдан! Я не могу отдать тебе отчета в том, что чувствую; но какая-то грусть, какое-то грозное предчувствие лежит у меня на сердце... Я боюсь нашей разлуки!..

— Ангел мой, друг мой, милая Наталия, успокойся! — сказал Огневик, взяв ее за руку.— Я узнал гетмана совершенно и удостоверился, что он вовсе не таков, каким многие его почитают. Я верю его слову, милая Наталия; верю, что он отдаст мне твою руку, потому что если б он не был со мною искренен, то не поручал бы мне дела, от успеха которого зависит будущее его спокойствие, а может быть, и существование. Я предугадываю многое! Впрочем, что бы ни было,— примолвил Огневик громко, так, чтоб Ломтиковская могла слышать его слова,— что бы ни замышляли противу нас, кроме Бога, не в силах разлучить нас с тобою, милая Наталия, если ты будешь столь же тверда в своей воле, как теперь...

— Ужели ты сомневаешься? — возразила Наталья.

— Я не сомневался и не сомневаюсь в твоей ко мне любви, но хочу удостовериться в твоей решительности. Что до меня касается, то клянусь Богом и Украйною, что если кто-либо задумает воспротивиться соединению нашему, то, когда эта рука иссохнет прежде, чем омоется в крови злодея нашего, тысячи рук нашей удалой вольницы вооружатся за обиду их брата, тысячи сердец вспыхнут кровавою, непримиримою местью, и наш враг не укроется от смертного удара ни на ступенях царского престола, ни у алтаря живого

Бога! Я ни гетман, ни воевода, но я человек свободный, и вся сила моя в душе моей и в руке, а сила эта выше всякой другой, когда человек не боится смерти. Не дорожу ни жизнью, ни смертью, дорожу одною твоею любовью, и кто захочет расторгнуть любовь нашу, тот отнимет у меня более, нежели жизнь... Будь спокойна, Наталия; я буду осторожнее и скорее слягу в могилу, чем лишусь свободы, а пока я на воле, то не боюсь никого, кроме Бога!

— И я клянусь тебе, что скорее соглашусь на смерть, чем на разлуку с тобой! — сказала Наталия твердым голосом. — Я слабая женщина, но чувствую в себе столько мужества, что с радостью умру, но не отдам руки моей немилому человеку. Благодетель мой может располагать моею жизнью, но не сердцем. Я также вольная казачка и не признаю ничьей власти над душою моею! Я твоя!..

Наталия протянула руку, которую Огневик поцеловал с жаром. Ломтиковская встала быстро и поспешно вышла. Вдруг дверь отворилась из коридора в комнату Огневику. Вошел слуга гетмана и, поклонясь низко Наталии, сказал:

— Ясневельможный гетман просит вас пожаловать к нему немедленно!

Наталия пожала руку Огневику и, сказав: «Твоя навеки!» — вышла.

Огневик пошел по приказанию Мазепы в канцелярию, для переговоров с Орликом.

ГЛАВА VII

Уже из давних лет замечено у всех,
Где лад, там и успех;
А от раздора все на свете погибает.

Хемницер

В наше время едва можно поверить, чтоб такой образ правления, как был в прежней Польше, мог существовать между образованными народами! Избирательные короли, принимая бразды правления на условиях, предложенных избирателями, никогда не исполняли оных, не имея ни власти законодательной, ни силы во власти исполнительной. Паны содержали в рабстве народ и в подчиненности равную себе по правам, но бедную шляхту. Богатые властители земель были независимые владетели в своих помыслах, содержали свое надворное войско, не слушались законов, противились вооруженною рукою исполнению судебных приговоров, самоуправ-

лялись со своими соседями и повиновались королю тогда только, когда надеялись получить милости, ибо наконец вся власть короля ограничивалась раздачею чинов, мест и казенных имуществ, или староств. Сопротивление королевской воле не почиталось даже незаконным поступком, ибо, на основании уставов, подданные уволены были от присяги и повиновения, когда король нарушал законы, а нарушение сие каждый вымышлял и толковал сообразно своим видам и составлял конференцию, или союз вооруженной шляхты, противу власти королевской, будто бы для поддержания прав народа, а в самом деле для удовлетворения своему честолюбию и корыстолюбию. Посему-то не было в Польше ни порядка, ни благоустройства, ни безопасности. Беспоместная шляхта, вооружаемая панами для защиты границ и собственной безопасности, бродила толпами, грабя и утесняя городских и сельских жителей, бесчинствуя и прикрывая все свои пороки одною храбростью в боях с соседями: с русскими, с хищными татарами и с беспокойными казаками. Польша, имея весьма мало регулярного войска, походила на воинский стан, ибо каждый свободный житель ее, то есть каждый шляхтич был всегда вооружен и готов к бою. Благосостояние каждого гражданина зависело от личной его храбрости или от числа его приверженцев. Потому-то богатые паны, ласковым обхождением и щедростью, привлекали к себе шляхту, а бедные, но предприимчивые люди составляли себе партию надеждою грабежа или славы. Все в Польше кипело, бурлило, кричало и дралось. Никто не хотел признать преимуществ другого, и каждый стремился происками и силою к первенству и к приобретению влияния над большим числом избирателей и храбрецов. Уважение, питаемое к царственным родам Пиястов и Ягеллов, из коих долгое время избирались короли, удерживали польскую шляхту в некотором повиновении, или, лучше сказать, в пристойных отношениях к трону. Но с прекращением Ягеллова племени и с избранием чужеземца на польский престол, буйство, нахальство, неповиновение и дух гайдамакта¹ дошли до высочайшей степени. Спор Августа и Станислава Лещинского о короне польской, поддерживаемые с одной стороны Россиею, а с другой Швециею, открыл обширное поприще страстям, удалству, притязаниям, проискам и надеждам. Почти все

¹ В Польше назывались гайдамаками люди, которые, собрав шайку, не признавали властей, явно грабили и самоуправлялись до тех пор, пока не были покорены силою. Между польскими панами это было не редкость. В польском языке *гайдамак* есть синоним *забияки*.

польское шляхетство было вооружено, поддерживая одну или другую сторону, сообразно своим видам, и междоусобная война в Польше хотя и не пылала с жестокостью, но нарушала порядок и безопасность смиренных сограждан, разоряла страну, отвлекала каждого от полезных занятий и, что всего бедственнее, открывала вход в нее чужеземным войскам.

Пан Дульский, называясь князем¹, по происхождению своему от князей русских, владея богатыми поместьями в Галиции и на Украине и будучи родственником Станислава Лещинского, поддерживал его с жаром и напряжением всех своих средств. Зная, что гетман Мазепа, находясь в Минске с войском своим, влюбился в жену покойного его брата и даже предложил ей свою руку, пан Дульский вознамерился воспользоваться сим обстоятельством и завел с Мазепою переговоры, вследствие коих стал собирать войско в своих украинских поместьях, и наконец сам прибыл в одно из них, укрепленное вроде замка. Здесь он ожидал своей невестки, а между тем посредством иезуитов сносился с Мазепою, который, по обычаю своему, вел дело медленно, неясно, двусмысленно. Между тем пан Дульский жил роскошно в своем замке, угощал своих друзей и юношество из хороших фамилий, вооружавшихся под его хоругвию², позволяя бедной шляхте, составляющей дружину, пировать и бесчинствовать на счет своих поселян и мещан, живших в принадлежавших ему городишках. Тогда военная сила в Польше измерялась не тысячами или десятками тысяч, но десятками и сотнями, ибо Польша, ведя вечную брань с Россиею, с Турциею и с татарами, не имевшими регулярного войска, противопоставляла сотни тысячам, и опытные польские наездники, искусные в воен-

¹ До самого вступления на престол Станислава Понятовского польская шляхта, то есть польское дворянство или, как тогда говорили: рыцарское сословие (*stan rycerski*), почитая всех сочленов своих равными, не признавало никаких титулов. В Польше нет польских княжеских фамилий. Все княжеские роды происходят от русских или литовских князей или приобрели титулы в чужих государствах, как, например, род Радзивиллов. Графов в Польше также не знали прежде. Но несколько ключей или огромных вотчинничеств, имеющих особое вотчинническое управление, составляли графство, или графство, и владетель носил титул Грабя, то есть по-латыни *Comites*, графа, для означения своего вотчинничества, с наименованием своего графства, например: Ян Пиотровский, Грабя на Красном Ставе (название имения). В Польше есть и теперь много княжеских родов, потерявших сие звание оттого, что не могли ясно доказать своего происхождения или не хотели, когда Станислав Понятовский убедил Сейм позволить употреблять титулы. До сего многие княжеские роды хотя не смели называться князьями, но писались из князей.

² *Choągiew*, в военном значении то же, что эскадрон. Паны, содержа на свой счет войско, имели знамена со своими гербами.

ном ремесле, весьма часто торжествовали над превосходным числом своею храбростью и искусством. Тысяча всадников почиталась тогда в Польше сильным отрядом, небольшою армиею, ибо сия тысяча вольных воинов вела за собою несколько тысяч слуг¹, которые в нужде вооружались и сражались под начальством своих господ. Пан Дульский почитал себя чрезвычайно сильным, успев собрать уже до пяти сот вооруженной шляхты, в числе коих находилось много молодых людей из знатных и богатых родов.

Соседство Палея, непримиримого врага поляков, беспокоило пана Дульского. Он вознамерился испытать счастья и, собрав до тысячи воинов из шляхты и своих надворных казаков, напасть врасплох на Палея в Белой Церкви, где, как носился слух, хранились несметные сокровища. Для разведания о положении дел, Дульский выслал жида в Белую Церковь, который, как известно, был пойман и, под ударами казачьих нагаек, высказал все, что знал и о чем догадывался. Палей, как мы уже видели, решил предупредить Дульского. С нетерпением ожидал пан Дульский возвращения своего лазутчика, как вдруг дали ему знать, что отряд вольницы Палеевой показался в нескольких милях от замка и разграбил одно из его поместий. Почти в то же время управитель его привел во двор связанного мужика, который в пьяном виде грозил в корчме жидам и ляхам близкою гибелью и местью Палея. Это был тот самый мужик, которому Палей дал денег, встретясь с ним на пути. Несчастливого стали пытать, и он в истязаниях признался, что видел самого Палея, говорил с ним и слышал из собственных уст его, что он идет на замок его пана. Не умея в точности определить числа Палеевых воинов, мужик объявил, однако же, что их едва будет половину противу воинов, собранных в поместье его пана, и тем не только успокоил Дульского, но даже породил в нем надежду разбить отряд Палея и захватить его самого в плен. Велев бросить мужика в погреб, Дульский немедленно собрал знатнейших из своих приверженцев для военного совета, а в том числе и иезуита Заленского, возвратившегося от Мазепы.

Когда ротмистры и прочие офицеры собрались в зале, пан Дульский рассказал им о прежнем намерении своем напасть на Белую Церковь, для отнятия у Палея награблен-

¹ Военные слуги, или цюры, имели право носить оружие в военное время и охраняли обозы, которые были при польском войске многочисленны в последнее время, ибо каждый шляхтич хотел иметь с собою бричку и заводных лошадей.

ных в Польше сокровищ, объявив о появлении Палея в окрестностях со слабым отрядом и просил совета у своих друзей, что должно предпринять в сем случае.

— Сейчас на конь и в поле! — воскликнул молодой хорунжий Стадницкий. — Ударим на разбойников, разобьем их и прямо бросимся на Белую Церковь, нападём на город прежде нежели там узнают о разбитии Палея — и все наше!

Старый ротмистр Скаржинский улыбнулся, погладил седые усы свои и сказал:

— Не так легко это сделать, как сказать, пане хорунжий! Мы давнишние знакомые с Палеем. Этого старого волка не проведешь и не скоро пробьешь его шкуру. Глаз у него зорек, и зуб востер! Не должно верить слухам, а надобно самим удостовериться в истине. Пошлем разезды, а сами запремся в замке и будем ожидать последствий. Мне кажется, что Палей хочет уловить нас какою-нибудь военною хитростью. Это его дело! Впрочем, в каких бы ни был силах Палей, встреча с ним будет нам стоить дорого. У нас, по большей части, воины молодые, неопытные, не привыкшие к жестокому, продолжительному бою, к резне на ножах, а с Палеевой вольницей, составленной из самых отчаянных головорезов, или бей насмерть на месте, или вались на месте в могилу! Тут надобно старых солдат...

— Полноте, полноте! — сказал гордо хорунжий Стадницкий. — У вас всегда одно и то же на языке: все одна похвальная песня старости! Храбрость не в седине, почтенный ротмистр, и — говоря не на ваш счет — храбрость редко доживает до седин. Вы и несколько других известных воинов, вы составляете исключение из моего правила, а между тем я все-таки верю, что на отчаянное дело лучше идти с молодыми, нежели со старыми воинами...

— Но зачем нам пускаться без нужды на отчаянное дело? — сказал хладнокровно ротмистр Скаржинский. — Мы собрались здесь не на войну противу Палея, и если бы он ускользнул от нас, то не только в этом не будет беды, а напротив того, по-моему, еще лучше, потому что мы сохраним наших воинов на дело, от которого зависит судьба отечества и участь короля Станислава.

— Позвольте же доложить вам, — примолвил патер Заленский, — что польза отечества и короля Станислава требует непременно истребления разбойничьего гнезда Палеева и гибели этого злейшего из наших врагов. Пока он будет жив, нам нельзя надеяться никакой помощи в этих странах!

— Совершенная правда! — примолвил пан Дульский. —

При полной доверенности моей к вам, ясневольможные и вельможные паны, я не могу открыть вам, до времени, всех тайнств политики короля Станислава, но уверяю вас, что от гибели Палея почти зависит успех нашего дела и судьба нашего отечества. Нам должно решиться на отчаянное средство, чтоб извести этого разбойника и овладеть его сокровищами, которые дадут нам возможность вести войну с царем московским и с приверженцами Августа. Я думаю, что вы слишком далеко простираете свое благоразумие и предусмотрительность, пане ротмистр, представляя нам столь опасным и столь сомнительным открытый бой с Палеем! Если б у него вместо четырехсот человек было четыре тысячи, то и тогда нам было бы стыдно страшиться этой сволочи! Разве ротмистр Лисовский считал свои дружины тысячами, когда доходил до Волги, пробиваясь сквозь стотысячные воинства? Разве гетман Тарновский, карая мятежных волохов, не был вдсятеро слабее их? Разве Калиновский, Корецкий, Потоцкий, Сапега, Вишневецкий не с сотнями поляков разбивали тысячи казаков! Разве в победе под Берестечком не приходилось по десяти казаков и татар на одного нашего воина? Нечай, Наливайко и Хмельницкий, право, не хуже Палея, а мы никогда не сражались с ними в равном числе. Разве мы не те же поляки, пане ротмистр?

— Мы те же поляки, но неприятели наши не те люди, что были прежде, — отвечал ротмистр Скаржинский. — Превжная сволочь, полувооруженные толпы мужиков, без всякого познания военного ремесла, предводительствуемые невеждами, которых наши всадники гоняли пред собою как стадо, эти мужики теперь стали опытными и искусными воинами и с дикою храбростью своею соединяют непримиримую к ним вражду, которая делает из них героев...

Толстый и румяный пан Дорошинский громко захохотал при сих словах.

— Только этого недоставало! — сказал он насмешливо. — Что дадите мне за этих героев, — примолвил он, обращаясь к старому ротмистру, — я сейчас же выступлю с моею хоругвью, и завтра, если только Палей не бежал в свой разбойничий притон, завтра же обещаю вам дать по три живых и по три мертвых героев ваших за каждого коня, которого вы поставите в мой эскадрон! Не хотите ли заключить торг? Стыдно, право, стыдно толковать с такою важностью о появлении нескольких сот разбойников, как будто дело шло о нападении на Польшу всей турецкой и татарской силы! Пане Дульский! Объявляю вам решительно, если вы не согласитесь по-

слать тотчас погоню за разбойниками, то я отделяюсь от вас с моею хоругвиею и иду один противу Палея, а когда поймаю его, то, прежде чем повешу, приведу его к вам, на аркане, и заставлю его сказать пред всеми, что тот, кто боялся его, недостоин имени поляка!..

— Браво, браво! — закричали со всех сторон. — В поле, на конь и — смерть разбойникам!

— Кто осмеливается упоминать о боязни!.. — сказал в гнев ротмистр Скаржинский, встав с места и ухватясь за саблю.

Крик и шум заглушили слова ротмистра.

— На виселицу разбойников! На кол атамана! В огонь весь род его и племя! В поле, на конь! — раздавалось в толпе.

— Я не имел намерения обидеть вас, пане ротмистр, — сказал пан Дорошинский, — ибо уважаю ваши заслуги и ваши седины; но если вам угодно увериться, что я не знаю, что такое боязнь, то прошу покорно со мною, в чистое поле, противу Палея, или на средину двора, с саблею наголо. Или там, или здесь мы разрешим наши сомнения...

— Господа, господа! — сказал патер Заленский, став между противниками. — Неужели нам нельзя сойтись на совещание без того, чтоб не обошлось без ссоры и драки? Вот в чем состоит сила врагов наших! Наши раздоры и несогласия лучшие их союзники! Именем пролившего жизнь на кресте для любви и мира между людьми, — примолвил патер, взяв в руки крест, висевший на груди его, — именем Спасителя приглашаю вас к миру и согласию! — Сказав сие, патер взял руку ротмистра и положил в руку пана Дорошинского.

— Итак, подайте венгерского! — воскликнул пан Дульский. — Пусть же льется вино вместо крови и разогреет охлажденную дружбу!

— Гей, венгерского! — закричал пан Дульский и захлопал в ладоши. Маршал двора его, стоявший за дверьми, побежал исполнить приказание.

— Святой отец! — сказал хорунжий Стадницкий иезуиту, — где нет спора, там нет и мира. Между людьми равными и свободными, как шляхта польская, нельзя требовать монашеской подчиненности и смирения, и тот плохой шляхтич, чья сабля не прыгала по лбу соседа или чей лоб не выдержал удара стали. Сеймики и пиры также война, и где бы нам приучаться к бою, если б мы жили тихо, как немцы или как отшельники? Напрасно вы помешали поединку пана ротмистра с паном Дорошинским, святой отец! Я отдал бы сво-

его карего жеребца, чтоб посмотреть, кто кому скорее раскроит голову. Они оба искусные бойцы...

— Полно, пане хорунжий! — сказал пан Дульский. — Теперь и без поединков есть случай повеселиться с саблею в руке.

Между тем маршал явился с огромным бокалом в руках, а за ним служители внесли ящики с бутылками. Пан Дульский налил бокал и, обращаясь к ротмистру Скаржинскому, сказал:

— В руки Панские!¹ — выпил душком до дна. Потом налив снова, поднес ротмистру, который, выпив с тою же приговоркою, передал бокал пану Дорошинскому. Бокал переходил таким же порядком, из рук в руки, пока несколько дюжин бутылок не опорожнились. Вдруг послышался трубный звук во дворе.

— На конь! Виват! Да здравствует пан Дульский! — закричали разгоряченные вином собеседники.

— На первом сейме я подаю голос за пана Дульского! — воскликнул пан Дорошинский.

— И я также!.. и я также! — раздалось в толпе. — Он должен быть канцлером! Он должен быть гетманом коронным!.. Что за славное вино!.. А почему же ему не быть королем? — Вот что слышно было в толпе, между обниманиями и целованиями, пока воинская труба не пробудила в панах охоты к драке.

— Господа! — сказал пан Дульский. — Прошу выслушать меня! Всем нельзя выступать в поле. Бросим жребий, кому оставаться. — Пан Дульский взял шапку, которая висела на рукояти его сабли, снял с руки перстень с гербом и просил других последовать его примеру. Сабля, усы и перстень с гербом были в то время три необходимые принадлежности польского шляхтича. Каждый из присутствовавших бросил свой перстень в шапку.

— Я думаю, что четвертой части наших воинов довольно для охранения замка, — сказал пан Дульский. — Из вас, господа, должны остаться, по крайней мере, человек десять или пятнадцать. Крепостная служба требует бдительности и строгого надзора, а не во гнев сказать, все мы лучше любим подраться в чистом поле, чем проводить бессонные ночи на страже. Итак, лучше, если будет более офицеров для чередования в службе. Притом же, нельзя оставить дам без кавалеров... Они соскучатся.

¹ Wrece Panskiel то же, что: à vous!

— Справедливо, справедливо! — закричали со всех сторон.

— Итак, я вношу предложение, чтоб пятнадцать человек из нас остались в замке. Почтенный патер Заленский, извольте вынуть пятнадцать перстней, один за другим. Чей перстень вынется, тот останется. Но прежде вы должны дать, господа, честное слово, что не станете противиться сему добровольному условию и что каждый из вас беспрекословно подчинится жребию.

— Даю честное слово! *Verbum nobile!* — закричали в толпе.

— Итак, извольте начинать, патер Заленский! — примолвил пан Дульский.

Геральдика составляла одну из важнейших познаний польского шляхетства, и каждый благовоспитанный человек знал наизусть все гербы известных фамилий в Польше. Патер Заленский, вынимая перстни, читал как по писаному и провозглашал имена. В числе четырнадцати вынувшихся перстней находились перстни самого пана Дульского, старого ротмистра Скаржинского и хорунжего Стадницкого. Все молчали, хотя многие морщились и изъявляли знаками свое нетерпение. Наконец патер, вынув пятнадцатый перстень, провозгласил громко:

— Пан ротмистр Дорошинский, подкоморий Брестский, воеводич Брацлавский!

— Протестую! — воскликнул пан Дорошинский.

— И я также! — сказал хорунжий Стадницкий.

— Протестую, не позволяю (*nie pozwalam!*)! — закричало несколько панов.

— *Veto!* — примолвил пан Дорошинский. — Опровергаю конвенцию, потому что упущены формы, и определение последовало без собрания голосов поодиночке!..

— А *Verbum nobile*, а честное слово? — сказал пан Дульский.

— Честь каждого есть неприкосновенная святыня, — сказал пан Дорошинский. — Прошу не упоминать об ней!

— Но вы заложили мне эту святыню, дав слово! — отвечал с насмешливою улыбкою пан Дульский.

— Пане подконюший! — воскликнул с гневом пан Дорошинский. — При всем уважении моем к вашему дому и вашей особе, я объявляю вам, что если вы хотите, чтоб мы оба остались в живых до вечера, будьте воздержаннее в речах! Я не позволю самому королю коснуться моей чести! Из дружбы к вам, я собрал под фамильную хоругвь мою сто лучших на-

ездников из нашего воеводства и решился поддерживать вас, вопреки желанию родственников моих, которые обещали мне староство и звание охмистра (гофмаршала) при дворе Августа. Но если вы не умеете уважать друзей своих, я отделиюсь от вас и приглашаю всех друзей моих соединиться со мною. Господа! кто со мною, а кто с Дульским.

— Как? вы оставляете нас во время опасности, перед неприятелем! — сказал ротмистр Скаржинский.

— Смеюсь над всеми вашими опасностями и сам иду на Палея, — сказал пан Дорошинский, подбоченясь одной рукой, а другую опершись на свою саблю.

В собрании поднялся такой шум и крик, что не можно было расслышать ни слова. Все говорили вместе, и никто не хотел слушать. Венгерское вино действовало сильно в головах и испарялось в буйных речах и угрозах.

Иезуит ускользнул из собрания в самом начале спора, и когда запальчивость спорящих дошла до того, что некоторые уже обнажили сабли и надели шапки, вдруг дверь из боковой комнаты отворилась и в залу вошла княгиня Дульская, невестка хозяина, с тремя его дочерьми и со свитою, состоявшею из двадцати девиц и замужних женщин, родственниц, поживальниц и собеседниц княгини, хозяйки и дочерей. Спорящие тотчас сняли шапки, вложили сабли в ножны и умолкли.

Княгиня Дульская сказала:

— Мы узнали, что вы, господа, спорите о том, кому идти в поле, а кому оставаться в замке. Давно ли защита слабых жен не почитается почетным поручением для польского рыцаря? Наши отцы и деды, не страшась никаких опасностей, брались за оружие единственно для доставления спокойствия женам, детям и возлюбленным своим и, пренебрегая смертью, выше всех наград поставляли нашу любовь, дружбу и благодарность. Предки наши не гонялись за славою, а слава сама следовала за ними повсюду, потому что цель всех их подвигов была истинно благородная, бескорыстная, рыцарская! Марина Мнишек вооружила для защиты своей цвет польского юношества, чуждого политических видов и повиновавшегося единственно силе ее красоты. Украинскому разбойнику, какому-нибудь Палею, прилично жаждать крови и добычи, но для польского рыцаря, для вольного шляхтича Польской Республики защита женщины должна быть священной обязанностью. Пане Дорошинский и пане Стадницкий! Я избираю вас в мои защитники и, надеясь на ваше мужество, прошу остаться с нами в замке! Мои подруги уверяют безопасность свою остальным тринад-

цати рыцарям, которых судьба назначила нам по жребию!

Пан Дорошинский пожал плечами, обтер пот с лица, покрутил усы и, не говоря ни слова, подошел к пани Дульской и поцеловал ее руку. Хорунжий Стадницкий последовал его примеру, и все прочие офицеры, которым надлежало остаться в замке, сделали то же самое: каждый поцеловал, в безмолвии, руку избранной им красавице.

Дамы вышли, и спор прекратился. Пан Дульский проводил за ворота тех, которым надлежало выступить противу Палея, и возвратился в комнаты.

Дорошинский заперся в своей комнате. С горя и досады он лег спать. Он решил не показываться в обществе. Но вечером, когда княгиня Дульская прислала просить его послушать сочиненной ею песни, он не мог воспротивиться повелению дамы и, нарядившись богато, пошел в залу, где по вечерам собиралось все общество.

От самых древнейших времен в Польше угождение женскому полу и даже прихотям красавиц почиталось обязанностью благовоспитанного дворянина. Женщины всегда владычествовали в Польше! Дорошинский, при всем буйстве своего характера, не мог противиться господствующему обычаю, ибо оскорблением красавицы он превратил бы всех своих друзей и приверженцев в непримиримых врагов. Притом же, будучи холостым, богатым, имея не более тридцати лет от рождения, почитая себя красавцем и пользуясь уважением шляхты в своем воеводстве, Дорошинский мог надеяться, что молодая и прекрасная вдова двух богатых и сильных родством панов, Вишневецкого и Дульского, не отринет руки его. Княгиня Дульская, с самого приезда в замок своего шурина старалась льстить Дорошинскому и всею силою своего кокетства ублажала его, чтоб, возбудив в нем надежду на любовь ее, привязать его к партии короля Станислава. Княгиня поступала таким образом отдельно с каждым из панов, имеющих сильное влияние на умы своих соотчичей и пользующихся богатством. Но как Дорошинский был буйнее прочих и чрезвычайно своенравен, то княгиня, для удержания его в пределах повиновения, обходилась с ним с большею нежностью, нежели с другими, ведя сию игру так искусно, что ни в ком не возбуждала ревности, а, напротив того, посеивала в сердце каждого равные надежды. Дорошинский, прибыв в залу, старался казаться холодным и ко всему равнодушным, но наряд его и ухватки изменяли ему. Дорошинскому досталось по наследству, от деда его, служившего в Испании, множество драгоценных вещей, из

коих бриллиантовая запонка для застегивания узкого воротничка на жупане, перстень и рукоять сабли стоили несколько тысяч червонных. Знаям Дорошинского известно было, что он надевал сии драгоценные вещи только в необыкновенных случаях, как будто для выказывания своего могущества; а потому, когда он явился в зале в светло-зеленом бархатном кунтуше, в алом атласном жупане, подпоясанный парчовым персидским кушаком и в лучших своих алмазных украшениях, хитрая княгиня Дульская тотчас догадалась, что холодность Дорошинского притворная и что он желает нравиться и обратить на себя внимание.

Когда все общество собралось, княгиня Дульская села за арфу и запела думу своего собственного сочинения, в похвалу польских воинов, прославивших польское оружие в чужих и дальних странах. Она упомянула о знаменитом гетмане Тарновском¹, начальствовавшем войсками португальского короля Эммануила, в войне с маврами, и прославившегося победами и рыцарскими доблестями; о Завите Черном², отличнейшем рыцаре при дворе и в войске римского императора Сигизмунда, и, переходя быстро от древних времен к новым, воспела похвалу славному Христофору Арцишевскому, который, находясь в службе Голландской Республики, управлял завоеванною у португальцев Бразилиею, построил крепости Рио-Жанейро, Бахию и Пернамбуко и многократно побеждал испанцев³, а наконец упомянула о деде Дорошинского, который, пользуясь особенною милостию испанского короля, Карла II, употреблял ее на распространение католической веры и украшение храмов Божиих. Хотя всем известно было, что дед Дорошинского не отличился никаким геройским подвигом и был в милости испанского короля по связям своим с монахами, но воспоминание об нем, в числе знаменитых людей, льстило тщеславию Дорошинского и доказывало, что прелестная княгиня нарочно для него поместила сей куплет в свою патриотическую песню. Холодность Дорошинского растаяла. Он подсел к княгине и во весь вечер не отходил от нее, восхищаясь ее любезностью.

Сам пан Дульский также имел надобность привязать к себе Дорошинского, ибо хотел занять у него денег на содержание вооруженной им шляхты. Под предлогом примирения Дульский вознамерился употчевать Дорошинского и за бокалом выманить у него письменное приказание его поверен-

¹ Родился 1488-го, умер 1561 года.

² Умер 1420 года.

³ Жил около 1637 года.

ному, в Лемберге, который, как известно было Дульскому, получил значительные суммы из Голландского банка, принадлежащие его верителю.

Король Август II, известный телесною силою и страстью к чувственным наслаждениям, довел до конца порчу нравов, начавшуюся в Польше при последних Ягеллонах. Прежде роскошь дворянина состояла в богатстве и доброте оружия и в красоте коней. После того богатые паны принесли, из чужих краев, обычай украшать свои дома драгоценными боюями, зеркалами, мраморами и бронзами, уставлять столы множеством серебряной и золотой посуды и, по обычаю азиатцев, одеваться в парчу и драгоценные ткани. Наконец, при короле Августе, качество и количество яств и вин заменили все прочие прихоти. Умение жить в свете и молодечество поставлялись в том, чтоб поглощать как можно более вина. В этом искусстве король Август не имел себе равного, и как двор служит обыкновенно примером для подданных, то пьянство сделалось похвальным качеством, и в Польше все пило, в подражание королю и его вельможам¹.

Пан Дорошинский был не из последних в модном искусстве опорожнять бокалы и даже выиграл несколько закладов, перепив отличнейших питоков при дворе. Он отличался еще от обыкновенных пьяниц тем, что любил хорошее кушанье, и ел столь же много, как и пил. Итак, пан Дульский велел изготовить самый великолепный ужин и вынести лучшего вина из своего погреба, для угощения Дорошинского и малого числа оставшихся в замке офицеров.

В 10 часов вечера звук музыки, в столовой зале, подал гостям известительный знак. Служители отперли все двери настежь, и пан Дульский, подав руку своей невестке, попросил Дорошинского проводить жену его. Прочие паны и офицеры взяли под руки по одной и по две дамы и все пошли в столовую залу. Мужчины поместились между дамами, а Дорошинский занял почетное место между хозяйкою и первою гостью, княгинею Дульской. Сам хозяин сел в середине, а в конце стола поместились ротмистры, хорунжие и отличнейшие товарищи надворной хоругви пана Дульского, также поверенный его, правитель замка, или кастелян, надворный капелан, или домашний священник, и прочие письменные его слуги из шляхты. Патер Заленский сел по другую сторону хозяйки.

Стол уставлен был серебряными вазами, соусниками с

¹ Кстати припомнить стихи Вольтера: Quand Auguste buvait, la Pologne était ivre!

крышками, паштетами, жаркими, пирожными и конфетами. Столовые вина Масляч и старый Францвейн находились в больших серебряных кувшинах, а старое венгерское, или так называемое *виватное* вино, в малых круглых бутылках, стояло в корзинах, на особом столе, под стражею пивничего. Любезность хозяйки и прочих дам, гостеприимство хозяина, вкусные яства и доброе вино возбуждали к веселию, и собеседники, пресыщаясь, не обращали внимания на сильную бурю, которая восстала с вечера и, в половине ужина, свирепствовала с величайшею жестокостью. Ветер ревел и потрясал окончины, град и дождь били в стекла, громовые удары следовали один за другим, и молния страшно сверкала во мраке.

— Признаюсь откровенно,— сказал пан Дорошинский,— что я лучше соглашусь выдержать самое жестокое сражение с неприятелем, вдесятеро сильнеешим, нежели провести одну такую ночь под открытым небом! Мне весьма жаль наших товарищей, которые теперь должны блуждать по степи, отыскивая разбойников, и я вам обязан, прелестная княгиня, что, вместо того чтоб мокнуть теперь на дожде, при свете молнии, я, при душистой влаге венгерского, наслаждаюсь светлыми взорами прекрасных наших собеседниц,— взорами,— при-молвил он, взглянув нежно на княгиню,— которые хотя иногда опаснее молнии, но в самых мучениях услаждают сердце!

— Пусть это послужит вам уроком,— отвечала княгиня Дульская,— и убедит, что послушание воле дамы всегда щедро награждается.

— Если только требуется одного повиновения, чтоб заслужить вашу милость, то я готов, по одному вашему слову, сжечь все мои замки и броситься на сто пушек!..— сказал Дорошинский, разгоряченный вином.

— Я от вас никогда не потребую такой отчаянной жертвы,— отвечала княгиня, улыбаясь.— Напротив того, я стану просить вас слушаться меня потому только, что желаю вам пользы, славы и счастья!

Дорошинский чуть мог усидеть на стуле, от радости. Он схватил бокал и закричал:

— Венгерского!

Дульский, который не спускал глаз со своего гостя, мигнул слуге, и тот подал ему огромный золотой бокал, в котором вмещалось полгарнца.

— Постойте, пане Дорошинский! Я вижу, чье здоровье вы желаете пить. Но все должно быть в порядке. Во-первых:

за здоровье Станислава, нашего короля и пана милостивого! Виват! — Дульский выпил бокал душком при звуке музыки и литавров и, налив его, сам поднес Дорошинскому, который, опорожнив его таким же порядком, передал в руки соседа. Когда бокал обошел вокруг стола и возвратился к хозяину, он снова налил его и провозгласил здоровье товарищей, находившихся в сие время в походе, в поисках Палея.

Заздравные тосты сменялись одни другими. Пили полные чаши за здоровье хозяина, хозяйки, гостей, дам, и наконец дошло до того, что некоторые из собеседников едва уже могли держаться на стульях. Дамы, по просьбе Дульского, не вставали с мест своих, чтоб приохочивать гостей к питью и забавлять их. Попойка сопровождалась любовными объяснениями, нежностями и хвастовством об удалстве на охоте, в боях и поединках. В это время кастелян замка, который прежде встал из-за стола, вошел в залу и объявил на ухо хозяину, что два надворные казака, воспользовавшись бурей, бежали из замка и увели с собою крестьянина, посаженного в темницу, того самого, который был допрашиван по поводу встречи его с Палеем.

Пан Дульский хотя пил менее других, однако ж не мог заниматься делами в это время, ибо ему надлежало наблюдать за порядком угощения и поддерживать веселость общества.

— Черт с ними! — сказал он кастеляну. — Завтра пошли взять под стражу всю родню беглецов; вели забрать все их имущество, весь скот и лошадей и каждый день прикажи сечь отца, мать, братьев и сестер их, пока беглецы не воротятся сами.

Отдав сие приказание, пан Дульский поднял бокал и закричал:

— Здоровье дам!

Музыка заиграла туш, все гости вскочили с мест и, выпив до дна свои бокалы, воскликнули: «Виват!»

Но пан Дорошинский не довольствовался этим. Он стал на одно колено перед княгинею Дульской и просил у нее позволения выпить за ее здоровье из башмака ее, по тогдашнему обычаю. Княгиня Дульская позволила ему снять башмак с ноги своей, и Дорошинский, наполнив его вином, выпил при громогласных восклицаниях толпы, при звуке музыки и литавров, и поцеловал красавицу в ногу...

Вдруг все окна в зале затряслись, раздался стук снаружи, стекла посыпались, окончины провалились в залу, и в окнах показались страшные лица. Великорослый старец,

без шапки, с седыми усами и с седою чуприной, держа в одной руке саблю, а в другой пистолет, вскочив проворно в залу, остановился, осмотрелся и, оборотясь к своим, закричал:

— Прикладывайся!

Из окон высунулись дула ружей, устремленные на собеседников.

— Палей! — воскликнул один из гостей.

При сем слове княгиня Дульская упала в обморок. Другие дамы хотели бежать из комнаты. Мужчины вскочили с мест своих, и некоторые из них схватились за сабли. Музыканты, служители стояли как остоленбелые.

— Ни с места! — закричал грозный Палей. — Если кто только пошевелится, велю стрелять! Садись каждый по-прежнему — или смерть послушнику!

В молчании все сели по своим местам, а между тем хозяйка, сама трепеща от страха, приводила в чувство княгиню Дульскую, при помощи нескольких женщин.

— Сюда, детки! — сказал Палей, оборотясь к своим. Казаки влезли в окна. Палей расставил их вокруг стола и возле дверей и велел держать ружья на прикладе. Все молчали. Страшно ревела буря, и ветер свистел в разбитые окна.

ГЛАВА VIII

Кто режет холодною рукой
Вдовицу с бедной сиротой,
Кому смешно детей стенанье;
Кто не прощает, не щадит;
Кого убийство веселит,
Как юношу любви свиданье.

А. Пушкин

Палей умышленно разглашал на походе о намерении своем напасть на пана Дульского. Не желая подвергать людей своих неминуемой гибели или крайней опасности при нападении на замок открытою силой, Палей вознамерился взять его хитростью. Все окрестные поселяне держали его сторону и доставили ему связи в самом замке, между надворными казаками пана Дульского, которые, служа по принуждению под хоругвию своего господина, ненавидели поляков, подобно всем украинцам, и душой привязаны были к вольным казакам, завидуя их участи. Разглашая о своем появлении в окрестностях замка, с малым числом вольницы, Палей знал, что выманит за собой погоню ретивых польских воинов и тем разделит их силы. Когда же все сделалось по его предпо-

ложению и большая часть бывшей в замке вооруженной шляхты погналась за отрядом есаула Иванчука, предполагая, что тут находится сам Палей, тогда приверженцы Палеевы в замке подвели его ночью к самым укреплениям. Смелый и предприимчивый наездник прежде заготовил лестницы и, пользуясь бурею и беспорядком в замке во время пиршества, перелез с двадцатью пятью отчаянными казаками чрез стену, вошел в сад, подставил лестницы к окнам и появился посреди пира, к ужасу и удивлению собеседников. Между тем надворные казаки, изменившие своему барину, напали нечаянно на польскую стражу у ворот, отперли их и впустили Москаленка с остальною дружиной Палея. Поселяне пана Дульского, приставшие к Палею, в надежде грабежа и из жажды мщения, вооруженные косами и рогатинами, пошли вместе с Москаленком на двор замка и помогли ему перевязать воинов своего пана. В час времени замок был во власти Палея.

Палей, оковав ужасом собеседников, противу которых устремлены были заряженные ружья казаков, ожидал с нетерпением известия от Москаленка. Вдруг с шумом вбежал казак в залу и сказал:

— Все готово, батько! Вражьи ляхи связаны, как поросята. Все наше!

— О, я несчастный! — воскликнул пан Дульский, закрыв лицо руками.

— Скажи Москаленку, чтоб ждал моего приказа и чтоб никто из наших не смел отлучаться от своего места, — отвечал Палей. — Заприте ворота, поставьте везде часовых, возьмите у смотрителя замка все ключи и внесите сюда из погреба бочку пороха! — Казак вышел.

Страх собеседников дошел до высочайшей степени. Они были ни живы ни мертвы.

— Пане гетмане! — сказал Дульский дрожащим голосом. — Судьба даровала тебе победу. Будь великодушен столько же, как ты храбр и счастлив! Пощади жизнь нашу! Сжался над слабыми, безвинными женщинами! Возьми себе все мои сокровища... но отпусти нас!..

Все заговорили вдруг, прося о пощаде. Слова прерывались рыданиями и воплями женщин.

— Молчать! Никто ни слова! — закричал Палей грозно. Тишина снова водворилась в зале, и только глухие рыдания смешивались с воем бури.

— Сокровища, которые ты мне так щедро предлагаешь, пане Дульский, мои уже и без твоего согласия, — сказал

Палей.— Они умножат казну Белоцерковскую, на которую ты лакомился! Понимаешь ли? Во всем прочем мы рассчитаемся по-братски с тобою и с твоими приятелями! У меня суд и расправа коротки. Мы не станем тягаться по судам и трибуналам.— Сказав сие, Палей приблизился к столу, взял бокал, налил вина, выпил и, обращаясь к дамам, сказал:— А которая из вас голубица приятеля моего Мазепы?

Все молчали.

— Пане Дульский, которая из них невестка твоя?

Княгиня Дульская, заливаясь слезами и едва переводя дух, встала со стула и поклонилась Палею, не говоря ни слова.

— А, это ты, моя чернобровка! — сказал Палей, подойдя к княгине и потрепав ее по лицу.— Мы тебя возьмем с собою. У меня, на хуторе, есть славный парень, Мишка Ковшун. Он был лихой казак, пока ляшская пуля не перебила ему ноги. Теперь он пасет мой табун. У него умерла невеста, так я отдам ему тебя. Право, тебе будет лучше с ним, чем со старым и дряхлым плутом Мазепою! Ты мне народишь с дюжину казачат!.. — Палей, говоря сие, гладил княгиню по голове и по лицу и улыбался насмешливо. Княгиня молчала и плакала.

— Нет, я более не в силах выдержать этого нахальства! — воскликнул Дорошинский.— Лучше сто смертей, чем поругание!.. — С сим словом Дорошинский выхватил из ножен саблю и бросился на Палея.

Раздался выстрел, и Дорошинский упал без чувств к ногам княгини.

— Довольно и одной смерти! — примолвил Палей, не трогаясь с места.

Тот самый казак, который выстрелил в Дорошинского, оттащил его за ноги на сторону и стал снимать с него дорогие вещи и одежду.

— Нет ли еще охотников на казацкую пулю? — спросил Палей насмешливо.

Дверь снова отворилась, и человек с десять казаков внесли бочку с порохом. Палей велел поставить ее в другой комнате. Отчаянье несчастных поляков, особенно женщин, уже не имело пределов. Женщины не могли более удержать стонов и рыданий. Дочери бросались на шею к матерям, подруги жалобно прощались, призывая Бога на помощь. Мужчины, будучи не в силах защищаться и не надеясь пощады, молились и в оцепенении ждали ужасной своей участи. Хмель давно выветрился из голов пировавших в веселии за

час времени пред сим, а теперь осужденных на мучительную смерть. Патер Заленский, полумертвый от страха, не мог долее выдержать, и когда внесли бочку с порохом, он вскрикнул пронзительным голосом и упал без чувства со стула.

— Вынесите вражьего паписта на двор и привяжите к дереву, чтоб простыл,— сказал Палей.— Завтра из него будет славный обед воронам.

Казак схватил патера за ноги и потащил за двери, как колоду.

Дульский решился еще раз попробовать, не удастся ли ему склонить Палея к помилованию:

— Пане гетмане! — сказал он. — Я не спорю, что все, находящееся в замке, принадлежит тебе по праву сильного. Но у меня и у друзей моих есть имущества, есть деньги и драгоценности в других местах. Мы предлагаем тебе выкуп за себя, какой ты сам назначишь! Определи срок, и если в это время родные наши и друзья не представят тебе выкупа,— ты волен в нашей жизни. Кровь наша не принесет тебе никакой выгоды, а только навлечет на тебя мщение целой Польши. Пожертвуй мстостью выгодам своим и тронься слезами беззащитных, слабых жен! И у тебя есть жена и дети, и ты можешь быть в таком положении, что будешь умолять о пощаде! Пане гетмане, подумай о Боге, о душе своей, о вечной жизни!

Палей, вместо ответа, громко захохотал.

— Детки! — сказал он, обращаясь к своим казакам. — На свору поганных ляхов! Не троньте одного пана Дульского. Мы с ним еще не рассчитались.

Каждый казак имел у пояса готовый аркан. Они бросились на поляков и стали вязать их. Сопротивление было бесполезно: на каждого поляка приходилось по несколько казаков. Слуг, украинских уроженцев, не тронули. Казаки, связав полякам руки назад и спутав ноги, как лошадям на подножном корме, повалили каждого из них на землю. Тогда Палей подошел к Дульскому, который, встав со стула и поджав руки, ожидал своей участи, и, ударив его по плечу, сказал:

— В последний раз хочу я испытать твой польский *гонор* (честь), которым вы, ляхи, так много похваляетесь. Ну-тка, во имя этого шляхетского *гонора*, пане Дульский, скажи мне откровенно, что бы ты сделал со мною, если б тебе удалось поймать меня?

Дульский, потупив взор и помолчав немного, поднял быстро голову и сказал:

— Не изменю чести ни за жизнь, ни за все блага жизни! Скажу тебе правду: если бы я поймал тебя, то немедленно повесил бы на воротах моего замка!

— Итак, и ты должен висеть на воротах замка, пане Дульский! — отвечал Палей хладнокровно.

Дульский не отвечал ни слова.

— Ты должен быть повешен, пане Дульский, по закону Моисееву, по праву возмездия, — повторил Палей.

— Делай что хочешь, твоя воля и твоя сила! — сказал Дульский, махнув рукою. — Не стану терять слов напрасно!

— Ты бы не пощадил меня, пане Дульский; но я люблю откровенность и за то, что ты смело сказал мне правду, помилую тебя, только с условием. Выслушай меня! Плут Мазепа задержал в Батурине моего любимого есаула, которого я сам воспитал и усыновил. Я знаю все ваши шашни! Знаю, что старый прелюбодей влюблен в твою невестку и что вы замышляете что-то недоброе противу Московского царя. Сделайте только, чтоб Мазепа отпустил есаула — и черт с вами! Дарую жизнь всем бабам и детям, тебе и всей твоей родне, а в противном случае, если Мазепа не захочет отпустить моего есаула — всех в петлю и на кол! Вот мое последнее слово! Пусть невестка твоя напишет к Мазепе, а я между тем возьму тебя и семью твою с собой в Белую Церковь и буду ждать его ответа!

— Хорошо, — сказал пан Дульский, — но что же станется с друзьями моими, с моими товарищами?

— Это не твое дело, пане Дульский! — отвечал Палей. — Ты не можешь требовать, чтоб я не потешился за труды мои и не перевешал или не перерезал хоть с дюжину твоих ляхов. Ведь мне на старости нет уже другой прихоти и забавы, как только куколь из *пшеницы выбирать*, то есть жидов и ляхов резать! Не проси невозможного, пане Дульский, — а не то разрываю условия!

Один только патер Заленский знал, что случилось с Огневиком, но как его не было в комнате, то никто не мог известить Палея о том, что любимец его уже свободен. Нельзя было спорить с Палеем, и потому Дульский не решился противиться условию, надеясь, что Палей смягчится чрез несколько времени.

— Детки! — сказал Палей. — Переташите всех ляхов в другую избу и привяжите к бочке пороху! Не бойся, пане Дульский, я не подорву твоего дома без нужды. Это для того только делается, что, если бы твои приятели, которые

гоняются теперь за мною в чистом поле, вздумали напасть на замок, пока я здесь, тогда бы я попросил их поплясать со мной по-казацки и вспрыгнуть вместе к небу. Палей ни у кого не станет просить пощады и ни кому не сдастся! Понимаешь ли, пане Дульский! С твоими приятелями будет суд и расправа завтра, при солнечном свете.— Обратясь к женщинам, Палей сказал:— Вы, бабы, ступайте-ка пока в погреб, посидите там тихомолком да помолитесь за меня Богу, а утро вечера мудрене! Ты же, голубушка,— примолвил он, обращаясь к княгине Дульской,— напиши-ка нежную грамотку к твоему сизому коршуну и скажи ему, что если он тотчас же отпустит с ответом ко мне есаула моего, Богдана Огневика, то я надену на твою белую шейку пеньковое ожерелье и убаюкаю тебя на двух столбах с перекладиной, а шурину твоему и всему роду его и племени починю горло вот этим шилом! — Палей ударил по своему кинжалу.— Мазепа знает, что я держу слово, и вы также узнаете это! Симашко! Возьми с собой четырех удалцов и проводи баб в погреб. Петрусь Паливада! Ты парень грамотный, возьми с собой двух хлопцев да обыщи все норы и конуры в замке и, где найдешь какую грамоту, носи сюда. Пан Дульский будет твоим проводником.

Казаки перетащили связанных поляков в другую комнату, а женщин увели в погреб. Дульский вышел, а Палей сел за стол и велел позвать Москаленка. Когда Москаленко пришел, он пригласил его поужинать и велел своим занять порожние места за столом.

Из всех поляков, господ и слуг, только смотритель замка и ключник остались под стражей несвязанные; они должны были отпирать все двери и указывать, где что хранится.

— Смотри, Москаленко, ты головою отвечаешь мне за порядок и безопасность,— сказал Палей.— Все ли исполнено по моему приказанию?

— Ни одна душа не ушла из замка,— отвечал Москаленко.— Везде расставлены часовые. Мужикам строго приказано не отходить ни на шаг от ворот. Остается только запрячь панских коней в брички да уложить добычу! Вокруг замка разъезжают десять казаков, чтоб не оплошать, если погоня за нами сюда воротится!

— Она не может воротиться до завтрашнего вечера, а тогда уже мы будем далеко! — отвечал Палей.— Опасности здесь нет никакой, а осторожность все-таки не мешает. Ну, детки, ешьте вволю, а пейте в меру! Гей, пан смотритель замка, подавай-ка сюда поболее вина и кушанья, а после мы угостим

тех, которые теперь на страже! Для мужиков чтоб было водки вдоволь! А на потеху отдайте им приказчика! Пусть позабавятся хлопцы!

Из кухни нанесли множество яств и стол уставили бутылками. Проголодавшиеся казаки принялись очищать блюда, и опорожненные бутылки летели одна за другою в разбитые окна.

— Вражьи ляхи! — сказал старый урядник, утирая рукавом седые усы. — Все у них не по-нашему. Нет ни сала, ни вареников, ни галушек, ни пампушек, а все не то чтоб сладко, не то чтоб кисло... Сам черт не разберет!

— А мы их попотчеваем горьким, — примолвил Палей. — Нуте-ка, детки, выпейте еще по чарке да запойте мою любимую песню, как гетман Хмельницкий бил ляхов под Желтым бродом¹.

Казаки выпили по бокалу вина и затянули песню²:

Чи ни той-то хмель, що коло тычин вьется?
Гей, той-то Хмельницкий що з ляхами бьется.
Гей, поихав Хмельницкий да к Жолтому броду,
Гей, не един лях лежит головою в воду.
Не пый Хмельницкий дуже той желтой воды,
Иде ляхив сорок тысяч хорошей уроды³.
А я ляхив не боюся и гадки не маю⁴.
За собою великую потуху⁵ я знаю.
Еще и орду за собою веду,
А все вражи ляхи, да на вашу биду!
Утыкали⁶ ляхи, погубили шубы,
Гей, не един лях лежит выщеривши зубы.
Становили ляхи дубовые хаты,
Придется ляшенкам в Польшу утыкаты.
Утыкали ляхи, где якие полки,
Илы ляхов собаки и сирые волки.
Гей, там поле, а на полю цвitys,
Не по едным ляху заплакали дitys.
Гей, там ричка, через ричку глыща⁷,
Не по едным ляху засталась вдовица.

— Так было и так будет, — воскликнул Палей, подняв бокал. — За здоровье царя Московского и всей казачины, за здоровье всех казаков от мала до велика, кроме вражего сына Мазепы, которому быть бы не гетманом, а висеть на осине!

¹ Место, где Хмельницкий одержал первую знаменитую победу.

² Подлинная современная казацкая песня.

³ Урода — красота телесная при высоком росте (польск.).

⁴ Не забочусь.

⁵ Надежду.

⁶ Уходили, бежали.

⁷ Перекладина, мосток.

— Здоров будь, батько! — закричали казаки, опоражнивая душком бокалы. — Ты наш пан, ты наш князь и гетман! Мы не знаем и знать не хотим никого, кроме тебя!

Вдруг раздались выстрелы на дворе. Казаки вскочили с мест, бросили на стол и на пол серебряные кружки и бокалы и ухватились за ружья, которые стояли возле стены. Палей не трогался с места. Все с беспокойством смотрели на него.

— К коням, детки! — сказал он хладнокровно. — А ты, Москаленко, останься со мною.

Казаки побежали опрометью из комнаты, и тогда Палей сказал:

— Если польская погоня воротилась так скоро, то, верно, Иванчуку не посчастливилось. Защищаться здесь будет бесполезно. Ты, Москаленко, попробуй счастья и пробейся чрез неприятеля, а я останусь здесь и взлечу на воздух вместе с ляхами, с ляшками и ляшенятами. Один конец! А Палей не видать им живого в своих руках и не ругаться над седою его чуприною! Ступай!

Москаленко бросился на шею Палею.

— Отец мой, благодетель мой! послушай моего совета и брось свое отчаянное намерение! Пойдем на пробой! Ночь темная, враги не знают нашего числа. Ударим на них дружно и крепко, и они не посмеют гнаться за нами. Увидишь, что мы успеем спастись, а если умирать, то лучше всем вместе, в чистом поле...

— Ни слова! — сказал Палей. — Как я сказал, так быть должно. Я раздумал прежде, что должно делать. В темноте, в беспорядке я скорей могу попасться в плен... Нет, этого не будет! Прощай, хлопче! Коли тебе удастся увидеть жену мою и детей, скажи им, что я всех их благословляю, и отдай им вот этот отеческий поцелуй! — Палей поцеловал Москаленка в голову. — Все деньги мои и все золото и серебро разделите на три части: одну часть жене моей и детям, а остальное вам, хлопцы, на равные части!.. Ах, как жаль, что мой Огневик пропал!.. Вам не устоять без меня, детки! Ступайте на Запорожье, к Косте Гордеенке, и служите у него... Но к Мазепе чтоб никто не смел идти... Это последняя моя воля! Ступай!..

— Батько! Пане гетман!.. — воскликнул Москаленко.

— Ни слова более! Ступай!.. Время дорого.

Москаленко со слезами на глазах выбежал из комнаты.

Палей взял свечку со стола, раскурил свою трубку и перешел в комнату, где лежали связанные поляки вокруг

бочки с порохом. Он выломал кинжалом одну доску из верхнего дна бочки и поставил на краю дна свечу.

— Ну, панове ляхи,— сказал Палей,— я думал, что вам завтра должно висеть, ан пришлось вам плясать на воздухе. Подождем музыки!

В это время казаки ввели пана Дульского и принесли кучу бумаг.

— Сложите бумаги в угол,— сказал Палей,— а пана привяжите к бочке, вместе с его приятелями!

Казаки немедленно исполнили приказание вождя.

— Не я виноват, пане Дульский,— сказал Палей,— что не могу сдержать слова! Ты знаешь наше условие! Детки, ступайте к коням!

Казаки, не понимая ничего, вышли из комнаты. Палей сел на бочку с порохом, поставил свечу на пол и продолжал курить трубку, поглядывая то презрительно, то насмешливо на несчастных, внутренне готовящихся к ужасной смерти. Они также слышали выстрелы, слышали решение Палея и знали, что он не изменит своему слову. Некоторые из них громко молились, другие исповедовались друг другу в грехах.

Но выстрелы замолкли. Прошло с четверть часа, и все было спокойно. Тишина не прерывалась ни криками, ни звуком оружия, ни конским топотом. Палей не понимал, что все это значит. Он внимательно прислушивался.

Вдруг внизу лестницы послышался шум и говор. Палей взял свечу и, устремив взор к дверям:

— Всему конец! — сказал он и с нетерпением ждал, чтоб неприятели вошли в комнату, намереваясь в ту минуту поджечь порох. Моления умолкли: несчастные ожидали взрыва.

— Где он? где батько? — раздалось на лестнице.

Сердце Палея вздрогнуло. Это был знакомый, милый ему голос.

— Батько! где ты? — повторилось в соседней комнате.

— Здесь! — закричал Палей, вскочил с бочки, поставил свечу на стол и кинулся к дверям. Огневик повис у него на шее.

— Это ты, мой Богдан, мой любезный сын! — воскликнул Палей, прижимая Огневику к сердцу. — Ну, теперь я умру спокойно! — сказал Палей, вздохнув протяжно, как будто камень свалился с его сердца. — Садись-ка да Расскажи мне, каким образом ты избавился из когтей демоновских?

Между тем Огневик смотрел на несчастных связанных поляков, лежащих вокруг бочки с порохом почти без дыха-

ния. Он взял Палея за руку, вывел в другую комнату и сказал:

— Ты посылаю меня, батько, к гетману Мазепе с тем, чтоб я помирил тебя с ним. Ты обещался вступить под его начальство, не правда ли?

— Точно так! Я не отпираюсь от своего слова,— отвечал Палей.— Вы же сами решили, что нашей вольнице нельзя долго держаться и что одно средство остается нам, пристать или к войску Малороссийскому, или в Польшу. Я лучше стану служить черту, чем ляхам, и так надобно было помириться с чертовым братом, с Мазепою!

— Я помирил вас, батько, и помирил искренно,— сказал Огневик.— Но первым знаком дружбы с твоей стороны, батько, должно быть освобождение сих несчастных.— Огневик указал на связанных поляков.

— А это зачем?

— Затем, что если ты признаешь власть гетмана войска Малороссийского и Запорожского и хочешь быть приятелем пана Мазепы, то не должен делать набегов без его воли и обижать его приятелей. Пан Дульский друг Мазепы.

Палей стал разглаживать свои усы и задумался.

— Расскажи-ка мне прежде про нашу мировую! — сказал Палей.

— Клянусь тебе Богом,— возразил Огневик,— что мы с тобой, батько, не знали гетмана Мазепы, почитая его злым, бездушным и коварным. Я проник в сердце его...

— Постой! — сказал Палей, схватя Огневику за руку.— Он обманул, опутал тебя!

— Нет! он не обманул меня, а открыл мне свою душу, свои горести и поверил мне свои опасения, свое жалкое положение на высоте. Мазепе так же нужна твоя дружба, как тебе его. Вместе вы будете сильны, чтоб оградить права и вольности Малороссии и Украины, а поодиночке погибнете оба, жертвою силы и хитростей политики. Верь мне, батько; я твой душою и ни об чем не думаю, ничего не желаю, как твоей славы, твоего спокойствия и блага родины...— Затем Огневик рассказал Палею все свои похождения в Батурине, умолчав, однако же, какою хитростию он был обезоружен и ввержен в темницу, и, изложив потом подробно волю Мазепы и все его сомнения насчет твердости казацких привилегий, присовокупил:

— Гетман Мазепа оставляет за тобой, батько, полк Хвастовский и все земли, забранные нами у поляков, обещая ходатайствовать об уступке оных тебе навсегда, за денежное

вознаграждение; а от тебя требует только наружной подчиненности, желая действовать во всем с обоюдного вашего совета и согласия. Но пощади слабость его, батько! Старик влюблен смертельно в княгиню Дульскую и даже хочет на ней жениться. Пожертвуй своей победою общему благу! Вот первый случай доказать Мазепе, что примирение твое искреннее и что ты чтишь его волю и даже угрождаешь ему... Дай свободу твоим пленникам и откажись от добычи!

Палей снова задумался и, помолчав несколько, сказал:

— Мне, право, все что-то не верится. Проклятый Мазепа обманул, оболстил тебя и завлек в свои дьявольские сети! Ужели правда, что Москва хочет уничтожить казатчину и гетманщину? Лжет, как собака, вражий сын!

— Помилуй, батько, — сказал Огневик, — да зачем же ты посылал меня к Мазепе, если не можешь и не хочешь верить ни клятвам его, ни обещаниям? Может ли он дать большее доказательство своей искренности, когда соглашается прибыть на свидание с тобою, безоружный, позволяя тебе явиться с вооруженною дружиной? Нет, батько! если ты порасудишь, то убедишься, что Мазепе более нужна твоя дружба, нежели твоя погибель. В тебе он будет иметь сильную подпору, без тебя он будет все в таком же положении, как и теперь.

— Бог с вами! — сказал Палей. — Пусть будет по-вашему! — Потом, обратясь к казакам, стоявшим у дверей залы, примолвил: — Развяжите пана Дульского и освободите баб из погребя!

— А других? — спросил Огневик.

— А какое дело Мазепе до других ляхов! — возразил Палей.

— Да ведь они друзья пана Дульского, приятеля Мазепы!

— Ну так что ж?

— Их также надобно освободить.

— А кого же мне придется повесить? — спросил Палей простодушно.

— Теперь, батько, никого не надобно вешать. Мир заключен — и конец мести и войне!

— Черт вас всех побери! — проворчал Палей. — Не дадут и потешиться казацкой душе, с своей проклятою политикой! Ну, хорошо, отпущу всех; но чтоб не даром пропал поход, так повешу одного ксенза! Жидам и ксензам не спущу, хоть бы пришлось провалиться сквозь землю!

Присем Огневик вспомнил о патере Заленском и спросил у казаков, где он.

— Мы привязали его к дереву, чтобы проветрился от страха,— отвечал казак.

— Батько! — сказал Огневик. — Патер Заленский друг и школьный товарищ гетмана Мазепы, мой учитель и спаситель моей жизни! Он уведомил Наталью о моем плене; он впустил ее в подземелье, когда меня хотели пытать; он первый подал мне помощь в недуге... Если ты убьешь его — клянусь тебе, что я с отчаянья брошусь в воду!

Палей обнял Огневику, поцеловал его в голову и в обе щеки, прижал к сердцу и сказал:

— Для этого радостного дня, в который я нашел тебя, мое дитятко, всем дарю жизнь: и ляхам и ксензу! Будь они прокляты! Не хочу видеть их радости и сейчас иду в поход... Ребята, на конь! Делай с ними что хочешь,— примолвил Палей, обращаясь к Огневику, и, махнув рукою, вышел с казаками.

Огневик вошел в комнату, где лежали связанные поляки, и сказал им по-польски:

— Господа! Вы свободны! Обстоятельства переменились! Я сейчас только прибыл от гетмана Мазепы, который примирился с вождем моим, и полковник Палей отныне не будет враждовать с Польшей, без повеления гетманского. Это последний его набег. Но вас, господа, прошу дать мне честное шляхетское слово, что вы предадите забвению все здесь случившееся и не станете тревожить нас при отступлении нашем восвояси!

— Мы даем честное слово! — закричали все в один голос.

— Который из вас, господа, пан Дульский? — спросил Огневик.

Дульский отозвался.

Огневик обнажил свою саблю и стал разрезать веревки, которыми перевязаны были поляки, начав с пана Дульского. Освобожденные поляки бросились обнимать Огневику, называя его своим избавителем, спасителем и обещая вечную благодарность.

— Пан гетман Мазепа прислал чрез меня поклон-вам, ясневельможный пане! — сказал Огневик, обращаясь к Дульскому. — И велел доставить вам вот это письмо. — Огневик вынул пакет из-за пазухи и отдал Дульскому. — Я не знал, — примолвил Огневик, — что буду иметь удовольствие вручить вам лично письмо гетмана, но на пути моем из Батурина в Белую Церковь узнал, что вождь мой выступил на поиски

в Польшу, а потому и поехал его отыскивать. Случайно встретился я с отрядом нашим, при переправе чрез Днепр, и прибыл сюда с ним, по счастью, в самую пору, чтоб избавить вас от смерти...

В это время вбежал патер Заленский и с рыданиями бросился на шею Огневику. Вскоре появились и женщины. Слезы радости смешались. Обниманиям и поздравлениям не было конца. Поляки почитали себя воскресшими от смерти. Огневик наслаждался умильным зрелищем. Когда несколько успокоились, то обратились к нему с новыми повторениями благодарности.

Вошел казак в полном вооружении и сказал Огневику:

— Батенька ждет тебя за воротами. Хочешь ехать с нами, так ступай!

Огневик, простясь с освобожденными им от смерти поляками и с дамами, вышел, сопровождаемый их благословениями. Конь его стоял у крыльца. Он поскакал к ватаге, которая ждала его за воротами. Палей ударил коня и поехал рысью. Казаки поскакали за ним.

— Проклятая ночь, ни зги не видно! — сказал Палей Москаленку. — Если б мы зажгли замок, то до свету не скитались бы в темнотище! Дорого ты мне стоишь, сынок! — примолвил Палей, обращаясь к Огневику. — Когда бы я мог догадаться, что ты так скоро прибудешь ко мне с Иванчуком, то заранее перевешал бы всех вражьих ляхов и сжег бы их проклятое гнездо. Нечего делать! Сталось! Терпи, казак, атаманом будешь! Авось царь Московский поведет нас на потеху в ляховщину!

ГЛАВА IX

Твоя ужасна дальновидность
И скрытый, мрачный твой совет.

Державин

Часы бегут, и дорого мне время —
Я здесь тебе назначила свиданье
Не для того, чтоб слушать нежны речи
Любовника.

А. Пушкин

Польша, без пограничных крепостей, имея весьма малое число регулярного войска (не более двенадцати тысяч), всегда была открыта для всех соседей. Только система политического равновесия, утвержденная в Европе Вестфальским

миром, охраняла ее слабое политическое существование. Но с тех пор, как соседние народы стали просвещаться, а вследствие этого и усиливаться, а иезуиты, завладев народным воспитанием в Польше, погрузили последующие царствования Сигизмунда III поколения в невежество, она сделалась ничтожною в Европе. Настали времена, когда личная храбрость должна была уступить благоустройству, и гордая польская шляхта, предоставляющая одной себе право носить оружие, отдаляя от воинского звания поселян, не любя притом подчиненности и не соглашаясь на сеймах на умножение податей для заведения сильного войска, по примеру соседних держав, сия шляхта должна была терпеливо сносить разорения своих поместьев и всякого рода обиды от татар, казаков и воюющих между собою соседних держав. В это время русские шведы расхаживали свободно по Польше, занимали области и города, извлекали из оных продовольствие и управлялись везде, как в побежденной стране, именуя себя, однако же, союзниками одного из двух спорящих о престоле польском королей.

Август воевал со шведами, предводительствуя своим саксонским войском и малым числом польских приверженцев. Небольшое войско Польской Республики сосредоточено было около двух столиц, Варшавы и Кракова, а прилежащие к России пограничные области оставались без защиты, и в них хозяйничали русские военачальники, проходя чрез оные или занимая в них посты.

Пользуясь сим беспорядком, Палей, как мы уже выше сказали, овладел частью польской Украйны и утвердился в Белой Церкви, а Самусь хотя и поставлен был Польшею в гетманы войска Заднепровского, но, по примеру приятеля своего, Палея, подчинился также России и также грабил Польшу, овладел городами Немировом, Богуславом, Корсунем, Бердичевом и Винницею, объявив притязание к казне Республики, за неуплату жалованья. Два одновременные короля польские не в силах были удержать буйных казацких старшин от своеволия. Август жаловался союзнику своему, русскому царю Петру, а Станислав Лещинский — Карлу XII и тайному другу своему, гетману Мазепе. Но Петр, будучи занят войною на Севере, не мог водворить порядка в Украйне. Карл XII был далеко, а Мазепа опасался вмешиваться явно в польские дела, чтоб не навлечь на себя подозрения. Когда, наконец, Мазепа согласился помириться с Палеем, он назначил ему свидание в Бердичеве, принадлежащем по праву Польше, но платящем подать Самусю, из опасения

грабежа. 12 июня бывает в сем городе ярмарка, на которую съезжается множество польских панов, казацких старшин, простых казаков, поселян и татар. Палей охотно согласился на приглашение гетмана явиться на ярмарку и сим убедился даже в искренности Мазепы, полагая, что если б он имел против него злой умысел, то не назначил бы ему свидания при многочисленном стечении народа, благоприветствующего в целой Украине Палею и ненавидящего Мазепу, как явного приверженца Польши. Палей приглашал с собою приятеля своего, Самуся, но он одержим был недугом в Виннице и не мог исполнить его желания.

Палей сперва намеревался взять с собою сильный отряд самых отчаянных казаков; но когда Мазепа пригласил его на ярмарку, то он почел ненужною сию предосторожность. Его сопровождали только Огневик, Иванчук, Москаленко и человек десять казаков, для прислуги.

Мазепа имел другие виды, назначая ярмарочное время для свидания. Он хотел, не возбудив подозрения в своих врагах, переговорить с польскими панами, приверженцами Станислава, и увидиться с княгинею Дульскойю.

Палей отправился верхом, как в поход, без обоза, без кухни. Он велел только уложить в чемодан самую богатую свою одежду и самое дорогое свое оружие. В том состояла вся роскошь Палея, который хотя владел несметными сокровищами, плодами его набегов, но вел жизнь простого казака и любил блеск только в наряде. Пред отъездом он позвал Огневика в свою кладовую и велел ему насыпать в кожаную торбу червонцев без меры и счету.

— Береги это на дорогу, — сказал Палей, — и смотри, чтоб нам не было ни в чем недостатка.

Палей прибыл в Бердичев прежде Мазепы и остановился у приятеля своего, священника. За несколько дней до приезда гетмана пришел его обоз, состоявший из нескольких карет, берлинов, бричек и колымаг. Для гетмана наняли лучший дом в городе, на главной площади. Комнаты убрали драгоценными персидскими коврами и шелковыми тканями, в шкафах расставили за стеклами серебряную раззолоченную посуду. Множество слуг, по большей части из поляков, наполнили весь дом. Двенадцать человек сердюков содержали стражу у ворот и дверей дома. Двадцать четыре музыканта гетманского двора, хор певчих заняли два соседние дома. Целый город и все прибывшие на ярмарку с нетерпением и любопытством ожидали прибытия гетмана Мазепы, которого все боялись и уважали, как самого государя.

Наконец прибыл высокомерный гетман войска Малороссийского, при многочисленном стечении народа, встретившего его за городскими воротами и провожавшего его карету до самого его жилища. Все шло без шапок, в тишине. Бургомистр и чиновники магистрата поднесли ему хлеб-соль на пороге дома и приветствовали речью, как наместника русского царя. Православное духовенство явилось к нему с поздравлением. Одним словом, гетмана приняли в пограничном городе, как независимого владельца, и тем же порядком, как принимались прежде венчаные главы.

В городе никто не заметил прибытия Палея. Но народ вскоре узнал о сем и толпился возле дома его, приветствуя его при каждом его появлении радостными восклицаниями. Палей велел купить несколько бочек водки и меду, выкатить их на улицу для всенародного угощения, бросил в народ несколько сот талеров и, явившись сам к восхищенной толпе, запретил собираться впредь подле занимаемого им дома. Украинские крестьяне, казалось, ожили в присутствии Палея. Они бодро и смело расхаживали по улицам, не ломали шапок перед польскою шляхтой и даже придирались к служителям польских панов, чтоб завести драку. Между украинскими поселянами и казаками только было и речей, что о Палее. Поляки избегали встречи с ним, а жида прятались, когда он проходил по улице.

С Мазепою прибыли Орлик, Войнаровский и полковник Чечел. Огневик немедленно отправился к Орлику объявить, что Палей ожидает приказаний ясневельможного гетмана.

Орлик ввел тотчас Огневика к Мазепе.

Мазепа встретил Огневика с радостным лицом и с распростертыми объятиями:

— Здорово, здорово, любезный Богдан! — сказал Мазепа, обняв Огневика и поцеловав его в лицо и в голову. — Спасибо за прислугу! Ну вот тебе за это грамотка от твоей невесты! — примолвил он, отдавая письмо. — Я хотел было взять Наталью с собой, но после порассудил, что ей неприлично быть здесь со мною. Зато я дал ей слово привезти тебя с собою в Батурын. Ты, верно, не откажешь мне в этом, Богдан! Не правда ли?

Огневик, вместо ответа, поцеловал руку гетмана.

— Ну что, здоров ли приятель мой, полковник Палей? — спросил Мазепа.

— Слава Богу, здоров и желает нетерпеливо представиться вашей ясневельможности!

— Я сам хочу как можно скорее обнять его. Но в

первый раз мы должны увидаться только при двух свидетелях. Пусть в сумерки придет полковник Палей с тобою, а при мне будет только мой Орлик.

Мазепа прибыл в Бердичев в полдень. Пообедав налегке, он заперся в своей комнате, сказав, что хочет отдохнуть после дороги. Но он не думал о сне и об успокоении. Душа его была в сильном волнении. Страсти буйствовали в ней, и он должен был употребить всю силу своего ума и все могущество своего коварства, чтоб прикрыть ненависть свою к Палею видом искренней дружбы. Борьба сия стоила Мазепе большого усилия, и когда в сумерки он позвал к себе Орлика, тот испугался смертной бледности и унылого, померкшего взора гетмана.

— Вот настает решительная минута, любезный Орлик! — сказал Мазепа. — Я должен встретиться со смертельным врагом моим, изливавшим в течение тридцати лет по каплям отраву в мое сердце. Все клеветники мои, все враги мои находили пособие и совет у Палея, который посеял в моем войске недоверчивость и холодность ко мне. Теперь я должен прижимать его к сердцу! Я выдержу эту пытку, но ты, Орлик, будь осторожен... не измени ни взглядом, ни движением, ни словом...

— Я буду как камень, — отвечал Орлик.

— Крепись, Орлик! Не долго нам мучиться! Это последняя преграда на нашем поприще!..

Вошел сторожевой казак, доложил, что пришел полковник Палей, и удалился.

Мазепа невольно вздрогнул:

— Воды! Подай мне поскорее холодной воды.

Орлик налил ему большую кружку, Мазепа выпил душком, обтер пот со лица, вздохнул тяжело и сказал Орлику:

— Введи его!

Когда Палей вошел в комнату, Мазепа приподнялся с кресел и снова присел, как будто от изнеможения. Он хотел говорить, проворчал что-то невнятное и замолчал. Он пристально смотрел на Палея, хотел ласково улыбнуться, но губы его дрожали.

Палей, казалось, не замечал или не хотел заметить замешательства Мазепы. Переступя чрез порог, Палей низко поклонился и, не дождавшись приветствия Мазепы, сказал громким и твердым голосом:

— Повинную голову меч не сечет! Прихожу к тебе, ясневельможный гетман, с покорностию, с надеждою на твою приязнь и в уверенности, что ты, подобно мне, забудешь все про-

шное. От твоего мирного слова старый Палей переродился! Буду служить верно царю Московскому под твоим началом, и в целом войске не будет полковника послушнее Палея. Господь пособил мне отнять у ляхов и татар несколько грошей, награбленных ими в родной нашей Украине, и укрепил руку мою на поражении неверных и недоверков¹. Казна моя и рука моя — твои, на пользу нашей родины! Отдаю тебе мою саблю, которая сорок лет упивалась вражескою кровью, и только однажды отнята была у меня ляшскою изменою, когда я был заточен в Мариенбургской крепости. Жду воли твоей, что прикажешь, то и будет со мною! — Палей снял саблю и вручил ее Мазепе.

Между тем гетман пришел в себя.

— Я не мог опомниться, старый друг мой, Семен, увидев тебя в первый раз, после тридцатилетней разлуки, — сказал Мазепа ласково, дружески, с видом откровенности и простодушия. — С тех пор, как мы жили с тобой по-братски, в одном курене, в Запорожье, с тех пор, как я перешел в Гетманщину — мы не встречались, а злые люди воспользовались нашею разлукою и посеяли между нами вражду. Дай мне руку, Семен! Эта звезда и эта голубая лента, которыми царь Московский прикрыл грудь мне, не изменили моей сердечной простоты, а гетманская булава не ослабила руки моей для дружеских объятий! Я все тот же Иван для тебя, что был в запорожском курене. Возьми свою саблю, Семен, а я благодарю тебя, что ты позволил мне прикоснуться к оружию, прославившему Украину. Обойми меня, старый товарищ!

Старый Палей был тронут простотою и ласковостию приема и охотно прижал к сердцу Мазепу, поверив его искренности.

— Садись-ка возле меня, пане полковник, — сказал Мазепа, — да извини моему калечеству. Ты в степях закалился на старость, а я ослабел в палатах: чуть передвигаю ноги!

— Была бы голова на плечах, — сказал Палей. — Разум твой прытче наших бегунов и тверже булата. Крепких, храбрых и здоровых молодцов у нас довольно — была бы голова!

— Нет, пане полковник, теперь не те времена, что было при прежней гетманщине! Лучше б и безопаснее было для меня, если б разум погас в голове моей и любовь к родине замерла в сердце навеки! Теперь не хотят этого, пане пол-

¹ Неверными называли украинцы мусульман и жидов, а католиков *недоверками*. Это польское слово *niedowiarek*, то есть неверящий вполне.

ковник! Царь Московский хочет управлять везде одною своею волею и головою. Сердце и голова нужны были гетману в прежнюю гетманщину, когда гетман, как царь, трактовал с Москвою, с Польшею, с ханом, с султаном и с волохами, принимал и отправлял послов, вел войну и заключал мир, управлял произвольно войсковыми маестностями и скарбом... Теперь гетман не более значит как урядник! Если мы проживем с тобою лет десяток, то увидим конец казачины так же, как видели конец стрельцов. Верь мне, пане полковник! к тому все клонится. Царь уже не однажды намекал мне, что он не любит привилегированных войск и желает, чтоб Россия имела одно войско регулярное. Когда я однажды, за обеденным столом, за которым были все царские бояре и полковники, возразил царю и упомянул о привилегиях, то он при всех — ударил меня по щеке... По щеке гетмана Малороссии, представителя войска!..

Палей вздрогнул на стуле.

— Нет, пане гетман, не бывать тому с казаками, что было со стрельцами! — сказал он, покраснев от злости и ударив рукою по рукояти своей сабли. — Никто не дерзнет уничтожить казатчину и Запорожье!.. — Палей хотел продолжать и вдруг остановился, как будто опомнившись, что должен быть осторожен в словах.

— Не дерзнет, говоришь ты! — возразил Мазепа. — Московский царь обрил москалям бороду, которую они ценили как голову, уничтожил патриарха, в которого целая Русь верила как в полубога, поставил детей гордых бояр под ружье, уничтожил одним своим словом неистребимое местничество до того, что теперь первейшие бояре служат под начальством немецких пришельцев! Нет, пане полковник! Царь Петр Алексеевич имеет железную волю и притом ум необыкновенный и что захочет исполнить — то и будет исполнено! Никто не посмеет ему воспротивиться. Он ужасен в гневе и беспощаден в каре с ослушниками своей воли!

Мазепа замолчал и смотрел исподлбья на Палея, который волнуем был гневом и преодолевал себя, чтоб не промолвиться. Он то закусывал губы, то разглаживал усы свои и молчал, бросая вокруг страшные взгляды.

— Да, да, пане полковник, — примолвил Мазепа, — с царем Московским иметь дело не то что с польскими королями, которые после каждого казацкого бунта давали нам новые привилегии, подарки и обременяли нас ласками... У Московского царя чуть пикни, так и прощай голова!.. Скажи, смел ли бы король польский дать пощечину гетману?..

— Нет, пане гетман! уж если сказать по совести, так лучше московская пощечина, чем ласки ляхов, папистов, недоверков! Дались мне знать эти ляшские ласки, и дорого заплатил я за них! Тебе дал царь Московский пощечину!.. Но он возвысил тебя также превыше всех прежних гетманов, наградил истинно по-царски за твою службу!.. Вспомни, пане гетмане, что делали с нами ляхи! Разве не они засекли на смерть батогоми сына Богдана Хмельницкого? Разве не они колесовали гетмана Острапицу, генерального обозного Сурмилу, полковников Недригайла, Боюна и Риндича? Разве не ляхи замучили, адскими муками, тридцать семь полковников и старшин? Кто сварил в котле храброго и простодушного Наливайка?.. Но что тут припоминать!.. Скажу коротко: по мне, так лучше сильная царская власть, чем ласки и коварство слабых польских королей... Не дай Бог, иметь снова дело с ляхами!

Мазепа значительно посмотрел на Орлика и после того, взяв за руку Палей, сказал:

— Похвальны чувства твои к Московскому престолу и буду свидетельствовать об них пред царем. Ты теперь имеешь нужду в этом, любезный мой пане полковник, ибо царь крепко гневается на тебя и на Самуся, по жалобе короля Августа и панов польских за то, что вы сослушались повеления царского и не удовлетворили панов Потоцкого и Яблоновского, забрав их замки и города. Я уже просил за тебя и ежедневно ожидаю ответа... надеюсь, благоприятного!..

Палей быстро поднял голову и устремил проницательный взор на Мазепу:

— Царь на меня гневается! — сказал он. — Но я писал к нему, что готов удовлетворить польских панов за занятые мною их поместья, если они рассчитаются со мною и удовлетворят за обиды и притеснения, сделанные братьям нашим... Царь ничего не отвечал, и я думаю, что дело кончено! Русский царь не то, что король польский! Я сказал уже тебе это, Мазепа. Русский царь не переговаривается и не переписывается со своими подданными, но повелевает, а повелений его должно слушаться беспрекословно и безусловно! Кто осмелится возразить ему или не исполнить его повеления, тот почитается бунтовщиком!

Палей вскочил со стула.

— Пане гетман! Я не бунтовщик противу царя Московского, но верный слуга его! — воскликнул он.

— И я говорю и думаю то же и писал к царю точно

в том же смысле. Но в Москве не так думают, как в Варшаве и на Украине!

— Пане гетман! — сказал Палей твердым и решительным тоном. — Если его царское величество не признает моей верности, то я кланяюсь ему в ноги и пойду искать себе счастья по свету! Никогда рука моя не поднимется противу православного воинства; но у турецкого султана есть много врагов и без москалей... Пусть мне дадут на мой пай ляхов... я управлюсь с ними!

— Эдак нельзя поступать с царем Московским, пане полковник! — возразил Мазепа с улыбкою. — Из подданства царя Московского не так легко выбиться, как из польского! Вспомни, что все мы царские холопи...

Палей едва мог владеть собою.

— Ясневельможный пане гетман! скажи мне, зачем ты меня призвал?.. На царский суд и расправу, что ли? — сказал он, устремив на Мазепу налитые кровью глаза.

— Гей, Семен, Семен! Ты все тот же, что был в молодости! — сказал Мазепа ласково, взяв его за руку и принудив присесть возле себя. — Пламенная твоя кровь не простыла до сих пор, — примолвил он, улыбаясь. — Слушай терпеливо! Я признавал тебя как друга и как брата, чтоб открыть тебе во всей истине настоящее положение дел, опасность, угрожающую правам нашим волею царя, и предостеречь тебя самого. Впрочем, опасаться тебе пока нечего. До сих пор царь ко мне милостив: ни в чем мне не отказывает; а я твой заступник и предстатель у Московского престола. Но власть моя и милость непрочны! Я имею много завистников и врагов, которые могут лишить меня ни за что ни про что царской милости и царского доверия, и в один миг я буду ниже простого казака, по одному слову царскому! Теперь будь спокоен, старый мой друг и товарищ; я клянусь тебе на кресте, что пока я жив, то по моей воле не спадет волос с головы твоей! — Мазепа перекрестился, и Палей крепко пожал ему руку.

— Извини меня, Семен, что я попрошу тебя оставить меня отдохнуть после дороги, — примолвил Мазепа. — Я слаб и хил — живу духом, а не телом. Душа моя рада бы слиться с твоею навеки, но тело требует покоя. Завтра мы попируем, любезный Семен, а послезавтра поговорим подробнее о делах. Я тебе открою все, что знаю, все, что думаю, все, чего надеюсь, все, чего опасаясь и чего желаю для блага нашей родины и собственной нашей безопасности, и даю тебе вперед слово, что твой совет будет мне законом. От-

ныне да будут Палей и Мазепа одна душа и одна голова!

Мазепа простер объятия и прижал к груди Палея. Он поклонился и вышел. Проходя по улицам, Палей не сказал Огневику ни слова. Возвратясь в свое жилище, снял с себя богатый кунтуш, повесил саблю на гвоздь, лег на соломенную свою постель, прикрытую буркой, и закурил трубку. Потом, обратя взор на Огневика, который стоял в безмолвии у стола и читал полученное им чрез Мазепу письмо, сказал:

— Черт меня побери, если я что-нибудь понял из слов гетмана! Чего он от меня хочет? Что он замышляет? Сам черт не догадается! На язык он то мед, то яд. Каждый взгляд и каждое слово его то лесть, то угроза, а все вместе, воля твоя, кажется мне, обман и коварство!

— Полно, полно, батько! — возразил Огневик. — Ты все-таки не можешь победить первого впечатления насчет Мазепы! Что тут мудреного, что тут запутанного в речах его? Он хочет с тобой посоветоваться, как бы общими силами составить оплот для защиты прав Малороссии — вот и все тут! Тебе он весьма кстати напомнил о немилости царской и сам же взялся исходатайствовать для тебя прощение. В речах его и в поступках я вижу одно искреннее желание иметь тебя другом и подпорою, а если что-нибудь кажется тебе в нем невнятным или двусмысленным, прости ему: он привык к скрытости, водясь с польскими панам и с знатными московскими боярами и будучи окружен врагами и лазутчиками! Что до меня касается, я верю его искренности и советую тебе, батько, быть спокойным! Мазепа не имеет желания обманывать нас, ибо это противно его собственной пользе!

— Дай Бог, чтоб это была правда, — сказал Палей. — Но мне все что-то не верится, и все что-то не хорошо на сердце, как будто перед недугом или после какого нечистого дела. Я не останусь здесь долее! Завтра пробуду, а послезавтра домой. Бог с ними! В леса, в степи наши! Для меня гетманщина, как церковь для татарина. Не хочу я знать никакой политики! Буду сидеть смирно в хате, а коли затронут меня — тогда не прогневайся!

Дали знать, что ужин готов, и Палей, выпив с гарнец крепкого бернардинского меду, разогнал тоску и, забыв все сомнения, заснул спокойно на соломе, с трубкою в зубах.

Мазепа вздохнул свободно, когда Палей оставил его наедине с Орликом.

— О, какое мучение! — сказал гетман. — Какое адское мучение вытерпел я, принужден будучи ласкать этого зверя, с которого я готов содрать кожу собственными моими зубами!

Довольно долго он грыз сердце мое! Ты видел, как он расположен к Польше, без помощи которой нельзя никак даже начать нашего дела. Сей яд ненависти к Польше имеет источник в сердце Палея и заражает всю Украину. Должно решиться теперь на самое отчаянное средство, чтоб только избавиться от него.

— Должно одним ударом кончить все,— сказал Орлик.— Я берусь пробить насквозь коварное сердце этого разбойника хотя бы всенародно, на городской площади!

— Пустое говоришь, Орлик! Вспомни, что на нас смотрят и Россия и Украина и что в мести моей не должно быть ниже тени личной вражды. Малороссия и Украина обожают Палея, почитают его вторым Богданом Хмельницким, Россия чтит его и уважает за вред, нанесенный им врагам ее, туркам, татарам и полякам: так умно ли будет, если в нынешних обстоятельствах мы навлечем на себя всеобщую ненависть? Не лучше ли устремить эту ненависть на царя Московского? А? Как ты думаешь? — промолвил Мазепа, смотря с улыбкою на Орлика.— Будь спокоен! Я все это обдумал и устроил. Пусть царь Московский погубит Палея — а я умываю руки!

— Хорошо б было, если бы это так удалось. Но я боюсь, чтобы нам не упустить его из рук!

— Положись на меня, Орлик! Из моих тенет этот зверь не выпутается!

Служитель доложил, что пришел пан Дульский со своею невесткою. Мазепа вспрыгнул от радости с кресел и, приняв бодрый вид, опираясь неприметно на свой костыль, пошел навстречу гостям.

Они встретились в дверях.

Княгиня Елеонора Дульская, вдова по двух мужьях, имела около тридцати лет от рождения, но сохранила всю свежесть первой юности и слыла красавицею между прекраснейшими женщинами польского двора. Темно-голубые глаза ее, осененные длинными ресницами, имели необыкновенную прелесть, при бровях и волосах темно-каштанового цвета и необыкновенной белизне лица. Высокий рост и стройный стан придавали величие ее физиономии, оживленной приятною, но гордою улыбкой. Первый муж ее, князь Вишневецкий, призвал нарочно живописца из Италии, чтоб написать картину, в которой она изображена была Дианою, на ловле. Можно было бы составить толстую книгу из стихов, написанных в Польше в похвалу прелестным ножкам княгини. При красоте своей она отличалась необыкновенным умом

и ловкостью, и притом была чрезвычайно искусна в политических интригах, в которых женщины всегда играли важную роль в Польше. Красоту свою она употребляла, как талисман, для управления умами, при помощи всех тонкостей кокетства, но в сердце ее господствовала одна страсть: честолюбие. Княгиня жила пышно, имела многочисленную прислугу и свою надворную хоругвь¹. Влияние княгини на общественные дела в Польше было весьма велико как по родственным ее связям, так и по собственному ее богатству, а более еще по любви к ней нескольких из первых вельмож, искавших получить ее руку и друг пред другом старавшихся угождать ей. Назначение родственника ее, Станислава Лещинского, королем Польским придало ей новый блеск и силу, и когда началось междоусобие, княгиня Дульская решилась всеми зависящими от нее средствами помогать ему и была главною подпорою его партии.

Княгиня была тогда в Минске, когда гетман Мазепа с войском Малороссийским занял сей город. Любопытствуя видеть прославленную красавицу, Мазепа навостил княгиню и прельстился ею. Хитрая полька употребила все очарование своего кокетства, чтобы вовлечь старого волокиту в свои сети, и наконец совершенно овладела его умом и сердцем. Она посеяла в нем первую мысль измены, убедив Мазепу в возможности отложиться от России и сделаться независимым владельцем, под покровительством Польши, Швеции и Турции. Успех борьбы Петра Великого с Карлом XII, признанным непобедимым, был тогда весьма сомнителен, а явное желание всех соседей России унижить, ослабить ее и не впустить в семью европейских держав подавали Мазепе надежду, что они с удовольствием согласятся на основание нового, независимого владения в Южной России, которое, вместе с Польшею, будет служить Европе оплотом противу русских и противу татар. Дальновидность и проницательность Мазепы заглушены были двумя господствующими в душе его страстями, любовью и честолюбием, и он, увлекаясь мечтами, согласился на измену. Притом же Мазепа, имея сильных врагов при российском дворе между любимцами государя, боялся, рано или поздно, попасть в немилость у русского царя и лишиться своего сана, по одному слову царскому. Он так привык к власти, что опасность лишиться ее тревожила его беспрестанно, а частые на него доносы и производимые по ним следствия увеличивали грозу. Княгиня воспользова-

¹ По-польски: Nadworna chorągiew, то есть некоторое число воинов, служащих под гербовым знаменем польского магната, на его содержании.

лась всем, чтоб представить Мазепе настоящее его положение неверным и жалким, а будущее в блистательном виде, и наконец обещала отдать ему свою руку, коль скоро он объявит себя независимым.

Мы уже видели прежде, что семена коварства, брошенные в сердце Мазепы, созрели, но ум его еще не был ослеплен до такой степени, чтоб жертвовать существенностью для одних надежд. Итак, Мазепа со своей стороны убеждал партию Станислава в Польше уговорить Карла XII поспешить вторжением в Украину, а приверженцы Станислава старались выманить у Мазепы письменный договор, чтоб удостоверить короля шведского в сильной помощи при вторжении в Россию и заставить его скорее прибыть в Польшу, для утверждения нового короля на престоле. Нетерпеливая княгиня Дульская, не успев в сем деле чрез посланцев, сама прибыла в Украину и, после счастливого избавления от Палея, назначила свидание Мазепе в Бердичеве. Мазепа, прибыв в город, тотчас послал верного своего Орлика к княгине просить о назначении тайного свидания, опасаясь явно навещать польских приверженцев Станислава в то время, когда они открылись и объявили себя врагами России. Княгиня, вместо ответа, сама нечаянно навестила Мазепу.

— Я никогда не ожидал такой особенной милости, прелестная княгиня,— сказал Мазепа, поцеловав руку своей гостьи и провожая ее до софы.— Только опасение повредить делу, в котором вы принимаете участие, воспрепятствовало мне исполнить долг мой и *расцеловать ножки ваши*¹, ясневельможная пани, в вашем доме!

— Между нами, князь, не должно быть никаких расчетов в этикете,— возразила княгиня, сев на софу и умильно смотря на Мазепу, который стоял перед нею и не выпускал руки ее из своих трепещущих рук.— Мы только для света чужие!..— примолвила она, опустив глаза и приняв скромный вид.

Мазепа в восторге поцеловал снова руку княгини и, обратясь к пану Дульскому, пожал ему руку и обнял дружески.

— Надеюсь,— сказал Мазепа,— что препятствия, заставляющие нас скрывать дружбу нашу, скоро кончатся. Прошу садиться, князь, и поговорить о деле.

Они оба сели. Пан Дульский на софе, а Мазепа в креслах, напротив княгини.

— Препятствия могут возрасти, если мы станем медлить

¹ Обыкновенный польский комплимент: *chalowac nozke*.

в устранении их,— возразила княгиня.— Если бы сердце мое не участвовало в этом деле и если бы личное мое счастье не зависело от скорого окончания сей войны, то я вовсе не занималась бы вашею скучною политикой,— примолвила она, бросив нежный взгляд на Мазепу, который таял от любви и, казалось, ловил каждое слово, каждый взор прелестной гостьи.— Но наша медленность лишает меня покоя и углубляет разделяющую нас пропасть,— присовокупила Дульская.— В нетерпении я сама ездила в Саксонию, к королю шведскому, и убеждала его вторгнуться как возможно скорее в Россию. Он отвечал мне решительно, что тогда будет уверен в успехе своего предприятия, когда вы, ясневельможный гетман, заготовите ему продовольствие и восстанете противу России.

— Продовольствие у меня готово,— отвечал Мазепа,— а восстать я не мог прежде, пока в Украине был человек, который владел умами народа и мог своим влиянием перевесить мою власть. Я говорю о Палее. Теперь он здесь и скоро будет в моих руках!

— Пожалуйте, истребите поскорее этого разбойника! — сказала княгиня.— Я не могу вспомнить об нем без ужаса! — Она закрыла лицо руками и вздрогнула.

— Он дорого заплатит за причиненный вам страх и за оказанное им неуважение к той, пред которою цари должны преклонять колени,— примолвил Мазепа.— Что же касается до восстания моего, то я уже изложил причины, по коим не могу сего исполнить прежде приближения шведского короля к пределам нашим.

— Но король хотел бы иметь письменное уверение,— сказала княгиня,— и я прошу вас и заклинаю именем моей... *дружбы к вам...* исполнить желание короля! Другим средством мы не преодолеем его упрямства! — Княгиня слово *дружба* произнесла так нежно и с таким умильным взглядом, что оно означало более, нежели *любовь*.

— Княгиня! — сказал Мазепа нежным, но каким-то отчаянным голосом, смотря пристально ей в лицо и взяв ее за руку.— Княгиня! знаете ли, что вы сим средством предаете на волю вихрей жизнь мою, честь, имущество мое... славу и счастье! Но чтоб доказать вам мою любовь и преданность... я согласен на все, что вы прикажете!

Княгиня пожала руку Мазепы, которую он поцеловал с жаром.

— Теперь исчезли все мои сомнения! — воскликнула княгиня.— Теперь я счастлива, ибо уверена в любви вашей!

Мазепа едва мог удержать восторг свой. Все признаки болезни и телесной слабости в нем исчезли. Лицо его покрылось румянцем, глаза пылали, и он чуть не бросился на колени.

— За эту минуту я готов заплатить жизнью,— сказал Мазепа, целуя руки хитрой прелестницы.— Одна минута любви вашей стоит того, чтоб заплатить за нее веками мучений!

— Зачем эти века мучений! — возразила княгиня с приятной улыбкой.— В сердце моем живет надежда на продолжительное счастье.— Она замолчала и взглянула значительно на пана Дульского, который сказал веселым тоном, взяв за руку Мазепу:

— Ясневельможный пане гетмане! Вы будете иметь много времени наслаждаться любовью, только поспешите положить основание храма любви и силы вашей. Скажите: на что мы должны решиться и чем начать?

— Сегодня я отправлю к царю Московскому депешу, в которой извещу его, что прибыл нарочно сюда, для выведывания тайнств политики у приверженцев врагов его, королей польского и шведского. Завтра у меня пир, на который я приглашаю всех польских панов и дам. Завтра же должна решиться участь Палея, а послезавтра я вручаю вам мое письменное обещание, если вам это непременно угодно. Но вы позволите мне, прелестная княгиня, предложить вам также небольшое условие, не холодный политический трактат, но коротенькую просьбу, написанную стрелою Амура на розовом листке! — Улыбающиеся уста старца дрожали, полусомкнутые глаза покрылись прозрачною влагой, на щеках выступил румянец...

Княгиня, взглянув на него, потупила взор, встала поспешно и сказала:

— Итак, до приятного свидания, князь! Помните только, что время дорого...

— То есть оно дорого с вами,— примолвил Мазепа, подавая ей руку, чтоб проводить ее.

Княгиня поблагодарила его, наклоном головы, за вежливость и сказала:

— Во всяком случае нам должно торопиться...

— Торопливость извинительна только в любви, прелестная княгиня,— возразил Мазепа, ведя ее под руку в переднюю комнату,— но в войне и в политике она всегда бывает пагубна. Величайшая осторожность в приготовлениях и быстрота в исполнении — вот что доставляет верный успех. Положитесь на мою опытность, княгиня! — Поцеловав руку княги-

ни в передней и обнявшись с паном Дульским, Мазепа возвратился в свою комнату и стал писать письма к царю и к приятелям своим, графу Головкину и барону Шафирову, намереваясь с рассветом отправить бумаги с нарочным, чтоб враги не предупредили его и не истолковали во вред ему поездки его в Бердичев и дружеских сношений с польскими панами.

Конец первой части

ГЛАВА X

Вечеронька на столе, а смерть за плечами.

Малор. песня

...Не так привык я ненавидеть!
Мученья долгие врага желаю видеть,
.....
Упитья токами его горчайших слез,
.....
И смертью медленной мою насытить злобу.

Озеров

Кармелитский монастырь в Бердичеве славился в целой Польше чудотворным образом Богоматери и несметными своими богатствами. Он был в то время укреплен валами, рвами и палисадами. Монахи содержали на свой счет до трех сот вооруженной шляхты, для защиты монастыря. Самусь, взяв Бердичев и наложив на него дань, не нападал на монастырь, щадя своих людей. Монахи, опасаясь измены и внезапного нападения, не позволяли никому из исповедующих православную веру, то есть казакам и поселянам, входить в крепость ни под каким предлогом. Знатные польские паны, приезжая в город, обыкновенно останавливались и жили с своими семействами внутри монастыря, вознаграждая за сие монахов богатыми подарками.

В день открытия ярмарки католическая церковь праздновала память Св. Онуфрия. В монастыре было торжественное служение, на котором находились все польские паны со своими женами, детьми, офицерами, надворного своего войска и многочисленными слугами. Несколько тысяч католиков помещалось возле паперти церкви, и вокруг оной. Несметное число народа, поселян и казаков стояло вне

укреплений и толпилось на площадях и улицах города, ожидая окончания католической божественной службы, ибо во время служения запрещено было открывать лавки и шинки и вообще заниматься торговлей. Любопытные с нетерпением ожидали процессии, или крестного хода. На обширном пространстве раздавался шум и говор, заглушаемый по временам колокольным звоном.

Выстрелили из пушки с монастырских укреплений. Настала тишина, и взоры всех обратились на вал. Внутри крепости раздалось громогласное и унылое пение нескольких тысяч голосов. Католики пели песнь Богородице, сочиненную св. Войцехом в первые времена христианства в Польше, которая, по примеру прочих католических держав, имеющих особенных своих покровителей в лице святых, признавала Богоматерь своею защитницей. Польские воины в старину пред началом боя всегда пели сию песнь громогласно ввиду неприятеля и стремились в сечу, повторяя ее. Во время войны и опасностей, угрожавших отечеству, песнь Богородице пели в церквах всенародно, по окончании литургии. Сия народная молитва воспламеняла мужество поляков воспоминаниями прежней славы и порождала в сердцах надежду на преодоление всех бедствий. Набожные верили, что песнь сия наводит ужас на врагов Польши и имеет чудотворную силу склонять победу на сторону поляков.

Пение за монастырскими стенами постепенно усиливалось, и вдруг показались хоругви и кресты на вершине вала. Процессия медленно подвигалась из-за ограды и растягивалась по валу. Шествие открывали монастырские воины, несшие церковные хоругви, знамена польские и знамена и бунчуки, отнятые польскими панами у неприятелей и посвященные церкви. Потом шли послушники монастырские в белых долматиках со крестами и образами. За ними шли по два в ряд, также в белых долматиках, юноши и дети, воспитывающиеся в окрестных монастырях. Двенадцать гайдуков, в красных кунтушах с золотыми галунами, несли балдахин из алого бархата, украшенный золотыми галунами, кистями, бахромою и страусовыми перьями, под которым был чудотворный образ Богородицы, сияющий алмазами и цветными камнями. За балдахином шел епархиальный епископ с аббатами Капитула и с высшим духовенством, за которыми следовали польские паны в богатой одежде, с обнаженными саблями и дамы польские в лучших своих нарядах. За толпою сих почетных богомольцев тянулись длинные ряды монахов различных орденов: Кармелиты, Доминиканцы, Бенедиктины, Бернардины, Реформаты,

Миссионеры, Францискане, в белых, черных, коричневых рясах. Шествие замыкали воины и слуги панов и вся мелкая шляхта со своими женами и детьми. На монастырской колокольне благовестили медленно, в один большой колокол, и чрез каждые пять минут палили из пушки с монастырского вала. Сие духовное торжество представляло величественное зрелище, и католики с гордостью смотрели, с вершины вала, на многочисленные толпы подвластного им народа украинского. Православные, невзирая на ненависть свою к папизму, сняли шапки пред образом Богородицы и пред знамением Спасителя мира, в благоговейной тишине смотрели на процессию и крестились.

Изю всех православных только один Мазепа приглашен был настоятелем кармелитского монастыря к торжеству и к обеденному столу. Но он отказался, чтоб избежать нарекания в народе, и слушал в сие время обедню в православном соборе, в присутствии всех казацких старшин, находившихся на ярмарке.

Весь народ знал вражду Мазепы с Палеем, и потому все с удивлением смотрели на них, стоящих рядом в церкви, возле левого клироса. После обедни священник поднес просфору гетману, и он, разломав ее, отдал одну половину Палею и, поцеловав его в лицо, сказал громко, чтоб все окружающие могли его слышать:

— Христос Спаситель, разделяя апостолам благословенный хлеб, на последней вечере, завещал им братство и любовь. С сим священным хлебом, долженствующим припоминать христианам завещание распятого за грехи наши, отдаю тебе половину сердца моего и приглашаю тебя к любви и братству!

Палей крепко пожал руку Мазепе. В народе раздался шепот. На всех лицах видны были радость и умиление. Все предвещало доброе от примирения двух знаменитых казацких вождей.

Вышед на паперть церкви, Мазепа подозвал к себе Палея и Огневика и сказал им тихо:

— Паны польские пируют сегодня в монастыре и не могут обедать у меня, итак, прошу ко мне на вечер, Семен!..

— Нельзя ли меня уволить, пане гетмане! — отвечал Палей. — Я люблю есть кашу с казаками, а биться с поляками. Не порадуются и паны моему соседству!

— Все это я знаю и для того-то именно и хочу свести вас вместе, — возразил Мазепа. — Как друг мой, ты должен быть в милости у царя, Семен, а первый шаг к этому

мировая с польскими панами, которых царь хочет привлечь на свою сторону и отвязать от партии Станислава.

— Да будет по-твоему! — сказал Палей, наморщив лоб. — Но все-таки я не отдам никому моей Белой Церкви! Уж воля твоя, пане гетмане, а из этого гнезда сам черт меня не выкурит!

— Об этом-то я и хлопочу, — примолвил Мазепа. — Верь мне, что Республика Польская откажется от Белой Церкви, по моему предстательству и по твоему обещанию не нападать более на Польшу. Я беру это дело на себя.

— Много благодарен, да только я не могу навсегда связать себе руки обещанием не нападать *никогда* на Польшу, — сказал Палей. — Пусть только осмелится польский пан отдать русскую церковь в аренду жиду или пусть только тронет пальцем священника за проповедование православия... я залью кровью Польшу!.. — Глаза Палея страшно засверкали. — Когда старый Палей не будет на страже, — примолвил он, — кто защитит бедного украинского мужика от угнетения? Пане гетмане! *Ты кость от кости нашей*¹, в тебе украинская кровь! Подумай о наших братьях и вспомни, что в Польше нет закона для защиты слабого...

— Я думаю об этом денно и ночью, любезный мой Семен, — отвечал Мазепа, смешавшись, — и для того-то призвал тебя, чтоб уладить все дружно и миролюбиво к защите и вольности целой Украины. Начать надобно притворную мировую с польскими панами.

— Не люблю я и не умею притворствовать, — возразил Палей, — но на этот раз уступлю вашей латинской премудрости, пане гетмане! Ничего не хочу, как только истребления угнетения в польской Украине и свободы православию, а для этого мне надобно денно и ночью сидеть с заряженным ружьем в Белой Церкви и неусыпно беречь мое кровное стадо от волков. Впрочем, делай что хочешь — приду к тебе на вечер, пане гетмане!

Мазепа снова обнял и поцеловал Палея.

— Еще одна просьба! — сказал Мазепа. — Я полюбил твоего Богдана, как родного сына, и хочу ходатайствовать за него у тебя. Любезный Богдан! — примолвил гетман, обращаясь к Огневику, — я должен объявить тебе неприятное известие. Невеста твоя, Наталья, крепко заболела и прислала ко мне нарочного с просьбою, чтоб я отправил тебя к ней...

¹ Слова Богдана Хмельницкого воеводе Киселю, комиссару со стороны Польши для заключения мира.

Огневик побледнел. Уста его трепетали.

— Еду, сейчас еду! — сказал он дрожащим голосом. Палей посмотрел на него с негодованием.

— Если б я вырастил тебя в курене Запорожском, — сказал он гневно, — а не отдавал проклятым ляхам в науку, то теперь не бегал бы ты за девками, как угорелый, а знал бы одно казацкое дело! Экое времечко! Казаки стали нежиться, как паньчи! Не бывать добру!

— Пане полковнику! — возразил Мазепа. — Вспомни, что и мы были молоды, что и мы любили...

— Бей меня бес! — воскликнул Палей. — Если я когда-либо поворотил коня с дороги для бабы! Хороша баба на хуторе, чтоб шить сорочки да печь паленицы, но чтоб гоняться за ней... трясца ее матери!..

— Батько! сжался надо мной! — сказал Огневик. — Ты не знал любви, а потому не постигаешь и мучений моих. Я умру, если не увижу Натальи!.. Я обязан ей жизнью!..

— Не умирай, а ступай к ней... Я не держу тебя... — отвечал Палей и, отвернувшись, сошел с паперти, забыв в гневе проститься с Мазепою.

— Твой вождь дик, как степной конь, — сказал Мазепа Огневику, — не возвращайся к нему, пока гнев его не простыл, а возьми коня с моей конюшни и ступай с Богом. Лети в Батурин, любезный сын, и спасай Наталию! Может быть, взор любви сильнее подействует, нежели все лекарства... Но повидайся прежде со мною, я дам тебе поручение...

Гетман сел в свой берлин и поехал домой, а Огневик побежал за ним опростеться, пробиваясь силою сквозь толпу народа. Прибыв в свое жилище, Мазепа нашел уже Огневику в передней. Страшно было взглянуть на него. Сильное движение покрыло лицо его румянцем, но в глазах его была смерть, а на устах выражение скорби. Мазепа велел ему следовать за собою во внутренние комнаты.

Гетман взял со стола жестяной ящик, величиною с ладонь, замкнутый внутренним замком, и, подавая его Огневику, сказал:

— Отдай этот ящик начальнику артиллерии, полковнику Кенигсеку. Здесь находятся ключи от моей казны и от собственной моей аптеки и письмо к нему. Ключ от ящика хранится у него. Этот человек предан мне и не упустит ничего, чтоб спасти Наталию, если есть еще возможность. Россыпай золото, созови всех наших врачей, делай что мо-

¹ Белый хлеб, род каравая.

жешь... Спасай мое детище! — Мазепа с горестью прижал Огневика к груди, закрыл лицо свое платком и сказал прерывающимся голосом:— Ступай с Богом!

На дворе уже ожидал Огневика оседланный конь. Он вспрыгнул на него и понесся стрелою за город, по Батуринской дороге.

Между тем, по окончании божественной службы, подняли знамя на ратуше, в знак открытия ярмарки, и вдруг двери и окна лавок и домов, в которых сложены были товары, растворились. Жида, которые прятались во время торжественной процессии — ибо в сие время и православные и католики били их нещадно, встретив на улице,— жида толпами показались среди народа, как гадины, выползающие из нор при появлении солнца. Народ толпился возле корчем, шинков и стоек под открытым небом, где жида продавали мед и водку. Спустя несколько времени, во всех концах города, особенно на большой площади и прилежащих к ней улицах, раздались звуки сопелок, цимбалов, волынок и бандур. Веселые песни смешивались с унылыми голосами старцев, распевающих духовные гимны о воскресении Лазаря, об Алексее Божьем человеке и т. п. В корчмах дрожали окна от топота дюжих казаков, пляшущих метелицу, горлицу и дудочку с украинскими красавицами. Запорожцы первенствовали на ярмарке. Одетые в богатые панские кунтуши, подпоясанные парчовыми и шелковыми кушаками, награбленными в Польше, или в куртках и шароварах из драгоценных восточных тканей, полученных в добычу при набегах на Крым, блистающие богатым вооружением, но замаранные дегтем, салом и смолою, они обращали на себя общее внимание и возбуждали уважение в народе. Запорожцы сыпали деньгами, потчевали всех и дарили ленты, бисер и платки красавицам, которые оставляли мужей и отцов, чтоб веселиться с щедрыми и удалыми пришельцами. Жида ходили за ними толпами, в надежде продать им дорого свои товары или купить дешево драгоценные вещи, полученные ими в добычу, во время набегов. Мелкая шляхта, находящаяся в услужении у панов: эконома, писаря провентовые¹, наместники² лесничие, маршалки³, конюшие в праздничных кунтушах или капотах, при саблях, расхаживали гордо между народом, не обращая даже внимания на поклонны мужиков, принадлежащих их господам. Цыганы и татары разъезжали на конях, приглашая громким голосом покупщи-

¹ То есть ведущие расходные книги по винокурне и шинкам.

² Помощник эконома или управителя.

³ То же, что: *maître d'hôtel*.

ков и запрашивая охотников в поле, где стояли табуны лошадей и стада рогатого скота. Когда солнце начало склоняться к западу, появились паны и дамы со множеством вооруженных слуг, которые очищали им путь к лавкам, где находились дорогие товары.

Палей сел на коня, закурил трубку и выехал на площадь полюбоваться на веселящийся народ. В конце площади, возле большой корчмы, он увидел толпу, из которой раздавались бранные восклицания и крик. Палей подъехал к толпе. Несколько жидов отнимали у мужика корову. Запорожцы вступились за мужика, а шляхта защищала жидов. Сила была на стороне поляков, потому что мужики не смели им противиться и оставались праздными зрителями.

— Что это значит? — спросил Палей.

— Защити и помилуй, батько! — сказал мужик сквозь слезы. — Вот этот жид, Хацкель, наш арендарь. Он стал торговать у меня корову, а как я не хочу отдать ему за дешевую цену, так он насильно отнимает у меня, будто за долг моего тестя. Не знаю, должен ли ему тесть мой. Он выслан в Овруч с панскими подводами... За что ж у меня отнимать мою корову! Меня бьют, чтоб я заплатил панский чинш... Откуда же мне взять!

— Вы себе рассчитаетесь с тестем, — возразил жид. — Ведь вы вместе пили мою горилку.

— Не тронь его коровы, жид, — сказал Палей, — и убирайся к черту!

— Пане Бартошевич! — сказал жид, державший корову за рога, обращаясь к дюжему, полупьяному шляхтичу, — пане Бартошевич! два гарнца малинку, если защитишь меня!

Бартошевич выступил вперед, надвинул шапку на ухо и, опершись на саблю, сказал Палею:

— А кто ты таков, что смеешь здесь распоряжаться! Знаешь ли ты разницу между казаком, холопом и польским шляхтичем?

Палей, не говоря ни слова, прискочил на коне к Бартошевичу, отвесил ему удар нагайкою по спине и в то же время хлестнул жида по голой шее. Бартошевич едва опомнился от удара, а жид, присев на пятках, завопил пронзительным голосом:

— Гвалт, гвалт! бьют, резут!

— Только бьют еще, — примолвил Палей и, обращаясь к запорожцам, сказал: — Хлопцы! пособите бедному мужику отвести корову куда он хочет.

Между тем все жида завопили:

— Гвалт, гвалт! бьют, резут! — Шляхта и казаки сбегались на крик со всех сторон.

Бартошевич, опомнившись, выхватил саблю и устремился на Палей, закричав яростно:

— Смерть холопу! За мной шляхта — братья!

Палей прискочил к Бартошевичу, ударил его из всей силы нагайкою по голове, и тот свалился, как сноп на землю.

— Разбой! убийство! — закричала шляхта, обнажив сабли.

— Хлопцы, бей собачьих детей! — воскликнул Палей, обращаясь к казакам и к мужикам. — Не бойтесь ничего: я с вами! — С сим словом он устремился на шляхту, размахивая нагайкой направо и налево, а толпа народа двинулась за ним со воплем. Шляхта, видя невозможность сопротивляться, подалась в тыл, защищаясь саблями от нападающих. Жиды прятались за шляхтичами и вопили громогласно. Палей то наскокивал на отступающих, то поворачивал коня назад, ободряя следующую за ним толпу, и бил по головам нагайкою шляхту и жидов, не успевающих ускользнуть от него. Вся площадь пришла в движение. Паны польские, думая, что казаки взбунтовали противу них чернь, как то уже не раз случалось, поспешили в кармелитский монастырь, а другие заперлись в домах. Все спрашивали друг друга, что это значит, и никто не мог растолковать причины сего смятения. На площади раздавалось:

— Бей ляхов! Ура, Палей! Здоров будь, Палей!

Имя Палея в устах народа возбудило ужас в панах. Некоторые из них бросились к Мазепе, прося защиты. Мазепа сам был встревожен сим происшествием и, когда выслушал панов и увидел из окна Палея на коне, сказал им:

— Будьте спокойны: я сейчас усмирю моего дикаря. Орлик! поди на площадь и скажи полковнику Палею, что я приказываю ему усмирить чернь и воротиться самому домой. — Подозвав к себе Орлика, Мазепа шепнул ему на ухо: — Не говори, ради Бога, что я *приказываю*, а скажи, что я *прошу его покорно*, как друга, не показываясь до вечера на улице и приказать послушному ему народу, чтобы он не обижал ни жидов, ни поляков. Скажи ему, что я требую этого в доказательство его дружбы.

Орлик с трудом пробился сквозь густые толпы к Палею, и когда пересказал ему, в самых ласковых и нежных выражениях, поручение гетмана, Палей опустил нагайку и, обратясь к народу, закричал громко:

— Молчать и слушать!

Вдруг настала тишина.

— Детки! — сказал Палей. — На сей день довольно! Приказываю вам, чтоб никто из вас не смел тронуть ни ляха, ни жида, а если они осмелятся обижать православных, помните, что старый Палей не дремлет. Дайте мне знать: я тотчас явлюсь на расправу!

— Ура, дай Бог здоровья батьке нашему! Ура, Палей! — раздалось на площади.

— Видишь ли, что я послушен пану гетману! — сказал Палей Орлику, поворотил коня и поехал домой. Толпы народа немедленно рассеялись, и вскоре все приняло прежний веселый и спокойный вид. Избитых жидов и раненых поляков перенесли в дома.

Настал вечер, и к Мазепе стали собираться паны польские с женами и дочерьми.

Супруга знаменитого Иоанна Собесского, спасителя Вены и мстителя христианства, ловкая, прекрасная и хитрая француженка, Мария Казимира маркиза д'Аркиан (Arkian) ввела в Польшу французские моды и обычаи, которые удержались в женском поле до нынешнего времени. Знатные дамы отбросили прежний полувенгерский и полуазиатский наряд, спенсеры, короткие шубы с рукавами до локтей и короткие юбки и оделись в длинное круглое платье (*robe-ronde*) со шлейфами. Замужние женщины вместо высоких чепцов стали носить небольшие шляпки или корзины с цветами, наколотые на взбитых вверх и распудренных волосах, а девицы перестали заплетать волосы в косы, по-венгерски, а зачесывали их вверх, оставляя длинные локоны, ниспадающие на плечи, и вместо тыльной косы собирали волосы в шиньон и слегка прикрывали их пудрою. Алмазы и цветные дорогие камни сделались необходимою принадлежностью наряда. Уже ни одна женщина не смела показаться в общество в цветных сафьянных, окованных серебром полусапожках. Прекрасные ножки полек обулись в шелковые остроносые башмаки с высокими каблуками. Сверх польского танца мазурки и краковяка знатное юношество научилось танцевать менуэт и кадрили. Прежний воинственный тон, смелое и непринужденное обхождение сохранилось только между стариками и в среднем дворянстве, но в обществе знатных дам требовалось утонченности нравов и гибкости ума, истощаемых на угождение тщеславию женского пола, равно как на уловление мужского самолюбия, требовалось со стороны дам подражания кокетству французского двора.

Мазепа, прошедший юность в Польше и сохранивший связи с польскими панями, перенял их обычаи и даже на старости отличался ловкостью в обхождении с дамами и любезностью в беседе с ними. Он, по тогдашнему обычаю, сам принимал дам в передней и провожал их до дверей залы, где Орлик, в качестве церемониймейстера, указывал назначенные им места. Музыканты и певчие гетмана, одетые в бархатные алые кунтуши с золотыми галунами, помещались на устроенном нарочно для них возвышении, почти под потолком залы, и попеременно играли и пели польские танцы, марши и малороссийские песни.

Дом, который занимал Мазепа, был чрезвычайно обширен. Он был построен князем Радзивиллом в то время, когда некоторые члены его знаменитого рода приняли учение Кальвина и распространяли оное в Польше. Дом сей услужил тогда для помещения в нем нескольких проповедников для общей молитвы и для совещаний приверженцев секты. Когда род Радзивиллов возвратился к католицизму, в сем доме поместили вотчинное правление князя Радзивилла, и главный поверенный сего князя очистил дом для Мазепы, чтоб приобрести его покровительство. В доме не было достаточного количества мебели, но Мазепа велел обить бархатом простые скамьи, развесил богатые ковры по стенам, убрал несколько комнат тканями и таким образом дал сему дому вид свежести и великолепия. Находясь при войске, в Батурине, гетман почти всегда сказывался больным, чтоб избавиться от выступления в поход. Он точно имел почти ежедневно припадки подагры, но как недуг сей одолевает и оставляет человека быстро и внезапно, то Мазепа мог по произволу сказываться больным или здоровым, не возбуждая ни в ком подозрения в притворстве. В этот день на нем не было никакого признака слабости, и если бы не седина, то по приемам и ловкости его можно было бы принять за человека в цвете возраста. Он сам открыл бал польским, с княгиней Дульской, после того прошел по несколько раз по зале с каждою из почетных дам и наконец, сев возле княгини, окруженной красавицами, стал занимать их разговорами, примешивая лесть красоте к веселым рассказам и приятным шуткам, открывая притом своим прелестным собеседницам обширное поприще к выказанию их собственного ума в возражениях и в шуточных спорах, возбуждаемых искусно. Дамы были в восхищении от любезности гетмана. Между тем служители разносили сушеные нежные плоды и сласти, привозимые в Польшу из Греции и Малой Азии и про-

даваемые дорогою ценою, сладкие вина кипрские и итальянские и сахарные венские и варшавские конфеты.

Всякая беседа между поляками начинается толками о политике. Собравшиеся паны, разделившись на небольшие толпы, разговаривали между собою о происшествиях того времени, и каждый, сообразно своим видам, хвалил или порицал короля Августа или Станислава Лещинского. Но когда разговор обратился на приключения того дня, все единодушно восстало против Палая, удивляясь его дерзости и негодуя на царя московского, на Августа и на Станислава, которые позволяли ему своевольничать и вредить всем партиям без разбора друзей и врагов России или Швеции. Мазепа не отходил от дам и не мешался в политические разговоры панов, но с беспокойством и нетерпением поглядывал на все стороны и часто подзывал к себе Орлика, чтоб спросить, прибыв ли Палей. Наконец, когда гости уже устали от танцев, паны утомились в спорах политических, а прислуга ожидала приказа вносить кушанье в столовую залу, убранную со вкусом цветочными гирляндами, дверь с шумом отворилась, и вошел Палей. Взоры всех поляков и полек обратились на него с любопытством, гневом и страхом. Радость выразилась на лице Мазепы.

Палей, против обыкновения своего, был одет в этот вечер по-казацки, а не по-польски. Он имел на себе голубую бархатную куртку, красные турецкие казимировые шаровары и желтые сапоги, окованные серебром. За парчовым золотым кушаком заткнут был кинжал, с рукоятью, осыпанною алмазами, при бедре сабля, в золотых ножнах, с драгоценными камнями. Запонка на воротнике его полужупана была алмазная, дорогой цены. Палей медленными шагами проходил чрез залу, ища взорами Мазепу, и, завидев его возле княгини, подошел к нему, поклонился и хотел отойти, но Мазепа встал со своего места, взял его за руку, пожал дружески и сказал обычное приветствие:

— Просим веселиться, дорогой гость!

Палей, не говоря ни слова, снова поклонился, отошел в сторону и стал возле стены. Во всех углах поднялся шепот. Несколько молодых поляков, чтоб прикрыть общее смутение, подняли дам в мазурку. Палей смотрел на танцующих, поглаживал усы и не трогался с места.

Мазепа велел Орлику подавать скорей ужин, и когда доложили ему, что все готово, он повел княгиню Дульскую под руку в столовую залу при звуках музыки. Проходя мимо Палая, он остановился и шепнул ему на ухо:

— Ты, Семен, садись возле меня. Вспомним старую дружбу, как едали вместе из одного котла в запорожском курене!

Гости последовали попарно за хозяином и уселись за столом, каждый возле своей дамы. Мазепа сел возле княгини Дульской, по правую сторону, оставив порожнее место между собою и полковником Чечелом. Все уже сели, но Палей еще стоял на пороге и поглядывал на всех таким взором, как орел смотрит с высоты скалы на пир воронов. Мазепа с беспокойством искал его взорами и, завидев, закричал с нетерпением:

— Пане полковнику! Прошу ко мне! Для вас сбережено место!

Палей, не говоря ни слова, подошел к Мазепе и сел возле него.

Чем более польские гости чувствовали принуждения в присутствии злейшего своего врага, которого одно имя распространяло ужас на целые области, тем более они старались прикрыть свое смятение шумными разговорами и притворною веселостью. Но один Палей был безмолвен, почти ничего не ел и не пил, против своего обыкновения, и поглядывал исподлобья на польских панов и дам, показывая, однако же, вид, что не слушает их речей. Тщетно полковник Чечел старался завести с ним разговор. Он отвечал только *да* или *нет* или просто кивал головою и молчал. Мазепа угощал дам и, разговаривая с ними, несколько раз извинялся пред Палеем, что не может исключительно заняться им, но, часто обращаясь к нему, просил его кушать, пить и веселиться. Палей благодарил наклонением головы и всегда отвечал одно и то же:

— Благодарим! всем довольны!

Орлик не садился за стол, но в качестве хозяина ходил кругом и упраскивал гостей пить, распоряжаясь при том разноскою лучших вин. Гости были послушны, и в конце ужина из всех поляков не было ни одного трезвого. Но сколько ни упраскивал Палея Орлик, тот никак не хотел осушать бокалов, а только прихлебывал понемногу. Наконец, когда стали разносить сласти и закуски, начались тосты. Мазепа встал, поднял бокал и сказал:

— Прошу вас, дорогие гости, выпить за здоровье всемилостивейшего моего государя, царя и личного моего благодетеля и милостивца, Петра Алексеевича!

Приверженцы короля Августа и казацкие старшины выпили и прокричали громогласно: «Виват!» Друзья Станис-

лава Лещинского пили, но в безмолвии, и не трогались с места. То же самое повторилось и при питье за здоровье Августа. Как начальником партии Станислава в сем обществе был пан Дульский, то он упросил предварительно друзей своих, для сохранения приличия и для отклонения всякого подозрения от Мазепы, не провозглашать тостов Станиславу и не противиться, когда будут пить за здоровье его противников. В другом месте и в другое время заздравное вино смешалось бы с кровью приверженцев двух враждующих партий, но теперь одна партия уступала другой, в надежде приобрести преимущество сею жертвою.

Хотя Мазепа упросил всех своих друзей, панов польских, обходиться как можно осторожнее с Палеем и избегать всякой размолвки с ним, но вино преодолело осторожность и заставило забыть мудрые советы и данные обещания. Пан Задарновский, староста Красноставский, поглаживая лысую голову свою, испещренную несколькими рубцами, следами сабельных ударов, полученных в кровавых спорах на сеймиках, и покручивая седые усы, долго смотрел в безмолвии на сидевшего насупротив его Палея, краснел, пыхтел и надувался, а наконец, обратясь к нему, сказал:

— Пане полковнику! Сколько вы заплатили за эту алмазную запонку, которая блестит на вашей шее? Этот крест над подковой есть герб моего покойного зятя, и мне помнится, что я видел эту вещь у него!

Вдруг шум умолк. Всех взоры обратились на Палея. Он отвечал хладнокровно:

— Запонка стбит мне одной свинцовой пули, а у кого ты видал запонку прежде, это твое, а не мое дело!

— Следовательно, эту запонку, купленную пулею, можно выкупить веревкою,— возразил пан Задарновский.

Дамы побледнели, мужчины пришли в смущение. Все ждали и опасались какого-нибудь насильственного поступка со стороны Палея. Но он пребыл спокоен и отвечал с прежним хладнокровием:

— Еще я не перевешал на моих казацких арканах всех, кого следует повесить за дерзость, нахальство и тиранство; а когда у меня не станет веревок, а ты доживешь до той поры, то я приду к тебе поторговаться, пане староста!

Пан Задарновский вспыхнул и от злости не мог приискать слова для ответа. Но Мазепа вскочил с места и сказал с досадою, по-латыни:

— Вы изменяете своему слову, староста! Прошу вас по-

корно прекратить этот спор, для пользы вашей и вашего отечества и из дружбы и уважения ко мне. Ручаюсь вам честью, что вы получите удовлетворение, если только смолчите.

Староста закусил губы и замолчал.

— Вина! — закричал Мазепа. — Здоровье друга моего и верного помощника, пана полковника Палея! Виват!

Заиграли на трубах, ударили в бубны и литавры. Многие поляки, в угождение Мазепе, повторили виват, а слуги, казаки и музыканты от чистого сердца кричали из всей силы.

Орлик стоял позади Мазепы, он мигнул ему, и Орлик подозвал к себе немого татарина, который стоял в углу с двумя бутылками вина и с двумя золотыми бокалами. Орлик налил в каждый бокал из особой бутылки и сам поднес бокалы на подносе Мазепе. Он оставил один бокал возле себя, а другой подал Палею и сказал ему:

— Обнимемся по-братски, старый друг Семен, как мы обнимались некогда в Запорожье, когда собирались на кровавую сечу, и выпьем теперь в память старого и на задаток будущему! — Не дав вымолвить слова Палею, Мазепа обнял его, поцеловал и потом, взяв свой бокал, выпил душком.

Палей выпил также свой бокал и, поставив его на столе вверх дном, сказал:

— Да очистятся так сердца наши, пане гетмане, от всякого прежнего нашего злоумышления друг противу друга, и да укрепятся любовью и согласием, для блага нашей родины и на пагубу всех врагов имени русского и православия! Аминь и Богу слава! — Мазепа не мог скрыть радости своей, видя, что Палей выпил до дна поднесенную ему чашу.

— Вина, вина! — закричал он, — почтенные гости и все друзья мои! Пейте, веселитесь! Играй, музыка! Сей день есть день моего блаженства, торжества, счастья!..

Некоторые поляки думали, что эта пламенная радость есть следствие успеха гетмана в любви к княгине Дульской. Палей верил, что это пламенное изъявление удовольствия относится к их примирению, а потому крепко пожал руку Мазепы. Орлик, стоя позади, улыбнулся и взглянул на патера Заленского, который сидел в конце стола и в знак, что понял взгляд Орлика, кивнул головою и по-прежнему потупил взоры.

Началась попойка, и дамы с молодыми мужчинами встали из-за стола и перешли в танцевальную залу. Мазепа не провожал княгини, но, шепнув ей что-то на ухо, остался возле Палея, не спускал с него глаз и старался удержать его за

столом разговорами, ибо Палей решительно отказался пить с поляками.

Через несколько времени Палей начал зевать и глаза его стали смыкаться.

— Прощай, пане гетман! — сказал он. — Мне что-то нехорошо: в голове шумит, перед глазами будто туман; я в первый раз в жизни не могу преодолеть сна. Пойду домой!

— Ступай с Богом! — отвечал Мазепа и встал из-за стола вместе с ним, прося гостей подождать его возврата. Взяв за руку Палея, Мазепа сказал ему: — Зайди в мою комнату, я дам тебе на дом бумаги, которые завтра утром вели себе прочесть, — и, не ожидая ответа Палея, повел его под руку в свою спальню. Вошед туда, Мазепа сказал: — Сядь-ка в мои большие кресла, а я вынесу тебе бумаги. — Мазепа вышел, а Палей, кинувшись в кресла, немедленно захрапел. Голова его свалилась на грудь, и пена покрыла уста. Он вытянулся, хотел встать, но силы оставили его. Проворчав что-то невнятно, Палей перевалился на стуле и заснул.

Мазепа стоял за дверьми в другой комнате и смотрел в замочную щель. Когда Палей захрапел, он возвратился в свою спальню, подошел к нему и, смотря ему в глаза, улыбался и дрожал. В глазах Мазепы сверкала радость тигра, готового упиться кровью беззащитной добычи. Он взял Палея за руку, потряс ее сильно, но он не просыпался. После того Мазепа поднес свечу к глазам спящего. Веки задрожали, но глаза не открывались. Мазепа дернул Палея за усы. Лицо сморщилось, но он не пробудился.

— Наконец ты в моих руках! — воскликнул Мазепа и поспешно вышел из комнаты, замкнув ее ключом. Через несколько минут Мазепа возвратился с Орликом и с немым татаринном, с клеветами своими, казаками Кондаченкой и Быевским и с кузнецом, призванным из кармелитского монастыря. Татарин нес цепи. Спящего старца обезоружили, оковали по рукам и по ногам, завернули в плащ и вынесли на руках из дому. На дворе стояла телега с сеном, в одну лошадь. Палея положили на воз, прикрыли слегка сеном и свезли со двора через задние ворота. Орлик, завернувшись в плащ, пошел за телегой с татаринном и казаками, ведя перед собою кузнеца, сказав ему прежде, что если он осмелится промолвить слово кому-нибудь из встречающих, то будет убит на месте. Телега, выехав на улицу, повернула к реке.

Мазепа, возвратясь к гостям, кивнул головою патеру Заленскому, и он, сидев до сих пор в задумчивости, быстро вскочил со стула, налил бокал и, воскликнув: «За здоровье

ясневельможного гетмана и за упокой всех врагов его!» — выпил и передал пану Дульскому, который во весь голос прокричал *vivat*, повторенный всеми собеседниками. Мазепа, оставив гостей за столом, перешел к дамам, которые уже стали разъезжаться по домам. Провожая княгиню Дульскую на лестницу, он сказал: — Прелестная княгиня! Вепрь уж в яме!

— Благодарю вас, гетман! — отвечала княгиня. — Итак, завтра или, лучше сказать, сегодня, потому что теперь уж день, мы приступим к письменному условию? Не правда ли?

— К двум условиям, — возразил Мазепа, устремив страстные взоры на княгиню, — к умственному и к сердечному!

Княгиня не отвечала ни слова.

Мазепа не возвращался в столовую. Он приказал извинить его перед гостями слабостью здоровья и пошел в свою почивальню. Гости пили до упаду, и уже с рассветом некоторых из них вынесли, а других выпроводили под руки к их берлинам и бричкам и развезли по домам. Мазепа не ложился спать, ожидая возвращения Орлика. Он пришел со светом и сказал:

— Слава Богу! Все кончено благополучно!

— Наконец удалось нам! — отвечал Мазепа. — Надеюсь, что и другое удастся. Ступай же отдыхать, мой любезный Орлик! Сегодня тебе еще много работы!

Орлик вышел, а Мазепа бросился на постель и от усталости заснул.

ГЛАВА XI

Я дико по тюрьме бродил —
Но в ней покой ужасный был.
Лишь веял от стены сырой
Какой-то холод гробовой.

Жуковский

Огневик, волнуемый страхом, любовью, сгорая от нетерпения, скакал во всю конскую прыть по дороге в Батулин, не смотря на палящий зной и не обращая внимания на усталость коня. Проскакав верст двадцать пять, конь его пристал и едва передвигал ноги. Огневик должен был остановиться. Он своротил с дороги, привязал коня на аркане к дереву, в густой траве, и сам лег отдыхать в тени, на берегу ручья. Солнце было высоко. Усталость, зной, а более беспокойство, борьба страстей истощили силы нетерпеливого любовника. Природа преодолела, и Огневик заснул крепким сном.

Когда он проснулся, солнце уже садилось. Он оглянулся,— нет лошади. Конец перерезанной веревки у дерева не оставлял никакого сомнения, что лошадь украдена. Где искать? В которую сторону обратиться? Он был в отчаянии. Вдали, со стороны города, послышался за рощей скрип колес. Он побежал туда. Несколько мужиков ехало с сельскохозяйственными орудиями на господский двор, из ближнего селения. Они сказали Огневику, что видели трех цыган, скачущих верхами, и что один из них вел, за поводья, казацкую лошадь. Цыганы, по словам мужиков, своротили с большой дороги и поехали лесом. Огневик рассудил, что гнаться за ними было бы бесполезно. Впереди, верстах в пятнадцати, было селение на большой дороге. Он решился дойти туда пешком, и там, купив лошадь, продолжать путь. Когда он пришел в село, уже была ночь. Жиды не было в корчме; он отправился на ярмарку, в Бердичев. Все спали в деревне. Надлежало подождать до утра. На рассвете Огневик объявил в деревне, что он заплатит, что захотят, за добрую лошадь с седлом; но как богатые хозяева были на ярмарке, то без них трудно было удовлетворить его желанию. Несколько мужиков побежали в табун, в пяти верстах за деревней, и пока они возвратились, прошло довольно времени. Наконец начался торг и проба лошадей. Огневик выбрал лошадь понадежнее, заплатил за нее втридорога и едва к полудню мог отправиться в путь. К ночлегу он успел отъехать не более двадцати верст. Переночевав в корчме, он со светом выехал, намереваясь в этот день вознаградить потерянное время.

Едва он отъехал несколько верст за деревню, как слышал за собою крик и конский топот. Он оглянулся и в облаках пыли едва мог различить двух казаков, несшихся по дороге во всю конскую прыть. Огневик вынул пистолеты из-за пояса и, взведя курки, остановился возле большой дороги. Всадники вскоре приблизились к нему, осадили коней, и один из них соскочил с седла. Это был Москаленко, любимец Палея.

— Куда ты? Зачем? — спросил его с нетерпением Огневик.

— За тобой, Богдан! Все пропало — батя погиб!

— Как, что ты говоришь!

— Погиб! Злодей Мазепа погубил его!

Огневик побледнел. «Предатель!» — сказал он про себя, слез с лошади и, взяв за руку Москаленка, примолвил:

— Расскажи мне все подробно. С погибелью моего благо-

детеля все кончилось для меня на свете... Все, любовь, надежда на счастье!.. Отомщу и умру!

— Дай обнять тебя, Богдан!— сказал Москаленко с жаром.— Я не обманул тебя в тебе. Иванчук подозревал тебя в измене, в тайных связях с Мазепою...

— Злодей! Я ему разможжу голову! — воскликнул в ярости Огневик.

— Его уже нет на свете,— возразил Москаленко,— он погиб жертвою своей преданности и верности к нашему вождю...

— Но Расскажи же мне поскорее, как все это случилось,— сказал Огневик,— я мучусь от нетерпения!

Москаленко сел в сухом рву, возле дороги. Огневик поместился насупротив, и первый из них начал свой рассказ:

— Ты знаешь, что батко был запрошен вчера Мазепою на вечерний пир. Нашему старику не хотелось идти туда. Какое-то предчувствие удерживало его; он опасался, чтоб польские паны не заставили его выйти из себя и забыть должное уважение к гетману и данное ему слово не ссориться с поляками. Мы упросили его не пить с ляхами и не мешаться в их речи. Он пошел поздно и обещался возвратиться тотчас после ужина, приказав нам приготовить на утро к отъезду в Белую Церковь. Целый вечер он был угрюм и несколько раз изъяснял свое неудовольствие противу тебя, за твою любовь к девице, близкой Мазепе. Мы оправдывали тебя как могли и как умели. Наконец батко пошел к гетману. До свету ждали мы возвращения его и, не дождавшись, хотели пойти за ним, в дом Мазепы, думая, что наш старик выпил лишнюю чарку. На улице встретил нас нищий, бандурист, который сказал нам, чтоб мы воротились домой и что он нам объявит важную тайну. Мы заперлись в светлице, и нищий сказал нам:

— Я целый вчерашний день забавлял слуг гетмана моею игрой и песнями и остался на ночь у них в доме, чтоб поживиться крохами от панского пира. Наевшись и напившись досыта, я заснул в сенном сарае. Сегодня один молодой служитель гетманский разбудил меня и сказал:

— Украинец ли ты?

— Чистый украинец и верный православный,— отвечал я.

— Итак, ты должен любить старика Палея?

— Люблю его, как душу, как свет Божий, как веру мою!

— Так поди же к его людям и скажи им, что Палея нет уже на свете! — Я зарыдал.— Молчи и делай дело,— прикомандовал слуга гетманский,— а не то, если ты станешь реветь, как баба, я задушу тебя здесь как кошку...— Волею, неволею

я отер слезы. Слуга примолвил: — Вчера, когда гости сидели за столом, а мы суетились, прислуживая им, пан писарь генеральный, который не садился за стол, взял тайком одну бутылку вина и вышел в пустые комнаты, оглядываясь, чтоб мы не заметили. Из любопытства я заглянул в замочную щель и увидел, что пан писарь всыпал в вино какой-то порошок из бумажки. Возвратясь в столовую избу, пан писарь отдал бутылку проклятому немому татарину и велел ему держать ее и не двигаться с места. Я не спускал глаз с пана писаря и с татарина. Когда пан гетман потребовал вина, чтоб выпить вместе с Палеем, пан писарь поднес ему вина из той самой бутылки, в которую всыпал порошок, а гетману налил из другой бутылки. Я не мог предостеречь нашего батьки! Все случилось мигом! Со слезами на глазах и с горестью в сердце смотрел я на старика, догадываясь, что он проглотил смерть! Не обманулся я! Палей стал жаловаться на тяжесть в голове и вышел с гетманом в его почивальню. Двери за ними затворились, и я, приставив ухо к замку, услышал, что старик страшно захрапел, как будто его резали. Я не знал, что мне делать! Когда гости разъехались, сторожевой казак, бывший на дворе, сказал мне, что он видел, как что-то тяжелое вынесли из покоев гетманских и свезли со двора. Нет сомнения, что это труп нашего батьки! Поди и расскажи это Палеевым людям; но помни, если изменишь мне, то изменишь Богу и Украине!

Выслушав нищего, мы не знали, что начать. Горесть и гнев мешали нам рассуждать. Иванчук клялся убить Мазепу, если удостоверится в справедливости сказанного нищим. Наконец мы решились с Иванчуком идти к Мазепе и расспросить его самого о нашем вожде.

Долго мы ждали перед домом гетмана, пока ставни отворились. Площадь между тем наполнилась народом. Мы вошли в дом и просили сторожевого сотника доложить об нас гетману. К нам вышел Орлик — расспросить о причине нашего прихода. Мы отвечали, что имеем дело к самому гетману, и Орлик удалился, оставив нас одних в сенях, посреди стражи. Мы ждали недолго. Орлик ввел нас к гетману.

Он стоял посреди залы, опираясь на костыль, и был во всем своем убранстве, в шитом золотом кафтане, с голубою лентою чрез плечо, со звездой на груди. Несколько войсковых генеральных старшин и полковников стояли по обеим сторонам. Он взглянул на нас исподлобья и наморщил лоб.

— Чего вы хотите? — спросил он грозно.

— Мы пришли узнать от тебя, ясновельможный гетман,—

сказал Иванчук,— что случилось с вождем нашим. Он не возвратился домой с твоего пиру, и мы думаем, что он захворал...

Мазепа не дал кончить Иванчуку:

— Прочти указ его царского величества,— сказал он Орлику.

Орлик прочел указ царский, которым повелено гетману взять под стражу полковника Хвастовского и отправить к государю, как ослушника царской воли и государственного преступника, а на место его назначить другого полковника и всех казаков наших привести наново к присяге.

— Слыхали ли вы? — сказал Мазепа.

Мы посмотрели друг на друга и не знали, что говорить и что делать. Не будучи в силах, однако ж, удержаться, я спросил:

— Жив ли наш батько?

— Тебе до этого нет дела,— сказал гневно Мазепа.— Конiec вашим разбоям и своевольству! Чечел! поди с этими людьми в дом, где жил преступник; заberi бумаги и все, что найдеш там, а всех людей отправь под стражей в Батурин, для размещения по полкам. Ступайте...

Иванчук затрепетал, и я думал, что он бросится на Мазепу и убьет его на месте; но он удержался, посмотрел на меня, пожал мне руку и вышел, не поклонясь гетману. Чечел не успел оглянуться, как Иванчук сбежал уже с крыльца и скрылся в народной толпе. Я не отставал от него. Мы добежали до корчмы, где обыкновенно собираются запорожцы и все удалцы из крестьян. Иванчук закричал толпе, чтоб его выслушали.

— Знаете ли вы меня, хлопцы! — спросил Иванчук у народа.

— Как не знать тебя! — закричали со всех сторон.— Ты батькино око!

— Хорошо! А любите ли вы нашего батьку? — примолвил Иванчук.

— Как не любить родного батьки! Он только и бережет нас от угнетения ляхов, ксензов и жидов! — закричали мужики.

— Итак, знайте, что мы остались сиротами, что уже нет нашего батьки!..

Крик, вопли и рыдания пресекли речь Иванчука. Он едва мог убедить народ выслушать его до конца.

— Не слезами, а кровью должно поминать нашего батьку, потому что он проливал за вас не слезы, как баба, а собственную кровь. Гетман Мазепа умышляет с панами и ксен-

зами погубить Украины и Малороссии и хочет отдать нас душою и телом ляхам и папистам. Зная, что батько не допустил бы до этого, он заманил его сюда бесовскими своими хитростями и сегодня, ночью, опоил у себя, за столом, какою-то отравою. Батько наш не выходил из дому гетманского и пропал без вести! Пойдем к предателю Мазепе и потребуем, чтоб он отдал нам батьку, живого или мертвого; а я берусь отделить черную душу Мазепину от его гнилого тела... За мной, братцы, кому дорога православная наша вера и мать наша Украина!

Запорожцы выхватили сабли, народ вооружился кольями, оглоблями, купленными на ярмарке косами и топорами и с воплем ринулся за нами. Мы почти бегом прибыли к дому гетмана.

— Отдай нам нашего батьку! — кричал народ.

— Смерть ляхам, смерть папистам! — вопила толпа. Камни и грязь полетели в гетманские окна. Между тем Иванчук уговаривал отважнейших из запорожцев вломиться в дом и обыскать все углы, намереваясь в суматохе убить Мазепу.

Вдруг двери распахнулись настежь, и Мазепа вышел на крыльцо со своими старшинами и полковниками. Народ сильнее закричал:

— Отдай нам нашего батьку!

Мазепа дал знак рукою, чтоб его слушали. Крики умолкли. Увидев Иванчука впереди, Мазепа подозвал его. В надежде на народную помощь, Иванчук смело взошел на ступени крыльца и, не снимая шапки, сказал:

— Отдай нам батьку нашего, если не хочешь, чтоб народ растерзал тебя на части...

— Ребята! — сказал Мазепа, обращаясь к запорожцам и к народу. — Я показывал этому человеку указ царский, которым мне велено взять под стражу полковника Хвостовского, Семена Палея. Вам известно, что я, гетман, и он, полковник, и все мы, холопы царские, должны беспрекословно слушаться поведений нашего царя и государя. Если б я осмелился ослушаться царского указа, то подвергся бы казни, как изменник, и заслужил бы ее, так как заслуживает и получает ее каждый ослушник и бунтовщик, начиная с этого разбойника... — Не дав опомниться Иванчуку, Мазепа выхватил из-за кушака пистолет, выстрелил, и Иванчук упал навзничь с лестницы, залившись кровью. Народ с ужасом отступил назад.

— Смерть первому, кто осмелится противиться царской воле! — сказал Мазепа грозно.

Народ молчал, и толпы подавались назад. Тщетно я возбуждал народ броситься на общего нашего злодея. Меня не слушали! Мазепа твердостью своею и решительностью посеял страх в сердцах. Надейся, после этого, на народную любовь! При первом несчастии, при первой неудаче он оставит тебя... То же было и с родным моим отцом, в Москве, во время Стрелецкого бунта!..

Между тем в ближних улицах послышался конский топот и звук тяжелых колес. Хитрый Мазепа все предусмотрел и все устроил на свою пользу. Вскоре мы увидели несколько отрядов польских всадников в полном вооружении и четыре монастырские пушки, при зажженных фитилях. Поляки поставили пушки возле гетманского дома и стали на страже.

Я побежал домой с моим верным Руденкой, сел на коня и хотел тотчас скакать в Белую Церковь. У ворот встретила меня женщина, хорошо одетая по-польски.

— Ты из вольницы Палеевой? — спросила она меня. Когда я отвечал утвердительно, она сказала мне: — Поспешай по Батуринской дороге, догони есаула Огневика и скажи ему, чтобы он воротился сюда, ибо та же самая участь, которая постигла Палея, ожидает его в Батурине. Скажи Богдану, что тебя послала к нему Мария Ивановна, которая хочет спасти его и помочь ему. Пусть он въедет ночью в город, никому не показывается, а спросит обо мне у жида Идзки, которого дом на углу, противу русского собора. Скажи Богдану, — примолвила она, — что он раскается в том, что оказывал ко мне недоверчивость, и уверится, что он не имел и не будет иметь вернейшего друга, как я. Спеши, Бог с тобою!

В отчаянном моем положении я хватился первого совета и поскакал за тобой. Чтоб ускорить наше возвращение, я приготовил во всех селениях подставных лошадей, и мы можем сей же ночи быть в Бердичеве, если ты согласишься ввериться этой женщине...

— Едем! — сказал Огневик. — Так или так погибнуть, но я должен по крайней мере узнать, что случилось с моим благодетелем; жив ли он или в самом деле отправлен к царю. Пока есть надежда быть ему полезным, мы не должны пренебрегать никакими средствами. Ты, Руденко, ступай прямо в Белую Церковь и скажи есаулу Кожуху, чтоб он заперся в крепости, не сдавался Мазепе, не слушал ни угроз, ни увещаний и защищался до последней капли крови. Мы повоюем еще с паном Мазепою! Если Палея нет на свете, то дух Палеев остался в нас! Довольно одной измены! Теперь надобно разведаться

начистоту. Прощай, Руденко! Поезжай степями и лесами, что(бы) не попасться в руки Мазепиным людям.— Сказав сие, Огневик вскочил на коня и поскакал с Москаленкой в обратный путь.

В ночь они прибыли в Бердичев.

Огневик не рассудил въезжать в город. Он остановился на предместье, у жида. Осмотрев и зарядив наново пистолеты, Огневик и Москаленко, вооруженные, сверх того, кинжалом и саблею, пошли пешком в город, взяв в проводники жиденка.

В городе все спали. Только запоздалые пьяницы и ярмарочные воры кое-где мелькали во мраке. В Польше в то время не знали полиции. Каждый гражданин должен был силою или хитростию охранять свою собственность, а о благочинии не было никакого попечения. Начальства и судилища руководствовались пагубным правилом: «Где нет жалобы, там нет и суда». Но как жаловаться нельзя было иначе, как с представлением явных улик в преступлении, а вольного человека никто не смел воздержать от разврата, кроме духовного его отца, правительство же не имело силы разыскивать, наблюдать и предупреждать зло, то Огневик крайне удивился необыкновенной тишине в городе, в ярмарочное время, и приписал сие, не без основания, ужасу, произведенному во всех сословиях свежими происшествиями и присутствием страшного гетмана Малороссийского, осмелившегося посягнуть на непобедимого Палея. Без всякого приключения Огневик и Москаленко дошли до дому жида Идзки, споткнувшись только несколько раз во мраке на пьяных шляхтичей и мужиков, спящих на улице.

В верхнем жилье виден был свет. Огневик постучался. Жилище каждого жида есть шинок и заезжий дом. Для жида, как известно, нет ничего заветного. Он все готов продать из барышей, и самый богатейший из них всегда откажется за деньги от удобств жизни, от спокойствия под домашним кровом. Крепкие же напитки жид имеет в доме всегда, как заряды в крепости. Вино омрачает разум, следовательно, оно есть самое надежное оружие в руках плута, живущего на счет других. У дверей Идзкиных сторожила снутри христианская служанка. Долго стучался Огневик, пока успел разбудить ее, и долго ждал, пока она вздула огонь.

— Чего вам надобно, пива, вина или меду? — спросила спросонья служанка.

Огневик всунул ей талер в руку и сказал:

— Пей сама, коли хочешь, а мы не за тем пришли сю-

да. Скажи-ка нам, есть ли здесь в доме жилища из Малороссии?

— А! так это она ждет вас! — возразила служанка и, поставив свечу к лицу Огневика, примолвила: — Ну нечего сказать, недаром ей так не терпится! Экой молодец!

— Итак, она здесь! Скажи же нам по правде, много ли здесь в доме малороссийских казаков? — спросил Огневик. — Я тебе дам вдвое более денег, сколько она дала тебе за то, чтоб ты не сказывала нам, что здесь есть казаки.

— Ей-ей, здесь нет ни души казацкой, — отвечала служанка, — хоть поклясться рада. При барыне одна только служанка, да кучер в конюшне, и тот так пьян, что хоть зубы выбери у него изо рта, не услышит.

— А не велела ли она тебе дать знать кому-нибудь, когда мы придем? — спросил Огневик.

— Ей-ей же, нет! — отвечала служанка.

— Ну, так проводи нас к ней, — сказал Огневик.

По узкой и крутой лестнице они взойшли на чердак за служанкой, которая шла впереди со свечою. По первому стуку дверь отворилась, и Мария Ивановна Ломтиковская сама встретила жданного гостя, со свечкою. Видно было, что она и служанка ее не раздевались.

— Добро пожаловать! — сказала Мария Ивановна, приятно улыбаясь.

Жидовская служанка хотела воротиться в нижнее жилье, но Огневик удержал ее, ввел в светелку и запер двери.

— Пока я здесь, никто без меня отсюда не выйдет, — сказал он.

— Ни слова противу этого! — возразила Мария Ивановна. — Ты дорого заплатил гетману за уроки осторожности и благоразумия и имеешь право не верить не только мне, но ни одной живой душе. Только жилье мое слишком тесно. В этой избушке, с перегородкой, нам нельзя говорить без свидетелей, а мне должно переговорить с тобой наедине. Пусть твой товарищ подождет с этими женщинами за дверьми, на чердаке, пока мы переговорим с тобою.

— Хорошо! Москаленко, ты слышишь, чего она требует! Пожалуйста, брат, не стыдись посторожить баб. Впрочем, ты знаешь, что бабий язык иногда опаснее кинжала!

Москаленко, не говоря ни слова, вышел с двумя служанками.

Мария ввела Огневика в светелку и, указав на сундук, просила сесть, а сама села напротив, на кровати.

— Ты не доверяешь мне, Богдан! — сказала она, устремив на него пристальный взор. — Ты не доверяешь мне, а между тем прибыл сюда по одному моему слову! Если б я хотела твоей гибели, то не посылала бы за тобою в погоню. Ты тотчас увидишь, зла ли я тебе желаю или добра! Подай мне коробку, которую дал тебе гетман, отправляя в Батурин.

Огневик вынул из-за пазухи жестяную коробочку и подал Марии.

— Нет! Разломи ее и посмотри, что в ней находится, — примолвила она, улыбаясь.

— А мне и в голову не пришло! — сказал он, срывая крышку с коробочки своим кинжалом. — Здесь нет ключей, о которых он говорил мне, а только одна бумага...

— Прочти ее! — сказала Мария.

Огневик подошел к столу, на котором стояла свеча, и прочел следующие строки, писанные рукою Мазепы:

«Верному полковнику моему, Кенитсеку.

Когда ты получишь сие письмо, надеюсь, что бешеный Палей уже будет в моих руках. Я нарочно удалил отсюда первого клеветы его, чтоб облегчить дело, и послал его к тебе в Батурин под предлогом болезни Натальиной. Разбойничья дерзость до такой степени ослепила его, что он поверил, будто я выдам за него замуж мою Наталию! Теперь он не нужен мне более. Закуй его немедленно в железа и с надежным прикрытием отправь в Воронеж к царскому коменданту, к которому я напишу сегодня же, чтоб он принял сего государственного преступника и отправил куда следует, для получения заслуженной казни. Будь здоров и жди меня с добрыми вестями.

Мазепа».

Огневик, читая сие письмо, то бледнел, то краснел. Голос его то дрожал, то яростно вырывался из груди, как порыв бури. Окончив чтение, он остался на месте, сжал письмо в руке и, бросив свирепый взор на Марию, сказал:

— Нет! человек не может быть до такой степени зол и вероломен! Это воплощенный ад в одном лице!.. Мария! — продолжал он, смягчив голос. — Ты служишь этому демону... я все знаю!

— Служила! — отвечала Мария хладнокровно. — А теперь проклинаяю его столь же чистосердечно, как и ты.

— Ты спасла мне жизнь, Мария, послав за мною погоню... Но и Мазепа спас мне два раза жизнь, в Батурине, *когда я был ему нужен!* Ты начала как ангел; кто мне поручится, что ты не кончишь как... Мазепа!

Мария вскочила с кровати и, бросив пронизательный взгляд на Огневика, положила руку на сердце и сказала:

— Здесь порука! У Мазепы вместо сердца камень, а в этой груди сердце, которое живет и бьется для дружбы... и любви!..— Последние слова Мария вымолвила, понизив голос и потупя взор. Огневик молчал и пристально глядел на Марию. Она снова подняла глаза и примолвила:— Веришь ли ты мне или не веришь, но мы должны объясниться. Скажи мне, на что ты думаешь решиться, чего теперь желаешь?

— У меня одна мысль и одно желание: мести! — сказал Огневик, и лицо его приняло грозный вид.— Потерять отца, друга и благодетеля, лишившись невесты и даже приюта, я жертвую ненавистную мне жизнью для наказания злодея. Мазепа должен пасть от моей руки!..

— Но разве ты сможешь этим Палею?

— Я отомщу за него, и этого довольно! Палею теперь уже ничего более не надобно!

— Нет! Палею нужна твоя помощь, твое заступление...

— Разве он жив? — воскликнул Огневик с нетерпением.

— Конечно, жив, — отвечала Мария. — Он теперь находится под стражею и завтра будет отправлен к царю московскому...

— Итак, есть надежда освободить его?

— Да, из рук царских, но не из когтей Мазепиных. Слушай меня! Орлик хотел лишить жизни Палея: отравить или зарезать его, но Мазепа воспротивился. «Скорая смерть не есть удовлетворительная месть, — сказал Мазепа, — потому что смерть прекращает все страдания и самую память об них. Пусть мой враг, который заставлял меня мучиться в течение двадцати лет, умрет медленною смертью, в страданиях, в пытках, во мраке темницы. Палей стар и не выдержит терзаний и заключения. Если б я убил его, враги мои могли бы оклеветать меня перед царем. Я должен избегать этого. Друзья мои, Головкин и Шафиров, не выпустят Палея из рук...— Вот собственные слова Мазепы! Он выслал уже к царю обвинения противу Палея, приложив переписку его с польскими панами, перед поездкой твоею в Варшаву...

— Но царь извещен был, что Палей вступил в переговоры с панами для того только, чтоб узнать их намерения, — возразил Огневик.

— Противу этого Мазепа собрал целую книгу писем приверженцев Станислава, написанных здесь, вчера, в доме гетмана... Он все обдумал к погибели своего врага!

— Но я взбунтую народ, отобью Палея на дороге, и после

пусть царь нас рассудит! Но что я говорю?.. Я забылся... Мария! Ужели ты мне изменишь?

— Не изменю тебе, а помогу, в чем можно помочь. Верь или не верь, а кроме меня, никто не в состоянии помочь тебе. Но если хочешь быть полезен Палею, то должен мне повиноваться. Напрасно ты надеешься на народ! Это стадо. Народ страшен только малодушным, и свирепость его, как буря, безвредна скале. Душа Мазепы закалена в бедствиях и в народных возмущениях, а ум изощрен на хитрости. Он все предвидел и все приготовил для отвращения могущего случиться возмущения. Здесь более пятисот польских всадников и несколько пушек охраняют пленника. Все стоявшие на польской границе казацкие сотни расставлены теперь по киевской дороге, которою повезут Палея. Силою извратить его невозможно. Но есть другое средство. Пади к ногам царя, объяви ему истину и проси суда и следствия! Царь правосуден, и если убедится в несправедливости доноса Мазепы, то, без сомнения, возвратит свободу Палею. Я доставлю тебе средства к оправданию Палея и поручу сильным людям, окружающим царя!..

— Мария, ты сводишь меня с ума, расстраиваешь душу мою! Что я должен о тебе думать? Ты знаешь все тайные дела, почти все помышления Мазепы; знаешь, что он говорит сам-друг, что пишет наедине! Ты должна пользоваться величайшею его доверенностью, любовью, дружбою... и как же ты хочешь, чтоб я верил, что ты можешь пожертвовать всем для меня, чуждого тебе человека!..

— Богдан, ты дорог мне! Бог свидетель, что ты мне дорог! — воскликнула Мария. Глаза ее сверкали необыкновенным пламенем, лицо горело. Огневик был в смущении: он не знал, что думать, что говорить.

Помолчав несколько, Мария успокоилась и сказала:

— Человек, который никому не верит, который живет ложью и коварством, всегда окружен обманом и изменою. Мазепа всех людей, от царя до раба, почитает шахматами, нужными ему только для выигрыша партии. Ему нет нужды в их уме и сердце! В его глазах все это *кость*, и вся разница в форме и в месте, занимаемом на шахматной доске. Зато и все окружающие Мазепу служат ему, как работники мастеру, из насущного хлеба и ежедневной платы. Одно сердце имеет силу привлекать к себе сердца, а металлом и почестями можно оковать только ум и волю... Нет вернее людей у Мазепы, как Орлик и Войнаровский. Они в самом деле преданы его пользам потому, что с его пользами соединены их

собственные; но Войнаровский обманывает его, любит и любим взаимно княгиней Дульской, на которой старый развратник хочет жениться, а Орлик в моих руках, как Геркулес у Омфалы... Немой татарин также предан мне, и я все знаю... и притом ненавижу Мазепу, как смерть, как ад... Если б он не был мне нужен... давно бы не было его на свете! Но я не знаю, кто будет после него гетманом, а мне нужно иметь силу и влияние в гетманщине...

Мария замолчала, опустила голову на грудь, задумалась и вдруг вскочила с постели, быстро подбежала к Огневику, взяла его за руку и, устремив на него свои пылающие взоры, сказала:

— Я открою перед тобой душу мою, Богдан! Поверю величайшую тайну и поручу тебе судьбу мою и целой Украины и Малороссии! Что ты на меня смотришь так недоверчиво! Не сомневайся! Судьба этого края вот здесь! — Мария ударила себя по голове. — Мне нужен только человек с душою адамантовою, с волею железною, с головою Мазепиной, с сердцем человеческим. Этот человек должен быть — ты!

Огневик не знал, что отвечать. Он смотрел в недоумении на Марию, которая, с разгоревшимися щеками, с пламенными глазами, дрожала и казалась в восторженном состоянии, подобно провозвещательнице или волшебнице, совершающей чары. Мария присела на сундуке возле Огневику и сказала:

— Слушай меня! В Малороссии не знают роду моего и племени. Я жидовка... — Огневик невольно подался назад. — Ужели ты не свободен от детских предрассудков? — спросила Мария, — неужели и ты веришь, что одно племя лучше создано Богом, нежели другое?

— Нет... не то... но я удивляюсь, находя в тебе необыкновенный ум... — возразил Огневик в замешательстве. Мария презрительно улыбнулась:

— Так — я жидовка! Отец мой был богатый банкир в Лемберге. Матери я лишилась в детстве. Противу обыкновения нашего народа, отец мой не хотел жениться в другой раз, чтоб не наделить меня мачехою. Он был ко мне страстно привязан. Находясь в непрерывных связях с значительными домами Германии и в Италии, отец мой принужден был часто путешествовать. Ему ненавистно было невежество и заслуженное унижение польских жидов. Будучи сам человеком образованным и начитанным, он вознамерился воспитать меня по образцу дочерей богатейших христианских банкиров. Меня окружили учителями и придали для надзора итальянку, женщину высокого образования, жившую некогда

в кругу вельмож. Отец мой хотел сделать меня способною вести банкирские дела, после его смерти, и назначил мне в женихи одного бедного голландского жида, также воспитанного по-европейски, обязав его условием, чтоб он был подчинен моей воле по управлению делами. С детства я приобрела навык говорить правильно почти на всех европейских языках, преодолев трудность произношения, отличающую наше поколение. Не находя удовольствия в обществе моих грубых соплеменниц и не довольствуясь даже обществом польских и иностранных женщин, слишком легкомысленных, я проводила время в чтении и в беседах с отличнейшими учеными, которых отец мой приглашал к себе, нарочно для меня. Уже мне минуло 18 лет, но я не только не хотела идти замуж, но даже видеть моего жениха. Голова моя и сердце были наполнены мыслями и чувствами, несогласными с моим назначением! Я мечтала о величии, о славе! В это время Мазепа прибыл в Лемберг и остановился в нашем доме. Он хотел видеть *чудо*, как тогда меня называли, увидел, поговорил и не мог расстаться. Вскоре между нами начались тайные беседы без ведома моего отца. Я находила удовольствие быть с ним. Он уж и тогда был немолод, но ум его, познания, любезность заставляли забывать его лета. Я не была никогда влюблена в него, но не могла противиться какой-то сверхъестественной силе, которою он оковал меня. Представив мне ничтожность моего настоящего и будущего существования, при моем уме и чувствах, Мазепа предложил мне бежать с ним, обещая на мне жениться. Мысль быть гетманшею меня соблазнила! Не стану распространять моего рассказа... одним словом, я согласилась оставить родительский дом, отречься от веры... Мазепа возвратился в Малороссию, а чрез месяц я бежала от отца и явилась в Батурин, к Мазепе, как заблудшая овца в волчье гнездо...

Из последствий ты догадываешься, что Мазепа обманул меня и сделал игрищем своего сладострастия... Между тем отец мой умер с горя, а родственники завладели моим имуществом, на которое я потеряла право, приняв христианскую веру. Оставшись бедною сиротою, без имени, без чести, я должна была выйти замуж за простого казака, для прикрытия моего бедственного положения. В душе моей пылала месть... Но я успела воздержать себя в надежде достичь со временем того, в чем однажды обманулась. Я вошла в связи с польскими жидками. Ты должен знать, Богдан, что миром управляет не сила, как думают не посвященные в тайнства политики, но хитрость, владеющая силою. Католиче-

скою Европою управляют жида, духовенство и женщины, то есть деньги, предрассудки и страсти. Сии пружины соединяются между собою невидимо в чудной машине, движущей мир! Я знаю склад ее, и в моих руках ключ. Сам Мазепа, мечтающий о власти... есть не что иное, как слабое орудие, приводимое в движение главными пружинами. Польские жида, ксензы и женщины вознамерились сделать его независимым владетелем Украины, для своих выгод. Мазепа уже согласился отложиться от России и присоединиться к Карлу. Ожидают только его приближения. Я все знаю, хотя гетман и скрывает передо мной умышляемую им измену. Тебе, Богдан, предстоит великий подвиг и великая слава, если захочешь исполнить мою волю. Ты умен, учен, смел и... *красавец*... Поезжай к царю московскому, открой ему измену Мазепы, которой я тебе дам доказательства, и предложи любимцам царским миллионы, кучи золота, если они уговорят царя сделать тебя гетманом. Я дам тебе деньги и письма к московским вельможам, с которыми нахожусь в связях. Ты не знаешь, что в самой России существует заговор противу царя. Русские бояре, оскорбленные предпочтением, оказываемым иностранцам, и величием любимцев Петра, вознесенным им из праха, соединились с духовенством, которое опасается лишиться церковных имуществ, потеряв уже всю прежнюю силу. Все фанатики, все раскольники, все приверженцы старины, полагающие спасение души и благо отечества в бороде и в покрое кафтана, только ждут знака, чтоб восстать противу нововведений. Они избрали сына царского, царевича Алексея, своим главою... Они боятся Мазепы и с радостью согласятся избрать в гетманы человека, им преданного. Главный заговорщик, Кикин: он в милости у царя и в дружбе с вельможами, его любимцами... Я с ним в связях... Итак, от тебя зависит освободить Палея, отмстить Мазепе и сделаться гетманом!..

Огневик едва верил слышанному. Он смотрел с удивлением на чудную женщину и не мог собраться с духом, чтоб отвечать ей.

— Вот что ты можешь сделать, Богдан! — продолжала Мария. — Но от тебя требуется одной жертвы...

Мысль о гетманстве, о мщении, об освобождении Палея и о возможности соединиться с Натальей, эта мысль как искра зажгла сердце Огневику. Он чувствовал в себе душевную крепость и способность удержаться на высоте, которая представлялась ему в таких блистательных надеждах.

— Говори, Мария! я ничего не уstraшусь!

— Здесь дело не в страхе. Я не сомневаюсь в твоём мужестве. Но ты должен пожертвовать детскою твоею любовью к Наталье и жениться на мне!

Огневик вскочил с места и, став перед Марией, бросил на нее суровый взгляд.

Мария внезапно побледнела, уста ее дрожали.

— Какой жертвы ты от меня требуешь! — сказал Огневик. — Неужели ты стерпишь, чтоб я принес тебе в супружество сердце без любви? Довольствуйся моею дружбою, благодарностью... Я буду чтить тебя как божество, любить как друга, повиноваться как благодетельнице...

— Этого для меня мало! — сказала Мария. — Будь моим и люби себе Наталью, люби из-за меня! Я победила силою ума предрассудки общежития, но не могу победить страсти моей к тебе, Богдан! Я люблю тебя, люблю со всем бешенством, со всем иступлением страсти: мучусь, терзаюсь с той самой минуты, как увидела тебя, и пока руки мои не окрепнут, прижимая тебя к сердцу моему, пока я не вопьюсь в тебя моими устами, пока не задохнусь дыханием твоим, до тех пор адское пламя, жгущее меня, не утихнет... Богдан, сжался надо мною.

Мария бросилась к ногам Огневику и дрожала всем телом.

— Успокойся, Мария! — сказал Огневик, подняв ее и посадив на прежнее место. — Время ли, место ли теперь говорить о любви, когда в душе моей яд и мрак!..

Мария, казалось, не слушала слов его:

— Ты любишь Наталью! — сказала она. — Какою любовью может она заплатить тебе за твою страсть? В жилах всех европейских женщин течет не кровь, а молоко, подслащенное изнеженностью. В моих жилах льется пламя, а чтоб согреть, смягчить душу богатырскую, расплавить в роскоши тело, вмещающее в себе сердце мужественное, нужно пламя адское, а не молочная теплота! Во мне кипит целый ад, Богдан; но чрез этот ад проходят в рай наслаждений!.. Будь моим на один день... ты не оставишь меня никогда... ты забудешь Наталью!.. — Краска снова выступила на лице Марии, глаза снова засверкали. Грудь ее сильно волновалась.

— Мария, ради Бога, успокойся! — сказал Огневик. — Я теперь в таком положении, что не в силах понимать речи твои, постигать твои чувства... Душа моя прильнула к целям друга моего и благодетеля, Палея, и холодна как железо... Доставь мне случай увидеться с ним хотя на минуту, умоляю

тебя! После... быть может, я буду в силах чувствовать и понимать что-нибудь...

Мария задумалась. Потом, взглянув быстро на Огневика, сказала:

— Ты увидишь его! Я ни в чем не могу отказать тебе. Пойдем сейчас! Но помни, что или ты должен быть *мой*, или *вместе* погибнем!

Огневик не отвечал ни слова. Мария встала, подошла к столику, вынула из ящика кинжал, заткнула за пояс, взяла небольшую скляночку и, показав ее Огневику, сказала с улыбкою:

— Это яд! — Скляночку она положила на грудь, за платье. Потом, накинув на плечи мантию, а на голову черное покрывало, примолвила:— Пойдем! Пусть товарищ твой подождет нас здесь.

Огневик, надев на себя кобеняк и опустив видлогу на голову, вышел за Марией и сказал Москаленку:

— Жди меня здесь, а если до рассвета я не возвращусь,— ступай в Белую Церковь! Там должна быть наша общая могила, под развалинами наших стен!

Мария и Огневик в безмолвии шли по улицам Бердичева. Огневик не спрашивал Марии, куда она ведет его. Он так поражен был всем, случившемся с ним в сие короткое время, что, погруженный в мысли, не обращал внимания на внешние предметы, и тогда только пришел в себя, когда они очутились у подъемного моста, ведущего в монастырь кармелитский.

По сую сторону рва, к мостовому столбу прикреплен был конец цепи с кольцом. Мария дернула за кольцо; внутри каменных ворот раздался звук колокольчика, и из небольшого круглого окошка высунулась голова.

— Кто там? — спросил сторож.

— Нам нужно немедленно видетсья с настоятелем монастыря,— сказала Мария.— Позови его!

— Подождите до утра; скоро настанет день,— возразил сторож.— Настоятель почивает по дневных трудах.

— Нам нельзя ждать ни минуты,— отвечала Мария,— дело важное, государственное, и ты отвечаешь головою, если промедлишь хотя одно мгновение!

— Итак, подождите!

Прошло около четверти часа в ожидании, и вдруг цепи заскрипели на колесах, и узкая перекладина, с перилами для пешеходов, опустилась. Калитка отворилась в воротах, и Мария с Огневиком вошли во внутренность крепости. Не-

сколько вооруженных шляхтичей сидели на скамьях, под воротами и спросонья поглядывали на вошедших. Придверник велел им следовать за собою. Взойдя на первый двор, они увидели на крыльце толстого высокого монаха, закрытого капюшоном. Страж подвел их к нему. Это был сам настоятель.

— Кто вы таковы и что за важное дело имеете сообщить мне? — сказал гневно монах, зевая и потягиваясь. — Говорите скорей, мне некогда... — Сильная зевота с ревом прекратила его речь.

Мария быстро взбежала на крыльцо, приблизилась к монаху и сказала ему на ухо:

— Здесь находится пленник Мазепы, Палей. Позвольте моему товарищу повидаться с ним и переговорить наедине, с четверть часа!..

Монах отступил на три шага, протер глаза и уставил их на Марию.

— Кто ты такова и как смеешь просить этого! В своем ли ты уме?

— Кто я такова, для вас это должно быть все равно, преподобный отче, — отвечала Мария, — а что я не сумасшедшая, это может засвидетельствовать вам Рифка...

При сем имени монах встрепенулся и как будто проснулся.

— Говори тише, окаянная женщина! — проворчал он. — Если Рифка изменила мне, черт с ней; я более не хочу знать ее, — примолвил настоятель. — Поди и скажи ей это. Я не смею никого допустить к Палею, без позволения гетмана. Ступай себе с Богом... — Монах хотел уйти. Мария остановила его за руку.

— Вы должны непременно исполнить мое желание, преподобный отче, если дорожите своею честью, местом и даже своим существованием, — сказала она тихо. — В моих руках находятся вещи, принесенные в дар монастырю Сапегю, которые вы подарили Рифке и объявили, что они украдены. Мне известно, что вы на деньги, определенные на подаяние неимущим, выстроили ей дом и содержите ее из доходов монастырских вотчин. Сверх этого, у меня в руках та бумага, которую вы подписали так неосторожно, в пылу страсти, за три года пред сим! Если вы не исполните моей просьбы, завтра же обвинительный акт с доказательствами будет послан к примасу королевства. При этом уведомляю вас для предосторожности, чтоб вы не погубили себя опрометчивостью, задумав покуситься на мою свободу, что все эти вещи и бумаги хранятся в третьих руках и что это третье лицо, не-

причастное нашей тайне, имеет приказание выслать бумаги к примасу, когда я не возвращусь через два часа. Пыткою же вы не выведаете от меня, у кого хранятся обвинительные акты, потому что вот яд, которым я в одно мгновение прекращу жизнь мою, если вы на что-либо покуситесь... Что бы вы ни затеяли, дело пойдет своим чередом...

— Дьявол меня попутал,— шептал монах, ломая руки,— и вот он является мне олицетворенный в том же образе, в котором соблазнил меня! Чувствую, что я заслужил это наказание! Меа culpa, mea culpa, mea maxima culpa! — проворчал монах, ударяя себя в грудь.— Слушай, ты демон или женщина! Скажи мне, за что Рифка изменила мне? За что предала меня? Нечистое племя Иуды, порождение демонское! Так, поистине только женоотречение может доставить счастье и спокойствие на земле! Будьте вы прокляты, женщины, изменническое отродие Евино, игралище змеиное!

Монах бесновался, а Мария улыбалась.

— Успокойся, преподобный отче,— сказала она.— Рифка не изменила и не изменит вам. Я нечаянно открыла эту тайну, которая сохранится навеки, потому что я одна знаю ее, и поклонюсь вам, что никому не открою и не употреблю в другой раз в свою пользу.

— Делать нечего, пусть исполнится твое желание! — сказал монах и, сошед с крыльца, дал знак рукою Огневику, чтоб он следовал за ним.— Останься здесь,— примолвил он, обращаясь к Марии, и пошел с Огневиком к церкви.

На паперти церкви, где стояла стража, монах велел Огневику сложить оружие, сказав, что это необходимое условие, и клянясь, что он не подвергнется никакой опасности. Огневик не противился и вошел в церковь безоружный.

Одна только лампада теплилась перед главным алтарем и бросала слабый свет на высокие своды и готические столпы. Монах провел Огневика между рядами лавок, за перила, отделяющие священнодействующих от молящихся в католических храмах, взял фонарь, стоявший у подножия жертвенника, зажег в нем свечу и велел Огневику поднять дверь в помосте, ведущую в подземный склеп, где хоронят знатных и богатых католиков за большую плату.

— Возьми этот фонарь и спустись по лестнице. Направо, в углу, ты найдешь того, кого желаешь видеть.

Вошед в подземелье, Огневик очутился посреди гробов, поставленных рядами, между которыми едва можно было пройти боком.

— Батько, где ты? — сказал Огневик громко.

— Здесь! — раздалось в углу. Огневик пошел на голос.

В крепком, новом дубовом гробе лежал несчастный Палей на спине, окованный крепко по рукам и по ногам. Крыша на гробе была отодвинута настолько, чтоб узник мог дышать свободно. Огневик, взглянув на Палея, не мог удержаться и в первый раз в жизни зарыдал. Поставив фонарь, он бросил крышу с гроба и прижался лицом к лицу своего благодетеля, орошая его своими горячими слезами.

— Ты плачешь! — сказал Палей. — Итак, ты не изменил мне!

— Неужели ты мог подумать это, мой благодетель, мой отец? — возразил Огневик, рыдая.

— Думал и верил, потому что ты меня довел до этого своими советами...

— Я был обманут, опутан, ослеплен любовью... — сказал Огневик, утирая слезы.

— Постой! — сказал Палей. — Если ты не причастен Мазепиным козням, то каким же образом ты попал сюда?

Огневик рассказал ему подробно все случившееся с ним от самого выезда из Бердичева.

— Что ж ты думаешь делать? — спросил Палей.

— Пойду к царю, брошусь ему в ноги, открою измену Мазепы и буду просить твоего освобождения.

— Мазепа не допустит, чтоб царь судил меня, — сказал Палей. — Он хочет потешиться над моим телом и замучить меня до смерти. Если ты мне верен и благодарен за мое добро, исполни сейчас волю мою и убей меня! Вот все, чего я требую от тебя, за мою любовь и попечения о тебе! Не дай злодеям ругаться над твоим батькою!

— Зачем ты хочешь лишать себя жизни? — возразил Огневик. — Мария знает все замыслы Мазепы и клянется, что он не смеет и даже не хочет покуситься на жизнь твою, а лишь только передадут тебя русским властям, то спасение твое верно. Царь любит правду, а я всем пожертвую, чтоб довести правду до ушей царских.

— Ничему не верю и ничего не надеюсь! Если ты верен мне и меня любишь — убей меня! — сказал Палей. — Неужели тебе не жалко смотреть на меня, лежащего заживо во гробе, во власти сатаны, и стоят ли несколько лет жизни, чтоб для них терпеть эти мучения!

— Если б я даже хотел исполнить твою волю, то у меня нет оружия, — сказал Огневик.

— А разве у тебя нет рук? — возразил Палей. — Заду-

ши меня, и всему конец! — При сих словах Палей силился протянуть шею.

— Нет, я не в силах выполнить это! — сказал Огневик отчаянным голосом. — Еще б я мог, отворотясь, пустить пулю, но наложить на тебя руки — никогда! Не могу!..

— Баба! — примолвил Палей. — Я задушил бы родного отца, весь род мой и племя, если б только этим можно было избавить их от позора и мучений. Задуши меня, или я прокляну тебя!

— Делай что хочешь, но я не подниму на тебя рук, и потому даже, что надеюсь видеть тебя скоро свободным, в славе и силе, а общего нашего врага в унижении и на плахе. Скрепи сердце, батенько, выдержи беду и живи для мести. Завтра повезут тебя в Киев, завтра я буду на пути к царю!

— Не хочешь убить меня, так убей тотчас Мазепу! — сказал Палей.

— Это тебе повредит. Тогда не будет надежды на твое освобождение. Злодей умрет мучеником, а всю вину свалят на тебя!

— Какая нужда! Убей сперва меня, потом Мазепу, и делу конец! — сказал Палей.

— Конец этого дела должен быть во славу твою и к стыду изверга Мазепы. Он должен пасть от руки палача, а не от моей! — отвечал Огневик.

— Бог с тобой: делай что хочешь и оставь меня в покое. Вижу, что в тебе не украинская кровь!

— Я несу в жертву жизнь мою за тебя и за Украину! — возразил Огневик.

— А не можешь отнять жизни у человека, который просит тебя об этом! Дитя! баба!

— Потому, что эта жизнь дорога мне и целой Украине...

— Довольно! Ступай с Богом, да смотри же, накажи деткам, чтоб они не поддавались в Белой Церкви! Кто молодец, тот умри на стене, а кому охота жить, ступай в Запорожье. Поклонись жене, скажи мое благословение детям... Поблагодари хлопцев за верную службу... Прощай!.. — Глаза Палея были красны, но он не мог пролить слез. Он только вздохнул. — Мне тяжело с тобой, Богдан! Сердце ноет... Ступай, куда Бог ведет тебя!

Огневик стал при гробе на колени и сказал:

— Благослови меня!

— Бог благословит тебя, дитя мое! — примолвил Палей. — Верю, что ты не изменил мне, и прощаю тебе неумышленную беду! Берегись баб! Вот видишь, к чему ведет ваша

глупая любовь! Прощай, Богдан, мне грустно смотреть на тебя! Можешь — освободи, а не можешь — отомсти!

— Клянусь! — сказал Огневик.

— Верю, — отвечал Палей.

Огневик еще раз расцеловал Палея и вышел из подземелья. Взяв на паперти свое оружие, он возвратился на то место, где ожидала его Мария. Монах отвел Марию на сторону и, взяв с нее клятву не открывать никому тайны, велел проводить их за ворота. Когда они перешли мост, Мария остановилась и, взяв Огневику за руку, спросила:

— Доволен ли ты мною?

Огневик пожал ей руку.

— Начинает светать, — сказал он. — Я боюсь остаться в городе. На день скроюсь в лесу, а ночью буду у тебя, Мария! Теперь пойду на свой постоялый двор, а ты пришли ко мне товарища!

— Доволен ли ты мною? — повторила Мария.

— Благодарен, как нельзя более! — отвечал он.

— Уверился ли ты в моей силе? — примолвила она.

— Это сила ада или неба! — сказал Огневик.

— Сила ума, — возразила она, улыбаясь. — Жду тебя в полночь с освобождением Палея, с казнью Мазепы и с гетманскою булавою для тебя! Прощай!

Они расстались.

ГЛАВА XII

Чрез горы проточил он воды,
На благах грады насадил
.....
Хранил примерный суд.

Державин

В то время, когда случились описываемые здесь происшествия, то есть незадолго до вторжения Карла XII в Украину, Петербург только что зарождался, и никакой ум, никакое воображение не могли тогда предвидеть его нынешней красоты и величия. Распространение города началось после Полтавской битвы, но до низложения шведского могущества Петр занимался более укреплением нового города, которого первое основание положено было на нынешней Петербургской стороне. Как бы волшебством возникла Петропавловская крепость, состоявшая тогда из одного кронверка, одного рavelина и шести болверков, с четырьмя во-

ротами. Вал был земляной, и только Меншиковский болверк начинали строить каменный. Внутри крепости все здания были деревянные. Соборная Петропавловская церковь, низкое крестообразное здание о трех шпилях, выкрашена была под мрамор. С одной стороны церкви построены были небольшие дома: оберкоменданта, генерал-поручика Романа Вилимовича Брюса, плац-майора полковника Чемезова, священников собора, цейхгауз, выкрашенный так же, как и церковь, под вид желтого мрамора, и большой караульный дом. Противу караульного дома находилась площадь, называемая *пьясовая*, на которой стояла деревянная остроспинная лошадь, а рядом с нею вкопан был столп, обнесенный палисадом. От верха столпа висела цепь. Провинившихся солдат и мастеровых сажали на сию лошадь или приковывали руками к цепи на некоторое время. По другую сторону церкви были провиантские магазины, гарнизонная канцелярия и главная аптека. Крепость прорезана была внутри каналом, в две с половиною сажени шириною. Сии первые строения были, так сказать, ядром новорождавшегося города.

Перед крепостью, за гласисом, стояла на том месте, где и ныне, деревянная церковь во имя Святыя Живоначальныя Троицы. Площадь и пристань назывались Троичкими. На берегу на пристани стоял, как и ныне, домик, в котором жил Петр Великий. Рядом выстроен был большой дом, называвшийся *Посольский*, в котором жил генерал-губернатор Петербургский, князь Меншиков, а по другую сторону находился знаменитый питейный дом (или австерия), пред которым производились все торжества и сожигались фейерверки и куда государь заходил с приближенными на рюмку водки, после обедни, в праздничные дни. По другую сторону стояли: деревянный гостиный двор и несколько частных домов, выстроенных в линию противу крепости. На другой стороне Невы находилось Адмиралтейство, обнесенное земляным валом, рвом и палисадами. Внутри Адмиралтейства были деревянные магазины и деревянная же башня со шпилем. Деревянная Исаакиевская церковь только что начала строиться, равно как и по Миллионной. Все как частные, так и казенные здания были или деревянные или мазанки (Fachwerk). На Васильевском острове были галерная верфь, укрепления, состоявшие под начальством капитана бомбардирской роты, Василия Дмитриевича Корчмина, и французская казенная слобода для приезжих иностранных мастеров. На безымянном острове, против нынеш-

него Екатерингофа, построен был загородный дом, или *подзорный дворец*. Место, назначенное под город, было вымерено, и главные улицы означены были небольшими каналами по обоим сторонам, или сваями, в некотором расстоянии одна от другой. В лесах сделаны просеки, из коих главная шла чрез густую березовую рощу в Московскую Ямскую слободу, населенную переселенцами из подмосковных ямщиков. Сия лесная дорога есть нынешний великолепный *Невский проспект*. При устье Фонтанки находилась старинная деревня Калинкина, а подалее на взморье деревня Матисова, населенные туземцами, ижорами, древними обитателями сего пустынного края. Несколько бревенчатых мостов на Фонтанке и на Мойке способствовали сообщению на Адмиралтейской стороне; но на Неве тогда мостов не было. Солдаты жили в слободах, построенных на Петербургской стороне, а матросы в нынешних Морских улицах, на Адмиралтейской стороне. Крестьяне, присылаемые по наряду на работу из соседних губерний, жили в шалашах, в лесах, в нынешней Литейной части. Они занимались рубкою лесов на просеках, очисткою болот, приготовлением кирпича, доставкой песка, извести, выжиганием угля. Частные люди строили дома наемными работниками. По линиям, где надлежало быть улицам, лежали костры досок, бревен и кучи песку. Везде рыли ямы и каналы для спуска воды. На обширном пространстве курились огни, при которых ночевали работники. Повсюду раздавались стук топоров, молотков, скрип и шипенье пил, ободрительные крики работающих, побудительные голоса начальников и заунывные звуки русских песен. Везде была деятельность, поспешность в труде, быстрота в движении, рачительность в исполнении, как будто невидимый дух повсюду присутствовал, за всем надзирал и поверял работу.

В прекрасное летнее утро стоял на берегу Невы, противу строившейся Исаакиевской церкви, запорожский казак и с любопытством смотрел на движущуюся картину деятельности проворного народа русского. Толпы рабочих, как муравьи, двигались в разных местах, поднимая и перевоза тяжести. Но чаще всего взор запорожца обращался на крепость и на домик царский, перед которым стоял расписанный и разукрашенный резьбою бот. В нескольких шагах от запорожца остановился старик с седою бородою, в русском летнем кафтане, в пуховой шляпе. Старик с удивлением осматривал, с головы до ног, запорожца, статного и красивого лицом, и любовался, как казалось, его нарядом. Наконец, как

будто не могли преодолеть свое любопытство, старик подошел к запорожцу, приподнял свою шляпу, поклонился и сказал:

— Видно, ваша милость прибыл сюда с царем из Польши и впервые видишь здешние чудеса?

— Правда, что я здесь в первый раз, и только со вчерашнего дня,— отвечал запорожец,— но я прибыл не с царем, а к царю.

— Так видно, какой мастер,— примолвил старик.— Наш царь-батюшка никакому гостю так не рад здесь, как мореходу да мастеру.

— Мое мастерство вот это,— сказал запорожец, ударив по своей сабле.

— И то хорошо, батюшка! — отвечал старик.— У всякого свой промысел!

— А когда можно увидеть царя? — спросил запорожец.

— Да он, батюшка, с утра до ночи, все на ногах. Не любит покоиться, кормилец! Ведь и сегодня со светом уже был на Васильевском острову, а теперь, видно, заехал домой, перекусить. А ты, чай, знаешь царя нашего?

— Никогда не видал!

— Уж этакое царя не бывало, да и не будет, не только на Руси, да и на целом белом свете,— примолвил старик.— Ростом великан, силой богатырь, лицом красавец, а умом так всех и бояр, и князей, и владык за пояс заткнет. Все, вишь, знает, все умеет и во всяком мастерстве и в книжном деле искусен, только, как говорят, не умеет лаптей плести¹. Уж я отжил мой век, а об таком царе и в сказках не слыхивал! Бывало, наши цари сидели себе, сердечные, в теплых хоромах, молились Богу да кушали хлеб-соль, на здоровье с князьями да боярами, которые судили и рядили в народе, как сами хотели. А ныне так не только что везде царское око и царское ухо, да и рука-то его повсюду с мечом, с топором и с молотом. В суде он первый судья, на войне первый воин, во всяком ремесле первый мастер, когда б не...— старик остановился.

— Когда б не — что? — спросил запорожец.

Старик посмотрел исподлобья на него и сказал, понизив голос:

— Да ведь ты сам, отец родной, короткокафтанник и безбородый!

¹ Предание, до сих пор сохранившееся в простом народе, что Петр Великий умел все делать, только не умел лаптей плести.

— Понимаю! — примолвил запорожец. — Русским не нравится то, что царь не любит бород и русского кафтана.

— И вестимо, батюшка! — сказал старик. — Ведь деды наши и отцы носили бороды и жили не хуже других, да и святых-то угодников Божьих пишут с бородами...

— Святость не в бороде, дедушка! — возразил запорожец. — Пишут святых так, как они были в жизни, но мы должны подражать им не в одежде и в стрижке и бритье волос и бороды, а в делах. Нарядись беззаконник как угодно, он все-таки проклят, а праведный муж благословен во всякой одежде.

— Ото так! — сказал старик. — Да вишь, народ, одевшись в кургузое платье и обрив бороду, так и льнет к немцам, а от них далеко ли до расколу, да до антихриста папы. Господи, воля твоя! — примолвил старик, крестясь и тяжело вздыхая. — Уж чего наши бояре не переняли у немцев! Пьют дьявольское зелье, табачище, заставляют своих жен плясать с нехристями всенародно; едят всякую нечисть, и раков, и телят, и зайцев, и Бог знает что. А язык-то наш так исковеркали, что иное слушаешь от русского, да не понимаешь. Да то ли это! Ведь эти поганые немцы мало того, что опутали царя, да еще и подговорили его женить православного царевича Алексея Петровича на своей обливанке¹. Слышно, наплакался, бедненький! Этот — дай Бог ему здоровье — так тянет все за стариной и куды как не любит немцев и всякой их новизны. За то и народ и священство так и прильнули к нему душой...

Вдруг словоохотливый старик замолчал, как бы испугавшись, что высказал лишнее перед незнакомым человеком.

— Не бойся говорить правду, стариனுшка, — сказал запорожец. — У нас, на Украине, так же, как и на Руси, не любят немцев и всяких иноверцев, а до сих пор, слава Богу, у нас нет ни одного.

— У нас, батюшка, так они всем завладели, — отвечал старик. — И войско-то они водят, и кораблями правят, и всякими мастерствами заведывают. Нечего сказать, есть меж ними люди добрые и смирные и знают свое дело... да все-таки, что немец, то не русской, что нехристь, то не православный.

— Уж что говорить! Куда им равняться с нами? «Далеко кулику до Петрова дня!» — возразил запорожец.

¹ Так в старину русские называли всех христиан, которых при крещении не погружают в воду, а только обливают водою.

— А царь-то их, вишь, вельми жалует! — сказал старик. — Сказывают, что от них все тяжкое и горькое, и ко-
рабельщина, и поголовщина, и дороги, и каналы, и война-то,
которой и конца не видно, и гоненье на стрельцов и старо-
обрядцев¹. Слышно, что и город-то строить на этом чухон-
ском болоте затеяли они же, чтоб быть поближе к своим,
да подальше от коренной Руси. А уж эта постройка города,
чего будет стоить, Господи! Ведь что копнешь заступом в зем-
лю, так бездонный провал! А кругом пустошь пустошью, и
кроме мухоморов, думаю, ничто здесь не созреет. Но ведь цар-
ская воля-то словно Божье слово, а наш царь чего захочет, то
и будет. Недавно забушевало под ним Ладожское озеро, так
он как велел высечь его порядочно батогами, ан на другой раз
и пошелохнуться не смело перед ним². Уж за то люблю царя,
дай Бог ему здоровья, что у нас для всех равны суд и расправа.
Будь крестьянин, будь князь, провинился, так уж не потакнет
ради роду и племени. Для верного же и усердного слуги, будь
он простой плотник или солдат, всякая честь и награда...
Вот, недалече поискать... Посмотри-ка на князя Меншикова.
Ныне первый боярин из крестьянских детей. Вот что дело, то
дело! Ведь коли сам царь служит и работает, так и всем должно...
Да вот и он сам, наш батюшка! Вот сел в свой бот, с кем
бишь, издали-то не видно... Видно, едет в Миратейство (Ад-
миралтейство). Он еще не был здесь сегодня.

— А можно ли мне пойти туда, посмотреть сблизка на ца-
ря? — спросил запорожец.

— А почему ж нет! К нему, батюшке, доступ волен каж-
дому, во всякое время и в каждую пору! Я сам проведу
тебя. Я подрядчик казенный, и мои люди работают там.

Старик с запорожцем вошли в Адмиралтейство. Старик
пошел к своим работникам, а запорожец стал за большим ко-
стром бревен. Ботик приближался к берегу, и запорожец, по-
дозвав к себе старика, спросил:

— Скажи, старинушка, который из них государь и кто
таковы господа с ним?

— Царь сидит на руле, а на скамьях комендант кре-
пости, Брюс, да вице-адмирал Крюйс, люди добрые, хоть из
немцев. А вот этот молодец, денщик государя, Румянцев.

Бот пристал к берегу, и государь, проворно выскочив,
пошел к новостроящейся бригадине. Он превышал голову

¹ Современное мнение народное, ложное во всех отношениях, как
всякий вымысел невежества. Без иностранцев Петр не мог бы успеть в ве-
ликом деле преобразования России. О сем сказано будет ниже.

² Предание, до сих пор сохранившееся.

всех бывших в Адмиралтействе людей. На нем был светло-зеленый, длиннополый мундир с красным откидным воротником и с красными обшлагами, камзол и исподнее платье из простого раventуха и козловые сапоги за колено. Подпоясан он был по камзолу лосиною портупеей, на которой висел, при бедре, кортик. Голова покрыта была небольшою треугольною шляпой. Черные волосы его висели по воротнику, небольшие усики придавали выразительность полному, смуглому его лицу, а глаза горели как алмазы. Он и имел в руках трость, знаменитую *дубинку*, которая перещупала хребет всех нерадивых, всех злоупотребителей сего славного царствования.

Поздоровавшись с работниками, Петр Великий взобрался на новостроящуюся бригадину, обошел повсюду от кия до шканцев и, спустившись на землю, пошел к другому стапелю. Перед ним несколько работников силилось поднять бревно из костра. Петр подошел к ним, закричал: «Посторонись!» — и когда работники опустили бревно, Петр уперся в него плечом, двинул, и тяжелое дерево слетело на землю как перышко. Государь улыбнулся и пошел далее.

— По-каковски ты рубишь, неуч? — сказал государь плотнику, выхватив у него из рук топор и бросив на землю свою дубинку. — Топор держи плашмя к брусу, да не размахивайся, а надрубай бережно. Вот так! — Петр стал сам тесать бревно, приговаривая: — Ведь это дорогой товар — дуб, испортить его легко в минуту, а пока он вырастет, надобно ждать веки! Гей, мастер!

Работники стали кликать корабельного мастера, который немедленно предстал пред государем.

— Не изволишь беречь лесу и не умеешь выбирать работников, — сказал ему государь. — Неужели у тебя нет лучших плотников для такой работы?

— Откуда взять, государь! — сказал мастер. — Рад-радехонек, когда найдешь человека, который смыслит поболее, как рубить дрова! Ведь у нас столько работы, государь, что и в Голландии не нашли бы довольное число хороших плотников...

— Учи, надсматривай! — возразил государь.

— Ведь не много таких переимчивых, как сардамский плотник, а что смотреть — то смотрю в оба, да за всеми не углядишь.

— Ну, ладно, кум! — сказал государь. — У тебя на все готов ответ, а вот господин вице-адмирал говорит, что шхуна нашей работы тяжела на ходу и берет много воды.

— Ведь вы сами изволили сделать чертеж, государь, чтоб попробовать. Я также предвидел, что дело не пойдет на лад...

— Предвидел! — сказал государь грозно, стукнув дубинкою в землю и посмотрев гневно на мастера. — Ты предвидел, что дело не удастся — и не сказал мне ни слова!

— Я не смел... Я боялся огорчить вас, государь!

— Ты не смел, ты боялся огорчить меня! — примолвил государь. — Разве я огорчаюсь правдою? Разве ты не знаешь, что я благодарен, когда мне поправят мою ошибку, когда научат меня, чего я не знал, покажут, чего недосмотрел? Не сто раз повторял я вам всем, и генералам моим, и сенаторам, и мастерам: говорите мне правду смело и открыто. Я более ничего от вас не требую, как правды и рачения к должности. Гневаюсь я и наказываю за ложь и за обман, а не сержусь, хотя бы кто говорил и вздор от чистого сердца и с добрым намерением. Никак не могу управиться с моими людьми! — примолвил он, обращаясь к генералу Брюсу и вице-адмиралу Крюксу, — никак не могу вбить в голову, что они служат не для моей потехи, а для пользы общей нашей матери, России. Не могу уверить их, что я для себя лично ничего не хочу, ничего не требую от них, кроме исполнения моей воли, которая имеет одну цель, благо отечества, а потому советников моих и помощников я избираю для того только, чтоб они говорили мне правду, по крайнему своему разумению! Дал бы мне Бог поболее таких людей, как князь Долгорукий! Вот этот так понял меня! Слушай, кум, — примолвил государь, обращаясь к мастеру, — на этот раз я тебя прощаю, веря, что ты молчал правду от глупости, а если в другой раз услышишь, что я приказываю тебе что-либо такое, в чем ты не видишь пользы, а ты не скажешь мне, что думаешь, то вот эта дубинка погуляет по твоей спине! Надеюсь, что ты за это сделаешь мне славную бригадину!

Мастер бросился в ноги государю.

— Встань! Я терпеть не могу этого. Кланяйся Богу, а перед царем стой прямо, смотри в глаза, говори правду и делай честно свое дело. — Государь отвернулся и пошел в магазины, где лежало железо.

Старик подошел к запорожцу и сказал ему:

— Коли тебе нужда до царя, так ступай за ним.

— Нет, теперь еще не пора, — отвечал запорожец. — Мне только хотелось увидеть его, а между тем я в одно время и увидел и узнал его коротко. Великий муж! Государь, который любит истину и помышляет единственно о благе отечества, есть образ Бога на земле. Надеюсь на его правосудие!

— Не угодно ли вашей милости пожаловать ко мне откушать моего хлеба-соли? — сказал старик. — Ты здесь чужой.

— Спасибо, старинушка! С радостью принимаю твое приглашение, а после попрошу, чтоб ты проводил меня к боярину Кикину.

— Изволь! Ну пойдем ко мне.

Они вышли из Адмиралтейства, и старик повел его в свой дом в Морскую слободу, возле новостроящейся церкви Исаакия Далматского.

В короткое правление царей Михаила Федоровича и Алексея Михайловича, во время слабого, колеблющегося троецарствия Иоанна, Федора и Петра Алексеевичей и в пронирыливое, козностроительное управление царевны Софьи Алексеевны власть бояр, их самоуправство, своенравие и безнаказанность достигли высочайшей степени. Хотя они не смели явно противиться воле царской, но если она не согласовалась с их выгодами или честолюбием, они умели отклонять исполнение, под различными предлогами, и самую волю царя избуздывали кознями. Любимцы двора делали, что хотели, а правители областей и городов угнетали народ беспощадно. Партии боролись между собою у двора, чтоб доставить себе власть и ввергнуть в опалу противников. Для честолюбивцев и корыстолюбцев, за пожертвование совестью, открыты были неисчерпаемые рудники богатства и почестей. Вдруг появился герой на престоле, единственный Петр, которого не знали и не постигали до тех пор, пока он не достиг единодержавия. Железною рукою взяв опущенные бразды правления, он удержал своеволие, разогнал козни, усмирив буйные страсти и все подчинил своей воле, непреложной как судьба. Сея твердою волею своею, как архимедовым рычагом, Петр выдвинул царство из тины невежества и варварства, выкатил его на солнце просвещения и помчал по тернистому пути образованности. С первого шагу Петр поставил себя в противумыслие с целым своим народом. Каждая мера его, каждое начинание и учреждение явно разногласили с нравами, обычаями, образом мыслей, понятиями, чувствованиями и предрассудками всех сословий тогдашнего русского народа. Петру невозможно было починивать и перестраивать. Ему надлежало сломить, разрушить до основания ветхое государственное здание, погresti под развалинами оног старинные предрассудки и из обломков создать новое, по европейскому образцу. Так он и сделал, преодолев препятствия и понеся труды, которые показались бы баснословными, ежели бы не были так близки к нам. Но ежели в стра-

нах просвещенных и благоустроенных каждое нововведение, имеющее целью народное благо, находит сильных противников в людях, тучнеющих от злоупотреблений и закоренелых предрассудков, тем более Петр должен был найти недовольных между русскими боярами и закоснелым в невежестве мелким дворянством, с которых он стряхнул лень, и, обуздывая их пороки, заставил действовать противу их воли на пользу отечества, оскорбляя притом их самолюбие возведением на высокие степени людей с дарованиями и с усердием, без оглядки на родство и связи. Особенно вооружало противу Петра всех русских и даже преданных ему людей предпочтение, оказываемое им чужестранцам, хотя многие чувствовали, что без их помощи государь не мог начать, а тем более совершить великого дела преобразования России. Но характерная черта русского народа есть уверенность в превосходстве своем перед иностранцами. Уверенность сия и ныне даже не может назваться справедливою, ибо дарование не есть привилегия одного племени, а в то время сия самонадеянность русских на собственные силы была столь же ложною, как и вредною, ибо большая часть вещей, о которых русские не имели никакого понятия, была на высокой степени совершенства у других народов. Суеверие называло каждого неправославного нехристом или *обливанцем*, а потому невеждам казалось делом богопротивным подчинять православных под их начальство. Приближенных государя оскорбляла необыкновенная вольность иностранцев в обхождении с ним и его чрезвычайная к ним снисходительность. Словом, все вымышляли и находили причины быть недовольными великим мужем, боготворимым потомством и уважаемым всем человечеством. Такова участь истинного величия души и гения! Горести, труды, неблагодарность и клевета в жизни — за гробом бессмертная слава. Не многие из русских тогдашнего времени понимали Петра, но героев везде и всегда не много, а избранные им сподвижники в точном смысле слова были герои. Великий Петр пользовался умом каждого и чтит его, но доверял только уму, соединенному с праводушием. А потому-то умный Александр Кикин, казначей государев и член Адмиралтейства, хотя пользовался милостью царя, но не мог возбудить в нем доверенности, следовательно, не мог достигнуть тех степеней в государстве, как Меньшиков, Шереметев, Апраксин, Головин, Головкин, Долгорукий и другие.

Кикин хотя умом оправдывал все начинания Петра, но, мучимый завистью и честолюбием, скрытно держался стороны недовольных, которые в невежестве и фанатизме своем

вопияли противу каждого нововведения и называли их беззакониями, смертными грехами, дьявольским наваждением. Слабодушный и слабоумный царевич Алексей Петрович уловлен был в сети фанатиками и безумными приверженцами грубой старины, а умные честолюбцы, в том числе и Кикин, тайно ободряли их ревность, надеясь со временем овладеть царевичем и управлять Россией, под его именем. Жизнь Петра почти ежедневно висела, так сказать, на волоске, потому что он не щадил ее ни в боях, ни в трудах, едва не превышающих силы человеческие. Все знали отвращение царевича Алексея Петровича от нововведений и его связи со всеми противниками нового порядка вещей, и все были уверены, что если царевич Алексей вступит на престол, то любимцы и сподвижники Петра должны погибнуть вместе с возникающим преобразованием России. Умные и добросовестные люди страшились сей минуты: фанатики, невежды и обманувшиеся в надеждах честолюбцы с нетерпением ждали ее, как начала своего благополучия. Между тем, пока Петр жил и действовал, козни устраивались во мраке, порождались злые замыслы и клеветы, и при помощи суеверия поставляли Петру препятствия и отвращали от него сердца народа. Главными действующими пружинами зла были епископ Ростовский, Досифей, владевший душою царевича Алексея, и генерал-майор Степан Богданович Глебов, господствовавший над сердцем его матери, Евдокии Федоровны, постриженной в старицы, под именем Елены, и находившейся в Суздальском Покровском монастыре. Вокруг их увивались толпы беспокойных, недовольных кознейлюбцев.

Александр Кикин строил в сие время новые палаты, на набережной Невы, противу крепости, а сам жил в небольшом доме, на дворе. Вечером, когда работники распущены были с казенных и частных работ, старик повел запорожца к дому Кикина и, указав оный, удалился, сказав:

— Держи ухо остро, брат казак! Этот боярин любит ловить рыбу в мутной воде...

Запорожец постучал у дверей, и его ввел в светлицу дьяк. Кикин сидел возле стола, за бумагами. Он оборотился, бросил пронизательный взор на запорожца, осмотрел его с головы до ног и сказал хладнокровно:

— Откуда и с чем?

— Мне нужно переговорить наедине с вашею милостью о важном деле,— отвечал запорожец, поклонясь в пояс.

— Подожди в сенях,— отвечал Кикин, подозвал дьяка и стал заниматься бумагами. Запорожец ждал около часа,

наконец Кикин выпроводил дьяка на крыльцо, подождал, пока он не скрылся из виду, и, воротясь в сени, велел запорожцу следовать за собою в избу. Сев на прежнее место, Кикин устремил глаза на запорожца и сказал:

— Ну-тка, посмотрим, чего ты от меня хочешь?

— Я приехал к тебе с поклоном из Малороссии, от Марьи Ивановны Ломтиковской,— сказал запорожец.

Кикин улыбнулся и спросил:

— Что она нового затеяла?

— Она открыла мне положение здешних дел,— сказал запорожец,— и приказала сказать вам, что если царевичу нужна помощь в Малороссии и Украине, то он теперь имеет случай приобрести все сердца, исходатайствовав у царя, чрез друзей своих, прощение полковнику Палею и выпросить позволение возвратиться ему восвоюси. Вашей милости, вероятно, известно, какою любовью пользуется у народа Палей и как ненавидим Мазепа, который теперь замышляет измену противу России, что всем известно на Украине, хотя и не может быть доказано бумагами. Если б друзьям царевича удалось поставить Палея в гетманы и низложить коварного Мазепу, сто тысяч воинов ополчились бы по слову царевича и весь войсковой скарб поступил бы в его распоряжение...

— Все это насаждала тебе эта баба! — возразил Кикин с лукавою улыбкой.— Легко сказка сказывается, да не легко дело делается. Царь, брат, не таков, как вы об нем думаете! Его не проведут ни сто Мазеп, ни двести Палеев! Все вы, братцы, малороссияне, хотя люди храбрые и умные, но превеликие ябедники! Хотелось вам свернуть шею Мазепе, а вы же укрепили его на гетманском месте вашими недоказанными доносами, вашим пустым ябедничеством. Палей сослан в Сибирь, за послушание царской воле и в угодность Мазепе, которого царь теперь ласкает, потому что имеет в нем нужду. Да, впрочем, он и заслужил милость царскую двадцатилетнею верною службой. По пустым просьбам царь не простит Палея и не захочет огорчить Мазепу. Это дело конченное: поезжай с этим к Марье Ивановне да скажи ей от меня, что с этой поры, как она изволила наболтать тебе всякого вздору о царевиче и обо мне, да еще осмелилась подсылать ко мне неизвестного мне человека, я больше не хочу ее знать, а если она еще вздумает подсылать ко мне, то я скручу в бараний рог ее посланца да и отдам царю, как изменника. Благодарю Бога, что ты как-то мне приглянулся и что я отпускаю тебя цела и невредима. Но чтоб сей же ночи тебя не было в Петербурге! Прощай! С Богом!

Кикин отвернулся, и Огневик (ибо это был он) вышел, не сказав ни слова, огорченный своею неудачею. Возвращаясь на постоянный двор, в Московской Ямской, где он остановился, Огневик стал рассуждать о своем предприятии и почувствовал все свое неблагоразумие, что обратился к человеку, в котором он не был уверен. Услышав мельком от Марьи о существующем заговоре и удержав в памяти имена царевича Алексея Петровича и казначея Кикина, Огневик сперва верил, что, намекнув сему последнему об их тайне, он будет принят заговорщиками, как и их соучастник, и найдет у них покровительство. Теперь он удостоверился, что поступил легкомысленно, не взяв от Марии писем к заговорщикам и доказательств измены Мазепиной. Но вспомнив присем, какой жертвы требовала от него сия иступленная женщина, Огневик наконец успокоил себя мыслию, что ему иначе нельзя было поступить, как отвесть счастья, без содействия Марии, с которой он страшился войти в тесную дружбу. Огневик внутренно устыдился, вспомнив, что с самого выезда своего из Бердичева он впервые стал размышлять о подробностях своего предприятия и что, следуя долгу своему и совести, повелевающим ему забыть все, устремиться на помощь своему благодетелю, Палею, он действовал почти машинально, а внутренно занят был Натальей и только об ней одной думал во всю дорогу, только ей одной посвящал ощущения души своей. Будучи обречен Мазепою в жертву его мщения, Огневик не мог показаться в Малороссии и в Русской Украине, следовательно, не имел никакой надежды свидеться с Натальей, а тем менее похитить ее из Батурина. Все его благополучие зависело от освобождения Палея, и, не надеясь более найти подпору в русских боярах, притом не зная никого, он решился написать челобитную от имени украинского народа и подать ее лично царю.

Спросив бумаги и чернил у хозяина, Огневик заперся в своей светлице и занялся сочинением челобитной. Он изобразил яркими красками заслуги и подвиги Палея в его беспрерывной войне с татарами и поляками, врагами России; представил, что Палей со своею вольницею составлял как бы оплот России в тех странах и своим влиянием на умы удерживал в повиновении царю запорожцев, привлек гетмана польской Украины, Самуся, на русскую сторону и заставлял гетмана Малороссии быть невольным верным царю, хотя во всем том крае известны сношения его с Польшей и ненависть к России. В неисполнении Палеем царской воли он оправдывал его тем, что Палей хотел только рассчитаться с польскими

панамы во взаимном ущербе и после того возвратить им занятые поместья, и наконец, убеждал царя не верить доносу Мазепы, который ненавидит Палея и желает его гибели для того только, что во время его пребывания на Украине Мазепе невозможно вовлечь народ в измену противу царя. Употребив все школьное свое красноречие и всю силу своего чувства при составлении сей челобитной, Огневик, не раздеваясь, лег отдыхать, намереваясь со светом идти к царскому дому и подать ему оную при выходе царя. Огневик проспал долее, нежели предполагал, и когда проснулся, солнце уже было высоко. Он нанял у хозяина лошадь с телегой и поехал к старику, подрядчику, с которым познакомился накануне. Старик уже возвратился из Адмиралтейства к завтраку и сказал ему, что государь был там с какими-то новоприбывшими немцами, показывал им работы и остался весьма доволен. Огневик открылся старику, что намерен подать государю челобитную.

— Смотри, будь осторожен,— сказал старик,— здесь объявлен всенародно указ государев, чтоб никто не осмеливался подавать ему челобитень, кроме как по делам государственным и на несправедливость судей. По всем прочим делам повелено подавать жалобы в Приказы, куда какая следует. Государь не любит, чтоб преступали его волю, и издал указ, в коем прописано, чтоб никто не отговаривался незнанием законов.

— Я жалуюсь на несправедливость судей! — возразил Огневик.

— Делай что хочешь,— примолвил старик,— мое дело сторона, а ты человек грамотный и знаешь более нас. Теперь государь дома; ступай на ту сторону и дождись, пока он выйдет.

Огневик изготовил также письмо к Наталье, в котором уведомлял ее обо всем случившемся и извещал, что он решился пожертвовать собою, для избавления своего благодетеля. Он увольнял ее от данного ею обета, если его постигнет несчастие, смерть или ссылка, и просил только об одном — вспоминать иногда об нем. Письмо сие надписано было русскому священнику в Виннице, приятелю его.

— Ты обласкал меня, сироту, на чужой стороне,— сказал Огневик старику, пожимая его руку,— доверши доброе дело, и если я не ворочусь к тебе сегодня вечером, постарайся переслать это письмо.

— Будь уверен, что желанье твое исполнится,— отвечал старик.— У меня много знакомых между слугами царски-

ми, и я отошлю письмо с первым гонцом на Украину.

Огневик обнял старика, простился с ним, отпустил телегу и пошел к перевозу. Переехав через Неву, он остановился возле Троицкого питейного дома, чтоб расспросить о государе. Ему сказали, что государь с денщиком своим, Румянцевым, пошел гулять и осматривать строящиеся частные дома в новой улице, которая шла от Троицкой церкви до острова, называемого Каменный. Огневику указали путь, и он пошел отыскивать государя. Пройдя несколько десятков сажен, Огневик увидел толпу народа возле небольшого красивого домика. Он поспешил туда и вмешался в толпу. Государь с гневным лицом, с пылающими взорами держал за ворот толстого, дюжего, красноногого подъячего, который, стоя пред ним на коленях, трепетал всем телом и восклицал:

— Виноват, согрешил, грешный! Попутал лукавый!

Между тем государь, приговаривая:

— Не воруй, не плутуй, не обманывай православных! — отсчитывал ему полновесные удары по спине своею дубинкою.

Огневик спросил одного порядочно одетого человека, что это значит и за что государь изволил прогневаться.

— Я сам был в гостях у именинника, вот у этого секретаря Удельной конторы, который теперь ежится под благословенною царскою дубинкою, — отвечал порядочно одетый человек. — Государь изволил в прошлом году крестить у него сына и своеручно пожаловал рубль родильнице. Теперь, проходя мимо и увидев, чрез окно, толпу народа в горнице, государь зашел к куму, который упросил его выкушать рюмку водки и закусить пирогом. Хозяйка, вся в жемчугах и в шелку, вынесла на серебряном подносе штоф любимой государевой гданской золотой водки, а хозяин поднес пирог на серебряном блюде. Государь помолился Богу, выкушал, поблагодарил хозяев и стал осматривать дом, небольшой, да туго набитый всяким добром. Стены как жар горят от позолоченных окладов; в шкафе, от полу до потолка, битком набито серебряной посуды; скатерти на столе голландские, ковры на полу персидские, занавесы у кровати шелковые, с золотом, словом, у другого князя нет того, что у нашего приятеля. Осмотрев все, государь обратился к хозяину и сказал:

— Я у тебя не видал этого добра в прошлом году на крестинах?

Хозяин смешался и отвечал:

— Вещи еще не были привезены из Москвы...

— А много ли за тобой родового имения? — спросил государь.

— Покойный отец не оставил мне ничего, кроме своего благословения и наказа служить верой и правдою царю-батюшке.

— Видно, ты, куманек, не дослушал наказа твоего отца, — примолвил государь. — А за женой много ли взял? — спросил царь.

— Не смею лгать: ничего, — отвечал секретарь.

— Откуда же привалила к тебе такая благодать? — сказал государь, смеясь и посматривая на нас. — Ни у адмиралов, ни у генералов моих нет столько всякого добра, как у тебя, куманек, а кроме Данилыча¹, никто не потчевает меня такою водкой. Сколько ты получаешь жалованья в год?

— Семьдесят три рубля двадцать две копейки с деньгой! — отвечал секретарь.

Мы все закусили губы.

— Так из каких же доходов ты накопил столько богатства?

— Трудовая копейка, ваше царское величество! Работаю день и ночь, чтоб поспешать окончанием дел; так дворяне, имеющие дела в Приказе, дарят меня за труды.

— А знаешь ли ты указ о лихоимстве?

— Православный государь, — сказал смело секретарь, — Я не продаю правосудия, не беру взятки с правого и виноватого и потому невинен в лихоимстве, а признаюсь чисто-сердечно, грешен во *мздоимстве*, получая плату от просителей, сверх твоего царского жалованья.

— Итак, за искренность твою и за то, что не признаешь себя по совести виноватым в лихоимстве, я тебя не отрешу, на этот раз, от места, куманек, а только дам отеческое наставление и напому, что я плачу и награждаю чинами за то, чтоб все чиновники работали *безвозмездно* для моих подданных. Не можешь жить жалованьем, не служи, а пили дрова, коли чего лучшего не умеешь, но не криви душой противу присяги. Это до всех вас касается, господа! — сказал царь, оборотясь к нам, и, взяв за ворот хозяина, примолвил: — Пойдем-ка со мною на улицу, чтобы не мешать празднику. — Вот теперь он дает отеческое наставление своему куманьку!

Пока незнакомец рассказывал Огневику, государь перестал бить секретаря и, велел ему встать, сказал:

¹ Князя Александра Даниловича Меншикова, которого Петр Великий всегда называл *Данилычем*.

— Ступай-ка с Богом докушать своего пирога и допить штофик, да не забудь на радость, в день твоего ангела, при-
слать сто рублей в Морскую госпиталь. Когда деньги не бу-
дут доставлены к вечеру, я завтра опять заверну к тебе с
отеческим наставлением. — Государь с улыбкой показал свою
дубинку секретарю, который отряхивал и поворачивал пле-
чами, охая и утирая пот с лица.

Государь пошел к своему дому, а в толпе народа разда-
вался хохот и восклицания: «Спасибо царю-батюшке, что он
бережет нас от этих волков! Когда б то почаще эта дубинка
плясала по спине приказных!» и т. п.

Огневик последовал за государем. На крыльце дома го-
сударева дожидались его с бумагами: граф Гаврило Иванович
Головкин, барон Петр Павлович Шафиров и Александр Ки-
кин. Лишь только царь хотел войти в дом, Огневик громко
сказал:

— Православный государь! благоволи выслушать!

Кикин побледнел как полотно, узнав запорожца.

Петр обернулся и, кажется, удивился, увидев казака в за-
порожской одежде.

— Кто ты таков? — спросил он.

— Бумага эта все скажет вашему царскому величеству, —
отвечал Огневик, представляя челобитную.

— Разве ты не знаешь, что я запретил мне подавать жа-
лобы? — сказал государь гневно.

— Ты позволил, государь, жаловаться на несправедли-
вость судей, и я жалуюсь на *тебя* — *тебе*, правосудному госу-
дарю!

Государь посмотрел пристально в лицо Огневику и, взяв
от него бумагу, сказал:

— Хорошо, посмотрим, в чем ты меня обвиняешь!

По мере, как он читал бумагу, брови его хмурились и чер-
ты лица принимали грозный вид. Окончив чтение, царь отдал
бумагу Головкину и, обратясь к Огневику, сказал:

— Ты клеплешь на меня! Палей сослан в Сибирь по суду
и следствию, за ослушание моей воле, за неповиновение на-
чальству и за самовольные набеги на имения моих польских
союзников. Следствие произведено гетманом, а суд произне-
сен военною коллегиею. Ваши малороссийские ссоры и доносы
друг на друга надоели мне. Я требую чинопочитания и по-
слушания и не терплю никакого самоуправства. Палей хотя
и был человек храбрый, но его дерзость и неповиновение
достойны казни, а пример законной строгости должен быть
над старшим, а не над младшим. Гетман писал ко мне и об

тебе, голубчик! Знаю я, что ты за птица! Следовало бы мне и тебя сослать туда же, куда я припрятал Палея; но, снисходя к твоей молодости, я не хочу наказывать тебя, а помилую, в надежде, что ты на моем флоте заслужишь мою милость. Кикин! отошли этого человека к господину вице-адмиралу Крюису, чтоб он написал его в матросы, в гребной флот!

— Государы! — воскликнул Огневик. — Мазепа тебя обманывает...

— Молчать! — сказал грозно государь, подняв палку. — Мазепа двадцать лет служит мне верно и нелицемерно, и сотни ваших доносов не могли уличить его ни в одной злой мысли противу меня! Какая будет награда за верную службу, если я по каждому злобному доносу стану обижать испытанных слуг моих подозрениями и следствиями? Знай, молодой сорванец, что надобно много заслуги и много доводов верности, чтоб заставить царя верить себе на слово!

Между тем Кикин приказал караульным взять Огневику и отправить в Адмиралтейство.

— Служи честно, дерись храбро, живи тихо, а я не забуду об тебе, — сказал царь Огневику. — Помни, что за Богом молитва, а за царем служба не пропадет.

Огневик, видя, что дальнейшее его объяснение будет бесполезно, пошел безмолвно к лодке. Он убедился, что доверенность царскую к Мазепе не легко поколебать и столько же трудно склонить его в пользу Палея, ибо предубеждение противу одного основано было на доверенности к другому. Итак, Огневик решил ждать удобного случая к открытию истины, надеясь заслужить милость царскую своею службою, и внутренне благодарил Бога, что его не сослали в Сибирь или не заключили в темницу, ибо, будучи на свободе, он мог дать о себе известие Палею и Наталье.

ГЛАВА XIII

Зачем же судишь ты превратно?
За что ты губишь сироту?

Ф. Глинка

Все случилось по желанию Мазепы. Опасный совместник его, Палей, исторгнут из среды любившего его народа и сослан в Сибирь. Белая Церковь сдалась изменою граждан сего города; сокровища Палеевы перешли в сундуки Мазепы, а храбрая дружина удалого наездника после упорной за-

щиты истреблена и разогнана. Гетман Заднепровской Украйны, Самусь, друг и товарищ Палея, лишенный подпоры и совета, отказался добровольно от своего звания, в которое он облечен был Иоанном Собесским, и подчинился Мазепе, довольствуясь чином полковника Богуславского полка. Кошевой атаман Запорожъя, Горденко, вовлечен уже был в сети Мазепиной политики и повиновался воле гетмана Малороссии. Мазепа достиг того, чего так давно жаждал: он владел наконец всей Малороссией и Украйной.

Прошло три года от пленения Палея, и народ уже начал охладевать в чувствах своей привязанности к нему. Таков народ везде и всегда! Он скоро забывает своих благодетелей и долго-долго помнит утеснителей и тиранов. Потомство платит долги предков.

Со времени истребления вольницы Палеевой Наталья томилась грустью, невзирая на советы и увещания Мазепы. Она знала участь, постигшую друга ее, Огневика, и решилась остаться ему верною, если б судьба разлучила их даже на всю жизнь. Любovníки переписывались между собою посредством жены священника, которая отправляла и получала письма чрез проезжих русских офицеров и гонцов, охотно исполнявших поручения, когда их просили именем несчастного. В последних письмах Огневик писал, что он уже обратил на себя внимание начальства, произведен в урядники, находится в Канцелярии вице-адмирала Крюйса и надеется, покровительством сего отличного мужа, получить скоро прощение и вступить в офицерском звании в полевые полки. В последнем письме Наталья умоляла его придумать средства к избавлению ее от угрожающей беды, уведомляя, что гетман поговаривает о выдаче ее замуж за какого-то поляка, которого она видела только один раз в Батурине и даже не знает его имени.

В сие самое время король шведский уже шел чрез Польшу к русским пределам, и Малороссия с Украйною наводнены были злобными его манифестами, исполненными клеветы противу царя русского и пригласившими его подданных к измене. Русский царь собирал силы, чтоб дать отпор непобедимому до того сопернику своему, и настоятельно требовал высылки к войску малороссийских полков. Сею мерою царь совершенно расстраивал предначертания Мазепы, который, собрав значительное количество продовольствия, хотел сосредоточить в Украйне лучшие свои полки, чтоб соединиться с Карлом. Желая убедить царя в своей верности, Мазепа посылал к нему то деньги, то коней на потребности войска,

умоляя притом не лишить Украины защиты и представляя опасность от крамольного духа старшин, будто бы неприятельных России. Он писал к царю и к его министрам, князю Меншикову, графу Головкину и барону Шафирову, что он не отвечает за верность украинского народа, если ему должно будет удалиться из своего местопребывания и если для удержания народа не будет достаточно числа войска. Для большего удостоверения в сих мнимых своих догадках, Мазепа, чрез наушников своих, подговорил нескольких сотников затеять возмущение в их сотнях, под предлогом недовольствия, за высылку малороссийских войск из Украины по приближении неприятеля. Уведомляя о сем царя, Мазепа был уверен, что Петр убедится наконец его доводами и вверит ему защиту Украины и наблюдения за внутренним ее спокойствием. С нетерпением ожидал он ответа от царя.

Ночью прибыл гонец в Батурин и требовал, чтоб немедленно разбудили гетмана и впустили его к нему, потому что ему приказано было вручить бумаги лично и взять собственноручную расписку гетмана в получении. Мазепа велел тотчас призвать гонца, взял запечатанный пакет, поцеловал его, как святыню, и потом уже сорвал печать. Развернув бумагу и не видя на ней подписи царя, гетман обратился к гонцу с видом неудовольствия и сказал:

— Это не царский указ! Ты ввел меня в заблуждение!

— Сиятельный князь! — возразил русский офицер. — Хотя этот указ не за подписью его царского величества, но дан из Военного Совета, действующего по воле царя, его именем.

Мазепа нахмурил брови и стал читать бумагу. По мере того, как он пробегал строки, лицо его изменялось и наконец покрылось смертною бледностью. Не говоря ни слова, он подошел к столу, написал расписку и отдал ее гонцу, сказал вполголоса: «С Богом!»

Лишь только гонец вышел из комнаты, Мазепа захлопал сильно в ладоши. Явился немой татарин.

— Орлика сюда! Скорей! — Татарин бросился опрометью за двери, но Мазепа снова захлопал в ладоши еще сильнее, и татарин воротился. — Позови также иезуита и польского гостя! Да не торопись так: они подумают, что я испугался чего-нибудь. — Татарин вышел, и Мазепа сказал про себя: — Должно преодолеть себя и казаться спокойным. — Он подпер руками голову и задумался.

В одно время вошли Орлик, патер Заленский (пребывавший в Батурине под именем врача) и поляк, называвшийся

его племянником. Мазепа при входе их встал с кресел и, показывая полученные бумаги, сказал:

— Гроза разразилась!

В безмолвии ожидали объяснения призванные на совет клевреты гетмана.

— Теперь чувствую всю справедливость пословицы *ma d'gy Polak pozj Kodzie*¹,— примолвил Мазепа.— Все вы ошиблись в расчете, друзья мои, предполагая, что, представляя царю Украину, готовую возмутиться, когда выведут из нее мало-российские полки, я принужу его оставить меня здесь, с моим войском. Сталось иначе! Царь поручил рассмотрение сего дела новоучрежденному им Военному Совету, и вот повеление, которым предписывается мне выступить немедленно со всем войском моим для соединения с русскою армиею под Новгород-Северским, а князю Голицыну, Киевскому воеводе, приказано, оставив сильный гарнизон в Печерской крепости, расположиться с его русским ополчением внутри Украины. Болезнь моя уже не может служить предлогом к отсрочке, ибо приказано, в таком случае, вручить начальство над войском Наказному атаману! Итак, надобно теперь подумать, что станется с артиллериею и с съестными припасами, приготовленными мною для его величества короля шведского, когда мои города займет Голицын? Каким образом я могу объявить войску о моих намерениях в российском стане?.. Беда свалилась как гром на голову!

Все молчали и смотрели в лицо гетману.

— Вы, пане Понятовский,— примолвил гетман, обращаясь к поляку,— вы, как брат ближнего человека и любимца его величества, должны поспешить теперь к королю и объяснить ему, в какое затруднительное положение ввела меня его медленность к вторжению в Украину. Признаюсь, я даже не вижу средств, как избегнуть сетей, расставленных мне моими врагами! Бумага подписана жесточайшим гонителем моим, фельдмаршалом Шереметевым, а князь Меншиков, давно уже замышляющий водвориться вместо меня на гетманстве, сам едет в Чернигов, вероятно, для того, чтобы наблюдать за мною. Без сомнения, они уже успели поколебать доверенность царя ко мне! Теперь крайне опасно раздражать его замедлением в исполнении его воли...! Вы, думаю, слышали, каков он в гневе!

— Я согласен с вами, пане гетмане, что эта помеха не в пору и затруднит вас несколько; должен, однако же, признать,

То есть: умен поляк *после* беды.

что не вижу в сем царском приказании неотвратимой опасности и весьма далек от того, чтоб думать, будто вы не в силах преодолеть всех затруднений,— возразил Понятовский.— Все эти препятствия и помешательства можно было вперед предвидеть,— примолвил он,— и вы предвидели их, пане гетмане, и победили главные, успев укрепить свои города, собрать запасы и удержать при себе лучшее войско. Несколько лет сряду вы вели политическую войну с теми же людьми и за тот же предмет, и я твердо уверен, что ваш высокий ум и теперь восторжествует над затеями сих дикарей в европейской одежде...

— Мой ум, мой ум! — возразил Мазепа, покачав головой.— Русская пословица твердит: *«Ум любит простор»*, — а мой ум еще не на просторе, но в тенетах и только что теперь силится вырваться на свободу! Если вы предполагаете во мне ум, то должны знать присем, что он мне столь же полезен ныне, как меч, зарытый в землю. Но не о том теперь дело! Вам кажется все легким, потому что вы, господа поляки, не знаете русских! История перед вами: вникните в события и образумьтесь. Не сто раз вы имели политические сношения с русскими, а прошу вас указать мне на один случай, где бы удалось вам обмануть русских, хотя в желанье и не было у вас недостатка? Правда, вы имели часто перевес на вашей стороне, доставленный вам оружием, но успехом оружия располагает слепая фортуна, а ум торжествует и над самою фортуною, когда действует свободно, для собственных выгод. почитаете русских дикими, варварами, потому что они отстали от вас в образованности. Но русский народ вообще одарен от природы необыкновенным умом, сметливостью и дальновидностью, которым уступает и образованность, и просвещение, и ученость. Таковы русские, и кто их не знает или не хочет знать, тот дорого заплатит за свое произвольное невежество. Что такое политика? Конная ярмарка! Каждый выводит на мену или на продажу своего коня. Умный и смысленный простолудин уедет с ярмарки на добром коне, а ученому и образованному, но легковерному и нетерпеливому, незнатоку — покупщику достанется кляча, на которой нельзя ни уйти, ни догнать! Так бывает и с политическими делами! Его величество король шведский также не знает русских, и я нетерпеливо желаю увидеться с ним, чтоб объяснитьсь по этому предмету. Между тем уже ударил последний час моей стражи, и мне нельзя долее держаться в прежнем положении. Еще испытаю последние силы: вышлю Наказного атамана с худшими казаками к войску русскому, а сам

скажусь больным, недели на две, пока будет длиться переписка и пока его величество успеет приблизиться к нам на такое расстояние, чтоб я мог соединиться с ним в двое или трое суток. Орлик! Завтра же отправь лучших казаков из нового Белоцерковского и Богуславского полка в Гадяч и Ромны для защиты замков, и вели собраты в Батурине всем сердюкам. Племянника моего, Войнаровского, завтра вышлю я с письмом к Меншикову... Вам, пане Понятовский, надобно поспешать к его величеству, как я уже сказал, и умолять, чтобы он не медлил, а вы, патер, поезжайте к Яблоновскому и Любомирскому и принудьте их тотчас вторгнуться в Киевское воеводство. Завтра распрощаемся, до радостного свидания в стане шведском.— После сих слов Мазепа пожелал им доброй ночи.

— Позвольте мне переговорить с вами наедине, несколько минут,— сказал Понятовский.

— Извольте! — отвечал Мазепа и дал знак Орлику и иезуиту, чтоб они удалились.

— Я хочу просить вас, чтоб вы позволили мне отправить секретаря моего к брату, а самому остаться здесь,— сказал Понятовский, потупя взор.— Любовь к Наталье, одобренная вами, лишает меня ума и всех способностей души на всякое дело... Я не могу помыслить о разлуке с нею, не получив ее согласия на брак...

— Не сомневаюсь, что она будет согласна,— отвечал Мазепа.— Завтра я открою ей тайну, которая должна быть известна ей только в решительный день ее жизни, в день брака, и уверен, что она не воспротивится тогда моей воле. Между тем завтрашний день вы можете остаться здесь и переговорить с нею. Я приготовлю ее к этому свиданию!

Понятовский бросился целовать руку гетмана, который обнял его и, поцеловав в лицо, простился с ним.

На другое утро, лишь только Наталия успела одеться, Мазепа призвал ее в свой кабинет. Он был важен и серьезен и противу обыкновения не встретил ее ласковым словом и улыбкою. Указав ей на кресла, противу себя, он дал знак, чтоб она села, и смотрел на нее пристально, не говоря ни слова. Сердце Наталии сильно билось.

— Я долготерпелив, Наталья! Три года скрывал я грусть в сердце, видя твою холодность со мною, принуждение в общении и все признаки ненависти. Безрассудная любовь к безродному бродяге...

Наталия прервала слова Мазепы:

— Прошу вас, ради Бога, ясневелиможный гетман, не ос-

корбляйте памяти несчастного! Вы этим не перемените чувств моих...

— Прошу слушать,— возразил Мазепа с гневом.— Безрассудная любовь заглушила в душе твоей все чувства природы и обязанностей. Если б ты обязана была мне одним воспитанием, то и тогда надлежало бы тебе выбирать жениха не иначе, как с моего совета, или, лучше сказать, отдать руку тому, кого я тебе представлю в женихи; но ты обязана мне более, нежели воспитанием... Ты обязана мне жизнью!..

Мазепа остановился, и Наталья, думая, что гетман упрекает ее в том, что призрел ее сиротство, потупила глаза, покраснела и сказала:

— Я всегда благодарна вам за попечения ваши... За жизнь я обязана моим родителям и Богу, хранителю сирот... но... я должна сказать вам откровенно,— примолвила она, понизив голос,— что теперешняя жизнь моя не благо для меня, а бремя...

Мазепа, казалось, не расслушал последних слов ее и продолжал:

— Ты говоришь о твоих родителях! Знаешь ли ты их?.. Это тайна, которую я скрывал от тебя и теперь только намерен открыть... Итак, знай, что ты... дочь моя!

— Я дочь ваша! — воскликнула Наталия, устремив на него быстрый взор и вскочив с места.

— Ты дочь моя, кровь от крови моей, плод любви моей! — Глаза Мазепы наполнились слезами, он распростер объятия, и Наталия упала в них, рыдая.

— Успокойся, дочь моя! — сказал он, посадив возле себя Наталью.— И слушай! Сердечный союз мой с твоею матерью не мог быть благословен церковью. Я был тогда женат, а мать твоя слыла вдовою польского пана, погибшего в битве с татарами. Спустя три года после нашей связи, незадолго до смерти жены моей, явился муж твоей матери, из татарского плена. Мать твоя... умерла с горя... а... но я не беру на свою душу греха; не я причиной ее смерти... Я имел твердое намерение жениться на ней... Судьба устроила иначе...

Наталия горько плакала, и Мазепа замолчал, чтоб дать время пройти первому впечатлению.

Когда сердце Натальи несколько облегчилось слезами, Мазепа продолжал:

— Гореваньем и плачем ты не исправишь и не изменишь прошлого. Что случилось, то случилось, и если в прошедшем могло бы быть лучше, зато настоящее с лихвою все искупает...

— Счастье мое в ваших руках...— сказала робко Наталья.

— Оно в сердце отца твоего, который любит тебя более всего на свете и готовит тебе самую блистательную, самую завидную участь,— примолвил Мазепа, прижимая Наталью в своих объятиях.— Теперь рассуди, дитя мое, моя милая дочь! Мог ли я согласиться на брак твой с простым запорожцем, с казаком без роду и племени, с разбойником из шайки гнусного Палея? Чрез месяц, не далее, ты будешь объявлена пред целым светом дочерью удельного князя Северского... Ты должна все знать. Я отлагаюсь от русского царя и приступаю к союзу Швеции и Польши противу России. Султан, хан, Швеция и Польша уже согласились признать меня независимым государем, и я, в преклонных моих летах, для тебя одной пустился на сей опасный подвиг, для того только, чтоб потомству твоему доставить престол!..

— Ах, батюшка! — сказала Наталья с тяжелым вздохом.— Слава и почести могут иметь привлекательность для мужчины, но для женщины нужно только одно сердце. И в бедной хижине можно быть счастливым с милым, и на престоле льются слезы!..

— Детские мечты, сказки, поэзия! — возразил Мазепа.— Когда ты будешь матерью, тогда будешь чувствовать иначе. То, что ты говоришь, есть отголосок эгоизма. Надобно уметь жертвовать собою для блага своего потомства...

— Но разве нельзя соединить собственного счастья с благом детей? — сказала Наталья.— Ты будешь государем, батюшка, и в твоей воле будет усыновить моего Богдана, как ты прежде говорил. Нет человека в мире, который более достоин был бы царского венца, как он...

Мазепа нахмурил брови.

— Любовь помрачает твой рассудок, дочь моя,— сказал он.— Чем прославился этот казак? К чему он способен? Кто захочет повиноваться безродному пришлецу, без имени? На чем могу я основываться, возвышая его над всеми моими сподвижниками, друзьями и помощниками? Красота телесная и искусство к уловлению невинного женского сердца не суть такие достоинства, которые дают право на управление народом. Я бы унизил себя, сокрушил бы собственную власть, если бы избрал в помощники и в преемники человека ничтожного, не имеющего никаких прав на уважение света...

— Вы не знаете Богдана, батюшка! Он способен ко всему...

— То есть он умеет нравиться женщинам,— возразил Ма-

зепа.— Преодолей слабость свою, Наталия, и будь достойною дочерью основателя царства! Я представлю тебе в женихи Понятовского, брата друга шведского короля. Польский король Станислав обещал мне произвести его в коронные канцлеры, немедленно по заключении мира. Вот какой нужен мне зять! Он будет печься в Польше о выгодах моего княжества, а брат его будет моим заступником у шведского престола, пока я успею утвердить новое государство на собственных его силах. Понятовский молод, красив, умен, образован, приятного нрава, в родстве и связях с первыми польскими фамилиями и силен покровительством непобедимого Карла. Он любит тебя пламенно. Его любовь к тебе есть дело самой судьбы. Он встретил тебя однажды в Варшаве, где-то на публичном гульбище. Он был тогда в обществе дам и не мог оставить их, чтоб следовать за тобою и узнать, кто ты такова. Но после он тщетно искал тебя всюду и, не встретив нигде, страдал, мучился, нося твой образ в сердце и памяти, пока случай не завел его сюда по делам моим. Здесь он встретил тебя в саду и ожил душой... Узнав от меня, кто ты, он на коленях просил согласия на брак с тобою — и я обещал ему...

— Вы напрасно обещали за меня, батюшка! — сказала Наталия твердым голосом.— Я не вольна в своем слове... Я принадлежу сердцем Богдану!..

— Ты никогда не увидишь его! — сказал Мазепа грозно.

— В таком случае монашеская келья сокроет меня от всякой земной власти! — отвечала Наталья, встав со стула и ошмотрев хладнокровно на Мазепу.

— Дочь моя! — сказал он нежно.— Ты теперь только нашла своего отца, и первое чувство, которое ты в нем возбуждаешь, есть горечь! Ужели ты хочешь, чтоб последнее слово отца к тебе было проклятие!

— Проклятие! — воскликнула Наталья.— Батюшка, и вы могли вымолвить это! — Слезы брызнули из глаз ее.

— Благословение не может пасть на упрямое дитя, которое, предавшись преступной страсти, навлекает бедствия на главу родителей... Быть может, участь моя зависит от этого брака!..

— А если б меня не было на свете, что б тогда было? — спросила Наталья твердым голосом, утерши слезы.

— Тогда бы... тогда бы Понятовский не узнал тебя, не полюбил, не получил твоего отказа и не мог бы сделаться врагом моим...

— Итак, меня не будет на свете! — сказала Наталья хладнокровно и обратилась к дверям.

— Дочь моя, Наталья, постой! — вскричал Мазепа.

Наталья остановилась.

Мазепа не знал, что Наталье известно местопребывание Огневика, и тем менее он мог предполагать, что любовники переписываются.

— Что ты замышляешь, безрассудная! — сказал он жалостно, с нежным упреком. — Знаешь ли ты, что случилось с Богданом? Где он? Ужели ты завещала верность хладному праху? Быть может, его уже нет в живых! Мне рассказывали, что его сослали в Сибирь и что он пропал без вести... — Мазепа пристально смотрел на Наталью.

— Я верна живому и любящему меня, — отвечала Наталья. Она хотела что-то примолвить и внезапно замолчала.

Мазепа задумался на несколько минут. Подозрение возродилось в душе его, и он вдруг переменял обхождение свое с дочерью.

— Успокойся, дочь моя! Я не стану более принуждать тебя. Время просветит тебя и даст мне, может быть, силы перенести это горе. Об одном умоляю тебя: береги себя! Не убивай отца своего грустью и отчаянием! Я решился всем пожертвовать для твоего спокойствия и счастья. — Наталья нежно обняла отца своего и заплакала, но не смела напоминать ему об Огневике. Мазепа возвратился к столу, взял пакет писем и, отдавая их Наталье, сказал:

— Вот все, что мне осталось после твоей матери! Прочти их: ты увидишь, как она любила твоего отца!

Наталья вышла из комнаты, и Мазепа, сев на свое место, покачал печально головою и сказал про себя:

— Железная душа! Не далеко яблоко падает от яблони! Настоящая кровь моя! Нет, с ней нельзя ничего сделать силою! Испытаем другие средства.

Между тем Орлик чуть свет отправил из войсковой канцелярии гонцов во все полки с приказанием готовиться к немедленному выступлению в поход. Все пришло в движение в Батурине. Казаки с радостью известились о предстоящих битвах и опасностях и собирались в круги, на площадях и возле шинков, толковать о будущем и вспоминать прошедшее. Насупротив гетманского дворца находилась обширная корчма, выкрашенная красною краскою, которую держал на откупе перекрест из жидов, любимец гетмана, поставлявший по подряду все припасы на его кухню и исправлявший разные его поручения. Корчма разделена была на две половины.

В одной были комнаты для приезжих и одна большая зала, где собирались офицеры играть в кости, толковать и пить виноградное вино и старые польские меды: *малинник* и *вишняк*, которыми производили торговлю монастыри католические. В другой половине, состоявшей из трех обширных комнат, обставленных вокруг узкими столами и скамьями, толпились с утра до ночи сердюки и казаки, пить водку, мед и пиво, есть сельди, курить табак и слушать или рассказывать новости. В праздничные дни молодые казаки плясали здесь с малороссийскими красавицами, при звуках гудков, сопелок и цимбалов. Вокруг корчмы теснились, во всякое время, нищие, калеки, странствующие певцы с бандурами. Перекрест, отрекшись от веры отцов своих, придерживался, однако ж, их обычая: он торговал всем, то есть покупал все, что только мог купить за бесценок, продавал все, что мог сбыть с большою выгодною, и, усыпив раз навсегда свою совесть, во всем искал одних барышей, обращаясь с людьми, как с товаром. Подобно всем бессовестным богачам и всем пролазам, покровительствуемым людьми сильными, перекрест пользовался наружным уважением и был всеми внутренно ненавидим и презираем. Он имел от гетмана поручение собирать вести, доносить ему о духе войска и распространять слухи. Хитрый перекрест хотя был всеми подозреваем в шпионстве, но он умел привлекать посетителей в свою корчму сделавшись для всех необходимым. Он отпускал товары в долг казакам, пользующимся уважением и любовью товарищей, потчевал их и даже ссужал деньгами, вмешивался в их ссоры и в любовные дела и был предстателем пред начальниками за провинившихся. В беседах казацких он имел первый голос и слыл в народе всезнающим по связям его с гетманом и по частым отлучкам за границу. В этот день корчма была наполнена народом. Известие о походе, столь желанном и давно ожидаемом, привлекло в корчму множество народа, чтоб услышать новости, повидаться с приятелями и поговорить о делах. Казаки, сидя вокруг столов, пили, шумели, спорили и сообщали друг другу свои мысли и догадки. Перекрест, с трубою в зубах, рассказывал важно по комнатам, прислушивался к разговорам и отдавал приказания служанкам и шинкарям.

— Гей, любезный наш хозяин! — сказал седой урядник. — Вели-ка подать гарнец доброго меду, чтоб распить его, на прощанье, с приятелями. Как воротимся из-под шведа, так заплатим тебе шведскою добычею.

— За то, что ты принесешь из-под шведа, я не дам и пол-

квартиры простой горелки,— отвечал перекрест, улыбнувшись насмешливо.— Смотри, береги только свою седую чуприну! Послушай-ка, что говорят о шведах московские солдаты!

— А что говорить москалям? Били их шведы, а потом они побили шведов, да еще и город зачали строить на их земле,— возразил урядник.

— Правда, удалось москалям побить шведов там, где не было их короля,— примолвил перекрест,— и где на одного шведа было по десяти русских...

— Брешешь, пане хозяин! — сказал с гневом урядник.— Я сам был при московском войске, когда мы побили шведов в Польше, под Калишем, с князем Меншиковым, в Чухонщине с Шереметевым и в самой шведской земле с Апраксиным. Мы были равны числом. А чтоб ты знал, как москали не боятся теперь шведа, так я расскажу тебе, что сделал Апраксин. Узнав, что шведов только восемь тысяч противу нас, он взял с собою столько же московского войска, хотя имел его втрое более, и пошел навстречу шведу, напал, разбил в пух и воротился, не потеряв своих и десятой доли. Не веришь, так спроси у Грицка и Потапенки: они были тогда со мною. Да и пан есаул Кравченко скажет тебе, правду ли я говорю...

— Я не хочу спорить, что москалям удалось побить шведов раза два, три, да все-таки стою на своем, что тогда не было с ними их короля,— возразил перекрест.

— Ну, а что диво их король! — сказал урядник.— Побил он русских под Нарвой, да тогда и с русскими не было их царя, а начальствовал ими изменник, который продал московское войско да и улизнул к шведам, со своими немцами! Эдак немудрено воевать! Уж московский-то царь — не шведу чета! Орел орлом! Как взглянет на человека, так дрожь пронимает, а что схватит в руки, все трещит, будь сталь, будь камень... Суший богатырь! Конь под ним так и вьется, а как гаркнет перед войском, так, кажется, и мертвый бы встрепенулся. Пусть бы король шведский встретился с самим царем, так ему небо с овчинку покажется! Как вспомню про старину, так царь московский, ни дать ни взять, наш Палей!..

— Сгинь ты, пропади со своим Палеем! — сказал перекрест, плюнув и топнув ногою.— Вот нашел кого сравнивать с царем!

— Я не сравниваю,— возразил урядник,— а так, пришло к слову! Состарился я на войне, а отроду не видывал таких молодцов на коне перед войском, как царь, да наш Палей, с которым мы били и татар, и турок, и ляхов...

— Стыдно и грешно тебе, старик, вспоминать о Палее,—

сказал перекрест,— разве ты не знаешь, что он наказан за измену?

— А мне почему знать! — отвечал урядник. — Так было сказано, а правда ли, одному Богу известно.

— Не одному Богу, а целому свету известно,— примолвил перекрест,— что Палей поступил против присяги, грабив польских панов против воли и вопреки приказаниям нашего милостивого пана гетмана...

Старый урядник громко захохотал.

— Ха, ха, ха! так это, по-твоему, измена! — сказал он. — А который гетман, считая от Хмельницкого до нашего милостивого Ивана Степановича, не нагревал рук в Польше? Ге, ге, хозяин! Ты, видно, не считал подвод гетманского обоза, когда мы воротились из последнего похода в Польшу! Ведь для нашего брата, казака, Польша то же, что озеро: как захочется рыбки, так и закидывай уду!

В толпе раздался хохот и шум. Все казаки пристали к мнению урядника. Один дюжий казак перекричал всех и сказал громко:

— Как ляхи пановали на Украине, так сосали из нас кровь, а теперь наша очередь! Коли бы гетман наш...

— Молчи ты, бестолковый! — примолвил другой казак, толкнув его под бок. — Ни слова про гетмана, коли не хочешь, чтоб завтра же услали тебя копать землю в Печерской крепости или строить корабли в Воронеже...

— Пойдите вы, гоголи, придет время, что вы будете со слезами поминать польское панованье! — возразил перекрест. — Будет с вами то же, что с московскими стрельцами! Недаром в целом московском царстве говорят, что царь хочет переселить всех казаков по московским городам, а особенно в свой новый город, на шведской земле, при море, где шесть месяцев сряду такой мороз — что камни лопаются, три месяца холодный ветер — что дух занимает, а три месяца такое лето — что хуже нашей зимы. Вот там запоете другую песню! Дай только царю московскому управиться со шведом, так он примется за вас!..

— Типун бы тебе на язык! — сказал старый урядник. — Я столько лет выходил по походам, вместе с москалями, а никогда ни словечка не слышал об этом! Все это сущая ложь и обман, а выдумывают и разглашают это сами же ляхи,— трясца их матери! Трудно лисице забыть о курятнике!

— Ха, ха, ха! Ляхам опять захотелось засунуть лапу на Украину! — сказал дюжий казак. — Хорошее житье пчелам, коли медведь пасечником!

— Хорошо жить пчелам, когда они сами едят свой мед,— возразил перекрест,— а еще лучше было бы украинцам, когда б ни лях, ни москаль не вмешивался в казацкие дела, как было при Хмельницком!

— Вот что правда, то правда! — сказал старый урядник.— Того-то и хотел старик Палей!

— Опять ты со своим Палеем! — подхватил с досадой перекрест.— У нашего пана гетмана больше ума в мизинце, чем в целом запорожке!..

— Ум-то есть... да... что тут говорить! — сказал урядник.— Подавай-ка меду!.. Пейте, братцы! Во славу и в память гетманщины и казатчины, каковы они были при отцах и дедах наших!..

— За здоровье нашего пана гетмана! — воскликнул один из сердюков, сидевших особо.— Такого гетмана не было и не будет; а кто не пьет за его здоровье, тот подавился первым куском и захлебнись первым глотком! Ура!

Сердюки прокричали ура. Некоторые казаки пристали к ним, а старики, поднеся чарки и кружки к устам, приклебнули и в молчании поглядывали друг на друга.

— Уж коли быть Украине такой, как она была прежде, при дедах наших, так не чрез кого другого, как чрез нашего пана гетмана,— сказал сердюк.— По правде сказать, так и нынешнее житье не лучше ляшской неволи. Служи казак на своем коне и в своей одежде, таскайся Бог знает куда, бейся, терпи нужду, да и воротись домой ни с чем, коли не пришлось костей сложить на чужой стороне. То ли дело, бывало, при старой гетманщине, когда казак шел на войну, как на охоту, пригонял домой целые стада и табуны да приносил чересы с червонцами и серебро, расправленное в ружейном дуле! Ведь кто и теперь богат, так от старины, а не от нынешнего житья!

— Правда, сущая правда! — повторили в толпе.

— По-моему,— продолжал сердюк,— так всю бы Польшу, по самую Варшаву, выжечь начисто, сделать из нее степь, ляхов перерезать, баб и ляшенят продать татарам, все добро, разумеется, забрать на Украину, а московскому царю поклониться и сказать: мы не пустим к тебе ни турок, ни татар, а ты избавь нас от кацапов¹.

Хохот и восклицания в толпе заглушили слова сердюка.

— Славно, дядя!

¹ Замечательно, что каждое славянское племя почитает себя лучше другого и имеет бранные слова для своих соседей.— Русские бранят малороссиан *хочлами*, а малороссиане называют русских *кацапами*. Цап по-польски значит *козел*.

— Правда, правда,— кричали казаки, согретые вином.

— Этой правдой, сердюк, ты или сам попадешь, или других втянешь в петлю,— сказал старый урядник.— Братцы! — примолвил он своим товарищам.— Пойдем прочь отсюда! Не бывать добру, коли сердюки вмешались в казацкое дело. А я знаю хорошо Кондаченку!

— А как ты меня знаешь? — воскликнул Кондаченко, вскочив со своего места и подбоченясь.

— Знаю, что у тебя язык как жернов: что подсыплют на него, то он и мелет,— возразил урядник, смотря смело в глаза Кондаченке.— Видно, хозяйский медок сладок,— примолвил он насмешливо,— что твои речи так сходны с хозяйскими!

— Знаем и мы тебя, старая лисица! — отвечал Кондаченко, озлившись.— Туда дорога Черниговскому полку, куда и Палеевцам! Каков поп, таков и приход!

— Как ты смеешь стращать и поносить Черниговский полк! — вскричал старый урядник, вскочив также из-за стола и схватив за ворот Кондаченку.— Наш пан полковник Полуботок, первый полковник в целом войске, и черниговцы более всех отслужили царю... Ваше сердюцкое дело воевать с бабами, за печью, да красть кур, а ты смеешь еще брехать¹ на черниговцев!..

Кондаченко, желая вырваться из рук урядника, толкнул его в грудь. На помощь уряднику бросились его товарищи, а к Кондаченке прискочили сердюки. Завязалась драка.

— Бей палачей-сердюков! — кричали казаки.

— Бей бунтовщиков,— вопили сердюки.

В корчму сбежались с площади сердюки и казаки. Сперва дрались кулаками, но вскоре засверкало оружие, и помост обогрился кровью.

Перекрест побежал в гетманский дворец, чтоб уведомить о происшедшем и призвать стражу, а некоторые казаки бросились к полковнику Полуботку. Стража поспешила на место драки, разогнала народ и упорнейших отвела в войсковую тюрьму.

Полковник Полуботок давно уже заметил, что в войске распространяется дух буйства, внушаемый какою-то невидимою силой, но, зная нерасположение к себе Мазепы и всех его окружающих, довольствовался наблюдением порядка в своем полку, а не смел объявить гетману о своих опасениях. По мере приближения войска шведского к российским пре-

¹ Лаяться.

делам, возрастала дерзость поляков, находившихся в услужении у гетмана, и своеволие в речах, дотоле неслыханное, особенно заметно было между сердюками. Гетман, сказываясь почти всегда больным и редко показываясь в народе, не принимал никаких мер к пресечению сего зла, а приближенные к гетману старшины, казалось, не замечали происходившего. Верные долгу и присяге полковники и генеральные старшины хотя догадывались о кроющемся в войске злоумышлении и даже подозревали самого гетмана, но, опасаясь его мщения и зная неограниченную доверенность к нему царя, молчали и ждали последствий. Наконец, после драки, случившейся в корчме, и взятия под стражу казаков Черниговского полка, прибывших в Батурин с Полуботком, он, расспросив их о подробностях дела, решился воспользоваться сим случаем для объяснения с гетманом и после вечерни пошел во дворец.

Полуботок не слишком надеялся, что гетман допустит его к себе, но вознамерился требовать личного объяснения для того более, чтоб сложить с себя всякую ответственность, если бы дошло до розыска. Он на всякий случай приготовил письменное донесение, чтоб вручить генеральному писарю, когда ему не позволено будет видаться с гетманом.

Сверх чаяния, Мазепа допустил к себе Полуботка и, сверх всякого ожидания, принял его отменно ласково. Гетман сидел в своих больших креслах, укутанный одеялами и подушками. Только немой татарин находился при нем.

— Здравствуй, Павел Леонтьевич! — сказал Мазепа, протянув руку Полуботку. Полуботок не смел пожать руки гетмана, но поцеловал его в плечо и низко поклонился.

— Умираю, брат, умираю! — примолвил Мазепа жалобным голосом. — Много недовольных мною в войске между панами полковниками и старшинами, но совесть говорит мне, что по смерти моей они отдадут мне справедливость, и это одно убеждение облегчает мои страдания!

Полуботок молчал.

— Ты, некогда, любил меня, Павел Леонтьевич! — сказал Мазепа. — А с отцом твоим мы были старые приятели и искренние друзья. Злые люди разлучили нас, однако же ты, надеюсь, не помянешь меня лихом и не скажешь, чтоб я не исполнял слов вседневной молитвы: «И отпусти нам долги наши, яко и мы отпускаем должником нашим»?

— Вы сущую правду изволите говорить, ясневельможный гетман! Злые люди оклеветали меня перед вами и лишили вашей милости и доверенности. Но я никогда не поминал и

не помяну вас лихом, ибо хотя и безвинно был оклеветан, будто участвовал с Забеллою в составлении доноса противу вас, но, по вашей милости, освобожден от всякого преследования и даже получил обратно чин, место и отнятое на скарб именье...

— Так ты не забыл этого! — сказал Мазепа с коварною усмешкой. — Бог видит душу твою, Павел Леонтьевич! — примолвил он. — Но в то время меня убедили в твоём соучастии с Забеллою, и я простил тебя не потому, чтоб почитал тебя безвинным, но по той причине, что всегда любил и люблю тебя, зная твой высокий ум, опытность в делах и любовь к родине, и уверен, что после меня ты один в состоянии поддержать права наши... А мне недолго уже быть на страже у сей святыни!.. — Мазепа опустил голову на грудь и, взглянув исподлобья на Полуботка, погрузился в думу.

— Я должен полагать себя счастливым, если вы, ясновельможный гетман, признаёте мое усердие к службе его царского величества и обратили внимание на малые мои способности. Сие-то самое усердие к службе и радение о спокойствии нашем привели меня теперь к вам, ясновельможный гетман. Не обвиняя никого из тех, кому вы поручаете исполнение своих предначертаний о благоденствии нашего отечества, я должен, по совести, сказать вам, что с некоторого времени, именно с тех пор, как вы начали так часто хворать, наблюдение за порядком значительно ослабело. Жида и польские выходцы явно распространяют в войсковых землях универсалы короля шведского; по всем перекресткам поют песни, возбуждающие в казаках ненависть к нынешнему порядку вещей; в корчмах и на площадях толкуют Бог весть что... и никто не помышляет о прекращении сего зла, которое, при теперешних обстоятельствах, может иметь весьма пагубные последствия!

— Я в первый раз слышу об этом, — сказал простодушно гетман, — а что написано в этих универсалах, что говорится в песнях, что толкует народ?

Полуботок наморщил чело, взглянул с недоверчивостью на Мазепу и, не спуская с него глаз, отвечал:

— В универсалах возбуждают народ украинский к бунту противу царя русского, в песнях приглашают нас вооружиться за прежнюю независимость и отложиться от России, а народ толкует о старине, вспоминает прошлое своеволие и, сравнивая с нынешним положением нашего края, ропщет на настоящее...

Полуботок замолчал, заметив, что гетман что-то хочет

сказать. Но Мазепа, устремив пронизательный взор на Полуботка, не говорил ни слова и, отворив уста, казалось, не хотел спустить слов с языка.

Двое умнейших и вместе хитрейших людей в Малороссии, знаменитой издревле искусством и ловкостью своих сынов в скрывании настоящих замыслов под личиною простодушия, Мазепа и Полуботок, с взаимною недоверчивостью в сердце, сошедшись наедине, после долгого несогласия, единоборствовали теперь оружием своего ума. Мазепа хотел уловить Полуботка в свои сети, а Полуботок, догадавшись с первого слова, что Мазепа не чужд распространяемых в народе козней, желал удостовериться в этом, чтоб погубить его в собственных его тенетах. Мазепа, заметив, что нерешительность его в ответе не ушла от внимания Полуботка, вдруг хватился за ноги свои, обернулся в одеяла и застонал:

— Прости, Павел Леонтьевич, что я слушал тебя рассеянно. Сколько я ни крепился, но не могу выдержать жестокой боли!

Полуботок хотел удалиться, но Мазепа удержал его и просил присесть. Молчание продолжалось несколько минут, наконец Мазепа сказал:

— Кто подбрасывает универсалы шведского короля, разыскать трудно! Его царское величество воюет с одною половиною Польши, а с другою находится в союзе. Проезд чрез Украину и даже убежище в ней не возбранны приверженцам короля Августа, и нам невозможно читать в сердцах и обыскивать всех пришлецов. Под именем друзей Августа, быть может, сюда заходят враги его. Но что касается до возмутительных песен, то нет сомнения, что они составлены у нас и нашими земляками, ибо вряд ли поляк в состоянии постигнуть все таинства нашего языка и передать чувства нашего народа. По песням можно бы было добраться до источника сего замысла, если бы все войско было вместе. Но теперь это невозможно! Не помнишь ли ты хоть одной из этих песен или хотя несколько стихов?

Полуботок, не говоря ни слова, вынул из-за пазухи бумагу и, подавая Мазепе, примолвил:

— Вот знаменитая песня, которую поют все слепцы, все бродящие по Украине музыканты и даже многие казаки!..

Мазепа взял бумагу и, взглянув на нее, улыбнулся и сказал:

— Эта песня давно мне известна! Ее представили царю Искра и Кочубей при своем доносе и уверяли, что я сочинил ее, для посеяния в народе возмутительных правил!..

Полуботок не знал подробностей доноса Искры и Кочубея, а потому и не мог догадываться, что песня сия была уже представлена царю и приписываема Мазепе. Выпытывая слепцов и музыкантов, чрез своих приближенных, Полуботок нашел след и узнал, что песня сия вышла из батуринской красной корчмы, от перекреста, покровительствуемого Мазепою, а потому слова гетмана поразили Полуботка и почти объяснили то, о чем он прежде догадывался.

— А что, Павел Леонтьевич, песенка, право, хорошо сложена? — сказал Мазепа будто в шутку. — Как тебе нравятся, например, вот эти стихи:

Жалься Боже Украины,
Что не вкупе мает сыны.
Еден живет и с поганы,
Кличет сюда атаманы,
Идем матки ратовати,
Не даймо ей погибати!
Другий ляхам за грош служит,
По Украине и той тужит,
Третий Москве юже голдует
И ей верне услугует...

Мазепа перестал читать и смотрел с простодушною улыбкою в глаза Полуботку, как будто ожидая ответа. Полуботок молчал и покручивал усы.

— Ну что ты скажешь об этих стихах, Павел Леонтьевич?

— Песня сложена складно, но здесь кстати вспомнить московскую пословицу: «Не все то правда, что в песни говорится». Грешно и стыдно тем, которые *живут с поганы и служат за гроши ляхам*. Но долг, присяга и благо нашей родины повелевают нам *голдовать¹ Москве и служить ей верно*, потому что Украина не может быть независимым царством, и если б, в наказание за грехи наши, Господь Бог отторгнул нас от единоверческой России, то мы впали бы или в турецкую или в польскую неволю.

Мазепа покачал головою и сказал:

— Что ты это толкуешь, умная голова! Украина не может быть независимою! А Молдавия, а Волошина разве лучше Украйны!

— Не дай Бог такой независимости, как независимость этих несчастных стран, сжатых между сильными и хищными соседями и обязанных беспрерывно то биться с ними, то

¹ Польское слово: *голд*, значит подданство.

служить им, то откупаться от беды! Мы народ русской крови и русской веры и наше счастье в соединении с Россией...

— Так зачем же ты так часто жалуешься и скорбишь на нарушение прав и привилегий, Павел Леонтьевич? Ведь в этом виновен не я, ваш гетман, верный сын Украйны... Понимаешь ли меня, Павел Леонтьевич, в этом виновен не я, Иван Мазепа, готовый пролить последнюю каплю крови за права и привилегии наши!

— Права и привилегии наши надобно беречь как зеницу ока,— сказал Полуботок с жаром.— За это я охотно положу свою голову!

— Ну, а в песне только этого от нас и требуют! — подхватил Мазепа с радостью.— Слушай, слушай!

Лепше было пробувати,
Вкупе лихо отбувати.
Я сам бедный не здолаю¹,
Хиба тилько завотаю²:
Ей панове енералы,
Чому ж есте так оспаты³?
И вы панство полковники,
Без жадной политики.
Озметеса все за руки,
Не допустим горькой муки
Матце своей больше терпегі!
Ну те врагов, ну те бити!
Самопалы набувайте,
Острых шабель добувайте,
А за веру хоть умрите
И вольностей бороните,
Нехай вечно будет слава,
Же през шаблю маем⁴ права.

— Ведь это то самое, только в стихах, что ты сказал мне пред этим, Павел Леонтьевич, и другой, слушая тебя, подумал бы, что ты сам сложил песню,— примолвил Мазепа, захохотав притворным смехом.

Полуботок, хотя чувствовал настоящий смысл гетманских слов, но притворился также, что принимает их в шутку.

— Правда, ясневельможный гетман, что права наши надобно защищать, не жалея жизни, и, не опасаясь пресле-

¹ Niezdolam — не в состоянии исполнить (польск.).

² Zawotam — воскликну, кликну (польск.).

³ Ospaty — сонный (польск.).

⁴ Имеем. Песня сия сочинена Мазепою и напечатана в «Истории Малороссии», соч. Бантыша-Каменского.

дования и опалы, говорить правду. Но я не понимаю, о каких врагах говорится в песне, с кем советуют сражаться и кого бить?

— А, ты не понимаешь этого в песне? — возразил Мазепа, посмотрев с лукавою усмешкой на Полуботка. — Мне кажется, что врагами называют тех, которые нарушают права наши...

— Теперь понимаю! — сказал Полуботок, погладив усы и опустив голову.

— Дай Бог, что Господь вразумил тебя, Павел Леонтьевич! — примолвил Мазепа, приняв важный вид. — На таких людях, как ты и как я, лежит тяжкая ответственность пред Богом за благо народа, над которым мы поставлены. Скажи мне, Павел Леонтьевич, хочешь ли ты искренно помириться со мной?

— Вы не можете сомневаться в этом, ясневельможный гетман!

— Дай же мне руку! — примолвил Мазепа, взяв за руку Полуботка и пожав ее крепко. — Ты невзлюбил меня, воображая, что я по собственной воле нарушаю права наши. Я докажу тебе противное, только чур не выдавать! Помни слова песни: *Озметеса все за руки!* Только будь послушен, а не далее как чрез месяц ты будешь генералом, графом, если угодно тебе, и сам выберешь для себя маестности, какие захочешь!..

— У его царского величества есть люди, оказавшие ему более услуг, нежели я, и имеющие более прав на столь высокие милости! — отвечал Полуботок, кланяясь.

— Не в том дело, братец! — возразил Мазепа, нахмурив брови. — Все, чего только ты можешь желать, в твоей собственной воле. Только будь послушен мне и служи верно Украине.

— Я никогда не был послушником ваших приказаний и никогда не изменял пользам моего отечества...

— Это мы увидим! — сказал Мазепа и снова стал гладить свои ноги, будто чувствуя боль, а в самом деле для того только, чтоб пресечь разговор, которого продолжение он почитал излишним.

— Он хочет поговорить с вами, ясневельможный гетман, насчет бывшей драки в красной корчме и о задержании казаков моего полка...

— Вели всех выпустить из тюрьмы. Это дело пустое, и теперь не та пора, чтоб заниматься разбирательством ссор между пьяными казаками...

— Но я думаю, что для прекращения подобных беспорядков не худо было бы выслать не только из Батурина, но даже из Украйны людей подозрительных, о которых идет молва, будто они польские шпионы... — сказал Полуботок, не спуская глаз с гетмана.

— А кого же ты подозреваешь, Павел Леонтьевич? — спросил Мазепа.

— Более всех Марью Ломтиковскую, которая то сама отлучается в Польшу, то переписывается чрез нарочных.

— Мы сошлись в мыслях! Я тоже сильно подозреваю ее и уже отдал приказание выслать ее отсюда, — сказал Мазепа. — Прошу тебя, говори мне всегда откровенно, что ты думаешь: я всегда готов следовать твоим советам...

В это время вошел слуга и доложил, что генеральный писарь просит позволения войти. Мазепа взял за руку Полуботка и, пожимая ее, сказал:

— *Озметесь все за руки!* От сего часа я твой верный друг, Павел Леонтьевич, и докажу тебе это на деле, ибо убежден, что никого нет в Украйне достойнее тебя занять мое место.

— Много милости! — прошептал Полуботок и, поклонившись низко, вышел за двери, убедившись совершенно, что Мазепа замышляет измену. Полуботок не прельстился пышными обещаниями Мазепы и притворною его дружбою и не увлекся его ласкательствами. Не имея никаких ясных доказательств к уличению Мазепы в его замыслах, Полуботок не смел обнаруживать явно своих подозрений, а тем более доносить. Он решился немедленно отправиться в свой полк и ждать происшествий. Мазепа также не был уверен, чтоб он мог преклонить хитрого Полуботка на свою сторону сладкими речами и обещаниями, но ему хотелось испытать его и на всякий случай бросить в душу его искры честолюбия, раздражая в то же время главную страсть его, привязанность к правам отечества. Только Орлику и Войнаровскому открыл вполне свои замыслы. С другими старшинами войска он поступал так, как с Полуботком, действуя с каждым сходно его образу мыслей, способностей, надежд и желаний и представляя каждому свои замыслы под полупрозрачным покровом.

Орлик, отдав отчет в своих распоряжениях касательно приготовлений к походу, сказал:

— Мне кажется, что теперь надлежало бы приласкать несколько полковников, прежде нежели вы заблагорассудите открыть им дело. Особенно надобно приласкать тех, которые преданы вам. Некоторые из них уже представляли, неодно-

кратно, свои просьбы. Вот, например, преданный вам Чечел, уже около года как просил о пожаловании ему войсковой деревни, прилежащей к ранговой его маестности.

— Умный ты человек, Филипп, и я люблю тебя, как родного сына, а должен сказать тебе, что в некоторых делах, а именно в управлении машиной, составленную из голов и сердец человеческих, ты часто делаешь промахи. Знаешь ли ты, в чем состоит счастье человека? В надежде, любезный друг! Каждый человек скоро привыкает к тому, что имеет, и всегда стремится душою к тому, что представляет ему надежда. Правитель должен искусно пользоваться этою общею слабостью рода человеческого и, представляя каждому из слуг своих целый океан благ *в будущем*, изливать на всех, только по капельке, благодетельную росу, чтоб гортань не засохла вовсе от жажды. От того, кто желает и надеется, можно всего требовать и ожидать, а тот, кто получил желаемое, хочет отдыхать, как путник после трудного пути или работник после тяжкого труда. Благодарность — прекрасное чувство, но оно пламенно на словах, а весьма неповоротливо в деле. Одним словом: *необходимое в настоящем* и *надежда в будущем*, вот две пружины, которыми правитель может двигать сердца в свою пользу. Помни это, любезный мой Филипп, и удостоверься теперь, какую доверенность имею я к тебе и какую участь тебе готовлю, открывая правила, стоившие мне долгих размышлений и опытов. Итак, льсти старшинам и полковникам и обещай им все, чего они желают и надеются, давая притом чувствовать, что одна помеха к исполнению есть воля царя.

Орлик не отвечал ни слова и, казалось, рассуждал о слышанном.

— Здесь ли Мария? — спросил гетман, по некотором молчании.

— Насчет этой женщины я хотел бы также представить вам некоторые замечания, — возразил Орлик. — Вы хотели отправить ее в Петербург, вероятно, с важным поручением. Можно ли надеяться на женщину?.. — Орлику, находившемуся в любовных связях с Марией Ивановной Ломтиковской, не хотелось с ней расстаться, а потому он вознамерился отклонить предназначенное ей путешествие возбуждением подозрения в гетмане.

— Будь спокоен! — сказал гетман. — Поручение ее не касается нашего общественного дела... Позови ее, а сам останься в канцелярии и изготвь подорожный лист для нее и подарки для моих приятелей в Петербурге.

Орлик вышел, и чрез несколько минут явилась Мария. Мазепа приветливо улыбнулся и, покачав головою, сказал:

— Чудная ты женщина, Мария! Вместо того, чтоб стареть, ты все становишься прекраснее. Я, право, боюсь, чтоб в Петербурге ты не вскружила всех голов...

— Тем лучше будет для вас, — отвечала Мария шутливо. — Я заставлю их поклониться пред вами.

— Спасибо и за доброе желание, — сказал Мазепа, — а что я не сомневаюсь в твоей дружбе, — примолвил он, взяв ее за руку, — это я докажу тебе теперь. Дело, которое я поручаю тебе ныне, составляет величайшую для меня важность. Орлик уже сказал тебе, что Наталия — дочь моя. Неопытность и злые советы вовлекли ее в постыдную страсть к этому бродяге, которого я лелеял в моем доме, к палеевскому казаку Огневику. Он теперь находится в Кронштадте, на Галерном флоте... Мария... друг мой... избавь меня навеки от этого человека!

Холодный трепет пробежал по всем жилам Марии. Мазепа заметил ее смущение.

— Ты побледнела, Мария! Что это значит?

— Я не знаю, чего вы от меня требуете... Не понимаю вас! — отвечала она с притворным жаднокровием. — Начало вашей речи смутило меня...

— С твоею твердою душою стыдно смущаться! Неужели ты не в силах раздавить червя, убить змею? А враг наш хуже, чем змей, и ничтожнее, чем червь!..

— Итак, вы поручаете мне убить Огневика? — сказала Мария, едва преодолевая внутреннее движение.

— А разве ты не в состоянии выполнить это поручение, для счастья, для спокойствия твоего друга, твоего любовника? Мария! Вот лист белой бумаги, подписанный мною. Пиши сама, чего требуешь за свой великодушный подвиг. Я на все согласен.

Мария подошла к столу, взяла бумагу и изодрала ее в куски, сказав:

— Вы обижаете меня! На что я решаюсь из дружбы, того не сделаю за миллионы!

Мазепа бросился ей на шею и прижал ее к сердцу, восклицая:

— Друг мой, моя добрая, моя милая Мария! Никогда не забуду тебя, никогда не оставлю тебя! Отныне я твой — как был в первый день нашей любви.

Сняв с руки своей драгоценный перстень, Мазепа надел

его на палец Марии, примолвив: — Да послужит он символом сочетания душ наших!

Мария, притворяясь тронutoю внезапным порывом прежней любви гетмана, рада была, что могла прикрыть мнимую чувствительностью смятение, произведенное в ней сею ужасною доверенностью и гнусным поручением. Мазепа отпер шкаф, вынул небольшую серебряную коробочку и, подавая ее Марии, сказал:

— Здесь сокрыта — смерть!

Протянув руку, Мазепа замолчал и смотрел в глаза Марии.

— Учить ученого, только портить, — примолвил Мазепа, — тебе легко будет сойтись с моим злодеем и попотчевать его от меня — этим лакомством. Действуй по уму своему и по обстоятельствам.

Мария, не говоря ни слова, взяла коробочку с ядом.

— Теперь прощай и ступай с Богом! — сказал Мазепа, обняв Марию и поцеловав ее. — Помни, что отныне — я снова повергаюсь к ногам твоим!.. Орлик выдаст тебе деньги и бумаги!

Мария вышла, но она была в таком положении, что должна была отдохнуть и успокоиться с полчаса, в саду, прежде нежели осмелилась показаться в люди. Орлик удивился, увидев ее. Она была бледна и расстроена. Тщетно он расспрашивал ее: она не открыла Орлику тайны своего поручения и в ту же ночь отправилась в путь.

ГЛАВА XIV

О юность, ты никак лукавству непричастна!
Там состраданье зришь, где опытность несчастна
Пронырство признаст в сердечной глубине.

Озеров

За сухопутными укреплениями Кронштадта, со стороны так называемой косы, стоял на берегу молодой русский матрос и смотрел в задумчивости на волны, разбивающиеся с шумом об камни. Солнце уже закатилось. Вдали раздавались клики работников, кончивших тяжкие дневные труды в гаванях.

Матрос воспоминал о плодотворных полях своей родины, о милых сердцу и тяжело вздохнул, взглянув на угрюмые берега Финского залива. Слезы навернулись у него при мысли о своем одиночестве. Плески чуждых волн и порыв северного злобного ветра, казалось, расколохали душу его; грустные ощущения сменялись одни другими.

Вдруг кто-то ударил его по плечу. Он оглянулся и отступил в изумлении.

— Здравствуй, Богдан! Неужели ты так одичал здесь, что боишься друга твоего, Марии!

— Не боюсь, но не могу опомниться от удивления! Каким образом ты очутилась здесь? — спросил Огневик, смотря с недоверчивостью на Марию Ивановну Ломтиковскую, которая с улыбкою на устах протянула к нему руку.

— Что нового на Украине?.. — спросил боязливо Огневик и остановился, не смея продолжать расспросов, ибо мысль его и чувства прикованы были к одной только душе в целой Украине и он боялся напоминать об этом Марии.

— Скоро, очень скоро из Украины будут расходиться вести на целый мир, а теперь все идет там по-старому. Наталья жива и велела тебе кланяться...

— Ты видела Наталью, ты говорила с ней обо мне, Мария! Правда ли это?

— Бог свидетель! — возразила Мария, подняв руку и сложив три пальца.

Огневик, как иступленный, бросился к Марии и прижал ее к сердцу. Она повисла у него на шее.

Он скоро пришел в себя и потихоньку оттолкнул от себя Марию, которая, обхватив его, не хотела выпустить из своих объятий.

— Это не мои поцелуи, Богдан! — сказала она с тяжким вздохом, отступая от него. — Они принадлежат счастливце, Наталье. Но я уж сказала тебе, что я не завистлива... Пойдем со мной!.. Здесь не место объясняться, а мне нужно о многом переговорить с тобою. Я не без дела прибыла сюда из Украины! — Сказав сие, она взяла Огневику за руку и повела его в город. Он не сопротивлялся и шел в безмолвии, погруженный в мысли, даже не замечая, что рука Марии дрожала в его руке.

Прибыв в Кронштадт накануне, Мария остановилась у русского купца, недавно переселившегося в сей порт из Вологды. Она наняла вышку в новопостроенном деревянном домике. В сенях встретил их казак из сотни мужа Марии, взятый ею для прислуги. Огневик, увидев наряд своей родины, чуть не прослезился. Сердце в нем сильно забилося. Тысячи мыслей вспыхнули в голове его, тысячи ощущений взволновали душу. Со времени службы своей на флоте он никогда не ощущал сильнейшего отвращения к новому своему состоянию. Душа его в один миг перелетела на крыльях воображения в поля Украины, в толпы вольных сынов ее... Вне

Украины целый мир казался ему тюрьмою, каждый наряд, кроме казачьего, — цепями.

В первой комнате накрыт был стол на два прибора. Холодное жаркое, ветчина и пирожное стояли на столе. На краю стоял поднос с бутылкою, оплетенною в тростник, и с двумя серебряными кубками.

— Видишь ли, что я ждала дорогого гостя, — сказала Мария весело. — Долго-долго стояла я у дверей твоей канцелярии и наконец, когда ты вышел, мне вдруг пришла в голову мысль узнать, где и как ты проводишь время после трудов. Я пошла за тобой. Бедный Богдан! Ты беседуешь с морем, глухим к страданиям сердца; проводишь время между камнями, столь же бесчувственными и холодными, как здешние люди! Я встретила тебя улыбкою, но если б ты мог заглянуть в мою душу, ты бы увидел в ней грусть и сожаление... — Говоря сие, Мария провела Огневика в другую светличку и просила его присесть, а сама возвратилась в комнату, где накрыт был стол, и заперла за собою двери. Огневик, погруженный в мысли, ничего не видел и не слышал и повиновался Марии, как младенец.

Чрез несколько минут Мария отперла двери и сказала:

— Милости просим! Прежде подкрепим силы, а после приступим к делу, требующему отсутствия всех помышлений о земном. Вот вино, похищенное Мазепою в Белой Церкви, из погребов друга и воспитателя твоего Палея! Выпьем за здоровье его и Натальи!

Вино уже было налито, прежде нежели Огневик вошел в комнату. Он принял кубок из рук Марии и, покачав головою, сказал:

— Не вином, а кровью должен я помянуть моего благодетеля и мою невесту. Злодей Мазепа погубил всех нас!

— Мера злодейств его еще не преисполнилась, — примолвила Мария. — Пей и тогда узнаешь более!

Они чокнулись кубками и выпили до дна.

Когда Огневик поставил пустой кубок на стол, Мария взяла его за руку и, подведя к образу, сказала:

— Молись, Богдан, за душу свою!

Огневик с удивлением смотрел в глаза Марии, не понимая, что это значит.

— Молись, Богдан! — примолвила она повелительно.

— Мария! — сказал Богдан гордо. — Во всякое время я готов молиться, но не по приказанию, а по собственной воле. Если ты хочешь объявить мне что-нибудь, говори

прямо, без всяких предварений. Я не намерен быть ничьим игралищем...

Сказав сие, Огневик перекрестился перед иконою, висевшей в углу, и, взяв свой картуз, пошел к дверям, сказав хладнокровно:

— Прощай, Мария Ивановна!

Она схватила его за руку, воскликнув:

— Постой, несчастный! — Не дав ему опомниться, она потащила его в другую комнату и, указав на стул, сказала важно: — Садись и слушай!

Несколько минут продолжалось молчание, наконец Мария сказала:

— Этот стакан вина прислал тебе Мазепа! — Она пристально смотрела в глаза Огневику.

— Будь он проклят! — возразил с негодованием Огневик, порываясь с места.

— Слушай терпеливо! — продолжала Мария. — Этот стакан вина прислал тебе Мазепа, а в стакане вина — смерть!

— Что ты говоришь, несчастная! — воскликнул Огневик, схватя Марию за руку.

— Я просила тебя, чтобы ты слушал терпеливо, — возразила она хладнокровно. — Мазепа выслал нарочно меня к тебе вот с этим лакомством! — Мария, при сих словах, вынула из кармана серебряную коробочку, данную ей гетманом при ее отъезде, и, показав ее Огневику, продолжала: — Здесь хранится жесточайший яд, которым он велел мне опоить тебя, подозревая, что Наталья знает, что ты жив, и, питая надежду увидеться с тобою, не хочет по воле гетмана выйти замуж за пана Понятовского, брата и любимца шведского короля. Твоею смертью Мазепа хочет заставить Наталью повиноваться себе...

— И ты?.. — Огневик не мог продолжать. Бесстрастная душа его в первый раз поколебалась от ужаса и негодования.

— И я взялась исполнить поручение гетмана, — примолвила хладнокровно Мария. — Ты знаешь, что презренная любовь превращается в ненависть, а ненависть требует мщения.

— Видно, жизнь столько же наскучила тебе, как и мне, — сказал Огневик, с притворным равнодушием скрывая ярость свою. — Приготовься к смерти, в свою очередь... Мы умрем вместе! — Он медленно поднялся с места и хотел идти к дверям, чтоб запереть их.

Мария остановила его и сказала с улыбкою:

— Умрем, только не теперь! — Она посадила его на прежнее место и, смотря на него нежно, сказала: — Ужели ты мог подумать, Богдан, чтоб я решилась покуситься на жизнь твою? Я бы отдала сто жизней за твою и теперь жертвую собою для спасения тебя. В эту минуту я хотела только испытать чувства твои ко мне... — примолвила она печально, опустив голову, — но вижу, что ты меня ненавидишь, когда мог подумать, что я в состоянии лишить тебя жизни!

— Но ты сама заговорила о мщении... Ты сама ввела меня в заблуждение, Мария!

— Неужели ты не видишь, не чувствуешь любви моей к тебе! Неблагодарный! Я вся любовь, вся страсть! За один нежный твой взгляд, за один поцелуй я готова в ад... Сия-то любовь к тебе заставила меня принять предложение Мазепы, из опасения, чтоб он не подослал кого другого. Но теперь мне уже нельзя воротиться на Украину, точно так же, как и тебе невозможно нигде избежать подосланных убийц... Мы должны бежать вместе, скрыться вместе от мщения сильного злодея!

— Я избавлю от него землю!.. Пойду и убью его!.. — сказал Огневик решительно.

— А что станет с Натальей? — спросила Мария.

— Прости, Мария, но я, имея столько доказательств твоей дружбы, не хочу тебя обманывать. Убив Мазепу — я женюсь на Наталье!..

— Нет, ты этого не сделаешь, да и Наталья не согласится быть женою убийцы ее отца. Ты не знаешь, что Наталья родная дочь Мазепы...

— Она дочь этого изверга! О, я несчастный! — воскликнул Огневик, закрыв руками лицо.

— Успокойся, Богдан, и если хочешь счастья, вверься мне. Я спасу тебя от мщения Мазепы, отмщу за тебя и соединю тебя с Натальей!

— Ты можешь это сделать?

— Сделаю, если ты будешь мне послушен. Поклянись повиноваться мне во всем беспрекословно, и я клянусь тебе Богом и душою моею, что чрез четыре месяца ты будешь мужем Натальи...

— Если так, то клянусь быть послушным твоей воле!

— Дай мне руку, Богдан! Завтра ты должен отправиться со мною в Польшу...

— Как бежать из службы! — воскликнул Богдан. — Понимаешь ли ты всю важность этого преступления, Мария!

— Ты бежишь не к неприятелю и не от войны. Слушай, Богдан! Если ты станешь проситься на Украину, тебя не отпустят, и мы ничего не сделаем. Брось платье свое в воду, напиши письмо к твоему покровителю, адмиралу Крюйсу: что отчаянье заставило тебя лишиться себя жизни — и ступай со мною. У меня уже готовы паспорта от польского посла, для свободного пропуска слуг его. Я наряжусь по-мужски, и мы, в польском платье, поедem завтра же в Польшу, а оттуда пробежимся на Украину. В Батурине я скрою тебя у себя в доме... Увижусь с Натальей, посоветую ей бежать с тобой за Днепр и доставлю вам средства спастись. Между тем возгорится война в самой Украине, и тебе откроется поприще верною службою к царю загладить бегство твое с флота... Именем Палея мы соберем дружину и явно восстанем против изменника, ибо я знаю наверное, что Мазепа изменит царю при вторжении Карла в Украину...

Радость вспыхнула на лице Огневика.

— Я твой, Мария! — сказал он весело, пожав ей руку. — Делай со мною, что хочешь!

— Сама Наталья позволила бы тебе уступить мне, на время, частичку твоего сердца, которое я сохраняю для нее и отдам в целости, навеки. Богдан!.. ты сказал, что ты мой! будь моим до приезда в Украину, до тех пор, пока не будешь принадлежать навсегда Наталье... С сей минуты здесь твое жилище... ты не выйдешь отсюда прежде, как завтра утром, чтоб прямо отправиться в путь. У меня есть для тебя платье, поддельные волосы, все, что нужно, чтоб не быть узнанным... Ночью мы переговорим и посоветуемся...

Огневик прижал Марию к сердцу.

— Ты истинный друг мой! — сказал он. — Я остаюсь с тобою!

Твердая душа Марии не могла выдержать избытка радости. Мария повисла на шее Богдана, впиалась в него в полном смысле слова и, сказав тихим-тихим и прерывающимся голосом:

— Ты мой... Пусть теперь умру!.. — лишилась чувств.

Мазепа, не смея ослушаться повеления Военного Совета, исполнил его двусмысленно, то есть выслал казаков к войску русскому, но один только Миргородский полк, оставив при себе лучших людей. Сам же переехал в замок свой, Бахмач, вблизи Батурина, и велел разгласить вести о своей смертельной болезни. Орлик управлял войском, получая приказания от гетмана. Мазепа выслал Войнаровского к князю Меншикову, находившемуся в окрестностях Чернигова, для

уверения сего вельможи в своей преданности и объяснений о причинах замедления в высылке войска, поручив сему любимому племяннику выведать о состоянии дел и узнать, нет ли на него каких доносов от людей, ему неприятных.

Между тем Батурицкий гарнизон был усилен, Гадяч и Ромны приведены в оборонительное состояние и войско Малороссийское было готово к выступлению в поход и к бою, по первому приказанию. В сие время прибыла тайно в замок Бахмач княгиня Дульская, с двумя только служителями, в сопровождении влюбленного в Наталью пана Понятовского, который после объяснения с Мазепой ездил к шведскому королю и возвратился с ответом Карла XII и с повторением своей просьбы о браке с Натальей. Вернейшие сердюки содержали стражу в Бахмаче, и никто не смел явиться в замок без особенного позволения гетмана. Ключи не только от ворот, но и от подъемных мостов хранились у Мазепы.

Хитрая княгиня Дульская умела отклонить в Бердичеве предложение Мазепы вступить с ним в тайный брак. Но Мазепу нельзя было обмануть. Обольстив незадолго пред сим простодушную дочь генерального судьи Василия Кочубея, крестницу свою, Матрену, Мазепа из тщеславия, сего врожденного чувства каждого волокиты, хотя и верил еще, что мог внушать привязанность к себе на шестьдесят втором году своего возраста, но не был так прост, чтоб мог надеяться возбудить страсть в кокетке, в женщине уже опытной в любви. А потому при всей страсти своей к княгине он знал, что ее привязывают к нему расчеты честолюбия, и решился воспользоваться страстью для удовлетворения своей страсти. Предугадывая, что только дело необыкновенной важности, сопряженное с личными выгодами княгини, могло принудить ее прибыть к нему тайно, в столь грозное и опасное время, он переменял свое обхождение с нею и, быв всегда самым нежным, самым пламенным и угодливым любовником, решился теперь показаться холодным и сим средством заставить проницательную польку сложить пред ним оружие своей хитрости.

Не ушла от проницательности княгини сия внезапная перемена, но женщина видит глубже в сердце, нежели мужчина, и княгиня в несколько дней заметила, из взглядов Мазепы, что холодность его с нею исходит из головы, а не из сердца. То же дружелюбие было между ними, но Мазепа старался казаться важным, задумчивым и не говорил, как прежде, о любви, хотя они имели частые случаи быть наедине, потому что Наталья, сказываясь больною, не выходила из своей комнаты. Понятовский проводил время один, в мечтаниях, а из

приближенных гетмана не было при нем ни одного. Мазепа до того простер свое мнимое равнодушие, что, приняв княгиню со всею любезностью гостеприимного хозяина, он даже не спросил ее о причине сего внезапного и тайного посещения. Так прошло три дня.

На четвертый день княгиня, получив письмо из Польши, чрез нарочного, не могла более откладывать объяснения с гетманом и решилась на последнее испытание его любви.

Теплый осенний день вызвал в сад Мазепу. Он прогуливался медленно, в уединенной аллее. Княгиня обошла кругом сад, чтоб встретиться с ним.

— Если б не ваш бодрый и здоровый вид, то я в самом деле поверила бы слухам о вашей болезни,— сказала княгиня.— Никогда я не видала вас столь угрюмым, столь печальным... таким холодным,— примолвила она, понизив голос и потупив глаза.— Здесь, в собственном вашем доме, вы кажетесь мне совсем другим человеком!..

— Радость есть выражение счастья, а пламя гаснет, когда на него льют холодную воду. Вам лучше можно знать, нежели кому другому, могу ли я называться счастливым и могло ли чье-либо сердце выдержать более холодности, до собственного оледенения, как мое бедное сердце, измученное безнадежною любовью!

Княгиня молчала и смотрела пристально на Мазепу. Они сели на близстоящую скамью.

— Вы, кажется, не понимаете слов моих, княгиня! — примолвил Мазепа, со значительной улыбкой.

— Напротив того, очень понимаю, что упреки ваши относятся ко мне; но как я не заслужила их, то и не знаю, что отвечать. Знаю только, что если кто вознамерится изгнать любовь из сердца, то призывает на помощь софизмы и, скажу более, несправедливые обвинения...

— Итак, вы меня же обвиняете! — сказал Мазепа с досадою.— Меня, который по одному вашему слову подписал свой смертный приговор, утвердив подписью союз с врагами моего государя! Большей жертвы не мог я вам принести, ибо вследствие сего договора, вверяю ветрам и волнам политической бури жизнь мою, честь и достояние! Я все исполнил, что обещал, а где же ваши для меня жертвы! Вы умели отклонить предложение мое сочетаться тайно браком со мною в Бердичеве, и до сих пор нежная моя любовь была вознаграждаема тем только, чем может пользоваться каждый, желающий вам доброго утра! Кроме милостивого вашего позволения целовать прекрасную вашу ручку, княгиня, я не

пользовался никакими преимуществами пред последним из ваших холопов!

— Вы обижаете себя и меня, князь, подобными упреками! Приглашала я вас и уговаривала вступить в союз с Карлом для собственного вашего блага, для доставления вам независимого княжения и славы и вручила вам все, что невеста может отдать жениху перед венцом — сердце...

— Вы мне отдали сердце, княгиня! — сказал Мазепа нежно, взяв ее за руку и смотря на нее пожирающими взглядами. — Вы мне отдали сердце, — примолвил он и, притянув ее к себе, прижал к груди и страстно поцеловал. Она слабо противилась и, потупя взор, безмолвствовала.

Наконец княгиня, как будто оправясь от смущения, сказала:

— Вы упрекали меня, любезный князь, что я *отклонила* предложение ваше жениться на мне тайно, в Бердичеве. Я *не отклонила* вашего предложения, а только силою рассудка *преодолела* собственное желание. Вы знаете, что многие наши магнаты предлагают мне руку и сердце. Отказать им я не смею теперь, потому что отказом вооружила бы их противу себя и лишила партию нашу сильнейшей подпоры, а вверить тайну брака нашего не смею никому, опасаясь измены. Патер Заленский, которого вы хотели употребить в сем деле, более всех мне подозрителен. Образчик его верности вы уже видели в Батурине, когда вы захватили в своем доме разбойника из шайки Палеевой!..

— Ваша правда, что иезуиту нельзя ни в чем верить; но разве для вас не довольно одного обряда, по правилам нашей греческой церкви?

— Вам известны правила нашей веры: вне римско-католической церкви нет спасения, следовательно, никакой иноверческий обряд не может быть признан законным и священным... На что эти богословские прения теперь, когда чрез несколько недель мы можем обвенчаться явно, в присутствии двух королей! Дело уже в конце...

— В начале только, любезная княгиня, в начале! — примолвил Мазепа с горькою улыбкой.

— Говоря, что дело близко конца, я разумею только соединение ваше с Карлом, хотя и не сомневаюсь в полном и скором успехе войны, ибо король Станислав, мой родственник, получил достоверное известие, что в самой России уже созрел заговор, имеющий целью возведение на престол Алексея, сына царя Петра, и что русские ждут только, чтоб вы показали пример...

— А! вы и это уже знаете! А кто вам сообщил это известие? — спросил Мазепа. — Я сам только третьего дня получил оно.

— Какая-то женщина, мне вовсе незнакомая, которая находится с давнего времени в связях с родственником моим, королем Станиславом...

— Проклятая жидовка! — проворчал про себя Мазепа и потом, обратясь к княгине, сказал нежно: — Зачем нам смешивать любовь с политикой? Быть может, первая пуля на поле брани сокрушит мои надежды и ожидания... Княгиня! Если страсть моя стоит награды, вознеситесь превыше всех предрассудков... — Он замолчал и, обняв одной рукою княгиню, а другую пожимая ее руку, страстно смотрел ей в глаза и трепещущими устами ловил ее уста. Княгиня, при всем кокетстве своем и при всем самоотвержении в политических интригах, едва могла скрыть отвращение свое к ласкам сладострастного старца, который, забывшись совершенно, тянул ее к себе, бормоча что-то невнятное.

Внезапно вскочила она с места, вывернувшись из объятий Мазепы, как выскальзает угрь из рук рыболова.

Мазепа устремил на княгиню мутные глаза и, простирая к ней трепещущие руки, воскликнул отчаянным, глухим, прерывающимся голосом:

— Любовь... или смерть!

Ничто не может быть омерзительнее старца или старухи в любовном иступлении. Дрожь проняла княгиню при виде Мазепы, преданного гнусной чувственности; но она победила свое отвращение к нему и сказала нежно:

— Любовь!.. Но любовь священная, законная...

Мазепа не дал ей продолжать, схватил свой костыль, быстро вскочил с места и, не говоря ни слова, пошел в противоположную сторону. Княгиня возвратилась в комнаты.

Княгине Дульской надобны были деньги для вооружения новонабранного ею отряда в Польше и для изготовления съестных припасов для шведской армии. Она уже истощила свою казну, и богатые магнаты, к которым она прибегнула с просьбою пособить ей, или сами нуждались в деньгах в это трудное время, или, будучи влюблены в княгиню, предлагали ей сокровища свои не иначе, как с рукою и сердцем. Не решаясь лишиться свободы и обманывая всех женихов своих обещаниями, княгиня решила отнестись к Мазепе и надеялась на верный успех при личных переговорах. Но бесстыдные притязания любострастного старца заставили ее отказаться от своих выгод, и она вознамерилась немед-

ленно оставить его и возвратиться в Польшу. Она уже достигла главной цели, убедив Мазепу подписать условия со шведским и польским королями, и хотя она для этого только и притворялась согласною вступить с ним в брак, но ожидала восстановления гетмана с войском противу России, чтоб переменить свое обхождение с ним и обнаружить свои истинные чувствования. Раздумав обо всем основательно, княгиня вознамерилась, однако ж, примириться с Мазепою, но еще не решилась, каким образом приступить к этому, не подвергая себя прежней опасности.

Мазепа чрезвычайно досадовал, что упустил столь привлекательную добычу, и на остаток дня заперся также в своих комнатах, не показываясь своим гостям.

Развратники не верят в женскую добродетель, и Мазепа в этом случае был прав, не веря, чтоб одно целомудрие было причиною упорства княгини к удовлетворению его желаний. Самолюбие не допускало его подозревать в княгине отращение к нему, и потому он заключил, что, вероятно, склонность к кому-нибудь другому господствовала в сердце княгини. Он стал подозревать ее в связях с Понятовским, полагая, что не столько красота Натальи заставляет сего честолюбца искать руки ее, сколько надежда на богатое приданое и значение в независимом войске Малороссийском. В это самое время он увидел из окна княгиню, вышедшую в сад, вместе с Понятовским; они направили шаги в самую темную аллею. Мазепа не предполагал, чтоб они в сию минуту совещались, каким образом выманить у него деньги для вспомоществования их партии, и, мучимый ревностью, думал, что они заняты любовными разговорами.

Мазепа не мог уснуть ночью. Кровь в нем сильно волновалась. Ревность и оскорбленное самолюбие терзали его. Вдруг свет блеснул в саду. Мазепа поспешно встал с постели, приблизился к окну и увидел, что свет из окон дома отражается на деревьях; он поспешно оделся и вышел в сад.

Гетманский дом в замке Бахмаче построен был в виде правильного четырехугольника. Пространство между четырьмя фасадами здания разделялось коридорами на три небольшие двора. Сие два поперечные коридора соединяли между собою два главные фасада. На среднем глухом дворе возвышалась башня, в которой находились архивы и кладовые. В одном конце дома были гостиные комнаты, в середине, со стороны сада, приемная,— а в другом конце жили сам гетман и его приближенные. Дом был каменный в одно жилье. Службы и казармы построены были по сторонам, между домом и

валом, не соединяясь, однако ж, с главным зданием. Замок построен был на краю оврага и обнесен земляным валом, двойным частоколом и глубоким рвом. На всех углах вала стояли часовые. Ворота были одни только и охранялись сильною и верною стражею сердюков, получающих двойное жалованье. Весь гарнизон замка состоял из любимцев гетмана, самых заслуженных казаков, испытанной храбрости и преданности.

Свет отразился из окон приемных комнат.

Только в Бахмаче Мазепа почитал себя в безопасности, будучи уверен, что чужому человеку, особенно злоумышленнику, невозможно пробраться в замок. Из комнат его был особенный выход в сад, в густую липовую аллею, примыкающую к самой стене.

Вышед в сад, Мазепа остановился на изгибе аллеи и вперил взор в окна главного фасада; но свет не показывался более. Он терялся в догадках, кто мог войти в сие время в приемные комнаты, которые всегда были пусты, кроме торжественных дней, когда гетман приглашал гостей попировать с собою по-приятельски. Сия часть дома отделялась от жилых комнат с трех сторон сенями и коридорами, и двери всегда были заперты. Мазепа не сомневался, что княгиня назначила любовное свидание Понятовскому в сих комнатах, чтоб избежать всякого подозрения, ибо они жили в противоположных концах дома и у всех наружных дверей стояли часовые. Подобрать ключи не трудное дело для любовников, думал Мазепа. Он ждал с нетерпением появления света, и вдруг огонь снова блеснул в окне. Женщина, которой ни лица, ни одежды он не мог рассмотреть, подошла к окну и с двумя свечами и тихо махнула ими накрест три раза. Нельзя было более сомневаться, что это условный знак. Мазепа едва мог воздержаться от досады и нетерпения. Свет в окне снова исчез. Все предметы скрылись во мраке, и вдруг на валу, между кустами, при спуске в сад, также блеснул свет. Мазепа затрепетал от злости. Вымышляя самые колкие упреки будущему своему зятю, Понятовскому, Мазепа потихоньку пошел аллеей к кустам, чтоб поймать счастливого своего соперника и заставить его признаться во всем, а после того отправиться к княгине и, побранив ее в качестве жениха, кончить... усладительным примирением...

Осенний ветер колебал деревья; листья с шумом слетали с них и клубились с шорохом по дорожкам сада. Мазепа подошел к самым кустам и увидел двух человек, которые, завернувшись в плащи, сидели на земле. Они были обращены к нему

спиною, а фонарь прикрыт был плащом. Пользуясь шумом ветра и шорохом листьев, Мазепа подкрался незаметно к сидящим и ударил одного из них по плечу, воскликнул грозно:

— А что вы здесь делаете в эту пору?

Человек, которого Мазепа ударил по плечу, быстро вскочил с земли и приставил фонарь к его лицу. Мазепа задрожал и в ужасе отступил несколько шагов, едва держась на ногах.

Это был Огневик!..

— Ни с места и ни слова! — сказал Огневик шепотом. — Или вот этим кинжалом пригвозжу тебя навеки к земле!..

Мазепа что-то хотел говорить, но Огневик, устремив на него кинжал, примолвил:

— Молчи, или смерти!

Гетман повиновался. Холодный пот выступил на нем; в голове его шумело, и трепет объял его, как в лихорадке. Он чувствовал приближение последней своей минуты и не ждал пощады от человека, которого он столь жестоко оскорбил, обманул, предал и хотел, наконец, лишить жизни. Огневик, держа в одной руке кинжал, а в другой фонарь, с какою-то зверскою радостью смотрел на смертельного врага своего, которого судьба предала ему на жертву, и наслаждался приметным страхом его.

— Предатель, убийца, изменник! — сказал Огневик, трепеща от злости и улыбаясь, или, лучше сказать, шевеля судорожно губами, чтоб показаться равнодушным и хладнокровным. — Тебе удалось погубить Палея, но с ним ты не погубил всех его мстителей. Ни клеветой, ни ядом ты не мог оковать той руки, от которой, по закону мздовоздания, ты должен получить награду за твои злодеяния. Ничто не спасло бы тебя, если б, по какому-то расчету ада, покровительствующего тебе, ты не был отцом моей Наталии, ибо чрез несколько минут она будет в моих объятиях и я, прокляв тебя навеки, скроюсь от тебя с нею... Она немедленно явится здесь, а пока ты мой пленник!

Когда Мазепа услышал от Огневики, что жизнь его в безопасности, он мгновенно пришел в себя, и, пока враг его говорил, он уже обдумал и рассчитал все средства, чтоб не только выпутаться из беды, но и расстроить все предначертания Огневики.

— Я не мешал тебе говорить, позволь же, для собственного твоего спасения, и мне сказать тебе пару слов, — сказал Мазепа хладнокровно, насмешливо улыбаясь. — Ты можешь убить меня одним ударом, в этом не спорю; но уверяю

тебя, что пользы от этого не будет тебе. Не я твой пленник, а ты мой! Гнусная жидовка, проклятая Мария изменила тебе и освободила тебя из Кронштадта для того только, чтоб живого предать мне...— При сих словах Огневик побледнел и почувствовал опасность своего положения. Мазепа продолжал:— Она уведомила меня, что доставит тебе сегодня вход в замок, будто для похищения Наталии, и я расставил везде моих сердюков, чтоб схватить тебя, по первому моему свисту. Сад этот и все окрестности наполнены моими войсками! Одно безопасное место есть то, где ты прошел... Чувствую, что я поступил неосторожно и не к стати погорячился, вознамерившись поймать тебя своими руками... Ты точно мог бы убить меня, если б хотел. Но ты поступил со мною великодушно, и я не хочу оставаться у тебя в долгу. Ступай отсель цел и невредим! Бог с тобой! Не берусь провести тебя в ворота замка, ибо не ручаюсь за моих сердюков. Они, может быть, не послушаются меня в этом случае и убьют тебя... Впрочем, я должен еще сказать тебе, что сам Бог вразумил тебя воздержаться от убийства, ибо тогда бы и ты и Наталия пали непременно под ударами моих верных слуг... Богдан! слушай последние слова мои: я тебя прощаю, и если чрез месяц ты, собрав дружину, присоединишься ко мне, когда я выступлю в поход, то награда тебе за первое отличие — рука Наталии... Не хочу более противиться... Мне самому наскучили ее слезы!..

Мазепа, до свидания с Огневиком, почитал его погибшим, поверив письму Марии, с приложением свидетельства от флотского начальства, что Огневик бросился в воду с отчаянья и утонул. Возвратясь на Украину, Мария рассказала Мазепе, будто она отравила Огневика и бросила тело в воду, а письмо от него к адмиралу сочинила сама, подделавшись под его почерк, Мазепа поверил ей, а еще более поверил свидетельству начальства и подарил ей богатое ожерелье, обещав дать, после войны, вотчину. Однако только смущало и удивляло Мазепу, а именно, что Наталия выслушала хладнокровно известие о смерти своего любовника, объявив в то же время, что она решилась наконец отречься от всего земного, и что если б Богдан был даже жив, то все бы просилась в монастырь. Но хладнокровие Наталии происходило от того, что она знала обо всем случившемся с Огневиком, кроме любовной жертвы, принесенной им из благодарности, и надеялась вскоре соединиться со своим возлюбленным. Огневик, прибыв в Украину, скрывался на хуторе Марии. Она-то устроила все к похищению Наталии, дала ей знать и

указала Огневику путь к валу, на который взобрался отчаянный любовник при помощи веревочных лестниц с крюками по концам. Место сие, при крутизне оврага, почитаемое непроходимым, было, однако ж, оберегаемо часовым, которого Мария успела подговорить к измене и бегству. Мария не думала никогда изменять Огневику и ждала его нетерпеливо на хуторе, с тремя оседланными лошадьми. Все, что в сию опасную минуту сказал Мазепа Огневику, было не что иное, как вымышленная им сказка, основанная на предположениях; догадках и лжи. Увидев Огневика, он не сомневался, что Мария вступила с ним в заговор и что она же доставила ему средства войти в замок, и потому искусною ложью решился освободиться от одного врага и в то же время оклеветать другого.

Огневик не отвечал ни слова, но скрежетал зубами со злости и с отчаянья. Товарищ его тянул его за руку к валу, шепча ему на ухо:

— Воспользуемся случаем, пока изверг не раздумал! На свободе придумаем что-нибудь лучшее. Была бы голова на плечах, а Наталия будет наша!..

Вдруг послышался шорох и шаги бегущего человека.

— Спасайся, Богдан! Вот бегут сердюки! Они, верно, слышали шум и боятся за меня... Еще минута, и я не в силах буду даровать тебе жизнь...

Товарищ Огневика насильно увлек его за вал, и они быстро покатались вниз...

Мазепа с улыбкой смотрел им вслед, приговаривая про себя: «Не уйдешь от меня, голубчик, и с твоею ведьмою! Я вас отправлю вместе!» Едва он успел повернуться, кто-то с разбегу чуть не сшиб его с ног. Он схватил за руку... Это была Наталия!

— Поздно, милая! — сказал Мазепа... Она ахнула и упала без чувств на землю.

С великим трудом Мазепа дотащил несчастную дочь свою до дому, разбудил немого татарина, спавшего всегда в ближней комнате, возле его спальни, и с помощью его привел ее в чувство.

— Поди, дочь моя, и успокойся, но не гневайся на меня за то, что я приму меры предосторожности, чтоб воспрепятствовать тебе к вторичному покушению обесславить себя и меня бегством.

Мазепа взял связку ключей, велел татарину светить и повел Наталью чрез все комнаты, в башню. Вошел в одну обширную и хорошо убранную комнату, возле архива, где н

долго пред сим жил один из его секретарей, Мазепа указал на софу и сказал:

— Отдохни здесь, милая дочь! Завтра мы переговорим с тобою! — Замкнув двери снаружи железным запором и двумя замками, Мазепа возвратился в свою комнату.

Он не успел еще раздеться, как сторожевой урядник от ворот постучался в двери. Мазепа вышел к нему. Урядник доложил, что генеральный писарь Орлик с племянником его, Войнаровским, прискакали верхом из Батурина и требуют, чтоб их немедленно впустили в замок и разбудили гетмана.

Сердце Мазепы сильно забилося.

— Впусти их и скажи, что жду их в моей почивальне.

Выслав Войнаровского к князю Меншикову для шпионства и обмана, Мазепа велел ему оставаться до тех пор в русском лагере, пока сам он не выступит в поход и не перейдет чрез реку Сожу. Мазепа предчувствовал, что внезапное возвращение Войнаровского не означает добра. С нетерпением ожидал он его появления.

Вскоре Орлик и Войнаровский предстали пред Мазепою, и он, взглянув на них, убедился, что не обманулся в своем предчувствии. Орлик и Войнаровский не могли скрыть своего страха и горести. Войнаровский поцеловал руку дяди и сказал печально:

— Дурные вести!

— Не торопись, племянник, и отвечай основательно и хладнокровно на мои вопросы. Что ты услышал дурного?

— Замысел наш, отложиться от России, известен князю Меншикову, — отвечал Войнаровский.

— Каким же образом он объявил тебе об этом?

— Он мне ничего не объявил, но я узнал это от приближенных его, моих приятелей.

— А что же сказал сам князь, отпуская тебя в обратный путь?

— Он мне не мог ничего сказать, потому что я не видал его перед моим отъездом.

— Как? ты уехал не простившись с ним!..

— Меня предостерегли, что князь намерен задержать меня и пытаться. Я тайно бежал из русского лагеря.

— Так уж дошло до того, что хотят пытаться родного моего племянника!.. Кто же надоумил князя?

— Русский генерал Инфлант поймал под Стародубом поляка Улищина, посланного к вам Понятовским с письмами и словесным поручением. Несчастливого пытали на огне, под виселец, и он сознался, что слышал от Понятовского, что

вы присоединяетесь к шведам. Письма Понятовского к вам также объясняют многое. После этого князь Меншиков велел взять под стражу и пытать Войта Шептаковского, Алексея Опоченка, приятеля управителя ваших вотчин, Быстрицкого, которого бегство к шведам также известно в русском лагере. Опоченко не вытерпел истязаний и сознался, что Быстрицкий в проезд свой к шведам был у него, объявил ему, что едет к неприятелю по вашему поручению и что вы ждете только вторжения Карла в Украину, чтоб восстать противу царя Московского. Во всех этих дознаниях князь Меншиков хотел удостовериться моими показаниями, и уже определено было исторгнуть из меня истину огнем и железом. Князь послал к царю нарочного с донесением обо всем случившемся и с просьбою о позволении взять вас немедленно под стражу...— Войнаровский замолчал, и Мазепа, который слушал его хладнокровно, сложив крестом на груди руки и устремив на него неподвижный взор, сказал:

— А ты безрассудным своим бегством подверг меня большому подозрению, нежели незначащий чиновник и польский шпион своими показаниями!

— Неужели мне надлежало ждать, пока меня станут пытать?

— А почему ж нет? Регулы и Курции шли бесстрашно на верную гибель и мучения для славы и чести отечества, а мы не можем выдержать пытки!.. Где же та римская добродетель, которою ты похвалялся? Осталась в школе, вместе с учебною книгою!..— Мазепа насмешливо улыбнулся.— Да, племянник! Если б ты выдержал пытку и не сознался, то опровергнул бы все доносы и подозрения..

— Я не предполагал, признаюсь, чтоб вы требовали от меня такой жертвы,— сказал Войнаровский с досадою.

— Я от тебя ничего не требую, любезный племянник, но этого требовало от тебя твое отечество, для независимости которого мы идем ныне на смерть; требовали твоя слава и твое будущее величие, зависящее от успеха нашего предприятия! Но упреки не у места! Сталось, Орлик! Надобно будет упросить русского полковника Протасьева, чтоб он съездил к князю Меншикову и попросил от моего имени извинения за безрассудный отъезд моего племянника... К царю и Головкину я сам напишу.

— Протасьев не откажет вам,— отвечал Орлик.— Вы умели привязать его к себе...

— Золотою нитью,— примолвил Мазепа, стараясь улыбнуться и своим хладнокровием, при столь ужасной вести,

ободрить унывших своих клеветов. Но видя, что лица их проясняются, Мазепа сам принял угрюмый вид, сел, опустил голову на грудь и задумался.

Прошло около четверти часа, и никто из них не промолвил слова; вдруг Мазепа быстро вскочил с кресел и, обращаясь к Орлику, спросил:

— А сколько у нас, в Батурине, отборных казаков, кроме сердюков, готовых к походу?

— Около пяти тысяч,— отвечал Орлик.

— Довольно на первый случай. Завтра, на конь и в поход! Я сам веду их за Десну,— сказал Мазепа. Взор его пламенел.

— Завтра! Вы сами, дядюшка! Зачем такая поспешность... За Десною русское войско...

— Побереги советы для себя, племянник! Я знаю хорошо, что делаю...— Мазепа захлопал в ладоши. Явился татарин.— Вели подать мне моего коня!— сказал Мазепа.— Господа! Я тотчас еду с вами в Батурин и на рассвете в поход!

— Дядюшка, позвольте мне остаться и проводить княгиню до польской границы,— сказал Войнаровский умоляющим голосом.— Теперь опасно женщине возвращаться этою дорогою...

— Предоставь мне позаботиться о безопасности княгини,— возразил Мазепа с лукавою усмешкой.— Между тем прошу присесть, мои паны! Я сейчас переоденусь, вооружусь и — на конь. Не должно прерывать сон моих гостей. Завтра я пришлю сюда мои распоряжения.

Пока Мазепа одевался и вооружался, подвели коней к крыльцу, и он отправился в путь, сопровождаемый Орликом, Войнаровским и неотступными своими слугами, немым татаринком и казаками, Кондаченкой и Быевским.

ГЛАВА XV

И наведу на тя убивающа мужа и секиру его.

Прор. Иеремии, глава 21, стих 7

Увянет! жизнью молодою
Недолго наслаждаться ей.

А. Пушкин

Отборное войско, назначенное к выступлению в поход вместе с гетманом, уже собралось за городом. Отцы и матери, жены и дети, любовницы и невесты толпились на сборном месте. Генеральные старшины и полковники ждали гетмана

на паперти собора, чтоб отслужить молебен. Уже было около полудня. Войнаровский сказал старшинам, что гетман занят письменными делами.

И в самом деле Мазепа писал письма к государю, к графу Головкину, к барону Шафирову и к князю Меншикову, уведомляя их о своем выступлении в поход и уверяя в своей преданности к священной особе царя русского и в непоколебимой своей верности к престолу. Между тем в ту же ночь отправлен был гонец к шведскому королю с известием, что уже войско Малороссийское двинулось на соединение с ним. Когда все письма были готовы, Мазепа отдал их Орлику для отправления и призвал к себе немого татарина и казака Кондаченку.

— Верные мои слуги! — сказал Мазепа, положив руку на плечо Кондаченки и погладив по голове татарина. — Я знаю вашу преданность ко мне, а потому хочу поручить вам дело, от исполнения которого зависит спокойствие моей жизни...

— Что прикажешь, отец наш! За тебя готов в огонь и в воду! — сказал Кондаченко.

Татарин положил правую руку на сердце, а левою повел себя по горлу, давая сим знать, что готов жертвовать своею жизнью.

— Надобно спровадить с этого света две души... — примолвил Мазепа.

— Изволь! Кому прикажешь перерезать горло?.. — воскликнул Кондаченко, схватившись за саблю.

Татарин зверски улыбнулся и топнул ногою.

— Тот самый палеевский разбойник, который был уже в наших руках и отправлен мною в ссылку, бежал из царской службы и бродит по окрестностям. Он сей ночи ворвался даже в Бахмач... Надобно отыскать его и убить, как бешеную собаку...

— Давно б пора! — отвечал Кондаченко.

Татарин махнул рукой.

— Злодея этого освободила и привела сюда изменница Мария Ломтиковская, — продолжал Мазепа. — Это сущая ведьма... От нее нельзя ничего скрыть и нельзя ей ничего поверить... Надобно непременно убить ее...

— Жалеть нечего! — примолвил Кондаченко.

Татарин покачал головою и вытаращил глаза.

— Тебе кажется удивительным, что я хочу убить Марию, — сказал Мазепа, обращаясь к татарину. — Она изменила мне, продала меня врагам моим!

— Петля каналье! — воскликнул Кондаченко.

Татарин кивнул головою и снова провел пальцем по горлу.

— Тебе, Кондаченко, я отдаю все имущество Марии,— сказал Мазепа,— а ты,— примолвил он, обращаясь к татарину,— бери у меня, что хочешь... Казна моя не заперта для тебя.

Кондаченко бросился в ноги гетману, а татарин только кивнул головой.

— Эту бумагу отдай есаулу Кованьке в Бахмаче,— сказал Мазепа, подавая бумагу Кондаченко.— Польские гости мои так испугались моего внезапного отъезда, что бежали в ту же ночь из замка, не дождавшись свидания со мною. Ему бы не следовало и не следует ни впускать, ни выпускать никого без моего приказа. Подтверди ему это! Вот ключ от той комнаты, где я запер Наталью,— примолвил он, отдавая ключ татарину.— Ты знаешь где. Второпях я забыл отдать ключ Кованьке. Поспешайте же в Бахмач. Ведь Наталья взаперти осталась без пищи, а ты знаешь, что в эту половину дома никто не зайдет, и хоть бы она раскричалась, то никто не услышит... Когда исправите свое дело, спешите ко мне, где б я ни был. Я иду за Десну... Прощайте... Вот вам деньги!..— Мазепа дал им кису с червонцами, и они, поклонясь, вышли.

Огневик, спустясь с валу, опомнился от замешательства, в которое привела его мнимая опасность.

— Мы дурно сделали, что не убили злодея,— сказал Огневик товарищу своему,— пока он жив, я не могу быть счастливым! Вся адская сила в его руках!..

— После рассудим! — отвечал Москаленко.— Теперь надобно спастись... Я не верю великодушию Мазепы и опасаясь погони...

Они влезли на берег оврага, по приготовленной ими веревочной лестнице, подняли ее, вскочили на коней своих, с которыми ждал их казак, и поскакали в лес.

Возвращаясь в Украину, Огневик случайно встретился с Москаленкой в пограничном польском местечке и узнал от старого своего товарища подробности о взятии Белой Церкви изменой и о бегстве семьи Палеевой, с несколькими десятками казаков, в Польшу. Москаленко, услышав от Огневики о намерении его похитить Наталью, взялся помогать ему, отыскивал старых казаков палеевских, рассеянных по окрестностям, и собрал ватагу из тридцати человек, готовых на самое отчаянное дело. Мария отправилась одна в Батурин, и когда устроила все к побегу Наталии и переговорила с нею, то дала

знать Огневику, и он, пробираясь по ночам непроходимыми местами со своей ватагой, прибыл в окрестности Батурина и расположился в лесу, неподалеку от Бахмача. В эту ночь Мария ждала его на своем хуторе, где собралась и ватага, чтоб вместе с Натальей бежать в Польшу.

Проскакав несколько верст по узкой тропинке, они выехали на поляну и завидели огонь на хуторе. Огневик придержал своего коня и сказал Москаленке:

— Ты слышал, друг мой, что говорил Мазепа: Мария изменила нам, предала... Она должна получить воздаяние...

— Высечь бабу порядком, чтоб помнила казацкую дружбу,— отвечал Москаленко.

— Нет, друг, этим она от меня не отделается! Она заслужила смерть.

— Неужели ты решишься убить женщину! — воскликнул Москаленко с удивлением.

— Я убью не женщину, но ядовитую змею, которой жало грозит не только мне, но и Наталье. Ты знаешь, любезный друг и брат, какая необходимость заставляет меня решиться на это отчаянное средство? Ад внушил Марии любовь ко мне, на пагубу мою! Не будучи в состоянии погасить во мне любовь к Наталье, она решилась погубить меня и, вероятно, погубит также и Наталью. Доказательства измены ее ясны и неоспоримы...

— Делай, что хочешь! — сказал Москаленко.

Собака подняла лай на хуторе, и у ворот встретили их казаки. Мария выбежала на крыльцо с пукон зажженной лучины и, не видя Натальи, спросила Огневика: «А где ж она?»

Огневик, не приветствуя Марии и не отвечая ни слова, вошел в избу и, не снимая шапки, сел на скамью. Казаки остались на дворе с Москаленкой; одна Мария последовала за Огневиком. Она стояла перед ним, смотрела на него с удивлением и беспокойством и наконец спросила его:

— Что с тобой случилось, Богдан? Где Наталья?

Искусство твое в предательстве не спасет тебя теперь от заслуженной тобою кары, изменница! — сказал Огневик грозно. — Я говорил с самим Мазепой, и он все открыл мне... — Огневик смотрел пристально в глаза Марии, но она была спокойна и, покачав головой, горько улыбнулась.

— Ты встретился с Мазепой! — сказала она. — Видно, он не мог ни убить тебя, ни захватить в неволю, когда довольствовался одним обманом!

— Замолчи и готовься к смерти,— закричал в бешенстве Огневик, вскочив с места.— Довольно был я игралищем ваших козней! На колени и читай последнюю молитву! — Огневик выхватил саблю.

— Несчастный! Неудача и любовь ослепили твой рассудок, а гнев заглушил голос совести. Ты поверил общему нашему злодею и обвиняешь меня... Меня! Зачем было мне подвергаться опасности и трудам, чтоб предать тебя Мазепе, когда жизнь твоя была уже в моих руках в Кронштадте, а свободю твою я могла располагать в Кармелитском монастыре, в Бердичеве? Но если смерть моя может доставить тебе утешение, убей меня! — Мария при сих словах бросилась на колени и обнажила грудь.— Рази, пробей сердце, в которое ты влил вечную отраву! Жизнь моя — тяжкое бремя, пытка! Освободи меня от мучений... О! убей меня, убей!.. Мне сладко будет умереть от руки твоей!.. Ты будешь плакать по мне, Богдан, будешь сожалеть обо мне!.. Ты полюбишь меня за гробом, когда истина откроется... Убей меня!..

Огневик, занесший уже саблю, чтоб поразить Марию, остановился. Но она ухватила за его колени и пронзительным голосом вопияла:

— Сжался надо мною и убей меня! милый Богдан, не смущайся, не робей... Я прошу у тебя смерти, как милости, как награды за любовь мою!..

Жалость проникла в сердце Огневику. Он вспомнил все, что Мария для него сделала, и ее отчаянье, ее необыкновенное мужество в последний час, ее самоотвержение заставили его усомниться в истине его подозрений. Он вложил саблю в ножны и сказал ласково:

— Встань, Мария,— объяснимся!

Мария рыдала. Твердая душа ее размягчилась. Почти бесчувственную Огневик поднял ее с пола и посадил на скамью. Долго она не могла прийти в себя; наконец, когда выплакалась и несколько поуспокоилась, сказала с упреком:

— И ты мог подозревать меня в измене! И ты мог поверить Мазепе!

— Да рассудит между нами Бог! — возразил Огневик.— Быть может, ты невинна, Мария, но на моем месте ты сама стала бы подозревать...

— Нет, я не стала бы подозревать того, кто дал мне столь сильное доказательство любви, преданности, самоотвержения!..

— Довольно, Мария! Выслушай и после рассуди...

Огневик рассказал ей все, случившееся с ним в Бахмаче. Мария задумалась.

— Нет! — сказала она после долгого молчания. — Нет, случай, а не измена свел тебя с Мазепою. Из чужих людей один только сердюк, стоявший на часах над оврагом, знал нашу тайну, и этот сердюк здесь; он бежал от мести гетмана, следовательно, изменить было некому. Притом же, верь мне, Богдан, что если б Мазепа был в состоянии задержать тебя, то он не выпустил бы тебя из рук!..

При сих словах Марии Огневик почувствовал, что он слишком поспешно поверил словам Мазепы и слишком торопливо последовал совету своего товарища, представлявшего ему опасность неизбежную.

— Весьма вероятно, — примолвила Мария, — что гетман, мучимый бессонницею или поспешая на любовное свидание с княгинею, забрел один в сад и случайно наткнулся на тебя... Хладнокровие и присутствие духа даровало ему преимущество над тобою, Богдан! Я думаю, что он был в твоей власти, а не ты в его.

— Быть может! — сказал Огневик с досадою. — Но теперь одна смерть заставит меня отказаться от исполнения моего предприятия... Во что бы то ни стало — Наталья будет моя...

В сие время служитель Марии вошел в избу и подал ей бумагу, сказав, что она прислана с нарочным из Батурина.

Мария поспешно прочла и сказала Огневику:

— Гетман прибыл в Батурин и сего же утра выступает в поход... Что-нибудь необыкновенное заставило его решиться на это быстрое выступление...

— Тем лучше для меня! — воскликнул Огневик. — Завтра же я попробую напасть врасплох на Бахмач и силою вырвать Наталью из заключения...

— Об этом поговорим с тобою после. Теперь поди и отдохни, Богдан. Я обдумаю дело и скажу тебе мое мнение...

Через несколько времени все покоились на хуторе. Только Огневик и Мария бодрствовали. Мария заперлась в своей комнате, а Огневик расхаживал по двору, в задумчивости. Утренние лучи солнца застали его в сем положении, и он, возвратясь в избу, бросился на лавку и уснул от изнеможения.

Мазепа, выступил из Батурина с пятью тысячами войска, пошел к Десне, рассылая повсюду приказания вооружаться и присоединяться к его отряду. Но приказания его исполнялись неохотно, и он, остановясь лагерем при местечке

Семеновке между Новгородом-Северским и Стародубом и простояв с неделю, едва собрал до десяти тысяч воинов. Здесь Мазепа получил известие от шведского короля, что он ожидает его с нетерпением, в Горках, местечке, лежащем при реке Проне, в Польше, в Могилевском воеводстве, неподалеку от русской границы, и что всякую медленность со стороны Мазепы примет за доказательство его измены и неустойки в слове. Подозреваемый русским царем и шведским королем, Мазепа должен был наконец открыться и действовать. Он желал и страшился этой решительной минуты. Ночь была тихая, но мрачная. Это было 25 октября: костры ярко пылали в лагере; казаки, сидя вокруг огней, готовили ужин и разговаривали между собою весело о будущих битвах, шумели, пели. Мазепа сидел у окна в уединенной рыбацкой хижине, стоявшей над рекой, на возвышении, и, подперши голову рукою, смотрел на лагерь. В избе не было огня.

Шум в лагере начал утихать мало-помалу; огни угасали; только часовые перекликались унылым голосом. Мазепа, не раздеваясь, прилег на походную постель и уснул.

Верный Орлик находился неотлучно при гетмане и в эту ночь спал в сенях рыбацкой хижины, на ящиках с важными бумагами, с войсковыми клейнодами и с червонцами, которые везли за войском на двадцати вьючных лошадях. Орлик не мог сомкнуть глаз. Грустные мысли и какое-то злое чувство терзали его сердце. Сколько ни старался он облагородить предстоящую измену лжемудрствованиями, тайный упрек совести разрушал хитросплетения ума. Страшно было подумать, что он завтра нарушит присягу, данную законному царю, что должен будет проливать кровь одноверцев и соплеменников и служить орудием чужеземцам к угнетению однокровных. Не имея твердости отстоять от Мазепы, он молил Бога, чтоб он внушил ему мысль отказаться от измены и направить путь в царский лагерь. Еще не ушло время. Никто в войске не знал о намерении гетмана, хотя уже приближалась последняя минута... Орлик мечтал и раздумывал, переворачиваясь с одного бока на другой; вдруг в избе гетманской раздался пронзительный крик. Орлик вскочил с постели... За воплем последовал глухой стон... Орлик схватил саблю и бросился к гетману, полагая, наверно, что убийцы ворвались в гетманскую избу через окно или через крышу. Быстро отворил двери Орлик и остановился. Только тяжелое дыхание гетмана извещало, что в избе есть живая душа.

— Пане гетмане! что с вами случилось? — спросил Орлик.

Нет ответа.

— Пане гетмане! Иван Степанович! — закричал Орлик. Глухой стон раздался во мраке.

Орлик выбежал из избы, взял свой фонарь, зажег свечу у огня, разведенного стражею перед крыльцом, и возвратился к гетману.

Мазепа лежал на полу. Пот градом лился с лица его, глаза были полуоткрыты, уста посинелые, смертная бледность покрывала лицо. Он взглянул мутными глазами на Орлика, тяжело вздохнул и сказал слабым голосом:

— Подними меня.

Орлик поднял его, положил на постель, зажег свечи на столе и с беспокойством смотрел на него, ожидая последствий. Гетман молчал и сидел на постели, склонив голову на грудь, потупив глаза и сложив руки на груди.

— Не прикажете ли позвать лекаря, пане гетмане? Вы, кажется, нездоровы.

Гетман покачал головою и молчал.

— Что с вами сделалось, скажите, ради Бога! Не нужно ли пустить кровь!.. Я побегу за лекарем!

— Я здоров... Ужасный сон!.. Садись, Орлик... я расскажу тебе!..

Орлик содрогнулся. Его самого мучили предчувствия и тяжкие, страшные сны.

Мазепа молчал и тяжело вздыхал.

Несколько времени продолжалось обоюдное молчание. Наконец Мазепа сказал:

— Я не верю в сны, Орлик! Они не что иное, как игра воображения... Но я видел страшный сон!.. Ты знаешь, что я в юношеских годах проживал в Польше и, находясь при дворе одного знатного пана, любил жену его и был любим взаимно. Спасаясь от мести раздраженного мужа, я бежал в Запорожье. Супруги после того примирились, но любовь наша с прекрасною полькою продолжалась. Она ездила на богомолье в монастыри, лежащие на границе, и я видался с нею. Залогом тайной любви нашей был сын... Муж снова стал подозревать, и моя любовница решилась бежать ко мне, с младенцем... Она бежала от мужа, но не являлась ко мне... И она и младенец пропали без вести! Вероятно, мстительный муж убил их. Прошло около тридцати лет... Я был женат после этого, имел детей, овдовел, осиротел, искал отрады в любви, любил многих, был счастлив в любви... Но первая любовь и привязанность к первому детищу моему не истребились из памяти моей!.. Часто, часто вижу я в мечтах и во сне мою

возлюбленную с младенцем на руках, прижимающихся к моему сердцу... Это самые сладостные и самые горькие минуты моей жизни, Орлик!.. В эту ночь я также видел их... но в ужасном положении... Ты знаешь, что Наталья прижита мною уже после смерти жены моей... Я люблю Наталью всей душою, но первое детище мое, живущее в одном воображении, в мечтах — мне милее ее... Не понимаю этого чувства и не могу тебе объяснить его. Кажется, это кара небесная! В эту ночь я видел их обоих!.. Мне чудилось, будто я стою на краю пропасти. С правой стороны стоит возле меня моя возлюбленная, с младенцем на руках, а с левой Наталья. Вдруг земля стала осыпаться под нашими ногами. Я хотел бежать, но какая-то невидимая сила удерживала меня. Наталья покатилась в пропасть и в падении ухватилась за колени мои. В эту самую минуту моя возлюбленная отдала мне на руки младенца — и исчезла. Спасай детей твоих!.. — раздался пронзительный голос... Невольно, как будто судорожным движением я оттолкнул Наталью, и она ринулась в пропасть. И вдруг младенец, которого я держал на груди моей, обхватил ручонками вокруг моей шеи и стал душить меня... Я хочу оторваться... Наконец хочу бросить ребенка... но нет... он впился в меня, он душит меня... я упал... и мы все погрузились в бездонную пучину... Внизу были дым и пламя. Раздались хохот, свист, змеиное шипенье... ударил гром... Я проснулся и очутился на полу, без сил, без языка, в поту... В это время явился ты, верный друг мой!

— Страшный сон! — сказал Орлик. — Но кажется мне, что он ничего не предвещает, а есть только следствие ваших помышлений и слабости телесной. Вы изнурили себя походом, пане гетмане... Я три ночи сряду видел сны гораздо ужаснее! Мне грезились пытка, палачи, кнут, плаха...

— Вздор, пустяки! — примолвил гетман. — Сны твои остаток робости, следствия страха, при исполнении нашего предприятія, которое если б не удалось, то повело бы нас на плаху. Но вот уже мы стоим на рубеже... Один переход — и мы в шведском лагере!..

— Но кроме меня и Войнаровского никто не знает еще ваших замыслов, пане гетмане. В целом войске только мы одни согласны перейти к шведам. Что будет, если другие не согласятся... Если захотят выдать нас царю?

— Будет то самое, что было бы, если б мы на месте стали подговаривать старшин и казаков пристать к нам и если б один из тысячи задумал нам изменить. Разница в том, что теперь нам легче будет, при слабой помощи, избежать предательства

и бежать к шведам, нежели в то время, когда Карл был далеко, а вокруг нас русские войска. Теперь, в случае неудачи, я беру на себя одного всю ответственность и не подвергну друзей моих несчастью, за привязанность и доверенность ко мне. Не удастся — и один глоток яду покроет все мраком! Я довольно жил, друг Орлик, довольно наслаждался жизнью, чтоб жалеть ее! Я играю в кости. Смерть или корона!..

Мазепа замолчал, и Орлик стоял перед ним, опустив голову, волнуемый различными противоположными мыслями и чувствами, не смея ему противоречить и не изъявляя своего согласия. Между тем начало светать.

— Вели войску приготовиться к выступлению в поход, по первому трубному звуку; а как все будет готово, то пускай паны старшины и полковники придут ко мне, в нарядной одежде.

Орлик, не отвечая ни слова, вышел из избы и велел трубачам трубить зорю, а к полковникам и старшинам разослал вестовых с приказанием гетмана.

Через два часа войско стояло в боевом порядке, а старшины и полковники собрались перед жилищем гетмана. Вынесли бунчук, большое знамя войсковое и серебряные литавры. Орлик дал знак, чтоб старшины и полковники сели на коней. Вышел гетман в богатом польском кунтуше с голубою лентою чрез плечо и звездой ордена Белого Орла, с булавою в руке. Два есаула подвели ему коня, а третий поддерживал стремя. Бодро вскочил на коня Мазепа и, приветствовав собрание, поехал шагом к войску, предшествуемый литавриком, бунчужным и хорунжим, со знаменем. Прочие старшины и полковники ехали с тылу.

Войско приветствовало гетмана радостными возгласами, думая, что его поведут немедленно в бой, против шведов. Мазепа остановился на середине и велел всем полкам, вытянутым в одну линию, составить круг. Орлик объявил, что гетман хочет говорить с войском. Настала тишина. Мазепа произнес следующую речь:

— Товарищи! Мы стоим теперь над двумя безднами, готовыми поглотить нас, если не минуем их, избрав путь надежный. Вожющие государи до того ожесточены друг против друга, что падет держава побежденная. Важное сие событие последует в нашем отечестве, пред глазами нашими. Гроза наступает. Подумаем о самих себе! Когда король шведский, всегда победоносный, уважаемый, наводящий трепет на всю Европу, одержит верх и разрушит царство русское, мы поступим в рабство поляков, и оковы, которыми угрожает нам лю-

бимец короля Станислав Лещинский, будут тягостнее тех, кои носили предки наши! Если допустим царя московского сделаться победителем, чего должно ожидать нам, когда он не уважил в лице моем представителя вашего и поднял на меня свою руку? Товарищи! Из видимых зол выберем легчайшее. Уже я положил начало благосостоянию вашему. Король шведский принял Малороссию под свое покровительство. Оружие решит участь государей. Станем охранять нашу собственную независимость. В шведах мы имеем не только друзей и союзников, но благодетелей. Они ниспосланы нам самим Богом! Позаботимся о пользах своих, предупредим опасность. Этого требует от нас потомство. Страшимся его проклятий!

Мазепа кончил речь, и молчание в войске не прерывалось. Старшины посматривали друг на друга с недоверчивостью, и каждый полагал, что он один только непричастен открытой тайне, а потому не смел изъявить своего образа мыслей. Простые казаки и низшие офицеры думали, что все старшины и полковники, прибывшие торжественно с гетманом, согласны с ним, а потому готовы были беспрекословно повиноваться общей воле своих начальников. На сие внезапное впечатление рассчитывал гетман — и не ошибся. Когда Орлик и несколько приверженцев возгласили ура гетману, все войско повторило сей возглас, и когда Мазепа поворотил коня на дорогу к Горкам, и воскликнув:

— За мной, братцы! — устремился вскачь к польской границе — все поскакали за ним.

И Черниговский полковник Полуботок был при гетмане. Внезапность сего события поразила его, и быстрота в исполнении гнусного замысла отняла все средства к противодействию. Но когда, перешед границу русскую, гетман поехал тихим шагом, тогда Полуботок вдруг своротил с дороги и закричал:

— Стой! Ко мне, братья черниговцы!

Все войско остановилось. Мазепа с изумлением и недоверчивостью устремил взор на Полуботка, который, обратясь к войску, сказал:

— Что вы делаете, безрассудные! Лукавый попутал вас устами клятвопреступника, и вы, не размыслив о судьбе жен и детей ваших, забыв душу свою — стремитесь на общую гибель! Если сердца ваши так закрепили в измене, что вы не хотите слушать гласа истины и совести — пролейте кровь мою! Не хочу пережить бесславия Малороссии и прошу у вас смерти. Но прежде, нежели убьете меня, послушайте! Только один царь православный на целом свете, и вы, православ-

ные, изменяете вашему царю, и вы, поверив прельщению дьявольскому, идете служить папистам и лютерам противу главы и защитника нашей церкви, противу единокровного царя и братьев наших по вере и по происхождению! Сия измена и предательство хуже Иудиной, ибо Иуда, предав Христа Спасителя, не проливал сам крови его, а вы присоединяетесь к врагам помазанника Божия, царя православного, и должны будете, вместе с иноверцами, проливать кровь братьев ваших, проводимых самим царем! Не один стыд в потомстве и проклятие церкви ожидают вас, но и гибель отечества нашего будет следствием вашей гнусной измены! Хотя бы шведский король и остался победителем, но все-таки он не покорит целой России и не останется в ней навсегда. Он должен будет возвратиться в свое ледяное царство, и тогда Польша овладеет Украиной, если русский царь не будет в силах или не захочет защитить нас. Помните, что, поддаваясь шведу, мы поддаемся Польше. Нет, друзья и братья, не изменять должны мы русскому царю, чтоб выбиться из его подданства, но служить ему верою и правдою и умолять его, чтоб он не лишал нас своей державной защиты и не исключал из верноподданства, ибо Малороссия может быть счастливою только под державою царя православного и единоплеменного. Братья и друзья! кто верен Богу, совести и родине — за мной — к царю!

При сих словах Полуботок ударил коня и устремился в обратный путь. Множество казаков последовало за ним, с шумом и криком.

— Ударим на них, истребим упорнейших и заставим других возвратиться! — сказал Войнаровский, обращаясь к гетману.

— Нет, племянник! Я не хочу начинать дела пролитием братней крови, междоусобием! — сказал Мазепа. — Пусть себе они идут к царю! Универсалы мои возвратят всех их под мое гетманское знамя! Вперед!

Войско разделилось почти на две равные части. Одна половина поскакала в тыл, другая — с Мазепою, в шведский лагерь.

На другой день, по выступлении Мазепы из Батурина, Огневик с ватагой своей, состоящей из пятидесяти неустрашимых казаков палеевских, приблизился к Бахмачу и остановился в лесу. По совещании с Марией он решился воспользоваться первыми сутками после отсутствия гетмана и

всех старшин из столицы войска, пока успеют привести все в прежний порядок, расстроенный внезапным походом гетмана. Начальство над Батурином вверено было полковнику Чечелу, а в замке Бахмач оставался по-прежнему есаул Кованько, с сотнею сердюков. Огневик вознамерился напасть на замок в ту же ночь, а между тем Мария отправилась в Батурин. Она выдумала следующее средство к овладению замком. Один из чиновников войсковой канцелярии был ей предан совершенно. Он должен был написать приказание Кованьке, от имени гетмана, принять десять конных казаков для рассылки. Канцелярист умел подделывать почерк Мазепы, а Мария имела у себя подложную войсковую печать. Лишь только бы Кованько отворил ворота в Бахмач, для пропуска посланных будто бы гетманом казаков, они должныствовали броситься на стражу и в сие время ватага Огневики ворвалась бы в замок и овладела им. Мария отправилась в Батурин со светом и должна была присоединиться к ватаге вскоре после полудня.

Мария поехала в Батурин в небольшой тележке, запряженной в одну лошадь, управляемую мальчиком лет двенадцати. Она не отыскала преданного ей канцеляриста, который, пользуясь отсутствием войскового писаря, в то же утро отправился со знакомыми, за город. Не дождавшись возвращения его до вечера и зная, что подозрительный Огневик станет беспокоиться в ее отсутствие, Мария решила ехать к нему, объявить о случившемся и отложить исполнение предприятия до следующего дня.

Немой татарин видел ее в городе и скрытно следил за нею. Когда она выехала за городские ворота по дороге к Бахмачу, татарин вскочил на коня, вооружился и поскакал вслед за нею.

При въезде в лес он догнал ее.

Мария ужаснулась. Хотя немой татарин долгое время служил ей в тайных делах и даже изменял для нее своему господину, но внезапное появление его в это время, когда она полагала, что он в походе с гетманом, привело ее в трепет, и какое-то мрачное предчувствие сжало ее сердце. Татарин, опередив телегу, дал знак, чтоб она остановилась.

Мария исполнила его желание. Татарин слез с коня, привязал его к дереву и с язвительною улыбкою на устах, устремив быстрый взгляд на Марию, приблизился тихими шагами к телеге, остановился, отступил шаг назад, захохотал злобно и быстро, с размаху, как тигр, вскочил на телегу, одной рукой схватил за горло Марию, а другою мальчика, спрыгнул с ними

на землю, обнажил ятаган, и, едва Мария успела испустить пронзительный вопль, он уже отрезал ей голову и пробил грудь малолетнему ее слуге. Татарин, совершив сие двойное убийство, в мгновение ока поднял за волосы голову Марии, полюбовался своею добычею и положил голову в кожаный мешок, бывший при седле.

Увязывая мешок, он заметил, что подпруты при седле его ослабли и одна из них лопнула. Он стал переседлывать лошадь.

Вдруг послышался конский топот, и, прежде нежели татарин успел отскочить в чащу леса, четыре всадника прискакали на место убийства.

Это был Огневик с тремя товарищами. Не дождавшись Марии и сгорая нетерпением, он поехал к ней навстречу, слышал пронзительный вопль, полетел стрелой, но не успел спасти ее.

Огневик узнал татарина, наскочил на него, взмахнул саблей, и татарин, избегая удара, упал на колени и, простирая руки, просил помилования взорами и знаками. Товарищи Огневика прискочили туда же, повалили на землю трусливого злодея и сели на руках и на ногах его.

Огневик слез с коня и подошел к трупку несчастной. С ужасом и сожалением он стоял над обезглавленным телом, истекающим кровью, и слезы катились по лицу его. Он догадывался, что сие убийство есть месть Мазепы за избавление его от яда.

— Друзья! — сказал он казакам. — Делать нечего — злодеяние совершилось, по крайней мере преступник не избегнет казни. Повесьте его на дереве!

Казаки отвязали аркан от седла, сделали петлю и, накинув на шею татарину, хотели вязать ему руки.

Он страшно завизжал, выхватил из-за пазухи ключ (тот самый, который дал ему Мазепа при отъезде, чтоб отпереть тюрьму Натальи в Бахмаче) и, показывая этот ключ Огневику, делал быстрые движения руками, прикладывая их к сердцу, силился что-то произнести; показывал на дорогу в Бахмач... Но его не понимали ни казаки, ни Огневик.

— Это, верно, ключ от казны гетманской, — сказал один казак.

Татарин сделал отрицательный знак, указывал на Огневика и прикладывал руку к сердцу... но его не понимали.

Огневик подошел к нему, выхватил ключ и закричал грозно:

— В петлю злодея!

В минуту татарин уже висел на суку, и один из казаков, чтоб скорее кончить дело, схватил висельника за ноги и дернул изо всей силы.

Тело Марии и несчастного слуги ее зарыли в яме под деревом, на котором повесили убийцу, и Огневик с грустью в сердце поскакал к своей ватаге.

В тот же вечер двое горожан, возвращаясь в Батурин с ближнего хутора, увидели татарина, висящего на дереве, над свежей могилою, и дали знать об этом полковнику Чечелу.

Весть о сем разнеслась по всему городу, и все радовались погибели ненавистного татарина, страшась за другую жертву, ибо каждое семейство имело отсутствующего члена. Когда на другое утро Чечел выслал отряд казаков, чтоб предать земле тело татарина и узнать, кто лежит в свежей могиле, множество жителей поспешило на место злодейства. Все поражены были ужасом, отрыв тело Марии и ее слуги и найдя отрезанную голову в кожаном мешке. Как Мария слыла в народе чародейкою, а татарин был не христианин, то легковёрный народ приписал убийство дьяволу и не хотел поставить креста на могиле.

Один Кондаченко разгадал истинную причину этого события и сообщил свои подозрения полковнику Чечелу, объявив о поручении, данном гетманом, умертвить Марию и Огневика, скитающегося в окрестностях Бахмача. О Наталье Кондаченко вовсе не помышлял. Чечел и Кондаченко не сомневались, что убийство Марии есть дело татарина и наверное полагали, что он погиб от руки Огневика. Догадки сии подтвердились полученным в тот же день известием от поселян, видевших толпу запорожцев, укрывшихся в лесу. Чечел послал Кованьке приказание быть осторожным в Бахмаче и, не имея конных казаков, не мог послать погони за запорожцами, он запер городские ворота и расставил кругом крепкие караулы. Огневик, узнав, что пребывание его в окрестностях дошло до сведения властей, удалился в степи, по направлению к Белой Церкви.

Прошло восемь дней от убийства Марии, и вдруг в Батурин прискакал гонец от гетмана с известием, что он поддался с войском под покровительство короля шведского. Полковнику Чечелу приказано было защищать Батурин от русских до последней капли крови и распространить в народе универсалы гетмана и короля шведского, в которых изложены были причины и пользы соединения со шведами и обещаны новые

вольности и права народу Малороссийскому. Универсалы уже были напечатаны прежде и хранились в одном шкафу войсковой канцелярии. Гетман писал к Чечелу, что он надеется на его верность и потому производит его в генералы и отдает в вечное владение все вотчины полковника Полуботка, которого назвал в письме изменником и отступником от народа малороссийского.

Ужасное смятение возникло в народе при получении этого известия и при чтении универсалов. Буйные люди рады были случаю к ниспровержению порядка и послушанию властям; смиренные, честные, богобоязливые устрашились клятвопреступления и измены, предвидя гибель отечества. Жители Малороссии разделились на партии, неприязненные одна другой. Одни утверждали: что *гетман благ есть*; другие говорили: что *он льстит и обманывает народ*¹. От споров дошло до драк, и прежде нежели универсалы русского царя проникли в Малороссию, уже все благомыслящие люди приняли его сторону.

Полковник Чечел, есаул Кованько и сердюки пребыли верными гетману. Батурин и Бахмач снабжены были всеми средствами к защите. Чечел выгнал из города всех подозрительных горожан и решился сопротивляться русскому войску до последней крайности, если оно обратится к Батурину.

Огневик, пользуясь случаем, вышел с ватагою своей из мест, где укрывался, и, приглашая всех сынов Украины быть верными русскому царю и громить изменников, собрал в несколько дней дружину в несколько тысяч человек. Он подступил к Бахмачу, требуя именем царским сдачи замка и приглашая казаков соединиться с ним под хоругвь Палея, которого скорый возврат он возвещал всем верным украинцам и малороссиянам. В самом деле, при первом известии об измене Мазепы, Огневик написал прошение к царю, от имени всей Украины, о помиловании Палея и послал его чрез Киев, в главную квартиру, не сомневаясь в правосудии царя и в успехе своего предприятия.

Есаул Кованько отвергнул предложение Огневику, но в числе его подчиненных было много приверженцев Палея, гнушавшихся изменою. Они отперли ночью ворота замка, опустили подъемный мост и впустили в замок Огневику с его дружиной.

Кованько с преданными гетману казаками заперся в доме

¹ Слова современных летописей.

и отстреливался до утра. Тогда Огневик с саблею в руке устремился на приступ, со старыми палеевцами, и чрез несколько минут дом был взят, большая часть упорствующих казаков перебита, и Кованько, израненный, попал в плен.

Огневик не велел употреблять огнестрельного оружия при штурме дома, опасаясь, чтоб в перестрелке не подвергнуть Наталью опасности. Овладев домом, он велел привести пред себя Кованьку и спросил:

— Где Наталья, дочь гетмана?

Кованько смотрел ему в глаза с удивлением и спросил:

— А разве она здесь?

— А где же она может быть? — воскликнул с нетерпением Огневик. — Разве ты отправил ее куда-нибудь, по выезду отсюда гетмана?

— Я не видал ее с того времени, — отвечал просто-душно Кованько. — Здесь оставалась княгиня Дульская и какой-то польский пан; но они, узнав, что гетман уехал ночью в Батурин, тотчас бежали в Польшу, а о Наталье я вовсе не слышал, где она девалась, и думал, до сих пор, что гетман выслал ее в ту же ночь из Бахмача...

— Нет, я знаю, что он не увез ее с собою!.. — сказал Огневик, едва удерживая свое нетерпение.

— Ну, так после гетманского отъезда ни одна душа, кроме пани Дульской и польского пана, не выходила из Бахмача. Это верно, как Бог на небе!

— Лжешь!.. Говори правду!.. Признайся, где она... или я тебя растерзаю на части!.. — завопил Огневик в бешенстве, ухватя за волосы Кованьку и потрясая саблею.

— Бей, режь на части! Твоя воля и твоя сила!.. — сказал хладнокровно Кованько, — но я не знаю, где Наталья, и готов присягнуть на этом!

— Братцы, берите топоры и ломы, разбивайте все двери, обыщите все углы в доме! — сказал Огневик, обращаясь к своей дружине. — Все ваше, что найдете здесь... откройте только убежище Натальи... Она должна быть здесь!..

Во всех концах дома раздался стук и треск, шум и вопли: двери слетали с крюков, шкафы и сундуки распадались на части, драгоценные вещи, серебро, оружие, одежды рвали, ломались, раздирались буйными хищниками, которые дрались между собою за добычу... Огневик ничего не видел и не слышал: он перебегал из комнаты в комнату, искал Натальи и кликал ее громогласно.

Толпа остановилась перед железной дверью, ведущую в башню.

— Здесь казна гетманская! — закричал один казак, и топоры застучали. Но дверь противилась всем усилиям. Стали ломать стену, чтоб вынуть крюки, на которых укреплена была дверь, но стена в сем месте складена была из дикого камня, на котором ломались орудия. В это время подошел к двери Огневик с Москаленко: «Здесь должна быть казна гетманская, итак, попробуем ключа, который мы отняли у татарина. Я сохранил его в надежде побывать в Бахмаче — и так и случилось...

С этими словами Москаленко добыл ключ из сумы, вложил в замок, повернул, и дверь со скрипом отворилась. Жадная грабежа толпа с воплями бросилась стремглав в двери... и вдруг, как будто встретив под ногами пропасть, быстро подалась назад, толкая стоящих позади. Водворилась тишина. На всех лицах изображался ужас... Некоторые казаки закрыли лицо руками, другие крестились.

— Пустите меня! — сказал Огневик. Толпа раздалась, и он вошел в дверь.

Если б сердце его пробили раскаленным железом, если б кровь его превратилась в пожирающее пламя, он не ощущал бы больших мучений, какие произвело в нем зрелище, открывшееся его взорам, при вступлении в дверь... На полу лежал иссохший труп, с открытыми глазами, с отверстыми устами, на которых видна была запекшаяся кровь... На лице остались следы ужасных судорог... Руки были изглоданы... Это были несомненные признаки голодной смерти... В сем обезображенном трупе Огневик узнал — Наталью!..

Несколько минут Огневик стоял неподвижно, как оглушенный громом. Страшно было взглянуть на него! Лицо его покрылось сперва смертною бледностью, взор померк, он задрожал, и вдруг глаза его налились кровью, щеки запылали, из груди излетел глухой стон, и он бросился на труп, схватил его в объятия и стремглав побежал из комнаты. Никто не смел остановить его. Выбежав на двор, с драгоценною ношею, он закричал:

— Коня! моего коня!

Казак подвел ему коня. Огневик завернул труп в свой кобеньяк, перевалил его чрез седло, вскочил на коня и понесся из замка во всю конскую прыть.

ГЛАВА XVI

...Нет! в твой век
Уж не бунтует кровь: она покорна
Рассудка воле; виден ли ж рассудок
В такой замене? Ты имеешь смысл —
Имея мысли — но он спит сном мертвым.
Здесь и безумство истину бы зрело,
И никогда не меркнул столь разум,
Чтоб в выборе подобном заблужденю
Причастным быть мог. О! какой же демон
Тебя так злобно, дивно ослепил?

Шекспироз Гамлет
(перевод М. Вронченко)

Восемь человек казаков ехали верхом по лесу, без дороги, наудачу, с трудом пробираясь между деревьями. Двое из них были изранены и едва держались на лошади. Усталые кони чуть передвигали ноги. Поднявшись на кургане, один из казаков завидел вдали воду.

— Ура, братцы! Мы спасены! — закричал он громко. — Река, река!

Казаки перекрестились.

— Река доведет нас непременно до какого-нибудь села, — сказал один из казаков, — а как солнце еще высоко, то, может быть, мы попадем на ночлег в живое место.

— А если село занято шведами или изменниками запорожцами? — возразил другой казак.

— Ну так мы поедem в другое село, — примолвил первый казак. — Важное дело в том, чтоб попасть на дорогу к жилым местам и выбиться из этого проклятого леса, а ведь река — та же дорога. Это, верно, Сула, потому что как мы бросились в лес, то Ромны оставались у нас направо, а мы ехали все прямо.

— Дай-то Бог, чтоб это была Сула!

Это было в начале весны 1709 года. Вода в реке поднялась высоко и ускоряла ее течение. Нельзя было помышлять о переправе, а потому казаки, утолив жажду, отдохнув и напоив коней, поехали вдоль берега, по течению реки. Солнце уже начинало садиться, но казаки не нашли еще ни дороги, ни даже стези. Они уже намеревались провести ночь в лесу, как вдруг, вдали на берегу реки, показался дым. С радостью поспешили казаки в то место.

Выбравшись на поляну, они увидели, что дым выходил из землянки, вырытой на скате крутого берега. Казаки подъехали к землянке и стали громко звать хозяина. Вышли

два человека. Один из них был старец в ветхой монашеской рясе, с четками в руке, в черной скуфье, подбитой лисьим мехом; другой в цвете лет, но бледный, исхудалый, с черною бородою, в изношенной казацкой одежде. Начальник прибывших казаков пристально всматривался в младшего отшельника и вдруг, бросив поводья, сплеснул руками и громко воскликнул:

— Так! я не ошибаюсь! Это Богдан! Это наш Огневик!..

Отшельник поднял глаза, потом опустил голову на грудь, как будто припоминая что-нибудь, и наконец протянув руку к начальнику казаков, сказал:

— Здравствуй, Москаленко! Я не думал увидеться с тобою в здешней жизни. Какими судьбами занесло тебя в эту пустыню?

— Я тебе расскажу это после, — отвечал Москаленко, соскочив с лошади и бросившись обнимать Огневика. — Слава Богу, что я нашел тебя! — примолвил Москаленко. — У меня есть для тебя хорошие вести!

— Я не жду и не надеюсь добрых вестей в здешнем мире, — отвечал Огневик. — Я умер для света!..

— Пустое, брат! — возразил Москаленко. — Ты волен отказать от света во всякую пору, но не можешь отказать от отечества, когда оно в опасности, когда чужеземник раздирает и язвит его железом и пламенем, когда угрожает ему рабством... Огневик! Отечество — вот первая святыня, драгоценнее души и жизни, а наша святая Русь теперь в опасности, наша Русь призывает сынов своих к оружию... Нет, Богдан! Бог и царь, вера и закон повелевают тебе возвратиться под знамена нашего прежнего военачальника, нашего батеньки, старика Палей...

— Как! Палей жив, Палей возвращен!.. Слава Богу! Теперь я умру спокойно!.. — воскликнул Огневик.

— Так, Палей снова на коне, Палей в прежней славе! Но и Палей, и все наши удалцы то и дело что вспоминают о тебе... Я тебе расскажу обо всем подробнее, только, ради Бога, накорми нас и призри моих раненых... Но я от радости и позабыл о хозяине... Благослови, святой отец! — Москаленко подошел к старику схимнику и поцеловал его руку. Старец осенил его крестом.

— Милости просим! — сказал Огневик. — Но вы у нас ничего не найдете, разве немного рыбы и муки...

— Чего же более! — вскричал один из казаков. — Коли есть мука, так будут галушки. Без того нам пришлось бы глотать кору или жевать мох в этом проклятом лесу...

Казаки слезли с коней, привязали их к деревьям и стали разводиться огонь и делать для себя шалаш. Схимник пригласил раненых и Москаленку в свою землянку, сам перевязал раны страждущих и отдал Москаленке весь запас свой, мешок муки и лукошко сушеной рыбы. В землянке подложили дров на очаге и один из казаков стал варить пищу, между тем как другие искали корму для коней. Тщетно Москаленко старался возбудить любопытство в Огневике и заставить его самого рассказать свои приключения, со времени взятия Бахмача. Огневик не расспрашивал его ни о войне, ни о старых товарищах и не хотел отвечать на вопросы. Он был угрюм и грустен, сидел на обломке дерева, потупя глаза, и, казалось, не замечал происходящего вокруг него. Вопросы Москаленка как будто тревожили его. Казалось, что Огневик в уединении своем отвык от человеческих речей. Когда поставили ужин и казаки собрались в землянку, Огневик вышел и углубился в лес.

После ужина казаки вышли из землянки, и в ней остались только схимник и Москаленко.

— Давно ли находится здесь мой товарищ? — спросил Москаленко.

— Более года.

— Кажется, что пустыня не исцелила души его?..

— Я исцелил тело его, а душу исцелит вера. Теперь, благодаря Бога, он уже помнит себя и может молиться. Но я встретил его в ужасном положении, — примолвил старец, — и до сих пор не знаю, кто он, откуда и что за труп привез он сюда. Я почитал его преступником и не хотел раскрывать сердечных ран его расспросами, а старался только пролить утешение в его душу...

— Нет, он не преступник, — возразил Москаленко, — а несчастный. Он жертва чужого преступления. — При сем Москаленко рассказал старцу про любовь Огневика к Наталье и про несчастную ее кончину.

Старец прослезился и погрузился в думу.

— Ужасно действие, но еще ужаснее последствия необузданных страстей, — сказал старец. — Я видел это на другом моем. По прошлой осени я бродил однажды по лесу, — примолвил старец, — собирая целительные травы, и, утомясь, сел отдыхать под деревом. Внезапно ветер переменялся и меня обдало сильным запахом гнилости. Желая исследовать причину, я пошел противу ветра и — набрел на ужасное явление. На поляне лежал издыхающий конь и возле него сидел, на камне, человек с всклоченными волосами, с зверским

взглядом, бледный, изнуренный... Он держал на коленях полу-согнившийся труп женщины... это был друг твой!

С трепетом приблизился я к нему, решившись, хотя бы с опасностью жизни, исполнить христианский долг и помочь несчастному. Он был в беспамятстве, в онемении чувств. Дико смотрел он на меня — и не видал ничего перед собою, кроме трупа; он не слышал речей моих и тогда только опомнился, когда я хотел вырвать труп из его объятий. Страшным, пронзительным голосом завопил он тогда, сжимая труп, и наконец упал без чувств... Я воспользовался этим временем, чтоб зарыть в землю мертвое тело... и с великим трудом перетащил несчастного в мою землянку. К ночи открылась в нем сильная горячка.

Болезнь его была трудная, и бред, в минуты иступления, ужасен!.. Он беспрестанно видел перед собою кровь, убийства, пожары, терзания... вопил о мести и грыз себя, воображая, что раздирает врагов своих. Много мне стоило труда беречь его от самоубийства! Учась смолodu врачеванию недугов, я истощил все мои познания и средства, чтоб исцелить несчастного, и Господь благословил труд мой. Но грусть налегла на его сердце, и только одна вера и молитва поддерживают его существование. Он почти безмолвен и проводит все время на могиле погребенной мною женщины. Я всегда сожалел об нем и молился за него, но теперь, узнав, что он чист душою, вдвое более скорблю о несчастном. Все от Бога — помолимся Ему! — Старец стал молиться, Москаленко клал земные поклоны.

Помолившись Богу, Москаленко просил старца проводить его на могилу Наталии. Они вышли в лес, и, пройдя с полверсты, старец указал ему Огневика, стоящего неподвижно между кучею камней. Москаленко пошел туда один.

Огневик находился в забвении. Он смотрел на безоблачное небо, на ясный месяц и поворачивал голову на все стороны, как будто ища на небе образа своей Наталии. Слезы текли по лицу его, но на устах была улыбка — улыбка, выражающая не радость сердца, но надежду и тихую грусть, питающуюся мечтами. Он не приметил приближения Москаленки, который, став рядом с ним, усердно молился.

Наконец Огневик увидел своего товарища и как будто внезапно проснулся. Воспоминания ожили в душе его: он громко зарыдал и бросился в объятия Москаленки.

Долго они стояли в безмолвии друг против друга, и наконец Огневик, указав рукою на камни, сказал тихо:

— Она здесь!

— А убийца ее и твой гонитель еще жив и упивается кровью наших собратьев,— отвечал Москаленко с сильным чувством.— Тебе, Богдан, воину и вольному сыну степей, постыдно лить слезы на могиле жертвы злодейства, когда должно мстить за нее, за себя и за благодетеля твоего, Палея, мстить, вместе с нами, за оскорбленное отечество...

Огневик воспламенился словами Москаленки. Это были первые слова мести, услышанные им со времени смерти Натальи.

— Мсть и смерти!..— воскликнул он.

— Смерть, казнь и позор Иуде-Мазепе! — сказал с жаром Москаленко.— Нет греха убить его, как нет греха убить дикого зверя. Мазепа предан церковью анафеме, проклят из рода в род... Палей завещал тебе мщение в подземелье Кармелитского монастыря; смерть Наталии требует очистительной жертвы. Кровь за кровь — казнь за казнь!

— Кровь за кровь! — возопил с бешенством Огневик.— Иду с тобою,— примолвил он, схватив за руку Москаленко.— Казнь за казнь! Смерть злодею!

Москаленко прижал его к сердцу.

Огневик был в сильном волнении. Вырвавшись из объятий Москаленки, он бросился на колени и, воздев руки к небу, сказал громко:

— На этом священном для меня месте, где я вскоре надеялся слечь, клянусь отмстить за все зло, нанесенное мне Мазепею, и собственными руками умертвить чадоубийцу — предателя, изменника отечеству...

— Амины! — сказал Москаленко.

Огневик встал и с видом спокойствия возвратился к землянке. Они шли в безмолвии. Пришед на берег, Огневик сел рядом с Москаленкой на камнях и, помолчав несколько, сказал:

— Ты верно любопытствуешь знать, как я зашел сюда? Я сам не знаю! Схватив в объятия труп Натальи, я поскакал... Сердце мое рвалось от бешенства и злости, в голове кружились черные мысли. Я хотел убить Мазепу, себя... кипел мостью противу всего человеческого рода... Помню только, что я отрубил саблею косу Натальи и обвил вокруг моей шеи... Помню, что конь пал подо мною... И наконец я проснулся — в землянке отшельника.— Огневик замолчал и задумался. Слезы навернулись у него на глазах, и он продолжал: — Мне тяжело будет расставаться с могилою Наталии! Я решил было провести здесь остаток жизни, в посте и молитве. Ты заставил меня переменить мое намерение. Возвращаюсь

в свет, ненавистный мне... еду с тобою! Но Расскажи мне, что делается между людьми, что случилось с Украиной, с Палеем, с царем... Где неприятель? Я в это время не жил, никого не видал, ничего не слыхал!

Москаленко начал свой рассказ:

— После того, как ты оставил нас в Бахмаче, ватага наша присоединилась к войску царскому. В это время дело шло о выборе гетмана, на место Мазепы. Мнения в войске и между старшинами были не согласны. Народ хотел Палея, а старшины намеревались выбрать Полуботка. Но царь не захотел ни того, ни другого. Оба они казались опасными. О Полуботке царь сказал: «Он слишком хитер и может сделать то же, что Мазепа». Царь приказал выбрать Скоропадского, полковника Стародубовского, человека доброго, но слабодушного, с умом ограниченным. Войском Малороссийским управляют воеводы русские, а гетман поставлен только для вида. Много недовольных между старшинами, и все опасаются, чтобы пророчество Мазепы не сбылось, то есть, чтоб после войны не было с нами того же, что случилось со стрельцами.

Царь получил письмо твое и тотчас приказал уволить Палея. Ему возвращен Хвостовский полк. Цепи не охладили его крови, и ссылка не усыпила в нем отваги. Сильна душа его — но тело ослабело в страданиях. Уже он не тот бодрый и неутомимый воин, который в старости превосходил нас, молодых, в искусстве владеть конем и саблею. С трудом держится он на коне, но не престаёт помышлять о благе войска. Он хочет подать царю челобитную о нуждах нашего края и просить его о восстановлении древних привилегий. Ты крайне нужен ему.

Вторжение шведов в Украину и измена Мазепы сначала поразили страхом всех — кроме царя! Кажется, он ждал Карла в России, приказав войскам своим уходить перед шведами из Польши и сражаться только при крайней необходимости. Никогда король шведский не был так силен, как в то время, когда выступал из Саксонии, с намерением свергнуть царя с Московского престола. С ним было сорок тысяч опытных воинов, из коих каждый привык сражаться противу десятиерых врагов — и побеждать. Шведский генерал Левенгаупт шел за ним с двадцатью тысячами войска и бесчисленными запасами. Мазепа обещал шведскому королю тридцать тысяч казаков и всю Сечь Запорожскую. Карл XII шел в Россию, как на пиршество, и думал, что вся трудность при завоевании русского царства состоит в непроходимых путях и больших

расстояниях. Жажда русской крови, король шведский с быстротою тигра спешил за отступающими русскими отрядами и в самое неблагоприятное время, осенью, углубился в леса и болота литовские. Голод, труды, болезни и русские штыки на каждом шагу уменьшали число шведов, и когда король пришел на Десну, то, как мы после узнали, войско его уже находилось в крайности, быв принуждено бросить в лесах и болотах большую часть пушек, обозов и съестных и боевых припасов. Король надеялся на Мазепу. Он явился не как сильный союзник, а как беглец, ищущий убежища и защиты от угрожающей ему казни. Запасы, снаряды, оружие и казна, приготовленные Мазепой для шведов, достались русским. Батурин, Ромны, Гадяч, Белая Церковь взяты русскими приступом и приверженцы изменника побиты без пощады. Настала зима, какой не запомнят старики, и шведы дошли до крайности. Помощь и обозы с казною и припасами, которые вел Левенгаупт, достались также русским, и едва несколько тысяч шведов спаслись. Отряд Левенгаупта разбит наголову! С Польшей пресечено всякое сообщение. Мазепины козни кое-как поддерживали шведов, но когда они стали грабить поселян, то и последние приверженцы Мазепы от него отступились. Народ, в свою очередь, восстал противу грабителей и бьет их, где только может. Без всякой пользы шведы переходили с места на место и проливали кровь, чтоб овладеть пустыми городами и селами, а между тем русское войско укреплялось и устраивалось. По несчастью, Мазепе удалось недавно склонить к бунту кошевого атамана запорожцев Гордеенку. Слух об этом пронесся в нашем войске, но царь не хотел верить. Меня послали с малым отрядом в тыл шведской армии, чтоб разведать об этом основательно. Нечаянно напала на меня сильная ватага запорожцев. Они требовали, чтоб я сдался, но мы пробились сквозь них и рассеялись в лесу, условившись, чтоб каждый поспешал своим путем к войску и уведомил об измене запорожцев. Таким образом я попал сюда!..

Шведский король осаждает теперь Полтаву, где хранятся запасы русского войска. Если он возьмет город, то дела его поправятся; если же город устоит до тех пор, пока царь успеет подойти на помощь, то будет решительная битва... Надеюсь, что мы еще поспеем на этот пир!

На другой день Огневик взял коня и оружие одного тяжело раненного казака, не могшего продолжать путь, и отправился с Москаленкой к русскому войску.

Шведский лагерь под Полтавою находился на западе от

города и прикрывался редутами. В первой линии расположена была отборная шведская пехота, а по обоим крылам конница. В середине возвышалась ставка королевская. В некотором расстоянии за первой линией находился резерв из финских стрелков и эстлянских гренадер. За резервом, в полуверсте, помещался обоз, состоявший из крестьянских телег с военными тяжестями и с малым количеством съестных и боевых запасов. Обоз был прикрыт отрядом Мазепы. За обозом расположен был аррьергард, из нескольких тысяч пехоты и войска Запорожского, присоединившегося к шведам незадолго пред сим.

С падением могущества Мазепы исчез страх, которым окоченены были сердца и уста его подчиненных. Из числа оставшихся при нем до сей поры старшин и полковников не было ни одного, который бы пожертвовал собою из любви и преданности к гетману. Одних увлекло честолюбие, других корыстолюбие, третьих ложно понимаемая любовь к родине, некоторых привычка повиноваться беспрекословно ужасному для всех гетману. Страх казни и надежда на гений шведского короля удерживали сих несчастных, преступных или заблудших от возвращения к долгу и присяге. Но все они, постигая важность принесенной ими жертвы, почитали Мазепу своим должником и хотя повиновались его приказаниям по делам службы, но обращались с ним почти так же, как со своим равным, позволяя себе говорить резкие истины и намеками упрекать в общем бедствии. Даже покорный, раболепный Орлик уже осмеливался иногда спорить со своим благодетелем и возражать ему. Низшие офицеры и казаки, которых осталось при гетмане не более полуторы тысячи, хотя терпеливее сносили всякого рода недостатки, нежели начальники, но, заразясь примером запорожцев, слабо соблюдали военную подчиненность, чувствуя, что они все делают не по долгу, а по собственной воле. Отряд Мазепы походил более на толпу бродяг, нежели на войско.

Мазепа огорчался сим расположением умов, но сносил все терпеливо, будучи уверен, что с возрождением его могущества возобновятся в его подчиненных прежние чувствования и что с успехом оружия шведского вся Малороссия и Украина пристанут к нему и охотно подчинятся его власти. Еще Мазепа не отчаивался, хотя дела короля шведского и приняли неблагоприятный оборот. От взятия Полтавы зависела участь предстоящей кампании, ибо в сем городе находилось несметное число всякого рода запасов, в которых шведское войско терпело совершенный недостаток, а потому и не могло

действовать наступательно. Многие опытные мужи, из приближенных Карла, верили, что после взятия Полтавы откроется путь в Москву, где ожидает их славный и полезный мир. Они не знали вовсе ни Петра, ни России! Плохо знал их и сам Мазепа, хотя и не разделял вполне надежд Карла и его приближенных.

В лагере готовились праздновать день рождения шведского короля, 8 июня. Носились слухи, что в сей день объявлен будет приступ к городу, чтоб овладеть оным до прибытия царя, приближавшегося с сильным войском. Но накануне король шведский, получив известие, что партия русских фуражиров показалась в тылу лагеря, отправился противу их с конным полком, чтоб удостовериться лично, к какому отряду принадлежит эта партия, ибо слышно было, что царь с войском уже недалеко и спешит на выручку осажденного города.

Уже было около полудня, но король еще не возвращался из разъезда. Между тем казацкие старшины завтракали в ставке прилуцкого полковника Горленки, которому удалось достать хлеба и водки, почитавшихся тогда редкостями в шведском лагере.

— Выпей еще чарочку, пане писарь! — сказал хозяин. — В Батурине я бы попотчевал тебя чем-нибудь получше, а здесь прошу не прогневаться...

— Батурин!.. Не вспоминай о Батурине все, — возразил Орлик с тяжким вздохом. — Развалины его священны для казака: они облиты чистой казацкой кровью.

— Жалки не те, которые пали с оружием в руках, — сказал полковник Покотило, — а мы, мы, изгнанники, осужденные на казнь, отринутые отечеством и церковью, в нужде, в бедствии, между иноплеменниками, терзающими нашу родину!..

— Перестань, псаломщик! — сказал с досадою Герциг. — Твоим жалобам нет ни конца, ни меры! Все одна песня на голос Иеремии... Кто нас отринул? Те, которые почитают нас изменниками своему царю и которых мы почитаем изменниками отечеству! Еще мы в чистом поле, еще владеем оружием — и дело наше еще не решено. Войско Малороссийское там, где хоругвь, где клейноды войсковые, где сам гетман и где хартии наши... Здесь только может быть суд и расправа между нами...

— Сказка, красная сказка, пане Герциг! — возразил Чуйкевич. — Правая сторона та, на которой сила. Наши хартии, наши войсковые клейноды разлетятся в прах от пушечных

выстрелов, если король шведский не останется победителем... А обманывать нам друг друга не для чего. Успех Карла — дело сомнительное!

— Вот что правда, то правда, — примолвил Покотило. — Славны бубны за горами! Короля шведского представляли нам каким-то полубогом, а воинов его героями, неким чудом, людьми неуязвимыми, железными! Ну вот мы познакомились с ними покороче! Правда, нет равного Карлу — в упрямстве, а шведы хотя храбры — но смертны, и так же, как и мы, грешные, не могут жить на пище Св. Антония и не глотают русских пуль, а валяются от них, как и мы, негерои!.. Вместо того чтоб идти в Польшу, мы проголодали и продрогли всю зиму здесь, чтоб иметь удовольствие драться с русскими на наших пепелищах, за обгорелые головни, а теперь вот уже шесть недель стоим под Полтавой да ждем, пока попутный ветер не занесет к нам из города запах жареного...

— Срам подумать, что у короля сорок тысяч войска, а в Полтаве едва ли и пять тысяч русских!.. — примолвил Горленко.

— Нечего дивиться, что мы попали впросак, поверив мудрости гетманской, — сказал Забелла, — но вот диво, как-то наш мудрый пан гетман попал сам в эту западню! Кажется, он до сих пор не ошибался в расчетах, какому святому и перед каким праздником должно ставить свечу и класть поклонны.

Раздался в толпе хохот.

— Уж правду сказать, что наш гетман жестоко ошибся в своем расчете, — сказал Жураковский. — Мне, право, стыдно за него, когда подумаю, чем он был и что он теперь! Ведь нас было тысяч до пяти, как мы перешли к шведам, а теперь нет и полуторы тысячи. Апостол и Галаган подали пример, так с тех пор, при всяком случае, казаки наши перебегают десятками в московский лагерь и скоро некому будет сторожить войсковые клейноды. Что толку, что вы, пане генеральный писарь, день и ночь пишете с гетманом универсалы и приглашаете всех присоединиться к нам! Вас не слушают ни казаки, ни украинские поселяне и, вместо того чтоб помогать нам, бьют шведов, где только удастся поймать их...

— А кто виноват! Зачем шведы грабят наших? — примолвил Забелла.

— Нужда заставляет брать насильно, когда не хотят даже продавать съестных припасов, — возразил Герциг. — Ведь мы просим и платим...

— Итак, вот лучшее доказательство, что народ малороссийский и украинский не хочет быть заодно с нами и верен ца-

рю,— сказал Забелла.— Не испытывай броду, не суйся в воду.

— А у меня на уме все гетман,— примолвил Журавковский.— Господи, воля твоя, до чего он дожил! Был царьком, а теперь попал в обозные...

Забелла захохотал. Орлик сурово посмотрел на него, но не промолвил слова. Во все время он сидел в углу палатки, наморщив чело и насупив брови, слушал, но казался бесчувственным.

— Да, правда, не много чести нажили мы здесь,— примолвил Покотило.— Эти проклятые шведы смотрят на нас, как на своих холопей, и я не забуду, что мне сказал недавно шведский капитан, когда я упрекнул его, что он не снял шляпы перед гетманом. Любят измену, но не уважают изменников, отвечал мне швед...

— Кто осмеливается говорить об измене! — воскликнул Орлик грозным голосом, быстро вскочив с места и поглядывая на всех гневно.

— Шведы!.. — отвечал Покотило с лукавою улыбкой.

В сию минуту вбежал казак и позвал Орлика к гетману. Он вышел, бросив грозный взгляд на целое собрание.

Убедясь в непоколебимой верности народа малороссийского к русскому царю и не доверяя счастью Карла XII, Орлик потерял надежду на успех замыслов Мазепы и с тех пор сделался угрюм и задумчив. Тайная грусть снедала его. Он не нарушал уважения и подчиненности к гетману, но уже не верил словам его, как прорицаниям. Мазепа ласкал его по-прежнему, но замечал в нем перемену, не доверял ему и даже подозревал в намерении оставить его и перейти на сторону русского царя.

Когда Орлик вошел в палатку, Мазепа сидел за своим письменным столиком.

— Садись, любезный Филипп! — сказал Мазепа, указывая на складной стул, стоявший возле стола.

Орлик сел, не промолвив слова.

— Надобно, чтоб ты выбрал человек десять надежных казаков,— сказал Мазепа.— Вот я сочинил универсал, который надобно переписать и разбросать по городам... Я прочту тебе...

Орлик горько улыбнулся.

— Я знаю, что вы не напишете дурно,— отвечал он,— да что пользы в этих универсалах! Ведь мы более сотни универсалов, различного содержания, пустили в ход, и никого не убедили пристать к нам! Только напрасно подвергнем опасности рассыльщиков наших или, что еще хуже, дадим

им случай бежать от нас... Нас и так весьма немного!..

Мазепа положил на стол бумагу, которую держал в руке, посмотрел пристально на Орлика, покачал головою, нахмурил брови и не отвечал ни слова.

Несколько минут продолжалось молчание.

— Орлик, ты не тот, что был прежде! — сказал Мазепа, смотря пристально на него.

Орлик молчал и потупил глаза.

— Ты не тот, что был прежде, — примолвил Мазепа, — ты забыл, Филипп, мою отеческую любовь к тебе, мою дружбу, мою доверенность... мои попечения о твоей юности, о твоём возвышении...

— Я ничего не забыл, — отвечал Орлик поспешно, — и предан вам по-прежнему...

— Ты предан мне по-прежнему! Верю! — сказал Мазепа, горько улыбнувшись, — но если ты не изменился в чувствах ко мне, то отчего же ты переменялся в речах, в поступках, даже в нраве? Ужели и ты упал духом?..

— Признаюсь, пане гетмане, что я не могу утишить голоса, вопиющего из глубины души моей!.. Этот голос беспрестанно твердит мне, что мы погубили себя и отечество...

— Этот голос есть глагол малодушия, отголосок себялюбия, — возразил Мазепа.

— Не упрекайте меня, ясневельможный гетмане, в малодушии! Не один я упал духом. Послушали бы вы, что говорят наши старшины, что толкуют казаки! С потерей надежды все мы лишились прежнего нашего могущества... Все поколебались!..

— А я остался тверд и непоколебим, — сказал Мазепа, подняв голову и перевалившись в креслах, посмотрев на Орлика гордо и погладив усы свои.

— Первая буря лишила вас мужества, и вы упали духом от града, а я презираю громы и молнии, — сказал Мазепа. — Вы осмеливаетесь роптать и плачете о рабстве, страшаетесь изгнания... Малодушные!.. И вы дерзаете помышлять о независимости!.. Теперь вижу, что эта пища не по вашим силам и что я должен был поступать с вами не как муж с мужами, а как лекарь с больными, как нянька с ребенком! В нескладном вашем ропоте вам бы надлежало вспомнить обо мне, сравнить участь нашу и тогда, может быть, рассудок просветил бы вас и вы устыдились бы своего малодушия... Подумал ли хотя один из вас о том, что я вытерпел без ропота, без жалоб, противопоставляя ударам судьбы мужество, о которое должны сокрушиться наконец ее орудия!

Вспомни, что была Малороссия при прежних гетманах. Я украсил, укрепил и населил город, ввел порядок в управлении войсковым имуществом, обогатил казну, защитил слабого от сильного, учредил школы, просветил целое поколение — и народ забыл все это, оставил меня, предал в ту самую пору, когда я требовал содействия его для увековечения моих трудов, для его блага! Я обогатил духовенство, построил храмы Божии, украсил их — и духовенство прокляло меня, тогда как я вооружался на защиту их достоинства! Собранные неусыпными трудами моими сокровища — расхищены, дома мои ограблены, вотчины у меня отняты, и имя мое, которое в течение двадцати лет произносимо было с уважением в целой России, — предано посрамлению, лик мой пригвожден к виселице!.. Мало этого!.. Неумолимая судьба не удовлетворилась этими сердечными язвами; она хотела испытать меня в самом сильном чувстве — и лишила меня последней отрасли... Дочь моя, моя Наталья, единственная радость моя в жизни, погибла в муках, от моей ошибки, от забвения, которое должно приписать какому-то чуду — и я не умер от горести... я даже не пролил слез перед вами... не показал вам грустного лица, сокрыл отчаянье во глубине души моей — и молчал! Вы похваляетесь вашим мужеством в боях и не стыдитесь унывать в бедствии. Но истинное мужество, сущее геройство, есть бодрость в несчастье, ибо меч и пуля уязвляют только тело, а несчастье поражает душу... Я устоял противу бури и надеюсь, что она превратится в попутный ветер. Еще не все погибло — когда я жив! Правда, что король шведский опрометчив, упрям, самонадеян — но он герой на поле брани и своим гением может склонить победу на свою сторону, а от одной решительной победы зависит участь этой войны, ибо тогда откроются нам сообщения с Польшей и Швецией, и мы воскреснем... Если же царь одержит победу, то и тогда не все погибло для вас! Кто бы ни царствовал в Польше, на что бы ни решились Порты и Крым в сей войне, они никогда не могут благоприятствовать возвышению России, и если я предложу им основать гетманщину, новое казацкое войско в Польской Украине и в степи Запорожской, чтоб противопоставить оплот русскому могуществу, — они с радостью согласятся. Я имею друзей в Молдавии и в Валахии и сохранил еще столько денег, чтоб склонить визиря на избрание меня в господари одного из сих княжеств... Я открыл пред тобою душу мою, Орлик, ибо уверен, что ты мне предан... Итак, мужайся, перестань скорбеть и надейся на эту голову! По-

ка она на плечах, друзья мои не должны ни об чем беспокоиться...

Орлик, не говоря ни слова, поцеловал руку Мазепы, который, представляя самолюбивые замыслы свои под покровом любви к отечеству и исчислив страдания свои, возбудил жалость в душе своего приверженца, а надеждами на будущее — воскресил в нем увядшее мужество.

— Если б все наши страшины могли понимать вас!.. — сказал Орлик.

— Пусть они не чуждаются меня, пусть приходят ко мне для излияния своих горестей и сомнений, и я успокою их. Тебе, Орлик, поручаю сблизить меня с ними. Мы здесь не в Батурине. Вход ко мне не возбранен друзьям моим...

Вошел полковник Герциг и сказал:

— Король возвратился из разъезда. Он разбил русскую партию и привел пленных. От них узнали мы, что сам царь пришел к Полтаве с войском, которое простирается до семидесяти тысяч человек!..

— До семидесяти тысяч! — воскликнул Мазепа. — Что ж король?

— Рад-радехонек! — отвечал Герциг, пожимая плечами. — Он прислал к вам старого нашего приятеля, немца Лейстена, который был у нас в плену и по вашему ходатайству помещен в царском войске. Он передался к нам добровольно и хочет переговорить с вами...

— Где он? позовите его! — сказал Мазепа с нетерпением. — А вы, друзья мои, оставьте меня наедине с немцем!

Орлик и Герциг вышли из палатки и впустили переметчика, который был в русском офицерском мундире, со шпагою.

Мазепа стал с кресел, распростер объятья и, прижав к груди Лейстена, сказал:

— Приветствую тебя, верный друг мой, и благодарю за верную службу!

— Служба моя кончилась! — отвечал Лейстен. — Я делал все, что мог, уведомлял вас при каждом случае обо всем, что мог узнать, и теперь должен был явиться к вам лично...

— Обещанное тебе награждение готово, любезный друг, — сказал Мазепа, прервав речь Лейстена. — Хотя русские ограбили меня, но у меня еще есть столько, чтобы поделиться с друзьями моими.

— Не в том дело, господин гетман! — возразил Лейстен. — Я пришел к вам с вестью, которую не мог никому поверить. Жизнь ваша в величайшей опасности: противу вас составлен заговор...

Мазепа побледнел. Посинелые уста его дрожали: он неподвижно смотрел на Лейстена и, не говоря ни слова, присел в креслах, как будто ослабев.

— Слушаю! — сказал гетман дрожащим голосом.

— Вы знаете, что Палей возвращен из Сибири, — продолжал Лейстен. — Он теперь так слаб и дряхл, что едва держится на коне и уже не может предводительствовать казаками, которые чтут его, как полубога. Но при нем находится дружина, из отборных казаков его прежней вольницы, которою начальствует тот самый есаул, которого вы пытали в Батурине и который был сослан...

— Огневик! — сказал Мазепа с жаром. — Но я слышал, что он погиб?

— Он недавно явился в царском лагере, и царь, по ходатайству Палея, простил его. Огневик заставил дружину Палея поклясться, не жалея жизни, искать вас в первом сражении и во что бы ни стало — убить!..

— Разбойники! — сказал про себя Мазепа и притом примолвил громко: — Благодаря твоей дружбе им не удастся это. Скажи же мне, что замышляет царь?

— Он знает о состоянии войска шведского и решился напасть на нашего короля...

Мазепа только пожал плечами и, помолчав несколько, сказал:

— Поместись, друг мой, в палатке Орлика. Мы после переговоров с тобой, а теперь я должен идти к королю и поздравить его с днем рождения.

Мазепа вышел из ставки вместе с переметчиком и отправился в шведский лагерь, велев одному из сторожевых казаков следовать за собою.

Карл, возвращаясь из разъезда, еще не слезал с коня и осматривал лагерь. Он остановился возле толпы своих солдат, которые шумели и спорили между собою.

— Что это такое? — спросил Карл.

Один из солдат выступил из толпы и, подавая королю кусок черного, черствого хлеба из мякины и отрубей, сказал:

— Вот что нам роздали на праздник! Трое суток мы голодали, а на четвертые не можем раскусить и разжевать этого лакомства...

Солдаты обступили короля и смотрели на него с любопытством, ожидая нетерпеливо, что он скажет. Голод и нужда сделали сварливыми, недоверчивыми и беспокойными сих неустрашимых воинов, которые преодолели столько трудов единственно из угодения своему венчанному полководцу и из любви к нему.

Король взял кусок хлеба, разломал его и стал спокойно есть. Отдавая остальное солдату, король сказал хладнокровно:

— Хлеб нехорош, но есть его можно, особенно когда нет лучшего.

Солдаты посмотрели друг на друга и молчали. Король удалился, и они без ропота принялись за пищу, которая прежде казалась им противною. Между тем король возвратился к своей палатке, где ожидали его генералы. Приняв поздравления, он слез с лошади и, ступив на ногу, захромал. Камердинер бросился к нему и, увидев кровь на сапоге, закричал:

— Вы ранены, ваше величество!

Все пришли в беспокойство.

— Кажется, что так! — отвечал король, обращаясь с улыбкою к фельдмаршалу графу Рейншильду. — Когда я преследовал русскую партию, — примолвил король, — два казака несколько раз врезывались в средину нашего эскадрона, как будто ища кого-то...

— Верно, меня! — сказал про себя Мазепа.

— Один из них, высокого роста, черноволосый, сильный, гонялся за моими казаками, заглядывая каждому в лицо, как будто желая узнать знакомого...

— Это Огневик! — прошептал Мазепа.

— Другой, молодой, ловкий казак, привязался ко мне, как слепень, и несколько раз чуть не задел меня саблей. Я наскокил на него и, кажется, пробил его насквозь моею шпагою. Но в это мгновение черноволосый казак выстрелил в меня — и, по счастью, попал — только в ногу... Я думаю, что это пустая рана!..

Король вошел в ставку, сел на походную кровать и велел снять сапог. Нога так распухла, что камердинер не мог исполнить желания короля. Он жестоко страдал, но не жаловался и старался казаться спокойным. В это время фельдмаршал граф Рейншильд и государственный министр граф Пипер вошли с тремя врачами.

Доктора разрезали сапог и, осмотрев рану, объявили, что кость в пятке раздроблена. Двое из них утверждали, что

для предупреждения неминуемого воспаления и *антонова огня* надобно отрезать ногу. Третий доктор молчал. Король, обратясь к нему, спросил:

— Твое мнение, Нейман?

— Я думаю, государь,— отвечал доктор,— что, сделав разрезы вокруг раны, можно спасти вас... Только я должен предупредить ваше величество, что операция будет болезненна...

Король улыбнулся.

— Режь, братец, смело, и начинай тотчас! — сказал он.

Доктор принялся за операцию, во время которой король даже не поморщился и сам поддерживал ногу обеими руками. После перевязки король прилег на подушки и, отдохнув с полчаса, велел позвать Мазепу.

Граф Пипер ввел его.

— Господин гетман! — сказал король.— Вы слышали, что царь хочет атаковать нас?

— Слышал, ваше величество!

— Мы предупредим его,— примолвил король.— Нападающий имеет такое же преимущество пред атакуемым, как конный перед пешим или как сытый перед голодным. Говорят, что царь почти втрое сильнее меня! Не беда! Под Нарвой он был сильнее меня ровнехонько всемеро! Победу доставляет не физическая, но нравственная сила, и мое имя стоит, по крайней мере, половины русского войска... Мы атакуем царя...

— Государь! Я уже докладывал вам несколько раз, что русские теперь не те, что были под Нарвою...— возразил Мазепа.

Король не дал ему продолжать и сказал:

— Правда, что они искуснее теперь бегают от меня, чем прежде. Но наконец я поймал их!

— Они отступали перед вами, пока чувствовали, что не в силах вам противиться,— отвечал Мазепа,— но теперь, когда нападают, то, верно, надеются на свои силы и мужество.

— Нет, не чувство силы и мужества заставляет Петра решиться на это, но зависть... Моя слава горька ему! В Москве я решу наше соперничество!..— Король покраснел от гнева.

— Но успех был бы вернее, если б мы отступили теперь в Польшу, дали солдатам нашим отдохнуть, укрепиться, а между тем усилили бы наше войско...

Король быстро поднялся с кровати:

— Как! Мне бежать от московского царя! Никогда! Нет, он не увидит никогда моего арьергарда иначе, как пленный или как проситель...— Король был в гневе.

— Всякое внутреннее движение вредно вашему здоровью,— сказал доктор.

— Пустое! Мне вредно одно бездействие,— возразил король.— Пушечный гром излечит меня скорее твоих пластырей,— примолвил он, улыбаясь.— У нас нет пушек,— сказал он, обратясь к Рейншильду,— но у нас есть штыки, и мы возьмем пушки у русских... Господин гетман! Вы будете начальствовать всею иррегулярною конницей...

— Прошу вас, государь, уволить меня от деятельного участия в предстоящем сражении,— сказал Мазепа, низко поклонясь королю.

— Это что значит? Это я впервые в жизни моей слышу от воина! — сказал король, смотря с удивлением на Мазепу.

— Государь! — отвечал Мазепа.— Царь провозгласил меня изменником и предателем отечества, итак, если я буду сражаться противу моих единоплеменников, противу казаков, находящихся в его войске, то подам повод к новой клевете и возбужу к себе ненависть народную. Напротив того, когда после одержанной вами победы,— я скажу народу малороссийскому, что руки мои не обогрелись кровью даже неприязненных мне земляков, тогда они скорее поверят, что я приглашаю их подчиниться вашему величеству для их собственного блага...¹

— Пусть будет по-вашему! — отвечал король и, обратясь к Пиперу, примолвил: — Напиши от меня письма к королю Станиславу и к сестре моей в Швецию и уведоми их, что я легко ранен. Пожалуй, враги мои готовы разгласить о моей смерти, а уж верно, объявят калеккой! Скажи, при сем случае, что мы с царем стоим противу друга, оба с сильным желанием сразиться, и что я атакую его. Не забудь этого! Именно не он на меня нападает, а я нападаю на него! Прибавь, что под Полтавой должна решиться участь царства Московского и что первое известие, которое в Европе получают от меня, будет весьма кратко: или Петр уже не царь Московский — или Карл погиб с войском! Господа, прощайте, я хочу уснуть!

¹ По истории известно, что Мазепа не участвовал в сражении под Полтавой и во время битвы находился при обозе.

ГЛАВА XVII

И грянул бой, Полтавский бой!
А. Пушкин

И что ж осталось? Испытать, что властно
Раскаянье? — Чего оно не властно!
Что властно там, где нет его в душе?
Шекспиров Гамлет (перев. М. Вронченко)

Идут, находят воздаянья,
Кипят и казни и беды...
И нет уж более середины!
Ф. Глинка

В Европе не знали в точности о положении дел Карла XII после вторжения его в Россию и, привыкнув, в течение девяти лет, слышать только о победах его и необыкновенных подвигах, ожидали известия о разбитии царских войск и даже о свержении с престола царя. Письма, полученные сестрою Карла XII и Станиславом Лещинским из-под Полтавы, еще более возбудили всеобщее нетерпенье, когда узнали, что два противника уже стоят друг против друга и что Карл намерен напасть на царя русского. Вдруг разнеслась весть о Полтавской битве и об ужасных ее последствиях для славы и для могущества Швеции, и, невзирая на торжественное объявление истины в манифестах Петра Великого, даже враги Карла XII, унижавшие все его подвиги, не могли поверить столь внезапной перемене его счастья. Наконец, самые недоверчивые убедились, что царь русский говорит правду, извещая своих союзников, что войско шведское, вторгнувшееся в Россию, уже не существует, что часть его побита, а избегшие смерти воины взяты в плен с оружием, знаменами и всеми воинскими снарядами и тяжестями и что раненый король шведский с малым числом слуг, приверженцев и казаков спасся бегством в Турцию и находится в Бендерах.

Истребив врагов на земле русской, царь выслал большую часть своего войска к северу, а казаков распустил по домам. Множество раненых русских офицеров находилось в сие время в Кременчуге, где жил врач, прославившийся своим искусством.

Москаленко также лечился в сем городе от ран. Однажды, когда он расхаживал медленно по своей светелке, внезапно и неожиданно вошел к нему Огневик. Друзья обнялись, и Огневик, вынуд из-за пазухи пакет, сказал:

— Ты скрывал передо мною свое происхождение, но вот эта бумага открыла мне твою тайну. Поздравляю тебя, сын стрелецкого головы Чернова, с царскою милостью, с возвращением родительских вотчин и наименованием в капитаны, в драгунский полк князя Меншикова! Вот тебе указ царский!

Осчастливленный изгнанник перекрестился, приложил к устам указ царский и, со слезами, прижал к сердцу вестника радости.

— Один только Палей знал мою тайну, итак, я обязан...

— Благости царя и великодушию Палея,— подхватил Огневик.— Царь, отпуская Палея в Белую Церковь, велел просить у себя всего, чего он желает — Палей испросил твое помилование.

— Благородная душа! — сказал Чернов.— Палей дал мне более, нежели жизнь,— он возвратил мне отечество... Никогда не забуду я его благодеяния. О, если б я мог чем-нибудь доказать ему мою любовь!

— Можешь!..— сказал Огневик.— Вспомни, что ты говорил мне на могиле Натальи. Требую твоего содействия!

— Вот тебе рука моя!.. Я готов на все... Говори, что должно делать!

Огневик пожал руку своего друга и сказал:

— Теперь не пора. Хочу знать только, можешь ли ты ехать со мною?

— Могу! Раны мои закрылись; воздух и движение возвратят силы. Ах, если б я был здоров до Полтавского сражения!

— Да, брат, жалею, что не был в этом деле! — отвечал Огневик.— Никогда на русской земле не было столько славы и такого торжества! Мы часто бивали врагов, но теперь победили учителей наших, победили непобедимых и одною победою решили участь нескольких царств!..

— Расскажи мне, где был ты, что делал Палей, каким образом царь успел одним ударом уничтожить все войско шведское! Я слышал много об этой чудной битве, но хотел бы узнать от тебя...

— Ты сам бывал в боях,— отвечал Огневик,— и знаешь, что никакой рассказ не может изобразить в точности сражения. В бою кипит сердце и душа забывает о земле, а после сражения действует холодный ум. Рассказ о битве есть то же, что изображение пожара на холсте: свет без блеска и теплоты. Но если тебе непременно хочется послушать меня, то я расскажу тебе, что сам видел и что слышал от старшин, бывших в этом сражении!

Перейдя за Ворсклу, русская пехота стала окапываться. В середине было 12 полков под начальством Репнина и Шереметева. По обоим крылам было по 11 пехотных полков. Правым крылом начальствовали Голицын и Вейсбах, левым Алларт и Беллинг. Конницею, на правом крыле, начальствовал Боур, на левом — князь Меншиков. Пять полков с генералом Гинтером стояли в резерве. Палей с дружиною был при Меншикове.

Царь ждал только прибытия Калмыцкой Орды, чтоб ударить на шведов.

Государь держал совет, на который приглашен был и наш Палей. Некоторые генералы, горя нетерпением сразиться и надеясь на верную победу, стали горячиться и похваляться. Царь был важен и спокоен. Он напомнил хвастливым и нетерпеливым доказанное уже опытом, что не число войска доставляет победу и что не должно никогда презирать никакого неприятеля, а тем более шведов, которых должно уважать, как учителей наших. Генералов увещевал он не надеяться на свои силы, а, исполняя долг, уповать на одного Бога и от него ждать победы. Определенно было завязать дело в день апостолов Петра и Павла.

Король шведский предупредил царя двумя днями. На расвете шведы выступили из своего лагеря и бросились на русские шанцы, во многих местах еще не конченные; царь ободрил воинов речью, в которой сказал нам, чтоб мы помнили, что сражаемся не за Петра, но за государство, Богом Петру врученное, за род свой, за отечество, за православную нашу веру и церковь и что мы не должны смущаться славою неприятеля, будто бы непобедимого, которого мы сами уже неоднократно поражали. Наконец подтвердил приказ не уступать места неприятелю и драться до последней капли крови. Все обещали умереть или победить.

В этом сражении царь в первый раз сам начальствовал войском. Он не хотел ни на кого возложить ответственности в деле, от которого зависела честь и слава России и твердость его престола. В мундире Преображенского полка, с веселым лицом, он скакал по фрунту, на турецком коне, с обнаженною саблею, и отдавал приказания. Войско приветствовало его радостным ура! Он казался нам выше смертных! Победа была в его взорах.

Русские подвезли пушки к шанцам и начали стрельбу. Но, невзирая на сильный картечный огонь, шведская пехота овладела недоконченными шанцами, а конница их принудила нашу податься в тыл. Победа, верная Карлу столь долгое

время, перед прощанием с ним навеки, обернулась к нему лицом — в последний раз!

Князь Меншиков выстроил снова конницу и бросился на шведов. Более двух часов мы бились с ними с переменным счастьем. Под князем убито две лошади. Шведы дрались как львы. Палей, едва держась на коне, не хотел оставить поля битвы и понуждал наших продаться сквозь шведскую линию. Мы, как говорится, резались на ножах: наконец шведы дрогнули и начали отступать. Мы, как отчаянные, бросились на них, с воплями обратили их в бегство, гнали до самых траншей полтавских и там, отрезав их и поставив между двух огней, принудили положить оружие. Это был первый наш успех: он ободрил войско.

Между тем оба войска выстроились в линиях и сошлись на пушечный выстрел. Наши пушки загрели и страшно били в стесненный фронт неприятеля. У шведов едва было несколько пушчонок. Карл приказал своим ударить в штыки, надеясь неслыханною дерзостью изумить наших неопытных воинов и отнять наши пушки. Часть русской пехоты дрогнула и побежала в тыл. Вдруг явился сам царь с Преображенским полком! Явился он, как Бог брани. Одним взором остановил бегущих, бросился на шведов с преображенцами, все последовали за ним, и шведы побежали с поля.

Земля дрожала от грома пушек; ружейные пули свистели, как ветер на всем пространстве; ядра рыли землю, и вдруг, по слову царскому, раздалось восклицание: *«Вперед! ура!»* Все русское войско двинулось в одно мгновение. Наша конница, на обоих крылах, бросилась опретью на шведов, пехота с барабанным боем ударила в штыки, и пошла резня! Шведы стояли крепко, защищались до последней крайности, около двух часов сряду, но не могли отбить нас. Мы разорвали их фронт, разбили твердые ряды на малые толпы и уже били их как овец или заставляли бросать оружие и просить пощады. Все, что могло бежать, побежало с поля битвы. Большая часть шведских генералов, видя невозможность спастись, — отдались в плен.

Оба государя во все время боя находились в первых рядах, под ядрами и пулями. Три пули попали безвредно в нашего царя. Раненый король осыпан был ядрами, которые убили несколько человек возле его качалки и под ним лошадь, когда он садился на нее, чтоб спастись от плена. Царь провозгласил победу... Радостные восклицания наших раздавались по обширному полю...

С дружиною нашею я бросился за бегущими шведами

и врезался в средину их, надеясь догнать Мазепу, которого безуспешно искал в битве. От казаков его, захваченных мною в плен, узнал я, что этот хитрец бежал при самом начале сражения... Лошади наши были измучены, и мы должны были остановиться. Злодей ускользнул на сей раз от моего мщения!..

Огневик кончил рассказ, облокотился на стол, закрыл лицо руками — и погрузился в думу.

Несколько минут продолжалось молчание.

— Чего ты требуешь от меня, друг мой! — сказал Чернов, взяв за руку Огневика и крепко пожав ее. — Скажи! Я готов с тобой в огонь и в воду!..

— Я был безумен, что хотел приковать тебя к моей горькой участи, — сказал Огневик. — Нет, друг мой! Ступай в Москву, где у тебя есть родные, где ты найдешь дружбу и... любовь... Еще все перед тобою, а передо мной одна могила! Где мне преклонить голову, безродному, бесприютному? Вольница Палеева не существует, и он сам уже одной ногой в гробу. С ним разорвется последний узел, привязывающий меня к земле. Не хочу жить ни в Запорожье, которое превратилось в разбойничий притон, ни в гетманщине, где одни происки, родство и низкопоклонство доставляют отличие... В Москве и в Петербурге душе моей будет тесно и душно, а сердцу холодно... Взросши и возмужав в степях, я гнушаюсь искательством и раболепством. При Палее я привык не только говорить все, что думаю, но даже думать вслух, а в городах этого не любят!.. Не хочу нищенствовать перед людьми!.. И что могут дать мне люди? Они не дадут мне спокойствия, которое я потерял навеки, не дадут счастья, которое я вкусил в любви... В любви!.. О, друг мой, эта любовь сожгла мое сердце, выветрила душу... Я теперь труп, тело без души и без сердца... Одно чувство поддерживает жизнь мою — месть!.. Крови жажду я, крови!..

Лицо Огневика пылало, глаза искрились. Он вскочил с места, пожал руку Чернова и бросился к дверям.

— Нет, я не оставлю тебя! — воскликнул Чернов, удерживая его. — Не люби меня — но и не презирай! Я достоин разделять с тобой твою горе и опасности!..

Огневик бросился в объятия своего друга. Через час они уже скакали к Днепру, на лихих конях.

Сколь ни тверда была душа Мазепы, но не могла выдержать столь сильных ударов судьбы. Все надежды обманули его, ни одно желание не исполнилось, все сладостные ощущения сердца превратились в болезненные язвы. Он мужался

наружно, но страдал и унывал внутренно, — и когда наконец царь Петр потребовал от Порты изъятия Мазепы из покровительства, а в переговорах о мире с Карлом XII поставил непременным условием выдачу изменника, тогда участь Паткуля, истерзанного мстительным Карлом, представилась его воображению и страх преодолел все его силы. Мазепа заболел телом и душою. Почти два месяца он находился при дверях гроба; наконец усилия искусного королевского медика Неймана исцелили телесный недуг, а уверения короля, что не выдаст его за царство, — успокоили, хотя и не уврачевали души. Во второй половине сентября Мазепа уже находился вне опасности, хотя не вставал еще с постели. Он жил в Варнице, неподалеку от Бендер, в доме греческого купца. Предполагая, что все дела и слова его будут известны в Малороссии, и зная, что набожность почитается там матерью всех добродетелей, Мазепа велел строить, в Варнице, русскую церковь и призвал с Афонской горы несколько монахов, между коими находился один русский.

Карл XII был принят турецким правительством с честью и великолепием. Султан, визирь и паши наделили его богатыми палатками, конями, драгоценным оружием. Король шведский расположился лагерем между Бендерами и Варницею, имея при себе около тысячи восьмисот человек шведов, поляков и казаков, спасшихся от Полтавского поражения и присоединившихся к нему уже за пределами России. Все министры, все генералы Карла XII были в плену у русских. Любимец его, Понятовский, исправлял политические его дела и находился в сие время в Константинополе, для убеждения Порты объявить войну России. Карл XII с нетерпением ожидал успеха происков своего любимца и предавался сладостной надежде отомстить Петру Великому. Любимцы короля разделяли его надежду.

Карл оказывал тем большее уважение к Мазепе, чем более ненависти изъявлял к нему Петр Великий, и почти ежедневно навещал больного, сообщая ему новости, получаемые из Константинополя, — поддерживая дух его блистательными мечтами. Недоверчивый Мазепа сам увлекся, наконец, надеждою на помощь Порты и, когда оправился от болезни, стал замышлять снова о достижении своей цели — отторжения Малороссии и Украйны от России. Однажды после беседы с королем он призвал к себе, для совещания, Орлика и Войнаровского. В первый раз после Полтавской битвы они увидели его с веселым лицом и с улыбкою на устах. Он сидел в постели и казался бодр и здоров.

— Садитесь, друзья мои! — сказал Мазепа, приветствуя их рукою.

Они сели. Мазепа продолжал:

— Я сказывал тебе, Орлик, что еще дело не решено между мною и царем Московским. Он велел духовенству предать меня проклятию, приказал влачить по грязи мое изображение и сжечь его рукою палача... Он отнял у меня нажитые трудами поместья и сокровища и обещает триста тысяч ефимков Муфтию, чтоб он убедил султана выдать меня царю, для позорной казни!.. На все это я буду отвечать царю в Москве... Что вы удивляетесь?.. Да, в Москве! Понятовский приобрел милость матери султана и наконец успел убедить верховного визиря в пользу войны с Россиею. Порта дает нам двести тысяч отборного войска, которым будет начальствовать наш северный лев, наш Ахиллес!.. Счастье изменило ему, но для того только, чтоб научить своего любимца благоразумию. Герой пребудет героем! Швеция вооружается и ударит на царя от севера. В Польше умы в волнении. Тебя, племянник, я хочу выслать в Польшу, с важным поручением. Партия Станислава упала духом, но и король Август не много имеет приверженцев. Дружба его с царем Московским не нравится шляхте, а присутствие саксонских войск в Польше ожесточает народ. Ты должен войти в сношения с обеими партиями и представить им, сколь опасно для Польши торжество и возвеличение России, имеющей притязания на многие области, принадлежащие ныне Польше. Карл доказал, что он не ищет ни завоеваний, ни уничтожения польских прав, ибо, завладев всею Польшею, он довольствовался только низвержением с престола враждебного ему короля. Итак, со стороны Швеции Польше опасаться нечего; но сильная Россия пожелает возвратить прежние уделы русских князей, так как отняла у Швеции Ингрию, бывшую некогда Новгородской областью. Сильный берет свое где может и как может... Таким образом Белоруссия, часть Литвы, Волынь, Подолия, Украина будут русскими... Припомни полякам слова мудрого их короля Иоанна Казимира, когда он, слагая венец, предсказал им, на Сейме, отторжение от Польши областей и даже раздел королевства между соседями... Польские вельможи делают все возможное, чтоб оправдать предсказания Иоанна Казимира! Убеди их, что теперь представляется единственный и последний случай нанести удар России!.. Пусть они вооружатся и вторгнутся в сердце России, в одно время с нами... Король обещает Польше Смоленск, Киев, княжество Северское... Сверх того, я с

Малороссией и Украиной буду вассалом Польши. Карл дает тебе полномочия, я дам мое благословение — и деньги. Ты молод, ловок и красив — ищи в женщинах... Дульская изменила мне в любви...

При сих словах Войнаровский покраснел и потупил глаза. Мазепа, не показывая виду, что заметил это, продолжал:

— Но я прощаю ей и ее любовникам и требую верности только в связях политических. Возбуди в ней прежнюю ревность к делу короля Станислава, а между тем старайся познакомиться с графиней Кенигсмарк, любовницею Августа, и приобрести ее доверенность... хотя бы любовью!.. — Мазепа улыбнулся и замолчал. Отдохнув несколько и собравшись с мыслями, он сказал: — Если Август будет так умен, что воспользуется счастливыми обстоятельствами, восторжествует над своим совместником и овладеет престолом, старайся соединить обе партии под знаменами сильнейшего и, найдя доступ к королю, убеди его, сколь опасны для него дружба и покровительство царя Московского. Уверь его, что если он ополчится на Россию, то Карл забудет старую вражду, выхлопочет для Станислава какую-нибудь немецкую область или отдаст ему свою Померанию, а короля Августа усилит на польском престоле... Я не могу предписать тебе правил поведения... Все зависит от местных обстоятельств, но помни, что в Польше все можно сделать посредством женщин, ксензов и — денег и что даже самые деньги приобретаются там посредством тех же женщин и ксензов. О патере Заленском я не имел никакого известия... Но все иезуиты вылиты в одну форму. Обещай им власть — и они будут помогать тебе... Теперь ступай к королю за бумагами — и обойми меня. Орлик выдаст тебе на первый случай десять тысяч червонцев...

Войнаровский подошел к постели Мазепы, обнял его и сказал:

— Но если меня выдадут царю?

— Безопасность твоя зависит от твоего ума и осторожности. Явно тебя не выдадут, а от предательства прячясь под женскою душегрейкою или под рясою ксендзовскою. Волка бояться, в лес не ходить! И мы здесь не за валами! Верь мне, что ты будешь безопаснее в Польше, нежели мы, под покровом Высокой Порты... Прощай!

Мазепа благословил Войнаровского, и он вышел, не говоря более ни слова. Ему соскучилось в Бендерах, и он рад был избавиться от несносной ссылки. Любовь прелестной княгини Дульской ожидала его в Польше.

— Любезный Орлик! — сказал Мазепа. — Я обещал дать

взаймы королю семьсот тысяч талеров. Казна наша истощается и нам надобно приискать верного человека, чтоб послать за деньгами, которые я зарыл в овраге, близ Бахмача. Есть у меня деньги и в Печерской Лавре, но я опасюсь, чтоб монахи не выдали их царю, страшась его гнева...

— Я, право, не знаю, на кого положиться в этом важном деле. Все наши старшины только из страха казни последовали за нами... На их верность я не могу надеяться. Надежнее всех братья Герциги.

— Но не можно ли тебе самому попытаться, Орлик?

— Об этом надобно подумать... У меня было много приятелей в Украине, но теперь опасно полагаться на неизменность дружбы...

— Поди же, порассуди, а завтра скажешь мне, что ты выдумал...

Орлик вышел, и Мазепа, утруженный разговорами, обесиленный напряжением духа,— заснул.

Когда он проснулся, уже было темно. Сон не укрепил и не успокоил его. Кровь в нем волновалась, мечты растревожили его и навлекли мрачные думы. Он кликнул сторожевого казака и послал его за русским монахом.

Чрез полчаса явился монах. Это был человек лет пятидесяти, высокого роста, смуглый, бледный, черноволосый, сухощавый. Глаза его блестели, как уголья, из-под густых бровей. На челе изображались ум и следы сильных страданий. Мазепа просил монаха присесть у изголовья своей постели.

— Мы не кончили, третьего дня, нашего разговора, святой отец...— сказал Мазепа, потупя глаза.

— Моя беседа тяжела для твоего сердца, духовный мой сын,— возразил монах,— побереги себя! Ты слаб еще, и всякое душевное напряжение тебе вредно...

— Нет, отец мой, твоя беседа для меня усадительна! Ах, если б ты мог проникнуть в мою душу! Ты бы пожалел обо мне...

— Я сожалею — и молюсь!..

— Молись, святой отец, молись за меня! — сказал Мазепа, и слезы покатались из глаз его.— Он утер их неприметно, склонил голову на грудь и задумался.

Монах молчал, перебирая четки.

— Итак, ты, святой отец, все-таки думаешь, что мой поступок есть измена и клятвопреступление? — сказал Мазепа, тяжело вздохнув.

— Зачем ты в другой раз вопрошаешь меня об этом, сын мой! По обету моему я должен говорить истину пред царем и

пред рабом, и если слова мои не приносят ни пользы, ни утешения — я должен молчать.

— Говори, говори смело правду или то, что ты считаешь правдой! С нами нет свидетеля, и посредник между нами — Бог!.. Если... я чему не верю, убеди меня, докажи.

— Истина немногословна и не знает излучистых путей красноречия, сын мой! Я не привык к спорам и диспутам. Говорю прямо, что думаю...

— Ты знаешь историю, отче мой, итак, вспомни, что я не первый вздумал отложиться от царя, основать особое царство... И эти основатели царств были почтенны, прославлены, благословляемы...

— Людьми, а не Богом! — возразил монах строгим голосом. — Успех прикрыл злодейство, лесть украсила измену, и низость изрекла хвалу... Но истина осталась истиною, и испещренные людскою хвалою хартии не скрыли зла ни пред Богом, ни пред людьми праведными... Сквозь сотни веков проклятие раздается над памятью цареубийц, изменников!..

Монах, увлеченный негодованием, почувствовал, что слишком неосторожно коснулся душевной раны своего духовного сына и замолчал.

— Проклятие! — воскликнул Мазепа. — Проклятие! Итак, ты веришь в действительность проклятия? И меня прокляли!.. — Мазепа закрыл руками глаза и упал на подушки.

Монах молчал.

Мазепа быстро поднялся, присел, устремив на монаха пылающий взор, и сказал:

— Неужели проклятие, произнесенное надо мною церковью, вознесется к престолу Всевышнего?..

— Всевышний милосерд... Но глаголы церкви священны и непреложны. Благословение или проклятие есть только сума, в которой дела человеческие переносятся к подножию престола Высшего Судьи. Церковь судит не по прихотям человеческим, но по закону Божию, водворенному на земле Искупителем греха первородного. Ты сам знаешь, что гласит Евангелие! В нем заповедана верность и послушание властям, от Бога установленным, соблюдение обязанностей подданного — и терпение. Кесарей и помазанников Божиих судит сам Бог. Ты говорил мне, что царь хотел нарушить право народа, над которым он же поручил тебе власть. Если б и так случилось, то одна несправедливость не оправдывает другой, а в противном случае на земле не было бы ни закона, ни порядка, ни чести, которых один конец на небеси, — и сии узы — присяга, пред лицом живого Бога, на знамени нашего Искупителя,

теля, на развернутой книге божественной мудрости. Так, сын мой, нарушение присяги есть разрыв души с небом, а сей разрыв ведет за собой — проклятие!

Мазепа трепетал всем телом. Монах замолчал и снова принялся перебирать четки.

— Отец мой! — сказал Мазепа сквозь слезы, голосом трогательным, исходящим из глубины души. — Если страдания земные могут искупить грехи, то надеюсь на благость Всевышнего! Тяжелый крест влачил я среди славы и величия! Стрелы гнева Господня разили меня в самое сердце... Я хотел любить, искал любви в чувствах родительских, сыновних, супружеских... и в тайном сочетании сердец — находил отраву для моей души, или мертвящий холод, или пожирающее пламя... Все, к чему я ни прикасался сердцем, гибло, оставляя тяжкую память моей собственной вины. Ты не знаешь любви, святой отец!..

Монах тяжело вздохнул.

— Ты не можешь постигнуть, что такое родительское чувство! — примолвил Мазепа.

Монах утер слезы рукавом.

Мазепа продолжал:

— И все любившие меня женщины погибли мучительною смертью... И дети мои... в ранней могиле!.. Одна надежда, последняя капля крови моей на земле... дочь моя, моя Наталья, ангел телом и душою, умерла в ужасных муках, может быть, проклиная меня... умерла от оплошности моей, от непостижимого забвения, омрачившего мой рассудок по воле самого Провидения!.. — Мазепа залился слезами, повторяя: — Дети мои! дети мои! кровь моя!..

Монах растрогался. Он также плакал.

Чрез несколько минут Мазепа поднял голову и сказал:

— Нет, святой отец, в аде нет таких мучений, какие я вытерпел на земле, и я надеюсь, что правосудный Небесный Судья сжалится надо мною и даст мне на земле силу и власть, чтоб делать добро и, повелевая народом, излить на него счастье, которого я не знал в жизни...

Монах принял строгий вид и, смотря грозно на Мазепу, возразил:

— Демон честолубия снова глаголет устами твоими, из которых должно изливаться одно раскаяние! Сын мой! Ты ищешь спокойствия душевного, желаешь примириться с Небом. Господь помиловал разбойника, но помиловал его на кресте, а не в лесу; помиловал в раскаянии, а не в преступных замыслах...

— Я не могу отступить от начатого мною дела, святой отец! Я не принадлежу себе, а принадлежу тем людям, которые вверили мне свою участь... И теперь ли мне помышлять об отречении от власти, когда мы находимся, так сказать, накануне новой борьбы, которая непременно должна кончиться торжеством нашим и омовением имени моего от позора и поношения?..

— Ты все помышляешь о земном, сын мой!

— Мы все сыны земли, отче мой! — отвечал Мазепа, покачивая головою.

— Итак, не жди и не требуй от меня утешения, — сказал монах, вставая с места. — Но ударит роковой час, и ты, заглянув в пустоту гроба, познаешь пустоту замыслов твоих! Говорю тебе в последний раз: Велик Господь в благости своей и страшен в каре!..

Монах пошел к дверям. Тщетно Мазепа звал его — он не возвращался. Мазепа слышал, что монах, переступая через порог, повторял про себя псалом: *«Бог отмщений Господь, Бог отмщений не обинулся есть. Вознесися судяй земли, воздаждь воздаяние гордым. Доколе грешницы, Господи, доколе грешницы восхвалятся»*¹...

За углом дома стоял казак, завернувшись в кобеняк и на-сунув видлогу на голову. Он, казалось, ждал, пока выйдет монах, ибо лишь только он удалился, казак скорыми шагами побежал к крыльцу. Сторожевые казаки остановили его. Он показал кипу бумаг и сказал грозно: «От короля!», оттолкнул сторожевых, быстро вспрыгнул на крыльцо, пробежал чрез сени, где дремало двое слуг Мазепы, и, пробираясь на цыпочках чрез все комнаты, тихо отворил двери в почивальню, вошел в нее и тотчас запер дверь на ключ.

Мазепа сидел на постели, поджав руки и опустя голову. Он взглянул на вошедшего казака — и обомлел от ужаса. Хотел кричать — и не мог. Казак вынул кинжал из-за пояса и, грозя Мазепе, сказал тихо:

— Ни словечка!

Мазепа перекрестился и закрыл глаза.

Казак приблизился к постели и, смотря с зверскою улыбкою в лицо Мазепы, утешался его страхом. Наконец взял его за руку, потряс ее и сказал насмешливо:

— Не стыдись, приятель, и посмотри на меня! Я не палач, явившийся казнить тебя за измену царю и отечеству, а твой нареченный зять, пришедший с тобой рассчитаться...

¹ Псалтирь. Псалом Давиду, в четвертый субботы.

Мазепа открыл глаза. Он дрожал всем телом и шевелил устами, как будто сиюсья произнести что-то. Голос его замер от страха.

— Я принес тебе поклон от друга твоего, Палея, которого ты, как Иуда, предал лобзанием на казнь. Я принес тебе весточку с гроба зарезанной, по твоему приказанию, Марии, которую ты обольстил, унизил, отравив душу ее коварством и безбожием... Наконец я принес тебе на память останки твоей любимой дочери! — Казак отстегнул кафтан и снял с шеи женскую косу, примолвив: — Это волосы убитой тобою Натальи!..

При сих словах Мазепа, казалось, ожил. Он протянул обе руки, чтоб схватить драгоценные останки несчастной своей дочери, и, смотря дико на казака, лепетал:

— Дай мне, дай! Я только раз прижму к сердцу!.. — Уста его дрожали... По холодному лицу катились горячие слезы.

Огневик утешался страданием и страхом своего врага. Он не позволил Мазепе прикоснуться к волосам Натальи и с адскою улыбкою на устах, изображающею жажду и наслаждение мести, сказал:

— Прижать к сердцу! Ужели у тебя есть сердце? Ха, ха, ха! А я думал, что вместо сердца у тебя в груди камень, обвитый змеею! Но постой, я еще не дошел до расчета! Знаешь ли ты это?

Огневик вынул из-за пазухи небольшую серебряную коробочку и поднес ее к глазам Мазепы. Тот взглянул и содрогнулся.

— Ты не довольствовался тем, что истязал тело мое в пытке, растерзал сердце разлукою с Натальей, что предал меня на казнь клеветою — ты хотел еще лишить меня жизни... и подослал ко мне, с этим лакомством, женщину, низверженную тобою в пропасть разврата и злодеяний... — Произнося сие, Огневик усиливался усмехнуться, между тем как во взорах его пылала злоба и губы судорожно кривлялись. На столе стояло прохладительное питье. Он налил его в стакан, высыпал в него порошок из серебряной коробочки и, поднося Мазепе, сказал:

— Я бы презрел тебя, как гада, лишенного жала, если б одно личное оскорбление возбуждало во мне ненависть к тебе. Но я узнал, что ты снова строишь козни на погибель несчастного отечества, что ты разослал своих лазутчиков по Украине, возбуждая народ к мятежу, и торгуешься с врагами России, чтоб предать нас снова польскому игу!.. Несчастье

не образумило тебя, и проклятие церкви довершило в тебе сатанинские начала... Ты один опаснее для отечества, нежели десять таких врагов, как Карл... Из твоего коварного ума излилась вся клевета на великого царя русского; ты отравил сердца верных малороссиян изменою... Всему должен быть конец... Пей!..

— Прости, помилуй! — воскликнул Мазепа, задыхаясь, дрожащим голосом.

— Пей... или я растерзаю тебя на части, — сказал Огневик, скрежеща зубами, замахнувшись кинжалом и устремив на Мазепу дикий, блуждающий взор.

— Я откажусь от мира, постригусь в монахи... — примолвил Мазепа умоляющим голосом, сложив руки на груди. — Не лиши покаяния!..

— Монастырская келья не сокроет твоих козней, и я уже научен тобою, как должен верить твоим обетам и клятвам. В последний раз говорю: пей!

Мазепа взял стакан дрожащею рукою, перекрестился и, сказав: «Господи, да будет воля твоя!» — выпил яд¹.

Дрожь пробежала по всем жилам Огневику... Он отворотился. Мазепа прилег на подушки, закрыл глаза и молчал. Огневик хотел выйти, но какая-то невидимая сила приковывала его к ложу несчастного злодея.

Над изголовьем постели висел образ, пред которым теплилась лампада. Мазепа вдруг открыл глаза и, взглянув равнодушно на своего убийцу, сказал:

— Дай мне образ! Я хочу приложиться.

Огневику надлежало бы стать на кровать, чтоб снять со стены образ. Он расстегнул кафтан, сорвал с груди свой образ и, подавая его Мазепе, сказал:

— Молись и кайся!

Мазепа перекрестился, поднес образ к устам и вдруг поднялся, устремив на Огневику пламенный взор, и сказал дрожащим голосом:

— Откуда ты взял этот образ?

— Какая тебе до него нужда! Теперь не время объясняться. Молись и кайся!

— Ради Бога, скажи, откуда ты взял этот образ! — завопил

¹ История не разрешила, какою смертью окончил жизнь Мазепа. Русские писатели утверждают, что он принял яд; некоторые иностранцы говорят, что он умер от болезни. См. Журн. Петра Великого. Ч. 1, стр. 253. Энгеля стр. 321. Историю Малороссии, соч. Бантыша-Каменского. Ч. III, стр. 124 и примеч. 157. Рукопись: История руссов и проч.

Мазепа жалостно.— Не откажи в последней просьбе умирающему!..

Огневик невольно содрогнулся:

— Этот образ был на мне, когда Палей нашел меня, бесприютного младенца, на развалинах сожженной гостиницы, в которой запорожцы убили моих родителей... Этот образ родительское благословение!..

— Несчастный, что ты сделал! — воскликнул Мазепа пронзительным голосом.— Ты убил — своего отца!..

— Ты отец мой!.. Ложь и обман!

— Я уже не имею нужды ни лгать, ни обманывать,— сказал Мазепа, смотря жалостно на своего убийцу и простирая к нему объятия.— Прощаю тебя и благословляю, сын мой! Не ты, а я виновен во всем! Боже! познаю перст гнева твоего! Чаша преисполнилась! Обними меня, сын мой! Не откажи в последней радости несчастному отцу! Судьбе угодно было, чтоб я прижал тебя к моему сердцу только при твоём рождении — и при моей смерти... Приблизься!!..... Обойми меня!..

Слезы текли ручьем из глаз Мазепы, который сидел на кровати с распростертыми объятиями и смотрел нежно на своего сына. Огневик стоял, как громом пораженный,— и отвращал взор от жертвы своей мести. Наконец он бросился на грудь Мазепы и зарыдал...

Вдруг Богдан вырвался из объятий отца своего и, как будто опомнившись, сказал:

— Пойду за врачом... Может быть, еще есть средство спасти тебя...

— Напрасно,— сказал Мазепа с горькою улыбкою, удерживая за руку сына.— Я знаю свойство этого яда! Никакая человеческая мудрость не уничтожит его действия... Все кончено!..

— Боже! — воскликнул Богдан, устремив глаза в небо и подняв руки.— Чем я заслужил такую ужасную казнь!.. Наталия была сестра моя... Жертва моей мести — мой отец!

— Сын мой! Я навлек казнь на все мое семейство... Я один преступник! Вы очистительные жертвы! Для вас небо... для меня ад и проклятие в потомстве...

Богдан бросился на колени подле постели и стал молиться...

— Ты несчастный залог первой и единственной любви моей,— сказал Мазепа сквозь слезы.— Ты сын той женщины, которая презрела величие, богатство, самую честь и узы супружества для меня, бедного скитальца, слуги ее мужа! Па-

лей, вероятно, рассказывал тебе, что заставило меня бежать из Польши в Запорожье... Я укрылся от мести раздраженного мужа, и мать твоя должна была соединиться со мною... Она уже была на пути — и с тех пор я ничего не слышал об вас... Целую жизнь я плакал по тебе... мечтал об тебе, видел тебя во сне, любил не существующего для меня — и наконец нашел... при гробе моем! — Мазепа не мог продолжать... Рыдания заглушали его голос.

— Теперь ты позволишь мне прижать к сердцу останки сестры твоей... нашей Натальи!

Богдан отдал ему волосы несчастной, и Мазепа покрыв их поцелуями и прижал к груди.

— Нет, я не в силах долее выдержать! — воскликнул Богдан, всхлиывая и почти задыхаясь. — Прощай! — При сих словах Богдан обнял Мазепу и бросился, стремглав, за двери...

— Сын мой! сын мой!.. Дай мне обнять тебя... Позволь умереть на груди твоей!.. — Но Богдан уже не слышал его. Он быстро пробежал по всем комнатам, разбудил слуг, дремавших в сенях, и сказал им, чтоб они поспешили к своему господину, соскочил с крыльца и скрылся во мраке.

Лишь только служители показались в дверях, Мазепа закричал:

— Духовника, скорей, скорей... Умираю!

В доме сделалась тревога. Все засуетились. Чрез несколько минут вошел монах. Мазепе доложили, что Орлик просит повидаться с ним, но умирающий не велел никого впускать и заперся с духовником.

— Отче мой! свершилась казнь Божия за мои преступления, казнь ужаснее всякой, какую ты мог предсказать, казнь, какой не подвергался ни один злодей, даже сам Иуда Хриstopродавец! Исповедуюсь, каюсь!..

Монах взглянул на Мазепу и ужаснулся. Уже яд начал действовать. Судороги кривляли лицо его, покрытое синевою, пена била клубом изо рта. Он то сжимался, то вытягивался. Кости трещали в суставах.

— Несчастный! — сказал монах. — Не наложил ли ты рук на себя? Самоубийство... смертный грех!..

— Не, я не убил себя! — сказал Мазепа прерывающимся голосом. — Только в одном этом грехе я не повинен... Но прими мою исповедь... Я грешен противу всех десяти заповедей, от первой до последней... В мечтах суетного мудрствования я даже отвергал бытие Бога и истину искупления... Я играл клятвами... Не щадил крови человеческой... Ругался над добродетелью и целомудрием... Я изменник!..

Судороги усилились. Монах покрыл умирающего простынею и стал молиться перед образом.

Орлик не послушался приказания Мазепы, силою ворвался в его почивальню.

— Благодетель, второй отец мой! — воскликнул Орлик и бросился обнимать страдальца.

Монах читал отходную молитву, не обращая внимания на окружающие его предметы:

— «Владыко Господи Вседержителю, отче Господа нашего Иисусу Христа, иже всем человеком хотяй спастися и в разум истины прийти; не хотяй смерти грешному, но обращения и живота, молимся и милися ти жеем: душу раба твоего Ивана от всякия узы разреши и от всякия клятвы свободы, остави прегрешения ему, егде от юности, ведомая и неведомая, в деле и в слове, и чисто исповеданная или забвением или стыдом утаенная...»

— Каюсь!.. — сказал Мазепа охриплым голосом. Монах продолжал молитву:

— «Ты бо един еси разрешаяй связанные и исправляяй сокрушенные, надежда нечаемых, могий оставляти грехи всякому человеку, на тя упование имеющему...»

Мазепа снова прервал слова молитвы.

— Увы! я лишен надежды и упования... Грехи мои превзошли меру благости Господней!..

Монах продолжал читать молитву:

— «Человеколюбивый Господи! повели, да отпустится от уз плотских и греховных и прими в мире душу раба сего Ивана...»

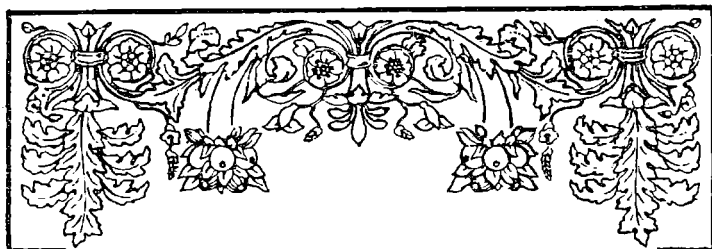
Вдруг Орлик зарыдал громко. Мазепа как будто проснулся и, остановив блуждающий взор на Орлике, сказал глухим, охрипшим голосом:

— Кайся, Филипп, кайся! Ужасна казнь изменникам и клятвопреступникам!.. — И вдруг быстро поднялся, простер руки и страшно завопил: — Родина моя!.. Сын мой... Иду к тебе!.. — Затрепетал, упал навзничь и испустил последний вздох...

Монах, который в это время продолжал читать молитву, тихим голосом произнес:

— Аминь!

На третий день, когда собирались хоронить Мазепу, найдено было тело казака, выброшенное волнами на берег. Орлик узнал в утопленнике — Огневика.



ВОСПОМИНАНИЯ
О НЕЗАБВЕННОМ
АЛЕКСАНДРЕ
СЕРГЕЕВИЧЕ
ГРИБОЕДОВЕ



После плачевного события, лишившего Россию одного из избранных сынов ее, а нас, друзей Грибоедова, повергнувшего в вечную горестъ,— часто собирался я написать несколько строк в память незабвенного; но при каждом воспоминании о нем глубокая скорбь, объав душу, заглушала в ней все другие ощущения, затемняла разум и лишала возможности мыслить... я мог только проливать слезы...

Наконец время, не исцелив ран сердечных, освоило меня с горестью, как увечного с его недугом. Я решился представить очерк жизни, или, лучше сказать, нравственного бытия Грибоедова, не для утешения друзей его (ибо нам невозможно утешиться), но исполняя долг гражданина, друга и писателя. Чувствую, что, при всей моей любви к Грибоедову, при всем познании его характера, я не могу изобразить верно его нравственный портрет. Горжусь и тем, что мог постигнуть возвышенную его душу и оценить необыкновенный ум и дарования.

Жизнь Грибоедова обильна чувствованиями, мыслями, мечтами высокими, но не богата происшествиями. Грибоедов родился около 1793 года¹. Род его ведет свое происхождение из Польши, от фамилии Грибовских, переселившихся в Россию, кажется, в начале царствования рода Романовых.

¹ Ошибка. Вопрос о годе рождения Грибоедова дебатировался в литературе в течение многих лет. В 1874 году в «Русской старине» (№ 10) Н. П. Розанов сообщил «Заметку о годе рождения Грибоедова», составленную на основании метрических книг Десятинской церкви в Москве; этому вопросу посвящены статьи В. Е. Якушкина (Русские ведомости. 1895. № 88); Язона (Русская Правда. 1904. № 19); Н. В. Шаломытова (Русские ведомости. 1907. № 231); В. В. Каллаша (Утро России. 1907. 17 декабря). Наиболее же веские аргументы были за 4 января 1795 года. (Прим. сост.)

вых. Один из предков Грибоедова подписался на Уложении царя Алексея Михайловича, припоминающем, во многих местах, Статут Литовский, сочиненный литовским канцлером Львом Сапегой в XVI веке. Это заставляет думать, что предок Грибоедова, писавший Уложение, мог быть нарочно вызван в Россию для этого дела, как муж искусный в правоведении. Впрочем, это одно предположение, о котором мы неоднократно говорили с покойным другом. Герб его и надпись на нем объясняют происхождение и древность его рода, который отныне получает новый блеск дарованиями и душевными качествами покойного Александра Сергеевича, лучшими правами на уважение соотечественников. Воспоминание о знаменитых предках служит укором недостойным потомкам, которые гордятся чужими заслугами. А. С. Грибоедов облагородил бы всякое происхождение¹.

Он получил первоначальное воспитание в Москве, в доме родительском. Лучшие профессора Московского университета и частные учителя преподавали ему уроки. После он стал посещать университетские публичные лекции как вольнослушающий студент, учился прилежно, страстно. Более всех спешествовал к развитию способностей Грибоедова знаменитый московский профессор Буле. У него Грибоедов брал частные уроки в философических и политических науках на дому и руководствовался его советами по всем отраслям познаний.

Наступление отечественной войны прекратило учебные занятия Грибоедова. Получив по экзамену степень кандидата прав, с чином 12-го класса, А. С. Грибоедов в 1812 г., июля 26, вступил в военную службу корнетом в сформированный графом Салтыковым московский гусарский полк, который вскоре был распущен по смерти графа в Казани, и Грибоедов поступил, в декабре того же года, в иркутский гусарский полк.

Эскадрон, в который он был определен, находился тогда в Литве, в резервном кавалерийском корпусе, состоявшем под начальством генерала от кавалерии Андрея Семеновича Кологривова; главная корпусная квартира была в Бресте-Литовском. Здесь для Грибоедова началась новая жизнь². Пламенная душа требовала деятельности, ум — пищи, но ни место, ни обстоятельства не могли удовлетворить его желаниям.

¹ О предках А. С. см. статью М. И. Семева «Несколько слов о фамилии Грибоедовых» (Москвитянин. 1856. № 9. С. 309 — 323). (Прим. сост.)

² Сохранилось описание праздника в Брест-Литовске в честь генерала Кологривова, составленное девятнадцатилетним Грибоедовым; оно было напечатано в «Вестнике Европы» (1814. № 15. С. 228—238). (Прим. сост.)

Надлежало чем-нибудь наполнить пустоту сердца, и юность представила ему в радужных цветах мечты наслаждений, которых истинная цена познается только с годами и опытностью. Дружба спасла Грибоедова от сетей, в которые часто попадают пылкие и благородные, но неопытные юноши, в начале светского поприща. В это время Грибоедов познакомился и подружился с Степаном Никитичем Бегичевым, бывшим тогда адъютантом при генерале Кологривове, и нашел в нем истинного друга и ментора¹. Дружба эта продолжалась до смерти Грибоедова и длится за гробом. В свете не поверили бы и стали удивляться такой дружбе, какая существовала между Грибоедовым, Бегичевым и еще некоторыми близкими к сердцу покойного. Чувства, мысли, труды, имущество, все было общим в дружбе с Грибоедовым. Нет тех жертвований, на которые бы не решился Грибоедов для дружбы: всем жертвовали друзья для Грибоедова. Его нельзя было любить иначе, как страстно, с энтузиазмом, потому что пламенная душа его согревала и воспламеняла все вокруг себя. С Грибоедовым благородный человек делался лучше, благороднее. Его нежная привязанность к другу, внимание, искренность, светлые, чистые мысли, высокие чувствования переливались в душу и зарождали ощущение новой, сладостной жизни. Его голос, взгляд, улыбка, приемы имели какую-то необыкновенную прелесть; звук его голоса проникал в душу, убеждение лилось из уст...

...Не могу написать ничего связного о Грибоедове: ибо, когда только должен вспомнить о душе его, о его качествах, сердце мое разрывается на части... Но я обещал сказать что-нибудь — исполняю!

Грибоедова любили многие, но, кроме родных, ближе всех к нему были: С. Н. Бегичев, Андрей Андреевич Жандр и я. Познав Грибоедова, я прилепился к нему душою, был совершенно счастлив его дружбою, жил новою жизнью в другом лучшем мире и осиротел навеки!

Но первое право на дружбу Грибоедова имел Бегичев. Он узнал его прежде других, прежде постигнул его и в юношеском пламени открыл нетленное сокровище, душу благородную. С. Н. Бегичев разбудил Грибоедова от очарованного сна и обратил к деятельности. Грибоедов писал стихи, еще посещая университет, но не собирал их и не печатал. В Польше он снова обратился к русской словесности и написал комедию «Молодые супруги», которая была играна в первый раз в С.-Петербурге, сентября 29, 1815 года, в пользу актрисы Семено-

¹ Кологривов приходился дядей С. Н. Бегичеву; брат С. Н. — Д. Н. Бегичев был в то же время правителем канцелярии Кологривова. (Прим. сост.)

вой м<ладшей>. Грибоедов приехал в Петербург в 1815 году. В Польше познакомился он с князем А. А. Шаховским, а в Петербурге с Н. И. Хмельницким и А. А. Жандром. Связь с сими литераторами заставила его снова приняться за перо и трудиться общими силами для театра, по примеру французских писателей. Грибоедов участвовал с князем А. А. Шаховским и Н. И. Хмельницким в сочинении комедии «Своя семья», представленной в первый раз на С. П. Б. театре января 24, 1818 г.; а с А. А. Жандром перевел с французского комедию «Притворная неверность», соч<инения> Барта, представленную в первый раз на С.-Петербургском театре в феврале 1817 г.¹.

Тотчас по приезде в С.-Петербург Грибоедов познакомился с Н. И. Гречем, издававшим «Сын Отечества», в котором Грибоедов поместил несколько театральных статей. Грибоедов душевно любил и уважал Греча, был с ним искренен, как с другом. Греч имел случай оказать ему на деле свою дружбу, и если я не поместил Греча в числе самых близких, то это потому только, что он по обстоятельствам реже бывал с Грибоедовым, нежели Жандр и я.

В 1816 г., в марте, Грибоедов вышел в отставку из военной службы. Проживая в Петербурге, он не столько занимался литературою, сколько побуждала его к тому врожденная склонность. Он жил в свете и для света, и только малые урывки времени посвящал музам. В 1817 г. он поступил на службу в ведомство коллегии иностранных дел, с чином губернского секретаря; в следующем году определен секретарем персидской миссии, произведен в титулярные советники, и отправился в Тавриз. Российским поверенным в делах в Персии был тогда стат. сов. Мазарович.

Грибоедов знал совершенно немецкий, французский, итальянский и английский языки и понимал латинский. В Персии он стал обучаться по-персидски и в скором времени не только объяснялся свободно на сем языке, но и понимал персидских авторов. Поведением своим и характером он снискал себе уважение целой английской миссии в Тавризе и приобрел особенную благосклонность наследника престола, принца Аббаса-Мирзы, который истинно любил Грибоедова и находил удовольствие в его беседе. Все отличнейшие сановники персидские также уважали Грибоедова; он много способство-

¹ Неправильно; впервые была поставлена в понедельник 11 февраля 1818 года в бенефис Екат. Семеновой (см. собрание афиш в Центральной библиотеке Ленинградских академических театров; ср. Арапов П. Летопись русского театра. 1861. С. 263). (Прим. сост.)

вал к поддержанию доброго согласия между Аббас-Мирзою и правлением нашим в Грузии. Во время пребывания своего в Персии Грибоедов убедил множество русских, поселившихся в Персии и вступивших в военную службу, возвратиться на лоно отечества. Ему поручено было проводить этот отряд в российские пределы, и Грибоедов неоднократно подвергался опасности лишиться жизни в сем походе от озлобленных персиян, которым неприятно было возвращение сих переселенцев. Однако ж это дело нимало не ослабило благосклонности Аббаса-Мирзы, который даже упросил шаха, родителя своего, пожаловать Грибоедову персидский орден Льва и Солнца 2-й степени. В 1822 г., января 3, он произведен за отличие в коллежские ассесоры, и в том же году, в марте месяце, получил дозволение носить персидский орден. В феврале 1822 г. Грибоедов выбыл, по собственному желанию, из персидской миссии и по высочайшему повелению определен по дипломатической части к г. главноуправляющему в Грузии, А. П. Ермолову.

Я до сих пор не говорил о достоинстве литературных опытов Грибоедова и вовсе умолчу о прежних его произведениях, потому что они меркнут перед бессмертным трудом, его комедией «Горе от ума», известною в рукописи, в целой России, всем грамотным людям. Вот каким образом родилась эта комедия. Будучи в Персии, в 1821 г., Грибоедов мечтал о Петербурге, о Москве, о своих друзьях, родных, знакомых, о театре, который он любил страстно, и об артистах. Он лег спать в киоске, в саду, и видел сон, представивший ему любезное отечество, со всем, что осталось в нем милого для сердца. Ему снилось, что он в кругу друзей рассказывает о плане комедии, будто им написанной, и даже читает некоторые места из оной. Пробудившись, Грибоедов берет карандаш, бежит в сад и в ту же ночь начертывает план «Горя от ума» и сочиняет несколько сцен первого акта. Комедия сия заняла все его досуги, и он кончил ее в Тифлисе, в 1822 г. В марте 1823 г. он получил отпуск в Москву и Петербург на 4 месяца. Приехав в Москву, Грибоедов стал посещать общества и в то же время почувствовал недостатки своей комедии и начал ее переделывать. Каждый выезд в свет представлял ему новые материалы к усовершенствованию своего труда, и часто случалось, что он, возвратясь поздно домой, писал целые сцены по ночам, так сказать, в один присест. Таким образом, составилось сие бессмертное творение, отпечаток чувствований, впечатлений и характера незабвенного автора. Любовь к родине и ко всему похвальному, глубокое презре-

ние к нравственному ничтожеству, прикрываемому лаком иноземной образованности, презрение к закоренелым предрассудкам и низкому идолопоклонству — вот характер сей комедии, написанной таким разговорным языком, какого поныне не было в нашей литературе. Первый списанный экземпляр сей комедии быстро распространился по России, и ныне нет ни одного малого города, нет дома, где любят словесность, где б не было списка всей комедии, по несчастью, искаженного переписчиками. Этот удивительный успех — первый пример в России! Комедия «Горе от ума» была напечатана отрывками в «Русской Талии» и нашла противников в Москве, где с изумительным постоянством восстают против всего, что выходит из обыкновенного круга. Есть и в Петербурге украшенные лаврами литераторы, которые не понимают, как может существовать комедия, в которой, по обыкновению, никто не женится, где нет пролазов-слуг, шалунов-племянников, старого опекуна, хитрого любовника и нежной любовницы, которой свадьба предшествует закрытию завесы. Наши письменные люди, дамы и мужчины, обученные мудрости по курсу Лагарпа, точно так же рассуждают. Есть добрые и умные люди, которые увлекаются чуждыми суждениями. Жестокий приговор комедии «Горе от ума», произносимый с завистью, невежеством, оскорбленным самолюбием и легковерным простодушием, есть лучшее доказательство ее высокого достоинства. Я не хочу распространяться в разборе всего произведения Грибоедова, потому что оно хотя и всем известно, но поныне не напечатано.

Находясь при особе А. П. Ермолова, Грибоедов снискал его доверенность и родительскую любовь. Грибоедов был так же привязан к Алексею Петровичу, как к отцу, а не начальнику, был с ним безотлучно, и даже сопровождал его в военных экспедициях. В 1824 г., в мае, Грибоедов получил позволение отправиться за границу на излечение болезни; но, прибыв в Петербург, остался там и прожил около года¹.

Уединенная жизнь в Персии и Грузии совершенно преобразила характер Грибоедова. Он не хотел появляться более в свете, посвятил себя наукам и, при необыкновенной памяти и прилежании, приобрел глубокие познания, продолжая изучать то, чему положены были хорошие начала профессором Буле. Грибоедов, сверх занятий изящною словесностью и поэ-

¹ В это время упросил я его позволить списать с себя портрет собственно для меня. Это единственный портрет его. Зная, что доставим удовольствие многим, я и товарищ мой, Н. И. Греч, вознамерились издать оный. Знаменитый наш художник, Н. И. Уткин, исполнил наше желание.

зией, трудился беспрестанно над изучением предметов важных. Правоведение, философия, история, политические и финансовые науки составляли его всегдашнее упражнение. Он читал не для препровождения времени, но для того, чтобы научиться, и умел из всего извлекать полезное для ума и сердца. Изъясняясь приятно и правильно на всех языках, он отлично хорошо говорил по-русски, достоинство весьма редкое между образованными русскими. Красноречие его, всегда пламенное, было убедительно, потому что основывалось на здравом смысле и глубокой учености. Трудно было не согласиться с ним в мнении. Он имел особенный дар, как все необыкновенные люди, убеждать и привлекать сердца. Знать его было то же, что любить. Более всего привязывало к нему его непритворное добродушие, которое, при необыкновенном уме, действовало на сердца, как теплота на природу. От того-то, во время пребывания своего в Петербурге, Грибоедов, почувствовав ничтожность светских связей, подружился с литераторами и любителями наук и словесности, снискал их привязанность и уважение и жил только в литературном кругу. Грибоедова не умели ценить в свете, не умели ценить его и некоторые литераторы, которые думают возвыситься тем, что выходят из природного своего круга и в приемных и гостиных ищут награды за свои труды, в благосклонности людей, не постигающих другого достоинства в человеке, кроме связей, богатства и почестей. Грибоедов был выше всех этих мелочей: они казались ему смешными и жалкими, столько же, как и люди, забывающие для них предопределение таланта. Он купил познание света опытностью; чтит и уважал звание и почести в людях заслуженных и достойных и никогда не склонял чела перед временными любимцами фортуны или счастливыми пронырами. Разумеется, что с этими чувствами Грибоедов долженствовал иметь врагов. Он имел их, не сделав никому ни малейшего зла, но единственно за то, что был выше других умом и душою. За это самое Сократ испил цикуту.

Грибоедов написал в это время прекрасное стихотворение на балет «Руслан и Людмила», напечатанное в «Сыне Отечества», и перевел пролог к Гетеву «Фаусту», напечатанный в альманахе «Полярная Звезда». Он отказался от намерения ехать за границу и решил возвратиться в Грузию, побывав в Южной России и в Крыму. Он любил величественную природу Грузии. Возвратясь туда, он был в экспедиции с генералом Вельяминовым против горских народов, в 1825 г., и в виду вершин Кавказа и неприятельского стана написал пре-

лестное стихотворение «*Хищники на Чегеме*», напечатанное в «Северной пчеле»¹.

Происшествия, опечалившие Россию в конце 1825 года, потребовали присутствия его в Петербурге. Не знали Грибоедова и узнали его. Благородный образ мыслей, откровенность и чистота всех дел его и помыслов снискали ему милостивое внимание правосудного и великодушного монарха. Грибоедов имел счастье представляться государю императору и с этой минуты душою полюбил августейшего монарха, как государя и как человека. При отправлении на службу, по собственному его желанию, обратно в Грузию, Грибоедов всемилостивейше награжден чином надворного советника, 8 июня 1826 г.

В это время он жил со мною, на даче, в уединенном домике на Выборгской стороне, видался только с близкими людьми, проводил время в чтении, в дружеской беседе, в прогулках и занимался музыкою. Все изящное имело доступ к душе Грибоедова, он страстно любил музыку, будучи сам искусен в игре на фортепиано. Фантазии его и импровизации отзывались глубоким чувством меланхолии.

Часто он бывал недоволен собою, говоря, что чувствует, как мало сделал для словесности. «Время летит, любезный друг, — говорил он. — В душе моей горит пламя, в голове рождаются мысли, а между тем я не могу приняться за дело, ибо науки идут вперед, а я не успеваю даже учиться, не только работать. Но я должен что-нибудь сделать... сделаю!» Вот как думал Грибоедов. Он не мог без сожаления вспоминать о том, что некоторые наши писатели, особенно поэты, думают, что им должно следовать одному вдохновению и ничему не учиться. Грибоедов указывал на Байрона, Гете, Шиллера, которые от того именно вознеслись выше своих совместников, что гений их равнялся их учености. Грибоедов судил здраво, беспристрастно и с особенным жаром. У него навертывались слезы, когда он говорил о бесплодной почве нашей словесности. «Жизнь народа, как жизнь человека, есть деятельность умственная и физическая», — говорил Грибоедов. «Словесность — мысль народа об изящном. Греки, римляне, евреи не погибли от того, что оставили по себе словесность, а мы... мы не пишем, а только переписываем! Какой результат наших литературных трудов по истечении года, столетия? Что мы сделали

¹ Поводом к написанию этого стихотворения явились действия «хищнических племен» — кабардинцев и черкесов, которые в числе до 2000 человек на рассвете 29 сентября напали на станицу Солдатскую и разгромили ее. — Автограф, с которого стихотворение печаталось в «Северной пчеле», в семидесятих годах был найден в Карловском архиве Булгарина и целиком опубликован в «Русской Старине» (1874. № 6. С. 279—281). (Прим. сост.)

и что могли бы сделать!..» Рассуждая о сих предметах, Грибоедов становился грустен, угрюм, брал шляпу и уходил один гулять в поле или в рощу.

Мне не случалось в жизни ни в одном народе видеть человека, который бы так пламенно, так страстно любил свое отечество, как Грибоедов любил Россию. Он в полном значении обожал ее. Каждый благородный подвиг, каждое высокое чувство, каждая мысль в русском приводила его в восторг. Если бы знали враги его, раздиравшие его литературную славу, как он радовался, находя в них хорошее! Грибоедов, зная столько иностранных языков, любил читать русские книги, особенно переводы (даже самые плохие) великих писателей. Когда я изъяснил ему мое удивление на этот счет, он отвечал: «Мне любопытно знать, как изъяснены высокие мысли и наставления мудрецов, и может ли понимать их класс народа, не знающий иностранных языков? Это археологические и этнографические изыскания, любезный друг», — прибавил он с улыбкою. Грибоедов чрезвычайно любил простой русский народ и находил особенное удовольствие в обществе образованных молодых людей, не испорченных еще искательством и светскими приличиями. Он находил особенное наслаждение в посещениях храмов Божьих. Кроме христианского долга, он привлекаем был туда особенным чувством патриотизма. «Любезный друг! — говорил он мне. — Только в храмах Божьих собираются русские люди; думают и молятся по-русски. В русской церкви, я в отечестве, в России! Меня приводит в умиление мысль, что те же молитвы читаны были при Владимире, Димитрии Донском, Мономахе, Ярославе, в Киеве, Новгороде, Москве; что то же пение трогало их сердца, те же чувства одушевляли набожные души. Мы русские только в церкви, — а я хочу быть русским!..»

Но эта любовь к отечеству не заставляла его ненавидеть чужеземцев, подобно тем грубым невеждам, которые почитают врагом каждого, кто не родился на берегах Волги или Оки. Напротив того, Грибоедов радовался, когда чужеземец посвящал свои таланты на пользу России, и был признателен к каждому, оказавшему услуги его отечеству. Разумеется само по себе, что Грибоедов не почитал чужеземцами жителей областей, присоединенных к России оружием или трактатами. Такая мысль не может родиться в голове образованного человека. Но как всякий человек имеет свой особенный образ мыслей, то он любил более славянские поколения и желал, чтобы из двух человек одинакового достоинства соплеменник предпочитался иноплеменику. Грибое-

дов вообще не любил разделения между славянскими племенами и почитал их одною семьею. Ему нравилась мысль моя: что все славянские поколения родные сестры, из которых одна замужем за единоплеменником, другая — за немцем, третья — за турком, но это не должно препятствовать родственной любви и согласию.

Приехав в Грузию при начале войны с Персией, Грибоедов находился при особе графа Паскевича-Эриванского, своего родственника, любившего его, как родного брата. Деятельность графа и пламенное желание быть полезным тому краю обрадовали Грибоедова и заставили его трудиться. Я намерен сообщить здесь отрывки из нескольких его писем, в которых изображается характер и душа Грибоедова лучше, нежели в чужом описании. Вот что он писал ко мне из Тифлиса, от 16 апреля 1827:

«Любезный друг, Фаддей Венедиктович! Прежде всего просьба, чтобы не забыть, а потом уже не благодарность за дружеское твое внимание к скитальцу в восточных краях. Пришли мне, пожалуйста, статистическое описание, самое подробнейшее, сделанное по лучшей, новейшей системе, какого-нибудь округа Южной Франции, или Германии, или Италии (а именно, Тосканской области, коли есть, как края наиболее возделанного и благоустроенного), на каком хочешь языке, и адресуй в канцелярию главноуправляющего, на мое имя. Очень меня обяжешь. Я бы извлек из этого таблицу не столь многосложную, но по крайней мере порядочную, которую бы разослал к нашим окружным начальникам, с кадрами, которые им надлежит наполнить¹.

...При Алексее Петровиче у меня много досуга было, и если я немного наслужил, так вдоволь начитался. Авось теперь, с божиею помощью, употреблю это в пользу. — Стихов Жандра в первом номере я нигде не мог отыскать; ты не прислал мне; а другие — «К Музе» я, еще не зная чьи они, читал здесь вслух у Ховена и уверен был, что это произведение человека с большим дарованием. Я надеюсь, что воротясь из похода, как-нибудь его сюда выпишу. Не могу довольно я отблагодарить тебя за прежнее твое письмо и за присылку журналов. Желал бы иметь целого Годунова²... В первой сцене Бориса мне нравится Пимен-старец... Не ожидай от меня стихов; горцы, персияне, турки, дела управления, ог-

¹ Пропущена фраза: «А то с этим невежественным чиновным народом век ничего не узнаешь, и сами они ничего знать не будут». (Прим. сост.)

² Трагедия «Борис Годунов», соч. А. С. Пушкина, находящаяся в рукописи. (Прим. сост.)

ромная переписка нынешнего моего начальника поглощают все мое внимание. Не надолго, разумеется: кончится кампания, и я откланяюсь. В обыкновенные времена никуда не гожусь: и не моя вина: люди мелки, дела их глупы, душа черствеет, рассудок затмевается, и нравственность гибнет без пользы ближнему. Я рожден для другого поприща... I глава твоей «Сиротки»¹ так с натуры списана, что (прости, душа моя) невольно подумаешь, что ты сам когда-нибудь валялся с кудлашкой. Тьфу пропасть! Как это смешно, и жалко, и справедливо²... Многие просят, чтобы ты непременно продолжал и окончил эту повесть».

Наконец, началась война. Грибоедов был безотлучно при графе Паскевиче-Эриванском, охотно переносил труды военные и не прятался от опасностей. Он прослужил кампанию, как отличный гражданский чиновник и как храбрый воин³. По представлению графа, он награжден был за отличие чином коллежского советника, в декабре 1827 г. Он был послан в лагерь Аббаса-Мирзы для переговоров о мире и имел с ним занимательные сношения. При заключении Туркманчайского трактата, Грибоедов трудился непрерывно и оказал важные услуги. В награду за сие, он избран был графом Паскевичем-Эриванским поднести мирный трактат государю императору.

В Петербурге получено было прежде известие, что Грибоедов отправился с трактатом в Петербург. Дурная дорога воспрепятствовала ему прибыть в срочное время для курьерской езды. С нетерпением ожидали его. Не могу без умиления вспомнить о той радостной минуте, в которую я встретил его. По какому-то инстинкту, я несколько дней сряду ходил в заездный дом Демута и ожидал моего друга. Наконец, 14

¹ В романе «Иван Выжигин». Тогда я сочинял сей роман и напечатал I главу в «Сыне Отечества».

² Булгариным пропущена фраза, характеризующая круг его читателей: «Я несколько раз заставлял моего Александра, когда он это читал вслух своим приятелям». (Прим. сост.)

³ Вот черта, характеризующая Грибоедова. В последнюю Персидскую войну он проезжал верхом, вместе с князем Италийским, графом Суворовым-Рымникским, внуком великого, под выстрелами неприятельских орудий. Ядро оконтузило лошадь кн. Суворова, и она в испуге поднялась на дыбы. Грибоедов, любя князя и думая в первую минуту, что он ранен, пришел в некоторое смущение. Полагая, что страх вкрался в его душу, он решился наказать себя. При первом представившемся случае сел на батарею и выдержал, не сходя с места, 124 неприятельских выстрела, чтобы освоиться с ядрами, как он говорил.

марта, около полудня подъехала кибитка, и я принял его в мои объятия... Мы плакали, как дети, от радости!..¹

Государь император наградил по-царски Грибоедова: пожаловал ему чин статского советника, орден св. Анны 2-й степени с алмазами, медаль за Персидскую войну и 4000 червонных². В апреле сего же 1828 г. мудрый монарх наш благоволил назначить его полномочным министром при дворе персидском.

Все предвещало счастливый успех. Грибоедов знал персидский язык, страну, нравы и обычаи, характер двора и главнейших сановников. Грибоедов вовсе не предугадывал о сем блестящем назначении и намеревался выйти в отставку, посвятить себя совершенно наукам и словесности и поселиться со мною, по крайней мере на некоторое время, возле ученого Дерпта, в моем тихом убежище³. Мы утешались этой мыслью, делали планы, как будем провожать время, как будем ездить в гости в Москву, в Петербург, в деревню к С. Н. Бегичеву и проч. Повинуясь воле государя и желая служить ему усердно, Грибоедов отсрочил свое намерение жить для науки и словесности, но не отказался от них совершенно. Пламенея ревностью к службе, он, однако же, с мрачным предчувствием вспоминал о Персии и предсказывал, что не возвратится оттуда, что там должен окончить жизнь, в отдалении от милых сердцу, и часто повторял: «Там моя могила! Чувствую, что не увижу более России!..»

Из прощального письма в деревню, к жене моей, которую он любил как сестру, можно видеть его предчувствия и надежды.

«Прощайте, милый друг, прощайте! Расстаюсь с вами на

¹ В прибавлении к № 32 «Северной пчелы» на 1828 год, выпущенном 15 марта, Булгарин напечатал заметку о приезде Грибоедова. (Прим. сост.)

² Любопытные дополнения к этим строкам имеются в письме Булгарина к шефу жандармов А. Х. Бенкендорфу, сохранившемся в черновой копии в архиве Ф. В. в Карлове близ Дерпта: «Когда Грибоедов приехал в Петербург с Туркманчайским трактатом и получил от щедрот государя императора 4000 червонных, то тотчас же отдал мне деньги на сохранение. Князь (В. Ф.) Одоевский (служащий в иностранной цензуре), пришед в квартиру Грибоедова, удивился; застав меня считающего деньги хозяина квартиры. Я посоветовал другу моему составить капиталец, и он отдал мне 36000 рублей для сохранения. Между тем, прежде нежели разменяли червонцы и положили деньги в ломбард, Грибоедов имел нужду одеться, жить и уплатить кое-какие долги, взял у меня 5000 рублей с тем, чтобы возвратить при получении жалования до отъезда в Москву или после. Не належа даже быть посланником, он хотел ехать на лето со мною в деревню мою». См.: П и к с а н о в Н. К. Столкновение Булгарина с матерью Грибоедова // Русская старина. 1905. № 12. С. 710—711.

³ В имении Булгарина, Карлове. (Прим. сост.)

три года, а может быть — навсегда! О боже! неужели я должен навсегда остаться в стране, чуждой моим чувствам! Я еще не теряю надежды укрыться в вашем Карлове, от всего, что тяготит меня в жизни! Но когда? Еще далеко до этого! В ожидании, прощайте, и будьте счастливы. С. П. Б. 5 июня 1828 г.¹».

Во время военных и дипломатических занятий Грибоедов, в часы досуга, уносился душою в мир фантазий. В последнее пребывание свое в Грузии он сочинил план романтической трагедии и несколько сцен вольными стихами с рифмами. Трагедию назвал он «Грузинская ночь»; почерпнул предмет оной из народных преданий и основал на характере и нравах грузин. Вот содержание: один грузинский князь за выкуп любимого коня отдал другому князю отрока, раба своего. Это было делом обыкновенным, и потому князь не думал о следствиях. Вдруг является мать отрока, бывшая кормилица князя, няня дочери его; упрекает его в бесчеловечном поступке; припоминает службу свою и требует или возврата сына, или позволения быть рабою одного господина, и угрожает ему мщением ада. Князь сперва гневается, потом обещает выкупить сына кормилицы, и, наконец, по княжескому обычаю — забывает обещание. Но мать помнит, что у нее отторжено от сердца дитище, и, как азиатка, умышляет жестокую месть. Она идет в лес, призывает Дели, злых духов Грузии², и составляет адский союз на пагубу рода своего господина. Появляется русский офицер в доме, таинственное существо по чувствам и образу мыслей. Кормилица заставляет Дели вселить любовь к офицеру, к питомице своей, дочери князя. Она уходит с любовником из родительского дома. Князь жаждет мести, ищет любовников и видит их на вершине горы Св. Давида. Он берет ружье, прицеливается в офи-

¹ Этим днем и датирована надпись Грибоедова «Горе от ума», оставленной им Булгарину; об этой рукописи Булгарин писал позже: «Грибоедов, уезжая посланником в Персию, дал мне полное право собственности собственноручною надписью на подлинной комедии и особою формальною бумагою»; см.: Письмо Ф. В. Булгарина к Михаилу Александровичу (Дондукову-Корсакову) из Петербурга от 1 марта 1832 года // Библиографические Записки. 1859. № 20. Столб. 621.— Исследование Булгаринского списка см. в книге Н. К. Пиксанова «Творческая история «Горя от ума». М., 1928. (Прим. сост.)

² У Грибоедова — это духи ведьмы Али. В статье Н. Берzenова «О грузинской медицине» имеется следующая характеристика духов Али: «Есть молитва, в которой гном, известный у грузин под именем Али (буквально — пламень), обрисован рельефно. По народному поверью, Али — дух женского пола, и он в особенности преследует родильниц; часто является он им в образе повивальных бабок, умерщвляет дитя, а родильницу уводит и бросает

цера, но Дели несут пулю в сердце его дочери. Еще не свершилось мщения озлобленной кормилицы! Она требует ружья, чтобы поразить князя,— и убивает своего сына. Бесчеловечный князь наказан небом за презрение чувств родительских и познает цену потери детища. Злобная кормилица наказана за то, что благородное чувство осквернила местью. Они гибнут в отчаянии. Трагедия, основанная, как выше сказано, на народной грузинской сказке, если б была так окончена, как начата, составила бы украшение не только одной русской, но и всей европейской литературы. Грибоедов читал нам наизусть отрывки, и самые холодные люди были растроганы жалобами матери, требующей возврата сына у своего господина. Трагедия сия погибла вместе с автором!..¹

Н. И. Греч, услышав отрывки из этой трагедии и ценя талант Грибоедова, сказал в его отсутствии: «Грибоедов только попробовал перо на комедии *«Горе от ума»*. Он займет такую степень в литературе, до которой еще никто не приближался у нас: у него, сверх ума и гения творческого, есть — душа, а без этого нет поэзии!»²

Наконец, Грибоедов поехал к своему назначению, но по обстоятельствам не мог отправиться прямо в Персию и должен был свидеться прежде с графом Паскевичем-Эриванским. Отрывки из двух писем ко мне покажут, как Грибоедов смотрел на дела и какими чувствами одушевлялось его русское сердце.

«Ставрополь, 27 июня 1828 г.

Любезнейшая Пчела! Вчера я сюда прибыл с мухами, с жаром, с пылью! Пустил бы я на свое место какого-нибудь франта, охотника до почетных назначений, Dandy петербургского, Bondsstreet,— Невского проспекта, чтобы зас-

в реку... Сказывают, были и теперь будто бы есть неустрашимые люди, которым удавалось поймать Али и держать ее несколько лет в услужении; уверяют, что она невольно делается рабой того, кто отрежет у ней косу, а так как Али часто расчесывает свои волосы на пустынном берегу реки, то это можно сделать при известных условиях». У Али «зубы словно кабаньи клыки, а коса во весь рост, и говорит-то она хотя языком человеческим, но все наоборот, и вся она создана будто наизнанку, и все члены у ней будто выворотные» — см. «Кавказский календарь» на 1857 г.

Это не совсем так. Отрывки из «Грузинской ночи» сохранились в «Черновой тетради» Грибоедова, бывшей в руках у Д. А. Смирнова, напечатавшего эти отрывки в своей статье в «Русском слове» (1859. № 5. С. 89—95 и 115—116). В позднейших перепечатках этих воспоминаний Булгарин сделал следующее примечание: «Ныне (в ноябре 1830 года) получил я известие, что отрывки из сей трагедии и некоторые другие сочинения Грибоедова уцелели». (Прим. сост.)

² В «Записках моей жизни» Н. И. Греч, между прочим, пишет о Булгарине: «В моем доме он узнал Бестужевых, Рылеева, Грибоедова, Батенкова, Тургеневых и пр.— цвет умной молодежи». (Прим. сост.)

тавить его душою полюбить умеренность в желаниях и неизвестность.

Здесь меня задерживает приготовление конвоя. Как добрый патриот, радуюсь взятию Анапы. С этим известием я был встречен тотчас при въезде. Нельзя довольно за это благодарить бога тому, кто дорожит безопасностью здешнего края. В последнее время закубанцы сделались дерзки, до сумасбродства, переправились на нашу сторону, овладели несколькими постами, сожгли Незлобную, обременили себя пленными и добычею. Наши пошли к ним наперерез с 1000 конными и с 4-мя орудиями, но не успели. Пехота стала действовать отдельно, растянулась длинною цепью тогда, как донской полковник Родионов предлагал, соединившись, тотчас напасть на неприятеля, утомленного быстрым переходом. Горцы расположены были табором в виду, но, заметив несовокупность наших движений, тотчас бросились в шашки, не дали ни разу выстрелить орудию, бывшему при пехотном отряде, взяли его и перерубили всех, которые при нем были, опрокинули его вверх колесами и поспешили против конного нашего отряда. Родионов удержал их четырьмя орудиями; потом хотел напасть на них со всеми казаками линейными и донскими, но, не быв подкреплен, ударил на них только с горстью донцев своих и заплатил жизнью за великодушную смелость. Ему шашкою отхватили ногу, потом пулею прострелили шею: он свалился с лошади и был изрублен. Однако отпор этот заставил закубанцев бежать от Горячих Вод, которым они угрожали нападением. Я знал лично Родионова: жаль его, отличный офицер, исполинского роста и храбрейший. Тело его привезли на Воды. Посетители сложились, чтобы сделать ему приличные похороны, и провожали его, как избавителя, до могилы. Теперь, после падения Анапы, все переменялось: разбой и грабительства утихли, и *тепловоды*, как их здесь называют, могут спокойно пить воду и чай. Генерал Эммануэль отправился в Анапу, чтобы принять присягу от тамошних князей. На дороге с той стороны Кубани, толпами к нему выходили навстречу все горские народы с покорностию и подданством. Опять повторяю, что выгоды от взятия Анапы неисчислимы... Прощай. Лошади готовы. Коли к моему приезду гр. Эриванский возьмет Карс, то это немало послужит в пользу моего посольства. Здесь я уже в его улу-сах; все меня приветствуют с новым начальником. Говорят, что он со всеми ласков, добр, внимателен, и бездну добра делает частного и общего. А у нас чиновники народ добрый! Прощай, еще раз, любезный друг».

Сообщив известие для «Северной Пчелы» о взятии Карса, Грибоедов приписал следующее: «Ура! Любезнейший друг! мои желания и предчувствия сбылись. Карс взят штурмом. Читай реляцию и проповедай ее всенародно. Это столько чести приносит войску и генералу, что нельзя русскому сердцу не прыгать от радости. У нас здесь все от славы с ума сходят. Верный друг твой А. Г.

Владикавказ, 30 июня 1828 г.»

Грибоедов, будучи в последний раз в Петербурге, открылся верным друзьям своим, что он любит. Он был как родной в доме той, которая занимала его сердце, видел ее ребенком и привык обходиться с нею, как с меньшою сестрою. В Петербурге он не знал еще, что сделает с собою, но одна минута решила судьбу его. Сообщаю любопытное письмо его ко мне по сему предмету. Это самый верный отпечаток сердца Грибоедова и его самобытного, необыкновенного характера. Читая это письмо — кажется, видишь его!

«Бизаки при Казанче, на турецкой границе, 24 июля 1828 г.

Любезный друг! пишу к тебе под открытым небом, и благодарность водит моим пером: иначе никак бы не принялся за эту работу, после трудного дневного перехода. Очень, очень знаю, как дела мои должны тебе докучать. Покупать, заказывать, отсылать!

Я тебя из Владикавказа уведомил о взятии Карса. С тех пор прибыл в Тифлис. Чума, которая начала свирепствовать в действующем отряде, задержала меня на месте; от графа Паскевича ни слова, и я пустился к нему наудачу. В душейной долине, где протекают Храм и Алгет¹, лошади мои стали; далее, поднимаясь к Шулаверам, никак нельзя было понудить их идти в гору. Я в реке ночевал; рассердился, побросал экипажи, воротился в Тифлис, накопил себе верховых и вьючных лошадей, с тем чтобы тотчас пуститься снова в путь, а с поста казачьего отправил депешу к графу... Это было 16-го. В этот день я обедал у старой моей приятельницы А(хвердовой), за столом сидел против Нины Чавчавадзевоу, все на нее глядел, задумался, сердце забилося; не знаю, беспокойство ли другого рода, по службе, теперь необыкновенно важной, или что другое, придало мне решительность необычайную: выходя из-за стола, я взял ее за руку и сказал ей: «Venez avec moi, j'ai guelgue chose ávous dire!» Она меня послушалась, как и всегда: верно, думала, что я ее усажу за

¹ В публикации «Русской старины» Аракс и Алгетла. (Прим. сост.)

фортепиано,— вышло не то. Дом ее матери возле; мы туда уклонились, вошли в комнату; щеки у меня разгорелись, дыханье занялось; я не помню, что я начал ей говорить, и все живее и живее; она заплакала, засмеялась... потом к матушке ее, к бабушке, к ее второй матери Пр. Н. А(хвердовой); нас благословили...; отправил курьера к ее отцу, в Эривань, с письмами от нас обоих и от родных. Между тем выюки мои и чемоданы изготовились, все вновь уложено на военную ногу; во вторую ночь я без памяти, от всего, что со мною случилось, пустился опять в отряд, не оглядываясь назад. На самой крутизне Безобдала гроза сильнейшая продержала нас всю ночь: мы промокли до костей. В Гумрах я нашел, что уже сообщение с главным отрядом прервано. Граф оставил Карский Пашалык, и в тылу у него образовались толпы турецких партизанов; в самый день моего приезда была жаркая стычка, у Басова черноморского полка, в горах за Арпачаем. Под Гумрами я наткнулся на отрядец из 2-х рот Козловского, 2-х рот 7-го карабинерного и 100 человек, выздоровевших; все это назначено на усиление главного корпуса; но не знал, куда идти; я их тотчас взял всех под команду, 4-х проводников из татар, сам с ними и с казаками впереди, и вот уже второй день веду их под Ахалкалаки; всякую минуту ожидаем нападения. Коли в целости доведу, дай Бог. Мальцев в восхищении: воображает себе, что он воюет.

В Гумрах же нагнал меня ответ от князя Чавчавадзе-отца из Эривани: он благословляет меня и Нину и радуется нашей любви.— Хорошо ли я сделал? Спроси милую мою В(арвару) С(еменовну) и Андрея¹. Но не говоря Р(одофиникину)², он вообразит себе, что любовь заглушит во мне чувство других моих обязанностей. Вздор. Я буду вдвое старательнее служить, за себя и за нее».

По возвращении в Тифлис, Грибоедов писал ко мне:
«Строфы XIII, XIV, XV³.

Промежуток I — I/2 месяца.

Дорогой мой Фаддей! Я по возвращении из действующего

¹ В. С. Миклашевич и А. А. Жандр — друзья Грибоедова. (Прим. сост.)

² К. К. Родофиникин, директор азиатского департамента Министерства иностранных дел, с которым Грибоедов не ладил, так как расходился с ним во взглядах на задачи русской политики в Персии. (Прим. сост.)

³ Эти строфы и точки поставлены Грибоедовым в шутку, в подражание модным поэмам:

отряда сюда в Тифлис 6-го августа занемог жестокою лихорадкою. К 22-му получил облегчение. Нина не отходила от моей постели, и я на ней женился. Но в самый день свадьбы, под венцом уже, опять посетил меня пароксизм, и с тех пор нет отдыха: я так исхудал, пожелтел и ослабел, что, думаю, капли крови здоровой во мне не осталось».

Наконец, он отправился с супругою в Тегеран. Мрачные предчувствия стесняли сердце его более, нежели когда-нибудь, и он с каждым днем становился все грустнее, как будто знал, что приближается к гробу. Выписки из письма его к почтенной даме, которую он любил как мать, к В. С. М (иклашевиче) вой, дадут полное понятие о том, что происходило в душе его.

«Эчмядзин, 17 сент. 1828 г.

Друг мой, В(арвара) С(еменовна)!¹ Не пеняйте же на долгое мое молчание, милый друг; видите ли, в какую для меня необыкновенную эпоху я его прерываю. Женат, путешествую с огромным караваном, 110 лошадей и мулов, ночуем под шатрами, на высотах гор, где холод зимний. Нинуша моя не жалуется, всем довольна и весела: для перемены бывают нам блестящие встречи, конница во весь опор несется, пылит, спешивается и поздравляет нас с счастливым прибытием туда, где бы вовсе быть не хотелось. Ныне нас принял весь клир монастырский в Эчмядзине, с крестами, иконами и хоругвями, пением, курением; и здесь, под сводами этой древней обители, первое мое помышление об вас и Андрее. Помиритесь с моей ленью.

Как все это случилось! Где я, что и с кем!..² Но мне простительно ли, после стольких опытов, стольких размышлений, вновь бросаться в новую жизнь, предаваться на произвол случайностей и все далее от успокоения души и рассудка! А независимость, которой я такой был страстный любитель? Исчезла, может быть, навсегда, и как ни мило и утешительно делить все с прекрасным, воздушным созданием, но это теперь так светло и отрадно, а впереди так темно, неопределенно!! Всегда ли так будет!! Бросьте вашего Трапёра и Куперова Прайге, мой роман живой у вас перед глазами и во сто крат занимательнее: главное в нем лицо, друг ваш, неизменный в своих чувствах, но в быту, в роде жизни, в

¹ Пропущена фраза: «Жена моя по обыкновению смотрит мне в глаза, мешает писать, знает, что пишу к женщине, и ревнует». (Прим. сост.)

² Пропущена фраза: «Будем век жить, не умрем никогда». Слышите? Это жена мне сейчас сказала ни к чему, доказательство, что ей шестнадцатый год». (Прим. сост.)

различных похождениях, непохожий на себя прежнего, на прошлогоднего, на вчерашнего даже; с каждою луною со мной сбывается что-нибудь, о чем не думал, не гадал».

«Табриз, 3 декабря.

Как я себя виню, что не послал вам написанных строчек три месяца назад! Вы бы не сердились на меня, а теперь, верно, разлюбили, и правы. Не хочу оправдываться. Андрей! Ты помоги мне умиловить нашего общего друга. Хорошо, что вы меня насквозь знаете, и не много надобно слов, чтобы согреть в вас те же чувства, ту же любовь, которые от вас, моих милых, нежных друзей, я испытывал в течение стольких лет — и как нежно и как бескорыстно! Верно, сами догадаетесь, неценная В(арвара) С(еменовна), что я пишу к вам не в обыкновенном положении души. Слезы градом льются... Неужели я для того рожден, чтобы всегда заслуживать справедливые упреки за холодность (и мнимую притом), за невнимание, за эгоизм от тех, за которых бы охотно жизнь отдал. Александр наш что должен обо мне думать!¹ И это кроткое, тихое создание, которое теперь отдалось мне на всю мою волю, без ропота разделяет мою участь² и страдает самую мучительною беременностью: кто знает, может быть, я и ее оставляю, сперва по необходимости, по так называемым делам, на короткое время, но после время продлится, обстоятельства завлекут, забудусь, не стану писать; что проку, что чувства мои неизменны, когда видимые поступки тому противоречат? Кто поверит!..»

Сбылись предчувствия Грибоедова: он погиб жертвою народного неистовства в Тегеране. Не имея официальных известий о сем ужасном происшествии, я не могу писать об этом. Знаю только, что вражда возникла за армян, русских подданных, которые укрывались в доме посланника. Не только русские, но и добрые персияне, знавшие Грибоедова, сожалеют о нем. Целая Грузия оплакивает Грибоедова³.

Известие о смерти Грибоедова привезено в С.-Петербург 14 марта 1829 г., того же самого числа, ровно через год, когда он приехал с трактатом Туркманчайским!

¹ Декабрист А. И. Одоевский, за которого Грибоедов безрезультатно хлопотал перед Паскевичем; см.: Пиксанов Н. К. К характеристике Грибоедова. Поэт и ссыльные декабристы // Русские ведомости. 1911. № 263. (Прим. сост.)

² В письме: «ссылку». (Прим. сост.)

³ В следующей книжке сообщу описание похорон его, доставленное мне из Тифлиса: читатели увидят, как целая страна любила и уважала Грибоедова. Соч. (Это анонимное «Описание последнего долга, отданного Грибоедову в Тифлисе», принадлежащее перу В. Н. Григорьева; см. ниже).

Раны сердца моего растворились¹... я не могу писать более... писал только для друзей, для знавших Грибоедова, в надежде, что все добрые, чувствительные люди извинят несвязность, сбивчивость этой статьи. Я был сам не свой! Мог ли я думать о холодных людях?

КАК ЛЮДИ ДРУЖАТСЯ

(Справедливый рассказ)

Мы уже до того дожили на белом свете, что философы и моралисты усомнились в существовании дружбы, а поэты и романисты загнали ее в книги и так изуродовали ее, что кто не видал ее в глаза, тот никоим образом ее не узнает. В самом деле, неужели можно назвать священным именем дружбы эти связи, основанные на мелких расчетах самолюбия, эгоизма или взаимных выгод? Мы видим людей, которые живут двадцать, тридцать лет в добром согласии, действуют заодно, никогда не ссорятся, доверяют один другому, и говорим, вот истинные друзья. Таких друзей много. Есть люди, которые входят в тесный союз, с тем чтобы ненавидеть третьего и вредить ему. И этот союз называют в свете дружбою! Есть сто различных родов подобной дружбы, и вы от подобных друзей услышите повторение избитых речений: «Чтобы узнать человека, надобно съесть с ним две бочки соли». Испытанные друзья! Другой вам скажет: «Деньги оселок дружбы, а мы уже не один миллион разделили согласно». О, нежные друзья! «Я и дети мои обязаны другу моему местами и наградами. Он воспользовался милостью своего покровителя и благодетельствовал нас». Тут нет уже дружбы. Дружба не вмешивается ни в дела, ни в расчеты. Да что ж такое дружба? Право, не умею истолковать. Нет никакого сомнения в том, что все мы, т. е. лю-

¹ Излишняя и порой казавшаяся неискренней чувствительность Булгарина в его эпоху вызывала иронические замечания в рецензиях. Вот, например, отрывок из рецензии «Северного Меркурия», подписанной буквой Ф. (М. А. Бестужева-Рюмина) на отдельный оттиск воспоминаний Булгарина: «Многие невольно могут подумать, что начало и конец этой статьи переделаны автором в прозу из элегии какого-нибудь слезливого романтика, уволенной Ф(аддеем) В(енедиктовичем) от помещения в «Сыне Отечества». Излишняя плаксивость приторна в стихах, а еще более в прозе. Зачем бы, кажется, во вступлении в статью предвдвять Фад. Вен. своих читателей, что он при воспоминании о Грибоедове всегда плачет; а при заключении статьи своей упоминать, что раны сердца его растворились?.. Наставленные в сих местах точки слились с пера почтенного автора как бы взамен слезинок его». См.: Северный Меркурий. 1830. № 62. 23 мая. С. 245—247. (Прим. сост.)

ди, чрезвычайно любим себя и ужасно нравимся самим себе. Дружба есть волшебство, чародейство. Посредством непостижимого очарования дружба представляет нам вас самих в другом лице и вы привязываетесь к этому лицу, как к самому себе: вот вам и дружба. Друг ваш не похож на вас, ни лицом, ни нравом, нет нужды. В вас самих лета и болезнь изменяют лицо, вы сами не всегда одинакового нрава. Но главное: чувствования и образ мыслей у вас и друга одни и те же. Вот где моральное тождество мыслей и сходство. Вы скажете: мало ли людей с одним образом мыслей и с одними чувствованиями; неужели все это друзья? Дело в том, что эти чувствования и мысли не стоят гроша. Дружба не принимает чувствований и мыслей на вес, на меру и по тарифу. Истинные друзья могут ссориться между собою, гневаться один на другого, даже бранить друг друга, точно так же, как мы бываем недовольны собою, гневаемся на себя и сознаемся в своих ошибках. Сказать о друге: он не способен ни к чему дурному, а в этом случае поступил неблагоразумно, есть то же, что сказать: сознаюсь, что я поступил неосторожно. Вы будете ссориться, гневаться и будете душевно любить друг друга... Это настоящая дружба, а дружба есть точь-в-точь любовь. Истинной любви нет без дружбы, а дружбы — без любви.

Но как люди дружатся? Уже верно не за шампанским, не за красным сукном, не в беседах и не вследствие долговременного испытания. Сошлись, увиделись и полюбили друг друга навеки... За что? А бог знает... так... ни за что. Ему что-то во мне понравилось; мне нравится в нем все, голос, приемы, движения, мысли, чувства, образ изъяснения. Наконец, чем долее мы узнаем друг друга, тем более привязываемся, и все-таки не зная за что. Если он имеет сатирический дух, то даже замечает мои смешные стороны и хохочет. На другого я бы гневался, а с ним хохочу сам над собою, подшучиваю над ним... то есть: мы думаем и чувствуем вслух, разделяем все, не думая о разделе, доверяем вполне друг другу, не помышляя о доверенности и недоверчивости, а все это потому, что в нем я вижу себя и притом в лучшем виде. Я уверен даже, что он лучше меня, т. е. это я в праздничном наряде.

Я вам расскажу, как я подружился...

Я жил в Варшаве, на Свентоюрской улице, в небольшом каменном доме на улице, принадлежавшем в то время почтенному старику немцу, Г. Каминскому, который каждый праздник присылал мне цветов из своего садика и удивлялся, что я предпочитаю прогулки в поле и в лесу на Белянах, на Воле и т. п. спокойному наслаждению видом цветов и зелени из

его беседки. В один день, когда тучи угрожали дождем, я, вместо обыкновенной прогулки за город, пошел в ближайший публичный сад, называемый садом Красинского. Это было в 8 часов утра. Прогуливающихся не было вовсе. Обошед несколько раз весь сад, я сел отдохнуть на скамье. На другом конце сидел молодой человек, в гусарском долмане, с унтер-офицерскими галунами. Он был бледен, как труп. На лице его изображались яркими чертами недуг телесный и скорбь душевная. Взор его был полупомеркший. Но лицо его сохраняло остатки красоты необыкновенной. Черты его имели правильную азиатскую форму; черные волосы вились в кудри, и в физиономии отражались ум и добродушие. Ему было около двадцати лет. Пушок едва твердел на усах. Взглянув на него несколько раз, я не мог отвести от него взоров моих. Сердце мое сжималось, смотря на его страдание. И я так же, почти в детских летах, ходил в уланской куртке, по свету, за тридевять земель в тридесятое царство. Я знал, что такое чужая сторона, чужие люди. Кому призреть больного юношу на чужбине. У него, быть может, есть мать, есть сестра, которые бы пеклись о нем, если б недуг посетил его под родительским кровом... А здесь госпиталь... Бедный юноша. Мне стало жалко, и я заговорил с ним.

Я узнал, что он родом из самой Москвы, где имеет родителей, и что он определился в Иркутский гусарский полк юнкером, в 1812 году, но не попал в действующую армию и теперь находится в резервном кавалерийском корпусе под начальством генерала Кологривова. Этот гусарский полк стоял, не помню, возле Ковно или Бреста (теперь этому минуло 20 лет)¹. Юнкер отпросился для излечения в Варшаву, надеясь найти здесь одного майора, знакомого с его родителями, и занять у него денег, пока пришлют ему из дому. По несчастью, майор выехал из Варшавы, а между тем болезнь усиливалась, итак, бедный юнкер решился идти в госпиталь. Я предложил ему мою квартиру и, водясь дружески с медиками от самой молодости (потому что между ними всегда более образованных людей), обещал ему доставить хорошего доктора. «Но у меня вовсе нет денег», — сказал юнкер. «А на что вам они», — отвечал я. «Доктор мне приятель, да и притом он и без того не взял бы ни копейки, ни миллиона с бедного воина. Лекарство даст нам каждый аптекарь, а на прочее... Бог даст! Пойдемте со мною. Я живу близехонько». Он пожал мою руку, со слезами на глазах, и мы отправились.

¹ Иркутский гусарский полк под командой генерала Кологривова находился в Брест-Литовске летом 1814 года. (Прим. сост.)

Я велел моему слуге принести с постоянного двора чемодан моего больного приятеля, сладил ему походную постель, поместил в моей спальне, а сам перенесся в так называемую гостиную, призвал доктора, и дело пошло на лад. Кухарка моего хозяина стряпала для больного суп и бульон; я с моим слугою (честным и израненным отставным уланом) ухаживал за больным. С первого дня переселения ко мне юноша лег в постель и три месяца не вставал. Усилия медицины были бесполезны. Открылась жестокая чахотка, и он умер...

В течение трех месяцев я часто беседовал с ним. Он был чрезвычайно образован, начитан, имел удивительную память и был пристрастен к словесности, к поэзии, любил все высокое, благородное. Рассказывая мне о Москве, о своей жизни, он с восторгом говорил об одном молодом офицере своего полка, которого он знал в Москве, еще будучи в пансионе. Из дружбы к этому офицеру он пошел в военную службу и ему обязан был всем своим образованием, любовью к изящному, высокому, к поэзии природы. Мой жилец писал несколько раз к этому офицеру и однажды получил от него письмо, в котором он уведомлял его, что приедет к нему в Варшаву. Больной прижимал это письмо к устам, плакал от радости... Я удивлялся этой необыкновенной привязанности и утешался. Моему сердцу было теплее.

Наконец, протекло лет шесть; я уже был в Петербурге и занимался словесностью, издавал «Северный архив». Однажды прихожу к другу и товарищу моему, Н. И. Г. (речу) и нахожу у него незнакомого человека. Добродушный хозяин познакомил нас по-своему, т. е. таким образом, что мы знали, с первой минуты, как обойтись друг с другом. Мой новый знакомец был тогда не тот человек, каким он сделался после. Но бессмертие уже было в его портфеле. Услышав первый раз его фамилию, мне показалось, будто где-то и когда-то я слышал об ней, но не мог вспомнить. Мы стали разговаривать, и в первую четверть часа стали называть друг друга ты¹, не зная сами и не постигая, каким образом мы дошли до этой фамильярности. Ничего не помню, а помню только, что мы несколько раз пожимали друг другу руки и обнимались. Я просто влюбился в моего нового знакомого... Это был Грибоедов.

Жесточайшие мои противники литературные были старые приятели, родственники или даже питомцы Грибоедова. Он даже хотел помирить меня с одним из них, воображая,

¹ Свидетель Н. И. Г. (реч). С ним мы сошлись почти так же. В первую четверть часа подружились, и вот этому уже прошло семнадцать лет.

что у этого человека душа Грибоедова... он ошибся. Все, что окружало Грибоедова, говорило ему противу меня, потому что я тогда занимался литературной критикой, я говорил резкие истины. За дружбу со мной Грибоедов приобрел даже литературных врагов; он хохотал и говорил только: хороши ребята! Грибоедова просили, чтобы он развязался со мною... Он улыбался и сидел у меня по восьми часов сряду. Признаюсь, что зато и я никогда не любил никого в мире больше Грибоедова, потому что не в состоянии любить более, почитая это невозможностью. Право, не знаю, люблю ли я более детей моих... Я люблю их как Грибоедова, а Грибоедова любил как детей моих, как все, что есть святого и драгоценного в мире. Душа его была рай, ум — солнце.

Когда он отправлялся последний раз в Персию, я сказал ему накануне: «Ты пойдешь высоко; я навсегда останусь там, что теперь, т. е. ничем, в полном смысле Пироновой эпитафии¹. Мои противники мучат тебя...» Он быстро взглянул на меня, схватил за руку и сказал: «Ничто в мире не разлучит нас. Помнишь ли Геннис... которого ты призрел в Варшаве. Он писал ко мне о тебе²... Я давно искал тебя... Наша дружба не провалится: она имеет основание». Это собственные слова незабвенного. Ах, как малы перед ним его соперники! Он весь жил для добра и добром.

Итак, офицер, о котором говорил с восторгом мой больной жилец, к которому он писал, был Грибоедов...

Как люди дружатся? Очень скоро, но прочно, когда есть основание.

ЛИТЕРАТУРНЫЕ ПРИЗРАКИ

Прямой талант в других я вечно уважал
И лишь нелепостей был искренний гонитель.
Я не щадил невежд и скаредных писцов;
Что делать? И теперь я всем сказать готов:
Фирс — добрый человек, но глупый сочинитель.

В. Пушкин

Архип Фаддеевич, большой охотник до наблюдений³, просил меня однажды, чтобы я показал ему нескольких

¹ *Pegnon the fut rien, etc.*

² Это письмо в печати неизвестно. (Прим. сост.)

Сочинитель этой статьи излишним почитает предувещивать своих читателей, что в ней нет никаких личностей, что имена и разговор выдуманы и на самом деле никогда не существовали. Многие молодые люди, написав несколько куплетов по инстинкту, превозносимые в кругу друзей и знакомых,

из числа поэтов подражателей, которых бессмыслице он часто удивлялся в разных журналах. Я попросил к себе на вечер четырех из числа самых отчаянных передразнивателей первоклассных наших писателей, представляющих публике лучшие их произведения вывороченными наизнанку. Эти добрые люди считают себя основателями Н о в о й ш к о л ы, потому единственно, что в нелепых своих творениях употребляют н е к с т а т и некоторые новые слова и речения, кстати введенные в язык отличными писателями. Архип Фаддеевич весьма любопытствовал также узнать причину, заставившую молодых поэтов избрать путь, совершенно противоположный цели поэзии. Он, по добродушию своему, полагал, что это направление умом есть следствие нового учения или размышления. Читатель увидит, как он обманулся. В наше общество попал нечаянно один и с т и н н ы й литератор, г. Талантин, недавно прибывший в столицу из отдаленных стран, где он находился по службе; и он-то был причиною разговора, который я здесь помещаю.

А р х и п Ф а д д е е в и ч (обращаясь к истинному литератору). Почему вы перестали писать? Я знаю вашу комедию, видал ее на театре, читал напечатанную и всегда восхищался живостью мыслей, плавностью стихов и занимательностью положений действующих лиц. По роду своему, она, конечно, не принадлежит к первоклассным характерным комедиям, но доказывает ваши отличные способности. Я слышал от одного знатока, что у вас есть другая комедия в рукописи, которая воскресит у нас на сцене память Фон-Визина. Но неужели вы в семь лет ничего более не произвели. Скажите мне, что вы делали?

Т а л а н т и н. Учился!

Л е н т я е в, Н е у ч и н с к и й, Ф и я л к и н, Б о р ь к и н (вместе) Ха, ха, ха.

А р х. Ф а д. Что вы здесь находите смешного?

Л е н т я е в. Разве надобно учиться, чтоб быть поэтом?

Т а л а н т и н. Точно так, как надобно учиться, чтоб быть музыкантом, скульптором, живописцем. Талант есть способности души принимать впечатления и живо изображать оные:

осыпаемые похвалами от услужливых журналистов, почитают себя гениями, от юности бросают науки, всю жизнь проводят в бездействии и, воображая себя вдохновенными, судят обо всем решительно, пишут совершенный вздор, без всякой пользы для себя и для отечества. Но что всего хуже, эти так называемые поэты уловляют других юношей в свои сети, вперяют им лень, отвращение от науки и полезных занятий. Искоренение сего зла есть цель сей статьи.

предмет, природа, а посредник между талантом и предметом — наука.

(Все, исключая меня и Арх. Фад., смеются.)

Л е н т я е в. Какой вздор! Я вам докажу собою, что науки вовсе не нужны. Еще в школе друзья мои (из которых теперь многие уже прославились), уверили меня, что я рожден поэтом. Я перестал учиться, начал писать стихи: послания, мелодические песни и анакреонтические гимны — и прославился. Воспеваю гетер, вино, лень, себя и друзей моих. Наслаждаюсь, пью радость из чаши бытия, чрезвычайно много сплю, провожу жизнь в совершенном бездействии, и слава друзей моей юности, отражаясь на мне и сливаясь с моею, доставила мне громкое имя русского Горация, Анакреона, Тибулла...

Арх. Фад. Позвольте спросить, где и кто величает вас сими именами?

Л е н т я е в. Кто? Целый мир, все друзья мои поэты! Где?— Повсюду: я это вам докажу даже из печатного.

Н е у ч и н с к и й. Это совершенная правда: о друг мой, мой Гораций! Впрочем, не думайте, чтобы мы никогда не заглядывали в книги: мы читали Парни, Ламартина и одну часть из курса Лагарпова.

Т а л а н т и н. Подражание Парни и Ламартину — есть диплом на безвкусие, а познание литературы, почерпнутое из Лагарпа, возбуждает сожаление. Вы именно учитесь по тому, что надлежало бы забыть. Если вы хотите учиться у иностранцев, то читайте, по крайней мере, Блера, Бутервека, Шлегелей, Сульцера и т. п. Но с того ли должно начинать русскому поэту? От него требуется, во-первых...

Ф и я л к и н (*прерывая его*). Конечно, не метафизика, не политика, не статистика (о грамматике уже и говорить нечего); но именно то, что я предлагаю моим читателям и читательницам в продолжение полвека. Мадригалы, надписи к портретам, стихи в альбомы, по случаю подаренного цветочка, потерянной булабочки, упавшего наперсточка, сломившейся иголки. Похвалы башмачкам, ленточкам, перчаточкам: одним словом, все нежное, прекрасное, чувствительное!

Б о р ь к и н. Справедливо! Но эта мысль принадлежит мне. Девять лет тому назад я объявил пред светом, что я не хочу учиться ни истории, ни политике, ни философии; не хочу быть ни биографом, ни критиком: не хочу предписывать наставления ни гражданам, ни воинам. Я сказал и докажу вам это печатным, что я о другом думаю. Одни женщины меня занимают. Я беспрестанно рассуждаю о их добродетелях и недостатках, об их вкусе и капризах и

посвящаю им перо мое, как украшению государств просвещенных! В награду же я ничего не требую, кроме ласкового взгляда и улыбки. Вы видите, что я не корыстолюбив.

Я. Улыбка сожаления?

Борькин. Одной улыбки, больше ничего!

Ах, я grand быть не желаю,

Я не comte, чинам не рад,

Я огнем d'amour пылаю,

Et d'un coeur je suis богат.

Арх. Фад. (говорит на ухо). Воля твоя, но эти люди не в своем уме.

Я (обращаясь к Борькину). Но мне кажется, что вы даже писали трагедии?

Борькин. Я достиг совершенства во всех родах: писал трагедии, комедии, драмы, оперы, водевили, оды, послания, элегии, баллады, песни, эпиграммы, сатиры, издавал журнал, отличился в критическом роде. Одним словом, писал все и обо всем с успехом, со славою. Правда, что едва я взял перо в руки, как люди, почитающие себя знатоками, во весь голос, не зная сами к чему и зачем, кричали: худо, ужасно, негодно! Но это был крик зависти; я не внимал ему и, как видите, неугомымо пишу и буду писать назло всем, до конца моей жизни. Даже завещание мое написал стихами в 180 листов, где именно прописано, что дети мои и родственники должны издать в свет все мои творения, которых у меня, кроме напечатанных, 326¹/₂ пудов и два фунта.

Арх. Фад. О ужас!

Талантин. Литературный потоп!

Неучинский. Браво! ай да наши! На что науки? — Я в четырнадцать лет бросил ученье, ничего не читал, ничего не знаю — но славен и велик! Я поэт природы, вдохновения. В моих гремучих стихах отдаются, как в колокольчике, любовные стоны, сердечная тоска смертельной скуки, уныние (когда нет денег) и радость (когда есть деньги), в пирах с друзьями. Я русский Парни, Ламартин: если не верите, спросите у друга моего Лентяева.

Лентяев. Клянусь Вакхом — правда! Стихи друга моего образцовые — я вам докажу это печатным.

Арх. Фад. Хотя я в первый раз имею честь говорить с вами, но позвольте вам сказать откровенно, что вы заблуждаетесь. Вижу причины сего несчастного ослепления. Это самолюбие, взлелеянное снисхождением умных людей, бестолковыми или даже ироническими похвалами друзей и — позвольте досказать — невежеством. Если бы

вы чему-нибудь учились, вы бы не так думали и делали.
Ф и я л к и н. Ученость делает человека педантом, желчным, ученость для гения все равно, что узда для коня. Мы хотим на свободе прыгать в чистом поле между цветочками и кусточками, пастись в области воображения.

Ар х. Ф а д. То есть вы хотите быть лошадаками?

Л е н т я е в. Но древние поэты, которых нам беспрестанно поставляют в пример и которых слава возросла до такой степени, что мы, ничему не учившись, знаем их имена, древние, говорю я, не знали того, что знают наши профессоры, а писали лучше их.

Ар х. Ф а д. Позвольте вам сказать, что вы ошибаетесь. Древние поэты, которых слава пережила существование омогущественных империй, были просвещеннейшими людьми своего века. Гомер был в одно время поэт, историк, статистик, стратег, философ и мифолог. С его поэмою в руках путешественники поверяют ныне местоположения городов, рек, морей, им упоминаемых, и находят во всем удивительную точность. В Англии сделано исследование Илиады в анатомическом отношении, и доказано, что Гомер, в описании различных положений тела при борьбе и единоборстве, соблюдал величайшую верность. На Гомера ссылаются историки и географы; из его творения расплодилось многочисленное племя пиитических произведений, поэм, трагедий и проч. Виргилий — историк и этнограф в Энеиде, ученый домостроитель в Георгиках. Лукан — историк и политик в своей Фарсалии. Эврипид, Эсхил, Софокл — глубокомысленные философы, наставники своих сограждан. Одним словом, в бессмертных творениях древних видна высокая образованность, наука, возвышенная цель, и потому они навсегда останутся образцами.

Н е у ч и н с к и й. А будто у нас нет образцовых сочинений — мои стихи помещены...

Ар х. Ф а д. Полно, теперь спор не о словах, но об вещах.

Л е н т я е в. Но какую же вы находите цель в творениях Анакреона, Тибулла, Горация, о которых говорят, что они воспевали только вино и любовь, подобно мне? — Я утверждаю, что поэзия не должна иметь никакой цели, кроме плавности в стихах и верного изображения чувствований.

Ар х. Ф а д. Вы слышали звон, но не знаете, где он. Вы берете одно из условий за цель. Анакреон, Гораций и подобные им поэты имели в предмете отвлечь юношество от разврата, введенного азиатскою роскошью, и смягчить суровость

стоической философии. Они воспевали радости невинных наслаждений, любовь и вино, но всегда начинали свои песни похвалою умеренности. Анакреон и Гораций советуют всегда примешивать в вино воду. Они равно презирали роскошь и безнравственность и призывали граждан к веселию после трудов, предпринятых для блага общего. Римляне и греки веселились только за ужином, после работы, а не с утра до вечера. Они пели за столом радостные гимны в честь Вакха и богини любви, но не составляли из того ремесла единственного занятия. Что же касается до древних элегий, то это образцы нежного чувства, душевной доброты, любви возвышенной, философии усадительной. Напротив того, ваши элегии, почтенные господа, выбранные по стишку из французских стихотворцев, похожи на французскую фарсу «Отчаяние Жокриса» (*le désespoir de focrisse*), или на жалобы мальчика, поставленного в угол за шалость. Смешно, и только.

Л е н т я е в. Прошу не говорить так решительно о древних элегиях: это мой конек.

А р х. Ф а д. Разве вы знаете древние языки?

Л е н т я е в. А это на что? — Я все знаю по инстинкту и понаслышке, и отчасти по переводам на французский язык, которого хотя я и не понимаю совершенно, но, как говорится — маракую.

Б о р ь к и н. Я некогда писал о древних женщинах, но нигде не нашел, чтобы древние поэты учились.

А р х. Ф а д. Это может быть потому, что вы этого не искали, а отчасти и потому, что их биографии недостаточны. Но их произведения доказывают эту истину. Второе доказательство, что без наук нельзя быть великим, вы видите из того, что и новые поэты снискали всемирную славу учением. Например, все без исключения французские писатели, прославившиеся в XVIII и царствование Людовика XV, учились в первоначальных коллегиях. Клопшток, Вилланд, Гёте, Шиллер, Томас Мур, Лорд Байрон, Кембл, В. Скотт, Суте (*Southey*) и проч. кончили полный курс наук в лучших европейских университетах, и почитались в свое время отличнейшими студентами. Науки открывают поэтам новый мир, разрывают цепи воображения, которое у неучей всегда останется в тесных пределах, или, говоря вашим анакреонтическим языком, будешь всегда закупоренным в бутылке.

Н е у ч и н с к и й. Но если кто не имел счастья учиться в университетах, неужели тот, по-вашему, осужден на вечное отвержение? Вспомните, что не все имели даже случай слушать университетские лекции.

Арх. Фад. Главное дело в том, чтобы учиться, а где и как — все равно. Я упомянул об университетах только для доказательства, что новые поэты учились так же, как и древние. В светской жизни, в тишине кабинета, можно также образовать себя чтением, размышлением, беседою с людьми учеными и сведущими в науках. Поверьте, кто хочет учиться, тот найдет время, место и средства.

Лентяев (*обращаясь к Талантину*). Но вы не кончили своей речи и не досказали, чего требуется от русского поэта?

Талантин. Совершенного познания русского языка, грамматики...

Борькин. Ха, ха, ха! Мы, кажется, говорим не по-киргизски!

Арх. Фад. Но пишете не по-русски.

Фиалкин. A basla Jrammaire, à basla Jrammair! (прочь с грамматикой, долой грамматику!).

Талантин. Позвольте кончить, а после делайте что хотите. Чтобы совершенно постигнуть дух русского языка, надобно читать священные и духовные книги, древние летописи, собирать народные песни и поговорки, знать несколько соплеменных славянских наречий, прочесть несколько славянских, русских, богемских и польских грамматик и рассмотреть столько же словарей; знать совершенно историю и географию своего отечества. Это первое и необходимое условие. После того, для роскоши и богатства, советую прочесть Тацита, Фукидида, если возможно, Робертсона, Юма, Гиббона и Миллера. Не худо также познакомиться с новыми путешественниками по Индии, Персии, Бразилии, Северной Америке и островам Южного океана. Это освежит ваше воображение и породит новые идеи о природе и человеке. Весьма не худо было бы прочесть первоклассных отечественных поэтов, с критическими разборами, и, по крайней мере, из древних — Гомера, Вергилия, Горация, Гезиода и греческих трагиков. Мы говорю о восточных языках, которых изучение чрезвычайно трудно и средств весьма немного. Но все не худо ознакомиться с Восточными рудниками Гаммера (*Fundgruben des Orients*) или перевернуть несколько листов в Гербелоте, в хрестоматии Сильвестра де Саси, в Азиатических изысканиях калькутского ученого общества (*Asiatic Researches*) и в назидательных Письмах о Китае (*Lettres edifiantes etc*) — Восток, неисчерпаемый источник для освежения пиитического воображения, тем занимательнее для русских, что мы имели с древних времен сношения с жителями оного. Советую вам иногда заглядывать в сочинения, а особенно в журналы по

части физических наук, чтоб не повторять рассказов нянюшек о естественных явлениях в природе и не принимать летучего огня за привидение. Благодарю вас, что вы позволили мне сказать несколько слов, и уверяю, что пока вы будете упорствовать в невежестве, до тех пор вы никогда не выйдете за черту золотой посредственности. Может быть, между вашими современниками найдутся люди, которые будут читать (по различным причинам) ваши произведения, но потомство неумолимо. Имена ваши подвергнутся той же участи, как имена поэтов, украшавших «Ежемесячные сочинения» Миллера, издававшиеся в 1757 по 1764 год. Этот журнал останется навсегда драгоценным в историческом и статистическом отношении, но изящная его часть — исчезла навеки вместе с гг. сочинителями, которые, вероятно, в свое время имели своих поклонников. Прощайте! (Талантин с Архипом Фаддеевичем уходит.)

Л е н т я е в (*говорит мне*). Скажи пожалуйста, откуда ты выкопал этих оригиналов с их нравоучением? Поверь, что мы все принимаем это за оскорбление пиитических наших дарований. Как! — нам советовать учиться? — Мшение! мшение! — Я напишу песню, в которой разбраню тебя, старика, и твоего ученого приятеля.

Ф и я л к и н. Я, государь мой, побраню вас порядком по-русски и по-французски: напишу стишки насчет Архипа Фаддеевича и посвящу ему же. Напечатаю несколько эпиграмм и — и всего не вспомню.

Б о р ь к и н. Я докажу вам и всем вашим друзьям, что вы дурно пишете, что у вас слог нехорош, много ошибок исторических и проч.

Н е у ч и н с к и й. Я вас задену в послании к другу и напишу эпиграмму, а если надобно, то приделаю куплетец к песни друга моего Лентяева.

Я. Но за что вы сердитесь, — я отнюдь не виноват: говорили Талантин и Архип Фаддеевич.

Б о р ь к и н. Вы виноваты — за то, что призвали в наше общество людей, которые говорят, что надобно учиться. Это дерзость!

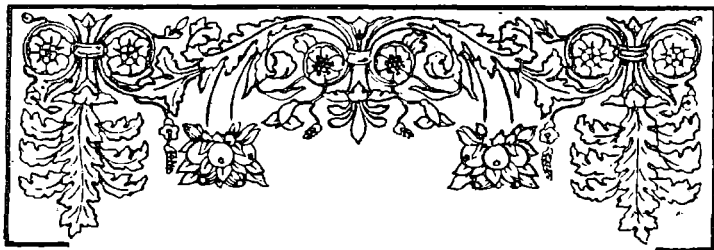
Я. То есть правда.

Б о р ь к и н. Прошу вас, господа, ко мне. Там рассудим, как нам доказать, что ученье не нужно таким поэтам, как мы.

Я. Пожалуйста, докажите вместе с этим, что солнечный свет вреден.

Ф и я л к и н. Конечно, вреден для слабых глаз.

Я. Понимаю!



ВСТРЕЧА С КАРАМЗИНЫМ

(Из литературных воспоминаний)
«...de mortuis nil nisi vere...»



В 1819 году, в зимние вечера собирались к одному содержанию пансиона в Петербурге (французскому дворянину) любители словесности, из находившихся в то время в столице французских путешественников, чиновников и нескольких дам и мужчин из высшего класса русского общества. В сем пансионе воспитывались дети знатных и богатых людей, и потому хозяин имел обширный круг знакомства. Время на сих литературных вечерах проводили чрезвычайно весело. Читали переводы с русского языка и небольшие оригинальные статьи; разговаривали, шутили, и наконец за ужином, по древнему афинскому и нынешнему французскому обычаю, пели куплеты, всегда остроумные, весьма часто забавные. Присутствие дам, прекрасных и умных, одушевляло беседу.

Не имея никаких притязаний на звание французского автора, я, по просьбе хозяина и некоторых приятелей, должен был писать по-французски небольшие статьи, которые исправлял (в грамматическом отношении) г-н Сен-Мор¹, и сам читал их в нашей беседе. Прекрасному его чтению я обязан тем, что некоторые из моих статей имели успех. Впрочем, общество наше было весьма невзыскательное. Немножко ума, немножко веселости, занимательное происшествие — и слушатели были довольны.

Однажды хозяин объявил нам, что в будущее заседание один известный русский чтец будет декламировать сцены из Мольеровой комедии и что несколько отличных русских литераторов посетят нашу беседу. Я тогда только что возвратился из долговременного странствия по Европе и не знал в лицо

¹ Издатель антологии на французском языке. (Прим. сост.)

ни одного русского литератора. С нетерпением ожидал я дня собрания и первый туда явился. По мере появления новых лиц в зале я спрашивал об именах и, к удивлению моему, слышал одни звонкие имена в Адрес-Календаре, а не встретил ни одного известного в литературе. В досаде, я уселся в углу комнаты и погрузился в размышлении.

Итак, хозяин сам обманулся и нас обманул, думал я, обещая украсить круг наш присутствием литераторов. Но он знаком в свете, а не на Парнасе. В свете достоинство литератора определяется другим образом, нежели в ученом кабинете. Сочинители нескольких незначущих печатных страничек или стишков (при помощи приятелей), смелые и многоязычные говоруны, дерзкие судьи дарований, которых все достоинство составляет память, испещренная беспорядочными узорами различных словесностей и выдержками из остроумных иностранных журналов — вот люди, которые между литераторами называются *опрокинутою библиотекою* (*Bibliothèque renversée*), а в свете слывут умниками, созрелыми судьями литературы. Так называемый большой свет можно уподобить крепости. Комендант в ней — *приличье*. Этот комендант не выпускает в ограду никого, кто не принадлежит к гарнизону, но сдает на капитуляцию целую крепость первому смельчаку, который устремится на приступ, с толпою своих робких поклонников. Успехи в большом свете в отношении к уму весьма не трудны, ибо они зависят от положения человека в обществе. Родство, связи, покровительство доставляют рукоплескателей, и обыкновенно случается, что эти рукоплескания света превращаются в пронзительный свист публики образованной.

Между тем как я размышлял таким образом, началось чтение Мольеровой пьесы. Вдруг дверь в зале потихоньку отворяется и входит человек, высокого роста, немолодых лет и прекрасной наружности. Он так тихо вошел, что нимало не расстроил чтения, и, пробираясь за рядом кресел, присел в самом конце полукруга. Орденовая звезда блестела на темном фраке и еще более возвышала его скромность. Другой вошел бы с шумом и шарканьем, чтоб обратить на себя внимание и получить почетное место. Незнакомец никого не беспокоил. Я смотрел на него с любопытством и участием. Черты его лица казались мне знакомыми, но я не мог вспомнить, где и когда видел его. Лицо его было продолговатое; чело высокое, открытое, нос правильный, римский. Рот и уста имели какую-то особенную приятность и, так сказать, дышали добродушием. Глаза небольшие, несколько сжатые, но прекрасного разреза, блестели умом и живостью. Вполовину

поседелые волосы зачесаны были с боков на верх головы. Физиономия его выражала явственно душевную простоту и глубокую проникаемость ума. Отличительными чертами его лица были две большие морщины при окончании щек, по обеим сторонам рта. Я, по невольному влечению, искал его взгляда, который, казалось, говорил душе что-то сладостное, утешительное.

На его одушевленной физиономии живо отражались все впечатления, производимые чтением. Ни одно острое слово, ни одна счастливая мысль, ни одна удачная черта характера не ускользнули от его внимания. Неудовольствие изображалось на лице, как облако в чистой воде, когда чтец дошел до некоторых плоскостей, встречающихся в комедиях Мольера, жертвовавшего иногда вкусу своего современного партера. Я не сводил глаз с незнакомца и измерял по его ощущениям мои собственные. Пришла очередь до моей статьи. Она была написана мною вследствие моего спора с французами о немецкой трагедии и заключала в себе обозрение и краткий разбор Шиллеровых драматических творений. Прежде я хладнокровно представлял мои безделки на суд снисходительных любителей словесности, но на этот раз сердце мое забилося сильнее: я чувствовал, что в незнакомце имею знающего и опытного судью. Во время чтения Г. Сен-Мора я с боязнию поглядывал на незнакомца и старался вычитать мой приговор на его лице. Счастье мне благоприятствовало: я с радостью заметил, что незнакомец был доволен.

Кончилось чтение,— слушатели встали с мест своих, и начался разговор. С нетерпением подбежал я к хозяину, чтобы спросить об имени занимательного незнакомца. «*Это Карамзин!*»— отвечал хозяин и поспешил к нему поблагодарить за посещение.

Карамзин! воскликнул я так громко, что он обернулся и посмотрел на меня. Вся нервическая моя система потряслась при сем магическом имени и все усыпленные воспоминания моей юности вспорхнули в одно время. Есть ли один грамотный человек в России, в хижине и в чертогах, от берегов Камчатки до Вислы, который бы не знал имени Карамзина? Есть ли один образованный иностранец, который бы не соединял имени Карамзина с воспоминанием о просвещении России? Я видал гравированный его портрет и теперь поверял давно знакомые черты писателя, которого каждая печатная строка прочтена мною по нескольку раз. С юности моей, я был свидетелем его успехов, его славы. Я член того поколения, в котором он сделал литературный переворот. Он заставил нас

читать русские журналы своим «Московским журналом» и «Вестником Европы»; он своими «Аонидами» и «Аглаей» ввел в обиход альманахи; он «Письмами русского путешественника» научил нас описывать легко и приятно наши странствия; он своими *несравненными* повестями привязал светских людей и прекрасный пол к русскому чтению; он сотворил легкую, так сказать, общежительную прозу; он первый возжег светильник грамматической точности и правильности в слог, представив образцы во всех родах; он познакомил все состояния россиян с отечественною историею, очистив ее от архивной пыли. Так вот Карамзин! Вот исполн русский словесности! Различие в мнениях насчет изложения «Истории» ни мало не ослабляло во мне чувства уважения к великому мужу и не затемняло его великих заслуг и дарований. Я смотрел на него с таким же благоговением, как древние взирали на изображение олицетворенной *Славы* и *Заслуги*.

Г. Сен-Мор знаком был с Карамзиным. Я попросил г-на Сен-Мора представить меня великому писателю, что и было тотчас исполнено.

— Я согласен с вами на счет трагедии, — сказал он мне после первого приветствия. — Классики требуют слишком точного соблюдения трех единств; романтики отвергают все условия искусства. Вы справедливо говорите, что надлежало бы выбрать средину между двумя крайностями. Три единства слишком стесняют круг действия; соединение отдаленных эпох в драме развлекает внимание и ослабляет занимательность целого. Пусть появится другой Расин во Франции — и он сделает переворот в мнениях, ибо людей должно убеждать не теориями изящного, а примерами.

При сих словах Карамзин приятно улыбнулся и примолвил:

— Я говорю не насчет вашей теории: говорить правду все-таки надобно. Следствия приходят после.

Карамзин сделал мне несколько вопросов насчет моего пребывания за границею, но как ни время, ни место не позволяли распространяться в разговорах — то я должен был с горестью отстать от Карамзина и уступить свое место другим. Я просил у него позволения посетить его. Он пожал мне руку и сказал:

— В девять часов вечера я пью чай в кругу моего семейства. Это время моего отдыха. Милости просим: я всегда буду рад вам. Прошу запросто — без предварительных визитов.

Я не преминул воспользоваться этим позволением и чрез несколько дней отправился к Карамзину. Он жил тогда на

Фонтанке, близ Аничкова моста, в доме г-жи Муравьевой, в верхнем этаже. Меня впустили в залу без доклада. В первой комнате, за круглым чайным столиком, на котором стоял самовар, помещалось целое семейство Карамзина; сам он сидел в некотором отдалении, в полукруте посетителей. Карамзин встретил меня в половине комнаты, дружески пожал руку, произнес громко мою фамилию, представляя другим собеседникам, и просил садиться. В его приемах, обращении и во всех движениях соединялось глубокое познание светских приличий с каким-то необыкновенным добродушием и простотою патриархальных времен. Каждое его слово, каждое движение шло прямо от сердца, находясь в обществе незнакомых людей, в первый раз в доме, я не чувствовал ни малейшего смущения и принуждения. Общество составлено было из людей разного звания и происхождения, русских первоклассных чиновников, литераторов и иностранцев; но все сии разнородные части *сплавались* в одно целое умом и душою хозяина. В обращении его не видно было, чтобы он отдавал кому-либо преимущество насчет другого. Добродушная его вежливость разливалась равно на всех. Он говорил со всяким одним тоном и слушал каждого с одинаким вниманием. Люди сближались между собою Карамзиным. Все преимущества нисходили или возвышались на одинакую степень в его присутствии. Он был душою и располагал движениями членов своего общества.

При воспоминании о беседе Карамзина, почитаю излишним сказать несколько слов о обществах вообще. Не только у нас, но и во Франции, сем древнем отечестве общежития, жалуются, что *искусство беседовать* (*l'art de la conversation*) упало, и даже тайна одного исчезла. К кому ныне ездят на беседу? Кто составляет общества? Знатные и богатые зовут гостей на обед, на вечер, где пресыщаются, играют в карты, танцуют — но не беседуют. Зовут людей знатных, случайных, их детей и родственников. В сих обществах не требуется ни от хозяина, ни от гостей ума и познаний для поддержания беседы. Напротив того — *молчание* почитается достоинством. Большие обеды похожи на всенародные жертвоприношения, балы на театральные представления: они сухи — и безжизненны. Во Франции и в Англии еще ум и дарования составляют почетное качество человека и отворяют ему вход во все общества. Но политические прения поглащают приятность бесед, и ум *работает*, а не *забавляется* в обществах. У нас, в России, литераторы и ученые приглашаются в общества и занимают места по чинам, по связям,

а не по дарованиям. У нас знатные приглашают литератора тогда только, когда надобно посоветоваться с ним в каком-нибудь *письменном* деле, точно так, как призывают медика во время недуга. Захочет ли литератор и ученый с умом, с дарованием, с чувством собственного достоинства, добиваться чести занимать уголок за пышным столом, играть в вист в позлащенных комнатах и быть безмолвным свидетелем светских забав? Без сомнения, нет. С другой стороны, людям знатым, должностным, богатым *некогда* заниматься беседами с литераторами о предметах, с которыми первые или расстались, или вообще малознакомы. Знатные и должностные люди, оказывая покровительство литераторам, обходятся с ними, как с подчиненными. Все сии и другие причины, о которых я умалчиваю, воздвигнули род Китайской стены между так называемым большим светом и литераторами. Литераторы ничего от этого не теряют, напротив того, выигрывают драгоценное время; но знатные люди, издерживающие значительные суммы на балы и праздники и жертвою половины жизни добывающиеся степеней для приобретения известности, не постигают своих выгод, пренебрегая умом и дарованиями. Много громких имен забудется навсегда в другом поколении, вместе с Адрес-Календарями на лето от Рождества Христова такое-то; но имена Шувалова, Строганова, Румянцова перейдут к потомству с уважением, единственно оттого, что они любили собирать в своем доме и покровительствовали ученых, литераторов и артистов. Без Горация мы не знали бы о существовании Мецената.

В то время, когда я познакомился с Карамзиным, весьма в немногих домах в Петербурге принимали литераторов и вообще всех гостей по их внутреннему достоинству. Я говорю теперь о Карамзине¹. Сей великий писатель был любезнейшим человеком в обществе. Он знал в совершенстве *искусство беседовать*, которое вовсе различно с *искусством рассказывать*. Хороший рассказчик нравится нам иногда, когда мы расположены *слушать*; но человек, умеющий поддерживать разговор и сообщать ему занимательность, нравится всегда, ибо он умеет быть и слушателем и рассказчиком.

Карамзин охотно говорил по-русски, и говорил прекрасно. Иностранные языки он употреблял только с иностранцами. В его речах не было изысканных выражений и ссылок на авторов, столь утомительных в разговоре; но речения его сами по себе имели полноту и крутость; он никогда не изъяснялся отрывисто. Соблюдая вообще хладнокровие в разго-

¹ Как не вспомнить при сем случае о доме А. Н. Оле-на!

ворах, он воспламенялся только, когда речь заходила о России, об истории и об его старинных друзьях. Тогда физиономия его одушевлялась особенною выразительностью и взоры искрели. Он никогда из вежливости не соглашался с чужим мнением, вопреки собственному убеждению, но не спорил, а умел своему противоречию сообщать такую нежность и снисходительность, что всегда побеждал своего противника, который, если не переменял мнения, то по крайней мере должен был замолчать. Карамзин никогда не хотел торжествовать в разговоре и если примечал, что противник его уклонялся от противоречий, то нежно, ласково и постепенно, не перескакивая быстро к другому предмету, переменял разговор, выводя всегда своих собеседников на самые блестящие места разговорного поприща.

В этот вечер разговор начался о сравнительном состоянии простого народа в России и во Франции. Я сказал: Францию вообще можно сравнить с галантерейною вещью, лучшей филигравовой работы, с финифтью, а Россию можно уподобить слитку золота. На вид Франция имеет преимущество, на вес — Россия. Карамзин улыбнулся.

— Правда,— сказал он,— что Россия тяжела на политических весах Европы и что массивное ее состояние надолго предохранит ее от ломки и измятия. Но, извините,— промолвил он,— в сравнении своем, вы позабыли сказать, какой формы слиток?

— Каждая форма приятна для глаз,— отвечал я,— если в ней соблюдена гармония.

— Если так, согласен,— сказал Карамзин. Один из собеседников распространился в похвалах веселости и уму французского народа.

Карамзин сказал:

— Вы правы, но в русском народе веселость и ум — также врожденные качества. Немудрено веселиться под светлым небом Франции, под тенью каштанов, среди виноградников, поблизости больших городов; но у нас, среди трескучих морозов, в дымных избах или в тяжком труде краткого лета, крестьянин всегда весел, всегда поет или шутит. У нас без школ поселяне выучиваются самоучкою грамоте, и разряд наших сельских поэтов и романистов едва ли не многочисленнее класса привилегированных литераторов. Много ли можно насчитать тех счастливых, которых сочинения сохраняются столь долго, как русские песни и сказки? Общее правило: счастье состоит в том, чтобы довольствоваться малым, а нет человека в мире, который имел бы менее нужд,

как русский крестьянин и который бы так охотно и так весело трудился.

Разговор обратился на русские песни и сказки, и Карамзин, объясняя красоты некоторых из песен и занимательность сказок, примолвил:

— Я давно уже имел намерение собрать и издать лучшие русские песни, если возможно, расположив хронологическим порядком, и присоединить к ним исторические и эстетические замечания. Другие занятия отвлекли меня от сего предприятия, но я не отказался от него. Я не доволен всеми нашими собраниями, в которых нет ни выбора, ни порядка!

Само по себе разумеется, что все мы искренно пожелали, чтобы Карамзин исполнил свое предприятие.

Если б какой-нибудь *отличный* литератор исполнил сию мысль великого писателя, он бы оказал большую услугу отечественной словесности. Можно было бы сделать также собрание русских простонародных сказов, уже напечатанных и остающихся в изустном предании, очистив оные от некоторых грубых местностей, но соблюдая в точности слог и рассказ. Это были бы памятники народные. Но, повторяю, для сего предприятия надобно не литературных спекуляторов, а *отличных* литераторов, совершенно знающих Россию.

Первое мое посещение продолжалось *два часа*. Я не мог решиться оставить беседу. Мне так было хорошо и весело. Ум и сердце беспрестанно имели новые, легкие, приятные занятия. Я хотел, по модному обычаю, выйти из комнаты, не простясь с хозяином, но Карамзин не допустил меня до этого. Он встал с своего места, подошел ко мне, пожал руку (по-английски) и пригласил посещать его. Я видел почти всех знаменитых ученых и литераторов на твердой земле Европы, во время моего странствия, но признаюсь, что весьма немногие из них произвели во мне такое впечатление при первой встрече, как Карамзин, и это оттого, что весьма немногие люди имеют такое добродушие в обращении, такую простоту в приемах, какие имел Карамзин, что он при обширных сведениях знал *искусство беседовать*, и наконец, что в каждом его слове видна была *душа* добрая, благородная. Вот магнит сердец!

Несколько дней спустя после первого моего посещения, я встретил Карамзина в одной из отдаленных улиц, пешком, поутру, в 8 часов. Погода была самая несносная: мокрый снег падал комками и ударял в лицо. Оттепель испортила зимний путь. Один только процесс или другая какая беда могли выгнать человека из дому в эту пору. Я думал, что Карамзин

меня не узнает, ибо он два раза только видел меня, и то вечером. Но он узнал меня. Я изъяснил ему мое удивление, что встречаю его в такое время.

— Я имею обыкновение, — сказал Карамзин, — прогуливаться пешком поутру до 9-ти часов. В эту пору я возвращаюсь домой, к завтраку. Если я здоров, то дурная погода не мешает мне; напротив того, после такой прогулки лучше чувствуешь приятность теплого кабинета.

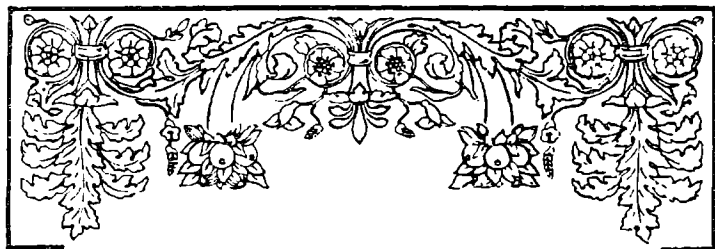
— Но должно сознаться, — возразил я, — что вы выбираете не лучшие улицы в городе для своей прогулки.

— Необыкновенный случай завел меня сюда, — отвечал Карамзин, — чтобы не показаться вам слишком скрытным, я должен сказать, что отыскиваю одного бедного человека, который часто останавливает меня на улице, называет себя чиновником и просит подаянья именем голодных детей. Я взял его адрес и хочу посмотреть, что могу для него сделать.

Я взялся сопутствовать Карамзину. Мы отыскивали квартиру бедного человека, но не застали его дома. Семейство его в самом деле было в жалком положении. Карамзин дал денег старухе и расспросил ее о некоторых обстоятельствах жизни отца семейства. Выходя из ворот, мы встретили его, но в таком виде, который тотчас объяснил нам загадку его бедности. Карамзин не хотел обременять его упреками: он покачал только головою и прошел мимо.

— Досадно, — сказал Карамзин, улыбаясь, — что мои деньги не попадали туда, куда я назначал их. Но я сам виноват; мне надлежало бы прежде осведомиться об его положении. Теперь буду умнее и не дам денег ему в руки, а в дом.

Благородный человек! Вот как он услаждал свои прогулки перед утреннею работою. Мудрено ли после этого, что каждая его строка дышит любовью к человечеству, ко всему доброму, полезному. Бюффон справедливо сказал, и Карамзин повторил: что человек изображается в слогe своем. Правильность, нежность, простота, занимательность слога Карамзина были отпечатками его характера. Различие в мнениях никогда не могло ослабить уважения к нему в человеке благомыслящем. Отдаленное потомство скажет: Карамзин был великий писатель и — благородный, добрый человек. Одно стоит другого. Но какое счастье, если это соединено в одном лице!



НЕВЕРОЯТНЫЕ НЕБЫЛИЦЫ

или

Путешествие к средоточию Земли



— Как вы думаете, Архип Фаддеевич, неужели наша земля обитаема только на поверхности?

— Почему знать! — отвечал он. — Наши ученые обыкновенно занимаются более отвлеченностями, стараются заглянуть за пределы Сириуса и не смотреть себе под ноги.

— От того-то они так часто и падают! — отвечал я.

— Странно, — сказал Архип Фаддеевич, — что мы до сих пор не успели еще описать поверхности земли, исчислить всех полезных и вредных растений, описать животных, населяющих воды, поверхность и первую оболочку земли и атмосферы, не исследовали еще всех племен рода человеческого, а желаем постигнуть, как и из чего создана земля! Начиная от египетских жрецов, которые первые старались истолковать непонятные феномены, все мудрецы блуждали в сем лабиринте. Но что значит ум человеческий пред единым мановением воли Создателя! Одна только гордость наша влечет нас к разрешению тайн творения, которые останутся навсегда непроницаемыми. Могут ли люди верить мудрецам, когда каждый из них доказывает мнение противоположное? Фалес, следуя египтянам, полагал воду первоначальным материалом земли, а Зенон — огонь. Согласись, что мудроно понять, чтоб одно и то же вещество могло произойти от разнородных стихий. Бурнет, Бюффон, Гюттон, Ньютон, Вейтгорст и другие философы равно заблуждались в мечтаниях; наконец, Сосюр и Вернер, отбросив гипотезы, занялись исследованием одной оболочки или, так сказать, коры земной, подлежащей осозаемым опытам. Несколько сот сажен под землею и столько же вверх — вот предел нашей надменной премудрости, которая стремится

к открытиям и толкованиям непроницаемого и неисповедимого. Как же ты хочешь знать о средоточии Земли!

— Но нельзя ли что-нибудь составить из предположений, из теории вероятностей,— сказал я.

— Самая достоверная вещь из теории вероятностей есть то, что люди, руководствуемые одним своим рассудком, беспрестанно ошибаются в нравственных и физических изысканиях, и потому не должно стремиться за пределы возможного — не смотреть беспрестанно вверх, чтобы на земле не сломать себе шеи и не рыться всегда в земле, чтобы не сделаться самому ископаемым. *Est nobis in rebus*, любезный друг! Отвлеченности должны основываться на опытах, опыты должны облагораживаться отвлеченностями.

Разговор наш скоро прекратился, потому что мы беседовали на Невском проспекте. Через два дня Архип Фаддеевич прислал ко мне рукопись, при письме, которые сообщаю моим читателям, ибо я привык разделять с ними все мои умственные наслаждения.

ПИСЬМО АРХИПА ФАДДЕЕВИЧА

«Пришедши домой после нашего последнего свидания, я вспомнил, что у меня хранится рукопись неизвестного автора, купленная мною некогда за семь гривен у разносчика книг в Москве. Она удовлетворит твоему любопытству, в рассуждении средоточия Земли в таком отношении, как ты желал. Повествование это похоже на *Не любо — не слушай, а лгать не мешай*; однако ж кое-что похоже и на правду. Прочти и суди сам».

Бурею занесло нас к Новой Земле. Когда ветер утих, капитан послал меня в шлюпке на берег, осмотреть, нет ли где поблизости пресной воды. Я с двумя матросами взобрался на вершину одной горы, чтоб оттуда взглянуть на окрестности. У подножия большого камня приметил я отверстие или пещеру и вошел в нее, чтобы посмотреть, нет ли там источника. Один матрос следовал за мною. Лишь только я сделал несколько шагов, земля обрушилась подо мною и я стремглав покатился вниз. От страха я потерял память, и когда пришел в себя, то находился во мраке и чувствовал возле себя что-то движущееся. Это был мой Джон, матрос, вошедший со мною в пещеру. Он сохранил все присутствие духа во время падения и сказал мне, что мы катились по мягкому песку чрезвычайно долго, по крайней мере сутки. У него было в кармане огниво и огарок восковой

свечи. Мы засветили огонь и крайне изумились, увидев, что находимся в пещере, которой не видели конца ни в одну сторону. Земля покрыта была травой и деревьями белого цвета¹, а в нескольких шагах от нас протекал источник чистой воды. Утолив жажду и голод плодами довольно вкусными, вроде трюфелей, мы набрали смолистых сучьев и с зажженными пучками пошли вперед по берегу источника. Через несколько времени увидели мы несколько землянок, обитаемых животными, которые привели нас в страх. Они были похожи на пауков, с большими брюхами, на коротких ногах, с двумя руками и весьма малою головою. Они подняли крик при виде света и скрылись в своих подземельях. Зная, что рано или поздно мне должно будет встретиться с сими животными, я презрел всякую опасность и, вынудив свой кортик, осмелился войти в землянку. Одно из сих животных встретило меня у входа и, к величайшему моему удивлению, заговорило на языке турецком с примесью испанских

итальянских слов. Путешествуя долго на Востоке и по Западной Европе, я понял довольно хорошо речь оратора, который спрашивал меня: кто я, откуда пришел, зачем и что значит это вещество (огонь), нестерпимое для их взоров? Пытаясь говорить на всех известных мне языках, я наконец успел растолковать, что я житель поверхности земли, называюсь человеком, нечаянно провалился в сию страну, и что вещество, освещающее меня, есть огонь или свет, без коего я не могу видеть предметов во мраке. Я, со своей стороны, предложил также вопросы, на которые животное отвечало мне, чревоушательным голосом, следующее:

— Мы не знали, что есть над нами поверхность земли, обитаемая подобно ее внутренности. Страна наша называется Игноранциею, а жители игнорантами. Мы не знаем употребления вещества, называемого вами огнем или светом, и хотя имеем едва приметные глаза, но видим очень хорошо предметы, необходимые для пищи. Природа весьма к нам щедра: у нас множество разных плодов и растений для нашего пропитания, и это составляет также главнейшее наше упражнение. Сделайте милость, спрячьте ваш свет: мы не можем на него смотреть, а я между тем пойду успокоить жителей города на ваш счет. Будьте спокойны: мы вам не сделаем никакого зла.

Я потушил огонь и остался во мраке, следуя правилу,

¹ Во время первого путешествия капитана Парри в полярные страны он разводил там кресс, который хотя вырос без влияния солнечных лучей, но был белого цвета. Стебли растений в земле также белы.

что для собственного спокойствия должно сообразоваться с нравами и обычаями жителей той страны, где мы находимся. Во время отсутствия хозяина окружило меня его семейство и начало обременять вопросами.

— Есть ли у вас женщины? — спросила одна, по-видимому, хозяйка.

— И прелестные! — отвечал я.

— Добры ли они, нежны ли и верны своим мужьям? — спросил мужской голос.

Я люблю говорить правду только в глаза и потому описал наших женщин самыми блестящими красками и сказал, что они тихи как вода, постоянны как мрак и нежны к мужьям как человек к пище. Я должен был сообразоваться с понятиями окружавших меня и потому уподоблял прекрасный пол с виденными мною предметами и слышанными о склонностях игнорантов.

— Любят ли ваши женщины наряды? — спросил тоненький голосок.

— Только из одной пристойности, — отвечал я, думая, что мои слушатели не приметят во мраке, что я покраснел, а позабыл при том, что они видят и без света. Я в этом случае похож был на страуса, который, спрятав голову под крыло, воображает, что его никто не видит, или, лучше сказать, на лгуна, который думает, что без свидетелей можно лгать безбоязненно.

— Вы счастливее нас, — проворчал басом некто, вероятно, несчастный муж. — Наши женщины легкомысленны, непостоянны и все свое счастье поставляют в нарядах!

— Позвольте усомниться! — отвечал я и в то же время услышал приятный шепот женского пола:

— Как он мил! как любезен!

Между тем мой Джон, который во все это время молчал и держался за полу моего платья, сказал мне:

— Я не постигаю, каким образом вы можете изъясняться с этими животными; но вижу, что мы, по крайней мере, не умрем здесь с голоду, ибо, судя по желудкам сих подземных жителей, должно полагать, что они имеют хороший аппетит. Попросите у них какого-нибудь крепкого напитку: это освежит мои силы.

Лишь только я объявил о желании моего товарища, женщины принесли целую корзину вкусных плодов и огромную глиняную красоулю с напитком, похожим на ром. Когда я спросил, каким образом его готовят, они мне отвечали, что это извлечение из трав, или экстракт, сос-

тавляющий любимое наслаждение игнорантов. Матрос мой нашел этот напиток чрезвычайно вкусным и сознался, что игноранты весьма умные люди, ибо поставляют счастье в пище и питье. В доказательство своего собственного ума он так накушался, что заснул на месте, сказав, что во мраке приличнее всего спать, чтобы излишнюю деятельностью не сломать себе шеи.

В это время хозяин возвратился и объявил мне, что городское общество положило в своем совете дать мне квартиру в его доме и кормить меня с моим товарищем на счет города, пока мы не изберем себе рода жизни.

— Это очень умно,— сказал я,— и я начинаю получать весьма выгодные впечатления насчет вашего просвещения.

— А что такое просвещение? — спросил меня хозяин.

— Науки, литература, художества, законы и проч., и проч., и проч.

Но мой хозяин не понимал меня и просил растолковать. Когда я с великим трудом успел изъяснить ему, что такое просвещение, то целое семейство захохотало во все горло, и хозяин сказал мне, что игноранты не знают других наук и искусств, кроме умения есть, пить, спать и беседовать о вчерашнем и завтрашнем, о погоде, женщинах, нарядах и т. п., и что высочайшая степень их премудрости состоит в игре в зерна, называемой чет и нечет.

— Однако ж ваши наряды требуют также искусства? — сказал я.

— Небольшого,— отвечал хозяин.— Вы видели, что наши женщины убираются в раковины, ткани из растений, совиные перья, крылья нетопырей, разноцветные камешки и т. п. Главное дело состоит в разнообразии и пестроте.

Это почти то же, что и у нас, подумал я.

Не стану описывать трехмесячного моего пребывания в Игноранции. Можно вообразить себе, какова была моя жизнь между народом, чуждым всякого просвещения, не знающим даже грамоты, который поставляет все благо в удовлетворении физических потребностей плодами, собираемыми без всякого труда. Напротив того, моему Джону чрезвычайно там понравилось, и он бы всегда там остался, если б необыкновенный случай не вывел нас из сей страны. Я позабыл сказать, что у моего Джона уцелел топор, который он имел за поясом во время нашего падения. Я уговорил его выдолбить челнок из пня большого дерева. Он исполнил это за городом в лесу, при огне, и мы, к великому

удивлению всех жителей, поплыли водою, по ручью, который был чрезвычайно быстр. Проехав несколько верст, почувствовали мы опасность, которой прежде не предвидели. Быстрота влекла нас с необыкновенною скоростью, и мы не могли никак управиться с челноком. Наконец оба весла сломились в одно время на крутом повороте, и нас помчало на утес. Факел, сделанный нами из смолистого дерева, погас, и наш челнок попал в водоворот. Вот мы думали, что наше странствие кончилось навеки, но судьбе было угодно спасти бедняков. Открыв глаза, я увидел: что лежу на берегу шумной реки; кругом луга покрыты были светлою зеленью, и мерцание утра разливалось на предметы слабый свет. Джон также спасся от гибели, и мы чрезвычайно обрадовались, что попали в страну, где не будем жить во мраке, подобно кротам. Поправившись от ужасного нашего приключения, мы пошли на гору, где заметили дым и увидели деревню, в которой домики похожи были на шалаши дикарей Северной Америки.

Неизбежная опасность делает смелым труса, а храброму сообщает какое-то хладнокровие в жизни и смерти. Я пошел прямо в деревню, не слушая Джона, который советовал мне подождать в кустах и высмотреть, с кем нам должно иметь дело. При входе в главную улицу, встретил я несколько животных, похожих на орангутангов, которые, увидев меня, с криком разбежались по своим шалахам и выглядывали в окна с боязнью и любопытством. Толпа маленьких животных бежала издали за нами, точно так, как деревенские наши мальчишки бегают за медведем, водимым на цепи. Они бросали в нас палками и камнями. Такое приветствие не предвещало нам ничего доброго, но мы шли вперед: я вооруженный кортиком, а Джон топором, решившись, в случае нападения, защищаться до последней крайности. Достигнув большой площади, мы увидели толпу сих животных, вооруженных булавами и пиками, ожидавших нас в боевом порядке. Мы остановились и знаками изъясняли свои мирные намерения; тогда одно животное вышло из толпы, приблизилось к нам, протянуло голову, чтоб лучше рассмотреть нас своими малыми, чуть приметными глазами, и спросило меня грозным голосом на малайском наречии:

— Кто вы, откуда и зачем?

Я должен был отвечать то же, что игнорантам, и сказал ¹:

¹ Излишним почитаю уведомить моих читателей, что я, живши долгое время в Индии, изучился малайскому языку.

— Мы люди, обитатели поверхности Земли, несчастным случаем провалились во внутренность нашей планеты и просим гостеприимства!

Вопрошающее меня животное улыбнулось и, оборотившись к своим, громко закричало:

— Эти животные называют себя людьми и просят гостеприимства.

— Неужели это люди?

— Какое странное создание!

— Люди, люди! — раздалось в толпе, и громкий хохот поднялся со всех сторон.

— Добро пожаловать, господа люди! — сказал прежний допросчик с громким смехом. — Мы обещаем вам гостеприимство и безопасность. Сказать правду, мы не знали, что есть другие люди, кроме нас, и почли было вас за диких зверей.

— Но позвольте спросить, кто вы таковы и как называется эта страна?

— Страна называется Скотиния, а мы зовемся скотиниотами. Мы почитаем себя самыми умными, учеными и образованными из всех обитателей земного котла. Но об этом после, а теперь познакомьтесь с жителями столицы.

Мы приблизились к толпе, которая расступилась перед нами и составила круг. Всякий рассматривал нас с величайшим любопытством. Я заметил, что скотиниоты все вообще слабого зрения и почти не видят далее своего носа. Приближаясь к нам, они просили дозволения познакомиться с нами ощупью и, удивляясь всему строению нашего тела, самое большое внимание обращали на наши глаза, которые величиною своею казались им чрезвычайно безобразными. Глаза скотиниотов были не более булавочной головки, уши ослиные, рот во всю ширину лица, и рыльце наподобие обезьяньего. Тело покрыто было мягкой шерстью различных цветов; вместо одежды они носили шотландские передники и короткие плащи, покрывавшие только спину.

Между тем пока простой народ разглядывал нас в безмолвии, один знатный и богатый житель столицы хотел нас увидеть. Толпы раздались перед колесницею, запряженною двенадцатью сурками, которыми управлял сам господин, с большим искусством. Остановившись перед нами, он сошел с колесницы, отдал вожжи своему скороходу и, подошедши к нам, спросил:

— Знаете ли вы меня?

— Нет! — отвечал я.

— О, невежество! — воскликнул он. — Неужели до вас не достигла слава Дуриндоса, изобретателя двух новых паштетов и тринадцати соусов, плащей с гремушками, стоцветных фартуков, покровителя всех стихоплетов и прозолотов Скотинии, сочинителя сатирико-критико-прозаико-стихотворных произведений, который...

Дуриндос продолжал говорить около часа о своих достоинствах, исчислял сочинения, где ему напечатаны похвалы, имена своих клиентов — великих любомудров и едоков, и проч., и проч. Пока он говорил, я рассматривал его вздернутую физиономию и одежду, обвешенную побрякушками и составленную из разноцветных лоскутков, и когда он кончил, то я, желая приобрести покровительство человека, у которого есть паштеты, соусы и приятели, подчинился обстоятельствам и сказал:

— Жаль, что вы прежде не объявили своего имени: оно гремит даже на поверхности земли, и я почитаю себя счастливым, что встретился с великим защитником всего малого и великого.

Этот комплимент столько обрадовал Дуриндоса, что он пригласил нас жить у себя в доме, обещая познакомиться с целым городом и показать все, достойное любопытства.

Приступая к описанию виденного и слышанного мною во время краткого моего пребывания в Скотинии, я должен предупредить читателя, что смешное самохвальство, самонадеянность и невежество не суть отличительные черты одного моего хозяина Дуриндоса, но что это общий характер всех скотиниотов. Мне даже досадно, что я должен в таком виде представлять Дуриндоса, впрочем человека доброго, человеколюбивого, гостеприимного, даже хлебосола. Боюсь, чтобы не почли меня неблагодарным; но общие черты характера целой породы не могут быть причтены в вину одному лицу. Одним словом: Дуриндос виновен только тем, что родился скотиниотом.

Он велел нам следовать за собою в свой дом. Мы вошли в его шалаш, который составлял только крышу над входом, а жилища устроены были под землю в норах и расположены весьма удобно, исключая одной неприятности, то есть недостатка окон. Стены обложены были деревом и украшены различными тканями. Зажгли ночники, и хозяин предложил нам подкрепить силы свои паштетом с трюфелями и вином, которое нам показалось очень вкусным. Вышедши на поверхность, я крайне удивился, видя все то же самое мерцание, при каком я прибыл в Скотинию, невзирая на то

что уже прошло несколько часов. Дуриндос объяснил мне это, сказав:

— Вы пришли в город вскоре после первого восстания от сна, и теперь ровно полсуток.

— Как! — воскликнул я. — Неужели у вас никогда не бывает светлее?

— Никогда, — отвечал он, — ни светлее, ни темнее.

— Как вы разделяете свое время?

— Сном и едою: четыре обеда и три сна составляют сутки; трое суток неделю, двенадцать недель месяц, а двадцать четыре месяца год.

— Есть ли у вас какая машина для распределения и измерения времени? — спросил я.

— Без сомнения: у нас есть времяпроводники; посмотрите, если угодно.

Дуриндос велел подать скотиниотские часы. Это был прозрачный сосуд, из какого-то особенного металла, сделанный наподобие песочных часов и точно такого же механизма. Вся разница состояла в том, что вместо песку он наполнен был вином. На поверхности были отмечены двенадцать часов или эпох, составляющих скотиниотские сутки, а в нижней половине сосуда находился рожок или горлышко, чрез которое выпивалось вино постепенно после каждого часа, для предохранения сосуда от ржавчины; ибо этот металл имел такое свойство, что портился от одного вина и был невредим целые веки, если вино переменили часто.

— Дайте мне какое-нибудь понятие об астрономии и географии нашей страны и о степени ее просвещения! — сказал я.

— Г-н, г-н! — проворчал Дуриндос. — Это не мое дело; я хотя и все знаю, но предпочтительно занимаюсь изящным, то есть кушаньем, вином и критико-сатирико-прозаико-поэтическими трудами. К третьему обеду у меня будут многие ученые, а между прочими, один философ и один гений-теорик — они вам объяснят все, что вам угодно: из скольких песчин составлена земля, где ее центр, что есть ум; решать, не запинаясь, что хорошо и что худо; истолкуют все, что от бесконечно малого до бесконечно великого. Но вот ударил колокол, прощайте! пора спать перед третьим обедом: это непреложный обычай Скотинии.

Я сам имел нужду в отдохновении после всего мною претерпенного и потому, убравшись в мою нору с Джоном, заснул крепким сном, продолжавшимся до самого обеда. Хозяин сам разбудил меня и ввел в столовую, где находи-

лось человек тридцать гостей разного звания, а между ними с десятков разумников Скотинии. Видно, что Дуриндос счел меня за ученого, судя по моему вопросу об астрономии и географии: ученые скотиниоты тотчас окружили меня и начали рекомендоваться таким образом, что если бы между нашими учеными кто стал говорить так о себе самом, то его наверное почли бы за сумасшедшего. Малый человек, вроде альбиноса, с мусикийским орудием за плечами, которого я счел гуслистом, первый подошел ко мне и сказал громким, звонким голосом:

— Знаете, милой мой, что я первый здесь философ, первый мыслитель. Я первый возжег светильник философии и около двух лет тружусь, хотя не постоянно, над сооружением памятника моему величию, то есть сочиняю книгу, которая будет заключать в себе всю премудрость веков прошедших, настоящего и будущего времени. Правда, что надо мною смеются и называют меня шутком, но зато я сержусь больно, бранюсь и сочиняю музыку для романсов и песен, которые превозносятся в кругу моих родных столько же, как и моя философия. Ах! если бы вы читали мои творения, заключающиеся в нескольких статейках, и сравнили с сочинениями, вышедшими в свет прежде моих, вы удостоверились бы, что все у меня заимствовано. Жаль, что я молод, а то бы...

Молодой гуслист-философ продолжал говорить, а между тем другой взял меня за руку, повернул к себе и начал душить своею речью:

— Ну-те, сударь, ну-те, скажите-ка, видали ль вы на поверхности земли человека, который бы, отроду ничему не учившись, все знал, все решил, обо всем судил — и сделался всеобщим литературным самоучителем или письмовником. Это я, сударь, я! Да посмотрите на меня. До моего появления в свете ничего не было порядочного, и я, подобно флюгеру, показывающему направление ветра, объявляю мнение всех скотиниотов о разных предметах.

Он хотел говорить более, но слуга возгласил, что кушанье подано, и мой ученый, сказав: «Счастливо оставаться», бросился за стол. Хозяин посадил меня между собою и каким-то старичком. Сначала, пока гости утоляли голод и жажду, царствовала в собрании тишина, и я воспользовался этим временем, чтобы расспросить старичка о некоторых занимательных для меня предметах.

— Откуда проникает свет в Скотинию? — спросил я старика. — Как обширна ваша страна и с чем граничит?

— Вид нашей страны уподобляется котлу с крышею,— отвечал старик.

Окружность Скотинии простирается на 300 000 шагов (около 200 верст), высота неизмерима. Жителей считается у нас до 17 000. В самой середине Скотинии, шагах в тысяче отсюда, находится огромное жерло или пучина, откуда исходит теплота и свет. Никто не исследовал поныне причины сего явления, и невзирая на то, что жерло сие есть источник плодородия и самой жизни нашей, ученые крайне не любят его за то, что не понимают его действия.

— Ах, государь мой! — продолжал старик. — Вся наша беда происходит от этих господ, называющих себя мыслителями, которые беспрестанно ссорятся между собою за превосходство своего зрения, хотя наша порода вообще близорука. Каждый из них хочет иметь своих приверженцев; они беспрестанно говорят и пишут вздор и, желая доказать силу своих глаз, не употребляют нарочно огня или света, пишут впотьмах, наобум, и от этого сцепления букв происходит совершенная нелепица, которую они выдают нам за приговоры мудрости. По несчастию, эти мыслители у нас размножились, а что хуже всего, это их раздражительность, которая, при малейшем противоречии, доходит до бешенства. Берегитесь спорить с ними, а не то они наговорят вам грубостей.

Я поблагодарил моего соседа за предостережение и спросил его:

— С кем имею честь говорить?

— Я один из числа судей сего города, — отвечал сосед¹.

— То есть вы законоискусник? — промолвил я.

— Извините, — возразил сосед, — я вовсе не знаю законов.

— Как же вы судите дела? — спросил я с удивлением.

— Я загадываю о деле и после того играю в бирюльки, — сказал скотиниот, — когда разберу бирюльки, то дело правое, а не разберу — не правое.

— Помилуйте! — воскликнул я. — Можно ли таким образом решить дела, от которых зависит участь семейств?

— А почему же нет? — сказал хладнокровно сосед. — Ведь одна сторона должна же выиграть и быть довольною, а в общей массе это все равно.

— Но справедливость, правосудие! — возразил я горестно.

— Это зависит от бирюлек², — сказал сосед, улыбаясь.

¹ Прошу читателей не забыть, что самохвальство и самонадеянность суть отличительные черты породы Скотиниотов.

² Читателям, вероятно, известна игра в бирюльки. Это деревянные

Между тем, по мере наполнения желудков, гости становились разговорчивее; наконец, между ними начался спор и крик. Каждый превозносил себя и защищал свое мнение. Благоразумнее всех показался мне хозяин, который на все вопросы отвечал одним мычанием: «Гм, гм, гм, гм», — и продолжал испивать вкусное вино. В конце обеда спор дошел до такой степени, что хозяин, опасаясь драки, встал из-за стола и попросил гостей выйти на открытый воздух, чтоб рассеять и развлечь их хотя несколько. Более всех кричал маленький гуслист, который, желая заглушить прочих, принялся петь, с аккомпанементом своего муссийского орудия, гимн своего сочинения, из коего я удержал в памяти только следующие слова:

Я великий человек

И Философ знаменитый! — и проч.

Это был так называемый кавалерский обед, и женщины не выходили к столу. Хозяин, приметив, что я скучаю в обществе ученых скотиниотов, повел меня на половину своей жены, где я нашел большое собрание прекрасного пола. Я с любопытством рассматривал наряды, состоявшие из разноцветных перьев, лоскутков, сеток, металлических побрякушек, ремешков, тесемочек и, словом, такой смеси, что я с первого взгляда не мог составить себе никакого понятия о костюме. Женщины были уже предуведомлены о моем прибытии и потому бросились ко мне и с удивлением рассматривали меня, как редкого зверя.

— Скажите мне, чем занимаются ваши женщины? — спросила хозяйка.

— Воспитанием детей, хозяйством и старанием угождать своим мужьям, — отвечал я. При сих словах все скотиниотки громко захохотали.

— Неужели это кажется вам удивительным, милостивые государины? — примолвил я. — Итак, позвольте спросить, кто же у вас воспитывает детей?

— Натурально, наемники! — отвечала хозяйка.

— А кто занимается хозяйством?

— Никто! — сказали скотиниотки в один голос.

— Мужья должны нам доставлять все нужное для содержания дома, удовлетворять нашим прихотям, а наше дело плясать, петь и прогуливаться! — сказала одна молодая, жеманная дамочка.

палочки разных видов, которые бросают в кучу и разбирают крючком. Мне кажется, что это название происходит от глагола *беру*, и потому правильнее было бы назвать игру: *берульки*.

— И сочинять развлечения для наших мужей, или так называемые *капризы*! — примолвила другая дама.

— Все это кое-как свойственно молодости, — сказал я, — но к чему доведет такая жизнь в старости?

— Старость имеет свои приятности, — отвечала одна пожилая дама. — Тогда мы станем заниматься сплетнями, пересудами, сватовством.

— Спойте что-нибудь! — сказала одна скотиниотка.

— Попляшите! — примолвила другая.

— Как вам нравится мой наряд? — спросила третья, и, наконец, все приступили ко мне с просьбами и вопросами. Видя, что мне невозможно от них отделаться, я притворился больным и вышел наверх, где застал гостей распростертых на земле, в изнеможении от споров и самохвальства.

Вскоре наступило время сна, и гости разбрелись по домам. Хозяин отвел меня в мою комнату, обещаясь на другой день показать все редкости и достопримечательные места в городе¹.

Пробыв целый месяц между скотиниотами, я до того соскучился, что возненавидел жизнь. Их подозрительность, упрямство, раздражительность, самонадеянность, при совершенном невежестве, ежедневно причиняли мне неприятности. Все мое удовольствие состояло в прогулке к жерлу, изливающему свет и теплоту. Атмосфера, окружающая сие жерло, напоминала мне благословенные страны земной поверхности, и я не мог насытить своего зрения исходящим оттуда светом, от которого убегали скотиниоты. Однажды я встретил у сего жерла старика, вступил с ним в разговор и узнал, что он пустынный, посвятивший всю жизнь свою на открытие пути в страну светлости, о которой гласит предание, что она находится под Скотиниею. Пустынный сказал мне, что уже несколько из его соотечественников проникли в сию страну и что он, наконец, открыл подземный ход, но не знает еще, куда он ведет, и боится один пуститься туда. Я вызвался сопутствовать ему вместе с Джоном. Он с радостью на это согласился. Мы возвратились в город, запаслись съестными припасами и водою, нагрузили все это на телегу, запряженную 12 сурками, которыми снабдил меня добрый Дуриндос, и на другой день пустились в путь в

¹ Здесь недостает в рукописи нескольких страниц: может быть, Издателью удастся отыскать их на толкучем рынке, и тогда сообщит он их читателям при полном издании сего путешествия.

подземный ход, в сопровождении пустынного. Четыре дня сряду мы шли все вниз, во мрак; наконец, наступило мерцание; в подземном ходе делалось постепенно светлее, и на седьмой день мы вышли на пространный луг, где было светло, как на поверхности земли. Скотиниот упал на землю от восхищения, и мы, возблагодарив Бога за наше спасение, пошли навстречу к пастуху, который, играя на свирели, гнал стадо из веселой деревеньки, построенной на берегу ручья.

От пастуха узнали мы, что страна сия называется Светония; он говорил языком, составленным из русских, французских, английских и немецких слов, и потому я легко понимал его. Мы бросили на дороге нашу тележку с сурками и пошли прямо в деревню. Чистота домиков и одежды крестьян возвещала о их благосостоянии. Устройство тела нашего спутника, скотиниота, и наша одежда хотя возбуждали внимание жителей, но ни один из них не оскорбил нас насмешкою и не беспокоил неуместным любопытством. Измученные дальним путем, сели мы отдохнуть при колодце: тогда один старик подошел к нам и предложил прохладиться и успокоиться в странноприимном доме, где на общий счет всех жителей угощают путешественников. Мы с радостью на это согласились, и старик дорогою предложил мне вежливо вопрос о нашем отечестве. Я рассказал ему в нескольких словах мои приключения, и старик отвечал:

— У нас есть предание, что несколько скотиниотов перешло к нам в продолжение многих столетий. Здесь они теряют свои свойства и делаются людьми, подобными нам. Об игнорантах я вовсе не слыхал. Что же касается до обитателей поверхности земли, которые, как я вижу, во всех частях тела похожи на нас и даже понимают наш язык, то хотя мы никогда их не видали, но знаем по теории вероятностей, что наша планета должна иметь поверхность, озаряемую светом небесным и обитаемую существами мыслящими.

— Чем же освещается ваша страна? — спросил я.

— Огнем, находящимся в средоточии земли! — отвечал старец.

— Итак, вы не знаете мрака?

— Мы доставляем себе иногда удовольствие наслаждаться темнотою, запирая ставни в домах или отдыхая в подземных пещерах: впрочем, у нас всегда светло и тепло.

Между тем мы пришли в гостиницу, построенную на

возвышении; из окон ее увидел я обширный город, лежащий в долине, на берегу широкой реки.

— Это столица наша,— сказал старец.— Она называется Утопия.

— Утопия! — воскликнул я в восхищении.— Место, которое мы тщетно отыскивали на поверхности земли!

— Оно здесь, в центре земли! — сказал старец.

— Итак, люди здесь счастливы? — спросил я нетерпеливо.

— Счастливы, сколько возможно существу, одаренному страстями и недугами,— отвечал старец.— Нас приучают с молодости,— продолжал он,— подчинять страсти рассудку, довольствоваться малым, не желать невозможного, трудиться для укрепления тела и безбедного пропитания, следовательно, для приобретения независимости, и наконец, употреблять все наши способности, все силы душевные и телесные на вспоможение нашим ближним. Исполняя все это и повинаясь законам и законным властям, большая часть из нас счастлива, и если случается, что люди беспокойные вздумают нарушать общее благополучие, то им никогда не удастся, ибо в большом числе добрых злые не могут иметь ни влияния, ни силы.

Рассказ старца возбудил во мне сильное желание тотчас поспешить в Утопию, чтобы собственными глазами осмотреть все постановления, делающие людей счастливыми. Отобедав в гостинице и поблагодарив старика, мы поспешили в город и чрез полчаса очутились у заставы.

Здесь нас остановили и спросили: откуда мы, зачем идем в город и чем будем содержать себя?

Эти вопросы показались мне странными, и я изъяснил свое неудовольствие, сказав:

— Какое кому до меня дело? Я волен в своих поступках.

— Это правда,— отвечал один чиновник,— но большие города не должны служить убежищем лености, праздности и пороку. Мы должны знать, чем содержит себя житель города, не обрабатывая поля и не занимаясь должностью или мастерством. Эта предосторожность избавляет честных граждан от многих неприятностей. Мы также обязаны давать работу и занятие ищущим пропитания, объяснять весь городской порядок прибывающим сюда за делами, призирать сирот, неимущих, несчастных и странников.

— К какому же разряду вы причислите нас? — сказал я

и повторил мои приключения, со времени моего падения в подземную пропасть.

Чиновники слушали меня с величайшим любопытством, осматривали нашу одежду и сложение тела скотиниота и, удостоверившись из моего ломаного языка в том, что мы иностранцы, по кратком совещании, объявили нам, что мы будем содержаться в городской гостинице до тех пор, пока не изберем себе рода жизни и не узнаем языка и обычаев Светонии. Нам тут же дали одежду светонцев, похожую на древнюю греческую, в которой наш скотиниот казался чрезвычайно смешным. Один из чиновников взялся сам проводить нас в гостиницу и доложил обо всем городскому начальству.

Проходя городом, мы удивлялись чистоте его и довольству жителей. Улицы были широкие, и частные все дома вообще небольшие, в один этаж, с садом и цветниками перед окнами. Общественные здания, напротив того, были чрезвычайно великолепны, покрыты блестящим металлом с мраморными колоннами; резьбою и архитектурою превосходили они все, что я видел в природе и на рисунках. Экипажей было очень мало. Проводник сказал нам, что в Утопии только пожилые и заслуженные люди и больные ездят в повозках, запряженных волами; все прочие ходят пешком, как следует здоровому и бодрому человеку. Прибыв в гостиницу, чиновник дал приказание в рассуждении нашего содержания и приставил к нам двух собеседников, вроде итальянских *чичероне*, чтоб во всякое время водить нас по городу, показывать и объяснять нам все достойное любопытства и знакомить с здешними обычаями. Скотиниот и Джон изъявили желание остаться дома и отведавать всех напитков Утопии, полагая, что счастливые люди должны иметь хорошее вино, а я, с моим собеседником, пошел бродить по городу. Я чрезвычайно удивился, вовсе не встречая женщин на улицах, и спросил у моего собеседника:

— Неужели вы женщин держите взаперти, как индеек, подобно нашим азиятцам?

— Напротив того, они пользуются у нас совершенною свободою,— отвечал светонец,— но они имеют столь много занятий дома, что, исключая часов, назначенных для публичных прогулок, им некогда бродить по улицам. Домашнее хозяйство, воспитание детей и все работы, не требующие больших усилий, предоставлены у нас женскому полу. Женщины ходят за больными, готовят лекарства, пищу, одежду, наблюдают за чистотою в домах, и праздность почитается у нас величайшим пороком в женщинах.

В это время я вспомнил о наших бесконечных визитах, прогулках, посещениях всех лавок и магазинов без нужды и без дела и невольно улыбнулся. Светонец приметил это и спросил меня:

— Разве у вас праздность не почитается пороком?

— Не всеми,— отвечал я,— при всем том я полагаю, что ваши женщины не трудятся столько, как наши. Знаете ли вы, что такое мода? — промолвил я.

— Нет,— сказал светонец.

— Итак, я вам растолкую: мода есть обычай переменять как можно чаще цвет и покрой платья, вид прически, фасон шляпок, форму экипажа и домашних приборов, даже образ жизни, занятий, увеселений и самого горя или траура.

— То есть вы беспрестанно усовершенствуете ваши изобретения и промениваете их на лучшее? — сказал светонец.

— Если б это было так, как вы говорите,— возразил я,— тогда мода почиталась бы путем усовершенствований; но, по несчастию, часто выходит напротив. Мы меняем покойное на беспокойное, твердое и крепкое на слабое, красивое на безобразное потому только, что так велит мода.

— Кто же изобретает моду? — спросил светонец.— Без сомнения, отличнейшие и умнейшие люди?

— Вы не мастер угадывать,— сказал я.— Моды изобретают полсотни швей, в одном большом городе, и знатные дамы более повинуются уставам ветреной швеи, нежели... но не в этом дело. Я вам сказал, что наши женщины более трудятся: теперь вам будет это понятнее, когда я скажу, что прекрасный пол высшего звания занимается у нас модами, то есть женщины не работают сами, но только наряжаются, обновляются и преобразуют все в доме. Это отнимает у них все время, и едва остается в сутки несколько часов на визиты, осмотр магазинов и прогулки, и потому другую половину суток, то есть неизвестную вам ночь, посвящают они на балы, собрания и т. п. Итак, наша светская женщина находится в беспрестанной работе и гораздо скорее приходит в изнеможение и теряет силы, нежели простая крестьянка, достигающая себе пропитание в поте чела.

— Но какая польза от этой так называемой работы? — спросил светонец.

— Это другой вопрос,— сказал я,— на который трудно отвечать.

В это время мы приблизились к одному огромному зданию.

— Это суд,— сказал светонец.

— Итак, у вас есть суд, следовательно, и тяжбы! — воскликнул я. — Позвольте усомниться в счастье жителей Утопии.

— Не будьте опрометчивы, — возразил светонец. — Люди не могут руководствоваться собственной волею, как животные инстинктом, и потому, для определения правого и неправого, составлены законы, а где законы, там должны быть и блюстители правосудия, которые обязаны разрешать трудные вопросы юридические в сомнительных случаях.

— Есть ли у вас ябеда в судах! — спросил я.

— Не знаю, что такое ябеда, — сказал светонец. — Рас толкуйте.

— Когда вы не знаете ябеды, то я начинаю верить вашему счастью.

Мы вошли в огромное здание, которое было совершенно пусто.

— Где же толпы канцеляристов, где толпы просителей, поверенных?

— Мы ничего этого не знаем, — сказал светонец. — Незаконного не просим и не желаем, следовательно, и не знаем тяжб. Но войдемте в судейскую.

В огромной зале лежала на напольной небольшая книга законов; другая книга, журнал текущих дел, лежала на столе, и несколько дежурных судей дремало на стульях.

— Теперь более уверяюсь в счастье Утопии, — сказал я на ухо своему проводнику, — когда вижу, что судьи дремлют не от лени, а от безделья.

В это время судьи проснулись, и один из них подошел к нам и спросил, не требуем ли мы справки с законами или разрешения какого-нибудь спора. Узнав, что я чужестранец и посетил Суд из одного любопытства, судьи просили меня присесть и отдохнуть. Разговаривая с ними более часа о различных предметах, я узнал, что у них вовсе не случается тяжб, а только бывают сомнения насчет законных или незаконных поступков или действий, и в таком случае их обязанность состоит в буквальном толковании законов. О взятках они даже не имели понятия. Распростившись с судьями, мы вышли на улицу и встретили толпы мальчиков и девочек, идущих в публичную школу учиться мастерствам и всякого рода механическим занятиям. Каждый светонец обязан непременно знать какое-нибудь искусство или мастерство, чтобы, в случае нечаянной потери своего имущества, мог пропитать себя собственными трудами.

— В каком состоянии ваша словесность? — спросил я.

— В самом блестящем, — отвечал светонец. — Наши поэты

воспевают славу Всевышнего и добродетели своих соотечичей; прозаики занимаются развитием и распространением полезных нравственных истин различными способами, посредством истории, романов, повестей, трагедий, комедий, сатир и т. п. Ученые трудятся над открытием и усовершенствованием в науках и искусствах; артисты и художники работают для славы отечества, и все писатели, ученые и художники пользуются уважением в обществе, как люди, отличные от прочих большим количеством мыслящей силы и старающиеся о славе народа, о пользе общей.

— А какowo они живут между собою? — спросил я.

— В мире и согласии! — отвечал светонец.

— Быть не может! — воскликнул я. — Разве у вас нет журналов?

— Напротив того, множество! — отвечал он.

— Чем же они наполняются?

— Любопытными статьями, неизвестными публике, и критикою, — сказал светонец.

— Не понимаю, как можно согласить критику с миром и дружбою между литераторами! — возразил я.

— А я удивляюсь, как можно сердиться за благонамеренную критику, — сказал светонец, — особенно людям, которые по своему званию должны подавать пример снисходительности и правдолюбия.

— Все это прекрасно, — воскликнул я, — но признаюсь, у нас очень редко исполняется, а именно потому, что мы часто вводим личные наши страсти в литературу и что с некоторого времени коммерческие выгоды и расчеты занимают иных словесников более, нежели польза словесности и удовольствие читателей. Но скажите, — примолвил я, — неужели вы не знаете клеветы, зависти, мщения и других унижительных для человечества пороков?

— Знаем по преданиям, — отвечал светонец, — когда предки наши были в невежестве, когда и страсти управляли их деяниями, но просвещение довело нас до того, что все побуждения покорены совести и рассудку, и с тех пор мы счастливы.

— Какое же наказание полагается у вас завистливым и клеветникам? — сказал я. — Ибо невозможно, чтобы иногда не появлялись сии чудовища.

— Презрение! — отвечал светонец. — Мы осуждаем людей по их делам, а не по рекомендациям, не слушаем никаких внушений без доказательств ясных, следовательно, и клевета остается недействительною.

Разговаривая таким образом, мы пришли в публичный сад, где в это время прогуливалась большая половина жителей столицы. Я не мог наглядеться на простоту и прелесть женских нарядов. Простые белые платья, соломенные шляпки и цветы, вот все украшение юности. Пожилые женщины носили красивые плащи и шляпки темного цвета, с зелеными ветками и зрелыми колосьями. Молодые люди не толкались в толпе, не смеялись смотря в глаза незнакомым, не заглядывали под шляпки. Пожилые люди и старики не подражали юношам, не ветреничали, но соблюдали важность и скромность в своих поступках. Женщины не приводили в краску неопытных юношей, устремляя на них смелые взоры и лорнеты. Матери не стыдились прогуливаться с взрослыми своими дочерьми, и отцы семейств ходили под руку с женами и не приветствовали женщин, незнакомых их женам. Одним словом, в этом саду я увидел такие вещи, о которых никогда даже не мечтал на поверхности земли. Возвратившись в нашу гостиницу, я застал моего Джона и скотиниота в весьма дурном расположении духа. Они жаловались, что хозяин дал им прекрасного вина, но очень мало, приглашая пить ключевую и минеральную воду; поэтому они заключили, что Светония должна быть страна скучная, не просвещенная и бедная, ибо у нас и в Скотинии чем лучше угощение, тем более дается вина. Я не заблагорассудил вступать в споры с своими спутниками и лег в постель, чтобы отдохнуть после прогулки. Долго не мог я заснуть: мне все мечталось счастье Утопии, где нет взяток, ябеды, клеветы, зависти, где литераторы живут в мире и согласии, женщины занимаются домашним хозяйством и не разоряются на нарядах, где молодые люди скромны, а пожилые не подражают юношам в ветренности; наконец я заснул...

Здесь конец рукописи — и снова оторвано несколько листов. На переплете написано было рукою Архипа Фаддеевича следующее: «Не знаю, что ты заключишь из этого путешествия к средоточию Земли, но мне кажется, что первая полоса, или *Игноранция*, означает совершенное невежество; вторая полоса, или *Скотиния*, полубразованность, получуждость, что гораздо хуже невежества, а третья полоса, или *Светония*, истинное просвещение, делающее людей добрыми, благонамеренными, смирными, скромными и честными».

Я не смею учить публику и потому оставляю ей на разрешение, справедливо ли заключение Архипа Фаддеевича.

ПРИМЕЧАНИЯ

ИВАН ИВАНОВИЧ ВЫЖИГИН.

Роман.

Печатается по тексту: Сочинения Фаддея Булгарина. Спб., 1839, том 1. Булгарин принял за сочинение «Выжигина» еще в 1825 году. Первые отрывки из будущего романа появились в журнале Булгарина «Северный архив» в 1825 — 1827 годах под заголовком «Иван Выжигин, или Русский Жиль Блаз».

Отдельное издание романа «Иван Иванович Выжигин», вышедшее в 1829 году, носило уже другой подзаголовок: «Нравственно-сатирический роман», намекая на иную идеологическую направленность сочинения. Прежний подзаголовок, «Русский Жиль Блаз», предполагающий жанровую и идейно-тематическую связь булгаринского романа с романом Лесажа «Жиль Блаз» и «Российским Жильблязом, или Похождениями князя Гаврилы Симоновича Чистякова» В. Нарезного, автор снял, хотя в структуре «Выжигина» остались следы, восходящие к традиции романов Лесажа, Чулкова, Нарезного и других представителей «авантюрной» романистики XVIII — XIX веков.

Нравоописательная традиция, прочно соединившаяся в романе с авантюрным началом, восходит, по-видимому, к очеркам Булгарина в «Северной пчеле».

С. 25. *Князь Кантемир*... — Антиох Дмитриевич Кантемир (1673 — 1723), просветитель-рационалист, один из основоположников русского классицизма и новой сатирической поэзии. Его обращение к просторечию, народным пословицам и поговоркам во многом определило стиль русской классической поэзии 2-й половины XVIII века.

С. 27. *Недоросль Фонвизина*... — Фонвизин Денис Иванович (1745 — 1792) создавал произведения сатирического жанра, опираясь на традиции русской басни и сатиры.

С. 27. *Ябеда Капниста*... — Василий Васильевич Капнист (1758 — 1823), поэт и драматург, близкий к Г. Р. Державину, Н. А. Львову. Комедия «Ябеда», переделанная из сатирического стихотворения «Ябедник», запрещенная с момента создания в 1798 году по 1805 год, высмеивала продажность русского суда.

С. 27. *Вельможа Державина*... опубликован в 1798 году. Наряду со стихотворением «Властителям и судиям» осуждал общественные пороки, обличал высокопоставленных лиц. В одах Г. Р. Державина (1743 — 1816) блестяще отразились важнейшие черты, характеризующие царствование Екатерины II: рост русской государственности, героика военных побед, национальный патриотизм и власть произвола, фаворитизм, развращенность вельмож, процветание лести и ханжества.

С. 38. *Когда Белоруссия принадлежала Польше*... — Кревская уния 1385 года Польши с Великим княжеством Литовским открыла для польских магнатов возможность эксплуатации белорусских и украинских земель, частью

входивших в то время в состав Литовского государства. В 1569 году Польша и Литва образовали одно государство — Речь Посполитую. Люблинская Уния способствовала еще более жесткой эксплуатации польскими феодалами белорусских земель, находившихся прежде в составе Великого княжества Литовского.

С. 92. *Вороватина*. — Так называемые «говорящие фамилии» в романах Булгарина критиковал Пушкин в статье 1831 года «Торжество дружбы, или Оправданный Александр Анфимович Орлов» (увидевшей свет под псевдонимом Феофилакт Косичкин): «...что может быть нравственнее сочинений г-на Булгарина? Из них мы ясно узнаем: сколь не похвально лгать, красть, предаваться пьянству, картежной игре и тому подобное. Г-н Булгарин наказует лица разными затейливыми именами: убийца у него назван Ножевым, взяточник Взяткиным, дурак — Глаздуриным и проч.» (См.: Пушкин А. С. Полн. собр. соч. Т. 9. С. 207.)

С. 93 *...философами XVIII века...* — Имеются в виду так называемые «просветители». Просвещение — прогрессивное идейное течение эпохи перехода от феодализма к капитализму. Послужило идеологической подготовкой ряда революций, особенно Великой Французской революции. В ряде стран Западной Европы получает расцвет в XVIII веке, в Англии — со 2-й половины XVII века. Крупнейшие представители: Дж. Локк — в Англии, Вольтер, Ж.-Ж. Руссо, Ш. Монтескье, П.-А. Гольбах, К.-А. Гельвеций, Д. Дидро — во Франции, Г.-А. Лессинг, И. Г. Гердер, Ф. Шиллер, И.-В. Гете — в Германии, Т. Джефферсон, Б. Франклин, Т. Пейн — в США. В России идеологами Просвещения выступают Н. И. Новиков, А. Н. Радищев.

С. 108. *Лафатер* (1741 — 1801) Иоганн Каспар. — Швейцарский писатель. Автор романа «Понтий Пилат, или Малая Библия» (1782 — 1785), драмы «Абрахам и Исаак» (1776) религиозного характера, трактата по физиогномике «Физиогномические фрагменты...» (1775 — 1778). Прославился созданием учения о физиогномике — умению распознавать характер человека по чертам его лица.

С. 120. *Я выбежал как бешеный из кустов и предстал изумленным любовникам...* — Некоторые сцены романа М. Ю. Лермонтова. «Герой нашего времени» ориентированы на булгаринского «Выжигина». Грушницкий «эпиграмматически» обращен к главному герою романа «Иван Иванович Выжигин». (См.: Турбин В. Н. Пушкин. Лермонтов. Гоголь. М., 1978. С. 144.)

С. 121. *...у киргизцев*. Киргизия. В VI — XII веках входила в Тюркский каганат, в государства тюргешей, калуков, караханидов. В XIII — первой половине XVI века находилась под властью татаро-монголов, ойратов. Во второй половине XV века сложилась киргизская народность.

С. 161. *Константинополь* (Царьград) — столица Византийской империи, основан Константином I в 324 — 333 годах на месте города Византий. В 1204 году стал столицей Латинской империи. Отвоен византийцами в 1261 году. В 1453 году взят турками, переименован в Стамбул.

МАЗЕПА

Исторический роман

Печатается по изданию: Полное собрание сочинений Фаддея Булгарина. Спб., 1843, т. 3.

Впервые роман «Мазепа» увидел свет в Петербурге в 1833 — 1834 годах. Этот роман наряду с «Димитрием Самозванцем» Булгарина, а также с романами М. Н. Загоскина представляет собой одну из первых в России попыток создания исторического романа как жанра.

В трудную эпоху после подавления польского бунта 30-х годов Булгарин пытался рассмотреть судьбы славянства в историческом ракурсе,

считая, что иезуитизм, расцветший в Польше, парализовал живые и действенные силы страны, которая перестала с этих пор развиваться естественным самобытным путем, скованная латинской формулой. Пытаясь примирить русского царя с восставшими и подавленными поляками, Булгарин обратился с просьбой к А. Х. Бенкендорфу «украсить именем государя список подписавшихся» на его роман «Петр Иванович Выжигин». В этой просьбе выразилось его «исповедание веры»: «Ныне, когда многие из соотечественников моих, по справедливости, лишились милостей своего государя, да дозволено мне будет показать свету: «Упавшие духом верные поляки воскреснут, когда увидят, что их соотечественникам открыты пути трудами и тихой жизнью к монаршим милостям». (См.: Русская старина. 1896. VI. С. 565.)

С. 371. *Зиновий Хмельницкий* — знаменитый гетман Малороссии, сын чигиринского сотника Михаила Хмельницкого.

С. 371. *Царевна Софья Алексеевна*... — третья дочь царя Алексея Михайловича. Воспитателем ее был Симеон Полоцкий. После смерти Федора Алексеевича на престол был избран Петр I (1682), что возвышало партию Нарышкиных, приверженцев матери Петра Наталии Кирилловны. Партия Милославских, родственников первой жены Алексея Михайловича, во главе которой стояла царевна Софья, пользовалась волнениями стрельцов, чтобы парализовать влияние на государственные дела Наталии Кирилловны. Царевна Софья была правительницей при двух юных царях Петре Алексеевиче и Иоанне Алексеевиче по желанию стрельцов в 1682 — 1687 годах.

С. 372. ...так же как свергнул Августа... — Август II (Фридрих), прозванный «Сильным», — курфюрст Саксонский с 1694 по 1733 год, а с 1697-го и король Польский (1670 — 1733). Вступил в союз с Данией и русским царем Петром. Карл XII дважды разбил Саксонское войско, после чего польский сейм лишил Августа престола, и на его место стал Станислав Лещинский.

С. 373. *Войнаровский*... — Андрей Войнаровский — племянник и соучастник Мазепы, многократно ездил к хану крымскому и султану турецкому, чтобы побудить их к войне с Россией. После Полтавской битвы бежал в Германию, жил в Гамбурге; по требованию русского правительства был выдан и со всем семейством сослан в Якутск, где умер в 1740 году. Герой одноименной поэмы К. Ф. Рыльева, в которой согласно декабристским взглядам был представлен как патриот, борющийся за политическую свободу.

С. 374. *Станислав Лещинский* (1677 — 1766) — польский король в 1704 — 1711, 1733 — 1734 годах. Избран королем под нажимом Швеции (после вторжения в Польшу в 1702 г. войск Карла XII), но не признан большинством шляхты. После поражения Карла XII под Полтавой (1709) эмигрировал в Пруссию, затем во Францию. В 1733 году. восстановлен французской дипломатией на польском престоле. В ходе войны за Польское наследство изгнан из страны.

С. 377. *Иезуиты* — члены католического монашеского ордена. «Общество Иисуса» (лат. *Societas Jesu*), основанного в 1534 году в Париже Игнатием Лойолой. Орден стал главным орудием Контрреформации. Иезуиты утвердились не только в европейских государствах, но проникли также в Индию, Японию, Китай, на Филиппины. В 1610 — 1768 годах существовало «Иезуитское государство» в Парагвае. Основные принципы организации ордена: строгая централизация, подчиненность папе непосредственно, абсолютный авторитет главы ордена.

С. 379. ...*философа Сенеки*... — Луций Анней Сенека, по прозвищу философ, талантливейший из стилистов и ораторов первой половины I века н. э.; получил тщательное риторическое и философское образование; поклонник пифагорейцев, занимался общественно-политической деятельностью при императорах Каликуле, Клавдии; учитель юного Нерона. Был обвинен в по-

кушении на жизнь воцарившегося императора Нерона. По приказу Нерона кончил жизнь самоубийством.

С. 383. *Карл XII* (1682 — 1718) — король Швеции с 1697 года из династии Пфальц-Цвайбрюккен, полководец. В начале Северной войны 1700 — 1721 годов одержал ряд крупных побед, но вторжение в Россию в 1708 году завершилось его поражением в 1709 году в Полтавском сражении. Бежал в Турцию, в 1715 году вернулся в Швецию. Убит во время завоевательного похода в Норвегию.

С. 488. *...Кармелитский монастырь...* — Кармелиты — члены католического нищенствующего ордена, основанного во второй половине XII века в Палестине. В XIII веке переместились в Западную Европу.

С. 623. *...потребовали от Порты...* Борьба России с Османской Портой вошла в историю под названием турецких войн.

В 1735 — 1739 годах велась Россией в союзе с Австрией, за выход к Черному морю, за пресечение набегов крымских татар.

В 1768 — 1774 годах — начата Турцией после отказа России вывести войска из Польши. Разгром турецких войск при Ларге и Кагуле (под командованием гр. П. А. Румянцева). Разгром турецкого флота в Чесменском бою, занятие Крыма заставили Турцию подписать Кючук-Кайнардийский мир.

В 1787 — 1791 годах — начата Турцией с целью возвращения Крыма и других территорий. Победы русских войск под командованием А. С. Суворова (Кинбурн, Фокшаны, Рымник, Измаил), русского флота под командованием Ф. Ф. Ушакова (Керченское сражение, Калиакрия). Завершилась Ясским миром 1792 года.

В 1806 — 1812 годах — начата Турцией с целью возврата бывших владений в Северном Причерноморье и на Кавказе, а также в связи с ростом влияния России на Балканах. Победы русских войск привели к Бухарестскому миру 1812 года.

В 1828 — 1829 годах — следствие кризиса Османской империи, вызванное греческой национально-освободительной революцией 1821 — 1829 годов. Русские войска взяли в Закавказье Карс и Эрзерум, разгромили турецкие войска в Болгарии, подошли к Константинополю. Война завершилась Адрианопольским миром 1829 года.

В 1877 — 1878 годах — вызвана подъемом национально-освободительного движения на Балканах. Сражения на Шипке, осада и взятие русскими войсками Плевны и Карса, зимний переход русской армии через Балканский хребет, победы русских у Шипки — Шейново, Филиппополе, взятие Адрианополя. Война завершилась Сан-Стефанским миром 1878 года, решения которого пересмотрены на Берлинском конгрессе 1878 года. Война способствовала освобождению народов Балканского полуострова от османского ига.

ВОСПОМИНАНИЯ О НЕЗАБВЕННОМ АЛЕКСАНДРЕ СЕРГЕЕВИЧЕ ГРИБОЕДОВЕ

Воспоминания Булгарина представляют собой первый серьезный основательный опыт биографии А. С. Грибоедова. Эти воспоминания до сих пор сохраняют для нас значение первоисточника. Текст их воспроизводится по публикации Н. К. Пиксанова с его примечаниями (А. С. Грибоедов в воспоминаниях современников. М., 1929), основанной на публикации «Сына Отечества» с дополнениями по седьмому тому Полного собрания сочинений Фаддея Булгарина. Новое, сжатое издание, исправленное и умноженное. П. 1844. С. 245 — 257. Примечания, подписанные «Изд.» и «Соч.», принадлежат Ф. В. Булгарину.

Воспоминания Булгарина были впервые напечатаны в январской книжке журнала «Сын Отечества» за 1830 год (№ 1, т. 9, с. 3 — 42) под инициалами Ф. Б. Автором, который в то время был совместно с Н. И. Гречем издателем журнала, были сделаны отдельные оттиски этих воспоминаний; один такой оттиск сохранился в библиотеке Пушкина — см.: Модзалевский Б. Л. Библиотека Пушкина // Пушкин и его современники. 1910. Вып. 9 — 10. С. 16. В том же году эти воспоминания были напечатаны во втором издании «Сочинения Фаддея Булгарина», часть 12.

Ф. В. Булгарин познакомился с Грибоедовым в начале июня 1824 года, вскоре по приезде Грибоедова в Петербург с рукописью «Горе от ума». Они сблизились очень быстро, и Булгарин объяснял это сближение тем, что Грибоедову издавна был известен добрый поступок Булгарина: помочь одному больному юноше, другу Грибоедова, в Варшаве, в 1814 году. Но видимо, дело было не только в этом добром поступке. Известно, что Булгарин принимал большое участие в судьбе Грибоедова: благодаря его журналистскому умению удалось напечатать отрывки из комедии в булгаринском альманахе «Русская Талия»; когда Грибоедов сидел под арестом в 1826 году, Булгарин с большим риском для себя пересылал ему книги и деньги; и наконец, позднее Булгарин часто выполнял поручения Грибоедова, присылаемые с Востока, по приобретению книг, вещей и по денежным счетам; он уведомлял также Грибоедова о новостях в ведомстве иностранных дел. Уезжая в последний раз на Восток, Грибоедов оставил Булгарину имеющий важное текстуальное значение так называемый «Булгаринский список» «Горе от ума» с надписью: «Горе мое поручаю Булгарину. Верный друг Грибоедов. 5 июня 1828 года».

ЛИТЕРАТУРНЫЕ ПРИЗРАКИ

Фельетон этот, напечатанный в 1824 году в «Журнале нравов и словесности, издаваемом Ф. Булгариным» — «Литературные листки» (в № 16, с. 93 — 108, под инициалами Ф. Б.), замечателен тем, что, несмотря на оговорки, что в фельетоне «нет никаких личностей» и что «имена и разговоры выдуманы», под именем Талантина здесь был выведен Грибоедов. Фельетон этот для нас получает важное биографическое значение потому, что в нем от имени Талантина излагаются довольно подробно литературно-теоретические взгляды Грибоедова — какой литературной подготовки он требовал от поэта, какого рода писателей считал он наиболее достойными издания.

Номер «Литературных листков» с «Литературными призраками» датирован цензурным разрешением от 27 августа. Вероятно, вскоре после появления статьи, то есть в начале сентября, Грибоедов написал Булгарину следующее письмо: «...тон и содержание этого письма покажутся вам странны, что же делать?! Вы сами тому причиною... Лично не имею против вас ничего; знаю, что намерение ваше было чисто, когда вы меня, под именем Талантина, хвалили печатно и, конечно, не думали тем оскорблять. Но мои правила, правила благопристойности и собственное к себе уважение не позволяют мне быть предметом похвалы незаслуженной или, во всяком случае, слишком предускоренной. Вы меня хвалили как автора, а я именно, как автор, ничего еще не произвел истинно изящного. Не думайте, чтобы какая-нибудь внешность, мнение других людей меня побудили к прерванию с вами знакомства. Верьте, что для меня моя совесть важнее чужих пересудов; и смешно бы было мне дорожить мнением людей, когда всемерно от них удаляюсь. Я просто в несогласии сам с собою: сближаясь с вами более и более, трудно самому увериться, что ваши похвалы были мне не по сердцу, боюсь

поймать себя на какой-нибудь низости, не выклинаю ли я еще горсточку ладана!! Расстанемся. Я бегать от вас не буду, но коли где встретимся, то без приязни и без вражды. Мы друг друга более не знаем. Вы верно поймете, что, поступая, как я теперь, не сгоряча, а по весьма долгому размышлению, не могу уже ни шагу назад отступить. Конечно, и вас чувство благой родной гордости не пустит опять сойтись с человеком, который от вас отказывается». Но скоро Грибоедов и Булгарин помирились. Между прочим, в 1835 году Булгарин изобразил Грибоедова в «Памятных записках Чухина».

ВСТРЕЧА С КАРАМЗИНЫМ.

(Из литературных воспоминаний)

Печатается по изданию: Полное собрание сочинений Фаддея Булгарина. Спб., 1843. Т. 5.

«Я не верю той любви к отечеству, которая презирает его летописи или не занимается ими: надобно знать, что любишь; а чтобы знать настоящее, должно иметь сведения о прошедшем»¹ — так писал знаменитый историкограф, полемизируя со своими оппонентами. Дух «Истории» Карамзина явился тем естественным водоразделом между русскими литераторами, выросшим после появления первых же томов великого труда.

В отношении к основной концепции «Истории» Карамзина Булгарин занял позицию декабристов, осуждавших «монархизм» историка. Таким образом он оказывался в разных с Пушкиным лагерях, и его историческая позиция никогда не рассматривалась. «Карамзин не одного Пушкина — несколько поколений увлек окончательно своею «Историю государства Российского», которое имело для них сильное влияние не одним своим слогом, как думают, но гораздо больше своим духом, направлением и принципами. Пушкин до того вошел в ее дух, до того проникнулся им, что сделался решительным рыцарем «Истории» Карамзина. (Белинский В. Г. Полн. собр. соч. М., 1955. Т. 7. С. 525).

К почитателям Карамзина принадлежал и враг Булгарина, автор известной сатиры «Дом сумасшедших» А. Ф. Воейков, удачно полемизировавший с Булгариным в периодической прессе.

¹ Карамзин Н. М. Избр. соч.: В 2-х т. М.-Л., 1964. Т. 2. С. 189.

СОДЕРЖАНИЕ

<i>Наталья Львова. Каприз Мнемозины</i>	<i>5</i>
<i>Иван Иванович Выжигин. Роман</i>	<i>23</i>
<i>Мазепа. Исторический роман</i>	<i>367</i>
<i>Воспоминания о незабвенном Александре Сергеевиче Грибоедове</i>	<i>635</i>
<i>Литературные призраки</i>	<i>659</i>
<i>Встреча с Карамзиным (Из литературных воспоминаний)</i>	<i>667</i>
<i>Невероятные небылицы</i>	<i>677</i>
<i>Примечания</i>	<i>698</i>

Литературно-художественное издание

Булгарин Фаддей Венедиктович

СОЧИНЕНИЯ

Редактор **И. Е. Плехотникова**

Художник **А. Ф. Сергеев**

Художественный редактор **Г. Г. Саленков**

Технический редактор **В. М. Котова**

Корректоры **Т. М. Воротникова, И. И. Попова**

ИБ № 5933

Сдано в набор 02.04.90. Подписано к печати 06.12.90. Формат 84×108/32. Гарнитура Таймс. Печать высокая. Бумага кн.-журн. Усл. печ. л. 36,96. Усл. кр.-отт. 37,38. Уч.-изд. л. 43,39. Тираж 100 000 экз. Заказ 137. Цена 7 руб.

Издательство «Современник» Министерства печати и массовой информации РСФСР и Союза писателей РСФСР

123007, Москва, Хорошевское шоссе, 62

Полиграфическое предприятие «Современник» Министерства печати и массовой информации РСФСР

445043, г. Тольятти, Южное шоссе, 30